литературное
НОВОЕ
обозрение

Содержание № 188 [4’2024]

НЕИМПЕРСКАЯ РОССИЯ: ОБРАЗЫ, ИДЕИ, ПРАКТИКИ

7 От редакции

(НЕ)ИМПЕРСКОЕ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОГУМАНИТАРНОЙ РЕФЛЕКСИИ

9 *Уиллард Сандерленд*. Обращение к имперскому прошлому: история и переосмысление (*пер. с англ.* Анастасии Лысцовой)

15 *Фредерик Купер*. Деколонизация, колонизация и вновь деколонизация: конец империи во времени и пространстве (*пер. с англ.* Ксении Гусаровой)

41 *Антонио Негри*, *Данило Дзоло*. Империя и множество. Диалог о новом порядке глобализации (*пер. с англ.* Нины Ставрогиной)

ИМПЕРИЯ И ЕЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

60 *Кирилл Соловьёв*. Парламент империи или парламент против империи

66 *Виталий Тихонов*. Советская историография 1920—1930-х годов: от антиимперскости к великодержавию

71 *Майкл Ходарковский*. Евразийские корни Российской империи (*пер. с англ.* Кирилла Зубкова)

ВОЙНА И ИМПЕРСКОЕ СОЗНАНИЕ

74 *Андрей Зорин*. «Зачем люди друг друга убивают?» (Толстой и империя)

87 *Ольга Майорова*. Народная война и пчелиный улей: нация и империя в «Войне и мире»

106 *Наталья Потапова*. Военная травма 1812 года: физические увечья и публичная немота

(НЕ)ИМПЕРСКОСТЬ В РУССКОЙ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

123 *Ирина Шевеленко*. Антиимперская рефлексия революционной эпохи (1900—1910-е годы)

134 *Денис Сдвижков*. Хотели ли русские войны? Война и имперское сознание в России XVIII века

159 *Михаил Велижев*. К истории «московской фронды»: С.Г. Строганов, А. де Токвиль и непреднамеренные последствия чаадаевского скандала

172 *Тимур Атнашев*. Русская нация после российской империи? Модель для сборки либерального хронотопа в XXI веке

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА В РОССИИ

197 *Олег Хархордин*. Республиканские проекты в России

218 О республиканизме в России. Анкета (*Наталья Потапова*, *Николай Плотников*, *Алексей Глухов*)

ИМПЕРСКОЕ И НЕИМПЕРСКОЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

230 *Илья Виницкий*. «Самостоянья щит»: был ли Пушкин национал-словотворцем?

245 *Евгений Добренко*. Советская многонациональная литература как имперский проект и как вызов империи

255 *Мария Майофис, Илья Кукулин*. Позднесоветская литература об этнических депортациях в полемике с советским романом воспитания

282 *Андрей Ранчин*. Иосиф Бродский: преодоление имперского

303 *Марк Липовецкий*. Андеграунд — альтернативная модель русской культуры?

322 *Кевин М.Ф. Платт*. Русскоязычная антиимперская поэтика: модели деколонизации

340 *Кирилл Осповат*. Руины: русская филология ввиду катастрофы

БИБЛИОГРАФИЯ

356 *Алексей Васильев, Виктория Васильева*. Империя, либерализм, национализм: преодолевая интеллектуальные стереотипы (Рец. на кн.: Рэмптон В. Либеральные идеи в царской России. СПб.: Academic Studies Press; Библиороссика, 2024; Rabow-Edling S. Liberalism in Pre-Revolutionary Russia: State, Nation, Empire. L.; N.Y.: Routledge, 2019; The Tsar, the Empire, and the Nation: Dilemmas of Nationalization in Russia's Western Borderlands, 1905—1915 / Ed. by D. Staliūnas, Y. Aoshima. Budapest; N.Y.: Central European University Press, 2021)

370 *А.И. Рейтблат*. Свет и тени российского анархизма (обзор книг последних лет)

381 *Евгений Савицкий*. Амбивалентности советского интернационализма в политике и культурной практике (Рец. на кн.: Kirasirova M. The Eastern International: Arabs, Central Asians, and Jews in the Soviet Union's Anticolonial Empire. Oxford: Oxford University Press, 2024; Koivunen P. Performing Peace and Friendship: The World Youth Festivals and Soviet Cultural Diplomacy. Berlin; Boston: De Gruyter; Oldenbourg, 2022; Edgar A. Intermarriage and the Friendship of Peoples: Ethnic Mixing in Soviet Central Asia. Ithaca; L.: Cornell University Press, 2022)

395 *Ян Левченко*. Деколониальная перспектива формализма в «Смерти Вазир-Мухтара» (Рец. на кн.: Aydinyan A. Formalists against Imperialism: *The Death of Vazir-Mukhtar* and Russian Orientalism. Toronto; Buffalo; L.: University of Toronto Press, 2022)

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

402 *Ксения Гусарова*. Цикл семинаров «В фокусе: деколонизация» (Центр исследований России и Евразии имени Кэтрин и Шелби Дэвисов в Гарвардском университете, 3 февраля — 31 марта 2023 года)

414 *Михаил Куренков*. Общероссийская конференция «Республиканизм: теория, история, современные практики» (Европейский университет в Санкт-Петербурге, исследовательский центр «Res Publica», 15—16 декабря 2023 года)

425 Наши авторы

427 Summary

433 Table of Contents

436 Our Authors

Редакция

Ирина Прохорова (основатель и учредитель журнала) *канд. филол. наук*

Татьяна Вайзер (шеф-редактор) *канд. филос. наук; PhD*

Арсений Куманьков (теория) *канд. филос. наук*

Кирилл Зубков (история) *канд. филол. наук*

Александр Скидан (практика)

Абрам Рейтблат (библиография) *канд. пед. наук*

Владислав Третьяков (библиография) *канд. филол. наук*

Надежда Крылова (хроника научной жизни) *магистр культурологии*

Александра Володина (выпускающий редактор) *канд. филос. наук*

Редколлегия

Константин Азадовский
кандидат филологических наук

Хенрик Баран
PhD. Университет штата Нью-Йорк в Олбани, профессор

Татьяна Венедиктова
доктор филологических наук. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, профессор

Елена Вишленкова
доктор исторических наук. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

Томаш Гланц
PhD. Цюрихский университет, профессор / Карлов университет в Праге, профессор

Ханс Ульрих Гумбрехт
PhD. Стэнфордский университет, профессор

Евгений Добренко
PhD. Университет Венеции Ca'Foscari, профессор

Александр Жолковский
PhD. Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, профессор

Андрей Зорин
доктор филологических наук. Оксфордский университет, профессор / Московская высшая школа социальных и экономических наук, профессор

Борис Колоницкий
доктор исторических наук. Европейский университет, профессор / Санкт-Петербургский институт истории РАН, ведущий научный сотрудник

Александр Лавров
доктор филологических наук, академик РАН. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, ведущий научный сотрудник

Марк Липовецкий
доктор филологических наук. Колумбийский университет (Нью-Йорк), профессор

Джон Малмстад
PhD. Гарвардский университет, профессор

Александр Осповат
Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, профессор-исследователь

Пекка Песонен
PhD. Хельсинкский университет, заслуженный профессор

Олег Проскурин
кандидат филологических наук. Университет Эмори (США), профессор

Роман Тименчик
кандидат филологических наук. Еврейский университет в Иерусалиме, профессор

Павел Уваров
доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Институт всеобщей истории РАН, главный научный сотрудник / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

Александр Эткинд
PhD. Европейский университетский институт (Флоренция)

Михаил Ямпольский
доктор искусствоведения. Нью-Йоркский университет, профессор

От редакции

Настоящим спецвыпуском мы ставили целью показать возможность неимперской истории России. Если о специфике имперской истории России в сравнительной перспективе ведутся споры, имперская история России подвергается постоянной ревизии, то реконструкция ее неимперской истории предполагает смену угла зрения: что представляла собой дореволюционная и советская антиимперская мысль? какие культурно-философские течения формировали модерные представления российских интеллектуалов о децентрированном устройстве государства? когда впервые встал и кем ставился вопрос о федерализации Российской империи? как официальный имперский нарратив соотносился с неимперскими культурными практиками? где пролегала граница между имперским и неимперским в российской культуре? насколько разным социальным и политическим группам был свойствен поиск другой, не-имперской национальной идентичности?

Для ответа на эти вопросы нам понадобилось в общих чертах подвергнуть ревизии и контекстуализировать сам термин «имперскость»; вспомнить историю этого понятия и его соотношение с сопряженными (нация, национализм, колониализм, глобализация); показать некоторые узловые моменты актуальной полемики об империализме. Последняя открывает перспективы на то, как распадаются и пересобираются империи или неоимперские образования сегодня; как идея универсального порядка соотносится или конфликтует с национальными притязаниями; как развивается имперское воображение в неимперских по формальному устройству государствах; как фактическая имперскость сосуществует с декларативной неимперскостью, антиимперскостью и т.д.

Мы уже начинали тему (не)имперскости на страницах журнала: см. например, спецвыпуски «Рабство как интеллектуальное наследие и культурная память» (№ 141, 142, 2016), «(Пост)имперское воображение и культурные политики» (№ 144, 2017), «Постсоветское как постколониальное» (№ 161 и 166, 2020). Настоящим спецвыпуском мы хотим открыть полемику и ответить на вопрос: *возможна ли в России неимперская модерность*? Это предполагает

интерес к тому, какие государственные институты и практики свидетельствовали о возможности альтернативных общественных устройств; какие альтернативные модели общественной жизни вырабатывались на официальном или низовых уровнях; какие формы интеллектуальной рефлексии и художественные практики способствовали формированию этих альтернативных моделей; что делало ту или иную литературу имперской или, напротив, как изнутри имперского культурного канона были возможны оспаривающие его стратегии; может ли литература нести в себе сегодня эмансипаторный потенциал и т.д.

В предлагаемом номере мы хотели бы обсудить те исторические, культурные и литературные феномены, которые противятся описанию их через категорию «имперское» и свидетельствуют о наличии внутри культуры неимперских трендов. Такой подход помогает преодолеть соблазн думать о русской культуре в эссенциалистских категориях, воспринимая ее как некую монолитно единую, неизменную, вечно тождественную себе сущность («великую», «имперскую» и т.д.). Мы надеемся, нам удастся показать внутренне противоречивую природу как российского имперского проекта в целом, так и тесно связанной с этим проектом культуры.

Отдельный кластер вопросов посвящен спорности имперского проекта в общественной мысли и публичной сфере России. Мы прослеживаем, как внутри на первый взгляд монолитной политической культуры вызревали модели, пытающиеся ограничить центрированный характер власти; как менялась общественная повестка; как возникали альтернативные публичные пространства и дискурсы, новые интеллектуальные центры и сообщества. Так, спецвыпуск дает общие очертания *республиканскому проекту* в России как наиболее вероятной или в определенных контекстах желаемой альтернативе. Система республиканских идей и ценностей, так или иначе проявляющихся на протяжении российской истории, как то: парламентаризм, желание равного участия в управлении страной, равенство граждан перед законом, готовность убеждать друг друга посредством аргументов, способность к общественной самоорганизации, ответственность за общее благо — позволяет думать, что триста лет имперской России не являются однородной линейной историей, что имперские и неимперские векторы этой истории конкурировали между собой и что другие принципы могли (бы) также определять общественный порядок.

Мы солидарны с мыслью одного из наших авторов, Уилларда Сандерленда, который в интервью нашему журналу сказал: «Вместо того чтобы использовать такие термины, как «имперский», «неоимперский» и так далее в качестве описательной модели, лучше критически подходить к осмыслению их [современных государств] действий». Мы убеждены, что рефлексия о собственной культурной истории, в том числе ее альтернативных моделях, помогает в выработке более осмысленных и конкурентных форм общественного устройства. Спецвыпуск носит полемический характер — если это приведет читающее сообщество к критической рефлексии о модерном потенциале культуры, мы будем считать, что внесли вклад в развитие полемики. Перефразируя другого нашего автора, Фредерика Купера, писавшего, что «еще могут появиться новые способы мыслить политическое пространство», — еще могут появиться альтернативные формы культурного самосознания.

(Не)имперское в современной социогуманитарной рефлексии

Обращение к имперскому прошлому:

ИСТОРИЯ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_9

Revisiting the Imperial Past: History and Reinterpretation

Уиллард Сандерленд (*профессор истории Университета Цинциннати; PhD*)

Как понимание империи и империализма менялось в последние триста лет?

Самое очевидное изменение произошло в том, что представление об империи от очень хорошего сдвинулось к очень плохому. Триста лет назад Петр Великий и его сподвижники хотели подчеркнуть свое участие в имперском клубе европейских стран и для этого переименовали страну, добавив в название слово «империя». Двести лет спустя презиравшие империализм большевики вычеркнули «империю» из названия. Будучи убежденными интернационалистами, они даже убрали слово «Россия» из названия их нового государства, отрицая таким образом национальный компонент. В итоге получился Союз Советских Социалистических Республик.

Эти антиимперские настроения были очень характерными для того времени. В эпоху национализма недоброжелатели воспринимали империю как неуклюжую, устаревшую, репрессивную, чуждую форму и, что хуже всего, — традиционную, а не современную, в то время как идея нации казалась чем-то совершенно противоположным. Даже большевики, которые верили, что национальность была всего-навсего буржуазной иллюзией, признавали ее достаточно реальной для того, чтобы наполнить ее «социалистическим содержанием», насколько это возможно.

Однако противопоставление империи и нации не является таким уж и простым, как хотелось бы представителям каждого из этих лагерей. В Новое время некоторые из архитекторов империй (Наполеон, Хирохито, Гитлер) вполне могли быть националистами, в то время как некоторые противники империализма были в то же время противниками идей национализма (например, Ленин). Закон исторической преемственности, согласно которому империи

якобы неизбежно уступают место национальным государствам, на самом деле куда более сложный феномен, чем кажется.

Видимо, более продуктивным способом говорить об империях является разговор не о том, чем они являются, а о том, что они делают. И тогда окажется, что национальные государства вполне могут быть имперскими по своему характеру, а империи — националистическими. Более того, каждая из этих категорий вмещает в себя ряд более сложных гибридных форм, не говоря о бесчисленных внутренних противоречиях между ними. Соединенные Штаты Америки, например, были основаны на очевидном неприятии имперской власти, но это не помешало им с самого начала воспринять идею «империя как образ жизни»[1]. Действительно, сложно представить более яркий пример имперского образа мышления, чем Томас Джефферсон, известный своими антиимперскими настроениями.

Есть ли смысл говорить о динамике перехода от империализма к постимпериализму? Уместно ли говорить о XXI веке как веке неоимпериализма?

Учитывая то, что я сказал выше, я не вижу большой разницы между пост- и неоимпериализмом. Мы не можем не изобретать новые термины, чтобы рефлексировать реальность вокруг, потому что мы постоянно пытаемся разобраться в настоящем, которое кажется все более новым. Тем не менее я не думаю, что терминологические дебаты тут могут чем-то помочь. Во время периода активной деколонизации, который наступил после Второй мировой войны, неоколониализмом стало называться доминирование сильных государств над более слабыми без официального оформления колоний, как это было раньше. Сегодня неоимпериализм представляет собой либо завоевание, либо запугивание при помощи силы слабых государств более сильными в условиях, когда империи формально отсутствуют. Но экспансия характерна для многих типов государства. Рим, например, совершил множество завоеваний, в то время как формально был «просто» республикой.

Все это я говорю для того, чтобы подвести к следующей мысли: вместо того чтобы использовать такие термины, как «имперский», «неоимперский» и так далее в качестве описательной модели, лучше критически подходить к осмыслению их действий. Например, случай России. Для меня Российская Федерация сегодня — это национальное государство, состоящее из разнородного, но в большинстве своем этнически русского населения. Правительство ее ведет войны «для защиты» людей, которых оно называет русскими, проживающими на территории других государств, власть которых называется нелегитимной. Считается ли такое поведение империалистским? Да. Означает ли это, что Российская Федерация является империей, неоимперией или чем-то в таком духе? Необязательно.

Не только империи расположены к подобной реваншистской экспансии. В начале 2000-х Гэри Уайлдер опубликовал историю межвоенной Франции[2]. В то время название Французское имперское национальное государство звучало странно, даже провокационно. И возможно, так оно и было. Но сейчас

1 См. обсуждение этого вопроса в: *Williams W.A.* Empire as a Way of Life: An Essay on the Causes and Character of America's Present Predicament, along with a Few Thoughts About an Alternative. New York: Oxford University Press, 1980.

2 *Wilder G.* The French Imperial Nation-State: Negritude and Colonial Humanism between the Two World Wars. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

это кажется вполне здравым. Конечно, национальное государство может быть национальным и имперским одновременно, так как оба типа разделяют широкий опыт практик государственного строительства.

Гораздо важнее не официальное название, а сущность правления. Нечестное, лживое, репрессивное, коррумпированное, милитаристское, неэффективное и абсолютно циничное, без какой-либо программы на будущее правительство — это ужасное правительство. А ужасные правительства совершают ужасные вещи.

Что касается того, является ли правительство неоимперским, мне не кажется, что это вообще важно, поскольку этот термин сам по себе мало что помогает понять. То же самое можно сказать и о таких категориях, как фашизм, неофашизм или постфашизм. Все эти термины размыты и противоречивы в равной степени. Они «хороши для размышлений» (bonnes à penser), что означает их способность спровоцировать мысль. Однако ярлык, который вы в итоге получите, окажется менее значимым, чем конкретный кейс[3].

Сейчас склонность какого-либо правительства использовать силу для решения территориальных задач делает его опасным и для многих его соседей, и для его собственного народа. Однако я не думаю, что существование таких правительств олицетворяет угрозу неоимпериализма или что мы можем говорить о нашем веке как об «эпохе неоимпериализма».

Какие политические концепции являются противоположными идее империализма? Республиканизм? Национализм? Деколониальная политика и культура?

На этот вопрос тоже нет однозначного ответа. Мне кажется, не существует одной-единственной «серебряной пули» — универсальной антиимперской концепции. В разные времена и в разных условиях национализм и республиканизм как поощряли преступления и предрассудки имперской власти, так и противостояли им. Схожим образом деколониальная политика нашего времени имеет потенциал как бросить вызов и реформировать имперский образ мышления, так и воспроизвести и нормализовать свои собственные формы иерархии и исключения. Поскольку империи не идентичны и никогда не действуют одинаково, я не думаю, что существует последовательная политическая идеология или форма правления, которая могла бы противостоять или обличать различные формы беззакония, совершавшиеся империями.

Другими словами, я не вижу, как осуществить прогресс без взращивания идей демократической культуры, культуры открытого взаимодействия и ответственности за действия имперских властей — хороших и плохих, прошлых и настоящих, со всеми выявленными и изученными серыми зонами и сложностями. Это требует постепенного, непрерывного строительства и поддержки формальных институтов и неформальных привычек динамичного и толерантного публичного пространства. Никакая империя никогда не была и не могла быть настоящим демократичным государством. Даже США, имперско-нацио-

3 Интересные замечания по поводу этой известной фразы Клода Леви-Стросса см.: *Garber M.* Good to Think With // Profession. 2008. P. 11—20. О понятиях «классического фашизма» и связанных с ним терминах см. дискуссию Энцо Траверсо и Ильи Будрайтскиса: Global Post-Fascism and the War in Ukraine: A Conversation // e-flux (https://www.e-flux.com/notes/543799/global-post-fascism-and-the-war-in-ukraine-a-conversation (дата обращения: 29.05.2024)).

нальная экспансия которых в XIX и XX веке во многом обосновывалась распространением демократии, очевидно, были демократией не для всех.

Почему и как Россия стала империей? Как провозглашение империи повлияло на ее политический и социальный порядок, систему и практику государственного управления и законодательство? Эволюционировали ли эти социальные и политические практики с 1721 по 1917 год?

Народы разных территорий, на которые претендовало Российское государство, всегда были очень разнородными в культурном плане. Представление, что управление всем этим многообразием было предназначением великих московских князей, была одним из политических принципов России уже к началу XV века. В XVI—XVII веках Московское царство по своей сути уже было империей. Затем, в начале 1700-х, это закрепилось на официальном уровне.

Значительные изменения, которые произошли в период между 1721 и 1917 годами, были связаны с неуклонным усложнением государственного и социального строя. В России формирование государственных и социальных структур, включая такие имперские институты, как закрепощение российских и других крестьян, разворачивалось одновременно с расширением и поддержанием империи, так что имперское строительство, государственное строительство и строительство общества были постоянно взаимосвязаны.

К 1917 году империя стала не только намного больше по размеру и разнообразнее в культурном отношении по сравнению с 1721 годом, она стала еще и более сложной в социальном и экономическом планах. Имперское правительство тоже стало более амбициозным и имело свои планы на организацию и преобразование жизни в стране. Ранний советский строй часто описывают как мобилизационное государство, но «стремление к мобилизации» началось еще в эпоху Великих реформ, если не раньше.

Считаете ли Вы, что было что-то особенное и исключительное в российском империализме?

Спасибо за этот вопрос, потому что это единственный вопрос, который, как мне кажется, заслуживает простого ответа. И мой ответ: нет.

История империй поразительна и неоднородна и практически такая же долгая, как история человеческого общества. Каждая империя в этом смысле часть общей истории. Я не могу придумать ни одного правителя, политики, идеологии, социального предубеждения, культурного артефакта, достижения или преступления, которые бы существовали только в российском контексте и не имели бы аналога где-то еще.

Подвергался ли российский империализм критическому осмыслению в российских интеллектуальных и культурных сферах с XVIII по начало XX века?

Осмыслению кем? Правителями или управляемыми? Ответ зависит от этого. Если первое, то имперский правящий класс был многообразной, настоящей, практически общеимперской аристократией. В целом представители этого класса извлекали выгоды из этой имперской системы: русские, поляки, грузи-

ны, татары, балтийские немцы и другие. В этом смысле империя не представлялась такой проблемой, как это виделось снизу.

Если второе и мы говорим об управляемых, ответ не такой простой. Повседневные миры империи функционировали в соответствии с уровнем их фактической независимости от нее. Функция правительства — вмешиваться в жизнь, но возможности делать это у него были ограничены. Поэтому имперская власть как таковая часто не чувствовалась на местах — она была где-то далеко. Образовавшаяся в результате де-факто автономия создала пространство для сосуществования с империей в различных регионах и помогала нормализовать империю как политическую структуру. Империя становилась проблемой в определенные моменты — когда кто-то испытывал на себе ее давление или становился жертвой укоренившихся в ней предубеждений. И это происходило все чаще по мере того, как пространство автономии начинало сжиматься. Обычные люди выражали свое несогласие или уходом, или бунтом, но, как правило, они не проблематизировали имперский характер государства.

Мыслители, писатели и другие творческие люди были более критичными, но и у этой критики были очевидные границы. Каким образом Российское государство и общество формировались вместе с империей, таким же образом формировалась вместе с ней и российская культура. К примеру, возьмите оду, один из самых характерных жанров русской литературы XVIII века. Ода была имперским изобретением, и ее авторы использовали это жанр для того, чтобы превозносить эту самую империю[4]. Российский творческий класс жил внутри империи и в общем воспроизводил ее нормы и ожидания. Даже такие свободные мыслители, как Пушкин, не были свободны от имперского высокомерия. Это же справедливо и в отношении Верещагина, чьи картины из известной его «Туркестанской серии», несмотря на свою способность заставить подумать о моральной и человеческой цене завоеваний, все же каким-то образом их и прославляют.

В общем, я бы сказал, что нет, империя не была, как правило, «критически осмыслена» в российских культурных и интеллектуальных сферах. Имперское высокомерие и власть могли подвергаться критике, как у Толстого в «Хаджи-Мурате», но чаще всего машинерия империи либо игнорировалась, либо воспринималась как нечто естественное. Русские писатели и мыслители XIX века не разрабатывали идею Предначертания судьбы (Manifest Destiny), как это было у американцев. Но у них были свои способы представить происходящее в империи в смягченной форме, как что-то совершенно естественное.

Историки были так же частью этого культурной традиции, как и все остальные. Ключевский известным образом описал Россию как страну, которая «колонизуется», и сравнил передвижения русских поселенцев с «птичьими перелетами из края в край»[5]. Что может быть более естественным, чем это описание? В то же время Карамзин называл Ермака «российским Пизарро», но при это обязательно добавлял, что, несмотря на то что он был «не менее Испанского грозный для диких народов», он тем не менее был «менее ужасным для человечества»[6].

---

4 См.: *Ram H.* The Imperial Sublime: A Russian Poetics of Empire. Madison: University of Wisconsin Press, 2003. P. 63—120.

5 *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Ч. I // Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. 1. М.: Мысль, 1987. С. 50.

6 *Карамзин Н.М.* История государства Российского: В 12 т. Т. 9. СПб.: Тип. Александра Смирдина, 1831. С. 440.

Подобные формулировки помогали сгладить острые углы империализма, делая имперский габитус куда более приемлемым. Российская творческая и научная интеллигенция жила в рамках этого габитуса и не слишком его оспаривала.

Существовали ли какие-нибудь неимперские проекты, предложенные в России в то время?

Да, альтернативы были, несмотря на доминирование имперского образа мышления в то время. Помимо стремлений различных групп националистов отделиться от империи (в первую очередь поляков), в течение 1800-х годов возникли регионалистские идеи, которые предусматривали другую имперскую логику, основанную на более справедливом балансе между центром и периферией. В определенные периоды эти представления даже переживали ажиотаж и популярность, особенно во время Великих реформ, а позднее и гораздо более заметным образом — в 1917 году.

Вообще, 1917 год был моментом интенсивного переосмысления империи, что было одновременно результатом национальных трений, проявившихся в разных частях империи и до 1914 года, но еще в большей степени — результатом кризиса Первой мировой войны, которая и внутри российского контекста может быть рассмотрена как «война за деколонизацию Европы»[7]. В ходе войны какие-то территории уже были отделены от имперского тела. Другие же территории воспользовались падением монархии, чтобы добиться независимости.

В то же время раздавались голоса, которые даже во время войны стали предлагать пересмотр имперского проекта под видом «Великой России», основанной на демократии, свободе и «дружбе народов»[8].

Федерализм — настоящий неимперский федерализм, а не установившийся в СССР федерализм имперского типа — казался реальным в 1917 году. Но создание сильной, жизнеспособной, справедливой, многонациональной, мультирегиональной федеральной структуры требует времени, а также институционального и культурного обновления и открытости. Государство такого типа требует демократической культуры и федеративных институтов для поддержания своей структуры.

1917 год тем не менее не позволил случиться ничему из этого. Победившие революционеры, хотя и были ярыми антиимпериалистами, оказались столь же ярыми сторонниками авторитаризма и централизации. В результате идея федерализма превратилась в пустые фразы, которые остаются таковыми и по сегодняшний день. Формальная империя больше не существует, но подложная федеральная структура в некотором смысле превратилась в оболочку, которая вмещает в себя имперское национальное государство и является последним удобным габитусом для тех, кто все еще обладает имперским менталитетом прошедших времен.

Беседовали Арсений Куманьков и Татьяна Вайзер

Пер. с англ. Анастасии Лысцовой

---

7 *Sanborn J.A.* Imperial Apocalypse: The Great War and the Destruction of the Russian Empire. New York: Oxford University Press, 2014. P. 3.

8 *Гредескул Н.А.* Россия и ее народы. «Великая» Россия как программа разрешения национального вопроса в России. Пг.: Изд-во М.В. Попова, 1916. С. 5—7, 66—68.

Фредерик Купер

Деколонизация, колонизация и вновь деколонизация:

КОНЕЦ ИМПЕРИИ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ[1]

Frederick Cooper

Decolonizations, Colonizations, and More Decolonizations: The End of Empire in Time and Space

Фредерик Купер (Нью-Йоркский университет, заслуженный профессор; PhD) fred.cooper@nyu.edu.

Ключевые слова: деколонизация, колонизация, империя, колониализм, поселение, пространство

УДК: 94
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_15

В 1950—1960-е годы колониальные империи, казалось, уступили место миру национальных государств. Но первая волна деколонизации в Северной и Южной Америке пришлась на период между 1780-ми и 1820-ми годами. В данной статье рассматриваются отношения между этими двумя волнами деколонизации и той волной колонизации, которая имела место между ними. Вместо того чтобы вписывать два периода деколонизации в единый нарратив, я утверждаю, что каждый из них повлек за собой ожесточенную борьбу, в которой национальный суверенитет был лишь одним из возможных итогов, и что в промежутке между деколонизациями империи расцвели с новой силой, трансформировались и оказались переизобретены. Вторая волна деколонизации, в отличие от первой, нанесла удар по самой идее империи. Но обе волны не дали ответа на вопрос, который волновал возглавлявших их активистов: можно ли обратить политическое освобождение на пользу экономической и социальной справедливости? Данная статья указывает на способы использования и границы понятия «деколонизация» с точки зрения понимания борьбы за мировую справедливость.

Frederick Cooper (PhD; Professor Emeritus of History, New York University) fred.cooper@nyu.edu.

Key words: decolonization, colonization, empire, colonialism, settlement, space

UDC: 94
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_15

In the 1950s and 1960s, colonial empires seemed to give way to a world of nation-states. But the first wave of decolonization in the Americas occurred between the 1780s and 1820s. This article examines the relationship between these two waves of decolonization and the wave of colonization that occurred between them. Rather than fitting the two periods of decolonization into a single narrative, I argue that each entailed fierce struggles in which national sovereignty was only one possible outcome, and that in between decolonizations empires blossomed with renewed vigor, transformed, and found themselves reinvented. The second wave of decolonization, unlike the first, dealt a blow to the very idea of empire. However, both waves failed to answer the question that preoccupied the activists who led them: could political liberation be turned in favor of economic and social justice? This article points to the uses and limits of the term “decolonization” in terms of understanding struggles for global justice.

1 Я благодарен Барбаре Вайнштейн и Флориану Вагнеру за их ценные замечания и предложения. Первая версия этого текста была представлена на конференции «Глубокая деколонизация: Латинская Америка и взаимосвязанные истории постколониального мира» (17—18 марта 2016 года, Школа перспективных исследований Лондонского университета). Я признателен организатору, Марку Турнеру, и другим участникам за их комментарии и идеи. Позднейшие версии были представлены в Центре изучения Глобальной Азии Нью-Йоркского университета и на исторической кафедре Пенсильванского университета. Я благодарен слушателям за их продуманные комментарии.

К 1974 году, когда подошло к концу господство португальцев в Африке, слово «колония» оказалось вымарано из перечня легитимных политических образований. Одна из версий истории деколонизации локализует этот процесс в Африке и Азии между 1947 и 1974 годами — весьма стремительное развитие событий по историческим меркам. Но это была не первая волна центробежного движения, охватившая колониальные империи. В другом своем варианте история деколонизации начинается в 1776 году в британской Северной Америке, фиксирует независимость Гаити от Франции в 1804 году и придает особое значение первым десятилетиям XIX века, когда колонии Испании в Южной и Центральной Америке успешно взбунтовались против испанского господства, а Бразилия обрела независимость от Португалии [Thurner 2019].

Как соотносятся между собой эти две истории, ключевые события которых разделяет полтора века? Стоит ли говорить о едином движении, в рамках которого победы и поражения сменяют друг друга? Или об отдельных движениях, стремившихся к одной и той же цели? Или о совершенно различных явлениях? Аргумент в пользу единой истории получил подкрепление в 1980-е годы благодаря Бенедикту Андерсону, по мысли которого национализм зародился в Западном полушарии на основании круга идей, сформировавших воображаемые сообщества, которые отличались от имперских парадигм. Эти воображаемые территориальные общности создали типовую форму, которая затем воспроизводилась в других местах. Андерсон подчеркивал, что национализм зародился в американских колониях, но его форма была импортирована в Европу, откуда затем распространилась по всему миру, следуя по траекториям, прочерченным самими империями. Аргумент о типовой природе национализма много критиковали, но лишь после того, как фраза «воображаемое сообщество» приобрела культовый статус [Anderson 1983; Goswami 2002].

Нарратив единой истории предполагает переход от империи к национальному государству[2]. В 1776 году мир состоял из империй, а в конце XX века уже вмещал в себя почти двести национальных государств. Есть искушение в ретроспективном изложении представить этот переход неотвратимым. Но проблема заключается в том, что в таком случае мы не можем задать вопрос, как и почему эта история заканчивается именно так — ведь сам этот нарратив исключает такую постановку вопроса[3].

Мои задачи в данной статье иные: рассмотреть деколонизацию в пространстве и времени, чтобы продемонстрировать, что мы имеем дело с более сложным феноменом, чем просто линейное движение к неизбежной конечной точке. Деколонизация, которая началась в 1940-е годы, отличается от той, которая пришлась на 1780-е или 1820-е. В середине XX века под сомнение была

Статья переведена с сокращениями по: *Cooper F.* Decolonizations, Colonizations, and More Decolonizations: The End of Empire in Time and Space // Journal of World History. 2022. Vol. 33. No. 3. P. 491—526.

2 Историкам могут быть интересны содержательные рассуждения романистки Чимаманды Нгози Адичи в публичной лекции «Опасность единственной точки зрения» («The Danger of a Single Story», см.: https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story (дата обращения: 02.06.2024)).

3 Сэмюель Мойн утверждает, что изучение альтернатив национальному государству, которые предлагались в середине XX века, может быть эмпирически правильным, но не имеет смысла, потому что мы знаем, как закончится эта история [Moyn 2015].

поставлена не только власть тех или иных империй над определенными территориями, но и сама категория империи как таковая. Мы должны внимательнее изучить возможности, которые возникали и исчезали на каждом витке деколонизации, а также за время колонизации, которая пришлась на период между двумя деколонизациями. Постановка вопроса об отношениях между деколонизацией начала XIX века и деколонизацией середины XX века подводит нас к вопросам о том, как работает термин «деколонизация»: что он помогает нам понять, а что нет.

От деколонизации к колонизации

Термин «деколонизация» вошел в обиход лишь в середине XX века, но Марк Турнер отмечает, что впервые это понятие использовал в 1822 году перуанец Хосе Фаустино Санчес Каррио, призывавший не просто к отделению испанской Америки от Испании, но и к культурным изменениям [Thurner 2019: 2][4]. Однако точное значение слова «деколонизация» не было ясно в 1822 году и не прояснилось до сих пор.

В испанской Америке, как и в Северной Америке, борьба за политическую власть началась внутри империи, когда колониальные элиты стали требовать у имперского центра политического представительства — и лишь потом превратилась в борьбу за выход из состава империи [Adelman 2006]. Элиты по обе стороны Атлантики в ответ на захват большей части Испании Наполеоном попытались достигнуть договоренностей по своду законов, получившему название Кадисской конституции 1812 года. Этот документ ввел единое испанское гражданство для коренных американцев и потомков испанцев в Америке — но не для африканцев и их потомков. Имперское гражданство должно было определять открытую, но не однородную политию. Процесс его принятия забуксовал на вопросах политического представительства и экономической независимости, когда король Испании отказался признать рассредоточение центральной власти, что привело к конфликту, который с таким же основанием можно назвать гражданской войной на Американских континентах, как и освободительными войнами [Feros 2017; Mirow 2015][5].

Деколонизация 1780-х и 1820-х годов в обеих Америках привела к появлению новых государств — хотя и не тех, которые изначально стремились создать

4 В качестве научной работы, в которой впервые использовалось понятие «деколонизация» — в том смысле, который, по-видимому, прижился, часто цитируют книгу эмигрировавшего из Германии ученого Морица Юлиуса Бонна [Bonn 1938]. Тодд Шепард приписывает первое употребление этого термина во французском языке журналисту Анри Фонфреду в 1836 году, а последующие упоминания обнаруживает в 1920-х годах [Shepherd 2006: 5]. По мысли Фонфреда, крах европейских империй на Американских континентах означал, что «мы приближаемся к закату эры колоний». Фонфред критиковал французские колониальные проекты на Антильских островах за их жестокость и экономическую неэффективность. Он ошибся в своем прогнозе более чем на век (см.: [Capman 1846: 161]).

5 Ферос описывает конфликт по поводу многих аспектов конституции как в Испании, так и в ее американских колониях. Отчасти решение признать всех жителей империи (за исключением темнокожих) испанцами было обусловлено тем, что единственным способом победить Наполеона и сохранить империю было заручиться поддержкой населения американских колоний [Feros 2017: 249].

большинство повстанцев, — но не смогла положить конец легитимности империй во всем мире. Джефферсон утверждал в 1776 году, что целью американских патриотов было создать «империю свободы». Рабство и уничтожение сообществ коренных американцев показали, что свобода предусматривалась для некоторых, а империя — для всех остальных. В самом деле, молодая республика начала захватывать земли индейцев еще более решительно и жестоко, чем это делала британская корона. Соединенные Штаты приняли ряд все более дискриминационных мер, посредством которых коренные народы оказались помещены за рамки национального сообщества; Верховный суд в постановлении 1830 года описывал их как «зависимые народы на территории страны». Лишь в 1924 году те коренные американцы, которые не растворились к этому моменту в общественно-политическом целом, получили американское гражданство [Frymer 2017; White 1991].

В Латинской Америке не все революции начала XIX века решительно порвали с концепциями политий как многослойных образований и отказались от экспериментов с различными уровнями автономности внутри гетерогенных политических единиц. Местные элиты часто подчеркивали свою укорененность в европейской культуре, даже признавая — в отличие от североамериканских революционеров — место в политии за коренными народами. Новые лидеры в Мексике и Бразилии переняли или сохранили императорский титул — как и правитель недавно получившего независимость Гаити и другие политики, лелеявшие экспансионистские амбиции [Mulich 2017]. Как отмечает Джереми Адельман,

> идея независимости отнюдь не была заразительной. Гораздо более распространены были внутренние разногласия, порой приводившие к кровопролитию, по поводу того, как перекомпоновать осколки империи в новое целое в условиях быстро меняющихся правил игры в политике [Adelman 2008: 335][6].

Исследовать воспроизводимость империй в начале XIX века не означает отрицать радикальную природу отдельных экспериментов в области управления. Более дальновидные революционеры из испанских владений в Америке опирались на трансконтинентальное гражданство, предусмотренное Кадисской конституцией, хотя и стремились пойти еще дальше, вырабатывая республиканские формы правления, основанные на народовластии, при которых относительно большая часть мужского населения имела бы избирательные права. Эти политические деятели стремились преодолеть (по меньшей мере на бумаге) различия между гражданами индейского и европейского происхождения, и хотя изначально, согласно конституциям новых республик, рабы и их потомки не имели политических прав, люди африканского происхождения незамедлительно принялись выдвигать политические притязания, и в некоторых случаях политическая иерархия оказалась достаточно гибкой, чтобы наделить гражданскими правами отдельных лиц, признанных достойными этого. В кон-

6 Во введении к сборнику «Век революций в глобальном контексте, 1760—1840» Дэвид Армитидж и Санджай Субрахманьям проницательно указывают, что, несмотря на растущую в изучаемый ими период времени взаимосвязь различных частей света, природа изменений была весьма разнообразной, включая экспансию и укрепление имперских режимов наряду с движениями, направленными против них [Armitage, Subrahmanyam 2010: xii—xxxii].

це концов избирательное право для мужчин в некоторых республиках Южной Америки охватило более широкие слои населения[7]. Хотя женщины участвовали в сопротивлении наполеоновским завоеваниям в Испании и в политической мобилизации на Американских континентах, ни авторы Кадисской конституции, ни лидеры национальных политий, возникших впоследствии, не рассматривали всерьез вопрос предоставления женщинам избирательного права [Feros 2017: 240, 255; Sabato 2018: 53, 182].

Политические лидеры в Латинской Америке не сразу приняли идею единого национального государства — вместо этого они десятилетиями спорили о том, насколько инклюзивными или, напротив, узкими должны быть границы принадлежности к государственному объединению, а также о предпочтительности федеративного принципа перед централизованным политическим устройством [Charlip 2015; García 2016]. Сопротивление исходило от коренных народов, которые сначала боролись с испанской империей, а затем побудили национальные правительства рассматривать вопросы о земельных, трудовых и политических правах [Fullagar, McDonnell 2018; McDonnell 2016]. По другую сторону находились мощные силы, отстаивавшие поддержание социальных иерархий. Я не пытаюсь здесь романтизировать революционную борьбу или представлять классовую иерархию некой данностью, неизбежно отличающей страны Латинской Америки. Далекое и недавнее прошлое связывают конфликтующие версии политического будущего, расходящиеся друг с другом не только в вопросе суверенитета как такового, но и в том, как мыслится сущность этого суверенитета: кто и от чьего лица будет править, в рамках какой политической системы, с какими социальными, экономическими и политическими целями.

Джеймс Сандерс убедительно опроверг «деколониальный» тезис[8] — будто бы устойчивые неравенства в Латинской Америке укоренены в истории колонизации, — настаивая, что прогресс и регресс политической инклюзии и социальной мобильности необходимо оценивать в контексте актуальных проблем, а не фатального наследия прошлого. По мнению Сандерса, Европе есть чему поучиться у испанской Америки XIX века в отношении политических свобод. Споры о том, насколько далеко должны зайти политические, социальные и экономические изменения в период, следующий за обретением независимости от имперского господства, велись с самого начала, а не были придуманы и раздуты академиками XXI века [Sanders 2019].

Какими бы энергичными ни были их политические эксперименты, независимые республики и империи Западного полушария существовали в мире империй. В самом деле, относительно хрупкая независимость государств Северной и Южной Америки предоставила Великобритании возможность развивать «империализм свободной торговли»[9]. Говорить об империализме, а не просто о свободной торговле в данном случае можно не только в силу асимметричной природы экономических отношений, но и потому, что Британия

---

7 Сложный и противоречивый характер политики в Латинской Америке в годы после обретения независимости описан в: [Fradera 2018; Helg 2004; McGraw 2014; Sabato 2018; Sanders 2004: 193; Thurner 2019].

8 Пример деколониального тезиса см.: [Mignolo, Walsh 2018].

9 См. классический (но спорный) текст: [Robinson, Gallagher 1953]. О французском аналоге см.: [Todd 2021].

использовала свою военную мощь, если что-либо вставало на пути ее компаний. Таким образом, эта форма империализма потенциально могла превратиться в завоевание территорий, включение их в состав Британской империи и последующее администрирование — как это происходило в некоторых частях Африки начиная с 1861 года [Knight 1999: 139]. В тех случаях, когда до такого не доходило, экономические транзакции зависели от предположительно добровольных действий латиноамериканских элит. Соединенные Штаты первоначально были объектом такого рода империализма, но в конце концов стали одним из ключевых его акторов по отношению к Латинской Америке и другим регионам. США выработали собственный репертуар господства, включавший в себя экономические и культурные элементы, поддержку государственных переворотов или прокси-войн, временную оккупацию и, реже, колонизацию (Пуэрто-Рико, Филиппины), наряду с их основным проектом по строительству империи — заселением материковых территорий Северной Америки выходцами из Европы и вытеснением коренных американцев в «резервации»[10].

Колонизация как заселение

В наши дни колонизация чаще всего представляется как форма господства некой державы над территорией, которая географически удалена от нее и обладает выраженными культурными отличиями. Однако в XIX веке (и не только) было актуально и более раннее понимание этого термина, восходящее к Римской империи: перемещение жителей из одного региона в другой, в результате чего образовывалась общественная формация, сохраняющая социальные и культурные связи с местом происхождения поселенцев. Колонисты могли пренебрегать желаниями и интересами коренного населения колонизированного региона, поддерживая неправомерные различия между этим населением и собой[11]. Темы исследования и заселения «новых» территорий — где притязаниями коренного населения на землю можно было пренебречь — связывают деколонизированную Латинскую Америку с колонизируемой Африкой. Оба региона привлекали европейских мигрантов, которые могли рассматривать эти направления в качестве альтернативы, а латиноамериканские элиты, кроме того, были заинтересованы в колонизации (в римском смысле) сельской местности, которую они считали частью своих национальных территорий.

Колонизация территорий — в национальных государствах и в «официальных» колониях — в XIX веке приобрела интернациональный характер, сделавшись предметом обсуждения элит в разных странах и на практике пересекая границы [Daughton 2008; Wagner 2016]. То, что американисты иногда называют «историей иммиграции», можно также рассматривать как историю коло-

10 Недавние примеры использования концепта «империя» применительно к истории США см.: [Hopkins 2018; Maier 2007].

11 О колонизации в Римской империи см.: [Beard 2016]. Исследователь классической античности Мозес Финли, верный римской модели, различает «колонию» — термин, обозначающий и заселение, и господство, — и «империю», которая предполагает расширение власти другими способами. Если следовать этой логике, многие территории, которыми управляло британское Министерство по делам колоний — Золотой Берег, Уганда, — колониями не являлись. Финли не пожелал рассматривать колонизацию в ее многообразных, пересекающихся формах [Finley 1976].

низации: миллионы европейцев колонизировали сельскохозяйственные регионы Северной и Южной Америки, Австралии и Африки.

Заселение территорий в недавно обретших независимость государствах Южной Америки привлекало европейцев, чьи страны не были исторически вовлечены в борьбу за политическую власть в регионе, например немцев. Еще раньше, с XVIII века, носители немецкого языка начали переселяться в Россию — так появились поволжские немцы. Начиная с 1816—1817 годов группы немецкоязычных переселенцев (это было за десятилетия до создания единого германского государства) направлялись в Южную Бразилию; движение достигло пика в 1885—1894 годах. Около 400 тысяч немцев эмигрировали в страны Латинской Америки в XIX веке [Manz 2014: 29]. К 1920 году около 200 тысяч немцев переселились в Бразилию. Это движение было по большей части хорошо организовано, но в нем не участвовало прусское, а позже германское государство, власти которого были и рады видеть распространение немецкого влияния в других частях света, и озабочены убылью населения [Conrad 2010: 282—285]. Большую роль играли частные ассоциации. Так, например, Гамбургское общество переселенцев в середине XIX века направило 17 тысяч немецких колонистов в бассейн Ла-Платы в Аргентине и в Южную Бразилию. Колонизация территорий в Аргентине и Бразилии с середины 1880-х годов привлекла большее число немцев, чем официально образованные колонии Германии, такие как Юго-Западная Африка[12]. Сходным образом в 1840-е годы больше французов присоединились к колонизации Южной Америки, чем отправились в Алжир, хотя он и стал в это время французской территорией [Wagner 2016: 41, 44].

Немецкие колонисты стремились утвердить свою культурную автономию в тех местах, где сосредоточились их поселения, но не в форме аннексии этих регионов германским государством. Они развивали церковную инфраструктуру (в основном протестантскую в странах, где большинство населения были католиками), открывали школы, клубы, театры. Значительные усилия прикладывались ради того, чтобы сохранить немецкий язык, — нередко они принимали форму сопротивления изучению португальского или испанского. После 1870-х годов, в условиях консолидации и экспансии германского государства, такая форма колонизации стала частью более обширного репертуара стратегий распространения имперской культуры и влияния на прилегающие европейские территории (Эльзас-Лотарингия, Польша, Южная Дания) и заморские владения в Африке, Тихом океане и Китае. Образуемые при этом эмоциональные и материальные связи простирались за пределы зон, над которыми Германия осуществляла политический контроль[13].

В этом контексте переселение не было проектом колонизирующего прусского или германского государства и не управлялось латиноамериканскими

12 Мэтью Фитцпатрик продемонстрировал значимость частных обществ для усиления немецкого присутствия и влияния в Латинской Америке, отмечая, что эти общества наталкивались на безразличие и противодействие прусского, а затем германского правительства к их проектам. Он видит в деятельности этих обществ часть либерального проекта по строительству германской нации, хотя этому аргументу противоречит тот факт, что колонисты отправлялись в негерманские государства [Fitzpatrick 2008: 75—100].

13 Слово «колония» (Kolonie) использовалось для описания поселений и на тех территориях, которые не контролировались германским государством, и на тех, которые контролировались [Manz 2014: 38].

странами, хотя часто пользовалось поддержкой государственных элит. Этот процесс переносил людей европейского происхождения в места, населенные коренными народами, чьи интересы считались несущественными. Среди европейских и латиноамериканских сторонников колонизации были либералы, которые видели в ней прогрессивное начинание, раздвигающее границы независимых латиноамериканских государств или распространяющее немецкую культуру за океаном. В Северной и Южной Америке колонизация территорий зависела от способности деколонизированного государства обеспечить безопасный захват земли. Национальные элиты в Южной Америке расширяли собственное влияние совместно с внешними колонистами, и некоторые из их практик управления территориями, на которых сосуществовали поселенцы и коренные жители, напоминали практики управления формально колонизированными землями [Knight 1999: 141].

В 1880-е годы, когда русский царь изгнал поволжских немцев, целые деревни переселились в Аргентину и Бразилию. Еще в 1900 году Германское общество переселенцев пропагандировало миграцию в Южную Бразилию, Парагвай, Чили, Канаду и Австралию, которым зачастую отдавалось предпочтение перед заморскими владениями Германии. Такая форма колонизации несла с собой идеологию пангерманизма — превозносившую, среди прочего, переселение в край, где нет евреев [Conrad 2010: 543—566; Wagner 2016: 56]. Однако в конце столетия поборники распространения имперского влияния Германии искали пространство для заселения поближе — в Восточной Европе. Эти изменения имели фатальные последствия в XX веке [Berger 2015: 262][14].

Коренные народы нередко оказывались перемещенными в результате переселения на их земли граждан новых республик или недавних иммигрантов. Этот процесс был кровавым [Miki 2018]. Колонизаторы обычно не хотели об этом задумываться, и их сторонники в Европе либо замалчивали насилие, либо настаивали на том, что перемещение или даже уничтожение коренного населения необходимо для экономического прогресса [Penny 2003]. В то время как шокирующее насилие в Бельгийском Конго обернулось международным скандалом, разрушительные последствия колонизации земель в других контекстах оставались скрыты под покровом нормы.

В глобальном масштабе колонизация территорий европейцами хронологически совпала с колонизацией как государственным проектом территориальной аннексии. В 1830 году, спустя пятнадцать лет после разгрома Наполеона I, Франция вступила в новую фазу имперской экспансии, отвоевывая Алжир у Османской империи, а затем подчиняя своему влиянию другие территории в Северной Африке. В 1852—1870 годах другой Наполеон, племянник Первого, назвал свой режим Второй империей. Как подсказывает его мексиканская авантюра, этот Наполеон пытался собрать воедино сложносоставную политию с различными формами управления, взяв за образец одновременно Наполеона Бонапарта и Римскую империю. Его идеи активно оспаривались и эволюционировали, но в целом его мышление было сформировано, согласно формулировке Кристины Кэрролл, образом французской империи «как мно-

14 Бергер указывает на аргументы в поддержку «колонизации» Восточной Европы, звучавшие в начале XX века, которые ссылались на предыдущий опыт поселений на Американских континентах и практически игнорировали славянские народы, жившие в этих привлекательных регионах [Berger 2015: 262—263].

гонационального единства, состоящего из различных народов, управляемых единой центральной администрацией» [Carroll 2019: 86]. В отношении Алжира Наполеон III гордо заявил, что он император не только французов, но и арабов. В период Второй империи, а также наследовавшей ей Третьей республики Франция утвердила протектораты и колонии в Юго-Восточной Азии и Африке [Sessions 2011]. Сохранение «старых колоний» в Карибском бассейне, безрезультатная мексиканская авантюра, упор на то, что Алжир является составной частью Франции, хотя большинство его жителей не обладают правами гражданства, признание по крайней мере некоторых таких прав за жителями старых колоний в Сенегале и непризнание этих прав за новообретенными подданными в других частях Африки, расчет на формирование протекторатов посредством договоров, заключаемых с местными монархами, вместо создания колоний — все эти аспекты французской политики были вариациями на тему утверждения вертикали имперской власти[15].

Германия в 1871 году объявила себя рейхом, а своего правителя — кайзером (то есть цезарем), тем самым отождествляясь со Священной Римской империей (первым рейхом, от которого вели отсчет остальные). Эта новая империя инкорпорировала носителей польского, датского и французского языков, отказавшись при этом от аннексии немецкоязычной Австрии, несмотря на поражение последней в войне 1866 года. Таким образом, Германия выбирала стратегию «империализации», а не «национализации» [Ther 2004]. Вскоре эта держава начала захватывать заморские территории.

«Драка за Африку» 1870—1914 годов происходила в условиях расширяющейся сети все более стремительного транспортного сообщения и коммуникаций: пароход, телеграф, Суэцкий канал. Все эти изменения — обозначаемые неточным общим термином «глобализация» — осуществлялись в мире, господство в котором продолжительное время сохраняли за собой немногочисленные империи. Как и на протяжении большей части исторического времени, эти империи были обеспокоены вопросами контроля над разнородным населением и своим собственным политическим и идеологическим единством, но больше всего они были обеспокоены друг другом. В конце XIX века интересы наращивавшей промышленную мощь Германии, а также экономически влиятельных Британии и Франции наталкивались на по-прежнему геополитически значимые позиции Австро-Венгрии, Османской империи и России. От греческих войн до Крымской Британия, Франция, Россия и Турция пытались ограничить влиятельность друг друга, иногда используя для этого подручных — религиозные или этнические меньшинства в империях соперников. Колонизация Африки носила упреждающий характер, так как каждая из держав была обеспокоена тем, что другая может начать действовать первой, чтобы получить монопольное право пользования ресурсами. Технологический прогресс в XIX веке создал возможность занять какое-то количество территорий с минимальными затратами, и каждая из сторон опасалась, что это сделают другие.

На вызовы, связанные с развитием коммуникаций и конкуренцией, державы отвечали прочерчиванием границ, которые разделили Африку и Азию

15 По этой причине я считаю выдвигаемую некоторыми историками концепцию «новой» французской империи XIX века (или второй британской империи) менее полезной, чем изучение меняющегося репертуара имперской власти. См.: [Burbank, Cooper 2010].

на зоны имперской монополии и потенциальной изоляции; разными народами управляли по-разному. Разделив между собой Африку, европейские страны почти ничего не вкладывали в эти территории и задействовали минимальный административный аппарат — за исключением случаев добычи дорогостоящего сырья или переселения белых колонистов. Колонизация была всемирным феноменом и некоторое время казалась нормальной частью глобальной политики, но при этом представляла собой эклектичный набор разнородных интересов, степеней контроля, уровней вовлеченности [Burbank, Cooper 2010: 287—329].

Одновременно с тем, как небольшое количество стран-колонизаторов установили территориальный контроль над своими новыми владениями, изменилась риторика элит в этих государствах. Флориан Вагнер отмечает начавшийся в 1890-е годы переход от поощрения колониализма, осуществляемого путем создания поселений, к административному управлению и эксплуатации колоний — разновидности колонизации, при которой коренные народы и их общества остаются на месте и оказываются подчинены научно организованной системе управления. Международный колониальный институт, основанный в 1893 году ведущими предпринимателями и чиновниками из разных стран Европы, возглавил переход от одной формы колонизации к другой. Он искал решение проблемы, с которой сталкивались все империи: как организовать пространство по всему миру, связанное различными инфраструктурными сетями и при этом разделенное на политические блоки — национальные в Южной Америке, имперские в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии [Wagner 2022].

Поселенцы, однако, никуда не делись — наоборот, в некоторых местах они упорно цеплялись за свои колонии. Что бы ни говорили идеологи новой, рациональной формы колонизации, колонисты обладали способностью держаться крепко, даже когда их присутствие вызывало раскол в имперских правительствах. Поборники интернационалистского колониализма отказались признавать поселенцев спустя десятилетия после того, как колонисты в Западном полушарии отказались признавать над собой колониальное господство. Колонисты сыграли важную роль в некоторых из наиболее жестоких эпизодов колонизации и деколонизации — к примеру, в Кении, Родезии и Алжире. Поселения являются ключевым элементом продолжающегося конфликта в Израиле/Палестине, где еврейские колонисты начали покупать землю во времена господства Османской империи, получили привилегированный статус, когда регион контролировали британцы, достигли независимости в 1948 году, вытеснив многих палестинцев с их земли в изгнание, и продолжили колонизацию палестинских земель после 1967 года[16]. То, что часто именуют формой колониализма, осуществляемого путем создания поселений (settler colonialism)[17], зачастую приобретало более агрессивный характер, покидая пределы колониальной империи и становясь частью политики *национального* государства, как произошло в Соединенных Штатах, Австралии или Израиле [Cavanaugh, Veracini 2016; Elkins, Pedersen 2005; Veracini 2010]. Колонизация территорий в Западном по-

16 Недавние дополнения к теоретической литературе по этой противоречивой теме включают в себя: [Fields 2017; Khalidi 2020].

17 На уровне империй это понятие является проблематичным, потому что империи часто задействовали репертуар стратегий, совмещавший поселенческие колонии, администрируемые колонии — источники природных ресурсов и протектораты.

лушарии происходила в контексте деколонизации; в Азии, Африке и на Ближнем Востоке колонизация территорий стала частью репертуара колонизирующих государств.

Разрывы и преемственность в истории колонизации

Необходимо поставить под сомнение еще один тезис линейного повествования о конце империи: будто бы глобальная деколонизация если и не началась в 1776 году, то точно отсчитывает свою историю с доктрины о «самоопределении», принятой после Первой мировой войны. Для Вудро Вильсона самоопределение относилось только к белым, но более изощренные версии этого нарратива утверждают, что гнев, вызванный исключением колонизированных народов из этой концепции, запустил мобилизационные процессы, направленные против империи. Сторонники этого тезиса указывают на восстания в Египте, Индии, Корее, Китае и Ирландии. Однако экстраполяция на основании этих событий является проблематичной. За исключением Ирландии, все эти освободительные движения были подавлены. Колониальные державы попрежнему обладали обширным арсеналом властных инструментов и не раздумывая пользовались ими. В Африке наиболее значительными изменениями на карте колониальных владений между 1918 годом и Второй мировой войной стало перераспределение германских колоний между другими империями и завоевание Эфиопии итальянцами. Тем временем в XX веке возникли новые формы империй и имперского воображаемого: Советский Союз, Япония, нацистская Германия, фашистская Италия[18].

Появились также новые формы политического воображаемого, которые не были ни имперскими, ни национальными — по крайней мере, национальными в территориальном смысле: панафриканизм, панславизм, панарабизм. Революционное воображаемое апеллировало к идее универсального порядка, соотношение которого с национальными притязаниями могло быть различным и менялось в ответ на различные формы активизма, а также на меняющиеся стратегии Советского Союза. В 1920—1930-е годы были открыты альтернативные направления для усиления контроля в колониальных империях, для новых форм империи и для различных форм антиколониальной мобилизации. Прочертить ожидаемый путь от 1919 года к деколонизации 1950-х и 1960-х годов — значит проигнорировать матрицу возможностей, в рамках которой действовали люди, и обойти молчанием колоссальные последствия еще одной мировой войны[19].

---

18 Эта мысль развивается в: [Burbank, Cooper 2019]. Изысканную версию аргумента о самоопределении и закате империи можно найти в: [Manela 2007]. Влияние самоопределения и национальных государств сейчас подвергается критическому пересмотру, см.: [Ther 2014; Weitz 2019].

19 В последнее время историки перешли от изучения развития националистических движений на территориях, которые впоследствии станут независимыми государствами, к рассмотрению трансимперских связей, будь то коалиции националистических движений, движения, направленные на изменение мирового порядка, глобальный коммунизм, диаспорическая солидарность или другие формы взаимодействий. Недавний пример см. в: [Louro et al. 2020].

Влияние Второй мировой войны на колониальные империи было еще более заметным, чем Первой мировой, и не потому, что британская, французская, голландская империи неотвратимо угасали под действием самоопределения народов. Конфликты между империями приобрели новое направление в результате подъема нацистского Рейха, а также двух других могучих политических образований, которые утверждали, что не являются империями, — СССР и США [Mazower 2008]. Вторая мировая война в Европе была почти столь же разрушительна для победителей, как и для побежденных, приведя к утрате промышленных мощностей и экономической инфраструктуры, долгам и подрыву расовой самоуверенности[20]. Но наибольшие изменения были связаны с появлением еще одной империи — Японии. По итогам Первой мировой войны Япония оказалась более процветающей, чем когда-либо прежде. Она укрепила свои позиции в Корее и к 1930-м годам начала вторжение в Китай, а затем на контролируемые европейскими странами территории в Юго-Восточной Азии [Itagaki et al. 2012; Yellen 2019; Young 2018]. Именно в Юго-Восточной Азии и начала распадаться европейская колониальная империя[21].

Кризис империи в первые послевоенные годы также испытал влияние конфликта между двумя наиболее очевидными победителями во Второй мировой войне, США и СССР. В начале 1940-х годов в администрации Соединенных Штатов были сомнения относительно того, стоит ли ввязываться в борьбу за колониальные империи Британии и Франции, но в свете войны и назревающего противостояния с коммунизмом США решили сэкономить силы. В 1946 году они отказались поддержать попытку Нидерландов реколонизировать голландскую Ост-Индию — видя в движении, возглавляемом Сукарно, разновидность национализма, с которым можно ужиться, — но оказали содействие Франции ее попытке реколонизировать Вьетнам — где, по (обоснованному) мнению лидеров США, Хо Ши Мин затевал коммунистическую революцию — в борьбу с которой они сами позднее вступят. Десять лет спустя правительство США остановило военное вмешательство Франции, Британии и Израиля в национализацию Суэцкого канала Египтом. Давая понять, что они готовы уживаться с националистическими лидерами вроде Сукарно и Насера, Соединенные Штаты обозначили стремление мыслить не в категориях ограниченного количества переживающих закат империй, а в категориях национальных государств, за чью лояльность, рынки и политическое воображаемое будут соперничать две оставшиеся сверхдержавы. Учитывая экономическую мощь и культурное влияние США, а также развитую сеть военных баз, обозначающих их военное присутствие, американские лидеры видели большую выгоду в мире, состоящем из множества национальных государств, а не из немногочисленных империй. В своем противостоянии глобальному коммунизму и терпимом, если не попустительском, отношении к политическим инициативам, осуществляемым в национальной парадигме, США способствовали развитию

20 Появляется все больше работ о Второй мировой войне в колониях, и эти исследования показывают, как война одновременно сделала видимыми значимость колоний для европейских держав, хрупкость их контроля над колонизированными территориями и эксплуатацию, лишения и гнев, которые испытывали колонизированные народы. См., к примеру: [Jennings 2015].

21 См. примеры исследований, в которых предпринимаются трансрегиональные сравнения: [Bogaerts, Raben 2012; Thomas, Thompson 2018].

деколонизации по конкретному сценарию, предусматривавшему создание национальных государств[22].

Изначально, даже учитывая распад империй в Юго-Восточной и Южной Азии, вовсе не было очевидно, что такой сценарий является единственно возможным. Колониальные державы считали, что у них еще есть неиспользованные козыри, а антиколониальные движения ставили перед собой целый ряд различных целей.

Пересборка империи, распад империи

Как я уже говорил выше, линейная история деколонизации не позволяет убедительно связать конец XVIII века с серединой XX столетия, несостоятельна она и в отношении событий, непосредственно последовавших за 1945 годом. В действительности и продолжавшие существовать колониальные державы, и некоторые из наиболее серьезных их противников в это время пытались перестроиться. В 1945 году ни те, ни другие не могли знать, что их противостояние окончится независимостью и созданием территориальных национальных государств. Величайшие умы эпохи предусматривали и другие возможные сценарии.

Изначально Франция и Великобритания в ответ на потери в Азии начали уделять больше внимания своим африканским колониям. На этих колониях я и сосредоточусь в оставшейся части статьи. Британское и французское правительства видели в африканских колониях источник ресурсов — сырья, которое они больше не могли получать из Азии. Эти ресурсы были особенно ценными из-за необходимости продавать сырье за доллары, чтобы французская и британская экономики смогли снова оказаться на плаву. Это означало возросшее внимание к концепциям «развития», которые должны были улучшить производительные мощности африканских колоний, в то же время подводя основание под утверждения, будто колониальный режим помогает африканцам улучшить уровень жизни. Развитие оказалось палкой о двух концах, скорее разжигая конфликты, чем способствуя их преодолению, и наглядно демонстрируя, что любые притязания на политическую власть по сути сводятся к борьбе за ценные ресурсы[23].

Ни британское, ни французское правительство в 1945 году не думало, что настал момент отказаться от империи. Лидеры Великобритании полагали, что их африканские владения могут стать опытным полигоном для передачи власти, но лишь по завершении длительного процесса образования местных жителей (которым колонизаторы не особенно занимались). А французская элита сделала более далеко идущие шаги по предоставлению африканцам прав гражданства в империи, хотя и ограничила их в избирательных правах.

---

22 Джон Келли и Марта Каплан утверждают, что антиколониальные движения в послевоенные годы не были сосредоточены исключительно на создании независимых национальных государств, но ООН сыграла важную роль в том, что такая перспектива стала единственно возможной [Kelly, Kaplan 2004]. Можно спорить о том, насколько мы готовы согласиться с этим мнением. О США, холодной войне и деколонизации см. также: [Connelly 2002; Westad 2011].

23 См. недавние работы в бурно развивающемся поле истории развития (обратите внимание на любопытную разницу подзаголовков): [Lorenzini 2019; Unger 2018].

Подобно Кадисской конституции 1812 года, французская конституция 1946 года была попыткой найти новые основания для разнородной политической общности, и в обоих случаях — хотя и по-разному — проект конституции тянули в противоположные стороны те, кто хотел вновь сконцентрировать власть в центре, и те, кто хотел предоставить больше независимости заморским территориям. Небольшая, но активная группа африканских делегатов участвовала в работе ассамблеи, готовившей текст конституции, и их основным требованием было предоставление французского гражданства жителям колоний, считавшимся французскими «подданными» без гражданских прав. В ходе прений некоторые из депутатов ссылались на эдикт Каракаллы 212 года новой эры, который сделал гражданами Римской империи все ее свободное мужское население, не требуя от них при этом, как отметил один из депутатов, отказаться от их собственной культуры.

Отправной точкой для притязаний африканцев стало не абстрактное видение национального государства, а иерархическая структура, в которой все жители колоний безусловно были французами, но не одинаковыми и не равными друг другу. Эта историческая имперская парадигма вызывала более живой отклик, чем интернациональные; она отсчитывала свою историю от Декларации прав человека и гражданина 1789 года и от того краткого периода в 1790-е годы, когда перед лицом угрозы со стороны роялистов, империй-соперниц и мятежных рабов Французская республика освободила рабов на своих территориях в Карибском бассейне и дала им статус граждан (уже в 1802 году Наполеон восстановил рабство и отнял у рабов гражданские права). Возглавлявший борьбу за права гражданства в 1946 году сенегалец Леопольд Седар Сенгор отстаивал предоставление политических прав в масштабах всей империи[24].

В 1940—1950-х годах попытки перестроить империю, превратив ее в федеративное образование с меньшим уровнем неравенства, существовали наряду с требованиями немедленно предоставить колониям полную независимость. Но сторонники независимости не обязательно видели в суверенном национальном государстве свою единственную цель. Адом Гетачев отсылает в этой связи к политике «миростроительства» (worldmaking). Установления контроля над национальным государством было бы недостаточно для того, чтобы дать колонизированным народам шанс улучшить свое положение — требовалась трансформация мирового порядка. Многие видели выход из ситуации, созданной колонизацией, в той или иной форме федерализма: Сенгор мечтал о конфедерации бывших колоний с их бывшей метрополией, Кваме Нкрума — о федерации или конфедерации независимых африканских государств. Вест-индские политики пытались — в итоге безуспешно — образовать федерацию островных территорий [Getachew 2019].

Рассматривались и другие способы переустроить политическое пространство. Вскоре после окончания войны европейские правительства начали переговоры о том, что они уже тогда называли Европейским союзом. Для достижения этой цели потребовалось более четырех десятилетий, но европейские амбиции Франции незамедлительно создали проблему заморских территорий (как теперь назывались колонии). Французские политики беспокоились, что

24 Дискуссия по поводу предоставления гражданских прав жителям колоний в рамках новой конституции послевоенной Французской Республики, включая участие Сенгора, подробно обсуждается в: [Cooper 2014].

присоединение к «Европе» может разделить Францию на две части — ее европейскую и африканскую составляющие. Африканские лидеры, только что получившие права французского гражданства, настаивали на том, что хотели бы иметь право голоса и в более крупном объединении, если оно будет создано. Обе стороны начали призывать к созданию «Еврафрики»[25].

Подобное объединение открыло бы более обширные рынки для африканской продукции и перераспределило бы бремя развития на партнеров Франции. Также существовал реальный риск, что колониальное господство превратится в панъевропейский проект. Дискуссия о Еврафрике на время затихла, так как амбиции европейских лидеров перешли с образования политической конфедерации на экономическое сотрудничество. Но когда возобновились переговоры о создании Европейского экономического сообщества в 1958 году, Франция настояла на том, чтобы в них были включены ее африканские территории (в том числе Алжир) — в тот момент эта идея все еще пользовалась поддержкой африканцев. В конце концов Германия и другие европейские страны не захотели взваливать на себя бремя бывшей империи, и Франция пошла на уступки. Ее африканские территории получили только «ассоциированное» членство в ЕЭС без права голоса. Тем не менее тот факт, что высшие должностные лица Франции и лидеры африканских политических движений в принципе могли рассматривать такую общность, как Еврафрика, указывает на необходимость с вниманием отнестись к воображаемым пространствам, которые мыслили себе люди в то время — а не только к нашим собственным представлениям о том, как они должны были мыслить.

Алжир, где колонисты, военные и французская администрация способствовали размыванию сути гражданства, в это время уже скатывался в войну 1954—1962 годов, но во французской экваториальной Африке до 1957 года лишь одна политически значимая партия заявила о притязаниях на независимость[26]. Все остальные рассуждали о возможности превратить империю в федерацию или конфедерацию и спорили о значении этих понятий. Статья конституции о гражданстве наделила правами всех, но она также закрепляла различия. Вступление в брак, получение наследства, установление родства для жителей заморских территорий (но не метрополии) не регулировались французским гражданским кодексом. Не то чтобы Франция превратилась в эгалитарный и мультикультурный рай. Она действовала в собственных интересах, пытаясь по мере сил сохранить сложное, многообразное и несправедливое политическое образование, уступить требованиям равенства лишь настолько, насколько необходимо, и сохранить в Париже как можно больше власти. Но Франция не могла контролировать динамику этих отношений.

Гражданство — это концепция, позволяющая формулировать требования. Африканские политические и социальные движения выдвигали свои требования в речах, избирательных кампаниях и законодательных инициативах, а также посредством забастовок и демонстраций в городах и организационной работы в сельской местности. Иногда африканцы получали то, чего требовали. Наибольших успехов они добились с точки зрения социальных прав, потому

25 Среди растущего числа работ о Еврафрике см.: [Bitsch, Boussuat 2005; Brown 2022; Davis 2015; Migani 2008; Montarsolo 2010]. О Еврафрике и политике во французской Африке см.: [Cooper 2014].

26 Об этом исключении см.: [Terretta 2014].

что не было никаких законных или логических оснований, для того чтобы утверждать, что африканцы должны получать менее высокую заработную плату или менее качественное школьное образование, чем остальные граждане. Трудовой кодекс 1952 года представлял собой победу африканских профсоюзов и депутатов: по нему наемные рабочие в Африке получили такую же структуру социальных гарантий и производственных отношений, что и рабочие в европейской части Франции. Новый режим труда был установлен только для наемных рабочих — незначительного меньшинства тружеников (преимущественно мужского пола) в экономиках, остававшихся по большей части аграрными. Чиновники и профсоюзные деятели в основном считали, что экономическая роль женщины сводится к семье или неоплачиваемой деятельности. Действительно, хотя женщины играли значительную роль в политическом и социальном активизме 1940—1950-х годов (и получили избирательные права), ни колониальное государство в последние годы своего существования, ни ключевые лидеры африканских партий не отводили женщинам хоть сколько-нибудь значимого места в формировавшихся политических институциях[27] [Cooper 1996].

Несмотря на всю неравномерность процесса предоставления социальных прав, для колониального государства самым значимым было то, что он обходился дорого и логического конца ему было не видно до тех пор, пока все народы Французского союза (как теперь называлась империя) не добьются сопоставимого уровня жизни. Сам по себе процесс истребования политических прав и социально-экономических благ в рамках Французского союза поддерживал значимость империи в африканском политическом воображаемом. Сенгор пытался удерживать двойной фокус внимания: на том, что он называл «горизонтальной солидарностью» — отношениях африканцев друг с другом — и «вертикальной солидарностью» — отношениях африканцев с Францией. Он в полной мере осознавал асимметричный характер этих «вертикальных» отношений, но они составляли и объект притязаний, и средство для их реализации. У Сенгора был конкретный план для воплощения в жизнь его видения, предусматривавший три уровня: территорию конкретного государства, африканскую федерацию и, наконец, французскую конфедерацию, в которой африканская федерация имела бы равный статус с метрополией и другими составляющими бывшей империи. Феликс Уфуэ-Буаньи, его соперник из Кот-д'Ивуар, представлял себе двухуровневое будущее, в котором каждая из заморских территорий участвовала бы наряду с метрополией в федерации равных.

Поиск некой формы федеративной структуры в качестве замены империи продолжался до 1960 года. Инициатива, которая наиболее существенным образом ослабила его, исходила от французского правительства, столкнувшегося с издержками развития и гражданства. В 1956 году французы согласились передать управление внутренними делами — и ответственность за сопряженные с ним расходы — выборным законодательным органам каждой территории, сохранив при этом французский суверенитет над ними. Политические партии сосредоточились на том, чтобы выиграть местные выборы и заполучить власть на уровне территории, и цель Сенгора создать африканскую федерацию внут-

27 О гендере и политике см. специальный выпуск журнала «Социальное движение» (Le Mouvement Social. 2016. No. 255) «Африканские женщины и коллективная мобилизация (1940—1970-е годы)» под редакцией Эммануэль Буйи и Офели Рийон, а также: [Berger 2016].

ри французской конфедерации стала труднодостижимой. Прежде задача заключалась в том, чтобы африканцы сотрудничали друг с другом, а не только с Францией. На фоне конфликтов между африканскими лидерами первый вид сотрудничества стал казаться все более призрачным, а второй утратил привлекательность: федерация перестала быть жизнеспособной альтернативой.

Вновь значимым оказался глобальный контекст: Гана получила независимость в 1957 году, Организация Объединенных Наций и другие международные институции признавали и давали право голоса новообразованным государствам. Когда Гвинея в 1958 году в последний момент решила не участвовать в очередной попытке французов реорганизовать бывшую империю, и между лидерами французской Африки разгорелся конфликт по поводу федерации (окончившийся созданием ее усеченной версии, федерации Сенегала и Французского Судана, которая вскоре, в августе 1960 года, распалась из-за соперничества политических лидеров), жребий был брошен: независимость обрела форму территориальных государственных образований.

Раньше Сенгор и его коллеги рассуждали о создании африканской нации. С сентября 1960 года они стали говорить о создании сенегальской нации. Сенгор, как и многие другие, пытался найти ее истоки в прошлом. Мы, будучи учеными, не обязаны этого делать. В нашем распоряжении имеются способы исследовать более разнообразные формы политического воображаемого, и мы можем рассмотреть перипетии, приведшие к положению, в котором многие исторические акторы 1940—1950-х годов вовсе не хотели оказаться.

В других имперских контекстах деколонизация развивалась по иным сценариям. Британская империя ориентировалась на модель Содружества, в котором ее владения, такие как Канада, приобретали политическую автономию, оставаясь формально подчинены королю или королеве, но фактически постепенно становясь все более независимыми. Еще в 1950 году большинство британских чиновников полагали, что в Африке этот процесс может растянуться на десятилетия. Но, как и в случае Франции, ход событий определяли не они. Хотя обе страны смогли устранить с политической арены с примечательной жестокостью отдельные движения, которые они считали чересчур радикальными (например, в Камеруне и Кении), иногда им приходилось пересоздавать репутацию африканских лидеров, которых они прежде демонизировали (таких как Кваме Нкрума и Джомо Кениата), превращая их в образцы умеренности и современности, в сотрудничестве с которыми можно было провести деколонизацию по приемлемому для колонизаторов сценарию. Менее централизованная британская система не поощряла полагаться на руководящую роль Лондона в той мере, в какой французская колониальная система предусматривала главенство Парижа; невозможно было себе представить, чтобы африканцы заседали в британском парламенте, как в Национальной ассамблее Франции.

Но воображение Нкрумы простиралось за пределы Ганы, как и воображение Сенгора — за пределы Сенегала. В 1958 году, год спустя после обретения независимости, Нкрума готов был поступиться частью столь дорого доставшегося Гане суверенитета ради создания Соединенных Штатов Африки. Его целью было освобождение не только Ганы, но и всей Африки. Однако другие африканцы не хотели отказываться от своих позиций, чтобы последовать за ним. Нкрума смог заключить краткосрочные политические союзы с Мали и Гвинеей и весьма энергично агитировал африканцев сплотиться в борьбе с иностранными вмешательствами в дела континента, за освобождение стран, в которых все еще

господствовали белые, и за установление контроля над экономическими ресурсами и взаимоотношениями. Так или иначе, пространственное воображение некоторых из наиболее воинственных африканских лидеров не было сосредоточено исключительно на обретении независимости в форме национального государства, но предполагало более широко понимаемые формы освобождения и пространственной интеграции [Getachew 2019]. Путь от первой волны деколонизации к освободительным движениям 1950—1960-х годов не только не был линейным — его конечная цель стала очевидна лишь ближе к концу.

Белые поселенцы в Центральной и Восточной Африке предлагали схемы федеративного устройства, направленные на распространение своего собственного влияния на соседние территории, но африканские лидеры, от которых не укрылся истинный смысл этих проектов, оказывали им противостояние, в конечном итоге успешное. Но федерализм — в специфическом восточноафриканском изводе или в панафриканском — продолжал привлекать и некоторых из этих политиков. Джулиус Ньерере, глава новообразованной независимой республики Танганьика, активно отстаивал свое видение родства всех африканцев и политической жизни, выходящей за пределы национальных границ, участвуя в деятельности трансконтинентальных радикальных движений. Как и другие африканские лидеры, в последующие годы Ньерере осознал, что как только каждая из территорий обретала независимость — следуя по своему собственному уникальному пути конфликтов и переговоров, — возможности образования федерации становились все более туманными. Правящие элиты к этому моменту оказывались лично заинтересованными в сохранении своих позиций, которые отныне определялись национальными границами [Vaughan 2019].

Сами попытки государственных деятелей преодолеть границы государств подтверждали ключевую роль национального суверенитета в формировании их взглядов. Правящим элитам приходилось опираться на внутренние и внешние отношения, которые определяли степень их контроля над институтами народовластия. Многие африканские государства нуждались в помощи богатых стран и международных финансовых организаций, которым они адресовали свои требования и критику. Асимметричные властные отношения в планетарном масштабе оказалось крайне сложно преодолеть [Berger 2004][28].

Замыкание политики в рамках национальных территорий не только убило мечты об укрупнении, но и стало препятствием на пути к локальным объединениям, к возможности самоуправления и самовыражения для общностей внутри национального государства. Сенгор, один из наиболее активных сторонников федеративного устройства на всем Африканском континенте, поначалу сотрудничал с региональными политическими движениями в Сенегале, но, когда власть оказалась в руках африканцев, он стал ярым противником превращения Сенегала в федеративное государство. Унитарное устройство было необходимо для участия в африканской федерации или французской конфедерации [Dalberto 2020][29]. Здесь мы можем различить эхо первой волны деколонизации: федеративные устремления 1810—1820-х годов в свое время

28 О неудачной попытке провести вторую Бандунгскую конференцию см.: [Byrne 2016].

29 Нкрума также был убежденным оппонентом регионализма в своей собственной стране, и федералистская альтернатива в Кении тоже оказалась подавлена [Allman 1993; Brennan 2008].

были крайне значимы, но впоследствии отвергнуты (частичным исключением стала Бразилия и Мексика) в пользу более унитарных государств, из которых состоит современная политическая карта Южной и Центральной Америки [García 2016]. Страх перед сепаратизмом и пересмотром границ нередко был обоснованным как в 1820-е, так и в 1960-е годы. В 1963 году Организация африканского единства сделала сохранение существующих границ ключевым принципом для всего континента, пытаясь тем самым предотвратить конфликты и поддержать находящихся у власти правителей.

Волна деколонизации 1950—1960-х годов задала рамки, в которых отныне существовали остатки колониальных империй. Португальская империя к этому времени не предоставила политических прав даже жителям метрополии. Политическим движениям в африканских колониях Португалии пришлось прибегнуть к вооруженной борьбе, чтобы получить то, что большинству африканцев досталось в результате иных форм мобилизации. Когда соседние страны получали независимость, они предоставляли другим не только модель для подражания, но и безопасные зоны, в которых могло укрепляться партизанское движение. К тому моменту, когда антиколониальные войны в середине 1960-х годов разгорелись не на шутку, паттерн уже устоялся: Ангола, Мозамбик и Гвинея-Биссау были на пути к превращению в территориальные государства. К 1975 году они достигли этой цели, попутно поспособствовав свержению авторитарного правительства в Португалии, которая в итоге стала одновременно более националистической и более европейской, чем была в составе империи[30].

В странах с относительно высокой плотностью белого населения — в частности в Южной Африке и Родезии — к 1960-м годам господство белых в значительно меньше воспринималось как норма. Одностороннее объявление независимости Родезии в 1965 году, выраженное в декларации, намеренно подражавшей североамериканскому прототипу 1776 года, произошло из-за страха белых поселенцев, в колониальную эпоху получивших фактическое самоуправление, что Британия пойдет по уже устоявшемуся пути деколонизации — передачи власти мажоритарному правительству, состоящему из африканцев. Белые родезийцы начали долгую и ожесточенную войну за сохранение власти в своих руках, но к 1979 году они проиграли. Белые лидеры Южной Африки, несмотря на самоуправление, которым страна пользовалась с 1910 года, только к 1994 году поняли, что суверенитет не спасет их власть от воинствующего африканского большинства в сочетании с осуждением со стороны мировой общественности[31].

Политические движения в Африке в своей борьбе преследовали разнообразные цели: улучшение условий жизни, участие в каких бы то ни было политических институтах, признание ценности различных пониманий культуры. Но результатом стало обретение ими национального государства, с его возможностями и ограничениями. Каждое из них получило признание в качестве одной из почти двухсот стран мира, претендующих на юридическое равенство друг с другом. Исторически с течением лет, десятилетий и столетий возника-

30 О конце португальской империи в сравнительной перспективе см.: [Bandeira Jerónimo, Costa Pinto 2015].

31 См.: [White 2015], а также обширную литературу по вопросу обретения независимости Южной Африкой.

ли и исчезали различные альтернативы этому варианту развития событий — и возможно, они еще вернутся.

Притязания на глобальное равенство: возможности и ограничения деколонизации

История деколонизации не является ни единой, ни линейной. С XVIII — начала XIX столетия и до XX века политические акторы представляли себе различные миры будущего, приходящие на смену тем мирам, которые знали они сами. Первая волна деколонизации не столько оставила четкий план действий, сколько показала, какие ожесточенные споры могут разгореться по поводу деколонизированного будущего. Более века спустя старые империи по-прежнему пытались приспособиться, адаптируя свои стратегии; новые империи появились и — в некоторых случаях — исчезли; противники империй рассматривали новые альтернативы. Возможно, если бы события Второй мировой войны развивались как-то иначе, колониальные империи все равно были бы обречены. Но как и когда они закончили бы свое существование? В действительности их закат был спровоцирован появлением новой империи в Азии и войной между империями, которая истощила ресурсы всех колониальных держав.

Подвергая сомнению линейный нарратив о деколонизации, я также указываю на границы самого этого понятия. Его базовый, чисто негативный смысл прост и понятен: деколонизация означает формальное окончание господства определенной державы над территорией, которую эта держава воспринимает одновременно как отдельную от себя и как подчиненную. В этом смысле обретение независимости странами Северной и Южной Америки между 1780-ми и 1820-ми годами с тем же основанием может быть названо «деколонизацией», как и любые другие подобные процессы. Ян Янсен и Юрген Остерхаммель в недавней книге предлагают более строгое определение: «одновременный распад нескольких трансконтинентальных империй и создание национальных государств во всех областях глобального Юга» [Jansen, Osterhammel 2017: 1—2]. Исследователи подчеркивают эту мысль, отдельно отмечая «делегитимизацию любой политической власти, которая предусматривает подчинение» по отношению к другой стране [Ibid.][32]. Исходя из этого определения, первая волна деколонизации не может считаться таковой — в отличие от второй.

Другие авторы уделяют внимание не только прекращению политического подчинения. В одноименной книге 1986 года кенийский романист и драматург Нгуги Ва Тхионго говорил о «деколонизации сознания» [Thiong'o 1986]. Другие утверждают, что то, что они пренебрежительно именуют «деколонизацией флагов», не привело к деколонизации экономики и не устранило тенденцию новых государств ограничивать свои политические институции рамками предположительно западных форм[33]. Интеллектуалы и академики в Африке и за ее

32 Другие авторы отмечали сложность определения спектра значений, связанных с понятием «деколонизация» [Kennedy 2016; Mir 2015].

33 Об экономической деколонизации см.: [Nkrumah 1966]. Беглый поиск в «Google» выдаст страницы, посвященные деколонизации университета, музея, истории, науки и т.п. О различиях между узким и широким подходами к определению деколонизации см.: [Thomas, Thompson 2018: 1—26].

пределами подвергаются критике за то, что мыслят «западными» категориями. Полной деколонизации, с этой точки зрения, еще только предстоит достичь[34].

Узкое определение деколонизации предлагает видеть в ней резкую перемену: некая территория не обладала суверенитетом — и вот у нее появился суверенитет. А суверенитет имеет значение, хотя только предстоит выяснить, насколько оно велико и в чем именно проявляется[35]. Прогрессивные лидеры в испанской Америке начиная с 1820-х годов пытались как-то использовать суверенитет, и во многих отношениях им это удалось. Они попробовали избавиться от попыток Испании контролировать торговлю в Атлантическом океане, как и политическую территорию, а после обретения независимости продолжали противостоять экономической власти Великобритании и США. Африканские лидеры начиная с 1960-х годов также пытались использовать суверенитет в своих собственных интересах и иногда также в интересах народов, которые они представляли. Им пришлось это делать в мире, который характеризовался высоким уровнем неравенства. Какими бы бедными и слабыми в военном отношении ни были деколонизировавшиеся страны, они больше не подчинялись одному-единственному хозяину, а могли — в соревновательном международном окружении — выбирать себе покровителей среди стран-соперниц. Столь различные страны, как Алжир и Кот-д'Ивуар, делали это вполне успешно, по крайней мере некоторое время [Bamba 2016; Byrne 2016]. Они обнаруживали, что суверенитет — это не нечто абсолютное, так, что он либо есть, либо его нет, а относительное явление: некоторые страны были более суверенными, чем другие, но ни одна не являлась полноправной хозяйкой своей судьбы[36].

Даже в узком смысле деколонизация представляет собой процесс, а не момент. Конец колониальным империям совместно положили многообразные притязания и различные формы борьбы: в 1810—1820-е годы ведущую роль сыграли требования принять конституцию Испании и образование революционных советов в различных частях испанской Америки, во французской империи XX века — войны во Вьетнаме и в Алжире, а также стремление колонизированных народов, в особенности населения Экваториальной Африки и Антильских островов, на правах французских граждан требовать социального и экономического равенства. В имперских столицах страх перед революцией, настоятельная необходимость реформ и связанные с ними расходы стали усиливающими друг друга факторами, подталкивая процесс пересборки империи в сторону передачи суверенитета.

Заключение

Попытка создать новый международный экономический порядок подсказывает, что в 1970-е годы альтернативные образы глобального политического пространства все еще были актуальны. Эта попытка стала частью совокупности

34 Использованию европейских категорий для изучения колонизированных сообществ посвящено уже большое количество работ, например: [Chakrabarty 2000; Chatterjee 1993]. О релевантности этих исследований применительно к деколонизациям в Латинской Америке 1820-х годов см.: [De Lima Grecco, Schuster 2020].

35 Интерпретацию того, что поменялось, а что нет, в одном регионе мира, см. в: [Cooper 2019].

36 Об относительности суверенитета см.: [Agnew 2017].

идей и инициатив, направленных на реорганизацию мировой политической географии, реализовывавшихся в послевоенный период параллельно с развитием национальных движений: панафриканизм, Афро-азиатская конференция, движение неприсоединения, сотрудничество между афро-азиатскими странами и Латинской Америкой (которое иногда называют трехконтинентальным) и «Группа-77». Широко использовались такие понятия, как «третий мир» и «Глобальный Юг». Какими бы проблематичными ни были стоящие за ними представления о мировом политическом устройстве, использование подобных терминов подсказывает, насколько важно для политических активистов было не останавливаться на условном триумфе национального суверенитета, а рассматривать более инклюзивные возможности. Еще могут появиться новые способы мыслить политическое пространство.

Изучение с точки зрения деколонизации появлявшихся и исчезавших возможностей, которые привели к возникновению современного мира, состоящего из почти двухсот государств (большинство из которых обрело суверенитет после 1945 года), одновременно проясняет и затемняет ключевые исторические и политические вопросы. Используя понятие «деколонизация» для описания всей совокупности изменений, произошедших в странах, которые когда-то были колонизированы, мы преувеличиваем влияние колониализма — оно предстает в этом случае тотальным. Тем самым мы упускаем из виду значимость социальной и экономической справедливости, а не только суверенитета, для политических движений в колониях. В итоге появляются неудобные вопросы: возможно, помещение столь больших отрезков истории под рубрику деколонизации только усиливает нарратив о нормальности национальных государств — нарратив, который, с одной стороны, европоцентричен, а с другой — представляет собой обратную проекцию взгляда на мир, сложившегося к концу XX века [Chatterjee 1993]. Может быть, стоило бы вместо этого исследовать политическое воображение разных народов в разных частях света в разные периоды? Возможно, описание проблем, с которыми сталкивается правительство недавно получившего независимость государства, в категориях «деколонизации экономики» сосредоточивает наше внимание на определенных формах проявления власти, в то же время вуалируя другие? Дает ли нам такой угол зрения адекватные инструменты для анализа борьбы с глобальным капитализмом или с эксплуататорскими действиями локальных и национальных элит?

Суверенитет может нести с собой чувство свободы, но он также может стать ширмой, за которой несправедливые правители укрываются от критики извне, объявляя ее неоколониальным вмешательством. Предположение, что за «деколонизацией флагов» должна последовать подлинная деколонизация, исходит из идеи линейного развития, маскирующей борьбу, исход которой может определять, приведет ли обретение суверенитета к освобождению в более широком смысле.

Исследователи уже значительно продвинулись в объяснении того, как колониальный режим повлиял на жизнь людей и породил долгосрочные последствия для экономики, общества, политики и культуры в европейских, африканских и латиноамериканских государствах. Угнетение и эксплуатация задействуют широкий спектр механизмов, которые нам необходимо понять во всей их специфичности, в настоящем и в прошлом, на «Севере» и на «Юге». Мы слишком легко можем сбросить со счетов современные структуры неравенства — не говоря уже об игнорировании двух веков латиноамериканской

и шестидесяти лет африканской истории, — если будем списывать все сложности, с которыми сталкиваются люди в Латинской Америке, Африке и Азии, на наследие колониального прошлого[37]. С другой стороны, использовать понятие «колониальный» метафорически для описания любой формы крайней несправедливости и унижения означает не только избегать анализа этих форм на их собственных основаниях, но и размывать специфику колонизации и деколонизации как таковых [Tuck, Yang 2012]. Из приведенного выше панорамного обзора деколонизаций и колонизаций видно, что требование «независимости» имеет различные значения и подразумевает (а порой скрывает) разные цели.

Итак, с одной стороны, существуют убедительные доводы в пользу широкого понимания деколонизации, которое позволяет нам изучить многочисленные аспекты, в которых образ мыслей, институции и отношения изменились или остались неизменными.

С другой стороны, существуют убедительные доводы и в пользу более узкого и конкретного определения деколонизации, которое дает нам возможность более тонкого анализа власти в нашем полном неравенства мире.

Пер. с англ. Ксении Гусаровой

Библиография / References

[Adelman 2006] — *Adelman J.* Sovereignty and Revolution in the Iberian Atlantic. Princeton: Princeton University Press, 2006.

[Adelman 2008] — *Adelman J.* An Age of Imperial Revolutions // American Historical Review. 2008. Vol. 113. No. 2. P. 319—340.

[Agnew 2017] — *Agnew J.* Globalization and Sovereignty: Beyond the Territorial Trap. Latham MD: Rowman & Littlefield Publishers, 2017.

[Allman 1993] — *Allman J.M.* The Quills of the Porcupine: Asante Nationalism in an Emergent Ghana. Madison: University of Wisconsin Press, 1993.

[Anderson 1983] — *Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.

[Armitage, Subrahmanyam 2010] — *Armitage D., Subrahmanyam S.* The Age of Revolution in Global Context, c. 1760—1840. London: Palgrave Macmillan, 2010.

[Bamba 2016] — *Bamba A.* African Miracle, African Mirage: Transnational Politics and the Paradox of Modernization in Ivory Coast. Athens: Ohio University Press, 2016.

[Bandeira Jerónimo, Costa Pinto 2015] — The Ends of European Colonial Empires: Cases and Comparisons / Ed. by M. Bandeira Jerónimo, A. Costa Pinto. London: Palgrave Macmillan, 2015.

[Beard 2016] — *Beard M.* SPQR: A History of Ancient Rome. London: Liveright, 2016.

[Berger 2004] — *Berger M.* After the Third World? History, Destiny and the Fate of Third Worldism // Third World Quarterly. 2004. Vol. 25. P. 9—39.

[Berger 2015] — *Berger S.* Building the Nation among Visions of German Empire // Nationalizing Empires / Ed. by S. Berger and A. Miller. Budapest: Central European University Press, 2015. P. 247—308.

37 Жан-Фредерик Шоб настаивает, что объяснение того, как империи Иберийского полуострова сформировали историю данного региона, не должно предоставлять нынешним господствующим социальным классам «комфортного алиби» [Schaub 2015: 64]. Сходным образом Марк Турнер утверждает, что, хотя над историографией нациестроительства в Перу «витает призрак» колониализма, элиты постколониального режима несут значительную часть ответственности за нарушение прав коренного населения на землю и воспроизводство неравенства [Thurner 1997: 3].

[Berger 2016] — *Berger I.* Women in Twentieth-Century Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

[Bitsch, Boussuat 2005] — L'Europe Unie et l'Afrqiue: de l'idée d'Eurafrique à la Convention de Lomé I / Dir. M.-Th. Bitsch, G. Boussuat. Brussels: Bruylant, 2005.

[Bogaerts, Raben 2012] — Beyond Empire and Nation: The Decolonization of African and Asian Societies, 1930s—1960s / Ed. by E. Bogaerts, R. Raben. Leiden: KITLV Press, 2012.

[Bonn 1938] — *Bonn M.J.* The Crumbling of Empire: The Disintegration of World Economy. London: George Allen and Unwin, 1938.

[Brennan 2008] — *Brennan J.* Lowering the Sultan's Flag: Sovereignty and Decolonization in Coastal Kenya // Comparative Studies in Society and History. 2008. Vol. 50. P. 831—861.

[Brown 2022] — *Brown M.* The Seventh Member State: Algeria, France, and the European Community. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2022.

[Burbank, Cooper 2010] — *Burbank J., Cooper F.* Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 2010.

[Burbank, Cooper 2019] — *Burbank J., Cooper F.* Empires after 1919: Old, New, Transformed // International Affairs. 2019. Vol. 95. P. 81—100.

[Byrne 2016] — *Byrne J.J.* Mecca of Revolution: Algeria, Decolonization and the Third World Order. Oxford: Oxford University Press, 2016.

[Capman 1846] — Œuvres de Henri Fonfrède recueillies et mises en ordre / Dir. Ch.-L.-A. Capman: En 10 t. T. 8. Bordeaux: Chaumas-Gayet, 1846.

[Carroll 2019] — *Carroll Ch.* Imperial Ideologies in the Second Empire: The Mexican Expedition and the Royaume Arabe // French Historical Studies. 2019. Vol. 42. P. 67—100.

[Cavanaugh, Veracini 2016] — The Routledge Handbook of the History of Settler Colonialism / Ed. by E. Cavanaugh, L. Veracini. London: Routledge, 2016.

[Chakrabarty 2000] — *Chakrabarty D.* Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press, 2000.

[Charlip 2015] — *Charlip J.A.* Latin America in World History // The Cambridge World History / Ed. by J.R. McNeill, K. Pomeranz. Cambridge University Press, 2015. P. 529—535.

[Chatterjee 1993] — *Chatterjee P.* Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993.

[Connelly 2002] — *Connelly M.* A Diplomatic Revolution: Algeria's Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold War Era. New York: Oxford University Press, 2002.

[Conrad 2010] — *Conrad S.* Globalisation and the Nation in Imperial Germany / Transl. by S. O'Hagan. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

[Cooper 1996] — *Cooper F.* Decolonization and African Society: The Labor Question in French and British Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

[Cooper 2014] — *Cooper F.* Citizenship from Empire to Nation: Remaking France and French Africa 1945—1960. Princeton: Princeton University Press, 2014.

[Cooper 2019] — *Cooper F.* Africa since 1940: The Past of the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

[Dalberto 2020] — *Dalberto S.A.* Hidden Debates over the Status of the Casamance During the Decolonization Process in Senegal: Regionalism, Territorialism, and Federalism at a Crossroads, 1946—62 // Journal of African History. 2020. Vol. 61. P. 67—88.

[Daughton 2008] — *Daughton J.P.* When Argentina Was "French": Rethinking Cultural Politics and European Imperialism in Belle-Époque Buenos Aires // Journal of Modern History. 2008. Vol. 80. No. 4. P. 831—864.

[Davis 2015] — *Davis M.H.* Producing Eurafrica: Development, Agriculture and Race in Algeria, 1958—1965: PhD Thesis. New York, 2015.

[De Lima Grecco, Schuster 2020] — *De Lima Grecco G., Schuster S.* Decolonizing Global History? A Latin American Perspective // Journal of World History. 2020. Vol. 31. No. 2. P. 425—446.

[Elkins, Pedersen 2005] — Settler Colonialism in the Twentieth Century / Ed. by C. Elkins, S. Pedersen. London: Routledge, 2005.

[Feros 2017] — *Feros A.* Speaking of Spain: The Evolution of Race and Nation in the Hispanic World. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017.

[Fields 2017] — *Fields G.* Enclosure: Palestinian Landscapes in a Historical Mirror. Berkeley: University of California Press, 2017.

[Finley 1976] — *Finley M.I.* Colonies: An Attempt at a Typology // Transactions of the Royal Historical Society. 1976. Vol. 26. P. 167—188.

[Fitzpatrick 2008] — *Fitzpatrick M.* Liberal Imperialism in Germany: Expansionism and Nationalism, 1848—1884. New York; Oxford: Berghahn Books, 2008.

[Fradera 2018] — *Fradera J.M.* The Imperial Nation: Citizens and Subjects in the British, French, Spanish, and American Empires / Transl. by R. MacKay. Princeton: Princeton University Press, 2018.

[Frymer 2017] — *Frymer P.* Building American Empire: The Era of Territorial and Political Expansion. Princeton: Princeton University Press, 2017.

[Fullagar, McDonnell 2018] — Facing Empire: Indigenous Experiences in a Revolutionary Age / Ed. by K. Fullagar, M.A. McDonnell. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2018.

[García 2016] — *García A.R.* Federalism in Latin America // The Encyclopedia of Postcolonial Studies / Ed. by S. Ray, H. Schwarz. Malden, MA: Wiley Blackwell, 2016. P. 1—9.

[Getachew 2019] — *Getachew A.* Worldmaking after Empire: The Rise and Fall of Self-Determination. Princeton: Princeton University Press, 2019.

[Goswami 2002] — *Goswami M.* Rethinking the Modular Nation Form: Toward a Sociohistorical Conception of Nationalism // Comparative Studies in Society and History. 2002. Vol. 44. No. 4. P. 770—799.

[Helg 2004] — *Helg A.* Liberty and Equality in Caribbean Colombia, 1770—1835. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004.

[Hopkins 2018] — *Hopkins A.G.* American Empire: A Global History. Princeton: Princeton University Press, 2018.

[Itagaki et al. 2012] — *Itagaki R., Mizutani S., Tobe H.* Japanese Empire // The Ashgate Research Companion to Modern Imperial Histories / Ed. by Ph. Levine, J. Marriott. Farnham, UK: Ashgate, 2012. P. 273—299.

[Jansen, Osterhammel 2017] — *Jansen J., Osterhammel J.* Decolonization: A Short History / Transl. by J. Riemer. Princeton: Princeton University Press, 2017.

[Jennings 2015] — *Jennings E.* Free French Africa in World War II: The African Resistance. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

[Kelly, Kaplan 2004] — *Kelly J., Kaplan M.* "My Ambition is Much Higher than Independence": US Power, the UN World, the Nation-State, and Their Critics // Decolonization: Perspectives from Then and Now / Ed. by P. Duara. London: Routledge, 2004. P. 131—151.

[Kennedy 2016] — *Kennedy D.* Decolonization: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 2016.

[Khalidi 2020] — *Khalidi R.* The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917—2017. New York: Henry Holt, 2020.

[Knight 1999] — *Knight A.* Britain and Latin America // The Oxford History of the British Empire: The Nineteenth Century / Ed. by A. Porter. Oxford: Oxford University Press, 1999. P. 122—145.

[Lorenzini 2019] — *Lorenzini S.* Global Development: A Cold War History. Princeton: Princeton University Press, 2019.

[Louro et al. 2020] — The League against Imperialism: Lives and Afterlives / Ed. by M. Louro, C. Stolte, H. Streets-Salter, S. Tannoury-Karam. Leiden: Leiden University Press, 2020.

[Maier 2007] — *Maier Ch.* Among Empires. Cambridge MA: Harvard University Press, 2007.

[Manela 2007] — *Manela E.* The Wilsonian Moment: Self-Determination and the International Origins of Anticolonial Nationalism. Oxford: Oxford University Press, 2007.

[Manz 2014] — *Manz S.* Constructing the German Diaspora: The "Greater German Empire," 1871—1914. London: Routledge, 2014.

[Mazower 2008] — *Mazower M.* Hitler's Empire: Nazi Rule in Occupied Europe. London: Allen Lane, 2008.

[McDonnell 2016] — *McDonnell M.A.* Rethinking the Age of Revolution // Atlantic Studies. 2016. Vol. 13. P. 301—314.

[McGraw 2014] — *McGraw J.* The Work of Recognition: Caribbean Colombia and the Postemancipation Struggle for Citizenship. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2014.

[Migani 2008] — *Migani G.* La France et l'Afrique sub-saharienne, 1957—1963: Histoire d'une décolonisation entre idéaux eurafricians et politique de puissance. Brussels: PIE Peter Lang, 2008.

[Mignolo, Walsh 2018] — *Mignolo W., Walsh C.* On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis. Durham, NC: Duke University Press, 2018.

[Miki 2018] — *Miki Y.* Frontiers of Citizenship: A Black and Indigenous History of Postcolonial Brazil. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

[Mir 2015] — *Mir F.* Introduction: AHR Roundtable: The Archives of Decolonization // American Historical Review. 2015. Vol. 120. P. 844—851.

[Mirow 2015] — *Mirow M.C.* Latin American Constitutions: The Constitution of Cádiz and Its Legacy in Spanish America. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

[Montarsolo 2010] — *Montarsolo Y.* L'Eurafrique contrepoint de l'idée de l'Europe: Le cas français de la fin de la deuxième guerre mondiale aux négociations des Traités de Rome. Aix-en-Provence: Publications de l'Université de Provence, 2010.

[Moyn 2015] — *Moyn S.* Fantasies of Federalism // Dissent. 2015. Vol. 62. P. 145—151.

[Mulich 2017] — *Mulich J.* Empire and Violence: Continuity in the Age of Revolution // Political Power and Social Theory. 2017. Vol. 32. P. 181—204.

[Nkrumah 1966] — *Nkrumah K.* Neocolonialism: The Last Stage of Imperialism. New York: International Publishers, 1966.

[Penny 2003] — *Penny H.G.* The Politics of Anthropology in the Age of Empire: German Colonists, Brazilian Indians, and the Case of Albert Vojtěch Frič // Comparative Studies in Society and History. 2003. Vol. 45. P. 249—280.

[Robinson, Gallagher 1953] — *Robinson R., Gallagher J.* The Imperialism of Free Trade // Economic History Review. 1953. Vol. 6. P. 1—15.

[Sabato 2018] — *Sabato H.* Republics of the New World: The Revolutionary Political Experiment in 19th-century Latin America. Princeton: Princeton University Press, 2018.

[Sanders 2004] — *Sanders J.* Contentious Republicans: Popular Politics, Race, and Class in Nineteenth-Century Colombia. Durham: Duke University Press, 2004.

[Sanders 2019] — *Sanders J.* Decolonizing Europe // The First Wave of Decolonization / Ed. by M. Thurner. London: Routledge, 2019. P. 95—117.

[Schaub 2015] — *Schaub J.F.* The Imperial Question in the History of Ibero-America: The Importance of the Long View // Echoes of Empire: Memory, Identity and Colonial Legacies / Ed. by K. Nicolaïdis, B. Sèbe, G. Maas. London: I.B. Tauris, 2015. P. 61—78.

[Sessions 2011] — *Sessions J.* By Sword and Plow: France and the Conquest of Algeria. Ithaca: Cornell University Press, 2011.

[Shepherd 2006] — *Shepherd T.* The Invention of Decolonization: The Algerian War and the Remaking of France. Ithaca: Cornell University Press, 2006.

[Terretta 2014] — *Terretta M.* Nation of Outlaws, State of Violence: Nationalism, Grassfields Tradition, and State Building in Cameroon. Athens: Ohio University Press, 2014.

[Ther 2004] — *Ther Ph.* Imperial Instead of National History: Positioning Modern German History on the Map of European Empires // Imperial Rule / Ed. by A. Miller and A. Rieber. Budapest: Central European University Press, 2004. P. 47—66.

[Ther 2014] — *Ther Ph.* The Dark Side of Nation-States: Ethnic Cleansing in Modern Europe. London: Berghahn Books, 2014.

[Thiong'o 1986] — *Thiong'o N.* Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature. Portsmouth, NH: Heinemann, 1986.

[Thomas, Thompson 2018] — The Oxford Handbook of the Ends of Empire / Ed. by M. Thomas, A. Thompson. Oxford: Oxford University Press, 2018.

[Thurner 1997] — *Thurner M.* From Two Republics to One Divided: Contradictions of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru. Durham, NC: Duke University Press, 1997.

[Thurner 2019] — The First Wave of Decolonization / Ed. by M. Thurner. London: Routledge, 2019.

[Todd 2021] — *Todd D.* A Velvet Empire: French Informal Imperialism in the Nineteenth Century. Princeton: Princeton University Press, 2021.

[Tuck, Yang 2012] — *Tuck E., Yang K.W.* Decolonization Is Not a Metaphor // Decolonization: Indigeneity, Education and Society. 2012. Vol. 1. No. 1. P. 1—40.

[Unger 2018] — *Unger C.* International Development: A Postwar History. London: Bloomsbury, 2018.

[Vaughan 2019] — *Vaughan Ch.* The Politics of Regionalism and Federation in East Africa, 1958—1964 // The Historical Journal. 2019. Vol. 62. P. 519—540.

[Veracini 2010] — *Veracini L.* Settler Colonialism: A Theoretical Overview. London: Palgrave Macmillan, 2010.

[Wagner 2016] — *Wagner F.* Colonial Internationalism. How Cooperation Among Experts Reshaped Colonialism (1830s—1950s): PhD Thesis. European University Institute, 2016.

[Wagner 2022] — *Wagner F.* Colonial Internationalism and the Governmentality of Empire, 1893—1982. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

[Weitz 2019] — *Weitz E.* A World Divided: The Global Struggle for Human Rights in the Age of Nation-States. Princeton: Princeton University Press, 2019.

[Westad 2011] — *Westad O.A.* The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

[White 1991] — *White R.* "It's Your Misfortune and None of My Own": A New History of the American West. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

[White 2015] — *White L.* Unpopular Sovereignty: Rhodesian Independence and African Decolonization. Chicago: University of Chicago Press, 2015.

[Yellen 2019] — *Yellen J.* The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere: When Total Empire Met Total War. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2019.

[Young 2018] — *Young L.* Rethinking Empire: Lessons from Imperial and Post-Imperial Japan // The Oxford Handbook of the Ends of Empire / Ed. by M. Thomas, A. Thompson. Oxford: Oxford University Press, 2018. P. 212—230.

Антонио Негри, Данило Дзоло

Империя и множество

ДИАЛОГ О НОВОМ ПОРЯДКЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Antonio Negri, Danilo Zolo
Empire and the Multitude: A Dialogue on the New Order of Globalization

Данило Дзоло: Я долго сопротивлялся звучавшим с разных сторон призывам публично обсудить «Империю» — книгу, которую ты написал в соавторстве с Майклом Хардтом и которая вызвала споры исключительного размаха и накала по обе стороны Атлантики. Меня останавливало чувство бессилия перед настолько сложным, смелым, обширным произведением. Пытаться дать подобному труду — свой подход вы определяете как «широкий междисциплинарный»[1] — критическую оценку в какой-то степени означает разделять теоретические притязания, побудившие вас написать его. Но я преодолел свою первоначальную нерешительность, придя к убеждению, что после 11 сентября безответственно было бы не отнестись к такой книге, как «Империя», со всей серьезностью. Эта книга, что бы о ней ни думали, вкладывает огромное количество интеллектуальных ресурсов в попытку лучше понять мир, в котором мы живем, обличает злодеяния и риски существующего «глобального порядка» и стремится указать пути его преодоления. Уже хотя бы поэтому «Империя» заслуживает, на мой взгляд, своего международного успеха.

Антонио Негри: Спасибо. Факт остается фактом: вдобавок к налету «банальности», сопровождавшему книгу с самого начала (как будто это не книга, а фильм), она уже устаревает из-за темпа развития событий. «Большой нарратив», который способствовал успеху книги, облегчив ее восприятие в американских кампусах после Сиэтла, а затем и во всем мире, особенно в Германии, оказался созвучен людским ожиданиям. После 1980-х, после различных поражений в борьбе, после триумфа «слабого мышления» требовалась встряска: ее-то и устроила «Империя».

Д.Д.: Такой трудной «Империю» делают не только объем и тематический охват, но и чрезвычайная оригинальность ее философского и политико-теоретического синтаксиса. Он преобразовывает некоторые фундаментальные марксистские категории, вводя в них элементы самых разных традиций западной философии: классических, модернистских и современных. Ведущую роль в этой концептуальной трансформации играет постструктурализм таких авторов, как Жиль Делёз, Жак Деррида и особенно Мишель Фуко. Однако у меня сложилось впечатление, что вдумчивое и взыскательное прочтение «Империи», которого она, безусловно, заслуживает и к которому побуждает, неминуемо ведет к противоречивым интерпретационным результатам. При всей

1 *Хардт М., Негри А.* Империя / Пер. с англ. под ред. Г.В. Каменской, М.С. Фетисова. М.: Праксис, 2002. С. 15.

уверенности нередко прескриптивного тона книги читатель рискует вынести из нее больше теоретически неясного, чем ясного.

А.Н.: И мне это нравится. В «Империи» мы с Майклом Хардтом хотели избежать жестких и поспешных выводов. В конце концов, формирующие Империю процессы во многом еще продолжаются. Мы стремились подчеркнуть необходимость смены регистра: история политической философии модерности (а также институтов, с которыми она взаимодействовала) подошла к концу. Теория, ведущая от Марсилио к Гоббсу и от Альтузия к Шмитту, завершена. «Империя» знаменует собой новый теоретический рубеж.

Д.Д.: Философия Маркса и философия Фуко, если выразиться очень сжато, суть расходящиеся теоретические векторы: марксизм рисует картину сплоченного, эгалитарного, дисциплинированного, органичного общества, тогда как Фуко резко и радикально критикует дисциплинарную власть, отдавая предпочтение индивидуалистической и либертарианской антропологии.

А.Н.: Мы пытались совместить Фуко и Маркса. Или, вернее, о моем развитии можно сказать, что я «прополоскал одежду»[2] в водах Сены, скрестив мой операизм — мой «рабочизм» — с перспективой французского постструктурализма. Осуществлять это я начал еще в тюрьме (с 1979 по 1983 год), где работал над книгой о Спинозе, чья философия оказалась идеальной средой для этой онтологической встречи. Впоследствии мы с Хардтом, оба находясь в Париже, углубили этот анализ и погрузились в ту общую «ауру», которая с конца 1960-х годов, пусть и не получая должного признания, связывала операизм с постструктурализмом и разными тенденциями в широком поле исследований подчинения (subaltern studies) и других постколониальных подходов. Для меня, во всяком случае, это был переломный момент: я осознал тогда, что итальянский операизм отнюдь не провинциален. В 1980-е годы это убедительно доказала Спивак, выпустив сборник субальтерных исследований. Делёз и Гваттари уже признали это влияние в «Тысяче плато». В указанном контексте мы считаем предложенное Фуко прочтение Маркса, расширяющее генеалогию процессов эксплуатации от фабрики до социальной сферы, фундаментальным. В нашей интерпретации (которая отличается от твоей) Фуко — автор антропологии, конечно, либертарианской, но не индивидуалистической; он конструирует биополитику, в которой формируется не индивид, а субъект (и с какой сингулярностью!). Что касается нас, то в Париже рубежа 1980—1990-х годов мы осознали, что находимся в постмодерне, в новой эпохе. Кроме того, мы были и остаемся убеждены, что Маркс вполне совместим с аналитическими методологиями постмодерна. Всегда есть момент, когда принимается решение в пользу чего-то нового и сильного. Какое наслаждение покончить с бледными химерами модерна, с Ролзом и Хабермасом! И теперь можно с превеликим энтузиазмом утверждать вместе с Макиавелли (и всеми остальными), что классовая борьба, mutatis mutandis, управляет мышлением…

---

2 Отсылка к выражению Алессандро Мандзони: отправляясь во Флоренцию для работы над романом «Обрученные», он пишет матери, что едет «прополоскать одежду в водах Арно» (sciacquare i panni in Arno), то есть познакомиться с живой разговорной речью флорентийцев. — *Примеч. пер.*

Д.Д.: Прежде чем перейти к обсуждению главных тем «Империи», я должен признаться еще кое в чем. Идея подступиться к трактату, авторы которого провозглашают себя «коммунистами», по-прежнему доставляет мне дискомфорт, тем более что в числе своих объяснительных моделей они называют «Капитал» Карла Маркса. Лично я с глубоким уважением отношусь к теоретическому марксизму прошлого столетия и с куда меньшим — к опыту «реального социализма», заявлявшего о своей ему приверженности. Однако сегодня я не склонен благожелательно смотреть на возвращение к марксистской философии или ее переосмысление, каким бы новаторским и критическим по форме оно ни было. Лично я покончил с теоретическим марксизмом почти тридцать лет назад — помню, в частности, наши с тобой бурные дискуссии на эту тему — и, по-моему, вполне искренне. Я отошел от марксизма, потому что не смог принять три его теоретических столпа: диалектическую философию истории с ее «научными законами» развития; трудовую теорию стоимости как основу критики капиталистического способа производства и предпосылку коммунистической революции; теорию отмирания государства и сопутствующий отказ от главенства права и прав личности. Твой же коммунизм — при всем богатстве мотиваций — по-прежнему выглядит ограниченным марксистской ортодоксией.

А.Н.: Со времен тех споров тридцатилетней давности многое изменилось. Однако если бы марксизм можно было свести к трем теоретическим столпам, которые ты перечислил, то я не был бы марксистом (да и тридцать лет назад, думаю, тоже не был бы). Но ты, как мне кажется, вместе с более или менее грязной, часто еще и в переносном смысле, водой выплескиваешь ребенка. Я же хочу, напротив, возродить марксизм, который для меня есть синоним модернистского материализма как выражения критической тенденции, тянущейся через эпоху модерна и всегда подвергавшейся нападкам: это путь, который ведет от Макиавелли к Спинозе и далее к Марксу. Для меня восстановление и обновление марксизма имеют такое же огромное значение, какое в первые века истории христианства имела святоотеческая апологетика: состоит оно в «возвращении к началам» в том смысле, какой придавал этому диспозитиву Макиавелли. Чтобы продвигаться в этом направлении, мы должны развить некоторые ключевые пункты марксистской теории: в противовес диалектике истории выработать нетелеологическую теорию классовой борьбы; выйдя за рамки трудовой теории стоимости, продолжить анализ валоризации при помощи идеи *всеобщего интеллекта* (general intellect) в период полного (реального) подчинения общества капиталу; что касается теории государства, то в критике суверенитета (как точки совпадения экономического с политическим) необходимо выделить центральный момент проявлений эксплуатации, мистификации и уничтожения прав субъекта. Маркс, хотя и предлагал осуществить это, не оставил нам ни книги о классовой борьбе, ни — ее особенно недостает — книги о государстве. В сущности, отсутствующая в «Капитале» книга о государстве и могла быть написана лишь тогда, когда пространство суверенитета охватит весь мир, — то есть когда станет возможным противопоставить Империи множество. Единственное национальное государство, о каком мог вести речь Маркс, являло собой мешанину из элементов Средневековья и модерна, в которую даже капиталистическое развитие с трудом прокладывало себе путь. Проблему государства мог поставить только интернационалистический международный пролетариат. Многие препятствия на

пути развития марксистской теории права и государства связаны с границами капиталистического развития, а не с самим Марксом. Лишь сегодня, когда капитал наступает и структурируется на мировом рынке, революционная теория может правильно подойти к проблеме государства.

Империя или империализм?

Д.Д.: Наиболее удачна, по-моему, часть «Империи», где утверждается необходимость нового «стратегического» осмысления структуры и функций процессов глобальной интеграции, — та, в которой затрагивается само понятие «империя». Вы с Хардтом явно считаете, что навязанный глобализацией новый миропорядок привел к исчезновению Вестфальской системы суверенных государств. Нет больше национальных государств, кроме бледных формальных структур, которые пока что сохраняются с опорой на правовой порядок международных институтов. Мир больше не управляется политической системой государств: им управляет единая структура власти, не допускающая существенных аналогий с модерным государством европейского происхождения. Политико-нормативная основа этой децентрализованной и детерриториализированной политической системы, не имеющей отношения к национальным или этническим традициям и ценностям, — космополитический универсализм. Поэтому вы полагаете, что «империя» — наиболее подходящее название для этого нового типа глобальной власти...

А.Н.: Следует добавить, что мы отнюдь не ностальгируем по национальным государствам. Более того, нам кажется, что эти реальные и концептуальные процессы, которые ты так превосходно описываешь, вызваны силами борьбы рабочих, антиколониальной борьбы и, наконец, борьбы против социалистического управления капиталом — и за свободу — в странах «реального социализма». Именно эти движения преобладали в последней трети XX века.

Д.Д.: Поэтому неправильно думать, что Империю — или ее центральное расширяющееся ядро — составляют Соединенные Штаты и их ближайшие западные союзники. Ни Соединенные Штаты, ни какое-либо другое национальное государство, подчеркивается в вашей с Хардтом книге, «на сегодняшний день не способны стать центром империалистического проекта»[3]. Таким образом, глобальная Империя есть нечто принципиально отличное от классического империализма, и путать их было бы серьезной теоретической ошибкой. Я правильно интерпретирую вашу позицию?

А.Н.: Правильно. Я хотел бы добавить, что вся опасность ориентации нарождающегося «движения движений» на национальные государства стала особенно очевидной в Порту-Алегри. Если дело примет такой оборот, сомнительные формы национализма и популизма станут элементами антиглобалистского движения. Антиамериканизм и вера в национальные государства почти всегда идут рука об руку. Эта последняя путаница, унаследованная от социализма

3 *Хардт М., Негри А.* Империя. С. 13.

третьего мира, всегда казалась мне столь же серьезной девиацией, сколь и советский марксизм.

Д.Д.: Это момент весьма щекотливый, вызвавший многочисленные сомнения, которые я отчасти разделяю. В вашей книге Империя растворяется в некоей «категории духа»: она вездесуща, как Бог, поскольку совпадает с новым глобальным измерением. Однако можно было бы возразить, что если все имперское, то нет ничего имперского. Как определить наднациональные субъекты, являющиеся носителями имперских интересов и устремлений, чтобы сделать их мишенями глобальной борьбы? На кого обрушивать антиимпериалистическую критику и кому сопротивляться, если государства и их политические силы не те враги, на которых надо сосредоточиться? Что это за Империя, которая не осуществляет военно-политическую власть? Выражает ли она себя исключительно при помощи инструментов экономического или хотя бы идеологического контроля?

А.Н.: Процесс построения Империи продолжается. Империя — это предел, к которому стремятся инструменты глобального капитала: суверенные, экономические, военные, культурные и т.д. На текущем этапе Империя в основе своей характеризуется огромным напряжением между экономическим *неместом* и рядом глобальных (пусть и частных с точки зрения суверенитета) инструментов, используемых коллективным капиталом. Ты справедливо заметил, что если все имперское, то нет ничего имперского. Однако мы, следуя примеру Полибия, выделяем определенные места или формы имперского правления: монархическую функцию, которую приписали себе правительство Соединенных Штатов, страны «Большой восьмерки» и другие денежные институты; аристократическую власть транснациональных корпораций, расширяющих свою сеть на мировом рынке. Хотя глобальное движение множества (зародившееся после Сиэтла) действительно проявило неуверенность в попытке определить пункты, которые следует критиковать и которым следует сопротивляться в условиях нескончаемого производства нищеты и изоляции, а также применения военной силы в ответ на протесты, сами эти пункты вполне реальны и состоят в искажении экономического развития, в разрушении планеты Земля и нарастающих попытках присвоить то «общее» для всего человечества, что есть между землей и небом... Парадоксальность настоящего момента (и примечательность ситуации) в том, что Империя сможет сформировать свои структуры лишь *в ответ* на борьбу множества: но весь этот процесс являет собой столкновение сил в духе Макиавелли. Мы находимся в самом начале «Тридцатилетней войны»; в конце концов, кристаллизация модерного государства длилась не меньше.

Д.Д.: Вы утверждаете, что «устройство Империи» по своим функциям отличается от устройства национальных государств: цель имперского суверенитета не в территориально-политическом поглощении или ассимиляции подчиненных стран и народов, как это было в случае с империализмом и колониализмом национальных государств в XVIII—XIX веках. Новое имперское господство осуществляется при помощи политических институтов и юридических аппаратов, чья задача, по сути, состоит в поддержании глобального порядка — то есть «стабильного и всеобщего» мира, обеспечивающего нормальное функ-

ционирование рыночной экономики. В нескольких местах вы указываете на функции «международной полицейской власти» и даже на судебные функции, выполняемые Империей. Я с вами, в принципе, согласен, но с одной оговоркой: кто же осуществляет эти имперские функции, как не военно-политический аппарат великих западных держав, прежде всего США?

А.Н.: Не вижу ничего странного в том, что для обеспечения глобального порядка посредством стабильного и всеобщего мира Империя применяет все военно-политические инструменты, которые есть в ее распоряжении. Клика Буша, выступая с заявлениями о мире, ежедневно ведет военные действия. Однако мы не должны путать клику Буша и используемый им военно-политический аппарат с правительством Империи. Я полагаю скорее, что нынешние *империалистические* идеология и практика правительства Буша быстро приближаются к столкновению с другими капиталистическими силами, которые на глобальном уровне работают на Империю. Ситуация совершенно открытая. Дальше по ходу нашей беседы мы еще вернемся к вопросу о войне как об особой форме имперского контроля. А пока достаточно подчеркнуть, что на уровне Империи военные и полицейские функции все хуже поддаются разграничению. И все же, оставляя некоторые оценки и аргументы на потом, опять-таки хочу подчеркнуть: на нынешнем этапе критического определения нового мироустройства антиамериканизм — позиция слабая и мистификаторская. Антиамериканизм путает американский народ с американским государством. Он не осознает, что Соединенные Штаты встроены в глобальный рынок точно так же, как Италия и Южная Африка, и что политика Буша — политика небольшого меньшинства в рамках глобальной аристократии транснационального капитализма. Антиамериканизм — опасное умонастроение, идеология, которая размывает аналитические данные и затушевывает ответственность коллективного капитала. Нужно дистанцироваться от этого точно так же, как мы в конце концов отказались от американизма фильмов Альберто Сорди.

Д.Д.: Вы утверждаете, что имперский правовой порядок по сути выполняет юрисдикционную или квазисудебную арбитражную функцию и что фактор этот отнюдь не второстепенен. Субъекты даже апеллируют к имперской власти из-за ее способности разрешать конфликты с универсальной точки зрения, то есть нейтрально и беспристрастно. Важно также (как вы проницательно отмечаете в книге), что после долгого упадка средневековая доктрина bellum justum, типично универсалистская и имперская, в последнее десятилетие переживает новый расцвет. Я вполне согласен с вашим анализом, не в последнюю очередь потому, что он развивает тезисы, которые я выдвигал несколько лет назад, например в «Космополисе». Но я настаиваю на том, что смысл этот анализ обретает только в том случае, если «устройство империи» понимается как устройство политическое, что сегодня по-прежнему означает, как правило, устройство и властную структуру государственной формы. Как таковая она имеет функции «принуждения к миру», но также прибегает к классическим формам агрессивной войны. Полагаю, не может быть никаких сомнений в том, что сегодня Соединенные Штаты — то есть когнитивные, коммуникативные, экономические, политические и военные силы, сосредоточенные в геополитическом пространстве американской сверхдержавы, — выступают главным движителем этого глобального стратегического проекта, как бы его ни назы-

вали: «гегемонистским» ли, как предпочитаю я, или «имперским», как предпочитаете вы, или каким-нибудь еще.

А.Н.: Я не согласен. Я правда не могу понять, как ты (учивший нас в своих книгах, от «Космополиса» до «Взывая к человечности», что политические и правовые категории модерна были не только поруганы, но и окончательно растоптаны) можешь выдвигать такое определение текущего процесса управления мировым рынком, которое все еще опирается на модернистские категории империализма. Теперь моя очередь задать несколько вопросов: что власть государства означает теперь, перед лицом lex mercatoria — то есть существенной модификации международного частного права, в которой законодателями, несомненно, выступают уже не национальные государства, а *юридические фирмы*? Далее, что касается международного публичного права: как в этой ситуации не испытывать сожаления при виде беспомощных попыток возродить ООН? Дело в том, что разговор о Соединенных Штатах как о движителе глобального стратегического империалистического проекта влечет за собой всевозможные противоречия, особенно если приписывать правительству Соединенных Штатов исключительное господство (подразумеваемое модернистскими теориями национального суверенитета и империализма).

Д.Д.: На мой взгляд, факт распространения господства и влияния Соединенных Штатов на весь мир до такой степени, что они, как утверждается в Четырехлетнем обзоре оборонной политики Госдепартамента США, стали «глобальной державой», не противоречит тому обстоятельству, что в территориальном и культурном смысле власть эта сосредоточена в Соединенных Штатах и на символическом уровне тоже может быть отождествлена с американской сверхдержавой. Ясно выразил это и террористический акт 11 сентября: он должен был ударить по символам экономической, политической и военной мощи Соединенных Штатов как новой имперской державы. Кроме того, нельзя упускать из виду тот факт, что на сегодняшний день Соединенные Штаты еще и центр телевизионной, информационной и шпионской[4] сети, опутывающей весь мир.

А.Н.: Я не сомневаюсь в том, что Соединенные Штаты действительно «глобальная держава», я лишь настаиваю на другой идее: что власть Соединенных Штатов подчинена экономическим и политическим структурам (или, по крайней мере, вынуждена вести с ними диалог или конкурировать), отличным от нее самой. Террористический акт 11 сентября, среди прочего, был еще и демонстрацией открытой гражданской войны между силами, претендующими на структурную представленность в имперском устройстве. Те, кто разрушил башни-близнецы, — те же самые «командиры» наемнических армий, нанятых для защиты нефтяных интересов на Ближнем Востоке. Они не имеют никакого отношения к множествам: они суть внутренние элементы складывающейся имперской структуры. Ни в коем случае нельзя недооценивать гражданскую войну, идущую на уровне Империи. Думаю, можно сказать, что американское

4 Переводчики на английский смягчили фразу, использовав слово «разведывательной» (intelligence), но в итальянском варианте говорится именно о шпионской сети (spionistica). — *Примеч. пер.*

лидерство серьезно подрывается именно периодическим выражением этих империалистических тенденций. Ясно, что в арабском, европейском и социалистическом мирах, не говоря уже о том «другом континенте», который называется Китаем, тенденции эти неприемлемы. Подавляющая мощь американских вооруженных сил во многом, как мы знаем, нейтрализуется невозможностью использования ее ядерного потенциала. И это хорошая новость. Кроме того, с валютной точки зрения Соединенные Штаты становятся все более уязвимыми и ослабленными на финансовом рынке — и это еще одна отличная новость. Иными словами, весьма вероятно, что Соединенным Штатам скоро придется отказаться от империализма и признать себя частью Империи.

Д.Д.: Все мы, разумеется, знаем, что крупные корпорации, включая принадлежащие к новой экономике, действуют согласно стратегиям, во многом независимым от политического руководства государств, что верно и в отношении Соединенных Штатов. Транснациональные корпорации становятся все могущественнее благодаря способности как резко сокращать затраты на оплату труда, так и обходить фискальные требования национальных государств. Но, как убедительно показали Пол Хёрст и Грэм Томпсон в книге «Исследуя глобализацию» («Globalization in Question»), между экономической политикой индустриальных держав и экономическими/финансовыми стратегиями корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в их геополитическом пространстве, по-прежнему действует сложная синергия. Президент Соединенных Штатов избирается при финансовой поддержке транснациональных корпораций, — я имею в виду нефтяную, оружейную и табачную промышленность, — которые затем влияют на решения администрации. Однако же очевидно, что крупные компании выполняют лишь весьма косвенные политические функции, что они не могут обойтись без посредничества административно-политической — и особенно военной — власти государств.

А.Н.: Участие транснациональных корпораций в выборах американского президента — аргумент в пользу Империи. Изложенное тобой кажется мне вполне приемлемым. К книге Хёрста и Томпсона я добавил бы книгу Миттельмана, дабы подчеркнуть всю сложность синергии между отдельными агентами, а также иерархии имперских пространств. Вместе с тем я полагаю, что автономия капиталистических стратегий все еще достаточно широка и, как бы то ни было, во многом независима от национальных государств. Я мыслю не как ленинец, а как заправский макиавеллист, когда, например, думаю о том, что сегодня единственный конкретный и реалистичный способ свергнуть шайку Буша лежит через посредство аристократической власти транснациональных корпораций. Это желательно, поскольку предоставило бы движению глобальных множеств время и пространство для того, чтобы содействовать формированию демократической власти внутри Империи.

Имперская диалектика

Д.Д.: Есть еще один аспект вашей теории Империи, который я нахожу сомнительным. Я приписываю этот аспект имплицитной «онтологии» (пользуясь вашим термином), выступающей метафизическим контрапунктом вашему

анализу: это диалектика истории, типичная для гегельянского марксизма и для ленинизма. По вашей мысли, глобальная Империя представляет собой позитивное преодоление Вестфальской системы суверенных государств. Положив конец государствам с их национализмом, Империя также покончила с колониализмом и классическим империализмом и открыла космополитическую перспективу, которую следует приветствовать. Любая попытка восстановить роль национальных государств в противовес нынешнему имперскому мироустройству была бы проявлением идеологии, которая «не только ошибочна, но и вредна»[5]. А потому философия антиглобалистского движения и любые формы натуралистского энвайронментализма и локализма должны быть отвергнуты как позиции примитивные и антидиалектические или, иными словами, по сути своей реакционные. Даже к так называемым людям Сиэтла и связанной с ними сети неправительственных организаций (НПО) вы выказываете мало симпатии.

А.Н.: Не думаю, что такие обвинения в наш адрес состоятельны. Как знает всякий прочитавший книгу (а ты ее, конечно же, прочитал), любую диалектику мы отвергаем в пользу классовой борьбы. Именно классовая борьба (диспозитив в духе Макиавелли: открытый, неопределенный, ателеологический и рискованный) составляет основу нашего метода. Ничего диалектического здесь нет, если только не использовать этот эпитет для обозначения любого аналитического подхода к историческому развитию. Наш нарратив говорит о конкретном телосе, об опасностях на пути человеческой борьбы с эксплуатацией за счастливую жизнь и искоренение страданий. Поэтому наша политическая проблема заключается в том, чтобы предложить адекватное пространство для любой борьбы, начинающейся снизу. В этой системе координат нет места ностальгии и защите национального государства, чье абсолютное варварство убедительно доказали Верден, бомбежки Дрездена, Хиросимы и (если позволишь) Освенцим. Не представляю, как можно не считать идеологию национального государства ошибочной и вредной. Сети движения движений, как и все, что происходит в мире свободно, напротив, поливалентны: они пересекаются и могут без труда построить единое движение. Любая попытка препятствовать этому единению и, соответственно, признанию *общих* целей реакционна или, вернее, выражает действия сектантские и враждебные. Философия антиглобализма и сиэтлское движение носят характер интернационалистический и глобальный. Что до нашей антипатии к иным НПО (которую эти движения по большей части разделяют), то ее не следует путать с антипатией к добровольческому сектору или к методам новой воинственности.

Д.Д.: Коммунисты, говорите вы, по призванию универсалисты, космополиты, «католики»; их горизонт — горизонт всего человечества, «общей человеческой природы», как говорил Маркс. На протяжении прошлого столетия, как вы помните, трудящиеся массы неизменно уповали на интернационализацию политических и социальных отношений. Поэтому вы утверждаете, что глобальные силы Империи следует контролировать, а не уничтожать: имперское устройство надо сохранить и направить на достижение других целей. Даже

5 *Хардт М., Негри А.* Империя. С. 55.

если полицейские технологии действительно составляют ядро имперского порядка, порядок этот, по вашим словам, не имеет ничего общего с практиками диктатуры и тоталитаризма прошлого века. С точки зрения перехода к коммунистическому обществу построение Империи — шаг вперед: Империя, как вы говорите, «лучше» того, что ей предшествовало, потому что «избавляется от жестоких режимов власти, присущих современности»[6], и «предоставляет большие возможности созидания и освобождения»[7]. Не могу разделить этот диалектический оптимизм очевидного гегельянско-марксистского толка.

А.Н.: Не думаю, что справедливо называть нашу позицию позицией диалектического оптимизма. Вместе с тем ясно, что в этом вопросе диалектики ты непримирим. Диалектично все, что тебе не нравится. Поэтому позволь предложить автора, который уж точно не диалектик, однако способен смотреть вперед: Спинозу. Оптимизм в философии Спинозы не имеет ничего общего с гегелевским его пониманием: он связан со свободой и радостью избавления от рабства… Но оставим святых в покое. Я предпочитаю простых смертных[8]. То есть множества — многообразие сингулярностей, уже смешанное, способное к нематериальному и интеллектуальному труду, обладающее огромным потенциалом свободы. Это не диалектика, а фактуальный и точный социологический анализ трансформации труда, его организации и вытекающей отсюда политической субъектности. Не могу поверить, чтобы глобальной мобильности и темпоральной гибкости жизни и труда ты предпочитал архаичные крестьянско-ремесленнические традиции, воплощенные в бесплодных мифах, или страдания закованных в цепи рабочих масс. На мой взгляд, расширение жизненных перспектив, обогащение моральной и интеллектуальной жизни трудящихся — это нечто благое. Именно здесь Империя есть благо *в себе*. Но станет ли она благом еще и *для себя* — уже другой вопрос, и решающее слово здесь должны сказать общественные движения, а не Geist. Кроме того, движения, позиционирующие себя как антагонистические в условиях складывания Империи, не выдвигают притязаний и не ставят вопросов, подобных исходящим от имперской власти. Самая интересная вещь, вытекающая на сегодняшний день из наблюдения за движениями, — отсутствие дискурса «захвата власти» в противовес формированию власти имперской. Вместо этого предлагается «исход». Негативная диалектика? Можно было бы упрекнуть меня в этом, но я не могу назвать таким именем этот колоссальный феномен дистанцирования от требований политической власти, распространившийся среди людей прежде всего молодых, среди сегодняшних множеств. Эта перемена глубже, чем даже та, которую мы отметили на уровне политических категорий при переходе от модерна к постмодерну. И нельзя забывать о том, что великие страдания ожидают этот «град человеческий», который только начинается… Таково продолжение (и в то же время преображение) тех подчас де-

6 *Хардт М., Негри А.* Империя. С. 54.

7 Там же. С. 206.

8 В оригинале используется пара «santi» и «fanti», буквально Негри говорит: «Но я не хочу продолжать шутить со святыми. Предпочитаю пехотинцев». Это отсылка к итальянской поговорке «Scherza coi fanti e lascia stare i santi», буквально «Шутите с [подшучивайте над] солдатами, а святых оставьте в покое», то есть «Не смешивайте священное с профанным». — *Примеч. пер.*

мократических, подчас социалистических — и неизменно бунтарских движений, которые пронизывали эпоху модерна.

Д.Д.: Более убедительным мне кажется такой анализ постколониализма, в котором прослеживается преемственность между классическим колониализмом и текущими процессами гегемонистской глобализации — я имею в виду, в частности, субальтерные исследования. Сегодня, после перерыва в виде холодной войны и эфемерного освобождения колониальных стран от прямого политического подчинения европейским державам, Запад снова осуществляет стратегию контроля, военной оккупации, торгового вторжения и «цивилизации» незападного мира. Именно против этой стратегии направлен кровавый и бессильный ответ глобального терроризма, и недаром чуть ли не единственная его цель — Соединенные Штаты.

А.Н.: По этому вопросу могу с тобой только согласиться. От классического колониализма к современным процессам имперской глобализации тянется заметная нить преемственности. Но я был бы весьма осторожен и воздержался бы от того, чтобы называть освобождение колониальных стран эфемерным или полагать, будто карты на геополитическом столе не легли радикально иначе. Отношения между первым, вторым и третьим мирами изменились не поверхностным, а фундаментальным образом: они смешались, и теперь первый мир можно найти в самой южной точке Африки и в республиках Центральной Азии, а третий — в европейских или американских метрополиях. Если посмотреть на все это с пространственной точки зрения, то ситуация, пусть и переменившаяся, выглядит статичной; с другой стороны, если рассматривать те же самые явления и сдвиги с точки зрения их интенсивности, то (и именно об этом в первую очередь толкуют субальтерные исследования) можно увидеть преобразующую силу этих процессов — мин, разбросанных по всему земному шару. В этом отношении, хотя глобальный терроризм и является частью гражданской войны за имперское лидерство, поистине новую угрозу для глобального капиталистического порядка представляют движения сопротивления и исхода.

Д.Д.: Процессы глобализации ускорились с конца 1980-х годов, после распада Советского Союза и окончания двухполюсного миропорядка. С тех пор западные страны во главе с США начали проводить новую политику силы, которую незападные страны — особенно в исламском мире и Восточной Азии — восприняли как растущий вызов их собственной территориальной целостности, политической независимости и коллективной идентичности. Военные базы и шпионские центры Соединенных Штатов распространились по всей планете наподобие капилляров, особенно концентрируясь вокруг территорий региональных держав. Именно так, на мой взгляд, проявляют себя в эпоху глобализации новый колониализм и новый империализм, напрямую продолжая свои классические государственно-территориальные формы. Вся серия военных интервенций, предпринятых Соединенными Штатами со времен Войны в Персидском заливе, продемонстрировала растущий разрыв между военным (а стало быть, экономическим, научным и техническим) потенциалом в их распоряжении и тем, который доступен всему остальному миру. Пожалуй, никогда еще в истории человечества мощь одной-единственной страны не казалась столь подавляющей в политическом смысле и несокрушимой в военном. В этом геге-

монистском сценарии я не могу выделить ни одного конкретного элемента, который *объективно* обосновывал бы перспективу коллективной внутриимперской эмансипации, — то есть такой, которая оставила бы структуру «космополитической» власти нетронутой, не вступая в конфликт с ее универсалистскими устремлениями.

А.Н.: Если принять твое описание ситуации, то никакой перелом, очевидно, невозможен. Преемственность старого и нового империализма, живучесть колониализма, насаждаемая Соединенными Штатами связь между эксплуатацией и военными технологиями... Такой сценарий как будто не оставляет места для маневра: если принять это неомаркузианское видение глобализации, то сделать ничего нельзя. Для меня очевидно, что твоя позиция в принципе противоречит той, которая лежит в основе анализа «Империи». На основании уже заявленных нами методологических предпосылок, — что какими бы необоримыми ни были имперские биовласти, им всегда противостоит зона биополитического конфликта и антагонизма, в которую они втягиваются, — мы не можем принять обрисованную тобой неоимпериалистическую модель. Всюду, где осуществляется биовласть, то есть способность власти распространяться на все аспекты жизни, она открывается микрофизической динамике сопротивления, и тогда нередко уже невозможно сдержать распространение конфликтов. Поэтому если посмотреть на Империю как снизу, так и сверху, то можно заметить ее хрупкость и задуматься о вмешательстве в ее конститутивные процессы. Кроме того, неустойчивость имперской структуры подтверждается анализом ее генезиса: Империя — продукт рабочей и антиколониальной борьбы, а также восстания против сталинистского тоталитаризма. Потому и возможна борьба внутри Империи и против нее. Позволь тебя подколоть: не думаешь ли ты, что своими картинами классического неоимпериализма подаешь нам пример дурной тоталитарной диалектики?

Д.Д.: На мой взгляд, борьбу следует вести скорее *против* Империи, противопоставляя глобальный экспансионизм и космополитическую идеологию. В отличие от теоретиков коммунитарного республиканизма, я не жду с ностальгией возвращения национальных государств образца XIX века, хотя и не уверен, что национальные государства всего лишь исторический пережиток. Я разделяю идею Ульриха Бека, что они превращаются в «транснациональные» государства, чье гражданское общество пересекается множеством агентностей и транснациональных институтов, таких как крупный бизнес, финансовые рынки, информационные и коммуникационные технологии, культурная индустрия и так далее. Для меня очевидно, что государства переосмысляют свои функции, сильнее сосредоточиваясь на вопросах безопасности и внутреннего общественного порядка, как утверждают Пьер Бурдьё и Лоик Вакан. По мнению Томаса Матисена, благодаря огромному потенциалу контроля, предлагаемому новыми технологиями и электронными базами данных, которые составляются без ведома граждан, от «паноптического» государства мы движемся к «синоптическому». Но от «вымирания» государства весьма далеки. Некоторые из них даже становятся сильнее.

А.Н.: Здесь я во многом с тобой согласен и ценю упомянутую тобой литературу. Я тоже считаю, что национальные государства не исчезли. Это очевидно.

Очевидно также, что артикуляция функций всемирного контроля и внутреннего общественного порядка осуществляется национальными государствами. Но утверждение, что многие из функций национальных государств сохраняются, не означает, что национальные государства продолжают существовать в той же форме, не говоря уже о том, чтобы становиться сильнее. Напротив, даже объединение национальных государств, пронизанное транснациональными диспозитивами (в духе Бека), следует рассматривать с точки зрения процессов иерархизации и специализации, характерных для Империи. А это значит, что вопрос универсальных гарантий (глобального) регулирования поставлен *необратимым* образом. Эпохальный переход уже свершился. Наш политический и теоретический выбор делается внутри этого процесса, и поэтому мы должны считаться с этими изменениями и смотреть проблеме в лицо. Допускаю, что ты можешь упрекнуть меня в доктринерстве и нежелании марать руки о реальность международных отношений. Но если это и так, то лишь для того, чтобы сократить дискуссию. В качестве примера я мог бы рассмотреть происходящее в Латинской Америке. Там, где прямое вмешательство Соединенных Штатов кажется наибольшим, я мог бы указать на глубокие связи и альянсы между капиталистическими правящими классами, выходящими за рамки национальных государств. Но об этом мы сказали уже достаточно.

Д.Д.: Я считаю, что во имя многополярного регионализма мы должны задуматься скорее о новых формах мирового баланса (и попытаться создать их), способных уравновесить, а затем ослабить и сокрушить агрессивную стратегическую односторонность имперской власти Соединенных Штатов. В этом смысле важную роль могла бы сыграть Европа, освобожденная от удушающих атлантических объятий, — Европа не столько западная, сколько средиземноморская и «ориентальная». Именно в этом направлении постепенно движутся Юго-Восточная Азия и северо-восточный китайско-конфуцианский блок.

А.Н.: Новые формы глобальной организации, артикулированные в соответствии с многополярным регионализмом, желательны. Собственно, это уже происходит на мировом рынке в ходе процесса, ведущего к построению имперского суверенитета. Я, впрочем, не могу понять, по сравнению с чем этот процесс является более предпочтительным, поскольку ровно то же самое уже и происходит. Проблема скорее в том, чтобы действовать из любой точки внутри Империи, открывая возможности глобальной дестабилизации. Лишь в таких рамках возможна трансформация правил господства и эксплуатации. Отсюда ясно, что я не принимаю саму концепцию «равновесия», являющуюся продуктом иных периодов в истории мысли (которые, как учит нас Музиль, слишком часто оказывались столь же бесплодными, сколь и полными разочарования). Вне зависимости от того, будет ли оно организовано с учетом региональных интересов, речь всегда будет идти не о равновесии, а об иерархии, не о многополярности, а о многофункциональности. Лично я все еще верю в то, что написал по этому вопросу для выступления на конференции в Европейском университетском институте во Фьезоле: что в рамках Империи объединенная Европа могла бы выполнять функцию, подрывающую глобальный порядок, но создать и развить такую функцию можно только снизу, путем мобилизации множеств. У меня больше веры в демократическую силу американских массовых институтов, нежели европейских.

Д.Д.: Хочу добавить, что многополярное равновесие — необходимое условие выполнения международным правом хотя бы минимальной функции сдерживания наиболее деструктивных последствий современной войны. Условие того, чтобы международная нормативная система могла ритуализировать и сдерживать применение силы (обязывая всех агентов подчиняться предписанным процедурам и общим правилам), заключается в том, чтобы ни один агент международного порядка не считал себя и не считался международным сообществом legibus solutus на основании своей превосходящей мощи. Иными словами, «построение Империи» необходимо отменить. Империя и международное право отрицают друг друга.

А.Н.: Я согласен: Империя и международное право отрицают друг друга. Но это предпосылка, с которой мы начали. Это необратимое положение дел, и отсюда мой глубокий скепсис по отношению к «припаркам» ооновского интернационализма. Существует обширнейшая литература (которую ты в совершенстве изучил) по вопросу возрождения ООН и построения всемирного «гражданского общества» как потенциального собеседника суверена нового глобального порядка. Даже Всемирный банк, в отличие от других глобальных институций, заигрывал с этой идеей. Однако попытка реактивировать коллективную и нормативную «международную» систему (в вестфальском смысле) не принесла плодов. Даже когда она стремится учитывать субъективные права граждан и наций, групп и ассоциаций, как в случае с созданием великих мировых трибуналов, юридический реформизм уже преодолел классическое международное право. Только на этой территории можно вести борьбу.

Д.Д.: После 11 сентября международная нестабильность усугубилась. Мы стали свидетелями утверждения гегемонистской стратегии перманентной войны, не имеющей ни территориальных границ, ни временных ограничений. Во многом скрытная, она все менее подконтрольна международному праву. Похоже, западные военно-политические элиты сейчас как никогда осознают, что для обеспечения безопасности и благосостояния индустриальных стран необходимо оказывать все большее военное давление на весь мир. Сегодня очевидно, что война в Афганистане была лишь началом тотальной войны против так называемой оси зла: Ирак, несомненно, тоже подвергнется нападению... А народ Палестины продолжит терпеть беспощадные притеснения от сионистского колониализма и империализма. На мой взгляд, стратегическая цель Соединенных Штатов выходит далеко за рамки подавления «глобального терроризма». Цель этой последней оставшейся сверхдержавы — укрепление своей планетарной гегемонии, с тем чтобы обеспечить стабильное военное присутствие в сердце Центральной Азии. Их проект заключается в установлении контроля над обширными энергетическими ресурсами на территориях бывших советских республик Кавказского, Каспийского и Закаспийского регионов, а прежде всего — в окончательном двойном окружении Российской Федерации с запада и Китая с востока. Таким образом, перспектива крайне агрессивного возобновления неоколониальной стратегии — под предлогом борьбы с терроризмом — пугающе актуальна. Между тем вследствие глобализации рынков пропасть, отделяющая богатые и сильные страны от бедных и слабых, ширится с каждым днем. Более миллиарда человек живет в абсолютной нищете, тогда как другой миллиард человек живет в условиях растущего комфорта в мире,

который становится все меньше и в котором у них все больше возможностей творить, что заблагорассудится. С этой точки зрения я не вижу никаких следов объективной исторической диалектики, которая облегчила бы преодоление текущего миропорядка.

А.Н.: Но кто говорит о диалектике? В этом процессе (который ты описываешь более или менее правильно) я вижу лишь необходимость противостоять все более паразитическому и хищническому капитализму, чья легитимность (а также легитимность государств и имперских инструментов, с которыми он постепенно отождествляется) всецело покоится на войне. Фуко и Делёз исчерпывающе обсудили переход от дисциплинарных режимов классического капитализма (в отношении индивидов) к режимам контроля капитализма зрелого (над целыми населениями). Сегодня война становится неотъемлемой частью такого рода легитимации. Тем самым нищета и маргинализация не просто сохраняются, но и постоянно воспроизводятся имперскими войнами. Имперская война определяет новые территориальные и расовые границы. Перед лицом всего этого единственная моя проблема — понять, каким образом можно сопротивляться войне, нищете и эксплуатации. Какой бы верной ни была твоя география господства, мы должны противопоставить ей топологию сопротивления. С этой точки зрения субкоманданте Маркос важнее всей американской «революции в военном деле». Меня интересует Давид перед Голиафом, перед любыми имперскими голиафами: военные назвали бы это «асимметричным сопротивлением». Потому-то и крепнет глобальная структура сопротивления: ведь несмотря на операцию по заграждению, которую неустанно и непрерывно проводят имперские армии, мы продолжаем находить свободные пространства, зазоры и складки, дающие возможность исхода и сопротивления в условиях глобализации.

Революция множества?

Д.Д.: Предлагаю завершить нашу дискуссию одной последней темой — субъекта или субъектов того, что, по вашему с Хардтом мнению, должно стать революцией *внутри* Империи. Термин «революция» я использую в его полном антропологическом смысле, поскольку именно так, по-моему, следует понимать ваш коммунистический проект. Во вполне классическом ключе вы мыслите не только политическую, но и культурно-этическую трансформацию мира.

А.Н.: Революцию мы мыслим не только в этических и политических категориях, но еще и с точки зрения глубокой антропологической модификации: как смешение и постоянную гибридизацию населений — как биополитическую метаморфозу. Первая область борьбы — всеобщее право передвижения, труда и получения образования по всему земному шару. Революция, какой мы ее видим, произойдет не только *внутри* Империи, но и *через* Империю. Направлена эта борьба не против какого-нибудь маловероятного Зимнего дворца (только антиимпериалисты хотят разбомбить Белый дом), а против любых центральных и периферийных структур власти, дабы лишить их этой власти и отобрать у капитала его производственные мощности.

Д.Д.: Субъект этой революции изнутри Империи обозначается у вас как «множество». Я говорю «обозначается» с критическим прицелом: на мой взгляд, «множество» — понятие скользкое, наименее удачное во всем концептуальном арсенале «Империи». Нигде в книге не приводится его аналитического определения, которое основывалось бы на политико-социологических категориях и помогало читателю идентифицировать этот коллективный субъект в определенных социополитических контекстах, какими бы открытыми эти контексты ни были для глобализации. Вместо анализа читатель встречает множество пассажей (особенно с. 329—342) с подчеркнутыми славословиями «власти множества» — его способности «быть, любить, преображать, творить» — и его «желанию» эмансипации. Боюсь, этим вы обязаны марксистскому мессианству с его грандиозными политическими упрощениями. Множество предстает некоей быстро исчезающей синопией пролетариата XIX века — класса, возведенного Марксом в ранг демиурга истории. Говорю это с горечью и без иронии.

А.Н.: Ты справедливо упрекаешь нас в отсутствии адекватного аналитического определения концепции множества в «Империи». Я готов к самокритике, тем более что сейчас мы с Хардтом усердно работаем над этим понятием. Однако мне кажется, что представленную в книге концепцию множества можно понимать с трех разных точек зрения. Первая полемически противостоит двум определениям, которые даются «населению» в рамках модерного суверенитета: «народ» и «массы». Мы считаем, что множество — это *многочисленность* сингулярностей, которые никак не могут обрести репрезентативного *единства*. Народ, напротив, есть единство искусственное, необходимое современному государству для обоснования фикции легитимности, тогда как массы — концепт, который реалистическая социология принимает за основу капиталистического способа производства (и в либеральной, и в социалистической формах управления капиталом). В каждом из двух этих случаев происходит редукция к недифференцированному единству. Для нас же люди — это сингулярности, множество *сингулярностей*. Второй смысл множества вытекает из нашего противопоставления этого понятия «классу». Собственно говоря, с точки зрения обновленной социологии труда рабочий все чаще выступает носителем нематериальной производительной способности. Он заново присваивает орудия труда. В нематериальном производительном труде это орудие — мозг (и здесь, стало быть, заканчивается гегельянская диалектика инструмента). Эта исключительная, сингулярная способность к труду объединяет рабочих скорее в множество, чем в класс. И здесь мы, соответственно, находим третью сторону определения, носящую более явный политический характер. Мы относимся к множеству как к политической силе sui generis: новые политические категории следует выработать с учетом этой силы, то есть с учетом множества сингулярностей. Мы полагаем, что эти новые политические категории необходимо определить путем анализа *общего*, а не через принцип единства. Но здесь не место продолжать наш анализ: говорю это с изрядной долей иронии.

Д.Д.: На мой взгляд, ваша книга оставляет нерешенными проблемы новых пространств и новых субъектов глобальной борьбы, а также «новых борцов» (nuovi militanti), если воспользоваться выражением Марко Ревелли. Ваши предложения указывают на необходимость поднять политическую борьбу до глобального уровня, что вытекает из вашего утверждения об утрате смысла и

эффективности любой деятельности на политических аренах национальных государств. Но вы, по-моему, не уделили достаточного внимания проблеме «деполитизации мира», вызванной огромными возможностями технологий и экономики, — эту проблему настоятельно подчеркивает в своей недавней книге «Две тысячи первый: политика и будущее» («Duemilauno: Politica e futuro») Массимо Каччари. Напротив, в вашем тексте есть пассажи, как будто бы вдохновленные поистине технологическим и индустриалистским, можно даже сказать, лейбористским энтузиазмом по поводу сетевого общества, если прибегнуть к терминологии Мануэля Кастельса. Такое впечатление, что для вас информационно-техническая революция — вектор приближения революции коммунистической.

А.Н.: Мы уделяем много внимания информационной революции. Поступаем мы так, очевидно, потому, что остаемся марксистами и полагаем, что если закон стоимости уже не действует как закон меры капиталистического развития, то труд все равно остается источником человеческого достоинства и сущностью истории. Революция в сфере информационных технологий открывает возможности новых пространств свободы. В настоящее время она же определяет новые формы рабства. Но *обратное присвоение орудий труда* рабочими[9], сосредоточение валоризации на *кооперации* между когнитивными работниками, расширение знаний и важность науки в производственных процессах — все это определяет новые материальные условия, которые в перспективе трансформации следует рассматривать как положительные. Проблема политической организации должна считаться с *этим* множеством, точно так же как развитие профсоюзов или социалистической партии должны были считаться с разными сменяющими друг друга воплощениями пролетариата. Деполитизация мира крупными державами — событие не только негативное, если направлена она на устранение и/или разоблачение старых сил и форм репрезентации, не имеющих больше никакого реального референта. Сегодня настало время строить «новую сторону» — то есть «новое целое» трудящихся. Назвать это новыми левыми банально: к сожалению, проблема гораздо глубже, а перспективы безнадежны. Время на исходе.

Д.Д.: На мой взгляд, принятие вами термина «множество» — это еще и декларация радикального политического антииндивидуализма. «Империя» требует почти полного исключения европейской либерально-демократической традиции. Боюсь, этот пункт разделяет нас больше всего.

А.Н.: Согласен, что термин «множество» (и то, что он в себе заключает) представляет позицию радикального политического антииндивидуализма. «Империя» подразумевает отказ от традиции собственнического индивидуализма, но я не думаю, что это также означает исключение либерально-демократической европейской традиции: постольку, поскольку при помощи концепции множества мы — в духе Спинозы — призываем к «абсолютной демократии». Проблема для нас, как и для Спинозы, состоит не в объединении изолирован-

9 Немецкое слово «Wiederaneignung» переводят и как «реапроприация», и как «обратное присвоение». В русском переводе «Империи» используется вариант «репроприация». — *Примеч. пер.*

ных индивидов, а в создании форм и инструментов объединения путем кооперации и в движении к (онтологическому) признанию общего. Все от воздуха и воды до компьютеризированного производства и сетей — вот та территория, на которую распространяется свобода: как организовано это общее?

Д.Д.: Я ценю вашу теоретическую смелость и оригинальность в обращении со столь сложными вопросами, но все-таки нахожу неудовлетворительной вашу идею «номадизма» и «смешения народов» как инструментов космополитической борьбы изнутри паразитической хризалиды Империи. Вы утверждаете, что номадизм и смешение народов — оружие, которое можно использовать против подчинения реакционным идеологиям, таким как нация, этническая принадлежность, народ и раса. «Множество» обретает силу благодаря способности циркулировать, «навигировать», контаминировать. На мой взгляд, в вашей позиции по этому вопросу кроется недооценка того факта, что номадизм, смешение народов и культурная креолизация суть плоды огромных миграционных потоков, вызванных растущей международной диспропорцией власти и богатства. Серж Латуш утверждает, что последствия «декультурации», «детерриториализации» и «отрывания от корней планетарного размаха» указывают на реальный провал проекта модернизации и неудачу его прометеевского универсализма.

А.Н.: Я очень рад, что ты признаешь, с определенной долей теоретического энтузиазма, эффективность наших тезисов о номадизме и смешении народов — так, кажется, можно истолковать твои слова. И все же твоя оценка склоняется к пессимизму. Я часто спорил с Сержем Латушем по этим вопросам и должен сказать, что причина моего неприятия его позиции не в ее неистинности, а попросту в том, что в ней, по-моему, слишком много всепоглощающего и катастрофичного. Я не понимаю, зачем высмеивать как «прометеевский универсализм» беженство мигрантов и поиск надежды множеством людей по всему миру. Я не считаю, что мигранты бегут только от нищеты; я думаю, они ищут свободы, знаний и благосостояния. Желание — созидательная сила, которая тем мощнее, если укоренена в бедности. В самом деле, *бедность* не сводится к одним лишь страданиям; это еще и *возможность* множества вещей, указанных желанием и произведенных трудом. Мигрант обладает достоинством человека, взыскующего истины, созидания, счастья. Это сила, которая сокрушает вражескую способность изолировать и эксплуатировать и искореняет — наряду с предполагаемым прометеизмом — все героическое и/или теологическое из поведения бедных и субверсивных. Если уж на то пошло, прометеизм бедняков и мигрантов — соль земли, а номадизм и смешение народов действительно изменили мир.

Д.Д.: Напоследок хочу спросить, хотя и понимаю, как трудно на это ответить: каковы институциональные и нормативные формы того, что вы определяете как «контр-Империю — альтернативную политическую организацию глобальных потоков и обменов»? Вы утверждаете, что это политическая организация, которую «созидательные силы масс… способны самостоятельно создать»[10]. Из

10 *Хардт М., Негри А.* Империя. С. 15.

чего конкретно она складывается? После внимательного изучения вашей книги мне удалось лишь заключить, что политическая форма у нее все равно будет имперская. По-моему, не очень убедительно как в теоретическом, так и в политическом смысле. Однако это особенно показательно для вашей приверженности позиции, весьма напоминающей марксистскую теорию «отмирания государства». Империя — институциональная оболочка, внутри которой произойдет распад государств и их правовых систем, «отмирание», как говорил Ленин. Здесь ваша книга, по-прежнему оставаясь в рамках марксистской ортодоксии, начиная с работы «К еврейскому вопросу», полностью игнорирует доктрину «правового государства» и защиты основных свобод, а также вопросы уважения к политическим меньшинствам и праву народов на самоопределение. Власть множества мыслится в вашей книге как некая неограниченная, глобальная и неослабевающая созидательная энергия: коллективная энергия, которая выражает «власть порождения, желания и любви». «Множество» — своего рода историческая утроба, из которой появятся новый образ жизни и новый вид, устремленные «к homohomo, человеческой природе в квадрате, обогащенной коллективным разумом и любовью сообщества»[11]. Тебе не кажется, что здесь слишком много профетизма, щедрого wishful thinking (самообмана), чтобы все это могло задавать перспективу сопротивления и борьбы с тем, что нам обоим кажется неприемлемым в том глобализированном мире, в котором мы живем?

А.Н.: Я не знаю, что ответить на твои последние вопросы. У меня такое чувство, что от усталости мы уже не столько приводим аргументы, сколько высказываем впечатления и застывшие идеи. Ты, разумеется, изучил «отмирание государства» у марксистских классиков основательнее, чем я, поскольку меня больше занимали проблемы перехода. Уверен, ты только одобришь, если я скажу тебе, что сегодня все это кажется мне нелепым. Однако я полагаю, что вся доктрина «правового государства» тоже устарела и что нам, если мы не хотим, подобно столь многим донам Ферранте[12], скатиться в пустопорожнее философствование, следует заново пересмотреть тот существенный элемент свободы, который она содержала. Что же, наконец, до будущих действий множества против Империи, то я всецело полагаюсь на мысли и поступки борцов глобальных движений. Поверь мне, они гораздо умнее и способнее, чем были в молодости мы.

Пер. с англ. Нины Ставрогиной

11 Там же. С. 194.

12 Дон Ферранте — персонаж «Обрученных» Алессандро Мандзони. — *Примеч. пер.*

Империя и ее альтернативы в российской историографии

Кирилл Соловьев

Парламент империи или парламент против империи

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_60

Kirill Soloviev

Parliament of the Empire or Parliament against the Empire

27 апреля 1906 года запомнилось многим: и членам императорской семьи, и министрам, и съехавшимся в Петербург депутатам I Думы. Все они собрались в Зимнем дворце, где императору предстояло прочитать речь перед народными избранниками. По правую руку от государя стояли сановники империи: главы ведомств, члены Государственного совета, сенаторы. По левую руку — депутаты. Так встретились две разные и очень непохожие друг на друга России. Одна в мундире и с орденскими лентами. Другая — пестрая, в костюмах разнообразных народов огромной империи. Там были господа в мундирах и фраках, католический епископ, православные священники, депутаты в костюмах народов Средней Азии, конечно же, многочисленные крестьяне в поддевках. Те разглядывали придворных дам, драгоценности на них и думали, сколько можно купить земли, если обратить все эти блестящие камни в рубли. Две России разглядывали друг друга и недоумевали.

Избирательный закон был далек от демократизма. Государственная дума была кривым зеркалом российского социума. И все же многое в ней отражалось: прежде всего сложно устроенная, крайне неоднородная страна, части которой находились как будто бы в различных правовых измерениях. Как не покажется странным, это более чем очевидное обстоятельство не слишком волновало тех, кто разрабатывал Положение о выборах. В своих размышлениях о будущем народного представительства они делали акцент совсем на другом: их волновал сословный, социальный расклад в Думе. Это едва ли случайно. И чиновники, и представители общественности порой забывали об имперском характере российской государственности. Учреждая новое издание Земского собора, они порой вспоминали сказочные страницы из времен царствования Алексея Михайловича

в изложении славянофилов, очень далекие от реалий XVII и тем более XX веков. Они предпочитали не выходить за границы своего кабинета или канцелярии. В их мире все было стройно и упорядочено, в самой же России — далеко не всегда так.

В Таврическом дворце им об этом напомнили. Депутаты с окраин видели себя лоббистами региональных интересов. Уже в I Думе сложилась группа автономистов, были подняты вопросы, которые волновали не центр, а периферию. Повсеместно выборы имели свою уникальную специфику. Так, Грузия делегировала в Петербург социал-демократов даже тогда, когда РСДРП вроде бы решила бойкотировать избирательную кампанию в I Думу. Вполне предсказуемо особую роль играли польские депутаты. К их голосу внимательно прислушивались и слева, и справа. Их было довольно много. Плотно заселенные Привислинские губернии были хорошо представлены в Таврическом дворце[1].

Спустя полтора года, в Положении 3 июня 1907 года, все эти «ошибки» были исправлены. III Дума будет уже в полном смысле этого слова имперская. В ней не только будут разные народы империи — они будут выстроены в особой иерархии. Согласно новому Положению о выборах, Средняя Азия была вовсе лишена возможности участвовать в выборах. Представительство от Польши и Закавказья стало заметно более скромным. Иными словами, различные части империи были представлены непропорционально численности населения, а некоторые не были представлены совсем.

Имевшиеся диспропорции тем более бросаются в глаза, если учитывать Государственный совет, где первая скрипка принадлежала назначенным членам, чиновникам, а избранные представляли далеко не всю империю.

Примечательно географическое распределение депутатов. Обычно особое внимание уделяется «пострадавшим», кто был лишен возможности участвовать в формировании народного представительства или же был ограничен в своем праве. О «счастливцах» по недоразумению умалчивают. Вместе с тем список губерний с наибольшим представительством весьма характерен. Речь идет о Воронежской, Вятской, Екатеринославской, Киевской, Курской, Минской, Области войска Донского, Казанской, Пермской, Подольской, Полтавской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Харьковской, Херсонской, Черниговской губерниях. По-своему удивителен удельный вес губерний, представлявших западные окраины империи, что, впрочем, вполне объяснимо. Речь идет о плотно населенных частях империи, где при этом тон задавали преимущественно правомонархические силы. Депутаты, представлявшие Волынь, Подолье, Киев, чаще других были склонны к имперской риторике[2].

В действительности валовые показатели в отношении Государственной думы мало что говорят. Большинство депутатов никак себя не проявили. Народные избранники чаще всего молчали, а не выступали. Только лишь 161 депутат из 442 членов III Думы хоть как-то обозначил свое присутствие в политической жизни Российской империи. Примечательно их распределение в зависимости от губернии избрания.

---

1 *Цицунчук Р.А.* Национальные фракции Государственной думы Российской империи: типология, состав // Таврические чтения 2009. Актуальные проблемы истории парламентаризма в России (1906—1917 гг.). Международная научная конференция, С.-Петербург, Таврический дворец, 4 декабря 2009 г.: Сборник научных статей / Под ред. А.Б. Николаева. СПб.: [Б.и.], 2010. С. 113—122.

2 Там же. С. 123.

Таблица

Распределение наиболее активных депутатов III Думы
в зависимости от губернии избрания

Регион	Количество депутатов	Процентное отношение
Столицы	10	6,2%
Центр	16	10%
Север России	12	7,5%
Юг России	36	22,5%
Поволжье	13	8,1%
Левобережная Украина	21	13,1%
Западные окраины (Правобережная Украина, Белоруссия, Литва, Польша)	32	20%
Кавка	35	3,1%
Остзейские губернии	3	1,9%
Сибирь и Урал	12	7,5%

Подсчитано по: *Соловьев К.А.* Работоспособное ядро Третьей Государственной думы: численность и состав // Таврические чтения 2015. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Международная научная конференция, С.-Петербург, Таврический дворец, 10—11 декабря 2015 г.: Сборник научных статей: В 2 ч. / Под ред. А.Б. Николаева. Ч. 1. СПб.: ЭлекСис, 2016. С. 126—136.

Таким образом, депутаты, представлявшие центральные губернии России, столицы, а также Север Европейской России, в совокупности составляли только лишь 23,7% активных членов Думы, то есть меньше четверти (*таблица*).

Империи Нового времени слишком сложные образования, чтобы сводить их к элементарной формуле. Им трудно дать определение. Их легче описывать, перечисляя многочисленные, зачастую противоречивые свойства. В сущности, речь идет о больших европейских державах, сложных по своей структуре, предельно неоднородных, так или иначе переживавших общие вызовы: модернизации, национализма, рационализации. Представительные учреждения — прямое следствие всех этих явлений и процессов. В этом заключался известный парадокс: упомянутые тенденции ставили под сомнение традиционные представления о пространстве, иерархии, власти — обо всем, на чем стояли империи столетней давности.

Эти соображения в полной мере относятся и к дореволюционной Государственной думе. Во-первых, как уже отмечалось, архитекторы политической системы поначалу почти забыли, что Россия — империя. Вольно или невольно они отталкивались от популярного тогда концепта Земского собора, который должен был объединить весь народ, а значит, все сословия[3]. Этнографическое

3 *Демин В.А.* Государственная дума vs. Земский собор (сравнительный анализ проектов С.Е. Крыжановского и В.И. Гурко) // Таврические чтения 2019. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Международная научная конференция, С.-Петербург, Таврический дворец, 5—6 декабря 2019 г.: Сборник научных статей: В 2 ч. / Под ред. А.Б. Николаева Ч. 1. СПб.: Астерион, 2020. С. 61—65;

разнообразие, характерное для России, оставалось за скобками. Такого рода близорукость часто была свойственна российским интеллектуалам из редакции толстого журнала или университетской аудитории.

Во-вторых, так или иначе первая скрипка в Думе принадлежала общероссийским партиям. Это случилось не потому, что они обладали достаточным организационным ресурсом или же мобилизовали лучших людей страны. Это объясняется иначе. Политические партии не были случайными объединениями. Они начали складываться за несколько лет Первой революции, мучительно прорастая из общественного движения предыдущей эпохи. Оно же, в свою очередь, стало формой консолидации различных элитных групп, не слишком довольных текущим положением дел в стране. Земство, городское самоуправление, университеты, печать, общественные организации обрели своих защитников сначала в лице протопартийных объединений, а потом и политических партий. Этим сравнительно малочисленным объединениям не нужно было вести за собой миллионы. Они представляли интересы наиболее активных, наиболее влиятельных и часто в материальном отношении весьма состоятельных групп населения. Преимущественно они говорили от имени центра России или, по крайней мере, тех, кто себя не отделял от общеимперской элиты страны. Едва ли удивительно, что политические партии были по большей части безразличны к национальной проблематике. Они предпочитали отделываться общими формулами, останавливаясь лишь на тех проблемах, которые имели очевидно общероссийское звучание: еврейском, польском и финляндском вопросах.

Партийные лидеры в своих родных губерниях говорили на одном политическом языке, а в Петербурге — на другом. Национальный расклад на окраинах империи поразительным, зачастую неожиданным образом «конвертировался» в «национальное безразличие» избранника отдаленных губерний, ищущего себя в столичной политике[4]. Электоральная игра в различных частях империи осуществлялась по-своему. Например, рижские октябристы объединялись вокруг журнала «Рижский вестник». Это было более чем консервативное издание, слабо отличавшееся от правомонархических печатных органов. Журнал отчаянно боролся за «истинно русские начала», чтобы Рига делегировала преимущественно представителей русского населения в Думу. При этом местные октябристы с легкостью договаривались с немецкими баронами. Этот альянс был логичен и предсказуем. Октябристы прежде всего противостояли кадетам, которые под своим крылом объединяли разнообразные национальные группы: латышские, еврейские, польские, литовские, эстонские. Они вызывали раздражение в равной степени у славянофильствующих рижан русского происхождения и остзейских баронов[5].

Октябристы могли быть и совсем другими. В некоторых регионах страны они были настроены заметно более оппозиционно, чем руководство Союза 17 октября. Например, это был случай Казанской губернии, где приходилось

Новосельский С.С. Проекты реформы Государственного совета в российской политической мысли 1905 г. // Там же. С. 67—72.

4 См.: *Миллер А.И.* Национальный вопрос в империи Романовых после 1905 г. — методологические проблемы // Российская империя между реформами и революциями. 1906—1916 / Под ред. А.И. Миллера и К.А. Соловьева. М.: Квадрига, 2021. С. 258—260.

5 Выборы в Государственную думу // Вестник Партии народной свободы. 1906. № 6. 11 апреля. Стлб. 409—410.

договариваться с многочисленным мусульманским населением. Там октябристы, нисколько в том не сомневаясь, отстаивали идеи веротерпимости и гражданского равноправия[6].

Очень разные люди, непохожие друг на друга, правые и левые, консерваторы и либералы, учились слушать коллег по фракции, дабы сохранять единство. Им приходилось договариваться с теми, кто был им чужд и даже неприятен. Так, ориентация на союз с националистами — популярная идея в октябристской среде. И это притом что среди членов партии было немало тех, кто был заметно ближе к кадетам, чем правому крылу общественного движения России. Идею альянса с националистами отстаивал октябрист М.В. Родзянко осенью 1911 года[7]. Это было вполне предсказуемо: недавно избранный председатель Думы вызывал симпатии среди думских правых. В известном столичном ресторане Кюба состоялся ужин с участием думских лидеров, в том числе представителей президиума. Депутат В.М. Пуришкевич, «правее которого в Думе была только стена», поднял свой бокал за Родзянко как представителя «старинного прежнего дворянства»: «Когда я вижу его сановную походку на свою высокую кафедру, то невольно вспоминаю древнюю Московскую Русь, когда жило дворянство и около него народ». Пуришкевич не унимался, вспоминая и прочих членов думского президиума:

> Когда я вижу идущего князя [В.М.] Волконского, я вижу в нем старого славного кавалериста, готового сложить свою голову за Царя и Родину. Когда я вижу сидящего по левую сторону М.В. Родзянко М.Я. Капустина, я вижу в нем прежнего старого профессора, профессора-идеалиста времен Грановского. Вот почему я так часто не соглашаюсь со взглядами Михаила Яковлевича [Капустина]. Он смотрит на современную молодежь глазами профессора-идеалиста, а современная молодежь далека от идеальной. Поднимаю бокал за славную Древнюю Русь и всех троих нашего президиума[8].

Родзянко был правый октябрист, М.Я. Капустин тяготел скорее к левому крылу фракции. Однако и тот, и другой принимали общие правила игры.

И на А.И. Гучкова можно было смотреть глазами восхищенного националиста. Как раз в тот день, когда чествовали президиум, депутат И.М. Коваленко вспоминал тревожные дни революции:

> Господа, во время 1905 г. у нас в Ковенской губернии нас, русских, совсем было обидели инородцы. Нам приходилось плохо. Мы были оторваны от сердца России. Мы не знали в страхе, что нам делать. Но на наше счастье раздался в Москве чудный и сильный голос… Этот голос был голосом Александра Ивановича Гучкова[9].

Таврический дворец был той точкой в империи, где депутату приходилось слушать, что говорят на окраинах, и не только русские националисты. В Думе не было стабильного большинства. Оно формировалось от случая к случаю. Каждый голос мог оказаться решающим.

---

6 Итоги предвыборной кампании в Казани // Вестник Партии народной свободы. 1906. № 13. 1 июня. Стлб. 887—888.

7 *Клюжев И.С.* Дневник // Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 669. Оп. 1. Д. 9. Л. 18.

8 Там же. Л. 18 об. — 19.

9 Там же. Л. 19 об.

Октябрист И.С. Клюжев готовил законопроект об учительских семинариях, встречая сопротивление со всех сторон. В середине мая 1912 года к нему подошел депутат Г.Х. Еникиев, который выразил возмущение: совершенно не учтены интересы инородцев. Клюжев парировал: «Да помилуйте, Бога ради. Кто виноват в этом? На заседание комиссии не ходите ни Вы, ни кадеты, ни октябристы, ни поляки, а мне приходится работать с одними националистами, правыми и попами. Что же я могу сделать при таком составе?» Еникиев согласился с этим, при этом предложил пройти к нему на квартиру и побеседовать об общеполитических проблемах.

Клюжев согласился. Они зашли в очень удобную, уютную квартиру, где проживал депутат. Еникиев угостил чаем. Пошла беседа, скорее напоминавшая нескончаемый монолог хозяина о настроениях мусульманского населения России. Он обвинял октябристов и правительство в «ложном национализме». Это была близорукость, не позволявшая разглядеть огромной силы, которая надвигалась с востока. Еникиев говорил о 28 миллионах русских мусульман, с которыми надо так или иначе считаться. Он вспоминал, как в 1905 году революционные силы уговаривали их перейти на свою сторону. Тогда из этого ничего не вышло, но кто знает, что будет завтра. Еникиев полагал, что в случае новой революции мусульмане поступят уже иначе:

> Знаете, теперь каждый правоверный мусульманин молится главным образом о том, чтобы Бог помог умереть ему не прежде, чем он успеет убить двух-трех противников его свободы и религии. И только лишь дан будет знак, как начнется такая резня, какую трудно даже представить[10].

Хотел он того или нет, но Клюжев должен был выслушать этот монолог. Дабы избежать неожиданностей, надо было договариваться со всеми народными избранниками, даже с представителями относительно малых по численности национальных групп.

Однако главное все же заключается в другом. Растущее влияние Думы на политическую жизнь России начала XX века обуславливалось элементарным обстоятельством: законодательные учреждения говорили от имени различных элитных групп. У каждой из них были свои интересы, за которые они готовы были бороться. Их представительство в Петербурге — важнейшее условие внутреннего мира в империи. Это и был главный результат Первой революции. Мучительное взаимодействие правительства с депутатами требовало эволюции обеих сторон. Они должны были научиться соответствовать обретенным возможностям. Проще всего быть фаталистом, заявляя, что у договаривавшихся не было шанса договориться. Едва ли телеологизм такого рода хоть как-то обоснован. Однако можно с уверенностью утверждать, что новые обстоятельства стали вызовом для политических игроков, а значит, и для всей политической системы. В итоге активная позиция, занятая депутатами Думы, говорившими от имени империи, при этом часто забывавшими об имперском характере российской государственности, способствовала ее обрушению. Точку в истории империи поставили не социал-демократы и эсеры, а правый В.М. Пуришкевич, националист В.В. Шульгин, правый октябрист М.В. Родзянко и др.

---

10 *Клюжев И.С.* Дневник // РГИА. Ф. 669. Оп. 1. Д. 10. Л. 38.

Виталий Тихонов

Советская историография 1920—1930-х годов:

ОТ АНТИИМПЕРСКОСТИ К ВЕЛИКОДЕРЖАВИЮ

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_66

Vitaly Tikhonov

Soviet Historiography of the 1920—1930s: From Anti-Imperialism to Great Power

Проблема «неимперской России» позволяет выйти на вопросы роли исторического знания в легитимации (и как следствие, делигитимации) имперских и антиимперских проектов. В этом ракурсе развитие историографии предстает не как процесс поиска объективного знания о прошлом, а в качестве идейного компонента различных социально-политических проектов. Одной из отличительных чертой имперскости является представление о масштабной исторической миссии державы. Такой исторический мессианизм и делает державу империей в подлинном смысле этого слова, выделяя ее на фоне «нормальных» государств, чьи исторические амбиции куда скромнее. В этом контексте историописание является важнейшим инструментом имперского проекта, становясь одним из элементов его языка, символики и мифологии.

В XIX веке российская историческая наука построила устойчивый общеимперский нарратив, сочетающий государственнический пафос, идею национальной и религиозной (впрочем, по мере процессов секуляризации акцент сместился на культуру) миссии русских. Его краеугольными камнями стали вполне типичные для европейского исторического воображения того времени концепты или их вариации. В российском контексте особое значение приобрел культ государства, которое рассматривалось демиургом исторического процесса, доминирующим над обществом. В зависимости от идеологических предпочтений это рассматривалось либо как плюс, либо как минус.

Со второй половины XIX века культ государства дополнялся концепцией колонизации, презентующей русскую историю как процесс окультуривания исторического пространства народом и властью. Миф о колонизации можно назвать ключевым компонентом национальной по форме и государственной по содержанию российской историографии второй половины XIX века. Он придавал истории телеологичность, определяя ее как процесс освоения территорий, изначально предназначенных русскому народу и государству. В этом смысле он подпитывал историческую легитимацию Российской империи и ее культуртрегерскую миссию. Глобализация интересов великих держав сделала актуальными и геополитические аргументы. Включение нерусских народов в состав империи преподносилось как исторически неизбежное и закономерное явление, обусловленное комбинацией колонизационных, культурных (более высокий уровень цивилизации у русских по сравнению с завоеванными народами) и геополитических факторов. В официальной идеологии все это до-

полнялось династической историей. Разумеется, такой имперский нарратив постепенно подтачивали динамично развивающиеся уже во второй половине XIX века региональные и национальные нарративы.

Пришедшие к власти большевики видели свою революционную задачу в том числе и в разоблачении идеологии поверженного царского режима, его империалистической и колониальной сущности. История в этом контексте рассматривалась в качестве важного участка «исторического фронта». Следуя за марксистским постулатом об иллюзии внеклассового знания, видный партийный деятель историк М.Н. Покровский и его ученики немало потратили сил на выявление идеологической подоплеки исторических трудов классиков дореволюционной исторической науки. Покровский подчеркивал, что за фасадом объективности скрывались реальные классовые интересы, а историки-марксисты должны взломать этот «шифр», сорвать «камуфляж» с внешне академически беспристрастных исследований[1]. Одним из направлений радикальной деконструкции стало выявление имперской и колониальной подоплеки трудов дореволюционных историков и их наследников.

Покровский считал Российскую империю типичной европейской колониальной державой, экономически и культурно эксплуатирующей захваченные территории и их население. Он высмеивал представления о бесконфликтном включении нерусских народов в Российское государство. Наоборот, теперь нужно было демонстрировать ужасы колониальных захватов и беспощадной эксплуатации аборигенов и порабощенных народов[2].

Таким образом, в 1920-е годы советская историография прошла стадию радикальной «историографической зачистки» государственно-национального нарратива. Антиимперский и антиколониальный энтузиазм советских историков — марксистов подпитывался не только пафосом борьбы с «идеологией царизма», но и надеждами на мировую революцию, в которой, как считалось, угнетенные колониальные народы вольются в скором времени в революционные ряды.

Однако только разоблачения «царистской историографии» было недостаточно. На повестке дня стоял проект возвращения исторической субъектности ранее порабощенным народам, что вписывалось в общую политику советской власти по форсированному развитию национальных культур для последующего рывка в социализм[3].

На Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов (28 декабря 1928 — 4 января 1929) вместо привычной секции по истории России была организована секция истории народов СССР. Покровский объяснял это следующим образом: «...Мы поняли, — чуть-чуть поздно, — что термин “русская ис-

---

1 См.: *Покровский М.Н.* Борьба классов и русская историческая наука // Покровский М.Н. Историческая наука и борьба классов. Историографические очерки, критические статьи и заметки: В 2 т. Т. 1. 2-е изд. М.: URSS, 2012. С. 10.

2 *Golubev A.* No Natural Colonization: the Early Soviet School of Historical Anti-Colonialism // Canadian Slavonic Papers. 2023. No. 2 (65). P. 190—204; *Тихонов В.В.* «Деколонизация» истории народов СССР в советской историографии (1920—1930) // Quaestio Rossica. 2024. Т. 12. № 1. С. 193—208.

3 *Мартин Т.* Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923—1939 / Пер. с англ. О.Р. Щёлоковой. М. РОССПЭН, 2011; *Хирш Фр.* Империя наций: Этнографическое знание и формирование Советского Союза / Пер. с англ. Р. Ибатуллина. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

тория" есть контрреволюционный термин, одного издания с трехцветным флагом и "единой, неделимой"». И далее: «История угнетенных народов не может не упоминать об истории народа-угнетателя, но отсюда заключать к их тождеству было бы величайшей бессмыслицей»[4]. Предполагалось, что нужно создать такую историю, в которой все народы СССР были бы равноправны. В целом данный историографический проект реализовывался на протяжении всех 1930-х годов[5].

С конца 1920-х годов советская идеология постепенно перестраивалась под сталинским лозунгом «построения социализма в отдельно взятой стране», а СССР представал как осажденная крепость. Все больше обозначался дрейф в сторону консолидирующих концептов («советский патриотизм», «дружба народов», «советский народ» и др.), а затем и откровенного великодержавия[6]. Политика никогда не была односложной и прямолинейной. На национальном фронте борьба с «великорусским шовинизмом» сочеталась с борьбой с «буржуазным национализмом». В зависимости от ситуации и целей сталинского режима на первый план выходило то одно, то другое. Символичным стало возвращение по инициативе Сталина классического исторического образования в школы и вузы.

Напряженная международная обстановка и необходимость мобилизации общества вокруг партии и ее вождя требовали понятных объединяющих лозунгов и наглядных примеров. Во второй половине 1930-х годов советская внешняя политика становилась все агрессивнее и ее программой минимум было возвращение утраченных после распада Российской империи территорий. В этом контексте понятно усиление военного и великодержавного компонента исторической идеологии. Историографический концепт «история народов СССР» выглядел как инструмент дробления консолидирующего исторического нарратива. Радикальный антиимперский и антиколониальный дискурс вытеснялся новыми веяниями, которые историки обозначают как «великое отступление», «сталинский русоцентризм», имея в виду постепенный дрейф идеологии от радикальной революционности, отрицавшей прошлое, в сторону прагматической пропаганды, этатистской (государственнической) по своей сути, оттеняющей фигуру Сталина и ориентированной преимущественно на русскоязычную культуру[7].

Глобальные процессы играли в этом заметную роль. Общемировой консервативный поворот 1930-х годов, вызванный масштабным кризисом и успехами фашистских режимов, стал для СССР глобальным вызовом, а фашизм главным идеологическим триггером. Симметрично отвечая на него, советский режим все больше вписывался в данный контекст. Опасения вызывало

---

4 Труды Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов. 28.XII.1928 — 4.I.1929: В 2 т. Т. 1. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1930. С. IX.

5 Подробнее см.: *Тихонов В.В.* Как «История народов СССР» стала «Историей СССР»: к вопросу о трансформации идеологических установок советского курса истории в 1930-е годы // Россия и современный мир. 2023. № 1 (121). С. 168—182.

6 *Дубровский А.М.* Власть и историческая мысль в СССР (1930—1950-е гг.). М.: РОССПЭН, 2017.

7 *Бранденбергер Д.* Сталинский руссоцентризм: советская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931—1956 гг.). 2-е изд., перераб. и доп. / Авториз. пер. с англ. Н.Г. Алешиной, Л.Н. Высоцкого, Л.Ю. Пантиной. М.: РОССПЭН, 2017.

стремление идеологических противников использовать исторические образы в пропаганде против Советского Союза. Например, А.М. Панкратова в 1937 году на обсуждении содержания вузовского учебника по истории указывала, что «японские милитаристы» с опорой на самих же советских историков, рьяно до этого разоблачавших ужасы царской эксплуатации Сибири, говорят о том, что русские принесли этому региону только страдания, поэтому его следует отторгнуть от СССР[8]. Таким образом, внешнеполитический фактор стал важнейшей причиной смены радикальной антиимперской идеологии на более мягкий вариант[9].

Это настроение совпало со стремлением историков старой школы, возвращенных из ссылок после восстановления в середине 1930-х годов исторического образования, вернуть историописание в привычный им государственнический и русоцентричный модус. Ужасы крушения российской государственности в 1917 году снизили их либерализм, зато привили пиетет перед крепкой властью и великодержавием. Теперь интересы влиятельной части советской властной системы и авторитетных историков совпали. Е.В. Тарле, С.В. Бахрушин, А.И. Яковлев, Б.Д. Греков, Р.Ю. Виппер и многие другие с искренним удовлетворением описывали величие русской истории и победы русского оружия. Особенно эти настроения усилились после победы во Второй мировой войне, превратившей СССР в мировую сверхдержаву.

Видимо, следует учитывать и настроения молодой военной и управленческой элиты. Речь идет о пришедших во власть после Большого террора кадрах, преимущественно русских по этническому происхождению, которые видели в предыдущем поколении управленцев, где было много «националов», в особенности евреев, своих прямых конкурентов. «Новую» элиту не устраивала радикальная борьба с «великорусским шовинизмом», в которой они видели инструмент получения особых преимуществ со стороны «националов». Ее представители хотели более позитивной оценки русской истории и культуры. Сталин и ряд его соратников чутко улавливали эти настроения, превращая их в доминирующие идеологические тенденции.

Полноценный поворот к государственническим установкам, потеснившим (но не отменившим полностью) революционную романтику, произошел уже в последние годы Второй мировой войны и особенно ярко проявился в послевоенное время, воплотившись в «сталинском большом стиле», в том числе и в историописании[10]. При этом по-новому актуальными стали модифицированные историографические концепты, присущие еще дореволюционной историографии. Вернулся культ сильного государства, пусть и с оговоркой о его классовой и эксплуататорской сущности. Такие фигуры, как Александр Невский,

---

8 *Тихонов В.В.* История народов Сибири в советских школьных учебниках 1930-х гг. // История народов России в исследованиях и документах. Вып. 9: К юбилею В.В. Трепавлова / [Отв. ред. Дж.Я. Рахаев]. М.: Институт российской истории РАН, 2022. С. 316—327.

9 Об этом факторе см.: *Yilmaz H.* National Identities in Soviet Historiography: The Rise of Nations under Stalin. London; New York: Routledge, 2015.

10 Об этом см.: *Тихонов В.В.* Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука (середина 1940-х — 1953 г.). М.; СПб.: Нестор-история, 2016; *Шишкова Т.* Внеждановщина: советская послевоенная политика в области культуры как диалог с воображаемым Западом. М.: Новое литературное обозрение, 2023.

Иван Грозный, Петр Великий, русские полководцы и деятели культуры прочно вошли в советский исторический пантеон. К ним присоединились, пусть зачастую и в роли «младших братьев», представители титульных наций союзных и автономных республик. Внешнеполитические успехи расценивались как критерий прогрессивности. Вернулся культ военных побед. Многие антицаристские восстания были признаны реакционными, мешающими приобщению менее развитых народов к культуре «великого русского народа». При этом геополитические аргументы звучали все громче. Так, все активнее использовалась формула «наименьшего зла», согласно которой присоединение к царской России было меньшим злом, чем присоединение к более отсталым империям Востока или панской Польше. Е.В. Тарле еще в годы войны заявил, что присоединение к Российской империи было благом, поскольку благодаря этому народы впоследствии стали частью Советского Союза. В послевоенное время формула «наименьшего зла» трансформировалась в формулу «абсолютного блага». Теперь история народов СССР представала в качестве телеологического процесса, в котором они неизбежно должны были стать частью Советского Союза. Таким образом, СССР воспроизвел базовые компоненты имперского исторического нарратива. В определенной мере это стало следствием того, что Советское государство все равно вынуждено было опираться на структуры и воспроизводить многие практики, доставшиеся от Российской империи[11].

Я не хотел бы выносить вердикт по поводу имперской или неимперской сущности Советского Союза. Думаю, что все было сложнее. Тем не менее можно с уверенностью говорить, что ряд модифицированных имперских и великодержавных концептов и мифологем дореволюционной историографии пришлись ко двору для советского исторического нарратива. Представление о дрейфе исторической идеологии от радикального отрицания дореволюционного прошлого к его частичному признанию и идеологической адаптации для нужд сталинского режима в целом справедливо. Думаю, что к этому подталкивала и логика развития Советского Союза как фактического наследника Российской империи.

Заметную роль в этом сыграли «имперские эксперты» (по терминологии Фр. Хирш применительно к этнографам), историки старой школы, чьи компетенции и концептуальные представления в определенный момент в целом совпали с запросом власти. Однако говорить о простом воспроизводстве не приходится. «Имперские концепты» мутировали и приобрели приемлемый для советской идеологии оттенок.

11 *Булдаков В.П.* Реванш империи: революционная синергетика и создание СССР // Имперская традиция в российской государственности в Новое и Новейшее время: Материалы международной научной онлайн-конференции, Москва, 20 мая 2022 года / Под ред. С.В. Леонова, Г.В. Талиной. М.: МПГУ, 2023. С. 17—31.

Майкл Ходарковский

Евразийские корни Российской империи

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_71

Michael Khodarkovsky

Eurasian Roots of the Russian Empire

Что такое Россия? «Загадка, окутанная тайной», согласно известному выражению премьера Великобритании Уинстона Черчилля? Государство, движимое мессианским экспансионизмом, согласно лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову? Цивилизация, оказавшаяся на пороге апокалипсиса и революции, согласно русскому философу XX века Николаю Бердяеву? Или это просто пространство, которое определяется обширным размером, империалистической идеологией, тесно связанными культурами, обитающими вместе цивилизациями и глубоко травмированным населением?

Главный герой романа Михаила Шишкина «Венерин волос» задается вопросом: «Кто мы и зачем?» Где заканчивается Российская империя и начинается русская нация? Как, если судить в глобальном масштабе, соотносятся Россия и Запад? В России эти вопросы всегда определяли вечный поиск национальной идентичности.

В течение последнего десятилетия Кремль усердно искал идеологию, которая могла бы обосновать его внешнюю политику. В результате на свет появились два понятия. Одно, известное как «Русский мир», призвано было объединить всех русских внутри и вне страны на основе языка, православной веры или общих, хотя и очень размытых, русских ценностей.

Другое понятие, «евразийство», возникло в кружках русских эмигрантов в 1920-е годы. Его первоначальной целью было отнять у советской власти монополию на наследие Российской империи. Создатели евразийства предлагали альтернативный взгляд на Россию как на одновременно европейское и азиатское пространство. Правительство Путина воскресило эту старую идею, чтобы обосновывать свои геополитические претензии на обеих сторонах континента.

Когда 31 марта 2023 года президент Владимир Путин подписал последнюю версию Концепции внешней политики России, идеологическая позиция, в которой соединились идеи Русского мира и евразийства, наконец-то была обретена. В этом документе Россия определяется как «самобытное государство-цивилизация и обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, сплотившая русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира». Иными словами, Россия — это не просто одно из национальных государств, но уникальная евразийская цивилизация, объединившая множество народов, готовых следовать за Москвой.

Западное наследие России затушевывается, что позволяет обосновать вектор внешнеполитического развития и заменить старый Советский Союз современным Русским миром. Но что если Путин прав, хотя и не в том смысле, как он сам полагает? Что если Российская империя, ее прошлое и настоящее более

понятны в евразийском контексте? Может ли это объяснить, почему представители Запада с трудом понимают Российскую империю и почему оттоманы, персы и китайцы воспринимались ими как очевидный Другой, в то время как русские лишь с большим трудом поддавались такой ясной категоризации?

По моему мнению, Россия развивалась именно как евразийская империя, структурно во многом схожая с другими подобными государствами. Несмотря на религиозные, культурные и этнические различия, евразийские империи обладали некоторыми чертами, которые делали их во многом непохожими на европейские государства.

Одной из общих черт этих империй была их связь с великой евразийской степью: их политическое образование определялось степным фронтиром, который в течение многих веков влиял на их специфическую природу. Другими словами, если Западная Европа родилась на свет благодаря наследию Римской империи, евразийские империи были наследницами степной монгольской империи Чингисхана. В самом деле, Оттоманы, Сефевиды и Каджары в Иране, Мугалы и Цинь в Китае были династиями степного происхождения, которые веками поддерживали традиции степи. Но даже в России начиная с Ивана Грозного, называвшего себя потомком Чингисхана, самые разные правители претендовали на наследие ханов Золотой Орды вплоть до середины XVIII века. Политическая культура всех евразийских империй сформировалась в тесной связи со степью и ее кочевыми обитателями, вне зависимости от того, сознательно ли они считали себя наследниками степи, как делали Оттоманы, персы и Мугалы, или определяли себя как ее оппонентов, как поступали российские и китайские правители.

Пожалуй, самой яркой чертой, которую Россия разделяла со своими восточными соседями, было гипертрофированное развитие правительства и государства. В этом отношении мировоззрение и политика кардинально отличают евразийские империи от империй европейских. Например, европейская экспансия и колонизация первоначально осуществлялась частными торговыми компаниями, пусть они обычно и действовали во имя и под покровительством соответствующей короны. Единственными сравнимыми примерами в российской истории были два кратких периода, когда купеческая семья Строгановых получила разрешение колонизировать Сибирь в 1560-е годы, а Русско-американская компания управляла Аляской с 1799 по 1867 год, после чего последняя была продана Соединенным Штатам. В Османской и Китайской империях сопоставимых ситуаций просто не было.

Российская и другие евразийские империи никогда не распределяли власть наподобие империй европейских, где существенные полномочия передавались парламентам, частным организациям, торговым компаниям, семьям и добровольным ассоциациям. В Москве, Стамбуле, Исфахане или Пекине колонизация завоеванных земель и народов воспринималась как исключительно государственное дело. А поскольку эти правительства подчиняли себе сопредельные территории, они идеологически обосновывали свое право на них на языке политической теологии или в терминах геополитической озабоченности. В некотором смысле, вопреки распространенному убеждению, евразийские империи были впереди европейских, которые только в XIX веке стали полагаться на всю мощь государственного аппарата, чтобы покорять свои заморские владения и управлять ими.

В отличие от европейских национальных монархий, евразийские империи придерживались идеи монархии универсальной и видели свое явное предна-

чертание и божественную миссию в завоевании и подчинении окружающих народов. Имперские правительства неизбежно воспринимали и оформляли свои отношения с Другим не посредством договоров, как европейские империи, но как сюзерены, дарующие свои милости новым подданным. С точки зрения правительств недавно захваченные народы должны были, как и другие подданные Российской, Османской или Китайской империй, выразить вечную покорность своим повелителям.

Пока западноевропейские общества разрабатывали разнообразные институты и понятия, чтобы обращаться с многомерным экономическим, политическим и правовым пространством их империй, евразийские империи оказались не способны приспособиться к новым и более сложным вызовам и пытались сочетать домодерные имперские структуры с новыми. Выраженные в категориях универсальной монархии, их представления о собственных империях с трудом разделяли метрополии и периферию, народы за пределами и в пределах имперских границ, административные и правовые институты в метрополии и на окраине.

Распространенное разграничение между европейскими заморскими колониальными империями и евразийскими континентальными империями может сбивать с толку. Хотя некоторые различения между ними существовали, евразийские империи часто прибегали к тем же колониальным методам и практикам. Например, хотя Россия и не учредила специальное ведомство наподобие британской Колониальной администрации или французского Колониального министерства, это не значит, что у России вообще не было такого ведомства. Через много лет после завоевания Кавказа и Центральной Азии и их, как утверждалось, полной интеграции в составе Российской империи, этими регионами все еще управляли азиатские департаменты в составе Министерства иностранных дел и Военного министерства.

Многие века Россия отрицала свой статус как колониальной империи. Поскольку история как академическая дисциплина всегда была служанкой государства, за кратким исключением 1990-х годов, исследователи были обязаны создавать нарративы, оправдывавшие расширение Российского государства, изображать его как благодетельное в сравнении с западными империями и подчеркивать положительное влияние Российской империи на местное население. В разное время высокопоставленные российские правительственные чиновники предлагали признать, что, как и другие европейские империи, Россия владела азиатскими колониями. Однако ответ из Санкт-Петербурга всегда был один и тот же: Россия не имела колоний и была едина и неделима. Не удивительно, что идеи русского колониализма обычно предлагались чиновниками, заинтересованными в сборе налогов, и отвергались военной администрацией. В реальности Россия, как и Циньский Китай и в отличие от большинства европейских государств, практиковала своеобразный государственный колониализм.

Не стоит отрицать евразийский характер Российской империи только потому, что официальная российская идеология выстраивается вокруг этой идеи. Россия всегда была гибридной империей с корнями и в Европе, и в Азии, где сосуществовали, подчас не без конфликтов, разные традиции и влияния. Если рассмотреть имперскую историю России в контексте ее евразийских соседей, это позволит демистифицировать историю Российской империи и наконец разрешить загадку, которую Россия представляла собою для Черчилля, и тайну, которой она оставалась для многих поколений до и после него.

Война *и имперское со*знание

Андрей Зорин

«Зачем люди друг друга убивают?»

(ТОЛСТОЙ И ИМПЕРИЯ)

Andrei Zorin

"Why Do People Kill Each Other?" (Tolstoy and Empire)

Андрей Зорин (Оксфордский университет, профессор; доктор филологических наук) andrei.zorin@new.ox.ac.uk.

Ключевые слова: колониальная война, империя, насилие, кавказские войны, природный инстинкт, нравственное сознание, Толстой, военные рассказы, «Война и мир», пацифизм, «Хаджи-Мурат»

УДК: 172.4 + 821.161.1
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_74

В статье показано, что взгляды на войну Толстого в начале и в конце его творческого пути отличались скорее нюансами и акцентами, чем по существу. Понять кавказские рассказы и «Войну и мир» — значит увидеть в них зерна толстовской философии непротивления злу насилием и его последовательно антиимперской позиции, а осмыслить наследие Толстого-пацифиста невозможно, не уяснив его отношение к насилию как к важнейшей составляющей человеческой природы. Толстой неизменно считал, что защита от захватчиков земли, на которой стоит дом человека, плодами которой он кормится и в которую он ляжет после смерти, укоренена в природном цикле человеческой жизни. Такое отношение к насилию было для Толстого естественным, но доморальным, дохристианским, противоречащим личному нравственному чувству, безусловно противящемуся любым убийствам.

Andrei Zorin (Dr. habil.; Professor, University of Oxford) andrei.zorin@new.ox.ac.uk.

Key words: colonial war, Empire, violence, Caucus wars, natural instinct, moral conscience, Tolstoy, military stories, *War and Peace,* pacifism, *Khadzhi-Murat*

UDC: 172.4 + 821.161.1
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_74

The article shows that Tolstoy's perception of the war in the beginning and in the end of his creative career differed rather in nuances and accents than in content. Understanding of his early stories and *War and Peace* implies seeing here the germs of Tolstoy's consistent anti-militarist and anti-imperial stance while the heritage of Tolstoy's the pacifist cannot be fully interpreted without considering his view of violence as an integral part of human nature. Tolstoy always believed that the resistance to invaders and the defence of land where humans were born, by which products they are fed and where they are going to life after death is natural, but considered this instinct as pre-moral and pre-Christian contradicting the personal moral conscience that unconditionally rejects all sorts of violence.

Не только многочисленным почитателям Льва Толстого, но и исследователям его творчества порой непросто соотнести между собой два его образа. Молодой артиллерийский офицер, участник колониальной войны на Кавказе и Крымской кампании, автор самого знаменитого в русской литературе романа о «народной войне» мало похож на седобородого пацифиста, видевшего в военной службе самое большое зло человеческой истории и отрицавшего само разделение человечества на «племена и расы». Те, кого беспокоит этот когнитивный диссонанс, обычно выходят из положения, говоря о «противоречиях» и даже о существовании «двух Толстых», из которых каждый может выбрать того, кто ему больше нравится.

Толстой, конечно, развивался и эволюционировал, но его путь скорее похож на последовательное приближение к намеченной цели, чем на череду зигзагов и метаний. По словам американского исследователя Ричарда Густафсона, Толстой всегда шел «от переживания (Erlebnis) к образу, а от образа к идее» [Густафсон 2003: 21]. Понять раннее и зрелое творчество Толстого, включая «Войну и мир», значит увидеть в них зерна толстовской философии непротивления злу насилием и его последовательно антиимперской позиции, а осмыслить радикальность этой философии невозможно, не уяснив толстовского отношения к насилию как к важнейшей составляющей человеческой природы и общественной реальности.

В первой в жизни дневниковой записи, сделанной, когда ему было восемнадцать лет, Толстой отметил, что «легче написать 10 томов Философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике» (XLVI, с. 3—4)[1]. Любые теоретические концепты и построения интересовали его только в своем прикладном аспекте и в той мере, в какой они имели отношение к его жизни.

Тема колониальных завоеваний и усмирения покоренных народов появляется в жизни и творчестве Толстого очень рано. В двадцать два года он отправился на Кавказ, где на протяжении десятилетий империя пыталась подавить вооруженное сопротивление горских племен. При этом Толстого волновали не столько отношения имперского центра и его мятежных провинций, сколько война как таковая. После непродолжительных размышлений он поступил на военную службу, а когда началась Крымская война (1853—1856), написал рапорт о переводе в части, непосредственно участвовавшие в боевых действиях на полуострове.

В набросках рассказа «Набег», первого из написанных во время армейской службы, немолодой офицер спрашивает рассказчика: «Так что-ж, вам хочется посмотреть, как людей убивают? — Вот именно это-то мне и хочется видеть, — отвечает тот — как это, человек, который не имеет против другого никакой злобы, возьмет и убьет его, и зачем?» (III, с. 227). В окончательном тексте Толстой оставил вопрос, но снял ответ — возможно, потому, что в опубликованных версиях и «Набега», и других его военных рассказов как кавказских, так и крымских эта тема не получает подробного освещения. Толстой больше пишет о том, «как люди умирают», — почти все эти рассказы кончаются подробно прописанной смертью одного из героев, и еще больше о том, как люди живут и существуют в непосредственном соприкосновении со смертью.

---

1 Здесь и далее при цитатах из произведений Толстого в скобках указываются том и страница его юбилейного Полного собрания сочинений (М., 1928—1958; 90 т.).

Вопрос, зачем люди друг друга убивают, гораздо подробней обсуждается в черновых рукописях того же «Набега»:

> Как могли люди среди этой природы не найти мира и счастия? — думал я.
>
> Война? Какое непонятное явление <в роде человеческом>. Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо-ли, необходимо-ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения справедливым.
>
> Кто станет сомневаться, что в войне Русских с Горцами справедливость, вытекающая из чувства самосохранения, на нашей стороне? Ежели бы не было этой войны, что бы обеспечивало все смежные богатые и просвещенные русские владения от грабежей, убийств, набегов народов диких и воинственных? Но возьмем два частные лица. На чьей стороне чувство самосохранения и следовательно справедливость: на стороне-ли того оборванца, какого-нибудь Джеми, который, услыхав о приближении Русских, с проклятием снимет со стены старую винтовку и с тремя, четырьмя зарядами в заправах, которые он выпустит не даром, побежит навстречу Гяурам, который, увидав, что Русские все-таки идут вперед, подвигаются к его засеянному полю, которое они вытопчут, к его сакле, которую сожгут, и к тому оврагу, в котором, дрожа от испуга, спрятались его мать, жена, дети, подумает, что все, что только может составить его счастие, все отнимут у него, — в бессильной злобе, с криком отчаяния, сорвет с себя оборванный зипунишко, бросит винтовку на землю и, надвинув на глаза папаху, запоет предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки Русских? На его-ли стороне справедливость, или на стороне этого офицера, состоящего в свите Генерала, который так хорошо напевает французские песенки именно в то время, как проезжает мимо вас? Он имеет в России семью, родных, друзей, крестьян и обязанности в отношении их, не имеет никакого повода и желания враждовать с Горцами, а приехал на Кавказ... так, чтобы показать свою храбрость. Или на стороне моего знакомого Адъютанта, который желает только получить поскорее чин Капитана и тепленькое местечко и по этому случаю сделался врагом Горцев? Или на стороне этого молодого Немца, который с сильным немецким выговором требует пальник у артиллериста? Каспар Лаврентьич, сколько мне известно, уроженец Саксонии; чего-же он не поделил с Кавказскими Горцами? Какая нелегкая вынесла его из отечества и бросила за тридевять земель? С какой стати Саксонец Каспар Лаврентьич вмешался в нашу кровавую ссору с беспокойными соседями? (III, с. 234—235).

По единодушному мнению исследователей, опирающихся на свидетельство самого Толстого, этот фрагмент был снят из рукописи по автоцензурным соображениям [Гусев 1954: 414] (ср.: [Бурнашева 1999: 168—173]). Действительно, за полгода до смерти, когда родные Толстого, готовившие переиздание его произведений, показали Толстому эту рукопись, ему, по словам Д.П. Маковицкого, «было обидно, что это рассуждение было выпущено». Толстой добавил, что ему «удивительно, как эти самые мысли, что теперь, он уже тогда высказывал» [Маковицкий 1979: 227]. Н.Н. Гусев не сомневался, что Толстой не мог «сам отказаться от такой замечательной и по мыслям, и по художественным достоинствам части своего рассказа» [Гусев 1954: 413—414]. При этом даже черновой набросок, опубликованный в Полном собрании сочинений, оказывается смягчен по сравнению с первоначальной версией. Исследователь приводит ряд еще более выразительных разночтений, содержащихся в черновиках:

> У генерала «есть славное имение, славный чин, славная жена и еще много прекрасных вещей, которыми он может владеть совершенно спокойно»; он «не имеет никакой личности ни против одного чеченца», его «ровно ничего не принуждает вынимать свой меч против них». Далее Толстой характеризует почти теми же словами, что и в последующей редакции, молодого офицера, состоящего в свите генерала, и офицера-немца, о котором замечает: «Немца на Кавказе так же странно видеть, как корову в гостиной». Или, быть может, говорит далее Толстой, справедливость на стороне <...> того, который заставил всех находить пользу и удовольствие в этой войне? [Там же: 415].

Как подчеркивает Гусев, слова о том, «который “заставил всех находить пользу и удовольствие в войне с горцами”, могут относиться только к царю и больше ни к кому» [Там же]. Тем самым предваряющая ремарка Толстого об общей справедливости, которая «находится» в этом конфликте на стороне русских, приобретает тоже цензурный, если не прямо иронический характер. Как известно, Толстой мало интересовался общими соображениями, не принимающими во внимание судеб конкретных людей. В черновике рассказа «Набег» Толстой признался, что ему «интереснее знать: каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого, чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве» (III, с. 229).

Толстой был артиллеристом. Именно появление артиллерии как самого мощного оружия, определяющего исход сражений — «бога войны», как стало принято говорить впоследствии, коренным образом изменило структуру военного опыта. Многотысячелетняя традиция боя лицом к лицу уходила в прошлое. Человек посылал другому смерть, не видя врага. На войне Толстому неоднократно доводилось быть свидетелем того, как пушечная канонада буквально в клочья разрывала людей, сражавшихся бок о бок с ним. Однажды на Кавказе ядро, летевшее в Толстого, ударилось в колесо пушки, около которой он стоял, и упало, к счастью, не разорвавшись. Быть может, первым в мировой литературе он увидел рутину массового убийства и написал о ней как о повседневном переживании, даже не вызывающем особого страха.

Важнейшее психологическое открытие, сделанное Толстым на войне, состояло в том, что человек способен спокойно относиться и к своей, и к чужой смерти, если он не отделяет личность, в том числе и свою, от социума, принимая его нормы, которые блокируют даже такие первичные импульсы, как инстинкт самосохранения. «Набег» и вся последовавшая вслед за этим первым опытом военная проза Толстого полны рассуждений рассказчика и героев о храбрости и описаний того, как те или иные персонажи пытаются продемонстрировать храбрость и не показаться напуганными даже перед лицом неминуемой гибели.

Именно в этом всевластии социальных норм обнаруживаются, по Толстому, общие истоки героизма и жестокости. Вместе с тем подобного рода поведенческие конвенции могут иметь моральное оправдание, когда они укоренены в природном цикле человеческой жизни. Для Толстого естественной жизнью живет только человек, неразрывно связанный с землей, на которой стоит его дом, плодами которой он кормится и в которую он ляжет после смерти. Поэтому защита своей земли оказывается для такого человека внутренне мотивированной, даже если она сопряжена с насилием. Стоит заметить, что Толстой обращает особое внимание на то, что один из русских офицеров

поет «французскую песенку», а второй — и вовсе саксонец; культурный мир одного из этих персонажей и происхождение второго показывают, что война совершенно чужда их подлинным человеческим интересам и страстям. Более того, поющий французские песенки офицер, не имеющий никаких причин враждовать с чеченцами, пренебрег ради копеечных амбиций обязательствами перед своими родными и своими крестьянами в России.

Толстой напоминает об оставленных в России родных и в другом эпизоде первоначальной редакции «Набега», вероятно по тем же цензурным соображениям не вошедшем в окончательную редакцию. Здесь рассказчик описывает карабинера, который пытался ограбить и убил молодую чеченку, и взывает к его совести:

> Карабинер, зачем ты это сделал? Я видел, как ты глупо улыбался, когда капитан бил тебя по щекам. Ты недоумевал, хорошо-ли ты сделал или нет; ты думал, что капитан бьет тебя так по нраву, ты надеялся на подтверждение твоих товарищей. <...> Но вспомни о солдатке Анисье, которая держит постоялый двор в Т. губернии, о мальчишке — солдатском сыне — Алешке, которого ты оставил на руках Анисьи и прощаясь с которым ты засмеялся, махнув рукою, для того только, чтобы не расплакаться. <...> — Может быть, тебе в голову не может войти такое сравнение; ты говоришь: «бусурмане». — Пускай бусурмане; но поверь мне, придет время, когда ты будешь дряхлый, убогий, отставной солдат, и конец твой уж будет близко. Анисья побежит за батюшкой. Батюшка придет, а тебе уж под горло подступит, спросит, грешен-ли против 6-й заповеди? «Грешен, батюшка», скажешь ты с глубоким вздохом, в душе твоей вдруг проснется воспоминание о бусурманке, и в воображении ясно нарисуется ужасная картинка: потухшие глаза, тонкая струйка алой крови и глубокая рана в спине под синей рубахой, мутные глаза с невыразимым отчаянием вперятся в твои, гололобый детеныш с ужасом будет указывать на тебя <...>. — Мне жалко тебя, карабинер (III, с. 234—235).

Впрочем, в «Набеге» убийство все же описано как эксцесс, капитан Хлопов, главный герой рассказа, едва ли не до смерти избивает за это карабинера и почти плачет, отъезжая от тела молодой женщины, но само по себе разграбление аула представлено как вполне рутинная операция:

> Генерал въехал в аул <...>. «Ну что-ж, полковник», сказал он, пускай их жгут и грабют; я вижу, что им ужасно хочется», сказал он, улыбаясь. —
>
> Голос и выражение его были точно такие же, с которыми он у себя на бале приказал-бы накрывать на стол; только слова другие. — Вы не поверите, как эффектен этот контраст небрежности и простоты с воинственной обстановкой. —
>
> Драгуны, козаки и пехота рассыпались по аулу. — Там рушится крыша, выламывают дверь, тут загарается забор, сакля, стог сена, и дым расстилает по свежему утреннему воздуху; вот козак тащит куль муки, кукурузы, солдат — ковер и двух куриц, другой — таз и кумган с молоком, третий навьючил ишака всяким добром; вот ведут почти голого испуганного дряхлого старика Чеченца, который не успел убежать. — <...>. Капитан подъехал ко мне, мы спокойно разговаривали и шутили, посматривая на разрушение трудов стольких людей (III, с. 221).

Вполне в духе социальной теории XX века Толстой говорит о практиках «дискурсивного расчеловечивания». Слово «бусурмане» расподобляет убитую чеченку и ее ребенка с женой и сыном, ждущими карабинера на родине, выводит их из-под действия заповеди «не убий», а представление о дикости горцев поз-

воляет старшим по званию поощрять грабеж и мародерство. Причем ответственность образованных людей, «спокойно разговаривающих и шутящих» на фоне грабежа и разорения, оказывается, по Толстому, неизмеримо выше ответственности самих грабящих и разоряющих. Даже убийцу-карабинера рассказчик пытается увещевать, но для исправления тех, кто отдает приказы и выпускает законы, требуется по меньшей мере чудо. Такой подход составит впоследствии основу политической философии Толстого, которой суждено было вполне оформиться через несколько десятилетий после создания «Набега».

Более того, мужество и стойкость самих солдат, как и некоторых младших командиров, спокойно выполнявших свой долг перед лицом гибели, могли вызывать у молодого Толстого даже восхищение. Об этом написан первый его народный рассказ «Как умирают русские солдаты». Другое дело люди, способные задаваться вопросами или тем более неспособные не задаваться вопросами о смысле происходящего. Тот, кто спросил себя, «зачем люди друг друга убивают», должен или осудить убийство, или оправдать его.

С самого начала героизм русских солдат был для Толстого этически дефектен сравнительно с естественной храбростью горцев, которым нет нужды искать объяснений своей готовности умирать и убивать — они защищают от чужаков свою природную среду.

Другой кавказский рассказ Толстого, «Рубка леса», законченный уже в Севастополе, посвящен тому, что сегодня называется экоцидом, — русская армия систематически вырубала и выжигала леса, откуда горцы обстреливали русские гарнизоны, вынуждая горцев или уходить далеко наверх, где им было почти невозможно поддерживать свое хозяйство, или переселяться в долину, в крепости, контролируемые русскими.

В отличие от «Набега», не сохранилось рукописей «Рубки леса», по которым мы бы могли восстановить предцензурную работу автора над текстом, хотя мы знаем, что «несколько драгоценных черт», по словам Некрасова, опубликовавшего рассказ в «Современнике» [Толстой 1962: 130—131] (ср.: [Бурнашева 1999: 193]), было цензурой вымарано. К тому же Толстой со времени своего литературного дебюта уже успел набраться печального опыта общения с цензурой и был осторожней и, кроме того, находился под влиянием этнографического объективизма тургеневских «Записок охотника». Толстой признавался, что посвятил рассказ Тургеневу, потому что, перечитывая, нашел в нем «много невольного подражания его рассказам» [Толстой 1962: 124] (ср.: (III, с. 309)). В силу всех этих причин позиция автора не нашла здесь столь прямого и недвусмысленного выражения, как в черновиках «Набега», но тем не менее выражена с достаточной мерой определенности.

Как через столетие с лишним Солженицын в «Одном дне Ивана Денисовича» рассказал о счастливом дне в жизни зэка, Толстой выбирает для своего рассказа успешную вылазку, и именно достигнутый успех ясно подчеркивает тотальную бессмысленность происходящего:

> Дело вообще было счастливо: казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела; пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными; в артиллерии выбыли из строя всего один Веленчук и две лошади. Зато вырубили леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было: вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась

> огромная поляна, покрытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой (III, с. 60).

Природный ландшафт, составлявший для целого народа естественную среду обитания, нельзя узнать, и ценой этого достижения оказывается жизнь солдата Веленчука, мужественного, скромного и болезненно честного, принимающего неизбежное с никогда не изменявшим ему спокойным достоинством:

> Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению. Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту (III, с. 61).

На фоне этих мыслей офицеры ведут между собой разговор о выгодах и невыгодах службы на Кавказе, о вероятности получить ордена Анны или Владимира, о том, насколько хватает для жизни двойного жалования, которое платят участникам экспедиции, о вымышленных подвигах немца капитана Крафта, рассказывающего, как он брал в один день пятнадцать завалов. Немного поодаль солдаты вспоминают, как им пришлось оставить в горах умирающего товарища. В финале рассказа солдат Жданов, прослуживший на Кавказе двадцать пять лет без отпуска и не получивший за это время ни одного письма из дома, плачет, слушая, как поют «Березушку», его «что ни на есть самую любимую песню» (III, с. 74).

Если в черновике «Набега» Толстой противопоставлял внимание к чувствам солдат во время боя историческому интересу к «расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве», то в «Войне и мире» он взялся за описание этих крупнейших сражений XIX столетия, сочетая изображение чувств и мыслей их участников с анализом «расположения войск» и изложением общей философии войны.

Аустерлицкую битву, окончившуюся страшным разгромом, русская армия вела в чужой стране. Солдаты и офицеры, честно и храбро делавшие свое дело, были готовы умереть за союзников своего императора, но все равно не могли чувствовать физической связи с землей, куда им предстояло лечь, и в этом отношении мало чем отличались от противостоявших им французов. Напротив того, в Бородинском сражении именно русские, подобно чеченцам в горах Кавказа, защищали свой природный мир от захватчиков, и потому их героизм был не просто социальным навыком, но инстинктивной, органической реакцией на вторжение чужеродной силы.

Согласно исторической теории Толстого, исход любого сражения и войны в целом определяется не планами генералов и полководцев, но решимостью каждого солдата. Русская армия на Бородинском поле была одушевлена «скрытым (latente) патриотизмом». Регулярно употребляя в этой формуле французское слово, Толстой одновременно и подчеркивает свое пренебрежение к распространенному в XIX веке языковому национализму (Sprachnationalismus), и придает своей мысли своего рода наукообразие, — речь для него идет о природном явлении, подлежащем естественно-научному изучению.

В чисто военном отношении Бородинская битва тоже внешне скорее напоминала поражение, но для Толстого Бородино было частью грандиозной победы, следствием которого стало полное изгнание французов из пределов

России, которым и завершается батальная часть романа; ни победоносный поход русской армии на Париж, ни лейпцигская Битва народов — самое крупное сражение Наполеоновских войн, завершившееся триумфом русско-прусско-австрийской коалиции, ему не интересны [Lieven 2009: 10]. Как показала в своей книге о «Войне и мире» Ольга Майорова, к провинциям Российской империи, присоединенным в результате разделов Польши, Толстой тоже относился как к чужой земле [Maiorova 2010: 147]. «Мы в первый раз дрались там за Русскую землю» (XI, с. 207), — говорит князь Андрей Пьеру о Смоленской битве, не сомневаясь, что западные губернии, не были «русской землей». Много позже, уже в конце жизни, в рассказе «За что?», Толстой с глубоким сочувствием напишет о польских революционерах, тоскующих о родине в сибирской ссылке.

Пресловутая «дубина народной войны» — один из самых затасканных штампов, по крайней мере, в российской литературе о «Войне и мире». Однако позицию Толстого, проявившуюся в «Войне и мире», никак нельзя свести к апологии войны за национальное освобождение, истолкованной как врожденный инстинкт. Такое отношение было для автора романа естественным и оправданным, но как бы доморальным, дохристианским, противоречащим личному нравственному чувству, которое должно быть столь же присуще человеку, сколь и привязанность к своей земле и своему племени. К исходу Бородинского сражения под воздействием впечатления от гибели десятков тысяч людей это чувство начало смутно пробуждаться в душах тех, кто пережил этот жуткий день:

> Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что́ хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что́ они делали, бросить все и побежать куда попало» (XI, с. 263—264).

Это сомнение не могло еще, конечно, укрепиться в душах солдат, продолжавших делать свое «страшное дело» (XI, с. 264). Однако само возникновение этого сомнения «в каждой душе» служит залогом возможности нравственного возрождения человека к жизни, основанной не на животном инстинкте отстаивания своего, а на любви и осознанном отказе от любого насилия. Такой поворот не может произойти одновременно со всеми, он носит внутренний, личный характер, но, по крайней мере, в душе одного из участников сражения он совершается в полной мере.

Толстой проводит князя Андрея Болконского и через Аустерлиц, и через Бородино. В обоих сражениях он получает тяжелые ранения, побуждающие его переосмыслить свою жизнь. Эпифания, происходящая с ним во время Аустерлицкого сражения, когда ему впервые открываются небо и облака, приводит его к отказу от нелепых мечтаний о славе и величии и пониманию того, что война — «самое гадкое дело в жизни» (XI, с. 211). Тем не менее он вновь отправляется на войну, чтобы убивать французов, вторгнувшихся в его страну и разоривших его дом и — не в меньшей степени — чтобы найти и убить находящегося в армии Анатоля Курагина, отнявшего у него невесту и надежду на семейное счастье.

Толстой называл историю соблазнения Наташи Анатолем «узлом» романа и его «самым трудным» и «самым важным местом» (LXI, с. 180, 184). Действительно, здесь не только определяются судьбы всех героев: прямо Пьера, Наташи, Андрея и Анатоля и косвенно — Николая, Марии Болконской и Сони, но также соприкасаются военная и мирная части повествования. С. Бочаров точно называет поведение Анатоля «агрессией» и сравнивает его с Наполеоном [Бочаров 1978: 68—72]. Страстная ненависть к Анатолю — последнее чувство, с которым князь Андрей засыпает накануне битвы (XI, с. 212).

Впервые в жизни князь Андрей чувствует единство со своим народом и своей землей. Аристократы и крестьяне, солдаты и командиры, разделенные в обычной жизни непроходимым барьером, с началом войны сливаются в едином народном теле. Но и этот стихийный, биологический патриотизм пропадает в Болконском после нового ранения. После Бородинской битвы, очнувшись в лазарете, он видит рядом с собой искалеченного и рыдающего Курагина и испытывает прилив истинно христианской любви к врагу:

> И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу такою, какою он видел ее в первый раз на бале <…> и любовь и нежность к ней еще живее и сильнее чем когда-либо проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце <…>. Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам, да, та любовь, которую проповедывал Бог на земле <…> вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что́ еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно (XI, с. 257).

Еще раньше с теми же мыслями сталкивается и Наташа, охваченная стыдом и раскаянием. В начале войны в московской церкви она молится за «ненавидящих нас» и «всякий раз, при мысли о врагах и ненавидящих, она вспоминала Анатоля, сделавшего ей столько зла, и хотя он не был ненавидящий, она радостно молилась за него, как за врага». Почти сразу же священник начинает читать только что присланную из Синода молитву о «спасении России от вражеского нашествия» (XI, с. 274, 275). Наташа слушала молебен об одолении врага,

> но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклонной молитвы (XI, с. 77).

Болконскому и Наташе суждено снова встретиться, и у них обоих появляется недолгая надежда на выздоровление Андрея и новое счастье. Последняя встреча героев и смерть князя становятся кульминацией сюжета романа, после которой действие идет к развязке. Как пишет Толстой, и Наташа, и сестра князя Андрея Марья, глядя на умирающего князя, «видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть, и что это хорошо» (XII, с. 65).

Толстой описывает этот переход как приобщение к единому источнику христианской любви. Любовь, открывшаяся князю Андрею, вообще не знает границ и не разделяет людей на своих и чужих, исключает чувство привязан-

ности к родной земле, своему народу и своим ближним. Узнав о пожаре Москвы, он равнодушно говорит: «Это очень жалко» (XII, с. 65), — и так же холодно прощается с сыном. Защита отечества, за которое он отдал жизнь, становится бессмысленной и нелепой суетой.

Для Болконского эта мудрость оказывается несовместимой с жизнью. Наташа, напротив, остается жить, находит новую любовь и становится ревнивой женой и заботливой матерью. Земная, биологическая приверженность к «роду» оказывается в ней сильней «любви к врагам». Многие герои Толстого как бы колеблются на этой грани между родовым и религиозным. Платон Каратаев, спасающий Пьера Безухова от отчаяния и духовной гибели во французском плену, представлен Толстым как идеальное воплощение «народной души». Он старый солдат, хотя Толстой и не показывает его участвующим в сражении и оставляет читателей в неведении, доводилось ли Каратаеву когда-либо убивать врагов, и в то же время он исполнен истинной христианской любви, особенно полно проявляющейся в его рассказе о несправедливо осужденном купце, отказавшемся от мести своему обидчику.

В последней, восьмой части «Анны Карениной», завершенной примерно через десять лет после «Войны и мира», один из главных героев романа Константин Левин, в котором читатели без труда распознавали alter ego Толстого, резко критикует участие России в войне в поддержку национального восстания сербов против турецкого владычества. Значительная часть русского образованного общества была возмущена позицией прославленного писателя. Журнал «Русский вестник», где были напечатаны предыдущие семь частей «Анны Карениной», прервал публикацию, против Толстого выступил Достоевский, до того восхищавшийся романом.

Между тем Левин не отрицал войны как таковой, он полагал, что она может оказаться вынужденной и необходимой только тогда, когда опирается на «непосредственное чувство» народа, защищающего свою землю и своих близких, чувства, которого у русских крестьян, составлявших большинство населения России, по отношению к «угнетению Славян» «нет и не может быть» (XIX, с. 388). По сути дела, Левин занимает здесь примерно ту же позицию, что и князь Андрей накануне Бородинской битвы.

Почти сразу после спора о войне с Левиным происходит религиозное обращение, описанием которого роман заканчивается. Мы не знаем, сохранил бы Левин свою убежденность в том, что война и убийство могут в принципе иметь какое бы то ни было оправдание, или он пришел бы к пониманию истины, открывшейся князю Андрею. Религиозное обращение Толстого проходило примерно в те же месяцы, в которые он описывал переворот, случившийся с Левиным, — самого писателя такой поворот привел к твердому и неуступчивому пацифизму. Самое главное изменение, которое произошло во взглядах Толстого, состояло в том, что евангельское учение больше не казалось ему трудно применимым к практической жизни. Напротив того, он пришел к выводу, что только следование букве и духу этого учения придает жизни смысл. Если в ранних рассказах и «Войне и мире» Толстой с огромным сочувствием описывал тяготы солдатской жизни, считая солдат и младших офицеров невиновными в убийствах, которые их заставляют совершать, то теперь он видел в военной службе самое страшное зло, лежащее в основе общества насилия и угнетения.

Человек, надевший военную форму, освобождает себя от обязанности следовать велениям собственной совести, поскольку он убивает по приказу командиров, которые ссылаются на решения царей и премьер-министров, а те, в свою очередь, оправдывают свои преступления мифической государственной необходимостью, замыкая цепь насилия, за которое никто не несет личной ответственности. Свой собственный военный опыт Толстой, не колеблясь, воспринимает теперь как не имеющее оправдание нарушение шестой заповеди.

Проповедь Толстого была в равной мере предназначена всем, и все же острее всего у него болела душа за христианские народы, и особенно, в силу той самой кровной связи с родной землей, которую он продолжал ощущать, за свой народ. Толстой писал, что войны, которые велись в древности, можно объяснить тем, что религиозные представления людей того времени оправдывали и даже героизировали насилие, но взаимоистребление народов, чья религия прямо запрещает проливать кровь, казалось ему лишенным какого бы то ни было разумного объяснения.

В статье «Одумайтесь!», откликаясь на Русско-японскую войну, он поражался тому, насколько милитаристский дух, охвативший оба народа, противоположен моральным установлениям религий, которых они придерживаются:

> С одной стороны буддисты, закон которых запрещает убийство не только людей, но животных, с другой стороны христиане, исповедующие закон братства и любви, как дикие звери, на суше и на море ищут друг друга, чтобы убить, замучить, искалечить самым жестоким образом (XXXVI, с. 101).

Более того, с точки зрения Толстого люди, даже формально исповедующие учение Христа, в глубине души не могли не ощущать чудовищность происходящего, и именно это сознание побуждало их с особенным остервенением защищать и поддерживать очевидное зло. Убивающие христиане оказываются страшнее убивающих язычников именно потому, что не могут делать это страшное дело со спокойным сознанием правоты, но принуждены лгать и истерически себя взвинчивать:

> Всё это неестественное, лихорадочное, горячечное, безумное возбуждение, охватившее теперь праздные верхние слои русского общества <…>. Все эти наглые, лживые речи о преданности, обожании монарха, о готовности жертвовать жизнью (надо бы сказать чужой, а не своей), все эти обещания отстаивания грудью чужой земли, все эти бессмысленные благословения друг друга разными стягами и безобразными иконами, все эти молебны, все эти приготовления простынь и бинтов, <…> все эти шествия, требования гимна, крики «ура», вся эта ужасная, отчаянная, не боящаяся обличения, потому что всеобщая, газетная ложь, всё это одурение и озверение, в котором находится теперь русское общество и которое передается понемногу и массам, — всё это есть только признак сознания преступности того ужасного дела, которое делается.
>
> Непосредственное чувство говорит людям, что не должно быть того, что они делают, но как тот убийца, который, начав резать свою жертву, не может остановиться, так и русским людям кажется теперь неопровержимым доводом в пользу войны то, что дело начато. Война начата, и потому надо продолжать ее (XXXVI, с. 109—110).

С годами ненависть Толстого к колониальному насилию только усиливалась и достигла в последние десятилетия жизни предельного накала [Шифман

1960]. Об имперской войне рассказывает и последнее законченное художественное произведение Толстого, повесть «Хаджи-Мурат». События, описанные в повести, происходили в пору, когда Толстой был на Кавказе, и, возвращаясь к ним, Толстой не оставляет ни малейших сомнений в своих оценках этого периода своей жизни.

> Происходило то, что происходит везде, где государство с большой военной силой вступает в общение с первобытными, живущими своей отдельной жизнью, мелкими народами <…>. Под предлогом внесения цивилизации в нравы дикого народа, тогда как дикий народ этот живет несравненно более мирно и добро, чем его цивилизаторы, или еще под всякими другими предлогами, слуги больших военных государств совершают всякого рода злодейства над мелкими народами, утверждая, что иначе и нельзя обращаться с ними (XXXV, с. 456), —

говорится в одной из черновых редакций. При этом, в отличие от времени, когда он писал свои первые кавказские рассказы, Толстого не сдерживали цензурные соображения. Печатать «Хаджи-Мурата» он не собирался. В последней обработанной им редакции Толстой пишет об «отвращении, гадливости и недоумении» чеченцев «перед нелепой жестокостью» русских завоевателей. Для горцев уничтожение «этих существ», подобно «желанию истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения» (XXXV, с. 80—81).

В 1851 году молодой Толстой совершенно недвусмысленно отозвался на переход Хаджи-Мурата к русским: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на-днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец по всей Чечне, а сделал подлость» (LIX, с. 133), — говорится в его письме брату Сергею от 23 декабря 1851 года. Такого рода предательство противоречило и представлениям молодого Толстого о воинской чести и его убежденности в кровной связи человека с породившей его природной средой. Через полвека его оценки несколько изменились. Теперь он не был склонен поэтизировать и тех, кто противостоит захватчикам с оружием в руках.

Своей повести Толстой предпослал небольшое предисловие, в котором рассказал, как, пораженный красотой дикого репейника, он захотел принести его домой и с огромным трудом сумел выдернуть его из земли. Вырванный из почвы, цветок немедленно поблек. Одно время Толстой собирался назвать повесть «Репей». Покинув родные горы, Хаджи-Мурат, как этот репей, погибает. Однако обрекли его на гибель не только безжалостные и тупые колонизаторы. Шамиль, захвативший жену Хаджи-Мурата и угрожающий выколоть глаза его детям, столь же враждебен его миру, сколь и русские генералы, разорившие его аул. Власть единоплеменников и единоверцев по сути мало отличима от власти завоевателей.

В написанном в 1906 году вскоре после завершения работы над «Хаджи-Муратом» и окончания Русско-японской войны «Письме к китайцу», обращенному к китайскому писателю Ку Хунмину, Толстой высоко оценил народ Китая именно за то, что он «до последнего времени на все совершаемые над ними насилия отвечал величественным и мудрым спокойствием, предпочтением терпения в борьбе с насилием. Я говорю про народ китайский, а не про правительство» (XXXVI, с. 290). Проявившееся в начале XX века в Китае, в том числе

в книгах его адресата, «желание силою дать отпор злодеяниям, совершаемым европейскими народами», уже не казалось Толстому естественным народным инстинктом, а вызвало в нем «страх и горесть»:

> ...если бы действительно китайский народ, потеряв терпение и, вооружившись по образцу европейцев, прогнал бы от себя силою всех европейских грабителей, — чего ему очень легко достигнуть с его умом, выдержанностью, трудолюбием и, главное, с его многочисленностью, — то это было бы ужасно. Ужасно <...> не в том смысле, что Китай сделался бы опасен для Европы, а в том смысле, что Китай перестал бы быть оплотом истинной, практической, народной мудрости, состоящей в том, чтобы жить той мирной, земледельческой жизнью, которой свойственно жить всем разумным людям и к которой рано или поздно должны сознательно вернуться оставившие эту жизнь народы (XXXVI, с. 291—292).

Свирепому и безжалостному воину Хаджи-Мурату остается только безнадежно метаться между двумя сторонами и, в конце концов, героически встретить страшную смерть. Выход, открывшийся Андрею Болконскому, оказывается недоступен «естественному человеку».

Библиография / References

[Бочаров 1978] — *Бочаров С.Г.* Роман Толстого «Война и мир». 3-е изд. М.: Художественная литература, 1978.

(*Bocharov S.G.* Roman Tolstogo “Voyna i mir”. 3rd ed. Moscow, 1978.)

[Бурнашева 1999] — *Бурнашева Н.И.* Раннее творчество Толстого. Текст и время. М.: МИК, 1999.

(*Burnasheva N.I.* Rannee tvorchestvo Tolstogo. Tekst i vremya. Moscow, 1999.)

[Гусев 1954] — *Гусев Н.Н.* Лев Николаевич Толстой: материалы к биографии с 1828 по 1855 г. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1954.

(*Gusev N.N.* Lev Nikolaevich Tolstoy: materialy k biografii s 1828 po 1855 g. Moscow, 1954.)

[Густавсон 2003] — *Густафсон Р.Ф.* Обитатель и Чужак: теология и художественное творчество Льва Толстого. СПб.: Академический проект, 2003.

(*Gustafson R.F.* Obitatel’ i Chuzhak: teologiya i khudozhestvennoe tvorchestvo L’va Tolstogo. Saint Petersburg, 2003.)

[Маковицкий 1979] — *Маковицкий Д.П.* У Толстого, 1904—1910: «Яснополянские записки»: В 5 кн. М.: Наука, 1979. Кн. 4.

(*Makovitskiy D.P.* U Tolstogo, 1904—1910: “Yasnopolyanskie zapiski”: in 5 vols. Vol. 4. Moscow, 1979.)

[Толстой 1962] — *Толстой Л.Н.* Переписка с русскими писателями / Сост., подгот. текста, вступ. статья и примеч. С. Розановой. М.: Гослитиздат, 1962.

(*Tolstoy L.N.* Perepiska s russkimi pisatelyami / Comp., prep., introd. art. and notes by S. Rozanova. Moscow, 1962.)

[Шифман 1960] — *Шифман А.И.* Лев Толстой и Восток. М.: Изд-во восточной литературы, 1960.

(*Shifman A.I.* Lev Tolstoy i Vostok. Moscow, 1960.)

[Lieven 2009] — *Lieven D.* Russia Against Napoleon. The Battle for Europe 1807 to 1814. London: Allen Lane, 2009.

[Maiorova 2010] — *Maiorova O.* From the Shadow of Empire: defining the Russian nation through cultural Mythology, 1855—1870. Madison, Wis.: University of Wisconsin press, 2010.

Ольга Майорова

Народная война и пчелиный улей:

НАЦИЯ И ИМПЕРИЯ В «ВОЙНЕ И МИРЕ»[1]

Olga Maiorova

People's War and Beehive: Nation and Empire in *War and Peace*

Ольга Майорова (Мичиганский университет, Энн Арбор; профессор кафедры славянских языков и литератур и кафедры истории; PhD) maiorova@umich.edu.

Ключевые слова: метафора «роевой жизни», национальное воображение, модерный национализм, имперский дискурс, эпоха реформ, патриотическая пресса, память о войне 1812 года

УДК: 821.161.1
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_87

В статье анализируются символические репрезентации русского народа в «Войне и мире» и стоящие за ними философские представления Толстого 1860-х годов. Рассматривая роман в контексте центральной проблемы национального воображения XIX века — проблемы соотношения нации и империи — автор статьи сопоставляет толстовское понимание народной войны с инструментализацией памяти о 1812 годе в патриотической прессе 1860-х годов и приходит к выводу, что роман Толстого полемически заострен против ключевых постулатов имперского дискурса, сложившегося в России в эпоху Великих реформ.

Olga Maiorova (PhD; Associate Professor, Department of Slavic Literatures and Languages and the Department of History, University of Michigan, USA) maiorova@umich.edu.

Key words: metaphor of swarm life, national imagination, modern nationalism, imperial discourse, reform era, patriotic press, memory of the war of 1812

UDC: 821.161.1
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_87

Focusing on Lev Tolstoy's worldview in the 1860s, this paper explores symbolic representations of the Russian people in *War and Peace* and considers the novel in the context of the nation/empire dichotomy — the central issue of the Russian nineteenth-century national imagination. The author juxtaposes Tolstoy's vision of the War of 1812 with a trope of people's war, as it was utilized by the Russian patriotic press of the 1860s, to argue that *War and Peace* challenges key tenets of the imperial discourse that took shape in Russia during the Great Reforms.

В предлагаемой статье развивается и дополняется ряд тезисов, первоначально сформулированных в моей книге «From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855—1870» [Maiorova 2010: 143—154]. Мой подход к роману Толстого объясняется центральной проблематикой книги. Известно (и убедительно продемонстрировано историками), что наднациональная политика Российской империи препятствовала формированию модерной русской нации. Этот бесспорный вывод лег, однако, в основу распространенного среди исследователей убеждения, что и в сфере национального воображения русские оказались не способны отделить нацию от империи, и в итоге русская национальная идентичность была полностью поглощена идентичностью имперской. Опровергая этот тезис, я анализирую широкий

1 Выражаю глубокую признательность коллегам, поделившимся своими соображениями и впечатлениями от статьи в ходе моей работы: М.Д. Долбилову, Ю.И. Красносельской, М.А. Кучерской, В.А. Мильчиной и Л.И. Соболеву.

круг культурных практик и явлений, посредством которых в России XIX века, особенно в эпоху Великих реформ, публицисты, писатели, историки самой разной идеологической ориентации стремились сконструировать русскую идентичность и «вообразить» нацию таким образом, чтобы вывести ее из тени империи. Формирование националистического дискурса было такой же насущной задачей в России, как и в других европейских империях XIX века, при всех различиях исторических обстоятельств в разных странах. Толстой внес фундаментальный — и, конечно, оригинальный — вклад в этот процесс, хотя позднее, как известно, отверг идеи национальной исключительности, видя в них источник зла и насилия.

Воспоминания о минувших войнах — далеких и близких — занимали прочное место в литературе и журналистике 1860-х годов — в то самое время, когда Толстой работал над «Войной и миром» (1863—1869). Проигранная Крымская кампания была тогда еще свежей раной, и обращение к войнам прошлого открывало обширное поле для размышлений и спекуляций. Однако нельзя сказать, что в это время батальные сцены и сюжеты фигурировали чаще, чем прежде. Примечательным было скорее другое: военные аналогии и метафоры нередко пронизывали картины мирной жизни и служили инструментом осмысления коренных преобразований и вызовов, перед которыми стояло русское общество. Проводившиеся тогда реформы часто воспринимались как столкновение с внешним врагом, а политическая активность — как участие в войне. Выразительным примером тому может служить хроника Н.С. Лескова «Соборяне» (1867—1872), оригинальная летопись жизни небольшого уездного города. Написанная под влиянием «патриотической прессы» (термин той эпохи) — в первую очередь изданий М.Н. Каткова и И.С. Аксакова, — эта хроника несла на себе отпечаток складывавшегося тогда националистического дискурса.

Лесков, по его собственным словам, положил в основу сюжета «борьбу» лучшего из своих героев — протоиерея Туберозова — «с вредителями русского развития»[2]. В качестве «вредителей» фигурировали нигилисты, поляки-заговорщики и, главное, церковная и гражданская администрация, оторванная от «корней». В финальной части хроники, когда повествование приближается к трагической развязке, автор уподобляет Туберозова «изнемогшему в бою русскому витязю», которого «повсюду облегла несметная сила неверных». Застигнутый грозой в «вековом лесу», Туберозов едва не гибнет на том самом месте, где, по преданию, некогда пал от удара молнии легендарный витязь, окруженный «татарами». Здесь Туберозов решается на открытую борьбу. «Словно орлу обновились крылья!» — этой библейской цитатой (Пс. 102:5) завершается вся сцена[3]. Густая смесь фольклорных мотивов сочетается в этом фрагменте с библейской образностью и прозрачными евангельскими аллюзиями. Именно такие фрагменты «Соборян», скорее всего, имел в виду В.Г. Авсеенко, известный литературный критик тех лет, когда утверждал, что автор «сумел разглядеть» в русском клире «такие возвышенные свойства духа», что некоторые страницы хроники превращаются в «героическую поэму», сопостави-

2 *Лесков Н.С.* Собрание сочинений: В 11 т. Т. 10. М.: Художественная литература, 1958. С. 279. Письмо к С А Юрьеву от 5 декабря 1870 года.

3 Там же. Т. 4. М.: Художественная литература, 1957. С 223—225.

мую с «Тарасом Бульбой»[4]. При полном несходстве событий, изображенных в «Соборянах», с военными обстоятельствами, критик усмотрел параллели с «героической поэмой» Гоголя.

«Вредители русского развития», с которыми сражается Туберозов, — это легко опознаваемая формула националистического дискурса 1860-х годов, эвфемизм для «антирусских» сил, под которыми могли подразумеваться в зависимости от контекста самые разные группы, от революционного подполья до высшей петербургской бюрократии. «Нельзя отрицать, — утверждала передовая статья «Московских ведомостей» Каткова, — что в России существуют враждебные к ней элементы, причем не только на окраинах, но и в недрах ее»[5]. Когда началось восстание в Польше (1863—1864), в патриотической прессе стали широко циркулировать параллели с народными войнами прошлого, особенно со Смутным временем. Русская земля «закипает старинною злобой к ляхам» — подобные фразы почти ежедневно появлялись на страницах «Московских ведомостей»[6]. В «Соборянах», как показывает черновая рукопись хроники, Лесков тоже пытался работать с этими историческими ассоциациями:

> Мы слышим звон и шелест под [всею русскою] землею. То Минин Сухорук проснулся и встает в своей могиле, то звон меча, который вновь берет, и им препоясуется Пожарский. Вставай, наш русский князь, и рассеки мечом на разуменьи нашем стянутый чужих хитросплетений узел! Восстань нижегородец Минин и научи твоих внучат вменить себя в ничто перед величьем Руси![7]

Подобные аналогии со Смутным временем сложились, как известно, задолго до 1860-х годов. Занявшие центральное место в национальной мифологии еще в начале XIX века, в ходе антинаполеоновских войн, и затем вновь разработанные и прочно утвердившиеся в годы предыдущего Польского восстания (1830—1831) [Зорин 2001: 157—186; Киселева 1997], основные сюжеты и фигуры, связанные со Смутным временем, опять вошли в оборот в эпоху Великих реформ, и, как правило, культивировались в связке с памятью о войне 1812 года [Maiorova 2010: 94—127]. «Выдвигайся же, русская земля, — восклицал Аксаков в разгар Польского восстания, — вызывай из глубины твоих недр все твои потаенные богатства, все ключи живой целебной силы… скликай ты, как в 1812 году,

---

4 *Авсеенко В.Г.* Загадочный талант // Н.С. Лесков в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, публ. воспоминаний О.А. Фрибес и др., коммент. Л.И. Соболева; публ. фрагментов дневника С.И. Смирновой-Сазоновой и коммент. к ним Л.С. Даниловой и В.В. Соминой; предисл. А. Ранчина. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 354. Впервые напечатано в газете «Русь» (1904. № 155, 161. 19, 25 мая).

5 [*Георгиевский А.И.*] Московские ведомости. 13 января 1865 г. № 9 // Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей» за 1865 год. М.: Изд. С.П. Катковой, 1897. С. 23. О настоящем авторе этой статьи, ее политической подоплеке и участии Ф.И. Тютчева см.: *Тютчев Ф.И.* Письма к московским публицистам / Публ. К.В. Пигарева; предисл. и коммент. Л.Н. Кузиной // Литературное наследство. Т. 97. Ф.И. Тютчев / Отв. ред. С.А. Макашин, К.В. Пигарев, Т.Г. Динесман. Кн. 1. М.: Наука, 1988. С. 389 (примеч. 4).

6 *Щебальский П.К.* Наши космополиты // Московские ведомости. 1863. № 51. 7 марта.

7 Литературное наследство. Т. 101. Неизданный Лесков / Отв. ред. К.П. Богаевская, О.Е. Майорова, Л.М. Розенблюм. Кн. 1. М.: Наследие, 1997. С. 120. В 1870-е годы политическая позиция Лескова изменилась, и он отдалился от круга Каткова.

не одни только внешние и вещественные силы, но силы русского духа»[8]. Впитав и переработав сложившуюся историческую мифологию, патриотическая пресса 1860-х годов использовала память о народных войнах, оттачивая новую, модерную концепцию нации, предполагавшую «русификацию» империи — проект, о котором пойдет речь далее.

Как в этой перспективе звучит главный в русской литературе роман о народной войне, написанный в те же годы? Может ли сопоставление с патриотической прессой тех лет уточнить наши представления о том, как нация и империя воображены в «Войне и мире»? Пытаясь ответить на эти вопросы, я сначала сосредоточусь на символических репрезентациях русского народа в «Войне и мире» и на стоящих за ними философских построениях, а затем постараюсь осмыслить роман в контексте националистического дискурса 1860-х годов и показать, какое место в глазах Толстого русский народ занимает в огромном имперском пространстве.

В годы создания «Войны и мира», как, впрочем, и позднее, Толстой исходил из примата интуиции, инстинкта, спонтанного и импульсивного начала в человеке[9]. Эти умонастроения находили отточенные формулировки в его дневниковых записях тех лет: «Всё, всё, что делают люди — делают по требованиям всей природы. А ум только подделывает под каждый поступок свои мнимые причины, которые для одного человека называет — убеждения — вера и для народов (в истории) называет *идеи*»[10]. Не удивительно, что биологические сравнения и тропы пронизывают «Войну и мир». Казаки и мужики «побивают» неприятеля «так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку» (XII, 123). Отступление наполеоновского войска ничем не отличается от «предсмертных прыжков и судорог смертельно раненого животного» (XII, 90). Среди множества подобных сравнений образ роевой, инстинктивной жизни насекомых — пчел и муравьев — занимает в «Войне и мире» особое место. Рой символизирует в романе людские массы и становится центральной метафорой русского народа[11].

---

8 *Аксаков И.С.* Наше спасение от полонизма в народности // Аксаков И.С. Полное собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. М.: Тип. М.Г. Волчанинова (быв. М.Н. Лаврова и К°), 1886. С. 67. Первоначально статья была напечатана без названия как передовая газеты «День» (1863. № 21. 25 мая).

9 Анализ «Войны и мира» в связи с толстовским пониманием инстинктивного и рационального в природе человека см.: [Орвин 2006: 110—158]. Более широкое обсуждение взглядов Толстого в этот период см.: [Фойер 2002].

10 *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. XLVIII. С. 52—53 (запись от 3 марта 1863 года). Курсив оригинала. В дальнейшем все ссылки на это издание даны в тексте с указанием тома и страницы.

11 «Роевая жизнь» — емкая и пластичная метафора, ускользающая от однозначной интерпретации. Она соотносится в романе не только с русским народом, но и с «общей», «стихийной» жизнью человечества, и с частной, семейной жизнью героев, и, как увидим, с законами исторического развития. В дневниках и письмах Толстой тоже находил этой метафоре разные применения, ассоциируя «роевую жизнь» то с политикой (см. неотправленное письмо Ю.Ф. Самарину от 10 января 1867 года: LXI, 157—158), то с мыслительным процессом, прежде всего с работой собственного творческого воображения (см. запись от 18 июня 1863 года: XLVIII, 54—55), то с гармоничным мироустройством (см. об этом: [Miller 2010: 57—58; Newlin 2012: 367—368]). В этой статье я фокусируюсь главным образом на тех аспектах романа, где Толстой наделяет метафору роевой жизни национальными обертонами, поскольку именно этот смысловой слой мне представляется наименее изученным.

Начиная с Античности пчелы и муравьи — «биологические и поэтические родственники» — часто фигурировали в литературе как живая эмблема сплоченного, хорошо организованного, если не идеального, социума [Hollingsworth 2001: xiii, 21, 23][12]. Однако в романе о народной войне Толстого занимала не гармония роевой жизни, не патриархальный рай, но кризисы, катаклизмы и, главное, коллективные ответы на эти вызовы, в конечном итоге — движение истории. Он поставил перед собой амбициозную задачу найти «общие стихийные законы», управляющие как природными, так и историческими процессами (XIV, 124—126). Для осуществления этого замысла роевая жизнь служила идеальным предметом рефлексии. В черновике романа Толстой прямо утверждал, что общество людей — это «целый организм, подчиненный таким же законам, как организм улья и муравейника» (XIV, 124).

Сравнения людей с насекомыми рассыпаны по всему роману. Иногда это лишь беглые упоминания, мгновенные и единичные ассоциации. Московские дворяне, «как пчелы на весеннем пролете», снуют по Английскому клубу в ожидании торжественного обеда в честь Багратиона (X, 16). Русские солдаты, «как муравьи из разоренной кочки», «в разных направлениях» бегут по улицам Смоленска под французскими ядрами (XI, 118). В философских отступлениях тоже фигурируют насекомые: автор размышляет о «бессознательной, общей, роевой жизни человечества» (XI, 6; XII, 246). С этими рассуждениями особенно тесно связаны два фрагмента романа, где Толстой в деталях разворачивает, словно рассматривает под увеличительным стеклом, картины «роевой жизни». Оба фрагмента заслуживают пристального внимания; они представляют исключительный интерес для понимания толстовской концепции нации.

Как известно, в годы работы над «Войной и миром» Толстой, по его собственным словам, «сделался страстным пчеловодом»[13]. Он проводил целые дни на пасеке, изучал поведение пчел и штудировал специальную литературу [Зорин 2020: 81; Newlin 2012]. Однако семантическая многоплановость детальных картин роевой жизни в романе позволяет предполагать, что в творческом сознании Толстого они питались не только его биографическим опытом, непосредственными впечатлениями и наблюдениями, но и классическими литературными образцами. Начиная с Вергилия, в европейской традиции пчелиный улей устойчиво ассоциировался с городом. В «Энеиде» развернуто подробное сравнение Карфагена с ульем, и фраза «Всюду работа кипит» (I, 423, 436; перевод С.А. Ошерова) прославляет и слаженный труд целого пчелиного роя, и энергичные усилия множества людей, занятых возведением зданий и стен Карфагена. Метафора «город-улей» затем прочно утвердилась в римской Античности, в латинском Средневековье и в эпоху Ренессанса, став мощным, неизменно привлекательным и постоянно перерабатываемым топосом, сохранившим поразительную продуктивность и в литературе Нового времени [Hollingsworth 2001]. Характерно, что в «Войне и мире» детальные картины роевой жизни тоже проецируются на город. Сначала Москва, покинутая жителями накануне вступления в нее неприятеля, сравнивается с «домирающим,

12 Хотя и пчелиный улей, и муравейник могли служить метафорами совершенного сообщества, с муравьями связывались также и представления об агрессии, и поэтому позитивные коннотации нередко вытеснялись (см. об этом: [Hollingsworth 2001: 23—24]).

13 Письмо М.Н. Каткову от 28—29 октября 1864 года (LXI, 58).

обезматочившим ульем» (XI, 329)[14]. Затем, в конце романа, восстановление Москвы сопоставлено с возрождением «разоренного» муравейника. Интертекстуальная насыщенность обоих фрагментов требует специального изучения; эта задача остается за рамками настоящей статьи. Однако некоторые литературные источники представляются особенно значимыми для нашей темы.

Комментаторы романа давно предположили, что сравнение москвичей, покинувших город, с пчелиным роем Толстой позаимствовал из басни И.А. Крылова «Ворона и курица» (1812): «Тогда все жители, и малый и большой. / Часа не тратя, собралися / И вон из стен московских поднялися, / Как из улья пчелиный рой» [Соболев 2012, II: 191]. Написанная в разгар Отечественной войны, басня действительно могла привлечь внимание Толстого, вызывая его интерес не только как художественный текст, но и как драгоценный документ эпохи. Однако сам по себе древний топос «город-улей», которым воспользовался Крылов, развернут в романе с таким драматизмом и в таком нарративном ключе, что побуждает связывать картины роевой жизни в «Войне и мире» скорее с первоисточником этого топоса — с поэмой Вергилия.

В черновиках «Войны и мира» есть отсылка к «Энеиде». В захваченной неприятелем Москве Пьер беседует с французским офицером Мельвилем, которого позднее, при переработке текста, Толстой превратит в знакомого нам капитана Рамбаля. Угощая француза вином, Пьер полушутя цитирует Вергилия, обыгрывая классический пример коварства на войне:

> Пьер налил стакан Мельвилю, но француз предложил Пьеру выпить с ним вместе.
>
> — Timeo Danaos et dona ferentes [Боюсь данайцев и дары приносящих][15], — сказал Пьер, улыбаясь.
>
> — О нет, напротив, — отвечал Мельвиль, поспешно выпивая свой стакан… <…>
>
> Как бы экзаменуя друг друга вследствие цитаты из Вергилия, они заговорили о римском поэте, потом о Корнеле и его трагедиях, которые оба одинаково любили (XIV, 431).

Беседа двух образованных европейцев и напоминание о Троянской войне воскрешает мир античного эпоса, причем сразу Гомера и Вергилия, поскольку в процитированных Пьером словах Лаокоона «Энеида» отсылает к знаменитому эпизоду из «Одиссеи» о троянском коне. Незадолго до начала работы над романом, 3 января 1863 года, Толстой записал в дневнике: «Эпический род мне становится один естественен» (XLVIIII, 48). В дальнейшем он не раз сравнивал «Войну и мир» с «Илиадой» [Соболев 2012, I: 46—47]. В этой перспективе ориентация на топос, восходящий к другой эпической поэме, к «Энеиде» (где к тому же продолжен и развит гомеровский эпос), выглядит тем более уместной, что в романе Толстого сравнение Москвы с ульем разрастается, как это и характерно для эпического полотна, во вставной эпизод, оттеняющий, дополняющий и даже драматизирующий основное действие[16]. В самом деле,

---

14 В текстологически наиболее выверенных изданиях «Войны и мира» орфография слова «обезматочивший» отличается от общепринятой («обезматочевший»); в настоящей статье сохраняется идиосинкратическая орфография Толстого.

15 «Энеида» (II, 49).

16 В дальнейшем, изъяв эксплицитную ссылку на «Энеиду» из текста «Войны и мира», Толстой, как представляется, лишь замаскировал значимость поэмы Вергилия для своего романа (такая стратегия в принципе характерна для Толстого при переработ-

рассказ Толстого о том, как «пчелы-грабительницы» «быстро и украдисто» шныряют в «домирающий» улей (XI, 330), предвосхищает сцены в «обреченной» Москве, когда во время отступления русской армии «солдаты-грабители» «украдчиво и молчаливо» тащат товары из торговых лавок (XI, 332). «Ссохшиеся» пчелы, бродящие по угасающему улью бесцельно, «потеряв сознание жизни» (XI, 330), — эти описания предваряют рассказ о растерянных жителях Москвы, хаотически мечущихся по опустевшему городу. И наконец, картина бессмысленной агрессии в улье — «толпа пчел», «давя друг друга, нападает на какую-нибудь жертву и бьет и душит ее» (XI, 331) — это почти буквальная параллель к развернутой вскоре жуткой сцене убийства Верещагина[17].

Читая «Войну и мир» (по-видимому, как раз сцены в опустевшей Москве), А.К. Толстой находил смехотворным стремление автора

> доказать, что… все без исключения действуют как сомнамбулы, не зная, ни куда они идут, ни чего хотят. Это особенно заметно — добавлял он, — в эпизоде с Ростопчиным и Верещагиным. <…> Ростопчин отдает Верещагина на растерзание *потому что не в духе*. Это уж слишком, здравого смысла тут вовсе нет. Бедный Толстой так боится всего великого, что прямо предпочитает ему смешное[18].

Иронизируя над романом, поэт, однако, точно угадал авторское намерение акцентировать бессознательное — «общие стихийные законы», управляющие коллективными организмами в природе и в обществе. Классический топос «город-улей» послужил идеальной оправой для этого замысла, став емким образом, где естественная история сливается с историей людей.

Город-улей — это облеченная в живую плоть историософия Толстого. Как известно, согласно его фаталистической концепции, историческое событие складывается из взаимодействия «бесчисленного количества людских произволов» (XI, 267); взятые в совокупности, эти «произволы» дают «результи-

---

ке вариантов текста). Не углубляясь в эту тему, рискну предположить, что аллюзию на «Энеиду» можно усмотреть и в сцене Наполеона, обозревающего Москву с Поклонной горы в ожидании «депутации бояр» (XI, 326). Эней тоже наблюдает за жизнью Карфагена с холма, и здесь, как и у Толстого, герой поглощен открывающейся ему красотой зрелища, причем в обоих произведениях (хотя и совершенно по-разному) проникновение в чужой город связано с мотивом обладания женщиной. Другого рода соображения о «Войне и мире» в связи с «Энеидой» см.: [Гриффитс, Рабинович 2005: 222—223, 228].

17 В этих эпически развернутых сравнениях Толстой, конечно, мог опираться не только на «Энеиду», но и на массу литературных текстов разных жанров, в которых разрабатывалась богатая метафорика пчелиного роя, начиная от «Георгик» Вергилия (IV книга) до «Потерянного рая» Мильтона, не говоря уже о Библии. В каждом случае найдутся аргументы, подтверждающие такие интертекстуальные связи. И все-таки топическое гнездо «город-улей» мне представляется особенно релевантным для «Войны и мира». Характерно, что именно этот топос и позднее оставался продуктивным в русской литературе, особенно в исторических романах, так или иначе ориентированных на «Войну и мир». Я имею в виду «Белую гвардию» М.А. Булгакова («Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город» (*Булгаков М.А.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. М.: Художественная литература, 1989. С. 217)) и «Бич Божий» Е.И. Замятина («…город… гудел, как улей» (*Замятин Е.И.* Мы: романы, повести, рассказы, сказки. М.: Современник, 1989. С. 509)).

18 *Толстой А.К.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1964. С. 271—272 (письмо к Б.М. Маркевичу от 26 марта 1869 года). Курсив оригинала. Перевод с французского А.В. Федорова. Подробнее см.: [Соболев 2012, I: 158].

рующий вектор», который в конечном итоге осуществляет волю Провидения. Разворачивая метафору «домирающего улья», Толстой ввел в повествование фигуру пчеловода, и если пчелы у него символизируют людей, то пчеловод — рискну предположить — персонифицирует высшие силы. Стоя над ульем и вглядываясь в него сверху вниз, пчеловод охватывает взглядом все происходящее. Он проникает и в коллективную жизнь роя, и в действия, даже в сознание отдельных пчел. Главное, именно пчеловод решает судьбу улья и определяет сроки его гибели. После тщательного осмотра он «закрывает колодезню, отмечает мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее» (XI, 327—328). Эта отметка мелом — буквальное предначертание судьбы — перекликается с убежденностью автора романа в том, что сожжение Москвы было неизбежно, предсказуемо и предопределено всем ходом событий. Для Толстого пожар никак не являлся следствием чьих-либо целенаправленных усилий, будь то планы завоевателей или акт жертвоприношения, совершенного русскими с «героическим факелом» в руках (XI, 358). Косвенным подтверждением предложенной интерпретации пчеловода как воплощенной воли Провидения может служить статья Толстого «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» (1862). Рассказывая о своих педагогических экспериментах — опыте пробуждения у детей интереса к художественному письму — Толстой признавался, что его мучили угрызения совести: «...мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве» (VIII, 307). В чем заключалось «святотатство», он объяснил с помощью метафоры улья: «Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного» (Там же). Будто специально для будущих комментаторов «Войны и мира», в педагогической статье Толстой представляет проникновение в тайную жизнь пчелиного улья как прерогативу высших сил. Если принять предложенную интерпретацию пчеловода как персонификацию Провидения, то получается, что в эпически развернутом сравнении Москвы с ульем есть намек и на участие высших сил — непременных действующих лиц античного эпоса.

Все описание угасающей жизни пчелиного роя построено на контрасте двух его состояний — катастрофического настоящего и идеального прошлого. Подробные картины запустения, хаоса, распада и смерти продуманно соположены с не менее детальными картинами некогда полного жизни, здорового улья, локуса изобилия и созидания. Пчеловод видит «сотни унылых, полуживых» пчел, рассеянных «по дну и стенкам» полупустого улья, и тут же противопоставляет их «прежним сплошным... кругам тысяч пчел, сидящих спинка с спинкой и блюдущих высшие тайны родного дела» (XI, 331). При стуке в стенку обезматочившего улья оттуда доносятся лишь «разрозненные жужжания» и «нескладный... шум беспорядка», тогда как раньше, при сигнале опасности, из улья слышался «мгновенный, дружный ответ, шипенье десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев производящих этот воздушный жизненный звук» (Там же). Толстой последовательно развивает два ряда контрастных картин, где все противопоставлено: вид, цвет, запах, звук. Но эти полярные состояния Москвы-улья могут читаться не только как оппозиция трагического настоящего и идеального прошлого, но и как предвосхищение будущего возрождения, приглашение читателя, тем более читателя, знакомого с историей 1812 года, вообразить предстоящее восстановле-

ние столицы. И действительно, в конце романа автор описывает возвращение русских в Москву как регенерацию коллективного организма, используя тот же классический топос города-роя, что и ранее, хотя теперь улей заменен муравейником:

> Так же как трудно объяснить для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кучки, одни прочь из кучки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в кучку — для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, — так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей, после выхода французов, толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кучки муравьев, несмотря на полное уничтожение кучки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности копышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего-то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кучки, — так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святыни, ни богатств, ни домов, была тою же Москвою, какою была в августе. Всё было разрушено, кроме чего-то невещественного, но могущественного и неразрушимого (XII, 211).

В основе этой драмы умирания и возрождения, как и в основе метафоры роевой жизни в целом, лежала романтическая концепция нации — представление о народе как цельном, естественно сложившемся организме, со своей историей рождения, роста, продолжения рода, угасания и регенерации. Эта концепция уходила своими корнями в учение Гердера, давшее, как известно, обильные всходы на русской почве и хорошо знакомое Толстому (Гердера упоминают и читают не только автор, но и герои «Войны и мира»)[19]. Последовательнее и глубже многих своих современников идеи Гердера о национальности усвоили славянофилы, воспринявшие их сквозь призму немецкого романтизма[20]. В 1860-е годы Толстой поддерживал заинтересованный диалог со славянофилами. Не удивительно, что он развивал свои представления о человеческом обществе как коллективном организме и обращался к метафоре роевой жизни в письме к Ю.Ф. Самарину, одному из самых видных славянофилов (LXI, 157—158)[21]. Гердер, как и славянофилы вслед за ним, понимал нацию прежде всего как культурно гомогенное единство. В его философии коллективная идентичность зиждется на общей для всего народа культуре — укладе жизни, обычаях, общих умонастроениях и верованиях, истории, литературе и языке. Эта уникальная культура сформирована всем народом и вместе с тем является манифестацией его духа, той самой «невещественной» субстанции, которая, по Толстому, «неразрушима» и способна приводить в действие силы

---

19 Обнаруженные комментаторами романа цитаты и аллюзии, связанные с Гердером, собраны в книге: [Соболев 2012, II: 47—48, 93, 204]. О том, как в «Войне и мире» отразился интерес Толстого к учению Гердера о духовном развитии личности, см.: [Steiner 2011: 91—134]. Исследования, посвященные толстовской рецепции немецкого философа, в основном посвящены идеям Гердера о бессмертии души, его метафизике, антропологии и философии истории (см.: [Steiner 2021], где максимально учтена литература вопроса), тогда как учение Гердера о национальности почти не привлекало внимания в связи с «Войной и миром».

20 В характеристике воспринятых славянофилами идей Гердера я опираюсь на книгу [Rabow-Edling 2007: 59—71].

21 Письмо от 10 января 1867 года. Толстой его не отправил адресату. См. также: [Kolsto 2005].

единения. Дух народа и национальный характер понимаются как нечто константное и неизменное, существующее поверх социальных и хронологических барьеров, постигаемое каждым членом сообщества интуитивно и ускользающее от объяснений в абстрактных категориях. Именно в таком ключе, в полном соответствии с романтической эссенциализацией народа, Толстой рассказывает, например, об оставлении и пожаре Москвы: «Каждый русский человек, не на основании умозаключений, а на основании того чувства, которое лежит в нас и лежало в наших отцах, мог бы предсказать то, что́ совершилось» (XI, 279). Как и у Гердера, у Толстого это общее интуитивное знание кристаллизует народ в единое целое и определяет его действия: «…всё население, как один человек, бросая свои имущества, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным действием всю силу своего народного чувства» (XI, 343). Согласно Гердеру, каждый обретает свою идентичность только как часть целого. К такому выводу, как известно, подводит своих героев и Толстой. Так, Пьер после Бородинского сражения размышляет о простых солдатах и мечтает о том, чтобы «войти в эту общую жизнь всем существом» (XI, 293).

Однако Толстой полемически заострил романтическую концепцию нации, адаптировав ее к своей философии истории. Прежде всего, он усилил роль примитивных, «животных» инстинктов в жизни народа, отлучив тем самым романтический национализм от сложившегося на его основе патриотического дискурса XIX века с характерной для этого дискурса сакрализацией национальной истории. Можно сказать, что Толстой «брутализировал» нацию как органическое целое. Даже такой центральный патриотический символ, как освобождение и восстановление Москвы в 1812 году, не просто лишен в романе героического ореола, но максимально приземлен, переведен на язык грубых инстинктов: «Побуждения людей, стремившихся со всех сторон в Москву, после ее очищения от врага, были самые разнообразные, личные, и в первое время, большею частью — дикие животные» (XII, 211). Толстой детально описывает, как «вступившие в Москву русские» — казаки, мужики, московские домовладельцы — грабят, обманывают, мошенничают, воруют, подкупают, борются друг с другом. Однако какие бы низкие побуждения ни руководили ими и как бы враждебны они ни были друг к другу, Толстой преподносит результат как обретение утраченного физического здоровья (все эти люди «с разных сторон, как кровь к сердцу — приливали к Москве», XII, 212) и тут же поясняет:

> Грабеж французов, чем больше он продолжался, тем больше разрушал богатства Москвы и силы грабителей. Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дольше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстановлял богатство Москвы и правильную жизнь города (Там же).

Толстой до конца не разъясняет, каким образом центростремительные силы коллективного организма взяли верх над силами разъединения и взаимной вражды, — он оставляет пространство для необъяснимого. Но в любом случае Толстой отказывается приписывать этот результат благородству и высоким чувствам — сознательным усилиям людей. В этой перспективе изменения в символической репрезентации русских — смещение фокуса от пчел к муравьям в конце романа — кажется знаковым. Хотя в литературном воображении оба эти вида насекомых могли быть взаимозаменяемы, оба служили метафорами идеально организованного сообщества, их репутация и в жизни, и в искусстве

все-таки не была идентичной. Муравьи часто символизировали взаимную агрессию, драчливость, воинственность и алчность [Hollingsworth 2001: 23—24].

Такая риторика вызвала резкий отпор современников, хотя прямо они не обсуждали метафору роевой жизни в романе. Финал «Войны и мира» поверг в недоумение даже Н.Н. Страхова, горячего поклонника Толстого, автора самых проницательных и восторженных рецензий на роман и в скором будущем философского собеседника писателя. Страхов, как и Толстой, мыслил нацию в органицистских категориях, но полемическая приземленность финала и отказ от эксплицитно сформулированного представления о национальном идеале его смущали: «Если бы художник закончил свою книгу философскими или какими угодно мыслями, из которых нам стал бы яснее смысл Бородинского сражения, сила русского народа, тот идеал, который нас тогда спас и живит нас до сих пор, — мы были бы довольны»[22]. Показателен и крайне раздраженный отзыв о «Войне и мире» известного славянофила Ивана Аксакова. Хотя ему понравилось начало романа[23], Аксакова глубоко возмутило то, как Толстой изображал народную войну:

> ...нашлись у нас художники-реалисты, которые отрицают нравственную заслугу русского народа в пожаре Москвы 1812 года... Но это свидетельствует только о том, что нет ничего тупоумнее реализма, когда он берется судить об явлениях исторических, нравственных и вообще высшего порядка. <...> История... постигается только процессом идеализации[24].

Для Аксакова роман стал примером десакрализации памяти об Отечественной войне.

Толстой писал «Войну и мир» в то время, когда у романтической концепции нации появился мощный конкурент — набиравший силу модерный национализм. В печати его главным проповедником тогда был М.Н. Катков. Если в рамках концепции Гердера национальная идентичность определялась принадлежностью к органично сложившейся культуре народа, а государство рассматривалось лишь как искусственное и окказиональное образование, внешнее по отношению к истинной жизни нации, то модерный национализм Каткова, напротив, мыслил нацию в первую очередь как политическое единство, а государство — как главный инструмент ее формирования. Стремясь адаптировать Россию к требованиям современного национализма, Катков выдвигал проекты русификации империи и власти. Он надеялся видеть русских — «государствообразующий народ», в его терминологии, — как политически доминирующую народность России и развивал идею политической нации, сплоченной на основании лояльности всех этнических групп империи не только русскому царю, но и русскому народу. Эта новая концепция, вариант национализмов западноевропейских империй (Великобритании в первую очередь), соответствовала

---

22 *Страхов Н.* Война и мир: Сочинение графа Толстого // Заря. 1870. № 1. С. 130.

23 11 декабря 1864 года Толстой сообщал жене из Москвы о своем чтении начальных глав «Войны и мира» (тогда «1805 года») И.С. Аксакову и А.М. Жемчужникову: «...им обоим, особенно Жемчужникову, чрезвычайно понравилось. Они говорят: прелестно» (LXXXIII, 93). Это авторское чтение состоялось до начала публикации романа.

24 *Аксаков И.С.* Речь председателя Московского Славянского Комитета на заседании 6 марта 1877 г. // Аксаков И.С. Полное собрание сочинений. Т. 1. М.: Тип. М.Г. Волчанинова (быв. М.Н. Лаврова и К°), 1886. С. 244.

духу реформ, прежде всего освобождению крепостных, — главной реформе 1860-х годов, которая, казалось, открывала возможность для крестьянской массы превратиться из «рабов» в «граждан», то есть обрести политическую субъектность[25]. В этой обстановке даже славянофилы, для которых государство всегда оставалось внешней силой по отношению к народу, теперь, при условии русификации государства и царской власти, видели Российскую империю как институт, способный воплощать дух русского народа и защищать его интересы. Как писал Аксаков,

> степень могущества Российской империи всегда зависела и зависит от меры участия духовных сил русской народности во внешнем государственном устройстве России, от степени сближения правительства с [русским] народом... <...> Только Русью жила и держалась империя, несмотря на все преграды, положенные органическому... развитию самой Руси...[26]

При всех их глубинных и непримиримых расхождениях Катков и Аксаков нередко выступали единым фронтом, побуждая правительство сделать империю не столько российским, сколько русским государством[27].

Начало работы Толстого над романом совпало с Польским восстанием — ключевым событием, способствовавшем формированию националистического дискурса 1860-х годов. Восстание придало новую остроту дебатам, начатым с освобождением крестьян, — дебатам о консолидации русского народа, политической субъектности масс, статусе русских в Российской империи, границах собственно русской (в отличие от имперской) национальной территории [Долбилов, Миллер 2006: 177—258]. В ходе этих дискуссий патриотическая пресса мифологизировала восстание как внешнюю угрозу России и как «новый 1812 год». Целый ряд обстоятельств, связанных с событиями в Польше, позволял раздувать параллели с Отечественной войной: дипломатические кампании западных держав, осуждавших Петербург за кровавые расправы с инсургентами и требовавших уступок Польше; широко циркулировавшие слухи о надвигающейся европейской войне; печатавшиеся в газетах рассказы о русских крестьянах, самовольно бравшихся за оружие и победоносно «побивавших» поляков[28]. В этой обстановке патриотическая пресса стремилась инструментализировать память о победе над Наполеоном, чтобы продвигать свои проекты национального строительства.

В изданиях Каткова и Аксакова, так же как и в официальной историографии Отечественной войны, 1812 год славили как время консолидации власти и народа перед лицом врага, имея в виду прежде всего верность царю, традиционный монархический патриотизм. Этот стереотип очевидным образом абсолютно чужд Толстому. В «Войне и мире» именно в ходе народной войны беспомощность государственной власти становится особенно явной, а способ-

---

25 О развитии модерного национализма в России см.: [Миллер 2000]. О Каткове как идеологе имперского национализма см.: [Maiorova 2010: 94—127; Renner 2003].

26 *Аксаков И.С.* Где органическая сила России? // Аксаков И.С. Полное собрание сочинений. Т. 2. М.: Тип. М.Г. Волчанинова (быв. М.Н. Лаврова и К°), 1886. С. 219—220. Первоначально эта статья была опубликована без подписи и заглавия, как передовая газеты «День» (1864. № 40. 3 октября).

27 Подробное сопоставление позиций Каткова и Аксакова см.: [Maiorova 2010: 99].

28 См. об этом подробнее: [Maiorova 2010: 94—127, 130—143].

ность масс действовать самостоятельно, независимо от любых механизмов управления, выступает на первый план. Как известно, писатель утверждал, что «нигде человек не бывает свободнее, как во время сражения, где дело идет о жизни и смерти» (XI, 81). После вторжения неприятеля, когда русская земля становится полем битвы, все люди — не только солдаты — обнаруживают себя в спонтанных и инстинктивных действиях, и массы становятся зримым субъектом истории. Пока «историческое море» спокойно, каждый «правитель-администратор» полагает, что он управляет «кораблем народа». Но «стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом…» (XI, 344—345). Подобные пассажи обычно связывают с толстовской критикой «культа великих людей». Однако Толстой преследовал более амбициозную задачу. Восходящее к Гердеру скептическое отношение к роли государства в жизни нации преобразовалось под пером Толстого в воинственное недоверие к правительствам, политическим лидерам и институтам. В разгар народной войны различные персонажи и группы персонажей могут вести себя по-разному, но когда речь идет об огромных массах людей, об «общей», «роевой жизни», они либо действуют вопреки распоряжениям властей (как в истории оставления Москвы), либо опережают приказы (партизанская война начинается задолго до ее официального одобрения), либо кооперируются с властью, но только потому, что власть выражает их волю (это случай Кутузова и армии) — и в любом случае нация выходит из тени государства.

Толстому претил не только традиционный монархический патриотизм — преданность народа царскому престолу — как основа национальной консолидации. В равной степени ему были чужды и попытки патриотической прессы развивать модерные проекты национального единства, побуждая верховную власть «русифицироваться». С этой целью Катков и Аксаков представляли 1812 год как ключевой исторический опыт, когда перед лицом внешнего врага царь внезапно осознал себя русским и примкнул к своему народу. В глазах обоих публицистов это был краткий, но поучительный момент, когда Александр I, казалось, отказался от традиционного династического космополитизма и наднациональной политики. Катков утверждал, что обычно Александр I потворствовал польскому сепаратизму, но в 1812 году все изменилось: царь увидел поляков сражающимися на стороне наполеоновской армии и прекратил их поддерживать (хотя и ненадолго)[29]. Аксаков формулировал сходные идеи несколько иначе, в русле типичной для славянофилов риторики: «Стоит только русскому императору отпустить себе бороду — и он непобедим», — эти слова Аксаков приписывал Наполеону, отдавая должное проницательности французского императора, и добавлял: «Едва ли нужно объяснять, что под символом бороды разумеется здесь образ и подобие русского народа, в значении его духовной и нравственной исторической личности»[30]. В течение всего XIX века

29 *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей» за 1863 год. М.: Изд. С.П. Катковой, 1897. С. 477—485 (Московские ведомости. 1863. № 185. 24 августа; № 186. 25 августа).

30 *Аксаков И.С.* В чем сила России? // Аксаков И.С. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 148. Написанная во время Польского восстания и предназначавшаяся для газеты «День» (1863. № 26. 29 июня), эта статья, видимо, не была пропущена цензурой и увидела свет позднее, в составе Собрания сочинений Аксакова.

самые разные писатели — от Ф.Н. Глинки до Ф.М. Достоевского — цитировали фразу Александра I, произнесенную в разгар наполеоновского нашествия, о том, что он «отрастит себе бороду и уйдет в леса с народом своим» (вариант: «пойдет скитаться в недрах Сибири»), «но не положит меча»[31]. В 1860-е годы подобные цитаты подразумевали широкий горизонт политических ожиданий, прежде всего надежду на способность монархической власти стать истинно русской, русифицировать империю и адаптироваться тем самым к запросам современного национализма.

Автор «Войны и мира» тоже вложил в уста Александра I сходные слова и даже построил вокруг них целую сцену, которая быстро, однако, перерастает в фарс и полнейшую нелепость. Получив донесение об оставлении Москвы от полковника Мишо, француза на русской службе, Александр I ведет с ним разговор на французском и почему-то горячо просит полковника, не знающего русского языка, сообщить всем российским подданным, что в случае гибели армии царь сам встанет во главе своих «любезных дворян и добрых мужиков» (mes bons paysans). И тут же Александр добавляет вариант уже знакомой нам фразы: «…я отпущу бороду до сих пор, и скорее пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моей родины и моего дорогого народа, жертвы которого я умею ценить!..» (XII, 12)[32]. Толстой иронизирует над аффектированными фразами, величественными жестами, театральными позами царя. Вся эта сцена насквозь саркастична, ее сатирический смысл совершенно очевиден и, казалось бы, не нуждается в комментариях. Недовольный романом П.А. Вяземский считал даже, что Толстой здесь «грубо и сознательно паясничает»[33]. Но если учесть, что в рассказе о аудиенции у Александра автор «Войны и мира» работает с устойчивой идиомой патриотического дискурса, становится ясным, что за этим комическим эпизодом просвечивает широкий полемический подтекст: идея русификации царской власти явно была чужда Толстому.

Противостояние «Войны и мира» националистическому дискурсу 1860-х годов выступает с особой наглядностью, если присмотреться к тому, как дихотомия империи и нации воображена в романе. Прежде всего, показательно, как Толстой рисует начало наполеоновского нашествия. И официальная историография Отечественной войны, и патриотическая публицистика 1860-х годов утверждали, что вторжение Наполеона — переход la Grande Armée через Неман — немедленно вызвало в русском обществе единодушное негодование и всплеск воинственных настроений; при этом «Московские ведомости» обычно проводили параллели с патриотическим возбуждением в ответ на Польское

31 *Глинка Ф.Н.* Письма русского офицера. М.: Военное издательство, 1987. С. 43 (впервые напечатаны в 1815—1816 годах); *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 25. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1983. С. 98 (апрельский выпуск «Дневника писателя» за 1877 год).

32 О работе Толстого с историческими источниками этой сцены см.: [Соболев 2012, I: 111—114].

33 Письмо П.А. Вяземского к П.И. Бартеневу от 9 марта 1869 года: Литературное наследство. Т. 114. Переписка П.А. Вяземского и П.И. Бартенева (1865—1877) / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и коммент. Л.И. Соболева; отв. ред. М.Л. Спивак. М.: ИМЛИ РАН, 2024 (в печати). Благодарю Л.И. Соболева за возможность прочитать это письмо и любезное разрешение его процитировать. Фрагмент этого письма был опубликован ранее, см.: [Соболев 2012, I: 114].

восстание 1863 года [Майорова 2012]. Роман Толстого совершенно недвусмысленно заострен против этого стереотипа. В «Войне и мире» разворачивается альтернативный рассказ о первых неделях войны и отступлении русской армии. До определенного момента в романе нет ни малейшего намека на патриотическое воодушевление и ненависть к врагу. Напротив, в толстовской истории начала войны ключевым словом является «веселье». Хотя «все были недовольны общим ходом военных дел» (XI, 38—39) и отступление сопровождалось «сложною игрой интересов» в главном штабе, тем не менее для армии «весь этот отступательный поход, в лучшую пору лета, с достаточным продовольствием, был самым простым и *веселым* делом. <…> Если жалели, что отступают, то только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны» (XI, 55)[34]. В этом «возбужденно-*веселом* настроении» пребывают в начале кампании и гусары Павлоградского полка, где служит Ростов: «…сначала *весело* стояли подле Вильны, заводя знакомства с польскими помещиками…» (Там же), потом отступили к Свенцянам (ныне Швянчёнис (Švenčionys) в Литовской Республике) — стоянке, прозванной в армии «пьяным лагерем», где солдаты эскадрона Ростова перепились и мародерствовали. Описание следующей стоянки павлоградцев — это рассказ о заразительном веселье офицеров, ухаживающих за женой полкового доктора (XI, 57—60)[35]. Рисуя русское общество в тылу, Толстой тоже акцентирует общее «веселье». «Давно так не веселились в Москве, как в тот год», — так автор рассказывает об оживленных балах летом 1812 года (XI, 174—175). Хотя в дни визита Александра I в древнюю столицу москвичами овладело «восторженно-патриотическое настроение», сразу после отъезда императора «московская жизнь потекла прежним обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о бывших днях патриотического восторга и увлечения, и трудно было верить, что действительно Россия в опасности…» (XI, 175)[36]. Если кто-то из персонажей заявляет свои патриотические чувства на начальном этапе войны (Жюли Карагина в письме княжне Марье или офицер, рассказывающий Ростову о подвиге генерала Раевского), все это подано в сатиричес-

34 Курсив здесь и далее мой — *О.М.*

35 Насколько важным было для Толстого создать картину беззаботного настроения в армии в начале войны, свидетельствует его работа с источниками, точнее, «деформация» исходного материала, по терминологии В.Б. Шкловского. Известно, что в рассказе об отступлении Толстой опирался на книгу И.Т. Радожицкого «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год» (М.: Тип. Лазаревых Института Восточных языков. 1835. Т. 1; см. об этом: [Соболев 2012, I: 86—87; II: 144]). К этой книге восходит и ряд деталей, использованных Толстым в описании веселого времяпровождения армии в первые недели войны (особенно мотив прощания с «милыми паннами», см. с. 16—21). Но у Радожицкого рассказы о веселье относятся к периоду, непосредственно предшествовавшему вторжению неприятеля, тогда как Толстой перенес их на картины «отступательного похода» сразу после вторжения.

36 В этих картинах московской жизни Толстой тоже «деформировал» исторические источники. Ясное сознание опасности и самые мрачные настроения, вызванные отступлением, нашли отражение в хорошо известных Толстому письмах М.А. Волковой к В.И. Ланской (см. особенно письмо от 1 июля 1812 года: Вестник Европы. 1874. № 8. С. 584; Толстой читал эти письма до их публикации, см.: [Соболев 2012, I: 9; II: 26—27, 154, 185]). Некоторые из этих писем прямо противоречат и страницам романа о царившем в Москве веселье. 24 июня 1812 года Волкова сообщала из Москвы: «Мы дожили до такой минуты, когда, исключая детей, никто не знает радости, даже самые веселые люди» (Вестник Европы. 1874. № 8. С. 583).

ком ключе и немедленно дискредитируется. Даже повествуя о происходивших в начале войны арьергардных столкновениях русской армии с наступающим неприятелем, Толстой объясняет эти стычки самыми разными обстоятельствами, но вовсе не патриотическим воодушевлением. Так, в рассказе об Островненском деле автор сообщает: «Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакаться по ровному полю» (XI, 99). Более того, именно после этой атаки Ростова одолевают сомнения в деле войны, хотя здесь речь идет о защите отечества от вторгшегося врага. Какое-то «неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему» при воспоминании о том, как он ударил саблей молодого француза, с его «самым простым, комнатным лицом» и «дырочкой на подбородке»: «Что-то неясное, запутанное… открылось ему» (XI, 64—65).

Однако в переживаниях героев — особенно тех, кто служит в романе камертоном искренности, — наступает поворотный момент и патриотическое чувство действительно овладевает ими, но это случается только тогда, когда война настигает их личными или семейными бедами. Тогда их реакция на войну так же инстинктивна и спонтанна, как «грозное шипение» пчел в потревоженном улье. Такие поворотные моменты наступают в разное время для различных героев. Княжна Марья не понимает значения войны до кризиса в Богучарове, когда она вдруг осознаёт, что может оказаться под властью французов: «Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться: краснеть и чувствовать еще неиспытанные ею припадки злобы и гордости» (XI, 150). В этот момент она преодолевает пределы собственной личности: «…она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами» (Там же). Для князя Андрея таким поворотным моментом становится отступление от Смоленска, когда у него просыпается «новое чувство озлобления против врага» (XI, 121). Для Пьера подобный переворот и выход за пределы своего «я» происходит на Бородинском поле, для Наташи — в Москве, в эпизоде с подводами для раненых.

Если «озлобление против врага» и осознание причастности к общему бедствию настигает каждого героя по отдельности, то обозначен ли в романе такой рубеж, после которого «чувство оскорбления и мести» (XII, 121) начинает охватывать массы и война приобретает народный характер? И если такой пороговый момент наступает, то когда и почему? В тексте романа есть совершенно определенные ответы на эти вопросы. Поворот происходит в Смоленске, и случается он потому, что только начиная от Смоленска война перенесена на собственно русские земли[37]. Толстой рисует отступление русской армии в начале кампании без малейшего драматизма, потому что он считает — и называет! — все пространство от Немана до Смоленска «польскими губерниями», даже Польшей, имея в виду территории, аннексированные Россией в ходе

37 Толстой здесь частично воспроизводил умонастроения очевидцев событий. О взрыве патриотического негодования в русском обществе 1812 года в связи со сдачей Смоленска см.: [Тартаковский 1996: 48—49, 100—106]. Восприятие отступления русской армии от Смоленска как движения в собственно русские земли тоже находит аналогии в свидетельствах современников и участников войны. Для Федора Глинки, например, Смоленск был «порог Москвы, в Россию двери» (см. его стихотворение «1812 год. Отрывок из рассказа», <1840>).

разделов Польши в конце XVIII века. Тем самым Толстой радикально дистанцируется от националистического дискурса 1860-х годов. В годы создания романа патриотическая пресса посвятила немало усилий тому, чтобы представить эти земли (Западный край империи) как исконно русские.

> Вся западная окраина России, — разъясняли «Московские ведомости» в разгар Польского восстания, — и даже часть пограничных с нею областей искони были славяно-русскою землею. Коренное население ее составляли в южной половине племя малорусское, в северной белорусское и литовское... <...> Польша, пользуясь ослаблением московского и других русских княжеств от нашествия монгольского, начала постепенно подчинять власти своей западные области России. <...> Мало-помалу польские магнаты овладели всею почти поземельной собственностью в присоединенном к Польше русском крае...[38]

У Толстого, напротив, Западный край фигурирует как «польские» земли, и только рассказывая о Смоленске, автор вдруг начинает говорить о «русских губерниях» и собственно русской территории империи (XI, 38—39). Более того, все веселое, беззаботное отступление российской армии от западных пределов империи до Смоленска Толстой описывает как приближение к «русским границам» (XI, 55). И эти русские границы маркируют изменение в характере войны. После оставления Смоленска веселье сменяется общим «озлоблением», начинается партизанская война, и по мере дальнейшего продвижения наполеоновского нашествия «в глубь России» возбуждается «ненависть к врагу в русском народе» (XI, 100; XII, 120—123). Можно было бы предположить, что слова о «польских губерниях» просто отражают язык изображаемой эпохи, когда разделы Польши еще были свежи в памяти и захваченные у Речи Посполитой земли нередко назывались польскими [Долбилов 2012]. Но это предположение противоречит поэтике романа: когда в тексте появляются анахронизмы, они обычно маркированы как чужой, неавторский голос, тогда как «польские губернии» упоминаются в романе совершенно нейтрально и всегда самим автором. Здесь мы имеем дело с ярким случаем несовпадения политической и символической, точнее ментальной географии. Толстой проводит границу между территорией Российской империи и землями, которые русский народ считает своими, причем, проводя эту границу, он полемически ориентирует «Войну и мир» по отношению к фундаментальному постулату националистического дискурса XIX века — концепции большой русской нации, включающей украинцев, белорусов и нередко (как в приведенной цитате из «Московских ведомостей») литовцев.

Подводя итоги, можно сказать, что в «Войне и мире» Толстой рассказывает этноцентричную историю народной войны. Он отчетливо отграничивает территорию империи от территории нации и редуцирует, если не полностью стирает, национальную значимость тех событий 1812 года, которые разворачиваются за пределами собственно русского пространства России. Тем самым Толстой противостоит, вольно или невольно, экспансионистскому импульсу модерного национализма, стремившегося «русифицировать» империю. В своем этноцентричном повествовании он заходит настолько далеко, что отождествляет военные действия русских в 1812 году с действиями «горцев на Кав-

38 [*Б.а.*] По поводу указа 1 марта // Московские ведомости. 1863. № 63. 21 марта.

казе» (XII, 121) во время российского завоевания. В этом сравнении с горцами ясно видна потребность вывести русский народ из тени империи и вообразить его как самостоятельную, не зависимую от государства силу. Толстой исходит из архаичной, романтической концепции нации, но вместе с тем он превращает русский народ в протагониста истории и тем самым отвечает на центральную потребность эпохи реформ — потребность наделить нацию политической субъектностью хотя бы в воображении. Толстого можно упрекать (в духе постколониальной критики) в том, что в романе о русском народе он был недостаточно чувствителен к имперскому измерению русской истории. С современной точки зрения такие упреки имеют смысл. Но если исходить из интенций автора и пытаться проникнуть в его замысел, то мы увидим, что Толстой «искал» русскость, не замутненную имперским грехом. И в этом можно видеть первый шаг к тому яростному отрицанию империализма, которое окрасило публицистическую мысль позднего Толстого.

Библиография / References

[Гриффитс, Рабинович 2005] — *Гриффитс Ф.Т., Рабинович С.Дж.* Третий Рим: Классический эпос и русский роман (от Гоголя до Пастернака) / Пер. с англ. Е.Г. Рабинович. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха. 2005.

(*Griffiths F.T., Rabinowitz S.J.* Epic and the Russian Novel from Gogol to Pasternak. Saint Petersburg, 2005. — In Russ.)

[Долбилов 2012] — *Долбилов М.Д.* «Поляк» в имперском политическом лексиконе // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: В 2 т. / Ред. А. Миллер, Д. Сдвижков, И. Ширле. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 304—333.

(*Dolbilov M.D.* "Polyak" v imperskom politicheskom leksikone // "Ponyatiya o Rossii": K istoricheskoy semantike imperskogo perioda: In 2 vols. / Ed. by A. Miller, D. Sdvizhkov, I. Shierle. Vol. 2. Moscow, 2012. P. 304—333.)

[Долбилов, Миллер 2006] — Западные окраины Российской империи / Ред. М. Долбилов, А. Миллер. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

(Zapadnye okrainy Rossiyskoy imperii / Ed. by M. Dolbilov, A. Miller. Moscow, 2006.)

[Зорин 2001] — *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла: литература и государственная идеология в России последней трети XVIII — первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

(*Zorin A.L.* Kormya dvuglavogo orla: Literatura i gosudarstvennaya ideologiya v Rossii posledney treti XVIII — pervoy treti XIX veka. Moscow, 2001.)

[Зорин 2020] — *Зорин А.Л.* Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

(*Zorin A.L.* Zhizn' L'va Tolstogo. Opyt prochteniya. Moscow, 2020.)

[Киселева 1997] — *Киселева Л.Н.* Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. Вып. 2. М.: ОГИ; Изд-во РГГУ, 1997. С. 279—302.

(*Kiseliova L.N.* Stanovlenie russkoy natsional'noy mifologii v nikolaevskuyu epokhu (susaninskiy siuzhet) // Lotmanovskiy sbornik. Iss. 2. Moscow, 1997. P. 279—302.)

[Майорова 2012] — *Майорова О.* Война и миф: память о победе над Наполеоном в годы Польского восстания (1863—1864) // Новое литературное обозрение. 2012. № 118. С. 178—205.

(*Maiorova O.* Voyna i mif: pamyat' o pobede and Napoleonom v gody Pol'skogo vosstaniya (1863—1864) // Novoe literaturnoe obozrenie. 2012. No. 118. P. 178—205.)

[Миллер 2000] — *Миллер А.И.* «Украинский вопрос» в политике властей и российском общественном мнении (вторая половина XIX века). СПб.: Алетейя. 2000.

(*Miller A.I.* "Ukrainskiy vopros" v politike vlastey i rossiyskom obshchestvennom mnenii (vtoraya polovina XIX veka). Saint Petersburg, 2000.)

[Орвин 2006] — *Орвин Д.* Искусство и мысль Л.Н. Толстого. 1847—1880 / Пер. с англ. и ред. А.Г. Гродецкой. СПб.: Академический проект, 2006.

(*Orwin D.* Tolstoy's Art and Thought, 1847—1880. Saint Petersburg, 2006. — In Russ.)

[Соболев 2012] — *Соболев Л.И.* Путеводитель по книге Л.Н. Толстого «Война и мир»: В 2 ч. М.: Изд-во Московского ун-та. 2012.

(*Sobolev L.I.* Putevoditel' po knige L.N. Tolstogo "Voyna i mir": In 2 pts. Moscow, 2012.)

[Тартаковский 1996] — *Тартаковский А.Г.* Неразгаданный Барклай: Легенды и быль 1812 года. М.: Археографический центр, 1996.

(*Tartakovsky A.G.* Nerazgadanny Barklay: Legendy i byl' 1812 goda. Moscow, 1996.)

[Фойер 2002] — *Фойер К.Б.* Генезис «Войны и мира» / Пер. с англ. Т. Бузиной. СПб.: Академический проект, 2002.

(*Feuer K.B.* Tolstoy and the Genesis of "War and Peace". Saint Petersburg, 2002. — In Russ.)

[Hollingsworth 2001] — *Hollingsworth C.* Poetics of the Hive: The Insect Metaphor in Literature. Iowa City: University of Iowa Press, 2001.

[Kolsto 2005] — *Kolsto P.* Power as Burden: The Slavophile Concept of the State and Lev Tolstoy // The Russian Review. 2005. Vol. 64. No. 4. P. 559—574.

[Maiorova 2010] — *Maiorova O.* From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855—1870. Madison: Wisconsin University Press, 2010.

[Miller 2010] — *Miller R.F.* Tolstoy's Peaceable Kingdom // Anniversary Essays on Tolstoy / Ed. by D. Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 52—76.

[Newlin 2012] — *Newlin T.* "Swarm Life" and the Biology of War and Peace // Slavic Review. 2012. Vol. 71. No. 2. P. 359—384.

[Rabow-Edling 2007] — *Rabow-Edling S.* Slavophile Thought and the Politics of Cultural Nationalism. New York: State University of New York Press, 2007.

[Renner 2003] — *Renner A.* Defining a Russian Nation: Mikhail Katkov and the "Invention" of National Politics // Slavonic and East European Review. 2003. Vol. 81. No. 4. P. 659—682.

[Steiner 2011] — *Steiner L.* For Humanity's Sake: The Bildungsroman in Russian Culture. Toronto; Buffalo; London: Toronto University Press, 2011.

[Steiner 2021] — *Steiner L.* Tolstoy's Philosophy of Life // The Palgrave Handbook of Russian Thought. Palgrave Macmillan / Ed. by M.F. Bykova, M.N. Forster, L. Steiner. 2021. P. 575—596.

Наталья Потапова

Военная травма 1812 года:

ФИЗИЧЕСКИЕ УВЕЧЬЯ И ПУБЛИЧНАЯ НЕМОТА

Natalia Potapova

War Trauma of 1812: Physical Injuries and Public Dumbness

Наталья Потапова (Европейский университет в Санкт-Петербурге, исследовательский центр «Res Publica», научный сотрудник / факультет истории, доцент; кандидат исторических наук) n.d.potapova@gmail.com.

Ключевые слова: Наполеоновские войны, история тела, военная травма, антивоенные дискурсы

УДК: 93/94+930.23
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_106

В статье анализируется связь между формированием антивоенных дискурсов и социальным присутствием раненых в обществе, новыми формами культурного опыта жизни с искалеченными войной телами после Наполеоновских войн, изменением медицинских практик заботы о раненых, связанных с желанием преодоления маргинализации, исключения и немоты в связи с шокирующими телами. Автор доказывает, как травматичный опыт Наполеоновских войн был связан с зарождением антивоенного дискурса модерности.

Natalia Potapova (PhD; Researcher, Res Publica Research Center; Associate Professor, Faculty of History, European University at St. Petersburg) n.d.potapova@gmail.com.

Keywords: Napoleonic Wars, body history, trauma studies, anti-war discourse

UDC: 93/94+930.23
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_106

The article analyzes the correlation between the production of anti-war discourses and the social presence of the wounded in society, new forms of cultural experience of survival with war-damaged bodies after the Napoleonic wars, changing medical practices of caring for the wounded associated with the desire to overcome marginalization, isolation and muteness in connection with bodies that shock. The author proves how the traumatic experience of the Napoleonic wars was entangled with the anti-war discourse of modernity.

Рождение современного антивоенного дискурса принято связывать с кровопролитным опытом Крымской войны, ужасом от нового опыта столкновения человека с техникой, который пытались осмыслить в терминах «технологического превосходства держав» и противопоставить которому удавалось только слово — гуманистическую прозу Льва Толстого. Илья Калинин доказывал, что травматичный опыт войны был впервые выражен в этот период: «Под Севастополем новый тип войны встретился с современным способом ее репрезентации… им стала фотография… [и] визуализирующая внутренний опыт поэтика Льва Толстого» [Калинин 2012: 35]. В то время как инструкции военного командования запрещали «фотографировать мертвых, увечья и болезни» [Там же], Толстой публично заявил, что война бездушно производит искалеченные тела. «Фотографичность» письма позволяла Толстому претендовать на позитивистскую объективность свидетельства, предлагая читателю «*увидеть войну не в правильном, красивом и блестящем строе* (здесь и далее курсив мой. — *Н.П.*), с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидеть войну *в настоящем ее выражении — в крови,*

в страданиях, в смерти»[1]. В каждой фразе «Севастопольских рассказов» Толстого было понятно, что находится в кадре и какой слышен звук, в этом была новая фотографическая, почти кинематографическая точность его прозы:

> В той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными *угрюмыми* физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, *бессмысленные*, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты *отвратительным,* но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с *ужасным, раздирающим криком и проклятиями* раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, *корчится и стонет* не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища... отбитые висевшие члены... разбитые, раздробленные кости... прободение ран... хрипы... ужасные стоны, смерть[2].

Толстой публично заявил, что на войне людьми движет не стремление к подвигу и самопожертвованию, а *страх* в разных его проявлениях. Сделав публичным шокирующий опыт увечий, причиненных войной, и опираясь на публичный успех военно-полевой хирургии, Толстой не только разорвал романтический канон, но и остранил конвенциональную рациональность войны, дав импульс антивоенным дискурсам Нового времени.

Это невозможно опровергнуть. Но невозможно опровергнуть и то, что каждая следующая война Нового времени была технологичнее и разрушительнее прежней и производила подобный шок начиная с эпохи Возрождения, времени, когда артиллерия, а не поединок стали определять исход сражений [Starn 1984: 52—53] (о том, что технологический шок — общее место современного опыта войны см.: [Huppauf 1993: 41]). В этой перспективе невозможно отрицать и шокирующие масштабы Наполеоновских войн, которые прорываются в риторике «бойни» при Бородино, Кульме, Лейпциге или Ватерлоу.

В данной статье я буду доказывать, что *принципиальным* для развертывания антивоенного дискурса Крымской войны был не новый опыт видения, произведенный фотографией (отрицать влияние которой, конечно, бессмысленно; визуализация работала на усиление артикуляций), а лишь публичный характер начатого Толстым обсуждения. Травматичный опыт войны складывается в дофотографическую эпоху и связан с разрушительным характером масштабных европейских войн, которые вела революционная Франция во главе с Наполеоном. На этом настаивал сам Толстой, в романе «Война и мир» он представил публике образ героя 1812 года как субъекта страшной войны, приносящей неизменный опыт страданий:

> На том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, *сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном*. К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и

---

1 *Толстой Л.Н.* Севастополь в декабре месяце [1855] // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 4. М.: Художественная литература, 1935. С. 9.

2 Там же. С. 8—9.

> *страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове*... Князь Андрей не помнил ничего дальше: *он потерял сознание от страшной боли*[3].

Этот образ разрывал каноны официальной памяти о войне 1812 года с ее риторикой триумфа, блеска мундиров и наград, прославляющих триумф русского оружия над наполеоновской Францией. Эта борьба *публично* рационализировалась в терминах любви к Отечеству, любви народа к своим военачальникам, государю, земле [Зорин 2001: 241—255], а вовсе не боли и бессознательного безумия. То, с какой легкостью Толстой разорвал старый канон, обычно объясняли его мастерством и новым опытом видения, поддержанным новыми технологиями (начавшаяся вскоре гражданская война в Америке также опиралась на эти новые формы визуализации разрушительного опыта, см.: [Trachtenberg 1985]). Илья Калинин утверждал, что это был разрыв, немыслимый ранее, поскольку «культурно-политическая рецепция Наполеоновских войн обладала мощным идеологическим зарядом [как] историческое столкновение нового постреволюционного режима и Старого порядка... обладала она и мощным романтическим ореолом прошлой большой войны, окружавшим фигуру Наполеона» и победу над ним [Калинин 2012: 38—39]. Этот парадокс уже был не раз отмечен современными исследователями: война с Наполеоном была изнурительной и опустошающей [Лышковская 2010],

> со значительными потерями в русской армии, в том числе небоевыми (связанными с истощением людей вследствие передвижений на огромные расстояния по плохим дорогам при плохом климате, недостатком продовольствия, воды и теплого обмундирования, распространением болезней и эпидемий). Но в официальной *публичной* памяти война предстает «легкой» (чуть ли не водевильной), красивой и эффектно выигранной [Чистякова 2013: 32].

Моя гипотеза в данном случае состоит в том, что на уровне семейной памяти дискурс начал меняться задолго до того, как публичные высказывания Толстого оказались возможными. Причина его успеха не только в том, что в России появляется наконец публичная сфера, существует публика, способная противостоять официальной идеологии и патриотическому милитаристскому дискурсу, но и в том, что к тому времени опыт *личной и семейной* памяти о войне убеждал в осмысленности и правоте того, о чем решился публично заговорить Толстой. Семейная переписка фиксирует для двух эпох — после Крымской войны и после Наполеоновских войн — схожую способность субъекта остранить патриотизм как наваждение, связанное с травматичным опытом прошлого: «Я просился в Крым... больше из патриотизма, который в *то время*, признаюсь, *сильно нашел* на меня»[4], «солдаты *по приказанию начальства* кричали ура!.. я задумался, и с странным каким-то чувством внимал радостным *без причины* восклицаниям людей, *бредущим* в незнакомые страны *по неизвестным для них причинам*»[5]. Обсуждая с отцом возможность новой

---

3 *Толстой Л.Н.* Война и мир. Т. 1 // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 9. М.: Художественная литература, 1937. С. 355—356.

4 *Толстой Л.Н.* Письмо С.Н. Толстому, 3 июля 1855 // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 59. М.: Художественная литература, 1935. С. 320.

5 *Муравьев-Апостол С.И.* Письмо отцу, И.М. Муравьеву-Апостолу, Кременчуг, 21 апреля 1821 года // http://decabristy-online.ru/doc/dok3-pravilnaya-perepiska/s-i-muravev-apostol-pisma-k-otcu-18211823-g/1821-god/ (дата обращения: 26.05.2024).

европейской войны и похода против новой европейской революции после конгресса в Троппау, Муравьев-Апостол видит его через синекдоху тела: «*...наши руки* не так уж необходимы» (фр. «*nos bras* ne sont plus si nécessaires» [Там же]). Жизнь с болью была частью обыденного существования большого числа переживших войну людей, их присутствие было ощутимым и меняло социальные дискурсы задолго до артикуляций Толстого. Анализу данных дискурсов и посвящена моя статья.

Для проверки этой гипотезы меня прежде всего будут интересовать нормативные порядки (термин Уильяма Редди) переживания/жизни с болью, характерные для эпохи после Наполеоновских войн. Я анализирую дискурс о травматичном телесном опыте, связанном с войной, ориентируясь на подход, предложенный Робом Боддисом для исследования эмотивных практик переживания боли. Боддис проблематизировал вариативность нормативных правил выражения опыта боли своей и другого через установленный в культуре репертуар эмоций, различающийся у разных групп и классов [Boddice 2014]. Предложенное Боддисом понятие аффективных сообществ, объединенных «моральной экономией» эмоции, может быть инструментализировано в связи с темой данного исследования. Боддис вслед за Уильямом Редди [Reddy 2000: 150] анализировал социальное переживание боли как акт перевода и согласования ощущений с тем, для чего есть арсенал выразительных средств в культуре. Арсенал этот никогда полностью не соответствует болевым ощущениям. Такое рассогласование Редди предлагал определить в фукоистской перспективе как «эмоциональный режим». Боль объективирует свою репрезентативную и мотивационную силу и связанные с ней аффективные, когнитивные и поведенческие компоненты раскрываются через контингентные контексты страха, беспокойства, депрессии и т.д. В рамках данного подхода Боддис и Редди предложили переопределить боль как ранение человека, а не тела, акцентируя аффективный компонент, отталкивающее чувство травмы или надвигающейся травмы как более важное по сравнению с физиологическими ее симптомами, и проблематизируя связанность травмы физической, психической, социальной и поражения личности [Morris 1991]. Опираясь на этот подход, я предлагаю рассмотреть арсенал выразительных средств появившихся в культуре в связи с революционными и Наполеоновскими войнами. Однако меня интересуют не только приемлемые в рамках культуры способы выражения эмоций в связи с болью. Необходимое напряжение исследовательского поля возникает благодаря вниманию к тому, что способно производить шок и безмолвие; осознание неприемлемости и несправедливости самой ситуации столкновения с этой шокирующей реальностью способно в то же время вызвать дискурсивный антагонизм [Laclau 2014]. Речь идет о столкновении с травмированным телом (не только физически травмированным), то есть о получении такого травматичного опыта, для которого не существовало приемлемой реакции. Состояние дискурсивного поля, где число столкновений с травматичным из эпизодического перерастает в критическое, важно. Поэтому я также строю свою работу, предлагая посмотреть на проблему с точки зрения ее материальности и в рамках body history. Вслед за Роем Портером я анализирую дискурс медицины [Porter 1985]. Меня интересуют новые практики работы с травмированным телом и их *материальные* аспекты, появившиеся в период между двумя европейскими войнами — войной с Наполеоном и Крымской войной. Теоретическая оптика Мишеля Фуко настроена на анализ медицинского зна-

ния, того, как проблематизируются в рамках дискурса норма и боль, как пациент конструируется медицинским знанием, существует как проект и как дисциплинарная практика, подразумевающая не только выполнение предписаний, но и самодисциплину. Рой Портер проблематизировал также экономические аспекты, связанные с развитием культуры обслуживания травмы, рынок и политэкономию боли. Роджер Кутер развернул этот интерес в плане социальной истории медицины, исследовав историю развития ортопедии и клинических практик, связанных с военными травмами, однако основное внимание он уделил лишь концу XIX века [Cooter 1993]. Российская практика интересующего меня периода исследована в рамках истории клинической хирургии и институциональной истории военной медицины [Глянцев 2013; Максимов 2012]. Благодаря диалогу с этими подходами возникает возможность того общего поля, которое меня интересует.

Важным посредником тут могла быть не только семейная память. В русистике давно отмечено сходство прозы Толстого и Альфреда де Виньи [Goodrich 1975: 35; Lednicki 1942: 112—113], поздний Толстой сам признавал это влияние[6] и использовал строки из романов де Виньи в качестве эпиграфов, в частности из «Неволи и величия солдата», протестуя в статье «Одумайтесь!» против начавшейся войны с Японией словами де Виньи об ужасе от войны, «возмущении совести всякого человека, который видел, как текла кровь его сограждан, или был причиной этого»[7]. Альфред де Виньи принадлежал к одному поколению с братьями Муравьевыми-Апостолами (до начала Наполеоновских войн они, потомки русских и французских аристократов, вместе учились в пансионе в Париже); в отличие от них, де Виньи не участвовал в сражениях, однако два десятилетия спустя именно он стал голосом памяти об этой войне. За два десятилетия до Толстого и публичного признания военно-полевой хирургии и фотографии де Виньи покажет сражение «крупным планом»: ранения, вид развороченных ядром внутренностей (фр. «un boulet lui arracha les entrailles»[8]), которые собирают в мешок, смерть, страх в глазах того, кто убивает, и жертвы от ощущения происходящего, боль, которая помрачает разум, и внезапное просветление разума перед смертью, — он еще отмечает «торжественное величие смерти», но разрушает представление о героизме поединка с противником, который может оказаться юным, испуганным, жалким, «странным врагом». Оборот, который он использует («arracha les entrailles»), встречался в дискурсе крайне редко (цифровая библиотека «Gallica» предлагает не более тридцати упоминаний с 1615 по 1825 год); с такой натуралистичностью связывали ужас варварской дикости, сказочных чудовищ, или истязания святых мучеников в языческие времена, — о современной войне так говорить было не принято. В прозе де Виньи это производит шокирующий эффект через тривиализацию дискурса далекой ужасной дикости, людоедской сущности войны, вырванном нутре, как если бы тушу разделывал мясник с улицы Сен Мартен,

6 *Толстой Л.Н.* Письмо Октаву Мирбо, 1903, 30 сентября (13 октября) // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 74. М.: Художественная литература, 1954. С. 194.

7 *Толстой Л.Н.* Одумайтесь! // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 36. М.: Художественная литература, 1936. С. 118. Роман Альфреда де Виньи «Неволя и величие солдата» впервые был опубликован в Париже в 1835 году и воспринят как голос поколения, пережившего революционные войны. В канун Крымской войны эта книга вновь стала актуальна и была много раз переиздана.

8 *de Vigny A.* Servitude et grandeur militaire. Paris: F. Bonnaire, V. Magen, 1835. P. 301.

дегероизируя производимое солдатами *обеих* сторон, в том числе *своими*. Де Виньи и Толстого объединяет не только общая стратегия смерти «крупным планом», но и осознанная необходимость публично начать это обсуждать, «говорить о том, что требует изменений, привлечь всеобщее внимание, законодателей (фр. «l'attention générale… le législateur»[9]), и, исходя из суверенитета народа, предоставить нации решать, зачем ей войны и готов ли каждый взяться за оружие и участвовать в этом. О зверствах в связи с войной было принято говорить, но требовалось усилие, чтобы обратить этот дискурс на себя. Ф.Н. Глинка писал своему другу:

> В самых диких лесах Америки, в области каннибалов, едва ли можно видеть такие ужасы, какие представляются здесь ежедневно глазам нашим. <…> У мертвых лица ужасно обезображены. Злость, отчаяние, бешенство и прочие дикие страсти глубоко запечатлелись на них. Видно, что сии люди погибали в минуты исступления, со скрежетом зубов и пеною на устах. На сих лицах не успело водвориться и спокойствие смерти… Перед рассветом страшный вой и стоны разбудили меня. Под нами и над нами множество голосов, на всех почти европейских языках, вопили, жаловались или изрыгали проклятие на Наполеона! Тут были раненые, полузамерзшие и сумасшедшие. Иной кричал: «Помогите! Помогите! Кровь льется из моих ран! Меня стеснили!.. У меня оторвали руку»[10].

Альфред де Виньи заложит начало повествовательной стратегии о войне, использованной и развитой Львом Толстым: она построена на постоянном напряжении между эксцессом (травмой) и обыденностью (тривиальным опытом, который дополняется новой *рутинностью* травмы). В одной из сцен он описывал историю раненого капитана:

> Раненому отняли ногу, но у него начался жар, не предвещавший ничего хорошего… Раненого отнесли в дом к некой вдове, которая держала мелочную лавку на одной из глухих улиц предместья и жила там одна с малолетними детьми. Она ни на минуту не побоялась, что может навлечь на себя дурные толки соседей… Военные врачи, которых пригласили на дом, сочли невозможным перевозить капитана после операции куда бы то ни было; вдова оставила его у себя и нередко просиживала целую ночь у его постели… Она была очень бледна, а в воспаленных глазах сквозила усталость[11].

Эпизод этот был связан с констатацией, что война производила число жертв, которое политика и официально заявленная властями медицинская служба категорически не способны были поглотить. Толстой эхом отзовется в романе на эту практику: «Князь Андрей, в числе других *безнадежных* раненых, был *сдан на попечение жителей*»[12]. Множество подобных эпизодов наполняют семейную переписку и память. Много лет спустя, пройдя через каторгу и ссылку, декабрист С.П. Трубецкой писал дочери Зинаиде и ее мужу Николаю Свербееву, отправившимся в путешествие за границу:

---

9 Ibid. P. 8.

10 *Глинка Ф.Н.* Письма русского офицера. М.: Терра, 2009. С. 333.

11 *де Виньи А.* Неволя и величие солдата / Пер. с фр. А.А. Энгельке. Л.: Наука, 1968. С. 127—128.

12 *Толстой Л.Н.* Война и мир. Т. 1. С. 360.

> Если б я знал, что вы будете в Лейпциге, я бы просил вас наведаться о семействе моей хозяйки, которая меня *долго ходила, когда я лежал там раненый*. Сама mme Schumann и зять ее Leopoldt, вероятно, уже на том свете, но у той и у другого были дочери и по общим законам природы должны еще жить[13].

В романе де Виньи раненый капитан пишет завещание на хозяйку и ее наследников, четверых старых солдат-гренадеров, которые вынесли его с поля боя, тех, кто пытался в общем хаосе войны спасти его жизнь. Сословные, национальные границы, границы обыденных приличий, родства, условностей — все рушится в этом хаосе, их место занимают новые, как показывает пример Трубецкого, прочные солидарности и чувство равной причастности друг другу.

Об этих ранах обычно знали в семье:

> Друг мой, ты все беспокоишься о моем здоровье, поверь мне, друг милый, что я совершенно здоров; ты знаешь, что я никогда не лгал, и стал ли бы я тебя обманывать? Я тебе обещал не скрывать от тебя, если бы я занемог. А мое нездоровье так было незначаще, что я и не думал, что об нем будут доносить Я больше брал предосторожности, чтобы не занемочь; *крови же у меня нисколько не вышло*[14].

О ранах с тривиальной регулярностью писали близким, и о ранах информировали бюрократов, от которых зависело изменение режима для подающего прошение — назначение отпуска, отставки, пенсиона, отмена взыскания, изменение режима содержания: «…велено принимать прозьбы тех только, кои за ранами, или по болезни продолжать службы не могут… прозьб же по домашним обстоятельствам подавать нельзя»[15]. Бюрократические документы скупо фиксируют незаживающие годами раны как часть повседневной обыденной реальности: прошения и рапорты подавали десятилетия спустя после окончания войны. Вот как в 1826 году, во время следствия, о ранах говорили декабристы: «…я получил отпуск ехать к водам; рана, которую я получил при Кульме пред сим открылась… в сентябре 1822 года я подал в отставку за раною, которую я получил 17 августа 1813 года под Кульм. Штаб-лекарь Полтавского пехотного полка меня освидетельствовал, рана моя была открыта»[16]; «…здоровье расстроено одиннадцатью ранами, в сражениях полученными… беспрестанно лечился за ранами»[17]; «…имею правую руку совершенно раздробленною и несколько на оной открытых ран»[18]; «…10 ноября 1824 года

---

13 *Трубецкой С.П.* Письмо дочери Зинаиде и ее мужу Н.Д. Свербеевым, Киев, 18/30.3.1858 // Трубецкой С.П. Материалы о жизни и революционной деятельности: В 2 т. Т. 2. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1987. С. 336.

14 *Трубецкой С.П.* Письмо жене Е.И. Трубецкой, Благодатский рудник, 30 января 1827 // Там же. С. 83—84.

15 *Муравьев-Апостол С.И.* Письмо отцу, И.М. Муравьеву-Апостолу, Васильков, 25 ноября 1821 года // http://decabristy-online.ru/doc/dok3-pravilnaya-perepiska/s-i-muravev-apostol-pisma-k-otcu-18211823-g/1821-god/ (дата обращения: 26.05.2024).

16 *Муравьев-Апостол М.И.* Показания, 22 января 1826 года // Восстание декабристов. Т. IX. М.: Госполитиздат, 1950. С. 193, 199, 217.

17 *Батенков Г.С.* Показания, 22 марта 1826 года // Восстание декабристов. Т. XIV. М.: Наука, 1976. С. 93.

18 *Булатов А.М.* Письмо на имя вел. кн. Михаила Павловича, 25 декабря 1825 года // Восстание декабристов. Т. XVIII. М.: Наука, 1984. С. 309.

уволен в отпуск до излечения раны, полученной в сражении пулею в голову»[19]; «...в 1823 году 24 июня в сражении я ранен пулей в голову навылет, с открытой раной прослужив полгода... довел себя до совершенного изнурения... два раза мне делали жесточайшие операции, вынули из раны раздробленные кости и куски свинца, и я пять месяцев был в муках неизъяснимых»[20]; «...изувечен ранами»[21] (о полковнике Георгии Канчиялове). Раны отмечены в формулярных списках каждого десятого из подследственных в это время, при этом характер ранений — раздробление кости (М.А. Фонвизин), контузии в грудь или голову (А.Ф. Бриген, Ф.Г. Кальм, И.С. Повало-Швейковский), штыковые раны — указывал на неизлечимый характер, а сами отметки в формуляре были связаны с поданным прошением об отпуске для лечения за границу (С.Г. Волконский, В.Л. Давыдов) или об отставке в связи с невозможностью продолжать службу. О нищенском существовании «по причине открывшихся ран» и расходах на лекарства и докторов жаловался Иосиф Горский, получивший за время войны семь огнестрельных ран[22]. Каждый третий из арестованных имел знаки отличия, обычно указывавшие на ранение. Почти пятнадцать лет спустя после окончания войны о каторжанине Трубецком напишет тюремное начальство: «...бывает одержим кровохарканьем от прежде полученной раны»[23].

Толстой фиксировал внимание публики на страданиях от медицинской помощи, умножающих боль, а не избавляющих от нее:

> Он потерял сознание от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и санирование раны на перевязочном пункте. <...> К утру все мечтания смешались и слились в хаос и мрак беспамятства и забвения, которые гораздо вероятнее, по мнению самого *Ларрея*, доктора Наполеонова, должны были разрешиться смертью, чем выздоровлением[24].

В данном случае ему важно было и опровергнуть стереотипное мнение об «образцовой медицинской службе Наполеона», которой неумело подражали русские: его героя пользует легендарный создатель наполеоновской полевой медицинской службы, но и эта практика умножает страдания героя.

После окончания войны отличия национальных школ хирургии стали предметом публичного обсуждения. В Британии при ампутациях начали иссекать не только пораженные ткани, но и нерв, чтобы купировать по возможности послеоперационные фантомные боли. Кроме того, при операции призывали учитывать возможность дальнейшего протезирования в коленном или локтевом суставе. Характерно, что авторы русских пособий по хирургии, основанных на экспериментальном оперировании «простолюдинов», не упоминали о возможности протезирования, они были сфокусированы на необходи-

---

19 Формулярный список А.И. Якубовича // Восстание декабристов. Т. II. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 279.

20 *Якубович А.И.* Ответы на вопросные пункты 25 декабря 1825 года // Там же. С. 285.

21 *Лорер Н.И.* Ответы на вопросные пункты, январь 1826 года // Восстание декабристов. Т. XII. М.: Наука, 1969. С. 48.

22 *Горский О.В.* Письмо на имя А.Я. Сукина, 22 декабря 1825 года // Восстание декабристов. Т. XV. М.: Наука, 1979. С. 87.

23 *Трубецкой С.П.* Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 2. С. 471.

24 *Толстой Л.Н.* Война и мир. Т. 1. С. 360.

мости оставить при ампутации культю максимально возможного размера, чтобы сохранить «трудоспособность несчастного». Десятилетия после окончания войны британская и французская хирургия была занята вопросами перелечивания ран, для русской же работу давали только новые несчастные случаи. Жизнь с болью или физической тяжестью от измененного войной состояния тела рассматривалась как проблема классовая: поехать в Англию перелечивать рану стоило для многих целого состояния и зависело от возможностей или поддержки аристократических семей. Сын генерала Раевского Александр, чтобы перелечить старую рану, получил отпуск, но мог это сделать в России; М.С. Воронцов выписал из Британии хирурга, Уильяма Хатчинсона, который перелечивал «весь свет»: «Александру гораздо лучше, что до его ноги; его врач сделал рассечение больного места, чтобы перерезать нерв, который причинял ему боль, и после этой операции ему гораздо лучше», — сообщал в 1823 году Сергей Муравьев-Апостол отцу[25]. Воронцов видел в этом дело не частное, а гражданское, год спустя, в мае 1824 года он включил этот случай в рапорт на имя Александра I:

> В числе военных чиновников, в Одессе находящихся, проживает здесь полковник 6-го Егерского полка Раевский… Он, будучи долго весьма болен, уволен за границу до излечения еще в 1822 году, но, познакомившись в Белой Церкви с доктором, приехавшим со мною из Англии, начал у него лечиться и, следуя советам, нашел отъезд в чужие края ненужным, ибо в продолжении немного больше года приведен из *отчаянного* почти состояния в положение, по сравнению с прежним здоровое (цит. по: [Аринштейн 1975: 69]).

Риторика сострадания «бедственному», «отчаянному» положению, «pauvre malade Alexandre», страданий («souffrant»), которые можно прекратить при правильном лечении[26], в этих примерах показывает социальность боли. О страданиях узнавали по исключению из светской жизни и по семейным каналам, как раньше просили молитв: «…о бедном Александре, которому стало хуже, чем когда-либо, и который *не смог принять участие* в увеселениях»[27].

Врачебная помощь, перелечивание, повторная операция и, конечно же, протезирование осознавались в свете как инструменты классовые. Лев Толстой вставит в роман «Война и мир» сцену дискуссии между сторонником равного доступа к медицине (Пьер Безухов) и сохранения классового принципа (Андрей Болконский), для нас важны аргументы последнего, проверенные опытом войны:

> Больницы, лекарства. У него удар, он умирает, а ты пустил ему кровь, вылечил. *Он калекой будет ходить 10-ть лет, всем в тягость*. Гораздо покойнее и проще ему умереть. Другие родятся, и так их много. Ежели бы ты жалел, что у тебя лишний работник пропал — как я смотрю на него, а то ты из любви же к нему его хочешь лечить. А ему этого не нужно. Да и потом, что за воображенье, что медицина

25 *Муравьев-Апостол С.И.* Письмо отцу, И.М. Муравьеву-Апостолу, Васильков, 13 января 1823 года // http://decabristy-online.ru/doc/dok3-pravilnaya-perepiska/s-i-muravev-apostol-pisma-k-otcu-18211823-g/1823-god/ (дата обращения: 26.05.2024).

26 Там же.

27 *Муравьев-Апостол С.И.* Письмо отцу, И.М. Муравьеву-Апостолу, Васильков, 10 декабря 1822 года // http://decabristy-online.ru/doc/dok3-pravilnaya-perepiska/s-i-muravev-apostol-pisma-k-otcu-18211823-g/1822-god/ (дата обращения: 26.05.2024).

кого-нибудь и когда-нибудь вылечивала! Убивать так! — сказал он, злобно нахмурившись и отвернувшись от Пьера[28].

Толстому важно зафиксировать рациональность этого аргумента: «Князь Андрей высказывал свои мысли так ясно и отчетливо, что видно было, он не раз думал об этом, и он говорил охотно и быстро, как человек, долго не говоривший. Взгляд его оживлялся тем больше, чем безнадежнее были его суждения»[29].

Солдаты ходят в торговую баню — там с ними случаются кровотечения, и так публика замечает увечья. Кровотечения случаются с солдатами на паперти — их оттаскивают подальше от храма, доставляют в больницу для бедных или полковой госпиталь. «Кому из нас не случалось видеть сих старых воинов во всякие часы дня повергающихся на помост храма... лица, в славных битвах изъязвленные.. старцев больных и убогих», — высокопарно писал «Вестник Европы» после войны[30]. В день первой годовщины Кульмского сражения царь учреждает комитет о раненых, дабы «принимать просьбы и пещись о доставлении возможного вспомоществования» неимущим изувеченным офицерам[31]. Издатель газеты «Русский инвалид» начинает подписку в пользу раненых нижних чинов. В 1830-е годы эта практика всплывет в публичном дискурсе историей капитана Копейкина из гоголевских «Мертвых душ», который безуспешно добивался назначения обещанного пенсиона. Показательна и дискурсивная стратегия нового медицинского журнала. В 1823 году Военное министерство и его медицинский департамент по инициативе директора Виллие (президента Медико-хирургической академии) и вице-директора Гейрота начали издавать русскоязычный (на немецких источниках) ведомственный «Военно-медицинский журнал», толстый, с литографиями, выходивший раз в два месяца. Подписка была обязательной для армейских военных врачей, как возможность их профессионального совершенствования в армии (стоила она 10 рублей серебром, что было дешевле, чем выписывать европейские аналоги). Но журнал был адресован и светскому читателю и читательницам, кому подписка обходилась чуть дороже, — 15 рублей (на эти деньги можно было полмесяца жить в Санкт-Петербурге, по тогдашним ценам на продукты и аренду недорогого жилья). Открывалось издание переводными статьями из британских журналов о передозировке колониальным опием. Недавняя война с Францией упоминалась в этом журнале только в контексте обсуждения «заразы, принесенной русскими войсками из Франции возвратившимися» — глазной болезни. В связи с ранениями в журнале не упоминали про войну, а ампутации и хирургические иссечения тканей обсуждали только в связи с несчастными случаями, самострелами и преимущественно на примере штат-

28 *Толстой Л.Н.* Война и мир. Т. 2 // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 10. М.: Художественная литература, 1938. С. 112.

29 Там же.

30 *Неккер Ж.* Инвалиды у подножия олтарей (Из книги «De l'importance des opinions religieuses», par Necker) / Пер. с фр. Н.Иванч[ин-]Писарев // Вестник Европы. 1814. Ч. 75. № 11. С. 199—200.

31 Александр I. Приказ по армии об учреждении комитета о раненых, 18 августа 1814 года (цит. по: Столетие Военного министерства) / Ред. Д.А. Скалон. Т. XIII. Кн. 1. Александровский Комитет о раненых. Исторический очерк / Сост. Д.И. Бережков, Н.А. Штофф. СПб., 1902. С. 36.

ских. Ампутация была представлена как крайнее средство после нескольких месяцев безуспешного лечения раздробленной конечности, которая начинала гноиться: «…медики предлагали ремесленнику операцию отнятия целой кисты, на что больной никак не соглашался, ибо сим отнималась у него вся возможность доставлять своим ремеслом пропитание жене и детям»[32]. Как уже отмечалось выше, доступ к медицине и хирургическая операция являлись классовым инструментом, что отчетливо сознавали в то время.

Национальные дискурсы медицины в целом, военной хирургии и связанной с ней индустрии протезирования в частности, показывают значимые дисциплинарные отличия. В Британии во второй половине XVIII века в парламенте и печати разворачивалась широкая дискуссия в связи с обсуждением проблемы безопасности частной собственности в городах и имениях, в ходе которой обсуждалась моральная ответственность домохозяев за возможные увечья, причиненные при отражении возможного вторжения грабителей или разбойников. На рынке появились новые изобретения, «капканы на человека», которые предлагались публике как надежная защита собственности. Капканы стоили недешево в сравнении с услугами сторожа. Однако дискурс был перенесен в моральную плоскость. Продавцы и производители приспособления утверждали, что главное его достоинство в том, что оно не испытывает эмоций, действует без колебаний, не подведет, в отличие от слуги или младших домочадцев, души которых машина способна избавить таким образом от греха человекоубийства или членовредительства. Однако именно в моральной плоскости возникал вопрос: действуя без колебаний, техника, безусловно, увеличит число возможных увечий, кто же возьмет на себя попечение о заблудших, но не погубленных страдальцах? Дело ли это церкви и приходской благотворительности, как и прежде, или же самих предпринимателей и собственников, которые должны платить налог на капканы? Внимание в печати привлекали рисунками и гравюрами с изображением искалеченных преступников. Все они опирались на самодельные деревянные протезы и костыли, железный крюк на деревяшке мог заменять руку. Закрепить их на неоперированной культе было непросто, кожаные ремни были не по карману нищим, дерево натирало рану (сохранившиеся в музее хирургические экспонаты дополнены ватными повязками для желательного предохранения культи от натираний, экспонаты доступны на портале «Science Museum Group»[33]). В массовой печати часто протезы упоминались в контексте сообщений «о бандитах, достойных повешения за воровство, притворявшихся хромыми с костылем и протезом»[34]. Лишь эпизодически в британской прессе второй половины XVIII века публикуются объявления об услугах мастера, производящего бандажи и протезы («artificial leg»). Начало войны с революционной Францией заметно демократизирует и гуманизирует этот дискурс: в 1790-е годы производители подчеркивают в объявлениях функциональность и легкость протезов, удобство крепления, возможность при его помощи «выполнять все необходимые функции» тела. К моменту окончания войн с наполеоновской Францией

32 *Шуллер Ф.* Хирургические замечания // Военно-медицинский журнал. 1825. Ч. 5. № 1. С. 78—79.

33 https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/search/object_type/artificial-legs (дата обращения: 26.05.2024).

34 *Fréville A.-F.-J.* Histoire des chiens célèbres. T. 1. Paris: Louis, 1808. P. 104.

в британских газетах разворачивается дискурс о доступных для бедных протезах, изготовленных профессиональными мастерами. Статистика начинает учет раненых, инвалидов, ветеранов, газеты публикуют сообщения, в которых подсчеты опережает только растущая инфляция. Разорение, причиненное войной, и телесные повреждения становятся предметом дебатов в парламенте в 1818 году, что закончится признанием общей беды и разорения народа Англии, где в каждой семье есть свой инвалид, а значит, «утешение и поддержка» — дело семейное. Новый взрыв внимания произойдет только через полтора десятилетия, когда про «crippled veterans», «искалеченных ветеранов, которые не могут напомнить о себе публике», снова вспомнят и начнут публично обсуждать моральную экономию причиненных войной страданий.

И тем не менее британский дискурс был единственным, где ставился вопрос о протезировании солдат за счет нации. Во Франции основной акцент был сделан на новой практике ампутаций: «Главная ошибка хирурга — превратить тело в невозможное для использование протеза»[35]. Наполеон бравировал, обещая ветеранам новые семьи, сатирическая литература обыгрывала мотивы физической привлекательности: «...брат вернулся гораздо лучше; ему вставили стеклянный глаз и протез руки: он все еще мог нравиться. Его присутствие доставило нам радость»[36]. На грани иронии и успокоения публики писали, что для приличия и внешней привлекательности достаточно и «фальшивой ноги» как театрального реквизита, использовавшегося в балаганах, чтобы изображать на подмостках всадников на лошадях[37]. Иронизируя над протезами прежних эпох, скрывавших увечье под рыцарскими доспехами, в наполеоновское время протезы хвалили за их легкость, правильную форму, а хирургов за их искусство: «...еще не было примера, чтобы человек после столь недавней ампутации смог воспользоваться полезным изобретением»[38]. В эпоху Наполеоновских войн французские производители протезов механики фирмы «Уде и Лакруа» подчеркивали, что крепятся протезы ремнями, как портупея, придавая бравый и брутальный, тривиальный для военного человека образ.

В светском обществе еще был востребован старый дискурс барокко с его любованием слабостями и несовершенством тела, а протезами как механическими вещицами, которые могут восполнить физическое несовершенство [Faulkner 2002]. Автоматоны XVIII века, искусственные куклы, приводимые в движение сложным механизмом, по подобию механизма городских часов, демонстрировали способность владеть пером и держать чашку. Первые эксперименты во Франции с протезами-автоматонами начались еще на рубеже XVII—XVIII веков. Королевская Академия наук сообщала о новом изобретении — механической руке, выполненной аббатом Биньоном. В 1760 году шевалье Лоран изобрел новый механический протез, позволявший «солдату, ко-

35 *Larrey D.J.* Dissertation sur les Amputations des Membres. Paris: M.D. École de Médecine de Paris, 1803; *Idem.* Mémoires de chirurgie militaire et campagnes. Vol. 3. Paris: J. Smith, 1812. P. 393. Ср.: *Bell J.* Discourses on the Nature and Cure of Wounds. Edinburgh: Printed for Bell & Bradfute; London: T. Cadell Junr and W. Davies, 1795.

36 *Gacon-Dufour M.-A.-J.* La femme grenadier, nouvelle historique. Paris, 1801.

37 *Simond L.* Voyage d'un Français en Angleterre pendant les années 1810 et 1811: avec des observations sur l'état politique et moral, les arts et la littérature. Vol. 2. Paris: Chez Treuttel et Würtz, 1816.

38 *Briot P.-F.* Histoire de l'état et des progrès de la chirurgie militaire en France pendant les guerres de la Révolution. Besançon: Gauthier, 1817. P. 186—187.

торому оторвало обе руки и у которого от ампутированной стороны осталось всего пять дюймов культи, пить и есть, нюхать табак и писать». «La Gazette» разнесла эту новость по всей Европе[39]. Придворные развлечения старого порядка активно эксплуатировались в бонапартистском дискурсе. Наполеон снисходительно осматривал при дворе принца Нешателя автоматон-шахматиста, представленный изобретателем Кемпеле с точки зрения возможного усовершенствования описанного в 1760 году протеза. После окончания войны публицисты много раз возвращались к этому анекдоту и подчеркивали, что хирурги и тогда с иронией смотрели на эту «забавную игрушку ремесленника»[40]. Медицина предъявляла к протезированию уже совсем иные требования.

В письмах, отправленных домой офицерами российской армии, в русских текстах упоминаются обычные деревянные костыли, трости, деревянные протезы, которые в Британии были уделом простолюдинов. Раненых на поле боя официальная статистика исчисляла тысячами, в частных письмах среди них выделяли знакомых или известных военачальников, о тяжелых ранениях которых передавали новости («Маршалу Даву оторвало ногу… У Моро отняли обе ноги, у Остермана — одну руку… Граф Сен-При серьезно ранен» [1812—1814. Дневники… 1992]), очень скоро смерть от полученных ран лавиной накроет общество[41], но пока этого не произошло, сразу же после «битвы народов» в Лейпциге императрица Елизавета Алексеевна устроила публичный прием для раненых и увечных. Двор и аристократия предпринимали демонстративные усилия, чтобы добыть молодым героям протезы лучших европейских мастеров. Великая княгиня Мария Павловна (герцогиня Саксен-Веймарнская) выполняла просьбу супруги князя Николая Григорьевича Репнина-Волконского, который в это время правил Саксонией с титулом вице-короля, из Веймара она отправила для Евграфа Давыдова (знакомого по общему кругу) «le jambes postiches», искусственную ногу немецкого мастера-механика, надеясь, что «она облегчит (soulagé) его». «Мне кажется, этому механику следовало бы иметь целую мастерскую искусственных рук и ног, и я уверена, что это было бы заслугою в нынешнее время, когда столько безруких и безногих», — добавляла она[42]. Николаю Кривцову под Кульмом ядром оторвало ногу, позже в Лондоне вместо русских деревянных костылей ему сделали пробковый протез, с которым, как уверяли, он мог танцевать[43]. Как бы то ни было, подобные протезы стоили целое состояние и даже в столичном свете были доступны далеко не всем. На балах новые тела воинов сравнивали с античными статуями героев, лишенных рук или ног, но не утративших привлекательности. Однако этот

---

39 La Gazette. 1760. 20 décembre. P. 615.

40 Mémoires pour servir à la vie d'un homme célébre / Par M. M***. Paris: Plancher, 1819. P. 10—11.

41 «Подсчитано, что в 6 битвах первого периода войны (отступление), включая Бородинское сражение, русская армия теряла до 27 % бойцов в каждом сражении. При этом каждый третий был убит, а двое из трех ранены. *Эффективных антисептических приемов при лечении раненых тогда еще не существовало, а основным способом не допустить развития гангрены являлась ампутация*» [Глянцев 2013: 97].

42 *Мария Павловна, вел. кн.* Письмо кн. В.А. Репниной, Веймар, 21 апреля / 3 мая 1814 // Русский архив. М.: Тип. Лазаревского института восточных языков, 1877. Кн. 1. С. 301—302.

43 *Гершензон М.О.* Декабрист Кривцов и его братья. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1914. С. 10.

классический дискурс, воспроизводящий внешний взгляд, наталкивался на другой, также классический опыт внутренней субъективации боли. Опыт войны актуализировал среди поколения участников дискурс об античной культуре самоубийства. П.И. Пестель, тяжело раненый при Бородино, показывал:

> Во время войны, видя часто *жестокая раны и страдания* тех, которые *неминуемо* должны были умереть, особенно неприятелей лежащих на местах сражения, возымел я желание иметь при себе яд дабы посредством оного, ежели смертельным образом ранен буду, избавиться от *жестоких последних мучений*. Сия мысль особенно во мне усилилась во время Лейпцигского сражения; и потому по взятии города нашел я сей яд в одной аптеке и дал за него червонец. Я его все время хранил секретно[44].

Характерна его неготовность публично гуманизировать страдания или обсуждать мучения своих (традиционная ссылка на «позорище неприятелей»).

Внимание света было сфокусировано на особенностях тела как знаках войны. Они тривиализировались, оказываясь частью светского дискурса в пушкинское время. Увечьями бравируют. Пушкин записывает в дневнике в декабре 1833 года анекдот про генерала Скобелева: «...безрукий сказал кн. В-ой: я отдал бы последние три пальца для такого торжества!»[45]. Увечьями оправдывают («будто потерянный глаз и оторванная рука дают полное право и криво судить и не уметь писать по-русски?»[46]). В пушкинское время увечье как знак воинского подвига в свете противопоставляется дендизму как культурному жесту, позволяющему игнорировать дискурс войны: «...муж в сраженьях изувечен, нас за то ласкает двор»[47]; в николаевское время оно воспринимается как знак боевого опыта, но в связи с ним оспаривается отождествление умения командовать и руководить: «Государь видел в нем только изувеченного воина и назначил ему важнейший пост в государстве, как спокойное местечко в доме инвалидов»[48].

Важным культурным жестом в ответ на дендизм становится в 1830-е годы проповедь в миру. Подражание этому мы увидим в знаменитых письмах П.Я. Чаадаева; сослуживец Муравьевых-Апостолов по Семеновскому полку, он выходит в отставку, как многие, после Семеновской истории и линчевания героев войны, заявив, что служить ему дорого. Матвей Муравьев-Апостол тогда же выходит в отставку и ссылается на открывшуюся рану, его брат Сергей сожалеет, что из-за дисциплинарного взыскания (он находился в полку во время выступления) не может последовать за ним. Жалобы на армейскую скуку, светскую пустоту наполняют письма этого времени. Дендизм как культурная практика объединяет многих из этого поколения в 1820-е годы. Ксавье Равиньян, Альфред д'Орсе, Альфонс Гратри и другие соученики братьев Муравьевых-

---

44 *Пестель П.И.* Показания // Восстание декабристов. Т. IV. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 173.

45 *Пушкин А.С.* Дневники // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 8. Л.: Наука, 1978. С. 26.

46 *Пушкин А.С.* Мои замечания об русском театре // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 7. Л.: Наука, 1978. С. 7.

47 *Пушкин А.С.* Евгений Онегин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 5. Л.: Наука, 1978. С. 161.

48 *Пушкин А.С.* Дневники // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 10.

Апостолов по парижскому пансиону не исключение. Но в конце 1820-х годов они неожиданно принимают сан и начинают публичную проповедь. В христианской публичной речи, отличной от проповеди и приближавшейся к политическому выступлению в период между двумя французскими революциями, 1830 и 1848 годов, дискурс о ранениях вначале присваивается католицизмом, а позже возвращается в политику, дополненный новыми библейскими коннотациями. Однокашник братьев Муравьевых-Апостолов по парижскому пансиону Альфонс Гратри использует слово *blessé*, как и Равиньян, говоря о страданиях Христа, цитируя книгу пророка Исайи: «Он изъязвлен (blessé) был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и *ранами* Его мы исцелились» (Исайя 53:5). Через дискурс о ранах Гратри объяснял любовь к ближнему, напоминая Евангельскую притчу о добром самарянине, о милосердии путника на дороге, он проповедовал, что ближний — это тот, кого «мы встречаем на дороге побежденным или раненым (blessé)», ему мы призваны по-христиански служить и любить, как самого себя[49]. Он пытался противопоставить известной революционной триаде новую — интерпретируя гражданскую доблесть служения отечеству через служение семье и ближнему: «…помогать и любить семью, отечество, человека, кем бы он ни был, оказавшегося *раненым* рядом с нами»[50]. «Ранить» в его проповеди — метафора, призванная объединить тех, кто живет рядом с искалеченными войной, — каждый может почувствовать себя раненым, непринятым обществом, ощутить свое внутреннее увечье и уродство, намного превосходящее шокирующий вид произведенных войной тел («что ранит, так это презрение и ирония», ранят душу страсти и пороки[51]). И если ранение способно изуродовать всего лишь тело, помыслы уродуют разум («la raison mutilé»), грехи уродуют образ Божий в человеке: «…в этом веке большинство людей терпят поражение в борьбе или выходят из него больными, изуродованными, навсегда ослабленными в своей нравственной жизни»[52]. Он говорил об «искалеченной справедливости» («la justice mutilée»), искалеченной Европе («c'est mutiler l'Europe»[53]). Как и Гратри, Равиньян писал, что «*каждый* человек *искалечен* и глубоко *ранен* грехом… образ Божий искалеченный (поврежден) в нас»[54]. Он сравнивал несение креста увечной человеческой сущности с ратным подвигом, и также в своей проповеди затрагивал тему беззакония, но уже не в моральном, а юридическом смысле, говоря о греховности беззаконного приговора, которая ранит души тех, кто считает себя христианином и стремится к общему благу, подготовив тем самым возможность дискурса о беззаконии войны. Альфонс Гратри проповедовал, что мученичество солдат «более жестокое, чем у святых»:

> …разве в священстве или религиозной жизни больше горя и скорби, чем в любом другом жизненном пути, например в жизни солдата?.. Двадцатилетний юноша

49 *Gratry A.* La Morale et la Loi d'Histoire. Vol. 2. Paris: Charles Douniol et J. Lecoffre, 1868. P. 61.

50 *Gratry A.* Les Sources. Paris: Charles Douniol et Librairie, 1862. P. 114.

51 *Gratry A.* Une étude sur la sophistique contemporaine. Paris: Charles Douniol, 1851. P. 165.

52 *Gratry A.* Crise de la foi : trois conférences philosophiques de Saint-Etienne du Mont Paris: Charles Douniol, 1863. P. 3.

53 Ibid. P. 210, 227.

54 *Ravignan X., de.* Conférences du Révérend Père de Ravignan de la compagnie de Jésus. Vol. 4. Paris: Poussielgue-Rusand, 1860. P. 159—160.

> покидает Сен-Сир, полный безграничной энергии и безудержного мужества. Через месяц он в своем первом бою, горя энтузиазмом. Он ранен, лежит на земле тридцать часов; затем, поскольку ампутация проведена слишком поздно, спустя два дня он умирает в карете скорой помощи, я знал его[55].

Дискурс его проповеди своим натурализмом превосходил дискурс де Виньи и напоминал дискурс Толстого и перекликался с антивоенным дискурсом Анри Дюнана, писавшего:

> Несчастные раненые, которых подбирают в течение дня, бледны, синеют, изнемогают; некоторые, особенно глубоко *изуродованные*, имеют ошеломленный вид и как будто не понимают, что им говорят: они упираются в тебя дикими глазами; но эта кажущаяся прострация не мешает им чувствовать свое страдание, другие же беспокойны и их бьет судорожной дрожью; те, у кого зияют раны, где уже начало развиваться воспаление, словно обезумели от боли, требуют, чтобы их прикончили, и корчатся, сморщив лица, в последних объятиях агонии... вот он лежит в грязи, в пыли и залит своей кровью[56].

И вместе они взывали не только к объективному видению, но и к очищающему состраданию. Опыт рутинного сосуществования рядом с теми, кто выжил в революционных войнах и жил с постоянной болью, производит новый язык политики. Он объединит это поколение через национальные и политические границы и произведет новый опыт раньше, чем для его обсуждения в России появится публичное пространство и Толстой начнет свою антивоенную речь.

Библиография / References

[1812—1814. Дневники... 1992] — 1812—1814. Дневники офицеров русской армии. Из собрания Государственного исторического музея / Сост. Ф. А. Петров и др. М.: Терра, 1992.

(1812—1814. Dnevniki ofitserov russkoy armii. Iz sobraniya Gosudarstvennogo istoricheskogo museya. Moscow, 1992.)

[Аринштейн 1975] — *Аринштейн Л.М.* Одесский собеседник Пушкина // Временник Пушкинской комиссии / Под ред. М.П. Алексеева. Вып. 13. 1975. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. С. 58—70.

(*Arinshtein L.M.* Odesskiy sobesednik Pushkina // Vremennik Pushkinskoy komissii / Ed. by M.P. Alekseev. Iss. 13. 1975. Leningrad, 1979. P. 58—70.)

[Глянцев 2013] — *Глянцев С.П.* Лечение боевых ран русскими хирургами в 1812 году // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2013. № 6. С. 96—100.

(*Glyantsev S.P.* Lechenie boevykh ran russkimi khirurgami v 1812 godu // Khirurgia. Zhurnal im. N.I. Pirogova. 2013. No. 6. P. 96—100.)

[Зорин 2001] — *Зорин А.* Кормя двуглавого орла. Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX в. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

(*Zorin A.* Kormya dvuglavogo orla. Literatura i gosudarstvennaya ideologiya v Rossii v poslednev treti XVIII — pervoy treti XIX vv. Moscow, 2001.)

[Калинин 2012] — *Калинин И.* Севастополь в августе 1855. Война, фотография и хирургия: рождение поэтики модерна // Новое литературное обозрение. 2012. № 116. С. 32—75.

55 *Gratry A.* Henri Perreyve. Paris: Jacques Lecoffre, 1866. P. 54.

56 *Dunant H.* Un souvenir de Solférino. Genève: Joel Cherbuliez, Libraire, 1862. P. 33.

(*Kalinin I.* Sevastopol v avguste 1855. Voyna, fotografiya i khirurgiya: rozhdenie poetiki moderna // Novoe literaturnoe obozrenie. 2012. No. 116. P. 32—75.)

[Лышковская 2010] — *Лышковская И.Н.* Смоленское разорение 1812 года: документы Государственного архива Смоленской области, 1812—1820 годы. Смоленск: Свиток, 2010.

(*Lyshkovskaya I.N.* Smolenskoe razorenie 1812 goda: dokumenty Gosudarstvennogo arkhiva Smolenskoy oblasti, 1812—1820 gody. Smolensk, 2010.)

[Максимов 2012] — Московский военный госпиталь и медицина России в Отечественной войне 1812 года / Под ред. И.Б. Максимова. М.: Эко-Пресс, 2012.

(Moskovsky gospital' i meditsina Rossii v Otechestvennoy voyne 1812 goda / Ed. by I.B. Maksimov. Moscow, 2012.)

[Чистякова 2013] — *Чистякова В.О.* Отечественная война 1812 года в нарративах «популярной культурной памяти» // Артикульт. 2013. № 11. С. 32—45.

(*Chistyakova V.O.* Otechestvennaya voyna 1812 goda v narrativakh "populyarnoy kul'turnoy pamyati" // Artikul't. 2012. No. 11. P. 32—45.)

[Boddice 2014] — Pain and Emotion in Modern History / Ed. by R. Boddice. Berlin: Palgrave, 2014.

[Cooter 1993] — *Cooter R.* Surgery and Society in Peace and War: Orthopaedics and the Organization of Modern Medicine, 1880—1948. London: Palgrave Macmillan, 1993.

[Faulkner 2002] — *Faulkner A.* Casing the joint: the material development of artificial hips // Artificial Parts and Practical Lives: Modern Histories of Prosthetics / Ed. by K. Ott, D. Serlin and S. Mihm. New York, 2002. P. 199—226.

[Goodrich 1975] — *Goodrich N.L.* Novels of War and Peace: Balzac to Barbusse // Pacific Coast Philology. 1975. Vol. 10. P. 35—39.

[Huppauf 1993] — *Huppauf B.* Experiences of Modern Warfare and the Crisis of Representation // New German Critique. 1993. No. 59. P. 41—77.

[Laclau 2014] — *Laclau E., Mouffe C.* Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics. New York: Verso Books, 2014.

[Lednicki 1942] — *Lednicki W.* Alfred de Vigny et les slaves // Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America. 1942. Vol. 1. No. 1. P. 111—117.

[Morris 1991] — *Morris D.B.* The culture of pain. Berkeley; Oxford: University of California Press, 1991.

[Porter 1985] — *Porter R.* Patients and practitioners: Lay Perceptions of Medicine in Pre-industrial Society. Cambridge University Press, 1985.

[Reddy 2000] — *Reddy W.M.* Sentimentalism and its Erasure: The Roe of Emotions in the Era of The French Revolution // Journal of the Modern History. 2000. Vol. 72. No. 1. P. 109—152.

[Starn 1984] — *Starn R.* and Partridge L. Representing War in the Renaissance: The Shield of Paolo Uccello // Representations. 1984. No. 5. P. 32—65.

[Trachtenberg 1985] — *Trachtenberg A.* Albums of War: On Reading Civil War Photographs // Representations. Special Issue: American Culture Between the Civil War and World War I. 1985. No. 9. P. 1—32.

(Не)имперскость в русской публичной сфере и общественной мысли

Ирина Шевеленко

Антиимперская рефлексия революционной эпохи (1900—1910-е годы)

Irina Shevelenko

Anti-Imperial Visions of the Revolutionary Epoch (1900—1910s)

Ирина Шевеленко (Висконсинский университет в Мэдисоне, профессор) idshevelenko@wisc.edu.

Ключевые слова: Первая русская революция, национализм и империя, Сергей Булгаков, Павел Новгородцев, Николай Минский, Вячеслав Иванов

УДК: 93/94+070
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_123

Поражение России в войне с Японией и революция 1905—1907 годов породили взлет публицистических и философских рассуждений о российской государственности и ее будущем. Одним из направлений этих рассуждений оказывается критика империи — и в качестве автократического режима, и в качестве режима, противостоящего национально-культурному строительству. Как показывается в статье, эти два аспекта критики империи несимметричны: вообразить территориальный распад страны оказывается сложнее, чем демократизацию режима. Отражающиеся в этой асимметрии интеллектуальные позиции являются важным наследием эпохи первого революционного кризиса в России.

Irina Shevelenko (Professor, University of Wisconsin—Madison) idshevelenko@wisc.edu.

Key words: First Russian Revolution, nationalism and empire, Sergei Bulgakov, Pavel Novgorodtsev, Nikolai Minsky, Viacheslav Ivanov

UDC: 93/94+070
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_123

The defeat of Russia in the war with Japan and the events of the revolution of 1905-1907 produced a surge of journalistic and philosophical reflections on Russian statehood and its future. A prominent trend in these reflections is the critique of the empire, both as an autocratic political regime and as a regime that hampers the national-cultural building. As this article demonstrates, these two aspects of the critique of the empire are not symmetrical: it is more difficult for Russian authors to imagine the dissolution of the country than the democratization of the regime. The intellectual positions that inform this asymmetry constitute an important legacy of the epoch of the first revolutionary crisis in Russia.

Уже более ста лет понятия имперского и национального находятся в зоне рефлексии историков, социологов, политических мыслителей, а также всех, кто формирует поле публичной дискуссии, от журналистов до действующих политиков. Дискуссия в научном сообществе не отгорожена от дискуссии в публичном поле непроницаемой стеной: и здесь, и там мысль реагирует на меняющийся живой контекст сменой оптики и ревизией прежде предлагавшихся концепций. Во второй половине XX века осмысление опыта Второй мировой войны и последовавшего за ней распада колониальных империй выдвинуло на первый план концепции формирования современных наций, по отношению к которым империи мыслились как стадиально предшествующие формы территориально-политического устройства (см., в частности: [Андерсон 2001; Геллнер 1991; Хобсбаум 1998; Greenfeld 1992; Seton-Watson 1977]). Постепенно картина усложнялась, в частности за счет признания того, что нациестроительные и имперские проекты индустриальной эпохи могли развиваться синхронно и находиться в симбиотических отношениях друг с другом[1]. При этом в поле публичной дискуссии категории нации и империи продолжали выступать как антагонистичные, а производные от них категории национализма и имперскости (или империализма) приобретали по преимуществу оценочный, пежоративный смысл — как инструменты критики одного или другого социополитического тренда. В начале XXI века в научном сообществе возродился интерес к исследованию империй, что в немалой степени было обусловлено текущими политическими процессами, видоизменяющими облики национальных государств: с одной стороны, готовностью этих государств поступиться элементами суверенитета в пользу крупных надгосударственных формирований (ЕС), с другой — ростом миграции, приносящей все большее разнообразие в социальную ткань национальных государств, прежде воображавших себя сравнительно «гомогенными». Недавняя книга Джейн Бёрбанк и Фредерика Купера «Постимперские возможности: Евразия, Еврафрика, Афроазия» [Burbank, Cooper 2023] напоминает нам о предлагавшихся в XX веке, но вполне не реализовавшихся сценариях политического строительства, в основе которых лежала не «нация», а иные формы культурно-политических сообществ. Эти сценарии постимперского развития, возможно, обладают отложенным историческим потенциалом: «воображаемые сообщества» будущего могут отличаться от империй прошлого своим институциональным устройством, но сближаться с ними принципиальной неоднородностью культурного ландшафта.

В этой перспективе, оперируя категориями имперскости и антиимперскости (или неимперскости) по отношению к России как оценочными, важно задать себе вопрос: что именно в понятии империи является тем сердцевинным элементом, к которому мы приставляем негативные приставки *анти-* или *не-*? Те же Бёрбанк и Купер в другой своей книге определяют империи как «крупные политические образования, нацеленные на экспансию либо хранящие память о территориальной экспансии», как «государственные образования, практикующие принципы различия и иерархии в процессе инкорпорации нового населения» [Burbank, Cooper 2010: 8]. Это определение безусловно подходит для России, но оно подходит, например, и для США: алгоритм территориальной экспансии обеих стран и их политики различия по отношению к разным груп-

1 Применительно к Российской империи см., например: [Миллер 2006: 147—170].

пам населения обладают известными сходствами. Вместе с тем перед нами два очень разных опыта имперского развития, и эта разница укоренена в характере политических институтов, выработанных в процессе этого развития. В случае России ключевым элементом политического устройства империи на протяжении веков является автократическая форма правления. Такая форма правления вовсе не обязательна для империй, но именно она всегда воспринималась как неотъемлемый атрибут Российской империи — и теми, кто вырабатывал идеологию для ее самодержавных правителей, и теми, кто с этой идеологией полемизировал. На протяжении веков автократия в России направляла существенные усилия на то, чтобы разнообразие имперских территорий не подрывало политической устойчивости государства[2]. При этом уже более ста лет пространство между автократией и разнообразием (в политической конструкции) пытаются занять институты представительной демократии, которые после короткого взлета утрачивают свои позиции. Соответственно, на протяжении десятилетий антиимперская рефлексия в России прежде всего обращается к критике политической системы империи в ее разнообразных автократических изводах и лишь во вторую очередь — к ее экспансионистской политике.

Важную роль в кристаллизации этого алгоритма критики империи сыграл революционный кризис начала XX века, приведший к формированию первых институтов представительной демократии в Российской империи. Сложившиеся в это время параметры рефлексии над ситуацией империи сохраняют свое влияние до сих пор. Поэтому и сто лет спустя взгляд в это историческое зеркало позволяет лучше понять, как мы сами думаем о возможностях и двигателях изменений в российском политическом поле. Мои примеры будут из того сегмента журнальной публицистики, который связан с философским идеализмом, с одной стороны, и модернистским искусством — с другой. Это отчасти пересекающиеся поля, в каждом из которых в начале XX века идет работа над «воображением» будущего. Каждый из примеров несет на себе определенную партийную и индивидуальную окраску, однако в совокупности они очерчивают контуры антиимерской рефлексии этого периода в целом.

Начало революционному кризису дает, как известно, русско-японская война 1904—1905 годов. В первые месяцы она порождает бурный всплеск патриотических комментариев в различных сегментах прессы, в том числе и в модернистских изданиях. Так, модернистский журнал «Новый путь» публикует в 1904 году ряд статей, в которых выражается уверенность в грядущей победе России над Японией и судьбоносности этой победы для дальнейшего российского доминирования в Азии[3]. До осени 1904 года главными идеологами журнала были Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. В это время их интересовали пути сближения интеллигенции с церковью; при этом они сохраняли лояльность по отношению к монархической власти, что изменилось в период Первой русской революции[4]. Однако осенью 1904 года место главных идеологов журнала заняли молодые философы Сергей Булгаков и Нико-

2 Подробный исторический анализ политик инкорпорации новых территорий Российской империей предпринят в книге: [Kappeler 2001].

3 См. об этом подробнее: [Шевеленко 2017: 121—129].

4 См.: *Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д.* Царь и революция / Пер. с фр. О.В. Эдельман под ред. М.А. Колерова. М.: ОГИ, 1999.

лай Бердяев, незадолго до того пережившие обращение из марксистов в идеалисты. В начале 1905 года журнал сменил название на «Вопросы жизни», а военные поражения вызвали резкую перемену в риторике при комментировании войны.

Наглядно иллюстрировала эту перемену статья Сергея Булгакова, появившаяся в первом номере «Вопросов жизни» за 1905 год. На тот момент Булгаков был одним из основателей недавно созданного Союза освобождения, программа которого включала в себя введение избирательного права, а также права народов на самоопределение. Позже он стал депутатом 2-й Государственной думы, в которую избирался как беспартийный «христианский социалист». С точки зрения Булгакова, поражения, которые терпела русская армия в русско-японской войне, были симптомом всеобъемлющего кризиса русской политической жизни:

> Обстоятельства, сопровождавшие всемирно-историческое возрождение Японии и в лице ее желтого мира, послужили окончательным обличением вековой внутренней неправды России. Япония явилась той рукой, которая начертала на пиру Валтасара *мене, текел, фарес*, и только слепорожденный или добровольно закрывающий глаза не видит огненных письмен. Коренное обновление русской жизни стало теперь не только требованием гражданской совести, но самого исторического существования, упорство и косность представляют уже государственную опасность. Минувший год дописал, кажется, последнюю строку в той странице русской истории, которая открывается собиранием Руси при помощи сильной центральной власти, тянется от Иоанна Калиты через Иоанна Грозного в так называемый петербургский период, который формально не закончился, к несчастью, и до сих пор. Однако внутренно он уже закончился, как показала теперешняя война: если можно было еще доказывать его историческую целесообразность собиранием Руси, интересами государственного единства, то теперь дальнейшее упорство грозит обратным, ее новым рассыпанием, утратой даже того внешнего могущества, за которое мы платили такой дорогой ценой. И невольно напрашивается на сопоставление начало и конец петербургского периода — Полтава и Порт-Артур: в настоящую войну мы приняли на себя роль шведов, предоставив свою прежнюю роль японцам[5].

Если интерпретировать эти слова буквально, то «принять на себя роль шведов» — значит фактически свернуть имперский проект, который для Булгакова воплощается прежде всего в образе «сильной центральной власти». Это она, видевшая свой modus vivendi в наращивании «внешнего могущества» любой ценой, теперь, терпя поражение, становится символом «вековой внутренней неправды России», под которой Булгаков несомненно имеет в виду автократическую политическую рамку русской (имперской) государственности. Война с Японией за расширение влияния в Азии оборачивается поражением и концом «петербургского периода», который довел имперское строительство до того предела, за которым может последовать «рассыпание» территории. Причем сам автор видит в этом рассыпании не благо, а угрозу; спасительное же «коренное обновление русской жизни», как пишет Булгаков далее, состоит в том, чтобы «создать широкие и свободные рамки гражданского развития народа, твердо и последовательно проведя в жизнь основные требования демо-

5 *Булгаков С.* Без плана // Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 310—311.

кратизма, который, по-видимому, достигает в настоящее время своего зенита во всем культурном мире»[6]. Таким образом, самодержавие должно уступить место республике, в частности для того, чтобы сделать возможным сохранение территориального единства империи.

Статья Булгакова датирована 1 января 1905 года, то есть написана до Кровавого воскресенья, хотя есть признаки внесения в нее правки после этого события[7]. Так или иначе, пока это подцензурный текст, и Булгаков формулирует осторожно, но предельно ясно: «русское освободительное движение» должно подтвердить свою приверженность лозунгу «с народом, через народ и для народа»[8]. Ближайшим контекстом для этого пассажа является известный указ Николая II от 12 декабря 1904 года «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка», который обещал целый ряд нововведений, включая позитивные правовые сдвиги в положении крестьян, рабочих, инородцев и представителей религиозных меньшинств, а также расширение земского самоуправления и смягчение цензурных ограничений, однако не включал в себя введения народного представительства, что породило разочарование в среде либерального земства, причастного к процессу подготовки указа [Варфоломеев 2013: 21—22].

В том же номере «Вопросов жизни» политический обозреватель журнала Григорий Штильман, подводя итог году войны с Японией, отказывался видеть в поражениях государства выражение исторической судьбы народа:

> С самого начала военных действий замечается чрезвычайно разумное отношение широких слоев русской публики к преследующим нас жестоким неудачам. Скорбя о невознаградимых потерях и о крайнем падении нашего престижа в Западной Европе, все отдают себе одновременно отчет в том, что явное военное превосходство японцев не может служить показателем слабости *русского народа*, а свидетельствует лишь о полном банкротстве нашей бюрократии, неспособной справиться с задачею внешней обороны государства[9].

Эта риторика была еще одним отражением стремительных перемен в общественных настроениях: с одной стороны, публицист использовал категорию «русский народ» в духе официальной риторики, пренебрегавшей иными народами империи как априори неравными, с другой — противопоставлял судьбу народа судьбе государственной бюрократии. Признание банкротства правящей бюрократии делало требования парламентской демократии все более настойчивыми, и сама эта бюрократия между февралем и августом 1905 года пошла на выработку законодательных актов, связанных с учреждением Государственной думы как законосовещательного органа, избиравшегося гражданами. Под давлением всероссийской политической стачки в октябре того же года избирательное законодательство было изменено в пользу более широких законотворческих полномочий Думы.

---

6 Там же. С. 312.

7 Сам журнал вышел лишь в феврале (цензурное разрешение от 15 февраля 1905 года), и в нем есть отдельная статья о Кровавом воскресенье: *Ш*[*тильман*] *Г.* 9-ое января 1905 г. // Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 329—337.

8 *Булгаков С.* Указ. соч. С. 312.

9 *Штильман Г.Н.* Годовщина русско-японской войны // Вопросы жизни. 1905. № 1. С. 322—323.

То, что Булгаков еще не решался назвать по имени в январе 1905 года, в июньском номере «Вопросов жизни» называл Павел Новгородцев, заявляя о необходимости парламента. Как и Булгаков, Новгородцев был одним из учредителей «Союза освобождения»; в 1905 году он стал членом конституционно-демократической партии, от которой впоследствии был избран депутатом 1-й Государственной думы. В середине 1905 года, еще до Манифеста 6 августа, объявившего об учреждении Государственной думы, Новгородцев так формулировал текущий политический запрос:

> Задача состоит в том, чтобы на место бесконтрольного и произвольного полицейско-бюрократического режима создать режим контролируемый и подзаконный, чтоб провозгласить и утвердить во всей их полноте права человека и гражданина. А эту задачу нельзя решить иным путем, как через привлечение народа к участию в законодательстве и управлении. Парламентаризм не решает собою всех общественных задач, и творчество человечества, конечно, не кончается им, но если речь идет о разрешении той политической задачи, которая теперь является очередной и неотложной задачей русского народа, то другого пути действительно нет[10].

После Манифеста 17 октября и последовавших первых думских выборов рефлексия над «полицейско-бюрократическим режимом» империи и его наследием значительно радикализуется. Журнал «Перевал», который начинает выходить осенью 1906 года и совмещает, как и «Вопросы жизни», общественно-политическую тематику с модернистской литературой, в первых трех номерах помещает пространную статью Николая Минского «Идея русской революции». Поэт-символист старшего поколения, в этот период Минский сближается с социал-демократами. В октябре — декабре 1905 года он издает и редактирует большевистскую газету «Новая жизнь» (фактическим редактором которой вскоре после начала публикации становится Ленин); после краткосрочного ареста, связанного с его издательско-редакционной деятельностью, он в 1906 году уезжает из России и живет за границей до 1913 года. На протяжении жизни Минский не раз радикально меняет свои идейные установки и интересы, следуя за тем, что кажется ему духом времени. Это его свойство позволяет видеть в его статье 1906 года не только и не столько выражение индивидуальной позиции, сколько компендиум интеллектуальных настроений, характеризующих революционный момент.

Свою статью Минский начинает с сопоставления русской революции с предшествующими европейскими революциями и утверждает, что ее главное отличие связано с местом, которое получает в русской революции требование «освобождения личности». Если европейские революции одушевлялись враждой к представителям определенных сословий (знати, аристократии), то русская революция воодушевляется «ненавистью к бюрократии и полиции»[11]. Происходит это потому, что в России «весь исторический процесс сводился к обесцвечиванию, умалению личности, слиянию всех в однородную государственную массу, в громадного полипняка, вооруженного военными челюстями

10 *Новгородцев П.* Современные отзвуки славянофильства // Вопросы жизни. 1905. № 6. С. 374.

11 *Минский Н.* Идея русской революции // Перевал. 1906. № 1. С. 11—12. Далее номера страниц указываются в тексте.

и чиновничьими когтями» (с. 12—13). Минский объясняет этот феномен задачами освоения огромных пространств ради создания государства, которое «не боялось бы нашествия диких орд, а само покорило бы все народы и племена» (с. 15). В итоге, полагает Минский, «из всех стран Европы Россия — единственная, в которой личность была не творцом, а жертвой государственного развития» (с. 14). Приняв завоевание пространства как необходимость, «русская личность уже не по принуждению, а добровольно отказывалась от своего первородства в пользу государства» (с. 15). Краткий исторический экскурс, в котором Минский отчасти подражает Чаадаеву, завершается еще одним постулатом, касающимся свойства русской имперской экспансии. В отличие от европейских завоеваний, как бы к ним ни относиться, русская экспансия была лишена «культурной идейности», пишет Минский, и в ней невозможно «открыть следов какой бы то ни было миссии» (с. 18). Покорение пространств, утверждает автор, было самодостаточной, изнуряющей и в конечном итоге саморазрушительной задачей, которая решалась ценой «умерщвления человеческой личности у себя дома и в покоренных областях во имя безыдейного, бессознательного государственного единства» (с. 19). Для подданного империи ее экспансия предстает как «сплошной географически эпизод», которому трудно найти объяснение:

> Зачем понадобилась России Финляндия? На что ей нужен был Кавказ? Во имя чего нужно было разгромить высшую сравнительно с русской культуру Польши? Зачем нужна была Сибирь, этот огромный мир, превращенный в тюрьму? Зачем нужны были Сахалин, Приамурский край? Какой культурной миссией вдохновлялись славянофилы, когда мечтали о покорении Константинополя и о водружении креста на Святой Софии? (с. 18).

Имперская экспансия в случае России оказывалась для власти способом распространения принципов угнетения и насилия, практиковавшихся внутри «великорусского центра», на всё новые территории, полагает Минский:

> Привыкши у себя дома считать человеческую личность врагом государственного единства, русская власть переносила этот взгляд на завоеванные области, где прежде всего она старалась оборвать между людьми все живые связи языка, школ, книг, собраний и союзов. С каждым новым завоеванием сердце России слабело, великорусский центр хирел, с каждым завоеванием на периферии накоплялось все больше ненависти. И в конце получилось то, что захиревшая в сердцевине страна оказалась окруженной со всех сторон ненавидящими, мечтающими о мщении окраинами. Финляндцы, эсты, лифляндцы, поляки, грузины, армяне — целое огненное кольцо вражды и мщения (с. 19).

Экспансия вовне и подавление личности внутри (и повсюду), таким образом, неразрывно связаны для Минского, и в этой связности вызревают «разгром и распадение» государства. «С усовершенствованием оружия, военное могущество страны все более и более зависит от культурного развития и самосознания ее жителей», — пишет он (там же). Обозревая под этим углом зрения военные конфликты «петербургского периода» русской истории, Минский рисует картину деградации человеческой инициативы и знания (отдавая дань самоотверженности солдат), которые и приводят к поражению в войне с Японией и пробуждению народа от «векового заблуждения»:

> Наряду со свежими могилами бесцельно погубленных армий на полях Манджурии, разверзлись тысячи других могил, старинных, давно забытых, и несчастные жертвы, похороненные в них, как бы ожили и, проклиная, требовали ответа. «Мы отрекались от своих человеческих прав», вопияли они, «мы были рабами холопов, гибли от насилия и вымогательств, и все это мы переносили безропотно, веря, что наши муки нужны для могущества единой России. Но если власть вела Россию к поражению и погрому, то во имя чего страдали мы?» И когда этот вопль обошел всю русскую землю, родилась на свет русская революция (с. 22).

Если Булгаков и Новгородцев сосредоточивали свою критику империи на автократической модели правления как таковой и противопоставляли ей модель представительной демократии в рамках конституционной монархии, то в публицистической риторике Минского акцент перенесен на полный демонтаж режима. В его модели империи все подданные едины в своем бесправии, что и позволяет ему говорить о происходящей революции как «всесословной» или «внесословной» (там же). Его радикализм соотносится с его социал-демократическими симпатиями этого времени: «Россия не требует у старого режима ни реформ, ни преобразований, ни свобод, а жаждет свободы от этого режима» (с. 23). На этом фоне примечателен один из заключительных пассажей, касающийся вопроса о будущей судьбе народов, завоеванных империей. Рассуждая о необходимости достижения «не только свободы граждан, но и автономии народов», Минский подчеркивает:

> Кошмар русского государства, отсутствие естественных границ, может быть устранен только тогда, когда народы, входящие в состав русской территории, добровольно сольются с Россией в органическое единство. Попытка какой-либо народности воспользоваться ослаблением власти и порвать всякую связь с Россией была бы пагубна для интересов революции. Для того, чтобы подобная попытка была невозможной, революция и стала насквозь антинациональной и антипатриотичной. Эта антипатриотичность — залог высшего патриотизма. Автономия поляка, финна, армянина не менее дорога русскому революционеру, чем его собственная свобода. Оттого полякам, финнам, армянам выгоднее слиться со свободной Россией, нежели образовать отдельные государственные единицы, взаимно угрожающие друг другу (с. 22—23).

Минский объясняет необходимость территориального статус-кво угрозами, которые повлек бы за собой распад империи на множество государств. Уважение к праву народов на «автономию» (параметры которой не определены) предполагается как естественное следствие революционных перемен, и от народов (бывшей) империи ожидается добровольное вступление в новый, органический союз с Россией. Таким образом, вообразить территориальный распад страны оказывается сложнее, чем крах монархического режима, который Минский уверенно предрекает. Критика империи останавливается на пороге «национально-территориального вопроса» и не может его переступить. В этом Минский сходится с Булгаковым, для которого, как мы помним, территориальный распад («рассыпание») есть угроза, которую необходимо предотвратить.

Между тем «антинациональность», которую Минский считает одной из важнейших характеристик революции, не подтверждается ее опытом и последствиями, причем не только в отношении имперских окраин, но и в отношении «великорусского центра» империи. Именно кризис лояльности имперскому

государству после Первой русской революции толкает русский образованный класс к конструированию собственной новой идентичности, в которой и имперское, и национальное подвергаются переосмыслению. Один из путей, по которому идет это переосмысление, связан с противопоставлением обоих понятий («империя» и «нация») категории государственности. Катализатором этого поворота отчасти становится интерес к анархистским учениям, популярность которых быстро растет в России 1900-х годов. Однако сама задача переосмысления ситуации империи в революционную эпоху, как кажется, толкает мыслителей на путь широкой метафоризации имперского начала, которое в своей традиционной политической ипостаси уже не может быть ценностью. «Оттого-то и нас так отвращает эгоистическое утверждение нашей государственности у эпигонов славянофильства, что не в государственности мы осознаем назначение наше», — будет писать Вяч. Иванов в 1908 году в статье «О русской идее»[12]. Русскую *национальную* идею он увидит в идее *империи* как идее синтеза, как «служении вселенском», не знающем границ, этого атрибута государственности. Империя превращается в объект визионерской мифологии, как бы отрешенной от политических реалий сегодняшнего дня, и это видится как революционный жест. Национально-культурное строительство, увиденное через призму той же визионерской мифологии, оказывается «соборным действом», локусом которого должны выступать «народные общины». Они не специфичны для какого-то одного национального сообщества; это универсалистские формы самоорганизации человеческих коллективов, которые преобразуют мир, а не государство: «И только тогда, прибавим, осуществится действительная политическая свобода, когда хоровой голос таких общин будет подлинным референдумом истинной воли народной» («Предчувствия и предвестия», 1906)[13]. Так критика империи исторической сопровождается поиском для имперской матрицы иных возможностей приложения, и это кажется одним из долговременных свойств антиимперской рефлексии в России.

Лишь на короткое время национальное как идея противопоставляется имперской матрице, а не включается в нее. В 1917 году, когда монархический режим падет, именно тема освобождения национальной культуры внезапно станет лейтмотивом переживаемого момента для представителей русской культуры самых разных лагерей. Так, Андрей Римский-Корсаков (сын композитора и музыкальный критик) в связи с событиями Февральской революции публикует редакторскую заметку в журнале «Музыкальный современник». «Великими переменами должно ознаменоваться наше освобождение от векового бремени, тяжко давившего и на те области духовной жизни, которые казались наименее причастными политическому режиму и социальному строю дореволюционной России», — пишет он[14]. Музыкальное искусство, как одна из таких областей, сетует автор, «было разобщено с народом, не могло стать в мертвящих условиях старого режима *всенародным*, *национальным* достоянием». Падение монархии, полагает Римский-Корсаков, должно ознамено-

12 *Иванов Вяч.* Собрание сочинений: В 4 т. Bruxelles: Foyer Oriental Chrétien, 1971—1987. Т. 3. С. 326. Подробнее об этой статье см.: [Шевеленко 2017: 145—150].

13 Там же. Т. 2. С. 103.

14 *Римский-Корсаков А.* Наш долг (К совершившемуся перевороту) // Музыкальный современник. 1916. № 4 (декабрь). С. 5. Невзирая на дату, указанную на номере журнала, он вышел не ранее марта 1917 года.

ваться новой институционализацией музыки — созывом Всероссийского съезда музыкальных деятелей, цель которого описывается на политическом языке революции:

> Этот съезд — своего рода *музыкальное учредительное собрание* — должен наметить пути широкой демократизации искусства, пути создания сети бесплатных музыкальных школ, народных хоровых обществ и театров. <…> Национальные хоровые празднества должны наглядно воплотить в себе новое единение народных сил — великий праздник освобождения должен явиться прообразом грядущих народных музыкальных празднеств. И пусть музыкальные вожди Новой России вернут сторицею народу то, что они почерпнули из нетленных сокровищниц народного духа![15]

Но и этот пафос оказался легко переводимым в плоскость имперского универсализма, который после падения монархии, казалось, лишился своей стигмы. Снятие сословных границ и проекты культурного синтеза в ситуации сохраняющегося высокого этноконфессионального разнообразия страны делали старый имперский космополитизм естественным основанием для нового «пролетарского интернационализма».

Напряжение между критикой империи как автократического режима и привязанностью к империи как территориальному и народному единству, которое мы наблюдаем среди русских интеллектуалов в эпоху первого революционного кризиса в России, дает начало долговременной тенденции. Притом что несправедливость (или избыточность) территориальных завоеваний империи артикулировалась многими, дальнейшие усилия предполагалось направлять на установление равноправия для всех народов и территорий внутри общего политического пространства (по существу мыслившегося как постимперское). Трансформация автократического режима в демократический виделась как решающее условие для этого, а учреждение национально-культурных автономий внутри страны — как базовый механизм достижения равноправия. Желание переосмысления и переучреждения империи как союза равноправных народов лежало не только в основе собирания бывших имперских территорий большевистским режимом в 1920-е годы, но и — на новом историческом витке — в основе планировавшегося вплоть до 19 августа 1991 года подписания нового союзного договора как способа сохранения большинства национальных республик в составе переучрежденного СССР. Смена политических режимов и вырабатываемых ими условий единства виделись как обоснование сохранения единства. Такое видение сталкивалось с позициями других акторов (народов), воспроизводя противоречия между взглядом из центра бывшей империи и с ее окраин. Постимперское развитие, возможно, когда-нибудь вполне разрешит их.

15 Там же. С. 7.

Библиография / References

[Андерсон 2001] — *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2001.

(*Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Moscow, 2001. — In Russ.)

[Варфоломеев 2013] — *Варфоломеев Ю.В.* К вопросу о создании представительных органов власти императорской России: первая фаза конституционного цикла (декабрь 1905 — август 1905 года) // Известия Саратовского университета. Новая серия. История; Международные отношения. 2013. Т. 13. Вып. 1. С. 20—26.

(*Varfolomeev Yu.V.* K voprosu o sozdanii predstavitel'nykh organov vlasti imperatorskoy Rossii: pervaya faza konstitutsionnogo tsikla (dekabr' 1905 — avgust 1905 goda) // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Istoriya; Mezhdunarodnye otnosheniya. 2013. Vol. 13. Iss. 1. P. 20—26.)

[Геллнер 1991] — *Геллнер Э.* Нации и национализм / Пер. с англ. Т.В. Бердиковой, М.К. Тюнькиной; ред. И.И. Крупника. М.: Прогресс, 1991.

(*Gellner E.* Nations and Nationalism. Moscow, 1991. — In Russ.)

[Миллер 2006] — *Миллер А.* Империя Романовых и национализм. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

(*Miller A.* Imperiya Romanovykh i natsionalizm. Moscow, 2006.)

[Хобсбаум 1998] — *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года / Пер. с англ. А.А. Васильева. СПб.: Алетейя, 1998.

(*Hobsbawm E.* Nations and Nationalism since 1780. Saint Petersburg, 1998. — In Russ.)

[Шевеленко 2017] — *Шевеленко И.* Модернизм как архаизм: национализм и поиски модернистской эстетики в России. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

(*Shevelenko I.* Modernizm kak arkhaizm: natsionalizm i poiski modernistskoy estetiki v Rossii. Moscow, 2017.)

[Burbank, Cooper 2010] — *Burbank J., Cooper F.* Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press, 2010.

[Burbank, Cooper 2023] — *Burbank J., Cooper F.* Post-Imperial Possibilities: Eurasia, Eurafrica, Afroasia. Princeton: Princeton University Press, 2023.

[Greenfeld 1992] — *Greenfeld L.* Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge: Harvard University Press, 1992.

[Kappeler 2001] — *Kappeler A.* The Russian Empire: A Multiethnic History / Transl. by A. Clayton. London: Longman, 2001.

[Seton-Watson 1977] — *Seton-Watson H.* Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. Boulder: Westview Press, 1977.

Денис Сдвижков

Хотели ли русские войны?

ВОЙНА И ИМПЕРСКОЕ СОЗНАНИЕ В РОССИИ XVIII ВЕКА*

Denis Sdvizhkov

Did Russians Want War? War and the Imperial Consciousness in 18th Century Russia

Денис Сдвижков (кандидат исторических наук) sdvizkov@hotmail.com.

Ключевые слова: имперское сознание, отношение к войне, публичная сфера, патриотизм, милитаризм, раннее Новое время, Северная война, Семилетняя война, русско-турецкие войны

УДК: 327+355.01+94
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_134

Характеристика имперского сознания в России часто ограничивается набором политизированных штампов, не опирающихся на прикладные исследования. Статья предлагает определить содержание и пути формирования имперского сознания в период становления Российской империи в XVIII веке через отношение ее подданных к войнам. В статье показано, что становление России как военной империи сопровождалось не только структурными мерами с утверждением регулярной армии и флота. Характерные для этого периода «далекие» имперские войны требовали от властей нового режима публичности под знаком утверждавшейся идеологии патриотизма /«любви к отечеству». Приглашение властей к участию в «общем деле», каковым стали войны, кругов, выходивших за пределы элит, не только повышало эффективность военно-имперской политики, но и формировало политическое сознание, культуру публичности и неизбежно способствовало превращению подданных империи в ее граждан.

Denis Sdvizhkov (PhD) sdvizkov@hotmail.com.

Key words: imperial consciousness, perception of war, public sphere, patriotism, militarism, early modern period, Great Northern War, Seven Years' War, Russo-Turkish wars

УДК: 327+355.01+94
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_134

Among the distinguishing features of empires, "imperial consciousness" is the most elusive and defies universal definition. The characterization of imperial consciousness in Russia is often limited to a set of politicized clichés not based on applied research. This article aims to define the content and paths of how imperial consciousness was shaped in the formative period of the Russian Empire in the eighteenth century through the attitude of its subjects towards wars. The article shows that the formation of Russia as a military empire was accompanied by more than structural measures with the establishment of a proper army and navy. The "distant" imperial wars typical of this period demanded from the authorities a new regime of publicity marked by the emerging ideology of patriotism/"love of the fatherland." The invitation of the authorities to participate in the "common cause"/*res publica*, which the wars became, to circles far beyond the elites not only increased the effectiveness of imperial military policy, but also shaped political consciousness and the culture of publicity and inevitably contributed to the transformation of the subjects of the empire into its citizens.

В ряду признаков империи «имперское мышление/сознание» — едва ли не самый загадочный. Империя определяется через отношения господства и подчинения и противопоставляется общности на основе «социально-политической гомогенизации и идее всеобщего гражданства» [Osterhammel 2004: 172]. Получается, что, в отличие от национального государства, чувство сопричаст-

* Благодарю Е.Н. Марасинову (Майнц), А.И. Миллера (Санкт-Петербург) и М. Шиппана (Берлин) за консультации при работе над статьей и предоставленные материалы.

ности к общему, «ежедневный плебисцит» Э. Ренана[1], не является базовой предпосылкой существования империи. В отличие от имперских структур, «имперское сознание» на практике не универсально: так, imperial identity британского образца подразумевает своего рода надстройку национального сознания (imperial nation) и демократической политической культуры, сфокусированной на «законе и свободе»[2]. В случае же России отношения имперского и национального дисгармоничны: имперское предшествует национальному[3], препятствуя или искажая его развитие, а имперское и демократическое исключают друг друга. Констатируется «непреодолимое противоречие между имперским порядком и демократией и проблемное обратное воздействие империи на российскую идентичность». «Слияние имперской традиции с русским национализмом» составляет «проклятие империи» [Schulze Wessel 2023: 293][4], тяжелое наследие прошлого.

Анахронизм имперского сознания для исследователей и в том, что оно формируется не вместе и внутри публичной сферы модерна, а детерминировано историческими и природными обстоятельствами. Оно складывается вокруг имперской идеи, которая представляет собой некую миссию. Носителями имперского сознания, во всяком случае на ранних этапах, считаются элиты [Berger, Miller 2015: 29]. Применительно к России со времени создания петровской империи речь идет о сознании дворянской элиты — принятии этоса службы государству с его новыми европейскими ценностями. В ряду последних можно выделить «комплекс цивилизационного превосходства» по отношению к окраинам империи, который знаменует собой «рождение империи» [Вульпиус 2023: 18—24].

Но так или иначе, агентностью обладает государство, российское общество представляется «государственным установлением» [Гайер 2023]. Это оставляет открытым вопрос об «обратной связи» и о проникновении помимо элит имперского сознания в «массы», на что уже давно обращали внимание. Тот же Дитрих Гайер еще в 1970-х годах причислял к «дезидератам» истории «русского империализма» «анализ социально-психологических факторов и коллективных ментальностей», а за вопросом о том, как именно «обсуждались предметы, касавшиеся всех жителей государства, *за пределами* официальных и элитарных дискурсов», признавалось первостепенное значение [Geyer 1977: 17; Ширле 2018: 30][5]. В настоящей статье я по необходимости кратко обозначу возможности такого анализа — через отношение подданных Российской империи к войне в XVIII веке.

XVIII век — эпоха становления военной империи в России. В структуре империи раннего Нового времени армия играет центральную роль, но для России определение «сухопутная военная империя» относят и к XIX веку, в отличие от «морских» торговых империй. «Гордость великороссов» синонимична «гордости за державу», имперское сознание — великодержавности [Клейн 2018: 187—189], «держава» же в универсальном политическом языке Европы

1 *Ренан Э.* Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений: В 12 т. / Пер. с фр. под ред. В.Н. Михайлова. Т. 6. Киев: Изд. Б.К. Фукса, 1902. С. 90–91.

2 См.: [Green 1998: 210].

3 Ср.: «Раньше, чем русские осознали себя как нацию, они осознали себя империей» [Анисимов 1997].

4 Здесь и далее, если не указано иное, перевод авторский.

5 Ср.: [Марасинова 2008: 139, 226—253].

XVIII века, французском, совпадает с «империей» (l'empire). Важнейшая характеристика империи, господство над пространством, в эту эпоху привязана к военной мощи. Эти соображения определяют в России характер власти («пространное государство предполагает власть самодержавную»[6]) и ее подданных: «Российский народ был всегда и есть народ военный»[7]. В критическом ключе здесь начинается разговор о «милитаризме» как главной части русского имперского сознания — тема обсуждавшаяся, но далеко не раскрытая[8].

Военные победы и поражения — главное средство (де)легитимации империи и вовне относительно других держав, и внутри, в глазах подданных. На этом выстроена имперская семантика [Сдвижков 2010], которая работает как «репрезентативная публичность» [Хабермас 2016]. Само провозглашение империи заявлено как акт «именем всего народа российского» в итоге военной победы[9], и в дальнейшем военные триумфы с арками, фейерверками, парадами, народными гуляньями требуют внимающей публики.

До сих пор в исследованиях по XVIII веку основной акцент делался на отношениях структур, military and society, а не восприятии, war and society. Стоящие за этим резоны объективны. Во-первых, проблема критериев: в западной практике отношение к войнам в раннее Новое время считывается по взаимоотношениям центральной власти с представительскими учреждениями, от которых зависело финансирование войны [Kiser, Linton 2002]. Парламентских дебатов о военном бюджете в Российской империи же мы не увидим до XX века. Во-вторых, спросить, «хотели ли русские войны», для нашего периода особо не у кого. Если «найти надежные данные по восприятию исторических акторов особенно сложно» [Tilly 1975: 9], то по Российской империи XVIII века в силу особенностей источников это сложно вдвойне — однако не невозможно. Охарактеризовав идеи и средства властного дискурса о войне, я реконструирую основное в их восприятии среди элит и в «массах».

По мере формирования модели государства, построенной на идее «общего блага» (bonum commune), войны государства превращаются в «общее дело» (res publica). Война помещается в политическое, правовое и публичное пространство, требует просвещения и убеждения. Это касается внешнего окружения: ибо войны — мерило символического престижа государственной власти в ряду европейских «политичных народов» и соответствия внешней политики международному праву; кроме того, «рейтинг» воюющей державы непосредственно сказывается и на рынке внешних кредитов. Но также подразумеваются собст-

---

6 Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения / Под ред. Н.Д. Чечулина. СПб.: Тип. ИАН, 1907. С. 3.

7 *Тучков С.А.* Военный словарь, заключающий наименования или термины, в Российском сухопутном войске употребляемые, с показанием рода науки, к которому принадлежат, из какого языка взяты, как могут быть переведены на российской, какое оных употребление и к чему служат. Ч. I, от А до О. М.: Тип. С. Селивановского, 1818. С. IV—V.

8 Об армии как одном из ключевых имперских институтов и модерного государства см: [Cracraft 2004: 148; Hartley 2008; Rieber 2015: 593—628; Миллер 2010: 10; Хоскинг 2001: 55—56]. О русском милитаризме см.: [Keep 1985].

9 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собрание 1-е (ПСЗ). Т. VI. СПб.: Тип. II отд. Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. № 3840. См.: [Агеева 1999].

венные подданные: «Недостаточно, чтобы действия монархов всегда отличали справедливость и разумность — в этих последних должен быть убежден и их народ, особенно когда начинаются войны, которые, пусть справедливые и необходимые, почти всегда влекут за собой много тягот»[10] (см. также: [Gestrich 1994: 194; Van Horn Melton 2004: 68—69]). Самый сложный для публичной легитимации — имперский, «далекий» тип войн (guerres lointaines), которых, согласно максиме, высказанной Монтескье в одном из самых влиятельных в России политических сочинений, «О духе законов» (1748), необходимо избегать[11]. Между тем именно этот тип войн определяет военную политику сначала «неонатальной империи» Московского царства [Филюшкин 2013], а затем Российской империи. Характерно, что войны России XVIII века и в понимании современников, и на бюрократическом языке армейских послужных списков — это *походы* («прусский поход», «турецкий поход» и др.) на или за пределы империи.

Первой «публичной» в России стала Великая Северная война. Началась она привычным указанием «идтить войною» «за многие Великому Государю неправды» и о карах за неявку, с объявлением о том с Постельного крыльца в Кремле лишь ограниченному кругу[12]. Но спустя семнадцать лет по инициативе и с участием Петра I в нескольких изданиях на русском и иностранных языках, огромным суммарным тиражом более 20 тысяч экземпляров, который планировалось разослать по провинциям, публикуется обоснование происходящего. Война как таковая безусловно признается злом: «Понеже всякая война в настоящее время не может сладости приносить, но тягость, того ради многие о сей тягости негодуют, одни для незнания, другие по прелестным словам ненавистников»[13]. Впервые в российской практике власть объясняет, почему военное зло необходимо для общего блага, или иначе говоря, «за что мы воюем».

Публичные объяснения даны в логике «государственных резонов» (raisons d'etat), которая если не отменяет, то затеняет главное до сих пор нравственное оправдание войны, представлявшее ее метафизическим сражением добра и зла, стоянием за веру [Каменский 2007: 18; Хархордин 2011: 54]. Но сам нравственно-эмоциональный посыл не исчезает, а переходит с небесного отечества на земное. Это общеевропейская модель *патриотизма*, вначале государственно-династического во главе с королем/императором-патриотом [Польской 2018; Dziembowski 2019]. «Государственный патриотизм» в России формируется уже к началу XVII в. [Кром 2018: 219—232], а к концу XVII века особое значение приобретает риторика «отечества». Отечество/*patria* — общая ценность, активное отношение к которой (*любовь*) объединяет причастных на всех уровнях и делает их *гражданами*.

Средством обеспечения публичности служит распространение информации по «государственным генеральным делам» «во всенародное известие» че-

---

10 Публицист Ж. Легран — министру иностранных дел Ж.Б. Кольберу де Торси, 1711 год. Цит. по: [Solange 2014: 331].

11 «La regle générale <…> veut qu'on n'entreprenne point de guerres lointaines» («всеобщее правило <…> запрещающее войны в отдаленных странах» (О разуме законов. Т. 1. Соч. г. Монтескюия / Пер. с фр. В. Крамаренкова. СПб.: При Имп. акад. наук, 1775. С. 272).

12 ПСЗ. Т. IV. № 1811.

13 [*Шафиров П.П.*] Рассуждение, какие законные причины <…> Петр I <…> к начатию войны <…> имел. СПб., 1717. С. 72—73.

рез печать — начиная с «Юрнала осады Нотебурха» и «Ведомостей о военных и иных делах…» — а также оглашение с амвонов («публикация в церквах»)[14]. С Прутского похода (1711) манифесты о «начатии войн» — пространные многостраничные с обстоятельнейшим изъяснением резонов России «во всенародное известие». В конце нашего периода очередной манифест о начатии войны уже констатировал: «Россиянам, обыкшим любить славу Отечества и всем ему жертвовать, нет нужды изъяснять, сколь происшествия сии делают настоящую войну необходимой» (1806)[15].

В послепетровское время тиражи газет и печатных реляций и их раскупаемость заметно упали. При следующей большой войне, Семилетней, уже на этапе подготовки к ней осенью 1756 года Конференция при Высочайшем Дворе, сетуя, что «здешние газеты» «не весьма любопытствуются», предписала печатать в первую очередь не заграничные, а «здешние к славе Е.И.В. служащие» «новизны», и назначила ответственным за освещение будущей войны, включая предварительную цензуру и отбор информации, секретаря Конференции Д.В. Волкова[16]. Регулярный тираж «Санкт-Петербургских ведомостей» вырос почти в три раза с 450 в 1756 году до 1200 в 1760 году, немецкой версии газеты — в два раза с 200 до 400 экземпляров, в сумме тираж «Ведомостей» в обеих столицах на трех языках[17] составлял на пике войны более 2000 экземпляров, плюс выпущенные большими тиражами реляции о сражениях, списки потерь и карты. Схожая динамика наблюдается и во второй половине столетия: так, начало Русско-турецкой войны (1768—1774) отмечено ростом тиражей «Ведомостей» в два раза и принятием мер о печатании и рассылке по губерниям реляций о военных действиях[18].

После неоднозначных для России итогов Семилетней войны с началом екатерининской эпохи во второй половине XVIII столетия лейтмотивом государственной политики становится внутреннее устроение империи. К нему направлены устремления просвещенного патриотизма, риторика которого набирает обороты, усложняется и становится главной для возникающей российской общественности. Созыв Уложенной комиссии и знаменитый Наказ ей императрицы (1767) «создают новое пространство политической коммуникации» [Ширле 2018: 21—22]. Но с началом новой русско-турецкой войны, успешным расширением на юге (Причерноморье) и западе (Польша) актуализируется имперская идея в духе универсализма и экспансии. Эта идея не исчезала полностью и в первой половине XVIII века, несмотря на логику рациональности и утилитаризма государственной политики [Лотман, Успенский 1982], но теперь «собирание русских земель» и «защита единоверцев» перерастают в масштабный «греческий проект». Третий Рим не удовлетворяется преемственностью, но претендует на владение Вторым Римом. К концу века неофициальный гимн империи на мотив написанного поляком из вновь присоединенных земель по-

14 ПСЗ. Т. IV. № 1921; Т. V. № 2785. См. также: [Абрамзон 2010: 256—258].

15 ПСЗ. Т.IV. № 2322; Т. XXVIII. № 21318. Т. XXIX. № 22356.

16 Архив князя Воронцова (АКВ): В 40 кн. Кн. 3. М.: Тип. Грачева, 1871, С. 507—508; *Eichhorn C.* Die Geschichte der „St. Petersburger Zeitung“, 1727—1902. St. Petersburg, Buchdruckerei der St. Petersburger Zeitung (A. Laschinsky), 1902. S. 82—89.

17 Включая франкоязычную «Gazette de Saint-Pétersbourg», которую выпускали специально для союзников в 1756—1759 гг.

18 Данные по: Сводный каталог книг гражданской печати XVIII века. 1725—1800 (СККГП): В 6 т. Т. 4. М.: Книга, 1966. С. 67—74, 81—82.

лонеза про «гром победы» подтверждал, «что свои готовы руки в край вселенной мы простреть»[19].

Что с «принимающей» стороны, из перспективы восприятия этих идей? В качестве основного материала я возьму Семилетнюю войну (1756—1763) — яркий пример далекой имперской войны на переходном этапе середины века, в начале становления российского общества, на фоне длительного и затяжного конфликта с переменным военным счастьем.

Интерес к войне очевиден, он привязан к ее кульминационным моментам — битвам и осадам. «Здесь (в Санкт-Петербурге. — *Д.С.*) теперь ни о чем столько не думают, как о нашей армии», «здесь теперь больше ни о чем не говорят, как о Берлине», — так описывается осень 1760 года с известием о занятии российской армией прусской столицы[20]. Кто и как читает прессу? В целом военная литература по популярности далеко уступает бестселлерам (календарям). Упомянутое «Рассуждение» о причинах Северной войны раскупалось небыстро, хотя устойчивый интерес вовсе не свидетельствует о том, что «заботы государя и народа расходятся» [Гринфельд 2012: 191][21]. Реляции о баталиях по российским меркам распространялись неплохо, хотя тут очевидно сказывалась и потребность информации о судьбе родных на войне в прилагавшихся печатных списках потерь[22]. Взяв данные по второй столице, включая недавно основанные «Московские ведомости», мы получим примерное соотношение одной купленной реляции на 1000 грамотных [Тюличев 1986]. В реальности это соотношение увеличивалось на порядок за счет слушателей и переписчиков печатных изданий, хотя, не будем обольщаться, даже в самом оптимистическом случае вряд ли превышало 1:100 (для сравнения в Великобритании в среднем по стране на этот период то же соотношение для всего взрослого мужского населения на порядок больше, от 1:9 до 1:6) [Rogers 2014: 27].

Про социальное происхождение подписчиков газет в России на середину XVIII века известно, что они делились примерно поровну между дворянами и недворянами, причем среди последних преобладало купечество [Тюличев 1987]. Если в личных свидетельствах помещичьего дворянства война ощущается прежде всего в упоминании рекрутской и прочих повинностей, то у купцов интерес к войне отражает возможности, связанные с армейскими подрядами [Сдвижков 2023: 215—216][23]. Свидетельства о том, *как* читались военные реля-

19 См. Манифест 1768 года о «начатии войны с Оттоманской Портою» (ПСЗ. Т. XVIII. № 13198) — соединение семантики «сынов отечества» с религиозными обоснованиями войны (защита православия в Польше и оборона от «врага имени христианского»). Ср. девиз «Отторженная возвратих» для коммеморации разделов Польши.

20 Р.Л. Воронцов — А.Р. Воронцову, СПб., 16 и 21.10.1760 // АКВ. Кн. 31. М.: Университетская тип., 1885. С. 52.

21 К началу Семилетней войны (1756) из 20 тысяч экземпляров с 1722 года разошлось 4 тысячи (*Пекарский П.П.* Наука и литература в России при Петре Великом. Т. II. СПб.: Изд. тов-ва «Обществ. польза», 1862. С. 585).

22 Реляция о сражении при Гросс-Егерсдорфе — раскуплено 275 из 400 экземпляров, при Цорндорфе — раскуплены все 200 экземпляров. Отдельный полностью раскупленный оттиск списка погибших и раненых при Цорндорфе — почти 2000 экземпляров. Данные по: СККГП. Т. 4. М., 1966. С. 67—74; [Тюличев 1986: 186].

23 Об интересе купечества к военной теме свидетельствуют и владельческие записи. «Рассуждение» Шафирова в первом издании 1717 года из Славянской библиотеки в Праге (Rc 013172), к примеру, купил в 1720 году купец из Енисейска (!) («Енисейской

ции, отражают эмоциональную вовлеченность в события: при известии о победе при Пальциге 12 (23) июля 1759 года В.А. Нащокин в своем дневнике подписывает на полях вклеенной реляции: «Дай всемогущий боже впредь победное над неприятелем счастие, и сия реляция безпристрастно и воинским порятком достойная похвалы графу Салтыкову»[24]. Чрезвычайный посланник князь Г.И. Шаховской пересказывает реляцию о победе при Кунерсдорфе, полученную на пути в Константинополь, с тем же эмоциональным подъемом, заимствуя классическую героическую формулу *vincere aut mori*[25].

Коммуникативное сообщество потребителей военных новостей приобретает критический потенциал прежде всего при неудачах: «худые успехи нашей армии <…> столь много меня изнуряют, что я сего прискорбия едва сносить могу»; «что <…> безумная и скоропастижная ретирада последовала <…> хуже зделать нелза»[26]. Но и в целом требуемая от «прямых сынов отечества» активная гражданская позиция подразумевает рефлексию о том, что является общим благом для страны и как это применимо в конкретной политике.

Критическая составляющая касается уже производителей имперского патриотического дискурса. Образованное духовенство первым призывалось «беседами, разговорами, проповедьми, пении и всяким сказания образом толковать и изъяснять в слух народа» политику властей[27]. Но даже в придворных проповедях прошедшие войны могли критиковать («нарочно людей наших на явную смерть посылали»[28]), а войны текущие (как Гедеон (Криновский) в Семилетнюю войну) [Иванов, Киценко 2023: 392—394] если не критиковали прямо, то соизмеряли с нормативными представлениями о справедливых войнах.

Набирающая вес «придворная словесность», ее «имперская идеология» и воображаемое ей «имперское монархическое сообщество» по отношению

житель Сергей Дмитреев сын Тушон» (Тушин)). Сборник третьей четверти XVIII века. (Научно-исследовательский отдел рукописей библиотеки Академии наук (НИОР БАН). Колоб. 436) с переписанной из «Ведомостей» реляцией о Цорндорфской битве (1758) принадлежал купцу из Бежецка.

24 Записки Василия Александровича Нащокина (НИОР БАН. 1.5.45. Л. 12), в издание 1842 года эта реплика не вошла.

25 «Король пруской уведомясь об оном нещастиии армии ево (взятии Франкфурта-на-Одере русскими. — *Д.С.*)… пошел для отмщения, НО (заглавными в оригинале. — *Д.С.*) наш генерал (П.С. Салтыков. — *Д.С.*) заблаговремянно избрав пристойную сетуацию и распределя, принял со всею армиею мужественную резолюцию или победить или умереть…» (Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ), F.IV.4, без паг. (запись от 10.09.1759, Бендеры). Здесь и далее орфография авторская.

26 М.Л. Воронцов — К.Г. Разумовскому, СПб 17.10.1757 // Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Исторический очерк. М..: Тип. Грачева, 1869. С. 162; М.М. Голицын — А.М. Голицыну, СПб 04(15).11.1757 // Писаренко К.А. Письма Андрея Михайловича Голицына вице-канцлеру М. Л. Воронцову // Российский архив. М., Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 2010. Т. XIX. С. 93.

27 *Феофан* (*Прокопович*). Слово о состоявшемся между империею Российскою и короною Шведскою мире 1721 года, августа в 30 день, и должном нашем за толикую милость Божию благодарении, проповеданное преосвященным Феофаном, архиепископом Псковским и Нарвским, в царствующем граде Москве, в церкви соборной Успения Пресвятыя Богородицы, 1722 года, генваря 28 // Прокопович Ф. Сочинения. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 113.

28 *Попов Н.А.* Придворные проповеди в царствование Елизаветы Петровны // Летописи русской литературы и древности. 1859. Т. II. С. 6.

к войне также выходят за рамки механизмов аккламации и модели «аффективной публичной сферы» [Осповат 2020: 425—426]. Наряду с панегириками и трескучими одами на взятие того или иного города русской «военной лирики» [Клейн 2018] в литературной среде очевидно присутствует «конфликт батализма и пацифизма». У М.В. Ломоносова после «империалистической фантастики» его первой «Оды на взятие Хотина» 1739 года («обставят росским флотом Крит») «слагается основная тема тишины» [Пумпянский 1935: 127—128], которую Семилетняя война не прерывает, а наоборот, способствует перерастанию панегирика в «гражданственное выступление» [Алексеева 2005: 181—183]. Письмо Ломоносова фавориту императрицы И.И. Шувалову в конце Семилетней войны, в котором критерием мощи государства признается «сохранение и размножение российского народа», а не «обширность, тщетная без обитателей», примыкает к основному критическому аргументу против «далеких войн»[29]. В еще большей мере антивоенный пафос характерен для гражданственного патриотизма А.П. Сумарокова. Редакторская программа его «Трудолюбивой пчелы», первого русского частного журнала, выходившего в свет в апогее Семилетней войны — в 1759 году, включала, хотя и косвенную, через аллегории и переводы, но отчетливую критику военной политики империи[30].

В патриотизме XVIII века нет ничего специфически имперского, позволяющего обосновать мессианство и завоевательные войны. В экономической части патриоты разделяли взгляды камералистов о разрушительности войны. Главный теоретик этих идей И.Г.Г. Юсти, перевод основного труда которого был опубликован в России в 1772—1778 годы, писал, как и Монтескье, о далекой (auswärtige) войне как «самом авантюрном и безответственном предприятии». Такая война выводит из страны капиталы, влечет собой дороговизну, нарушает торговлю и производство и уменьшает население[31]. Гражданственная риторика патриотизма, его этика, основанная на проповеди добродетелей, ориентируется на античные, прежде всего римские, образцы, и это скорее Рим республики, а не империи. Характерным примером может служить переписка одного из лучших военачальников российской армии, графа З.Г. Чернышева с «фронта» Семилетней войны и фаворита императрицы И.И. Шувалова.

С одной стороны, эту переписку можно читать как непубличную придворную коммуникацию: Чернышев, бывший фаворит великой княгини Екатерины Алексеевны, близкий к «малому двору», не поддерживающему военную авантюру, пишет действительному фавориту императрицы Шувалову, пытаясь повлиять на мнение государыни. Но при этом риторика корреспонденции — письма патриота патриоту, причем с изменением тональности на гражданственную Чернышев переходит с русского на французский: «Вслед за Вами

29 *Ломоносов М.В.* [О сохранении и размножении российского народа] [01.11.1761] // Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений. Т. 6. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 384.

30 Не имея возможности остановиться здесь на деталях, отсылаю к: [Осповат 2020: 392—403; Сдвижков 2019: 125, 176; Schippan 1989; 2001].

31 В русском переводе «зарубежные брани», см.: Основание силы и благосостояния царств, или Подробное начертание всех знаний касающихся до государственнаго благочиния / Сочинил И.Г.Г. Юстий; а с немецкаго на российский язык перевел Иван Богаевский: В 4 ч. Ч. 1. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1772. С. 385. Переводчик Юсти И.И. Богаевский был сыном главного священника Заграничной армии в Семилетнюю войну. Другие примеры «камералистской» критики см.: [Сдвижков 2023: 228].

(И.И. Шуваловым. — *Д.С.*), каждый гражданин должен бы быть охвачен тем замечательным жаром, какой влечет за собой любовь к отечеству. Тщусь тем, что я в этом подражаю Вам». Чернышев начинает открыто высказывать свои сомнения в смысле войны после разгрома при Цорндорфе (1758) корпуса, которым он командовал, и возвращения из прусского плена: «Мысли переполняют меня, и все, что они оставляют мне желать — это мир»[32]. Свою миссию патриота он видит в скорейшем достижении мира и внутреннем обустройстве империи, которая уже достигла «сатурации» (насыщения). Чернышев предостерегает против бездумного продолжения расширения империи — в данном случае аннексии завоеванной Восточной Пруссии:

> Что нам с войны, если, опустошив свою империю и растратив ее средства, мы получим взамен желаемое — неухоженный, дурной, бедный кусок земли, с грубым народом и некрасивыми женщинами, который со временем принесет разоренье России? Вот и все, что нам достанется… Не гораздо лучше было бы… приступить к учреждению полезных институтов внутри страны, приобретя этим уважение вовне, а не пускаться в авантюры и постоянно рисковать потерей репутации и столь дорогого времени, не занимая государство ничем иным, кроме как поиском средств для восполнения бесполезных расходов и оставляя все остальное в небрежении[33].

> Что более славного можем желать мы нашей Всемилостивейшей монархине, как не затворить врата храма Янусова? <…> Мы посрамили бы сам Рим, будь он еще в силе. <…> Доведем до совершенства государственное хозяйство, обеспечим цветущую торговлю, будем строго блюсти законы и установления, сохранять железную военную дисциплину, искореним несправедливость и злоупотребления, возрастим общую веру — и узнаем, что наше любезное отечество ничем не умалено… И так-то увидим мы вновь Цинциннатов, Регулов, Фабрициев <…> Остерегая себя на примерах заблуждений римлян, осознаем их достоинства и добродетели, подражая им[34].

---

32 «Un chacun des citoyens seroit engagé à s'intéresser avec vous à cet aimable fanatisme que l'amour de la Patrie entraine avec soi <…> [Je] me fais gloire de vous y imiter… Les idées m'accablent et tous ce qu'elles me fournissent à désirer, c'est la paix» (Гр. З.Г. Чернышев — И.И. Шувалову, Лауэнбург 20.09.1760 // Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 195. Оп. 1. № 6054. Л. 50).

33 «Qu'aurons-nous de la guerre, si tout se remplie à nos désirs en dépensant notre Empire et en épuisant nos fonds, — un lambeau de terre inculte, mauvais, pauvre, qui a un peuple mal-policé et des femmes laides et qui sera avec le tems la ruine de la Russie, voilà la belle chose que nous aurons… Ne seroit-il pas dons beaucoup mieux pour nous, que… nous mettions à faire des établissements salutaires dans l'intérieur, nous rendre par là respectable en dehors, sans nous aventurer et être sans cesse en danger de perdre la renommée et le tems si chère pour nous n'occuper l'état qu'à chercher les moyens à pourvoir aux dépenses à pure perte et faire languir tout» (Там же. Л. 50 об. — 51).

34 «Que pouvons-nous désirer de plus glorieux pour Notre Clémente Souveraine que de voir fermer le temple de Jeanus? <…> Nour faisons rougir Rome même s'il fut encore. <…> Rendons l'oeconomie de l'état parfaite, faisons fleurir le commerce, observons les loix et les règlemens avec rigueur, maintenons la discipline militaire avec rigidité, déracinons l'injustice et les abus et augmentons la foi Publique et nous verrons qu'il ne manque rien à Notre chère Patrie <…> et c'est alors qu'on reverra des Cincinnatus, des Régulus, des Fabricius <…> Si nous prendrons les défauts des Romains pour des exemples à nous en précautionner et leur bonnes choses et leurs vertus pour des leurs à les imiter» (Гр. З.Г. Чернышев — И.И. Шувалову, Диршау 12.02.1761 // РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 6054. Л. 67 об. — 68 об.).

Имперская элита в своем отношении к «далеким войнам» разделена: люди, мыслящие стратегически, считают их свидетельством могущества и продолжением стратегических выгод, когда «благопоспешеством Божием Россия тиатра воен в своих границах многие веки прошли как не имела»[35]. Ибо «не видят оные (подданные Российской империи. — *Д.С.*) пред стенами своими опасного неприятеля, не слышат грому и молний от огнестрельного оружия происходящих, не укрываются от бомб, ядер и пуль летающих, не видят блистающих мечей»[36]. Но отвлеченные стратегические резоны работают не всегда — прежде всего в «тылу». В последнем случае особенно различим «женский голос». Так, уже в Северную войну мещанскую вдову из Кадашевской слободы Алену Климову не впечатлил устроенный Петром I после взятия Нарвы («Ругодивского похода») в 1705 году триумф: «Явно, что взято знамен и пушек, а то де неважно, сколко наших голов он Государь перерубил, на него де кутилку переводу нет, толко де переводит добрые головы, за что де за этакова и Бога молю»[37]. В Семилетнюю войну Прасковья Глебова, супруга генерал-поручика артиллерии И.Ф. Глебова, пишет мужу в Заграничную армию, что «етат *пахот* ни за Бога, ни за себя, а как макавеи за свиные меса»[38]. Иначе говоря, «Прусский поход» (Семилетняя война) для России такой же бессмысленный, как война маккавеев в Древнем Израиле против навязывания им свиного мяса.

Дилеммы видны и в индивидуальных поведенческих стратегиях. Традиционный (условно «московский») тип отношения к государевой службе видит в таких «походах» личный «непокой» [Kahn 2002; Sdvizkov 2024], тяжелую обязанность «по грехам нашим»: так, при слухах о выступлении из Петербурга за границу в 1758 году командир Лейб-кирасирского полка пишет жене: «Штож делать Господь милостив грозную тучу он разносит… уже мне немнога дослуживать а буду употреблять меры укрыть себя»[39]. Характерно, что в своей знаменитой речи перед Полтавской битвой сам Петр I в реальности скорее всего лишь обещал, что «За победою, после трудов, воспоследует *покой*». И только впоследствии усилиями Феофана Прокоповича и последующих «идеологов» речь была облечена в чеканные формулы «короля-патриота» («Воины! Се пришел час, который решит судьбу отечества…» и т.п.) [Анисимов 2018]. *Сыны отечества*, которые вдохновлялись речью уже в этом новом виде, являли собой иной тип поведения на войне с сознательным отношением к службе, семантически отраженном в русском аналоге концепта «патриотизма», *любви к отечеству* [Schierle 2006; 2009; Сдвижков 2012]. Но

35 Краткое описание от России генерал шефа и ордина святого Александр Невского кавалера Карнилия Бороздина, принадлежащее до внутреннего расположения Артиллерийского Корпуса вообще. Разделены на 7 глав. Сочиненное им в 1772-м году // Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 445. Оп. 1. Ед. хр. 136. Л. 40. К.Б. Бороздин — главнокомандующий артиллерией Заграничной армии в Семилетней войне.

36 Предложение Р.И. Воронцова в Сенате от 05.10.1761. Цит. по: [Киселев, Кочегаров, Лазарев 2022: 609].

37 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 371. Оп. 1. Ч. 1. Д. 250 (1705). Л. 1 — 1 об.

38 П.И. Глебова — И.Ф. Глебову, б.м. 04.04.1760 // ОПИ ГИМ. Ф. 47. Оп. 1. Ед. хр. 5. Л. 64 об. — 65.

39 Я.И. Толстой — Е.А. Толстой, СПб 25.12.1758 // ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Ед. хр. 1393. Л. 187).

это отношение влекло за собой и неизбежный конфликт между патриотическим идеалом и реалиями военной службы. Он мог находить выражение в гуманистической, просвещенческой критике войны как бессмысленной «бойни», оспаривании ее статуса как «отрады» суверена: «Бог ты мой, сколько убитых с обеих сторон! Это была скорее бойня, нежели битва… Вот, сердце мое, каковы они, *отрады войны*, вот ради чего совершаем мы тяжелые марши, терпим все тяготы и невзгоды: ради того, чтобы сдохнуть как собака или прикончить других»[40].

«Прямой сын отечества», который принял, как того желала власть, службу на войне как *общее дело*, выводил отсюда общую ответственность и свое право на критику. Действующая армия была пространством, где максимально последовательно применялся меритократический принцип службы — производство в чинах по реальным заслугам, прежде всего за «бытие на действительной баталии» [Сдвижков 2019: 173—176]. И несоответствие этому принципу воспринималось здесь наиболее болезненно. Так, князь П.Н. Щербатов, давний почитатель Вольтера и книголюб, сначала частным образом критикует порядки, когда «чесная служба немного помогает»[41]. Затем, будучи посланным из Заграничной армии в Петербург курьером, Щербатов использует эту возможность, и перед главным органом империи, координирующем военные усилия, Конференцией при Высочайшем Дворе, он, мелкий майоришка, обвиняет командование в слабой «субординации» армии, а всесильного фельдцейхмейстера графа П.И. Шувалова прямо в лицо критикует за недостатки любимого шуваловского детища, новой артиллерии. Шаг самоубийственной гражданской смелости — если не учитывать, что и Щербатов вместе с патриотическими идеалами учитывает непубличные реалии: он имеет сильного покровителя, графа П.Б. Шереметева, которому, очевидно, и удается замять начатое было военно-судное дело[42]. Схожего материала хватает и для второй половины века: к примеру, резкая критика генерал-поручиком С.М. Ржевским (1782) военных порядков в России, которые «отняли всю охоту к службе и погашают все патриотство»[43].

Екатерина II первыми своими манифестами оправдывала устроенный государственный переворот в том числе тем, что ее свергнутый супруг хотел про-

---

40 «Dieu, combien des hommes morts de tous les deux côté[s]! C'étoit plutôt une boucherie qu'une bataille <…> Voilà, mon chère cœur, Les Délices de la guerre, voilà pourquoi nous faisons des marches pénible[s], supportons toute[s] les fatigues et toute misére, pourquoi — pour mourir comme un chien ou pour faire mourir les autres» (Аноним («Pakalache») — Наталье [?], Пиритц 12/23.09.1758) // [Сдвижков 2019: 93, 266--273]. «Отрады», или «наслаждения» (délices), правителя войной, согласно Монтескье — «цель деспотий» (см.: [Польской 2012: 123]).

41 «Вот какое наше бедное состаяние. Работай как лошадь, будь безпакоен как гончая сабака, разаряйся без повароту, жди смерти еже минует, но либо уроду быть потерянием руки и ноги, а воздаяние будет равное как без чесному, трусу так и чесному человеку. Я <…> во время дела отлично храбро поступал, но знаю, что чесная служба немного помогает» (П. Щербатов — А.Н. Щербатову, Торн 23.12.1758 // РГАДА. Ф. 1274. Оп. 1. Ед. хр. 2726. Л. 1—2).

42 Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 8. Оп. 1/89. Д. 1424 (1759).

43 *Ржевский С.М.* Разные замечания по службе армейской, отчего она в упадок приведена и нелестно хорошим офицерам продолжать службу и о полковниках [1782] // О Русской армии во второй половине Екатерининского царствования (Русский архив. 1879. № 3. С. 358, 361).

должать войну[44], но в итоге империя при ней воевала почти беспрерывно. Имперский характер военных кампаний сохранялся, однако проблема с обоснованием «далеких войн» была не столь острой. Центральное значение имели русско-турецкие войны, легитимированные традицией борьбы с «нечестивыми агарянами», к которой подстраивалось светское государство, и притом все без исключения войны триумфальные. В этой связи для екатерининского времени принимается, что войны служили успешным средством легитимации империи и нейтрализации внутренних социальных конфликтов [Омельченко 1993: 12; Gleason 1981: 164]. Знаковой для «военно-патриотической» темы в России стала фигура А.В. Суворова — архетипического полководца империи и «усмирителя» ее окраин, который пишет из очередного похода в Польшу: «Je m'oubliait, s'il y allait du patriotisme»[45].

Однако в то же время линии разделений внутри элиты, возникшие уже во время Семилетней войны, углубляются. Критическое отношение к войне в эту эпоху неформальных придворных «социететов» [Марасинова 2017: 469—470] приобрело менее ситуативный и более системный характер. «Оппозиция войне» так называемой Панинской партии в екатерининское царствование опиралась не только на внешне- и внутриполитическую стратегию (система так называемого Северного аккорда, ориентация на наследника Павла Петровича) и торгово-экономические интересы ее участников [Бугров 2015; Мальгин 2013; Jones 1984; Ransel 1975]. Идеи, характеризующие этот круг, развивали выработанный в ходе Семилетней войны критический консенсус о противоречии «далеких» имперских войн камералистским принципам «сбережения» материальных и людских ресурсов. «Всякая война, — утверждал анонимный мемуар, — кроме законной обороны, которая яко меньшее зло не терпит никакого изъятия, предосудительна, ибо при народном уменьшении ослабевает еще торговля, источник всех богатств»[46]. А.И. Бибиков, под начальством которого служил А.В. Суворов и которому последний писал о своем патриотизме, с той же самой войны против Барской конфедерации в Польше сообщал Д.И. Фонвизину, члену Панинского кружка: «Пока руки есть, драться станем. Хотя, впрочем, и то истина, что православной Руси не худо бы и отдохнуть: черпаем ею во многие поливники. Надолго ли станет?»[47] Постоянные войны стали фоном как для перевода

---

44 «Из войны кровопролитной [Петр III] начинал другую безвременную и Государству Российскому крайне безполезную» («Обстоятельный манифест» от 06.07.1762 // Указы Всепресветлейшей державнейшей великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны, самодержицы всероссийской, состоявшиеся с благополучного вступления Ее Императорского Величества на всероссийский императорский престол, с 28 июня 1762 по 1763 год. Напечатаны по Высочайшему Ее Императорского Величества повелению. М.: При Сенате, 1763. С. 18).

45 В традиционном переводе: «Я забывал себя там, где надлежало мыслить о пользе общей» (Суворов А.В. — Бибикову А.И., Крейцбург, 25.11.1771 // Суворов А.В. Письма. М.: Наука, 1986. С. 25). Сам Суворов употреблял на русском вместо «патриотизма» «отечественность» («Был бы я безмрачен при соблюдении моей отечественности в общем благе» (Там же. С. 258)).

46 Записка о политических отношениях России, аноним, [1763?]) // АКВ. Кн. XXV. М., Университетская тип., 1882. С. 314). Ср. также придворный анонимный мемуар с резкой критикой уже итогов екатерининской внешней политики 1794 года: [Марасинова 2017: 447—476].

47 А.И. Бибиков — Д.И. Фонвизину, Варшава 23.02.1773 (*Вяземский П.А.* Фон-Визин // Вяземский П.А. Полное собрание сочинений. Т. 5 (1848 г.). СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1880. С. 47).

антивоенных трудов, так и впервые для самостоятельных работ С.Е. Десницкого, Я.П. Козельского, В.Ф. Малиновского [Пушкарев 1997; Schippan 1989; 2001].

Ключевым акцентом второй половины века стало увязывание законности войны не только с ее соответствием международному праву, но и — во внутриполитическом контексте — с идеей законной монархии, развивавшейся уже с елизаветинской эпохи и центральной для государственного дискурса в эпоху екатерининскую [Киселев 2022; Омельченко 1993]. «Антимилитаризм» законной монархии, отличающий ее от деспотии, был обоснован в западноевропейских источниках, прежде всего у популярных в России Монтескье, Фенелона и Юсти. Если не учитывать еще неустойчивую на русском языке политическую терминологию, цитаты из последнего в русском переводе звучали бы как «возмутительные»:

> Важный порок, который в самодержавиях (в оригинале — монархии (Monarchien). — *Д.С.*) ведется больше, нежели в других каких правлениях, и при том наивящще противен благосостоянию народного пропитания, есть склонность правительства к войнам… Самовластное [despotische], своевольное и неправосудное правительство препятствует совершенной устройке земныя поверьхности и цветущему состоянию народного пропитания[48].

Эти идеи развиты на отечественном опыте прошедшей Семилетней войны как фатального следствия порядков, «по которым, — пишет Н.И. Панин, — внутреннее государства состояние насильствовано и жертвовано для внешних политических дел»[49]. Насколько такая критическая линия была распространена, может свидетельствовать пример, выходящий за пределы круга элит. Памфлет 1790-х годов повторяет аргументацию Панина и Монтескье, очевидно апеллируя к событиям Семилетней войны, по итогам которой Россия уступила все свои завоевания:

> И дабы когда-нибудь народ не пришел в чувствие, [господа] сами затевают нарочно войны недельные (бессмысленные. — *Д.С.*); и хотя помощею Божею войны российские побеждают неприятелей, однако всегда завоеванные города и земли возвращают им, потому что их благородия на войне получают в награждение казенное имение и при замирании от неприятеля получают довольные подарки, а отечество до основания разоряют войнами [Бабкин 1968: 100; Клибанов 1977: 285—321].

В зрелой форме соображения «Панинской партии» вылились в обоснование необходимости новой гражданско-правовой основы для Российской военной империи, представлявшей собой в настоящем виде «государство, многочисленным и храбрым своим воинством страшное и которого положение таково, что потерянием одной баталии может иногда бытие его вовсе истребиться»[50]. Осно-

---

48 *Юстий И.Г.Г.* Основание силы и благосостояния царств… Ч. 2 (1775). С. 697—701.

49 Список с доклада гр. Н. Панина, 28.12.1762 (Бумаги, касающиеся до учреждения императорского совета) // Сборник Русского исторического общества. Т. 7. СПб.: Тип. ИАН, 1871. С. 206). Ср. Монтескье о внешних войнах как средстве преодолеть внутренние конфликты: «…дабы силою воинской строгости и могущества соединить тех, которых политические или гражданские пользы между собой разделили. Государство находится в слабости по причине зла всегда остающегося, и оно еще в большую приводится слабость поправлением» (О разуме законов. С. 272).

50 *Фонвизин Д.И.* Рассуждение о непременных государственных законах // Фонвизин Д.И. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М.; Л.: ГИХЛ, 1959. С. 265.

ванное на военной силе, но не имеющее «фундаментальных законов», государство не может апеллировать к «общему благу»: «...тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей»[51].

По отношению к войне *низов* обоснованных исследовательских оценок для нашего периода немного. В XIX веке, уже после Наполеоновских войн, сформировался официальный патриотический нарратив: «Всякий гражданин [в России] при малейших опасностях, угрожающих его отечеству, с радостию готов поднять оружие. Никогда не слышно было ропота против военного времени, как сие весьма приметно в других государствах»[52]. Ему противостоит в основе своей марксистский тезис о стихийном антимилитаризме «ширнармасс» [Голикова 1959: 163] и общегуманистический тезис о «жажде мира народа, который первым страдал от последствий войн» [Schippan 1989: 355]. Наконец, антиимперский/деколониальный дискурс в общем сводится к следующему: русские «могли гордиться тем, что хоть они и рабы, но рабы в необыкновенно мощной империи». Это дало «повод для национальной гордости, [которая] стала почвой для самого фанатичного национализма» [Гринфельд 2012: 190]. Тезис А. Рустемейер о тенденции превращения русских на протяжении XVIII века в «народ завоевателей» (Volk von Eroberern) интересен, но он упомянут вскользь и не подкреплен эмпирикой[53].

Никак не преуменьшая тяготы, несомые народом ради строительства, в том числе военного строительства, империи [Миронов 2004][54], стоит помнить о том, что войны раннего Нового времени, — даже нашествие Наполеона 1812 года, не говоря уже о «далеких» войнах, — прямо затрагивали только территорию на ограниченную глубину вдоль коммуникационных линий (военных дорог). В остальном война ощущалась опосредованно через государственные повинности, финансово-налоговое напряжение, проблемы внутренней безопасности [Сдвижков 2023: 227—228]. Армия требовала жертв рекрутчины, в самые острые периоды ежегодно. Но известно, что для общины, помимо возможностей откупиться, это был и инструмент отсеивания маргиналов, в результате чего в рекруты попадал преимущественно «бобыль, негодяй и такой мужик, о коем никто не сожалел»[55]. «Завоенные» и рекрутские плачи отражали столько же реальную драму, сколько подчинялись законам жанра ритуальных причитаний наравне с похоронными и свадебными [Иванов 2004: 9]. Ни налоговая дисциплина, ни статистика коллективных протестных движений для XVIII века не обнаруживают явной корреляции с имперскими войнами[56].

---

51 Там же. С. 255.

52 *Тучков С.А.* Военный словарь... С. 5.

53 Приводимые два дела Тайной канцелярии, на которые здесь опирается это в остальном замечательное исследование, такой обобщенный вывод не могут подтвердить, см. главку «Русские и война»: [Rustemeyer 2006: 333—336].

54 Наиболее тяжелыми с точки зрения биологического статуса населения оказываются, по Б.Н. Миронову, именно екатерининские войны второй половины столетия.

55 *Долгоруков И.М.* Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в Москве 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году от рождения моего: В 2 т. Т. 1. СПб.: Наука, 2004. С. 151.

56 Связь разве что опосредованная: так, первый толчок для волнений на периферии империи, среди казачества и «инородцев», как в случае Пугачевского восстания,

Но и говорить о «народном патриотизме» применительно к войне XVIII века вряд ли уместно. Материалы исторического фольклора — для этого времени преимущественно не «народные» песни, а солдатские и казацкие, ушедшие в народ — свидетельствуют об общей исторической памяти о враждебном окружении в условиях постоянной угрозы извне. Но отвлеченные представления о *государстве*, *отечестве*, *общем благе* этим источникам чужды [Хархордин 2011: 43—44]. Отношение к военной службе остается персонализированным — *государю*, а не *государству* — и в основе своей религиозным. Религиозная низовая культура определяет и критерии отношения к войне в целом, включая неортодоксальные варианты старообрядцев и различных сект.

В то же время если воображаемое патриотическое сообщество в XVIII веке не охватывало низы в целом, то включало нижних чинов в армии. «Воинские люди» на «службе Государя и отечества», в отличие от податных сословий, принимали присягу, подлежали особой юрисдикции и включались в семантику чести (солдатские шпаги, воинские ритуалы, наградные медали). Наряду с обязанностями, служба давала привилегии; в нижних чинах видели отнюдь не только «автоматы», помимо «палочной дисциплины» для них существовали инструменты мотивации — материальной (жалование, «святая добычь» законных трофеев, государственное обеспечение отставных), но и «идеальной» [Berkovich 2017]. К последним относилась практика зачитывания по ротам уставных требований, приказов, манифестов для «лутчаго салдатам вперения» — коллективная форма ходовой в XVIII веке практики «увещевания». Власть сознавала «полезности государственные от общества свободное познавать мнение»[57] и влияния на него, включая армию. В Семилетнюю войну «штаб-, обер- и ундер-офицерам» вменялось в обязанность «толковать подчиненным», что «во всех с разными войсками баталиях чрез пятьдесят лет (то есть после Полтавы. — *Д.С.*) деды и отцы их никогда и нигде от неприятеля не бежали», ибо, в отличие от прусских наемников, «за своего природного государя, православную веру и отечество в сражения вступают, а хотя в сражениях и убиты, то таковые несумненно в вечное блаженство и в царство небесное переселяются»[58].

С «принимающей» стороны нижних чинов основной горизонт социального ориентирования определен копирующей крестьянские общинные практики солдатской артелью[59], но можно видеть и идентификацию более высокого порядка. Отношение к традиционной триаде «государь — вера — отечество», к которой предлагается апеллировать в приведенной выше «политбеседе», проверяется, например, в экстремальных условиях плена, когда нижние чины

давали попытки государства добиться большей эффективности и «регулярства» их службы во внешних войнах. Об украинских казаках см.: [Лазарев 2023]. По сбору подушной подати см.: [Корчмина, Федюкин 2014]; см. также: [Hartley 2009; Дмитриева, Козлов 2020]. Бегство и дезертирство как формы пассивного протеста я оставляю за скобками из-за фрагментарности данных.

57 Проект П.И. Шувалова «О разных государственной пользы способах» (1754) // Конституционные проекты в России XVIII—XIX вв. / Сост. А.Н. Медушевский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 100.

58 Ордер П.И. Шувалова К.Б. Бороздину, 17.02.1758 // Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Ф. 2. ДКМ. Д. 530. Л. 1—5.

59 Ср.: «Дал Бог с ортелью своей жив» («Окопные» письма русских солдат 1700 г. // Козлов С.А. История России до XX века. Новые подходы к изучению. Курс лекций. СПб.: Историческая иллюстрация, 2008. С. 205).

отказываются, несмотря на принуждение, не только переменить веру, но и перейти на службу чужому государю[60].

В солдатской традиции еще с XVII века, в думах о взятии Смоленска и Азова, присутствует мотив заботы о *чести державы*, минуя командиров, подозреваемых в измене: в песне о взятии Шлиссельбурга, например, на вопрос Петра I, брать ли крепость, «братцы генералы» советуют ему отступить, тогда как «детушки солдаты» говорят: «Мы не будем ли от города отступати, / А будем мы его белою грудью брати»[61]. Хотя по мере мобилизации империей элит понимание *чести* смещается с коллективного на индивидуальное, *честь* остается в XVIII веке объединяющим понятием «и для элиты, и для народа в целом» [Коллманн 2001: 365—367; Каменский 2007: 20—21]. Война во имя славы, или «фамы», правителя, основной составляющей его чести — один из главных объектов антимилитаристской критики Просвещения [Польской 2012: 122]. Однако с солдатской перспективы армия одновременно отстаивает честь монарха и державы. Армия — и особенно армия в далеких *походах* — представляет империю в целом через объединяющее «наши», донациональное чувство общности (Wir-Gefühl) [Сдвижков 2023: 218—220], общее для верхов и низов.

В качестве иллюстрации положения «в тылу» приведу дело Тайной канцелярии июня 1760 года: в слободе Успенского Колоцкого монастыря в компании монахов и служителей разговаривали «о российской и прусской баталиях» (то есть Семилетней войне), на что местный конюший «объявил что де прусской король русских салдат давит как зайцов», в чем «помоги-де ему Бог». «Заспоря с ним, оные келейники» первым делом засомневались, крещен ли непатриотичный конюший. При разбирательстве выяснилось, что крещен, однако «природою прусак» от смешанного брака, на основании чего вина была сочтена доказанной и виновный бит плетьми. Здесь можно видеть, как внимательно следят за войной даже в столь неочевидных местах: монахи и монастырские служки в курсе военных событий, объявляемых с церковного амвона, плюс устная информация от проезжающих по Смоленской дороге, где расположена обитель, и отставных, направляемых в монастыри. Среди критериев принадлежности к донациональной общности наряду с крещением и природной «русскостью» фигурирует также радение о престиже «своей» армии[62].

Отзвуки властного нарратива можно проиллюстрировать и на примере восприятия высшей из возможных патриотических добродетелей, военного героизма и смерти за отечество. Утверждение о том, что на протяжении XVIII века «мрачный западный идеал славной “смерти за отечество” оставался практически чужд российскому менталитету», и следовательно, сознательного патриотизма в тогдашней Российской императорской армии не было [Duffy 1981: 155], требует уточнения. Так, после гибели генерала Василия Лопухина в битве при Гросс-Егерсдорфе (1757) вместо краткого упоминания о нем в реляции главнокомандующего Апраксина в публичной версии реляции, разосланной для обнародования, пассаж о смерти Лопухина был расширен (скорее всего, упомянутым «секретарем по идеологии» Д.В. Волковым) и выстроен по классическим

60 Как характерное личное свидетельство: Похождение прапорщика Климова: мемуары XVIII века / Изд. Е.Д. Кукушкиной. СПб.: Пушкинский Дом, 2017.

61 Исторические песни XVIII века / Изд. О.Б. Алексеева, Л.И. Емельянов. Л.: Наука, 1971. С. 65.

62 РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1962.

героическим канонам: «…храбрый генерал Василий Абрамович Лопухин убит, но своею неустрашимою храбростью много способствовал одержанию победы… Быв вдруг тремя пулями весьма тяжко ранен, однако же, сохраняя остатки жизни, спрашивал только: гонят ли неприятеля… последние его были слова: теперь умираю спокойно, отдав мой долг всемилостивейшей государыне»[63]. Эхом этой реляции стал обширный цикл солдатских/народных песен о Лопухине. Из них видно, что героизм в низовом понимании вместо «смерти за отечество» укладывался в сюжет «жизнь за царя» и отражал типологическую житийную роль мученика (Лопухин был сыном казненного по делу царевича Алексея брата царицы Евдокии и песни о нем примыкали к циклу песен о Евдокии Лопухиной как мученице и страдалице)[64]. Контаминация *подвига* в привычном религиозном и новом светском смысле характерна еще и для высокой патриотической литературы:

Какого светлость зрю собора?
Подвижники меж звезд стоят,
Петрова наслаждаясь взора,
Красуйтесь, к сродникам гласят;
Мы стерли мужеством гордыню,
Мы смерть прияли за богиню…[65]

Симптоматично для «солдатского патриотизма» отсутствие всякой культуры триумфа, вроде бы приличествующей «народу завоевателей»: песен о главном триумфе Семилетней войны российской армии, победе при Кунерсдорфе (1759), например, нет вообще. Взятие Берлина в 1760 году в солдатском фольклоре отмечено причитаниями «пруцкого короля» Фридриха II о потерянной «укрепушке». Связано это, скорее всего, с теми же законами жанра: как и рекрутские, солдатские песни (аутентичные, а не стилизованные «молодецкие») имели минорную окраску — как писали в тогдашних песенниках, «на голос томной»[66].

Массовая критическая рефлексия о войне проявляется в России прежде всего в форме слухов. Политика властей по отношению к ним и в целом к «низовой» публичной сфере свидетельствует о универсальной для континентальных европейских держав раннего Нового времени дилемме между стремлением мобилизовать ресурсы и легитимировать свои действия, вовлекая население в войну как патриотов и граждан, и необходимостью контролировать это фактическое вовлечение в политику. Государство одновременно инициирует публичность и ограничивает ее, сохраняя войну в числе прочих политических компетенций власти в сфере тайной, секретной (arcanum imperii) [Rustemeyer

63 *Юсов Д.А.* Реляции главнокомандующих русской армией периода Семилетней войны: Источниковедческое исследование: Дис. … канд. ист. наук. М., 1999. С. 157—159.

64 Исторические песни XVIII века. С. 104—105.

65 Ода Ее Императорскому Величеству Всепресветлейшей Державнейшей Великой Государыне императрице Елизавете Петровне, самодержице всероссийской, на торжественный праздник тезоименитства Ее Величества сентября 5 дня 1759 года, и на преславные ее победы, одержанные над королем прусским нынешнего 1759 года, которою приносится всенижайшее и всеусерднейшее поздравление от всеподданейшего раба Михаила Ломоносова // Ломоносов М.В. Избранные произведения. Л.: Советский писатель, 1986. С. 85.

66 Песни, собранные П.В. Киреевским: [Ч. 1—10] / изданы Обществом любителей российской словесности. Вып. 9. М.: Тип. Бахметева, 1872. С. 143.

2006]. Все монархии континента законодательно борются с «пасквилями» в печатной и устной форме, дискредитирующими военную мораль [Van Horn Melton 2004: 70—73]. Во Франции в Семилетнюю войну роль козла отпущения достается мадам Помпадур, короля пока щадят [Dziembowski 2019]. В России народная молва (как генеральша Глебова выше) тоже видит в роли зачинщиков войны клан фаворитов (Шуваловых), но недовольство войной и прямо переходит на персону императрицы, обостряя актуальную для XVIII века проблему «бабьего царства» [Анисимов 1999: 64—68; 2011][67]. Показательно, однако, что власти не ограничиваются политическими репрессиями и запретами «недозволенных речей» в «публишных соборищах» [Анисимов 1999: 89], но и сами действуют в публичном поле, распространяя печатные дисклеймеры или устраивая в опровержение слухов показательные акции, причем с обязательным привлечением нижних чинов [Сдвижков 2023: 238—239].

Итак: понятно, что начальный вопрос в заголовке риторический. Хотеть войну русские не хотели, но *принимали* по-разному в промежутке между «агрессивным национализмом» и «стихийным антимилитаризмом». Благодаря «особому публичному характеру военных действий» [Füssel 2019: 482] в раннее Новое время война представляла собой не просто «продолжение политических отношений, проведение их другими средствами»[68], — войны фактически *создавали* политическое пространство. Приобщение к нему, которое государство не только допускало, но требовало, и в России порождало потенциал, определенно превосходивший «вдалбливание в головы подданных» [Гринфельд 2012: 196]. Если это так, вокруг отношения к войне — не только[69], но в значительной степени — концентрируется политическое сознание, которое в военной империи пересекается с сознанием имперским. Формирование последнего выходило за пределы детерминированности объективными обстоятельствами и «подчинения внутренних устремлений человека потребностям империи» [Марасинова 2008: 112], представляя собой процессы делиберации/обсуждения.

Аффирмативный характер имела «гордость за державу», за ее мощь, славу, материализованную в военных триумфах и господстве над огромными пространствами. Но «великодержавность» и «милитаризм» не были безусловными. *Критический* потенциал несли переменчивость («контингентность») военного счастья как критерия состоятельности империи и трудности публичной легитимации «далеких» войн с расширением имперских пределов. Параметры этой критики были заложены в России в период Семилетней войны и развивались во второй половине столетия. Среди элит стремление власти добиться мотивации к службе («анкуражировать») [Федюкин 2014: 115] без по-

67 Например, высказывание обывателей завоеванной Восточной Пруссии: «…мир скоро бы воспоследовал, ежели б два государя были, но как между ими глупая баба, то и так трудно» (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1993. Л. 9). Ср.: Там же. Д. 1883; и др.

68 *Клаузевиц К.* О войне. М.: Госвоениздат, 1934. С. 15.

69 Схожие механизмы расширения публичности проявляются и в другие кризисные для власти моменты — междуцарствия, внутренние конфликты, придворные «революции» и т.п., порождающие «обстоятельные» манифесты и «рассуждения» с легитимацией действий власти (ср., например, появление «Правды воли монаршей» в русле дела царевича Алексея в том же 1722 году, что и расширенное издание «Разсуждения» Шафирова), а также критическую реакцию снизу (слухи о самозванцах). См. размышления по этому поводу в: [Акельев 2021].

литического участия уравновешивалось обсуждением содержания патриотизма (*любви к отечеству*) и модели поведения патриота (*сына отечества*), обращавшего патриотический дискурс в конечном счете во внутриполитический. Среди «низов» отдельно выделяются армейские нижние чины, в понимании эпохи входившие в патриотическое сообщество и вовлеченные в активность, которую можно назвать околополитической[70]. «Низы» и на «фронте», и в «тылу» разделяют чувство общности, наряду с этноконфессиональными мотивами определяемое соображениями о «чести державы». Свидетельством их критической реакции на публикации властей наряду с «потаенной» литературой могут служить слухи. Такого рода коммуникация выводила домодерную публичную сферу за рамки «плебейской», толпы зевак, млеющей от победных фанфар, жареных быков и винных фонтанов.

«Беллицизм» описанных процессов и размытость критериев, с одной стороны, лишают «публичную сферу» нормативной ориентации на гуманизм, рациональность и демократию. С другой стороны, расширение предметов, обладателей и способов выработки политического сознания — в том числе активное участие в так понятой публичной сфере женщин, от мещанки Алены Климовой до генеральши Прасковьи Глебовой — придают «публичной сфере» новую перспективу[71].

В целом «общим делом» имперские войны в массовом сознании не стали: характерно, что в солдатских песнях Семилетняя война, вопреки реалиям, представлялась как «правильная» — то есть оборонительная[72]. И логично, что делом действительно общим («всем миром навалиться хотят») становится в 1812 году война, в которой предикат «отечественная» изначально противопоставлялся далеким имперским войнам: «Война в собственных пределах была целый век уже не известна России… войска ее до сего всегда ходили в чужие земли… Но силы неприятеля несметны… при таковой неравной борьбе отечественная война приемлется»[73]. «Всесословный патриотизм» 1812 года перекидывает мостик к эпопее Смутного времени [Кром 2018: 232], вроде бы минуя предыдущий век имперских триумфов. Но где преемственность очевидна, так это в развитии конкуренции смыслов в патриотизме, использовании подданными империи критического потенциала публичности войны. Что проявляется в углубляющемся разделении между «отечеством» и «государством», противоречиях между имперским и национальным/народным, из которых вырастает декабризм и «расхождение путей» государства и общества.

---

70 Косвенным подтверждением этому может служить высокий процент политических дел с участием солдат [Анисимов 1999: 685—686].

71 Сам Хабермас в «апдейте» к своей теории критически переоценивает степень инклюзивности «буржуазной» и второстепенность «плебейской» публики и рассматривает вопрос множественности публичных сфер [Habermas 1990: 17—20]. В то же время по-прежнему «Хабермас полностью игнорирует важную роль войн в становлении политической публичной сферы» [Gestrich 2006: 421]. Исследовавший домодерную публичную сферу Андреас Гестрих предлагает интерпретировать ее вне нормативно-ценностных рамок в духе функционализма Никласа Лумана.

72 Исторические песни XVIII века. С. 239—240.

73 *Ахшарумов Д.И.* Историческое описание войны 1812-го года.СПб.: Имп. тип., 1813. С. 6—7.

Библиография / References

[Абрамзон 2010] — *Абрамзон Т.Е.* Генезис и эволюция формулы сын(-ы) отечества (К вопросу о диалоге дискурсивных практик в России XVIII века) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2010. № 2. С. 251—264.

(*Abramzon T.E.* Genezis i evolyutsiya formuly syn(-y) otechestva (K voprosu o dialoge diskursivnykh praktik v Rossii XVIII veka) // Problemy istorii, filologii, kul'tury. 2010. No. 2. P. 251—264.)

[Агеева 1999] — *Агеева О.И.* Титул «император» и понятие «империя» в России в первой четверти XVIII века // Мир истории: Российский электронный журнал. 1999. № 5 (http://www.historia.ru/1999/05/ageyeva.htm (дата обращения: 18.04.2024)).

(*Ageyeva O.I.* Titul "imperator" i ponyatie "imperiya" v Rossii v pervoy chetverti XVIII veka // Mir istorii: Rossiyskiy elektronnyy zhurnal. 1999. No. 5 (http://www.historia.ru/1999/05/ageyeva.htm (accessed: 18.04.2024)).)

[Акельев 2021] — *Акельев Е.* Режимы публичности и верховная власть в Московском царстве и Российской империи // Cahiers du Monde Russe. 2021. Т. 62. № 4. С. 785—814.

(*Akel'yev Ye.* Rezhimy publichnosti i verkhovnaya vlast' v Moskovskom tsarstve i Rossiyskoy imperii // Cahiers du Monde Russe. 2021. Vol. 62. No. 4. P. 785—814.)

[Алексеева 2005] — *Алексеева Н.Ю.* Русская ода: Развитие одической формы в XVII—XVIII веках. СПб.: Наука, 2005.

(*Alekseyeva N.Yu.* Russkaya oda: Razvitie odicheskoy formy v XVII—XVIII vekakh. Saint Petersburg, 2005.)

[Анисимов 1997] — *Анисимов Е.В.* Исторические корни имперского мышления в России // Proceedings of Winter Symposium Socio-Cultural Dimensions of the Changes in the Slavic-Eurasian World. 1997 (http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/Proceed97/Anisimov.html (дата обращения: 17.04.2024)).

(*Anisimov Ye.V.* Istoricheskie korni imperskogo myshleniya v Rossii // Proceedings of Winter Symposium Socio-Cultural Dimensions of the Changes in the Slavic-Eurasian World. 1997 (http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sympo/Proceed97/Anisimov.html (accessed: 17.04.2024)).)

[Анисимов 1999] — *Анисимов Е.В.* Дыба и кнут: политический сыск и русское общество в XVIII веке. М.: Новое литературное обозрение, 1999.

(*Anisimov Ye.V.* Dyba i knut: politicheskiy sysk i russkoe obshchestvo v XVIII veke. Moscow, 1999.)

[Анисимов 2011] — *Анисимов Е.В.* Женщина у власти в XVIII в. как проблема // https://perspectivia.net/receive/ploneimport_mods_00011441 (дата обращения: 21.04.2024).

(*Anisimov Ye.V.* Zhenshchina u vlasti v XVIII v. kak problema // https://perspectivia.net/receive/ploneimport_mods_00011441 (accessed: 21.04.2024).)

[Анисимов 2018] — *Анисимов Е.В.* Речь Петра Великого на Полтавском поле в 1709 году (к анализу источников) // Новгородская земля, Санкт-Петербург и Швеция в XVII—XVIII вв.: Сб. статей к 100-летию со дня рождения Игоря Павловича Шаскольского. Ч. 20. Вып. 4. СПб.: Нестор-История, 2018. С. 67—97.

(*Anisimov Ye.V.* Rech' Petra Velikogo na Poltavskom pole v 1709 godu (k analizu istochnikov) // Novgorodskaya zemlya, Sankt-Peterburg i Shvetsiya v XVII—XVIII vv.: Sb. statey k 100-letiyu so dnya rozhdeniya Igorya Pavlovicha Shaskol'skogo. Pt. 20. Vol. 4. Saint Petersburg, 2018. P. 67—97.)

[Бабкин 1968] — *Бабкин Д.С.* Русская потаенная социальная утопия XVIII века // Русская литература. 1968. № 4. С. 93—106.

(*Babkin D.S.* Russkaya potayennaya sotsial'naya utopiya XVIII veka // Russkaya literatura. 1968. No. 4. P. 93—106.)

[Бугров 2015] — *Бугров К.Д.* Территориальная протяженность России как концепт международной политики: северная система Никиты Панина (1760-е — 1770-е годы) // Былые годы. Т. 36. № 2. С. 245—253.

(*Bugrov K.D.* Territorial'naya protyazhennost' Rossii kak kontsept mezhdunarodnoy politiki: severnaya sistema Nikity Panina (1760-e — 1770-e gody) // Bylye gody. Vol. 36. No. 2. P. 245—253.)

[Вульпиус 2023] — *Вульпиус Р.* Рождение Российской империи. Концепции и практики политического господства в XVIII веке / Пер. с нем. М. Богданович. М.: Новое литературное обозрение, 2023.

(*Vulpius R.* Die Geburt des Russländischen Imperiums. Herrschaftskonzepte und -praktiken im 18. Jahrhundert. Moscow, 2023. — In Russ.)

[Гайер 2023] — *Гайер Д.* «Общество» как государственное установление. Социально-

исторические аспекты российской государственной власти в XVIII веке / Пер. с нем. М. Лавринович // Вивліоѳика: E-Journal of Eighteenth-Century Russian Studies. 2023. Vol. 11 (https://iopn.library.illinois.edu/journals/vivliofika/article/view/1429/1198 (дата обращения: 17.04.2024)).

(*Geyer D.* „Gesellschaft“ als staatliche Veranstaltung: Bemerkungen zur Sozialgeschichte der russischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert // Вивліоѳика: E-Journal of Eighteenth-Century Russian Studies. 2023. Vol. 11 (https://iopn.library.illinois.edu/journals/vivliofika/article/view/1429/1198 (accessed: 17.04.2024)). — In Russ.)

[Голикова 1959] — *Голикова Н.Б.* Политические процессы при Петре I. М.: МГУ, 1959.

(*Golikova N.B.* Politicheskie protsessy pri Petre I. Moscow, 1959.)

[Гринфельд 2012] — *Гринфельд Л.* Национализм. Пять путей к современности / Пер. с англ. Т.И. Грингольц, М.Р. Вирозуб. М.: ПЕР СЭ, 2012.

(*Greenfeld L.* Nationalism: Five Roads to Modernity. Moscow, 2012. — In Russ.)

[Дмитриева, Козлов 2020] — *Дмитриева З.В., Козлов С.А.* Налоги и войны в России XVII—XVIII вв. СПб.: Историческая иллюстрация, 2020.

(*Dmitriyeva Z.V., Kozlov S.A.* Nalogi i voyny v Rossii XVII—XVIII vv. Saint Petersburg, 2020.)

[Иванов 2004] — *Иванов Ф.Н.* История рекрутской повинности в России (1699—1874 гг.). М.: Перо, 2004.

(*Ivanov F.N.* Istoriya rekrutskoy povinnosti v Rossii (1699—1874 gg.). Moscow, 2004.)

[Иванов, Киценко 2023] — *Иванов А., Киценко Н.* Семилетняя война в литургической практике и гомилетике православной церкви // Россия в глобальном конфликте XVIII века. Семилетняя война и российское общество / Под ред. М.Ю. Анисимова, Д.А. Сдвижкова. М.: Новое литературное обозрение, 2023. С. 380—396.

(*Ivanov A., Kizenko N.* Semiletnyaya voyna v liturgicheskoy praktike i gomiletike pravoslavnoy tserkvi // Rossiya v global'nom konflikte XVIII veka. Semiletnyaya voyna i rossiyskoe obshchestvo / Ed. by M.Yu. Anisimov, D.A. Sdvizhkov. Moscow, 2023. 380—396.)

[Каменский 2007] — *Каменский А.Б.* Подданство, лояльность, патриотизм в имперском дискурсе России XVIII в.: исследовательские проблемы: Препринт WP6/2007/04. М.: ГУ ВШЭ, 2007.

(*Kamenskiy A.B.* Poddanstvo, loyal'nost', patriotizm v imperskom diskurse Rossii XVIII v.: issledovatel'skie problemy: Preprint WP6/2007/04. Moscow, 2007.)

[Киселев 2022] — *Киселев М.* Адаптация антиабсолютистского монархизма в России в первые две трети XVIII века // Лаборатория понятий: перевод и языки политики в России XVIII века / Под ред. С.В. Польского, В.С. Ржеуцкого. М.: Новое литературное обозрение, 2022. С. 339—374.

(*Kiselev M.* Adaptatsiya antiabsolyutistskogo monarkhizma v Rossii v pervye dve treti XVIII veka // Laboratoriya ponyatiy: perevod i yazyki politiki v Rossii XVIII veka / Ed. by S.V. Pol'skoy, V.S. Rjeoutski. Moscow, 2022. P. 339—374.)

[Киселев, Кочегаров, Лазарев 2022] — *Киселев М.А., Кочегаров К.А., Лазарев Я.А.* Патроны, слуги и друзья. Русско-украинские неформальные связи и управление Гетманщиной в 1700—1760-х гг. Исследование и источники. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2022.

(*Kiselev M.A., Kochegarov K.A., Lazarev Ya.A.* Patrony, slugi i druz'ya. Russko-ukrainskiye neformal'niyye svyazi i upravleniye Getmanshchinoy v 1700—1760-kh gg. Issledovaniye i istochniki. Ekaterinburg, 2022.)

[Клейн 2018] — *Клейн Й.* Торжествующая Россия. Военная лирика XVIII века // Словене / Slověne. 2018. № 1. С. 174—210.

(*Klein J.* Russia Triumphant. War Poetry in the Eighteenth Century // Slověne. 2018. No. 1. P. 174—210. — In Russ.)

[Клибанов 1977] — *Клибанов А.И.* Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М.: Наука, 1977.

(*Klibanov A.I.* Narodnaya sotsial'naya utopiya v Rossii. Period feodalizma. Moscow, 1977.)

[Коллманн 2001] — *Коллманн Н.Ш.* Соединенные честью: Государство и общество в России раннего Нового времени / Пер. с англ. А.Б. Каменский. М.: Древлехранилище, 2001.

(*Kollmann N.S.* By Honour bound: State and Society in Early Modern Russia. — In Russ.)

[Корчмина, Федюкин 2014] — *Корчмина Е., Федюкин И.* Собираемость подушной подати в середине XVIII в.: к вопросу об эффективности государственного аппарата в России в исторической перспективе // Экономическая история: Ежегодник. 2013. М.: РОССПЭН, 2014. С. 89—127.

(*Korchmina Ye., Fedyukin I.* Sobiraemost' podushnoy podati v seredine XVIII v.: k voprosu ob effektivnosti gosudarstvennogo apparata v Rossii v istoricheskoy perspektive // Ekonomicheskaya istoriya: Ezhegodnik. 2013. Moscow, 2014. P. 89—127.)

[Кром 2018] — *Кром М.М.* Рождение государства: Московская Русь XV—XVI веков. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

(*Krom M.M.* Rozhdenie gosudarstva: Moskovskaya Rus' XV—XVI vekov. Moscow, 2018.)

[Лазарев 2023] — *Лазарев Я.А.* «И войска сии были при баталии Эгерсдорфской и на других сражениях...»: малороссийское казачество в контексте военных мобилизаций и планов российского правительства в годы Семилетней войны // Россия в глобальном конфликте XVIII века. Семилетняя война и российское общество / Под ред. М.Ю. Анисимова, Д.А. Сдвижкова. М.: Новое литературное обозрение, 2023. С. 342—367.

(*Lazarev Ya.A.* "I voyska sii byli pri batalii Egersdorfskoy i na drugikh srazheniyakh…": malorossiyskoe kazachestvo v kontekste voyennykh mobilizatsiy i planov rossiyskogo pravitel'stva v gody Semiletney voyny // Rossiya v global'nom konflikte XVIII veka. Semiletnyaya voyna i rossiyskoe obshchestvo / Ed. by M.Yu. Anisimov, D.A. Sdvizhkov. Moscow, 2023. P. 342—367.)

[Лотман, Успенский 1982] — *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в идеологии Петра Первого // Художественный язык средневековья / Отв. ред. В.А. Карпушин. М.: Наука, 1982. С. 236—249.

(*Lotman Yu.M., Uspenskiy B.A.* Otzvuki kontseptsii "Moskva — tretiy Rim" v ideologii Petra Pervogo // Khudozhestvennyy yazyk srednevekov'ya / Ed. by. V.A. Karpushin. Moscow, 1982. P. 236—249.)

[Мальгин 2013] — *Мальгин А.В.* Присоединение Крыма к России в конце XVIII в. в свете мотивов имперской экспансии // История и современность. 2013. № 1. С. 45—68.

(*Mal'gin A.V.* Prisoedinenie Kryma k Rossii v kontse XVIII v. v svete motivov imperskoy ekspansii // Istoriya i sovremennost'. 2013. No. 1. P. 45—68.)

[Марасинова 2008] — *Марасинова Е.Н.* Власть и личность: очерки русской истории XVIII века. М.: Наука, 2008.

(*Marasinova Ye.N.* Vlast' i lichnost': ocherki russkoy istorii XVIII veka. Moscow, 2008.)

[Марасинова 2017] — *Марасинова Е.Н.* «Закон» и «гражданин» в России второй половины XVIII века: очерки истории общественного сознания. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

(*Marasinova Ye.N.* "Zakon" i "grazhdanin" v Rossii vtoroy poloviny XVIII veka: ocherki istorii obshchestvennogo soznaniya. Moscow, 2017.)

[Миллер 2010] — *Миллер А.* Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. 2-е изд., испр. и доп. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

(*Miller A.* Imperiya Romanovykh i natsionalizm: esse po metodologii istoricheskogo issledovaniya. 2nd ed., rev. and add. Moscow, 2010.)

[Миронов 2004] — *Миронов Б.Н.* Антропометрический подход к изучению благосостояния населения России в XVIII веке // Отечественная история. 2004. № 6. С. 17—30.

(*Mironov B.N.* Antropometricheskiy podkhod k izucheniyu blagososotoyaniya naseleniya Rossii v XVIII veke // Otechestvennaya istoriya. 2004. No. 6. P. 17—30.)

[Омельченко 1993] — *Омельченко О.А.* «Законная монархия» Екатерины II: просвещенный абсолютизм в России. М.: Юрист, 1993.

(*Omel'chenko O.A.* "Zakonnaya monarkhiya" Ekateriny II: prosveshchennyy absolyutizm v Rossii. Moscow, 1993.)

[Осповат 2020] — *Осповат К.* Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

(*Ospovat K.* Pridvornaya slovesnost': institut literatury i konstruktsii absolyutizma v Rossii serediny XVIII veka. Moscow, 2020.)

[Польской 2012] — *Польской С.В.* Конституция и фундаментальные законы в русском политическом дискурсе XVIII века // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода / Под ред. А.И. Миллера, Д.А. Сдвижкова, И. Ширле. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 94—150.

(*Pol'skoy S.V.* Konstitutsiya i fundamental'nye zakony v russkom politicheskom diskurse XVIII veka // "Ponyatiya o Rossii". K istoricheskoy semantike imperskogo perioda / Ed. by A.I. Miller, D.A. Sdvizhkov, I. Shirle. Moscow, 2012. P. 94—150.)

[Польской 2018] — *Польской С.В.* «Должность государя патриота»: рукописный перевод и монархический дискурс Просвещения в России третьей четверти XVIII века // Век Просвещения / Отв. ред. С.Я. Карп; сост. Г.А. Космолинская. М.: Наука, 2006. С. 155—175.

(*Pol'skoy S.V.* "Dolzhnost' gosudarya patriota": rukopisnyy perevod i monarkhicheskiy diskurs Prosveshcheniya v Rossii tret'yey chetverti XVIII veka // Vek Prosveshcheniya / Ed. by S.Ya. Karp; comp. by G.A. Kosmolinskaya. Moscow, 2006. P. 155—175.)

[Пумпянский 1935] — *Пумпянский Л.В.* Очерки по литературе первой половины XVIII века // XVIII век: Сборник статей

и материалов / Под ред. А.С. Орлова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935. С. 83—132.

(*Pumpyanskiy L.V.* Ocherki po literature pervoy poloviny XVIII veka // XVIII vek: Sbornik statey i materialov / Ed. by A.S. Orlov. Moscow; Leningrad, 1935. P. 83—132.)

[Пушкарев 1997] — *Пушкарев Л.Н.* Думы о мире в русском фольклоре и в общественной мысли XVII—XVIII вв. // Долгий путь российского пацифизма: идеал международного и внутреннего мира в религиозно-философской и общественно-политической мысли России / Отв. ред. Т.А. Павлова. М.: ИВИ РАН, 1997. С. 57—71.

(*Pushkarev L.N.* Dumy o mire v russkom fol'klore i v obshchestvennoy mysli XVII—XVIII vv. // Dolgiy put' rossiyskogo patsifizma: ideal mezhdunarodnogo i vnutrennego mira v religiozno-filosofskoy i obshchestvenno-politicheskoy mysli Rossii / Ed. by T.A. Pavlova. Moscow, 1997. P. 57—71.)

[Сдвижков 2010] — *Сдвижков Д.А.* Империя в наполеоновском наряде. Восприятие французского неоклассицизма в Российской империи // Imperium inter pares. Роль трансферов в образе и функционировании Российской империи / Под ред. М. Ауст, А.И. Миллер, Р. Вульпиус. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 67—104.

(*Sdvizhkov D.A.* Imperiya v napoleonovskom naryade. Vospriyatie frantsuzskogo neoklassitsizma v Rossiyskoy imperii // Imperium inter pares. Rol' transferov v obraze i funktsionirovanii Rossiyskoy imperii / Ed. by M. Aust, A.I. Miller, R. Vul'pius. Moscow, 2010. P. 67—104.)

[Сдвижков 2012] — *Сдвижков Д.А.* Самодержавие любви: 1812 г. как роман // Отечественные записки. 2014. № 6 (63). (http://www.stranaoz.ru/2014/6/samoderzhavie-lyubvi-1812-god-kak-roman (дата обращения: 20.04.2024)).)

(*Sdvizhkov D.A.* Samoderzhavie lyubvi: 1812 g. kak roman // Otechestvennyye zapiski. 2014. No. 6 (63) (http://www.stranaoz.ru/2014/6/samoderzhavie-lyubvi-1812-god-kak-roman (accessed: 20.04.2024.)

[Сдвижков 2019] — *Сдвижков Д.А.* Письма с Прусской войны. Люди Российско-императорской армии в 1758 году. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

(*Sdvizhkov D.A.* Pis'ma s Prusskoy voyny. Lyudi Rossiysko-imperatorskoy armii v 1758 godu. Moscow, 2019)).)

[Сдвижков 2023] — *Сдвижков Д.А.* Россия в эпоху Семилетней войны по личным свидетельствам: проблемы и возможности // Россия в глобальном конфликте XVIII века. Семилетняя война и российское общество / Под ред. М.Ю. Анисимова, Д.А. Сдвижкова. М.: Новое литературное обозрение, 2023. С. 211—249.

(*Sdvizhkov D.A.* Rossiya v epokhu Semiletney voyny po lichnym svidetel'stvam: problemy i vozmozhnosti // Rossiya v global'nom konflikte XVIII veka. Semiletnyaya voyna i rossiyskoe obshchestvo / Ed. by M.Yu. Anisimov, D.A. Sdvizhkov. Moscow, 2023. P. 211—249.)

[Тюличев 1986] — *Тюличев Д.В.* Издания Петербургской Академии наук в социально-культурной жизни Москвы 50—60-х годов XVIII в. // Книга и социальный прогресс / Под ред. Н.М. Сикорского. М.: Наука, 1986. С. 179—189.

(*Tyulichev D.V.* Izdaniya Peterburgskoy Akademii nauk v sotsial'no-kul'turnoy zhizni Moskvy 50—60-kh godov XVIII v. // Kniga i sotsial'nyy progress / Ed. by N.M. Sikorskyi. Moscow, 1986. P. 179—189.)

[Тюличев 1987] — *Тюличев Д.В.* Социальный состав подписчиков «Санктпетербургских ведомостей» (середина XVIII в.) // Книга в России. XVI — середина XIX в. Книгораспространение, библиотеки, читатель: Сб. науч. трудов / Отв. ред. А.А. Зайцева. Л.: БАН, 1987. С. 61—70.

(*Tyulichev D.V.* Sotsial'nyy sostav podpischikov "Sanktpeterburgskikh vedomostey" (seredina XVIII v.) // Kniga v Rossii. XVI — seredina XIX v. Knigorasprostranenie, biblioteki, chitatel': Sb. nauch. trudov / Ed. by A.A. Zaytseva. Leningrad, 1987. P. 61—70.)

[Федюкин 2014] — *Федюкин И.И.* «Честь к делу ум и охоту раждает»: реформа дворянской службы и теоретические основы сословной политики в 1730-е гг. // Гиштории российские, или Опыты и разыскания к юбилею Александра Борисовича Каменского / Сост. Е.В. Акельев, В.Е. Борисов; отв. ред. Е.Б. Смилянская. М.: Древлехранилище, 2014. С. 83—142.

(*Fedyukin I.I.* "Chest' k delu um i okhotu razhdaet": reforma dvoryanskoy sluzhby i teoreticheskiye osnovy soslovnoy politiki v 1730-e gg. // Gishtorii rossiyskie, ili Opyty i razyskaniya k yubileyu Aleksandra Borisovicha Kamenskogo / Comp. by Ye.V. Akel'yev, V.E. Borisov; ed. by Ye.B. Smilyanskaya. Moscow, 2014. P. 83—142.)

[Филюшкин 2013] — *Филюшкин А.И.* Изобретая первую войну России и Европы: балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков. СПб.: Дмитрий Буланин, 2013.

(*Filyushkin A.I.* Izobretaya pervuyu voynu Rossii i Evropy: baltiyskie voyny vtoroy poloviny XVI v. glazami sovremennikov i potomkov. Saint Petersburg, 2013.)

[Хабермас 2016] — *Хабермас Ю.* Структурное изменение публичной сферы: исследования относительно категории буржуазного общества / Пер. с нем. В.В. Иванова. М.: Весь мир, 2016.
(*Habermas J.* Strukturwandel der Öffentlichkeit. Moscow, 2016. — In Russ.)
[Хархордин 2011] — *Хархордин О.* Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
(*Kharkhordin O.* Osnovnye ponyatiya rossiyskoy politiki. Moscow, 2011.)
[Хоскинг 2001] — *Хоскинг Дж.* Россия: народ и империя (1552—1917) / Пер. с англ. С.Н. Самуйлова. Смоленск: Русич, 2001.
(*Hosking G.* Russia: People and Empire, 1552—1917. Smolensk, 2001. — In Russ.)
[Ширле 2018] — *Ширле И.* Понятие политического в России XVIII в. / Пер. с нем. К. Левинсона // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2018. № 2. С. 7—33.
(*Schierle I.* Ponyatie politicheskogo v Rossii XVIII v. // Moscow University Bulletin. Series 12. Political Science. 2018. No. 2. P. 7—33.)
[Berger, Miller 2015] — Nationalizing Empires / Ed. by S. Berger, A. Miller. Budapest; New York: CEU Press, 2015.
[Berkovich 2017] — *Berkovich I.* Motivation in War. The Experience of Common Soldiers in Old-Regime Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
[Cracraft 2004] — *Cracraft J.* The Petrine Revolution in Russian culture. Harvard MS — London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004.
[Duffy 1981] — *Duffy Ch.* Russia's Military Way to the West. Origins and Nature of Russian Military Power 1700—1800. London; Boston: Routledge & Kegan Paul, 1981.
[Dziembowski 2019] — *Dziembowski E.* La guerre de Sept Ans (1756—1763) et l'affirmation du citoyen français // Citoyenneté et éducation par la société / Ed. by G. Labarre. Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 2019. P. 55—69.
[Füssel 2019] — *Füssel M.* Der Preis des Ruhms: Eine Weltgeschichte des Siebenjährigen Krieges 1756—1763. München: C.H. Beck, 2019.
[Gestrich 1994] — *Gestrich A.* Absolutismus und Öffentlichkeit: politische Kommunikation in Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Göttingen: V&R, 1994.
[Gestrich 2006] — *Gestrich A.* The Public Sphere and the Habermas Debate // German History. 2006. Vol. 24. No. 3. P. 413—430.
[Geyer 1977] — *Geyer D.* Der russische Imperialismus. Göttingen: V&R, 1977.
[Gleason 1981] — *Gleason W.* Moral idealists, bureaucracy, and Catherine the Great. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1981.
[Green 1998] — *Green J.P.* Empire and Identity from the Glorious Revolution to the American Revolution / Ed. by P.J. Marshall. The Oxford History of the British Empire. Vol. II: The Eighteenth Century. Oxford: Oxford University Press, 1998. P. 208—230.
[Habermas 1990] — *Habermas J.* Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Mit einem Vorwort zur Neuauflage 1990. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1990.
[Hartley 2008] — *Hartley J.M.* Russia: 1762—1825: Military, power, the state, and the people. Westport, CT; London: Praeger, 2008.
[Hartley 2009] — *Hartley J.M.* Russia as a Fiscal–Military State, 1689–1825 // The Fiscal–Military State in Eighteenth-Century Europe: Essays in Honour of P.G.M. Dickson / Ed. by Ch. Storrs. Farnham, UK: Ashgate, 2009. P. 125—166.
[Jones 1984] — *Jones R.E.* Opposition to War and Expansion in Late Eighteenth Century Russia // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1984. Neue Folge. Bd. 32. H. 1. S. 34—51.
[Kahn 2002] — *Kahn A.* «Блаженство не в лучах Порфира»: histoire et fonction de la tranquillité (spokojstvie) dans la pensée et la poésie russes du XVIII[e] siècle, de Kantemir au sentimentalisme // Revue des études slaves. 2002. T. 74. Fasc. 4. P. 669—688.
[Keep 1985] — *Keep J.* The origins of Russian militarism // Cahiers du monde russe et soviétique. 1985. T. 26. No. 1. P. 5—19.
[Kiser, Linton 2002] — *Kiser E., Linton A.* The Hinges of History: State-Making and Revolt in Early Modern France // American Sociological Review. 2002. Vol. 67. No. 6. P. 889—910.
[Osterhammel 2004] — *Osterhammel J.* Europamodelle und imperiale Kontexte // Journal of Modern European History. 2004. Vol. 2. No. 2. P. 157—181.
[Ransel 1975] — *Ransel D.L.* The Politics of Catherinian Russia: The Panin Party. New Haven: Yale University Press, 1975.
[Rieber 2015] — *Rieber A.J.* Nationalizing Imperial Armies: A Comparative and Transnational Study of Three Empires // Nationalizing Empires / Ed. by S. Berger, A. Miller. Budapest; New York: CEU Press, 2015. P. 593—628.
[Rogers 2014] — *Rogers N.* From Vernon to Wolfe: Empire and Identity in the British Atlantic World in the Mid-Eighteenth Century // The Culture of the Seven Years' War: Empire, Identity, and the Arts in the Eighteenth-Century Atlantic World / Ed. by F. de Bruyn, S. Regan, Toronto: University of Toronto Press, 2014. P. 25—52.

[Rustemeyer 2006] — *Rustemeyer A.* Dissens und Ehre: Majestätsverbrechen in Russland (1600—1800). Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.

[Schierle 2006] — „Syn otecestva". „Der wahre Patriot" // Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit. Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / Hrsg. von P. Thiergen. Köln: Böhlau, 2006. S. 347—367.

[Schierle 2009] — *Schierle I.* Patriotism and Emotions: Love of the Fatherland in Catherinian Russia // Ab Imperio. 2009. No. 3. P. 65—93.

[Schippan 1989] — *Schippan M.* Die Französische Revolution von 1789 und Friedensvorstellungen in Rußland bis 1825 // Zeitschrift für Slawistik. 1989. Bd. 34. H. 3. S. 352—361.

[Schippan 2001] — *Schippan M.* Katharina II. und die Rezeption des europäischen Friedensdenkens im Zarenreich // Katharina II., Russland und Europa / Hrsg. von C. Scharf. Mainz: Philipp von Zabern, 2001. S. 251—274.

[Schulze Wessel 2023] — *Schulze Wessel M.* Der Fluch des Imperiums: Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte. München: C.H. Beck, 2023.

[Sdvizkov 2024] — *Sdvizkov D.* Semantiken der Sicherheit in Russland um 1800 in der Sphäre des Privatlebens // Dynamiken der Sicherheit in Russland im Zeitalter von Revolution und Restauration (1790—1840) / Hrsg. von C. Dietze, I. Iwanow, N. Katzer. Berlin; München: De Gruyter Oldenbourg, 2024.

[Solange 2014] — *Solange R.* Justifier la guerre. Censure et propagande dans l'Europe du XVIIe siècle (France — Angleterre). Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2014.

[Tilly 1975] — The Formation of Nation States in Western Europe / Ed. by Ch. Tilly. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1975.

[Van Horn Melton 2004] — *Van Horn Melton J.* The Rise of the Public in Enlightenment Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Михаил Велижев

К истории «московской фронды»:

С. Г. СТРОГАНОВ, А. ДЕ ТОКВИЛЬ И НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧААДАЕВСКОГО СКАНДАЛА[1]

Mikhail Velizhev

Towards the History of the "Moscow Fronda": Sergei Stroganov, A. de Tocqueville and the Unintended Consequences of the Chaadayev's Scandal

Михаил Велижев (Университет Салерно, профессор; PhD) mvelizhev@unisa.it.

Ключевые слова: Строганов, Токвиль, право, самодержавие, Романовы

УДК: 323.22/.28
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_159

В статье рассматривается цепь эпизодов, объединенных темой противостояния двух концепций монархического правления — полностью автократической модели и модели, при которой самодержавная власть ограничена законом и аристократией. Главным героем исследования является граф Сергей Строганов, размышлявший над возможным ограничением императорской власти в 1836 году в ходе скандала, связанного с публикацией первого «Философического письма» Чаадаева, и в начале 1860-х годов, когда Строганов занимался образованием великого князя Николая Александровича. Цель работы — показать, как внутри лояльной монарху политической элиты вызревали проекты, призванные смягчить абсолютный характер русского самодержавия.

Mikhail Velizhev (PhD; Professor, Università degli Studi di Salerno) mvelizhev@unisa.it.

Key words: Stroganov, Tocqueville, autocracy, law, Romanovs

UDC: 323.22/.28
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_159

This article examines a chain of episodes connected by the theme of confrontation between two concepts of monarchical rule — a fully autocratic model and a model in which autocratic power is limited by law and aristocracy. The main protagonist of the study is Count Sergei Stroganov, who reflected on the possible limitation of imperial power in 1836 during the scandal surrounding the publication of Chaadaev's first "Philosophical Letter", and in the early 1860s, when Stroganov was engaged in the education of Grand Duke Nicholas Alexandrovich. The aim of the paper is to show how projects designed to soften the absolute character of the Russian autocracy developed within the political elite loyal to the monarch.

1

После разбирательства вокруг публикации первого «Философического письма» (Чаадаев объявлен умалишенным, издатель «Телескопа» Надеждин отправлен в ссылку, цензор Болдырев уволен от всех должностей, обсуждение письма в печати запрещено) стало окончательно понятно, что какая-либо дискуссия о содержании политической и религиозной истории России в публичном пространстве империи оказалась невозможной. Однако в то же время со-

1 Мы благодарны Е.М. Болтуновой, А.Н. Дмитриеву, А.Л. Зорину, Г.А. Орловой и И.Д. Прохоровой за комментарии и вопросы к нашему докладу на XXIX Банных чтениях. Мы признательны А.Л. Осповату, прочитавшему статью в рукописи и сделавшему ряд ценных замечаний.

бытия 1836 года заставили активизироваться группу интеллектуалов, желавших проблематизировать политико-философскую повестку, но не считавших возможным маневрировать и достаточно финансово независимых, чтобы не бороться за экономический капитал, связанный с участием в формировании государственной идеологии. Желание со всей откровенностью отвечать Чаадаеву привело будущих западников и славянофилов к действиям внутри альтернативного публичного пространства, границы которого располагались вне подконтрольной официальному Петербургу сферы. Правила игры, допустимые в кругу избранных друзей и гостей дворянского салона, отличались известной свободой: здесь было разрешено спорить на самые разные темы. Идейное соперничество сопровождалось интенсивным институциональным строительством — появлением новых интеллектуальных центров и разгерметизацией университетской науки, привлекшей не только студентов и ученых, но и светских людей[2].

Ключевую роль в становлении нового пространства политико-философских дебатов сыграла Москва — столица без двора. Определенная свобода от жесткого политического контроля, актуального для других частей империи, была присуща Москве давно. Впрочем, в период военного генерал-губернаторства князя Дмитрия Владимировича Голицына (1820—1844) степень ее автономии возросла: московское начальство последовательно оберегало отдельных представителей местного дворянства от вмешательства в его дела высшей имперской администрации. Вокруг Голицына и его сочувственника, попечителя Московского учебного округа графа Сергея Григорьевича Строганова возникло новое сообщество. Оно состояло из людей, профессионально занимавшихся образованием, науками и правом, некоторые из которых позже участвовали в подготовке Великих реформ[3]. В старой столице были созданы относительно тепличные условия, позволявшие салонным и академическим ораторам безбоязненно выражать собственное мнение. Платой за откровенность стала невозможность издавать свои тексты и ограниченность аудитории кругом посетителей частных собраний. Впрочем, ответ на вопрос об интеллектуальных истоках политической мысли, альтернативной идеологии официального Петербурга, следует искать не только в полемике западников и славянофилов.

Судя по имеющимся в нашем распоряжении документам, из всех сановников, участвовавших в разбирательстве вокруг чаадаевского дела, лишь московский попечитель Строганов мог осмыслять конфликт в терминах западноевропейской политической науки. Он усмотрел за ходом правительственных действий более широкий круг проблем, связанных с философским фундаментом системы государственного управления. Вероятно, реакция Строганова на конфликт отражала пристрастия высшей прослойки московской аристократии, участвовавшей в администрировании старой столицы. Так, Д.В. Голицын был не чужд политико-философских интересов — в частности, беседы подобного содержания он часто вел со своей сестрой Софьей Владимировной Строгановой. Оказавшись в 1843 году на водах в Карлсбаде, Голицын, как мы знаем из его писем к сестре, познакомился с Шеллингом, с которым, впрочем, побоялся вступить в дискуссию, не чувствуя себя достаточно к тому подготовлен-

2 Подробнее см.: [Велижев 2022: 77—109].

3 См.: [Боленко 2006; Кириченко 2002].

ным[4]. Строганов не являлся профессиональным ученым, однако его внимание к отдельным областям науки (в частности, к исследованиям древностей и к истории живописи) оставалось пристальным и устойчивым[5]. Политико-философские предпочтения Строганова описаны до сих пор не были. Оговоримся, что речь в данном случае идет не о четко артикулированной «программной» позиции, но об особом видении государственных вопросов, которое мы можем реконструировать по отдельным высказываниям попечителя Московского учебного округа.

2

Среди писем Строганова к его главному помощнику по университетским делам Дмитрию Павловичу Голохвастову за декабрь 1836 года находится писарский черновик личного письма попечителя к императору. По всей видимости, он лишь обсуждал с сотрудником послание монарху, но отправить его так и не решился. Копия текста находится сразу за письмом Строганова к Голохвастову от 17 декабря 1836 года. С определенной долей вероятности составление текста можно отнести к середине второй декады декабря 1836 года. Записка посвящена монаршему решению о судьбе ректора Московского университета и цензора «Телескопа» Болдырева. Напомним, что Николай I распорядился не только уволить Болдырева от цензорской должности, но и лишить его всех постов без надлежавшей за выслугу лет пенсии. Комиссия по чаадаевскому делу последовала за императорской волей. Именно этот вердикт и предполагал оспорить попечитель.

Как считал Строганов, принятое императором решение не соответствует закону. Впрочем, желание отменить некорректное, как ему казалось, предписание не привело Строганова к следованию правовым процедурам. Он не подал апелляцию по ведомственной линии, а решил прибегнуть к каналу, связанному с его особым придворным статусом. Как доверенное лицо монарха, он обладал правом (без сомнения, никогда не существовавшем на бумаге) в отдельных случаях лично сноситься с Николаем, что связывалось с «милостью» императора, дарованной за верную службу. Соблюдение закона Строганов намеревался требовать, пользуясь возможностью, возникшей в обход правил формального делопроизводства. При всем том письмо Строганова обладало рядом характеристик, которые позволяли отнести его к жанру бюрократического запроса. Во-первых, оно было написано по-русски, а не по-французски: в личных обращениях Николай французский язык дозволял, в то время как в официальной переписке требовал лишь русского языка[6]. Во-вторых, черновик письма мос-

4 Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 50. Оп. 1. Ед. хр. 114. Л. 18. Письмо Д.В. Голицына к С.В. Строгановой от 14 августа 1843 года из Карлсбада: «Nous avons aussi les philosophes allemands. Schelling que je n'attaque pas parce que je ne suis pas preparé à cette controverse» («У нас здесь живут немецкие философы. Шеллинг, на которого я не наскакиваю, ибо не готов к подобным прениям»). Далее Голицын писал, что намерен посетить Прагу и познакомиться с Шафариком и другими чешскими литераторами, известными ему прежде лишь по переписке.

5 См., например: [Буслаев 1897; Чичерин 1929: 87, 133—134] и др.

6 Кроме того, существенно, что в данном случае русский вельможа обращался к русскому царю на русском языке, что придавало его высказыванию дополнительное символическое значение.

ковского попечителя монарху был писарским, а не собственноручным. Строганов доверил копирование конфиденциального документа секретарю. Вероятно, он не собирался делать из послания тайны. Наконец, в-третьих, письмо было написано исключительно в формальном духе и пестрило ссылками на Свод законов Российской империи. Перед нами достаточно своеобразный текст: он составлен в виде бюрократической бумаги, которая при всем том встраивалась в логику придворной, а не чиновничьей коммуникации.

Строганов пребывал в убеждении, что при принятии решения о Болдыреве закон оказался нарушен в двух своих ипостасях — как писаный свод действующих правовых норм и как отражение высшей монаршей воли. Он начал черновик (на лицевой стороне листа) с обращения к Николаю: «Вы закон в России; — закон один, для защиты всех!», — за чем следовала ссылка на устав о цензуре[7]. Строганов выстраивал следующую логику: воля императора есть единственный источник права в России, утверждавший равенство всех подданных перед законом. Она воплощена в Своде законов, который служил ее своеобразной эманацией. В силу этого обстоятельства а) противоречия между волей и законом существовать по определению не могло, б) отменой своего решения по Болдыреву Николай лишь восстановил бы справедливость, что никак не угрожало его статусу верховного законодателя.

На обороте черновика Строганов развивал свою мысль. По его мнению, устав о цензуре ясно свидетельствовал, что Болдырев если и мог быть отрешен, то только от звания цензора, но не от всех должностей сразу. Попечитель утверждал, что проступок «беспорочно служившего» ректора составлял «исключение, основанное на частном случае», а потому требовал особенного подхода — «уравнения» «мудрого закона» с «исключением». «Мудрость» цензурного законодательства 1828 года, как следует из формулировок черновика, состояла в снятии ответственности за вредные с политической точки зрения публикации с цензора, ввиду «трудности ответственности», на нем лежавшей. Как следствие, по большому счету совсем не Болдырева следовало считать ответственным за появление в «Телескопе» первого «Философического письма».

Каким же образом возникла несправедливость? Строганов давал ясное указание на источник нарушения в правовом поле: «Мне не известно как вообще о деле сем доложено В<ашему> В<еличеству>». Попечитель предполагал, что чиновники, поставившие императора в известность о «телескопическом» скандале, могли намеренно извратить факты, что и привело к деформации монаршей воли. Очевидно, что Строганов прежде всего указывал на роль в чаадаевском деле своих оппонентов — начальника III Отделения А.Х. Бенкендорфа и министра народного просвещения С.С. Уварова[8]. Дело касалось репутации монархического принципа, который и отстаивал Строганов, именно поэтому он и ссылался на «совесть» и «присягу», надеясь на «правоту» Николая.

Однако едва ли не самым любопытным в проекте письма представляется его вывод: «…я осмеливаюсь приостановиться приведением в исполнение означенного приговора и буду ожидать разрешения В<ашего> И<мператорского>

---

7 Текст собственноручного черновика здесь и далее цитируется по подлиннику: Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 51—52 об.; писарский черновик письма, отправленный Строгановым Голохвастову, см.: ОПИ ГИМ. Ф. 404. Оп. 1. Ед. хр. 81. Л. 70—71 об.

8 Подробнее см.: [Велижев 2007; 2010].

В<еличества> на сие всеподданнейшее представление». Строганов планировал нарушить субординацию, рассчитывая, конечно, на получение дальнейшей разрешительной санкции императора. Он стремился навязать Николаю специфический взгляд на соотношение воли монарха и формального права: если царь не отменит противоречившего Своду акта, то тем самым инвертирует базовый принцип, подразумевавший глубинную связь мудрой воли суверена и законодательства, берущего в ней свое начало. В этой конструкции действия монарха оказывались ограничены созданной по его собственному распоряжению правовой системой. Буква и дух закона обязывали императора следовать им же установленным правилам, освященным его сакральным авторитетом. Строганов брал на себя функцию интерпретатора монаршей воли и толкователя законов, в том числе выступая против решения, уже вынесенного царем[9]. Инициатива попечителя фактически утверждала механизм ограничения императорской власти. Для российской — в особенности николаевской — системы управления такое поведение высокопоставленного подданного было весьма нехарактерно.

3

Размышляя о соотношении закона и монаршей воли, Строганов заинтересовался недавним европейским политико-философским бестселлером — первым томом сочинения Алексиса де Токвиля «О демократии в Америке» (1835). 16 декабря 1836 года, то есть ровно в момент составления письма к императору, попечитель писал Григорию Александровичу Строганову в Петербург: «...Могли бы Вы, дорогой отец, одолжить мне издание Токвиля о демократии в Американских штатах. Здешние обладатели этой книги таковы, что я не могу попросить ее у них, а книгопродавцы ее не имеют»[10]. Формулировка письма не исключала, что Строганов мог уже прежде читать или как минимум пролистывать первый том исследования Токвиля. Как бы то ни было, Г.А. Строганов оперативно выслал книгу и 1 января 1837 года Строганов-сын сигнализировал отцу о ее получении[11].

Связь между проектом послания к Николаю и вниманием Строганова к трактату «О демократии в Америке» представляется весьма вероятной[12]: по всей видимости, он уже вспоминал о книге Токвиля в контексте чаадаевского

9 Вероятно, Строганов вступался за Болдырева не только из любви к закону, но из-за того, что в ходе конфликта оказалась затронута репутация подведомственного ему учреждения — Московского университета, чьи профессора традиционно выполняли цензорские обязанности.

10 «...Pouvez vous mon cher Père me pretter l'ouvrage de Tocqueville, sur la Démocratie dans les Etats unis d'Amerique. <...> les personnes qui ont l'ouvrage ici ne sont pas du nombre de ceux auxquels je puis le demander et les libraires ne le possèdent pas» (РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 148. Л. 28; подчеркивание автора. — *М.В.*).

11 «J'ai reçu l'ouvrage de Tocqueville et vous le rapporterai moi même» («Я получил книгу Токвиля, я сам вам ее верну» (Там же. Л. 30)).

12 Как известно, с самого своего появления в печати первый том «О демократии в Америке» возбудил пристальный интерес в России и вызвал активную дискуссию, в которой, в частности, участвовали Пушкин, А.И. Тургенев и Чаадаев. Подробнее см.: [Алексеев 1987; Вольперт 2001; Дементьев 2016; 2020; Шоу 2003; Эткинд 1999; Thurston 1976].

скандала. Прочитав в середине октября 1836 года русский перевод первого «Философического письма», напечатанный в «Телескопе», Строганов не преминул указать Уварову на источники чаадаевских идей. Первый из них — это творения Ламенне, регулярно запрещавшиеся для распространения в России[13]. Вторая параллель куда менее очевидна: автор «Философических писем» энигматически именовался «апостолом Американской школы», титул, определенно перекликавшийся с «ролью либерала», которую, по словам чиновника, Чаадаев разыгрывал в московском обществе «вот уже 20 лет»[14]. Возможно, Строганов указывал здесь на соответствие одного из базовых пунктов социальной программы Чаадаева — критики крепостного права — знаменитому сравнению Токвиля между Соединенными Штатами и Россией: «В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России — рабство»[15].

Напомним, что в первом томе «О демократии в Америке» Токвиль один-единственный раз писал о России и ее исторической судьбе — в заключении к своему исследованию. Финал книги отличался двойственностью: с одной стороны, России и ее «великому» народу, по мнению Токвиля, в будущем предстояло разделить с Америкой власть над миром, с другой — принципы, лежавшие в основе политического правления в России, имели отчетливо негативные коннотации — тотальное подчинение, полное отсутствие свободы, абсолютное доминирование монархической воли, способное трансформироваться в «тиранию цезарей». Американскую модель демократии Токвиль считал не подлежащей прямому заимствованию и переносу в страну с иными нравами и традициями, однако недавняя история Соединенных Штатов доказывала ключевой для французского философа тезис — хорошо функционирующую демократическую систему в современном ему мире построить реалистично. Рефлексируя над американским опытом с учетом собственных национальных особенностей, европейцы могли прийти к системе, позволяющей сдержать тиранию. Токвиль пребывал в уверенности, что, как бы ни плоха была демократия, все равно именно ей суждено стать защитой от куда более страшного явления — превращения монархии в деспотию. В свете этого рассуждения слова о России звучали зловеще. Констатация могущества империи Романовых граничила с ощущением потенциальной угрозы, которую таило российское владычество над половиной света.

Не исключено, что Строганов мог уловить в салонных рассуждениях Чаадаева только что описанную амбивалентность. Чаадаев соглашался с Токвилем в том, что рабство не могло служить причиной безнадежного отставания России и в целом прекрасно сочеталось с ролью мирового гегемона. Наиболее явно исторический оптимизм Чаадаева выразился в его письме к Александру Ивановичу Тургеневу от 1835 года и в «Апологии безумца», созданной в феврале 1837 года под непосредственным впечатлением от скандала. В обоих текстах он утверждал, что именно в силу собственной отсталости России суждено стать одной из самых мощных держав в будущем. Нынешняя слабость

13 См.: [Общий алфавитный список... 1855: 195]. Со Строгановым был согласен А.И. Тургенев, отмечавший летом 1831 года в письме к В.А. Жуковскому, что Чаадаев «пишет à la Lamenais и все чушь, но очень умно» [Из писем... 1900: 362]. См. также: [Riasanovsky 1977].

14 См.: [Чаадаев 2010: 506—509, 873—877].

15 См.: [Токвиль 2000: 296].

и юность империи интерпретировалась им как знак грядущего величия. В середине 1830-х годов Чаадаев мог излагать московским собеседникам обе точки зрения: пессимистическую, связанную с мрачными прогнозами первого «Философического письма», и оптимистическую, восходившую к письму Тургеневу и «Апологии безумца». Именно вариативность историософской схемы была способна подсказать Строганову сравнение сочинений (вернее, речей) Чаадаева с произведением Токвиля.

В ноябре — декабре 1836 года процесс над виновными в «телескопической» истории пошел не по тому сценарию, которого желал московский попечитель. Чаадаев и Надеждин подверглись вполне справедливому с его точки зрения наказанию, чего нельзя сказать о Болдыреве, служившем несколько десятилетий без единого штрафа и в один момент потерявшем все из-за интриг «придворной камарильи». Строганову стало понятно, что необходимы механизмы, призванные защитить монарха и освященное его авторитетом право от происков ложных толкователей закона. Как мы видели, он допускал даже отмену императорского решения, «спасавшую» царя от вынесения несправедливого вердикта, искажавшего суть правовой системы России. Здесь в поле внимания Строганова вновь попала книга Токвиля, но уже в ином контексте.

4

Какие идеи французского философа могли показаться Строганову актуальными в связи с решением по Болдыреву? В большей степени ситуации соответствовала интерпретация Токвилем закона в Америке и функций правоведов в американском обществе. Токвиль уравнивал монархическое правление и полновластную демократию — обоим режимам, по его мнению, была присуща тенденция к неограниченному произволу, подпитываемая «придворным духом», столь ненавистным Строганову и свойственным, согласно Токвилю, демократии не в меньшей степени, чем абсолютизму. Произвол лучше всего ограничивался законом при конституционной монархии, когда суверен и народ чтили власть права, поскольку именно она оберегала их от доминирования противоположной силы:

> Одна и та же причина приводит монарха и народ к мысли о независимости государственных чиновников и к поиску гарантий, обеспечивающих невозможность злоупотребления этой независимостью — дабы не обернулась она против власти монарха или против свободы народа [Токвиль 2000: 166].

Легисты в демократической Америке служили своеобразной «аристократией», сопротивлявшейся «революционному духу» и «необдуманным страстям» большинства [Там же: 201]. Токвиль замечал, что «любому монарху было бы несложно сделать из служителей закона самых надежных поборников своей власти», поскольку «законоведы всему предпочитают порядок, а самая надежная гарантия порядка — это власть». Более того, по мнению французского философа, «деспотизму, опирающемуся на силу, они, возможно, сумеют придать черты справедливости и закона» [Там же: 205]. В этой перспективе едва ли не главным политиком в Америке выступал пожизненно избираемый судья, склонный к «порядку» и «правилам», обеспечивавший «стабильность» в функционировании государственных институтов. Знание закона ставило американ-

ских судей на исключительно высокую ступень в общественной иерархии и наделяло их большим политическим весом: «Американский судья имеет право признать закон неконституционным, поэтому он постоянно причастен к политической жизни страны. Он не может заставить народ принять тот или иной закон, но он может заставить его повиноваться принятым законам и не противоречить самому себе» [Там же: 207]. В последнем пассаже Токвиль прямо соотносил функции американских правоведов с полномочиями, которые стремился присвоить себе Строганов на финальном этапе чаадаевского дела: ограничить произвол власти, ссылаясь на закон, но во имя укрепления и консолидации самой власти.

Политическая концепция Токвиля могла привлекать Строганова своей гибкостью: французский мыслитель, рассуждая о праве и его служителях, не ограничивался исключительно описанием Америки. Наоборот, он смотрел на мир, как мы бы сейчас сказали, в компаративной перспективе: постоянные ссылки на судебные инстанции во Франции и Англии сопровождались анализом структуры политического правления как таковой, будь то монархия или демократия. Анализ Токвиля подталкивал к широким обобщениям и сопоставлениям: Строганов был вполне способен провести параллель между распределением полномочий между федеральным правительством и штатами и стремлением московской администрации к автономизации от Петербурга, с начала 1820-х годов лелеемым его ближайшим союзником Д.В. Голицыным и ставшим вновь злободневным в связи с чаадаевским делом.

5

Характерно, что интерес Строганова к проблеме правового ограничения самовластия не сводился исключительно к французскому или американскому контексту. В начале второй декады октября 1836 года, узнав о напечатании первого «Философического письма», встревоженный чиновник начал переговоры о дальнейших действиях со своим помощником Голохвастовым. Тогда же, 12-го октября, он написал развернутое письмо уже упоминавшемуся Г.А. Строганову, своему отцу, бывшему одним из членов Государственного совета. В послании попечитель намечал возможные темы для разговора с родителем в Петербурге, куда он рассчитывал отправиться в ноябре. Примечательно, что прежде всего Строганов планировал обсудить прусскую систему государственного управления:

> …когда я приеду в Петербург, я доставлю себе удовольствие поболтать с вами, дорогой отец, о Пруссии и ее системе управления, я убежден, что вы имели случай наблюдать, проезжая по сей стране, каким мудрым и прогрессивным образом там все устроено: Гегель называл прусский стиль правления образцовым, Типом! я нахожу, что это весьма удачное определение. Ежели сравнить сию мудрость в действии с ходом дел во Франции, то придется признать, что за последние тридцать лет Франция ничему не научилась и, следовательно, ей нечему научить Европу[16].

16 «…quand je viendrai à Pétersbourg je me fait une fête de causer avec vous mon cher Pere sur la Prusse et son système d'administration, je suis persuadé que vous avez eté dans le cas d'observer en traversant ce pays la marche sage et progressive qu'il soit: Hégel appelait

Строганов противопоставлял прусскую систему французской, отдавал предпочтение первой и указывал на один из возможных источников собственных сведений о структуре управления в Пруссии — творения Гегеля. Речь, вероятно, шла о книге «Философия права», вышедшей в 1821 году. Предметом восхищения попечителя выступала наследственная монархия, основанная на идее права и публичной свободы. Согласно формулировке Гегеля, «в благоустроенной монархии объективная сторона принадлежит только закону, к которому монарху надлежит добавить лишь субъективное “я хочу”» [Гегель 1990: 324]. Разумеется, из этого отнюдь не вытекает, что Строганов задумывался о перенесении прусской модели в Россию. К тому же, согласно Гегелю, это было невозможно из-за отсутствия в империи Романовых третьего сословия [Там же: 336]. Однако сам по себе интерес попечителя к типам правления, опосредующим абсолютную власть с помощью закона, весьма красноречив.

Желание прочитать Токвиля или поговорить о юридической концепции Гегеля, возникшее у Строганова во время чаадаевского процесса, свидетельствует, что внутри московской административной элиты существовал запрос на правовую регламентацию действий самодержавной власти. При этом Строганов не был либералом, сторонником парламентской или конституционной монархии и свободы прессы. Скорее речь шла об ограничении произвола законом, на страже которого стояли аристократы, облеченные доверием императора. Однако так или иначе, но внутри николаевской администрации уже в середине 1830-х годов вызревала альтернативная модель политического устройства. В короткой перспективе ее сторонники не ставили самодержавие под сомнение, но в дальнейшем они могли предложить концепцию, способную оспорить идею тотального доминирования императора над другими игроками в системе государственного управления.

6

При жизни Николая Павловича попытки ввести действенные правовые регуляторы монархического правления шансов на успех не имели. Ситуация изменилась в 1855 году, когда Николай умер и на престол взошел великий князь Александр Николаевич, вскоре инициировавший отмену крепостного права, о которой так мечтал Чаадаев. Наследником трона стал старший сын Александра II цесаревич Николай Александрович. В 1860 году составителем образовательной программы 17-летнего великого князя избрали бывшего попечителя Строганова, который к тому моменту успел год послужить московским военным генерал-губернатором (1858—1859)[17]. В царствование Александра II Строганов во многом сохранял прежнюю репутацию — чиновника, чей образ действий подпитывался разными по происхождению идеями. П.А. Валуев не без язвительности охарактеризовал воспитателя наследника таким образом:

---

le gouvernement Prussien un gouvernement modèle, un Type! je trouve que c’est très heureusement qualifié. Et quand je compare cette sagesse dans l’action avec le mouvement français on est obligé de convenir que depuis trente ans la France n’a rien appris et par conséqent rien à enseigner à l’Europe!» (РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Ед. хр. 148. Л. 18 об.; подчеркивание автора. — *М.В.*).

17 Подробнее см.: [Лейбов, Осповат 2003; Чернуха 1999] и др.

> Его мнения — какая-то смесь профессорского взгляда на просвещение, генеральского взгляда на профессоров, дворянского на помещиков, надежды на преодоление современных затруднений опирающимся на войско самовластием, и суждений о Польше и поляках, заимствованных из его воспоминаний о Минской губернии 1831 года [Валуев 1961: 121][18].

Тот же Валуев несколькими месяцами ранее зафиксировал в дневнике рассуждение бывшего попечителя о русской монархии в правление Николая I: «Гр. Строганов… даже сказал, что покойный государь “хотел все сам делать, а всего самому делать уже нельзя”…» [Там же: 99][19]. Строганов чувствовал необходимость перемен, которые можно осторожно связать с перераспределением административных функций в самодержавной монархии. Как следствие, для преподавания наук наследнику он избрал нескольких профессоров с либеральными взглядами, в частности Сергея Михайловича Соловьева и Михаила Матвеевича Стасюлевича. Кроме того, молодой великий князь должен был изучать право под руководством ученого, чьи воззрения крайне симптоматичны в контексте наших рассуждений, — Бориса Николаевича Чичерина.

Чичерин был приглашен ко двору в роли одного из педагогов Николая Александровича в 1863 году и оставался в этой роли до 1865 года. К тому моменту выпускник Московского университета, непосредственный участник европейских дискуссий о праве, экстраординарный профессор Чичерин имел устойчивую репутацию апологета политической и гражданской свободы в английском духе, которая подразумевала ограничение административного произвола законом и идею представительства[20]. До него законоведение Николаю читали специалист по полицейскому праву Иван Ефимович Андреевский (курс под названием «Энциклопедия права») и Константин Петрович Победоносцев (гражданское русское право), который сопровождал Николая Александровича в поездках по России. Согласно плану Строганова, Чичерину надлежало заняться с наследником государственным правом с акцентом на юридических и политических системах Англии и Франции (как мы видим, Пруссия уже не входила в сферу интересов бывшего попечителя)[21].

По словам самого Чичерина, первая часть его «Курса государственной науки», напечатанная в 1894 году под названием «Общее государственное право», была основана на лекциях, которые он читал Николаю Александровичу[22]. В своем труде правовед обосновал принципы ограниченной монархии как идеального политического устройства:

> В этой политической форме выражается полнота развития всех элементов государства и гармоническое их сочетание. Монархия представляет начало власти, народ, или его представители, начало свободы, аристократическое собрание постоянство закона, сдерживающего с одной стороны произвол единичной власти,

---

18 Запись от 15 октября 1861 года.

19 Запись от 13 апреля 1861 года.

20 См.: [Томсинов 2006: XVII—XIX, XXVIII—XXIX].

21 Об этом Строганов писал Чичерину 27 мая 1861 года, приглашая его занять должность преподавателя при наследнике: Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 334. К. 5. Ед. хр. 8. Л. 1. См. также письмо Строганова Чичерину от лета 1862 года: [Чичерин 1929: 82—83].

22 См.: [Чичерин 1894: III]. В своих «Воспоминаниях» Чичерин отмечал: «…я представил графу Строганову свою программу. Он вполне ее одобрил…» [Чичерин 1929: 87].

> с другой стороны необузданность свободы, и все эти элементы, входя в общую организацию, должны действовать согласно для достижения общей цели. Идея государства достигает здесь высшего развития... [Чичерин 1894: 161].

Лучшей формой ограниченной монархии Чичерин считал конституционное правление, поскольку оно исходит не из сословной логики, а «из понятия о народе как совокупном целом, участвующем в верховной власти» [Там же: 167]. Далее лектор иллюстрировал теоретические выкладки разнообразными примерами из современной ему европейской истории, о России особо не упоминая. Вероятно, именно таким образом наследник престола и изучал государственное право: Чичерин прямо не призывал великого князя задуматься о введении представительства в империи, однако эта мысль могла внушаться ему косвенным образом, с помощью сравнения с политическими системами других стран. Как отмечал Чичерин в своих мемуарах: «Неизменным посетителем [лекций] был граф Строганов, который не раз выражал мне свое одобрение» [Чичерин 1929: 88].

В начале 1860-х годов одним из ближайших друзей Николая Александровича был князь Николай Алексеевич Орлов, сын начальника III Отделения, отличавшийся любовью к свободам, понятым в европейском смысле. Узнав о назначении Строганова руководителем образования наследника, Орлов писал цесаревичу в 1859 году:

> Создать из Вас русского со всеми предрассудками уже нельзя. Вы в 16 лет далеко впереди людей с предрассудками и далеко впереди и Вашего семейства, и графа Сергея Григорьевича... Вы никогда не будете капралом... Вы всегда помните, что есть и другие народы в мире и что всегда можно поучиться... (цит. по: [Лейбов, Осповат 2003: 481]).

Нельзя сказать, что Николай Александрович разделял мечты Орлова о введении в России представительного правления, однако определенные упования на общую либерализацию политического режима с «le future roi bourgeois», как цесаревича называли при дворе, в обществе связывались [Там же: 480].

Впрочем, 12 (24) апреля 1865 года Николай Александрович умер, а наследником престола объявили второго сына Александра II великого князя Александра Александровича, ставшего в 1881 году императором Александром III. При жизни старшего брата Александр Александрович готовился к военной карьере, так что его общее образование оказалось несколько запущено. После 1865 года он прослушал целый ряд дополнительных курсов, призванных лучше подготовить его к будущему управлению империей. В частности, Александр Александрович брал уроки правоведения. Его единственным учителем в юридической науке стал Победоносцев, обладавший огромным политическим весом впоследствии — уже в царствование своего питомца. Таким образом, влияние взглядов Строганова и Чичерина на политические воззрения представителей российского императорского дома резко ослабло, в то время как мнения Победоносцева, сторонника неограниченного монархического правления, вполне передались новому наследнику[23]. Как мы сейчас понимаем, со смертью Николая Александровича исчезли последние надежды на постепенную и естественную, некризисную трансформацию политической системы Рос-

23 О важности этого эпизода для истории России XIX века см., например: [Новая имперская история... 2017: 268].

сийской империи и на ее превращение в монархию, основанную на принципе неукоснительного соблюдения закона, о чем, возможно, граф Строганов впервые серьезно задумался именно в ходе чаадаевского дела.

Библиография / References

[Алексеев 1987] — *Алексеев М.П.* К статье Пушкина «Джон Теннер» // Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. Л.: Наука, 1987. С. 542—549.

(*Alekseev M.P.* K stat'e Pushkina "Dzhon Tenner" // Alekseev M.P. Pushkin i mirovaya literatura. Leningrad, 1987. P. 542—549.)

[Боленко 2006] — *Боленко К.Г.* Речь Д.В. Голицына на дворянских выборах 1822 года // Хозяева и гости усадьбы Вяземы: материалы XIII Голицынских чтений. Б. Вяземы, 21—22 января 2006 г. Б. Вяземы: Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, 2006. С. 268—282.

(*Bolenko K.G.* Rech' D.V. Golitsyna na dvoryanskikh vyborakh 1822 goda // Khozyaeva i gosti usad'by Vyazemy: materialy XIII Golitsynskikh chteniy. B. Vyazemy, 21—22 yanvarya 2006 goda. Bol'shie Vyazemy, 2006. P. 268—282.)

[Буслаев 1897] — *Буслаев Ф.И.* Мои воспоминания. М.: Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1897.

(*Buslaev F.I.* Moi vospominaniya. Moscow, 1897.)

[Валуев 1961] — Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел: В 2 т. Т. 1: 1861—1864. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

(Dnevnik P.A. Valueva, ministra vnutrennikh del: In 2 vols. Vol. 1: 1861—1864. Moscow, 1961.)

[Велижев 2007] — *Велижев М.Б.* «Affaire du Teléscope»: переписка С.Г. Строганова и С.С. Уварова (октябрь 1836 года) // Пушкинские чтения в Тарту 4: Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. С. 300—318.

(*Velizhev M.B.* "Affaire du Teléscope": perepiska S.G. Stroganova i S.S. Uvarova (oktyabr' 1836 goda) // Pushkinskie chteniya v Tartu 4: Pushkinskaya epokha: Problemy refleksii i kommentariya. Tartu, 2007. P. 300—318.)

[Велижев 2010] — *Велижев М.Б.* «Affaire du Teléscope»: С.С. Уваров и С.Г. Строганов в ноябре 1836 года // Пермяковский сборник: В 2 ч. Ч. 2. М.: Новое издательство, 2010. С. 340—350.

(*Velizhev M.B.* "Affaire du Teléscope": S.S. Uvarov i S.G. Stroganov v noyabre 1836 goda // Permyakovskiy sbornik: In 2 pts. Pt. 2. Moscow, 2010. P. 340—350.)

[Велижев 2022] — *Велижев М.Б.* Чаадаевское дело: идеология, риторика и государственная власть в николаевской России. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

(*Velizhev M.B.* Chaadaevskoe delo: ideologiya, ritorika i gosudarstvennaya vlast' v nikolaevskoy Rossii. Moscow, 2022.)

[Вольперт 2001] — *Вольперт Л.И.* Пушкин и Токвиль (книга А. Токвиля «О демократии в Америке») // Пушкин и европейское мышление. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. IV. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. С. 109—125.

(*Vol'pert L.I.* Pushkin i Tokvil' (kniga A. Tokvilya "O demokratii v Amerike") // Pushkin i evropeyskoe myshlenie. Trudy po russkoy i slavyanskoy filologii. Literaturovedenie. IV. Tartu, 2001. P. 109—125.)

[Гегель 1990] — *Гегель Г.В.Ф.* Философия права / Пер. с нем. Б.Г. Столпнера и М.И. Левиной. М.: Мысль, 1990.

(*Hegel G.W.F.* Die Grundlinien der Philosophie des Rechts. Moscow, 1990. — In Russ.)

[Дементьев 2016] — *Дементьев И.О.* «Страницы как будто для нас»: рецепция идей Алексиса де Токвиля в российской политической мысли XIX — начала XXI века // Место западных идей в российском общественном и правовом сознании: Сб. науч. ст. под ред. И. Дементьева, В. Чалого, А. Орловой. Калининград: Балтийский федер. ун-т им. И. Канта, 2016. С. 80—99.

(*Dement'ev I.O.* "Stranitsy kak budto dlya nas": retseptsiya idey Aleksisa de Tokvilya v rossiyskoy politicheskoy mysli XIX — nachala XXI veka // Mesto zapadnykh idey v rossiyskom obshchestvennom i pravovom soznanii: Sb. nauch. st. Kaliningrad, 2016. P. 80—99.)

[Дементьев 2020] — *Дементьев И.О.* «Точка отправления народов определяет их

судьбы»: Петр Чаадаев и Алексис де Токвиль // Слово.ру: балтийский акцент. 2020. Т. 11. № 3. С. 42—56.

(*Dement'ev I.O.* "Tochka otpravleniya narodov opredelyaet ikh sud'by": Petr Chaadaev i Aleksis de Tokvil' // Slovo.ru: baltiyskiy aktsent. 2020. Vol. 11. No. 3. P. 42—56.)

[Из писем... 1900] — Из писем князя Вяземского к Жуковскому // Русский архив. 1900. № 3. С. 355—390.

(Iz pisem knyazya Vyazemskogo k Zhukovskomu // Russkiy arkhiv. 1900. No. 3. P. 355—390.)

[Кириченко 2002] — *Кириченко Е.И.* Москва при военном генерал-губернаторе князе Дмитрии Владимировиче Голицыне // Московский архив. Историко-краеведческий альманах. Вып. 3. М.: Мосгорархив, 2002. С. 16—40.

(*Kirichenko E.I.* Moskva pri voennom general-gubernatore knyaze Dmitrii Vladimiroviche Golitsyne // Moskovskiy arkhiv. Istoriko-kraevedcheskiy al'manakh. Iss. 3. Moscow, 2002. P. 16—40.)

[Лейбов, Осповат 2003] — *Лейбов Р.Г., Осповат А.Л.* Стихотворение Тютчева «Сын царский умирает в Ницце...»: жанр, сюжет, контексты // Russian Literature. 2003. Vol. 54. No. 4. P. 475—503.

(*Leybov R.G., Ospovat A.L.* Stikhotvorenie Tyutcheva "Syn tsarskiy umiraet v Nitstse…": zhanr, syuzhet, konteksty // Russian Literature. 2003. Vol. 54. No. 4. P. 475—503.)

[Новая имперская история... 2017] — Новая имперская история Северной Евразии: В 2 ч. Ч. 2: Балансирование имперской ситуации: XVIII—XX вв. Казань: Ab Imperio, 2017.

(Novaya imperskaya istoriya Severnoy Evrazii: In 2 pts. Pt. 2: Balansirovanie imperskoy situatsii: XVIII—XX vv. Kazan', 2017.)

[Общий алфавитный список... 1855] — Общий алфавитный список книгам на французском языке, запрещенным иностранною цензурою *безусловно* и *для публики* с 1815 по 1853 год включительно. СПб.: В тип. Эдуарда Праца, 1855.

(Obshchiy alfavitnyy spisok knigam na frantsuzskom yazyke, zapreshchennym inostrannoyu tsensuroyu *bezuslovno* i *dlya publiki* s 1815 po 1853 god vklyuchitel'no. Saint Petersburg, 1855.)

[Токвиль 2000] — *Токвиль А. де.* Демократия в Америке / Пер. с фр. Е.П. Орловой. М.: Прогресс, 2000.

(*Tocqueville A. de.* De la démocratie en Amérique. Moscow, 2000. — In Russ.)

[Томсинов 2006] — *Томсинов В.А.* Борис Николаевич Чичерин (1828—1904). Биографический очерк // Чичерин Б.Н. Общее государственное право. М.: Зерцало, 2006. С. VII—XXX.

(*Tomsinov V.A.* Boris Nikolaevich Chicherin (1828—1904). Biograficheskiy ocherk // Chicherin B.N. Obshchee gosudarstvennoe pravo. Moscow, 2006. P. VII—XXX.)

[Чаадаев 2010] — *Чаадаев П.Я.* Избранные труды / Сост., коммент и вступ. ст. М.Б. Велижева. М.: РОССПЭН, 2010.

(*Chaadaev P.Ya.* Izbrannye trudy / Ed. by M.B. Velizhev. Moscow, 2010.)

[Чернуха 1999] — *Чернуха В.Г.* Утраченная альтернатива: наследник престола Великий князь Николай Александрович (1843—1865 гг.) // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX—XX веков / Отв. ред. А.Н. Цамутали. СПб.: Алетейя, 1999. С. 236—246.

(*Chernukha V.G.* Utrachennaya al'ternativa: naslednik prestola Velikiy knyaz' Nikolay Aleksandrovich (1843—1865 gg.) // Problemy sotsial'no-ekonomicheskoy i politicheskoy istorii Rossii XIX—XX vekov. Saint Petersburg, 1999. P. 236—246.)

[Чичерин 1894] — *Чичерин Б.Н.* Курс государственной науки: В 3 ч. Ч. 1: Общее государственное право. М.: Типо-лит. Высочайше утвержденного т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1894.

(*Chicherin B.N.* Kurs gosudarstvennoy nauki: In 3 pts. Pt. 1: Obshchee gosudarstvennoe pravo. Moscow, 1894.)

[Чичерин 1929] — Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Московский университет. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1929.

(Vospominaniya Borisa Nikolaevicha Chicherina. Moskovskiy universitet. Moscow, 1929.)

[Шоу 2003] — *Шоу Дж.Т.* Пушкин об Америке: статья «Джон Теннер» / Пер. с англ. Е.А. Мустафиной // Пушкин: Исследования и материалы: В 19 т. Т. 16—17. СПб.: Наука, 2003. С. 285—303.

(*Shaw J.T.* Pushkin on America: "His John Tanner" // Pushkin: Issledovaniya i materialy: In 19 vols. Vol. 16—17. Saint Petersburg, 2003. P. 285—303. — In Russ.)

[Эткинд 1999] — *Эткинд А.* Иная свобода: Пушкин, Токвиль и демократия в России // Знамя. 1999. № 6. С. 179—203.

(*Etkind A.* Inaya svoboda: Pushkin, Tokvil' i demokratiya v Rossii // Znamya. 1999. No. 6. P. 179—203.)

[Riasanovsky 1977] — *Riasanovsky N.* On Lamennais, Chaadaev, and the Romantic Revolt in France and Russia // American Historical Review. 1977. Vol. 82. No. 5. P. 1165—1186.

[Thurston 1976] — *Thurston G.J.* Alexis De Tocqueville in Russia // Journal of the History of Ideas. 1976. Vol. 37. No. 2. P. 289—306.

Тимур Атнашев

Русская нация после российской империи?

МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ ЛИБЕРАЛЬНОГО ХРОНОТОПА В XXI ВЕКЕ

Timur Atnashev

The Russian Nation after the Russian Empire?
A Model for the Setup of the Liberal Chronotope in the 21st Century

Тимур Атнашев (PhD, специалист по интеллектуальной истории и политической мысли) timur.atnashev@gmail.com.

Ключевые слова: русский национализм, нация, империя, хронотоп, двухуровневая идентичность, Солженицын, Крылов, Ремизов

УДК: 172.15+321+323.1+347.193.4
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_172

В статье рассмотрены три версии авторской сборки русскими мыслителями-националистами своеобразного постимперского пазла символического *хронотопа*, включающего и исключающего территории, людей и объединяющие их характеристики в настоящем и в прошлом. Для модерных постимперских воображаемых сообществ в фазе отступления и утраты влияния на часть своих бывших территорий возникает задача переосмысления того, что было «нашим», как «ненашего» или, наоборот, попытка сделать уже «ненаше» снова «нашим». В сохранившемся целом ищут маркеры и принципы нового единства. При этом осознанный конструктивизм мыслителей и идеологов, предлагающих свою сборку, сочетается с примордиальными базовыми элементами и пластичностью идентичностей, вместе образующих пазл. Анализ мыслительных ходов А. Солженицына, К. Крылова и М. Ремизова позволяет обнажить саму *логику сборки* символического хронотопа, предварительно оценить востребованность национальной модели в обществе и поставить вопрос о «примордиальных» основаниях либеральной альтернативы — в частности, сложившейся *двухуровневой* идентификации. Современный русский национализм выглядит как трансфер старых европейских образцов, которые, возможно, меньше подходят для русского пазла, чем либеральный универсализм.

Timur Atnashev (PhD, Specialist in Intellectual History and Political Thought) timur.atnashev@gmail.com.

Key words: Russian nationalism, nation, empire, chronotope, two-level identity, Solzhenitsyn, Krylov, Remizov

UDC: 172.15+321+323.1+347.193.4
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_172

This article analyzes three versions of original assemblage by Russian nationalist thinkers of the unique post-imperial puzzle of a symbolic chronotope, including and excluding certain territories people, and the characteristics that unite them in the past and present. For modern post-imperial imagined communities in the phase of retreat, the task of rethinking what was “ours” as “not ours” emerges or, on the contrary, an attempt to make what was already “not ours” once again “ours.” They are looking for markers and principles of a new unity in the preserved whole. At the same time, the deliberative constructivism of thinkers and ideologues offering their setups is combined with primordial basic elements and a degree of plasticity to identity. An analysis of the intellectual moves of Solzhenitsyn, Krylov, and Remizov allows us to expose the very *logic of the setup* of the symbolic chronotope, preliminarily assess the relevance of the national model in society, and pose the question of the “primordial” foundations of liberal alternatives—the existing two-level identification in particular. Contemporary Russian nationalism surpisingly looks more like transfer of old European models, which does not really fit the current Russian puzzle.

После распада СССР в России тридцать лет шел процесс формирования идентичности нового политического сообщества в границах РСФСР на 1991 год. Многие ученые и эксперты осмысляют эту историческую динамику в координ-

натах движения между двумя полюсами — империи и государства-нации, в свою очередь открывающую развилку между гражданской французской и этнокультурной немецкой моделями[1]. Означает ли преодоление или отказ от имперского наследия естественный и желательный переход к национальному государству и гражданской нации[2]? Если да, то во многих случаях переход к национальному государству оказывался не менее, а более кровавым и болезненным, чем имперская фаза — достаточно вспомнить опыт Германии, Турции или Сербии в XX веке [Brubaker 1996]. Насколько такой, к сожалению, вполне типичный выход из логики континентальной империи через реконкисту и чистки к достаточно гомогенной этнокультурной нации предопределен и не является ли французская культурно гомогенная гражданская нация скорее историческим исключением, чем правилом [Weber 1976]? Желателен ли отказ от империи и соответствующих символических моделей, если он ведет к фазе агрессивного национализма внутри и вовне?

В фокусе внимания статьи находится постимперская идеология современных русских националистов, которые в течение трех десятилетий стремились представить русских «нормальной» европейской нацией и осмыслить Россию как страну русских, отказавшуюся от извращенной советской имперской модели, но снова готовую к реконкисте русских земель. Анализ трех авторских хронотопов русской нации показывает трудность, если не невозможность, выхода из имперской логики и сложную диалектику национального и имперского. С другой стороны, каждая сборка уникальна тем, что́ в символическом социальном пространстве и времени принимается ею за «наше», а что́ исключается как «ненаше». Собираемое в общественном воображении «коллективное тело» устойчиво *не получает* гегемонической национальной или имперской артикуляции. Возможна ли ненационалистическая и постимперская модель коллективной идентификации в России? В качестве интеллектуальной провокации я предлагаю увидеть в конструктивных ходах и особенно в сетованиях русских националистов контуры именно такой *альтернативы*.

Официальная риторика включения новых территорий точечно апеллировала как к русской нации, так и к русскому языку, но также и к советскому, и

---

1 См., например: [Зевелев 2009; Rowley 2000].

2 Ведущий специалист по этнополитическим процессам в России Э. Паин так формулирует свою общую установку: «Мы выбираем некий промежуточный подход по широте охвата предмета национальной (этнонациональной) политики, считая основной целью такой политики формирование гражданской нации в Российской Федерации, а также связанную с этим необходимость разработки и реализации государственных программ гражданской интеграции этнических общностей в рамках демократического, правового, федеративного государства. В таком понимании национальная политика России, на наш взгляд, еще не сложилась — по крайней мере, в реальной практике… поэтому чрезвычайно актуальны исследования возможных направлений формирования гражданской нации в России» [Паин 2023: 9]. Ср. формулировку политического философа и публициста В. Пастухова*, который также имеет в виду задачу построения гражданской нации: «Я предложил бы рассматривать идущие в России с 1985 года идеологические процессы в описанном выше контексте… она совершает переход от предыдеологии к идеологии. А это все значит, что Россия вплотную подошла к задаче формирования нации, которая должна заменить наконец империю как единственную до сих пор знакомую России форму государственности. От того, как Россия справится с этой задачей, зависит ее будущее» [Пастухов* 2023: 45].

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

к российскому имперскому наследию [Малахов, Осипов 2021: 31]. Иначе говоря, расширение территорий не было продиктовано ни явным выбором между имперской или национальной моделями, ни предпочтением в пользу этнокультурной или гражданской моделей нации. В данной статье я предлагаю посмотреть на проблематику символической «сборки» сообщества под другим углом. Мы можем не просто рассмотреть различия между империей и нацией или разные варианты нациестроительства, отметив очень высокую *гетерогенность* конкурирующих представлений, но и поставить вопрос о *совпадении* воображаемых и фактических границ данного политического сообщества.

Для операционализации этой перспективы я предлагаю использовать понятие хронотопа, символически включающего в себя всех граждан, территории и значимые события в настоящем и прошлом сообщества. При этом важно наличие достаточно сильной эмоциональной и субъективной *идентификации* граждан с этим целым. Нормативной перспективой и задачей тогда становится создание эмоциональной связи граждан с политическим сообществом при совпадении границ воображаемого хронотопа и признанных границ государства.

В первой части статьи я обрисую историографический контекст и теоретические контуры понятия хронотопа политического сообщества, а также методологические основания для его реконструкции. Во второй части я постараюсь показать, как в этих терминах можно осмыслять конкретные ходы трех ярких и влиятельных отечественных мыслителей конца XX — начала XXI века, которых можно однозначно отнести к русскому националистическому течению — Александра Солженицына, Константина Крылова и Михаила Ремизова. В последней части статьи я выйду за рамки анализа в жанре интеллектуальной истории в поле социального и философского конструирования. И предложу эскизные варианты постимперской интеграции национального сообщества граждан нашей страны, отталкиваясь от сильных и слабых сторон националистической сборки хронотопа. Альтернативная сборка не предполагает ни насильственного исключения, ни включения людей и земель в настоящем и в прошлом, но утверждает единый хронотоп воображаемого сообщества, опираясь на *уже сложившуюся* групповую идентичность значительного большинства русских и россиян. На ту, данную в ощущениях идентичность большинства граждан, которая вызывает жалобы влиятельных русских националистов, считающих себя одновременно и консерваторами, и конструктивистами. Либеральная сборка неожиданно может оказаться более консервативной, чем гораздо более конструктивистский националистический проект.

Контуры политического хронотопа и методология его реконструкции

В данном случае мы используем понятие политического хронотопа в специальном смысле, отличном от исходного смысла словосочетания «художественный хронотоп», предложенного М. Бахтиным и, в свою очередь, заимствованного им из языка современной физики[3]. Хронотоп политического сообщества

3 Ср.: «Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп» [Бахтин 1975: 121].

символически включает и объединяет людей, населяющих сопредельные регионы (пространственное измерение), большие исторические этапы жизни предков на этих территориях (временное измерение), а также предполагает символические маркеры, которые могут служить основой такой интеграции. Благодаря Б. Андерсону, термин «воображаемые сообщества» исторически закрепился именно за символическими конструкциями *национальных* государств или государств-наций Нового времени, возникших на основе более или менее гетерогенных нарративов локальных и более крупных эктнокультурных групп, что стало возможным после изобретения книгопечатания, расширения рынков, введения всеобщего школьного образования и общего усиления центральных аппаратов государств[4] [Баньковская, Кильдюшов 2019].

Однако в разное время воображаемые сообщества осмыслялись и до сих пор переосмысляются не только как нация, но и как республиканская общность, союз земель или штатов, конфедерация, народ, империя, мир миров, нация наций или цивилизация. Понятие политического хронотопа, понятого как своеобразный пазл для сборки, призвано зафиксировать и помочь более точно анализировать разнообразие риторических стратегий построения воображаемых политических сообществ в границах или вне границ государственных образований в современном историческом контексте[5].

Выбор понятия «хронотоп» также позволяет оставить *открытым* вопрос о долгосрочном историческом смысле или о направлении происходящих в постсоветской России и на ее рубежах этнополитических процессов и проектов. Возможно, мы действительно имеем дело с достаточно распространенной в истории XIX—XX веков логикой насильственных *чисток* [Walling 2000] рождающегося в муках национального сообщества после фазы имперской экспансии и мозаичного расселения и относительно мирного сожительства разных этнокультурных групп — во имя «гомогенного» государства-нации [Ther 2014], которое опирается на принцип демократического представительства народа [Mann 2005]. Представление об исторической слабости российского национализма в силу его подавленности империей имеет под собой основания. Из этого можно сделать вывод о том, что переход от мультиэтнической имперской идентичности к национальной, возможно, приведет к аналогичным кровавым событиям.

Трагическими прецедентами здесь оказываются распад Австро-Венгрии, Германской империи или Порты, на территории которых возникли современные национальные государства, прошедшие через войны за «свои исторические территории» и массовые чистки (Турция, Германия, Сербия, Хорватия,

4 Полемизируя с теми, кто считает нации исторически отжившим явлением, Б. Андерсон утверждает их глубокую укорененность в социальных структурах современности и предлагает сдержанную апологию «национализма» как источника *любви* сообщества к самому себе. Он также подчеркивает важность национальной идентичности и современных идеологий как светской замены потерявшим влияние религиозным доктринам и монархической традиции. Недавний обзор вклада Андерсона в социологию национализма см.: [Баньковская, Кильдюшов 2019].

5 Опираясь на методологию интеллектуальной истории, я хочу показать сложность конкурентного и часто *оспариваемого* конструирования как территориальных границ, так и общего прошлого сообщества. Ср. определение нации ведущего специалиста по национализму, Э. Смита: «...население, имеющее общую историческую территорию, общие мифы и историческую память, массовую культуру, общую экономику и общие юридические права и обязанности для своих членов» [Smith 1995: 57].

Румыния, Армения, Азербайджан и др.) [Зевелев 2009]. Более того, национальная политика России, Украины и Казахстана второй половины 2010-х и специальная военная операция, начатая в 2022 году, могут быть осмыслены как признак постепенного и все еще не вполне уверенного перехода от стратегической амбивалентности к запаздывающей «национализации» [Зевелев 2014; Малахов, Осипов 2021]. Однако в истории наличие даже нескольких прецедентов не означает, что мы имеем дело с устойчивой закономерностью и линейной сменой одной модели другой. Историческая динамика в каждом конкретном случае остается принципиально открытой, факторы, влияющие на исход, многообразны, а их конкретные констелляции в известной степени случайны и уникальны. Опыт других стран и регионов задает в лучшем случае границы большого веера исторически возможных моделей скорее, чем одну универсальную траекторию.

Еще в 1970-е годы и нация, и империя казались многим отжившими архаическими формами. Но многообразие трансформаций европейских империй в государства-нации указывает на непредсказуемость исхода и на длительные периоды *сосуществования* этих двух политических форм организации политической власти и территорий, которые раньше принято было противопоставлять[6]. Подобно тому, как Э. Геллнер, Б. Андерсон и С. Малешевич показали, что нации и национализм были и остаются социально устойчивыми структурами современности, а не реликтами прошлого, Ю. Остерхаммель, С. Бергер, А. Миллер и другие ведущие историки империй демонстрируют, что имперские структуры также были и во многом *остаются* несущими конструкциями модерна[7]. Таким образом, опираясь на актуальную историографию, вместо гипотезы о *переходе* от империи к нации мы скорее можем принять принципиальную множественность и «многоукладность» как вероятную константу для соотношения имперской и национальной моделей. В отношении предполагаемой развилки между гражданской и этнокультурной идентичностями вопрос представляется еще более открытым. В этот слоеный пирог коллективных идентичностей могут добавляться и новые типы, а пропорции или относительные веса разных ингредиентов могут меняться. Я предлагаю ис-

6 Наиболее полно рамочная концепция этого нового взгляда на историю нации и империй в Новое и Новейшее время, а также критика их поспешной «архаизации» представлена в: [Osterhammel 2014]. См. также известный сборник, подводящий итоги переосмысления западноевропейского опыта и предлагающий обзор сходных процессов в Восточной Европе: [Berger, Miller 2015].

7 Вместо телеологического перехода от империи к нации историки обнаруживают и устойчивость имперских структур, и даже «обратное» движение наций в сторону имперских форм: «В этой удивительной ситуации настоящее эссе ставит перед собой более скромную задачу: оно рассматривает империю как особый тип государства и как структуру социальной жизни и индивидуального опыта, и оно просто утверждает, что девятнадцатый век был в гораздо большей степени веком империи, чем, как продолжают считать и учить многие европейские историки, веком наций и национальных государств» [Osterhammel 2014: 392]. В своих недавних работах Синиша Малешевич дополняет этот ревизионизм соотношения империи и нации указанием на обратный феномен: «Однако, в то время как другие ученые исследуют, как и когда имперские проекты перенимают националистические идиомы и практики, мое внимание сосредоточено на другой стороне этих отношений: как национальные государства используют имперские и квазиимперские проекты для повышения своей националистической легитимности внутри страны и престижа власти за рубежом» [Malesevic 2019: 91].

пользовать новый и более нейтральный термин «хронотоп», в частности, для того чтобы явно исключить нагруженные фреймы нации и империи из описания самой базовой формы или воображаемого тела коллективной идентичности во времени. Хронотоп в данном случае — это более абстрактная и более общая форма модерной коллективной идентичности, чем нация-государство или империя.

Изучая деятельность элит, публичных интеллектуалов и мыслителей, историк должен держать в уме, что речь по умолчанию идет о *конкуренции* символических проектов коллективной идентичности на разных уровнях социальной организации, которая в определенных ситуациях может приводить к возникновению устойчивой и широкой разделяемой идентичности или к *гегемонии* одной из *артикуляций* в терминах Лакло и Муфф [Laclau, Mouffe 1985]. Исход этой конкуренции везде не предрешен и зависит от убедительности и близости предлагаемых идеологами ходов для широкой публики, текущей этнокультурной структуры и взаимодействий разных политических акторов внутри и вне сообщества. Особенностью текущей исторической конъюнктуры представляется то, что в России происходят разнонаправленные процессы и сосуществуют разные модели, где временно или даже устойчиво *не возникает* гегемонического проекта[8]. Средствами интеллектуальной истории мы можем в первом приближении проанализировать происходившие в России попытки нескольких влиятельных интеллектуалов предложить свои варианты одновременно постимперской «пересборки» наследия российской и советской империй в терминах европейского *русского национального* государства.

Я хочу проследить, как в публичной риторике политического сообщества целое конструируется через операции *объединения* и *исключения* «нашего» и «ненашего». Объединяющим маркером национального единства может быть этническая и/или культурная принадлежность, но также религия, верность монархической династии, сверхнациональная (советская, американская, лузотропикальная) общность или дружба народов, а также идентификация с отдельными политическими институтами или великими деятелями воображаемого коллективного прошлого (Жанна д'Арк, Мустафа Кемаль, «древняя конституция», отцы-основатели и т.п.). *Противопоставление* своей общности другим институтам, странам, группам или деятелям работает как негативные маркеры[9]. При этом часто негативные маркеры указывают на сограждан в настоящем или на целые исторические периоды в прошлом, которые должны

8 Представляется, что именно это обстоятельство выражается в столь разных оценках ученых и экспертов. Ср. с формулировкой ведущего российского специалиста В. Малахова: «"Нация" есть проекция на общество определенных ожиданий. Вряд ли имеет смысл пытаться утвердить единственно правильную точку зрения на то, как следует интерпретировать данное понятие (и, соответственно, объявлять неправильными все остальные). *Гегемония* (курсив наш. — *Т.А.*) здесь и невозможна, и не нужна» [Малахов 2017: 190]. Так, даже направление исторической динамики национализации вызывает споры. См., например, два авторитетных и принципиально разных взгляда на «национальное» и на динамику «национализации» в российской политике: [Brubaker 2011; Giuliano, Gorenburg 2012]. Ср. недавнюю диссертацию о сложной игре политического руководства России по отношению к четырем конкурирующим националистическим тенденциям: [Laine 2021].

9 См. классическую работу историка П. Салинса о формировании представлений о другом и границах на примере возникновения современных Испании и Франции: [Sahlins 1989].

быть *исключены* из символического хронотопа, но затем и из политического сообщества, что, как мы видели, послужило важнейшей причиной чисток и геноцидов за последние двести лет. В таком случае возникают разрывы или полости в воображаемом или актуальном «коллективном теле»[10].

Методологически я исхожу из необходимости признать как реальность *социального конструктивизма*, то есть способности людей намеренно создавать и передавать другим представления о своей и чужой индивидуальной и коллективной идентичности в форме общих историй и символов, так и относительную важность «примордиальных» этнокультурных сообществ и социально-экономических структур[11]. Коллективные идентичности в известной степени пластичны и подвержены моделированию и распространению сверху, но это не исключает автономной роли этнокультурных самосознаний различных групп, инерции социальных практик, конкуренции разных проектов и возможности субъективного выбора индивидов и групп в ответ на усилия «конструкторов»: административные меры, риторические конструкции мыслителей и публицистов, литературу, систематическое воздействие государственных или общественных институтов, таких как школа, церковь и официальная пропаганда.

Итак, для большинства современных политических режимов и лидеров формирование устойчивого и привлекательного хронотопа оказывается важной политической задачей и одной из основ устойчивой легитимности [Ливен 2020: 25]. При этом конкурентный характер этой конструкции, обусловленный *множественностью* предлагаемых проектов и (большей или меньшей) *разнородностью* исходных строительных блоков, и задает целый спектр возможностей и открытое будущее. В некотором идеальном случае хронотоп страны представлял бы собой прочное единство нарративов, где одна большая и гомогенная группа людей всегда жила на этой земле и придерживалась традиционного устройства. На другом полюсе — конкуренция множества несовместимых друг с другом нарративов или проектов пористого или взорванного хронотопа, где множество голосов не признают друг друга и своей принадлежности сообществу, хотя и проживают совместно на некоторой территории.

Культурные практики, примордиальные общности, базовая самоидентификация и иерархия идентичностей граждан, символические события, целые эпохи, и социоэкономические структуры служат своеобразными «строительными блоками» для символического конструирования и политического проектирования. В социальном мире «строительные блоки» могут менять форму, но не всегда и сразу поддаются уговорам и призывам «реконструкторов» — требуется признание и узнавание больших групп людей своей идентичности

10 См. новое сравнительное исследование последствий такого символического исключения и затем уничтожения целых групп в недавнем прошлом для конструирования политической идентичности: [Лёзина 2021].

11 В российской литературе близкую исходную методологическую установку разделяют В. Тишков [Тишков 2023: 9—14] и Э. Паин [Паин 2023: 28]. См. одну из ранних версий такого сбалансированного подхода к национализму наряду с Андерсоном: [Calhoun 1993]. Энтони Смит, работы которого также стали классикой, последовательно настаивал на необходимости учитывать и исследовать «этнокультурные ядра» современных наций *наряду* с символическим и конструктивистским моментом, см.: [Smith 1986]. С. Малесевич развивает этот подход как этносимволическую перспективу на историю современного национализма, см.: [Malesevic 2006; 2019].

в том или ином нарративе идеологов и политиков. При этом идеологи обычно не просто собирают свою версию хронотопа сообщества, но и *сами* говорят от его лица и часто обращаются к сообществу с призывом *осознать* себя. Так, в XIX—XX веках марксисты говорили от лица пролетариата, который еще не знал о своем существовании в этом качестве и даже не признавал своего имени, а прогрессивные националисты — от лица молодых наций, только еще рождавшихся из этносов и более диффузных и часто разнородных этнокультурных сообществ.

Исходя из признания важности и конструктивизма, и «предзаданных» социальных структур, можно утверждать, что каждый публичный проект сборки пазла содержит перформативный набор *притязаний* или утверждений — и таким образом обладает политическим потенциалом признания и легитимации[12]. На уровне публичной коммуникации, политической борьбы внутри государственных институтов или в бытовом общении предложенные ходы и варианты сборки хронотопа могут оказаться востребованными или остаться чисто интеллектуальным «прототипом». Однако интеллектуальный историк реконструирует доступными средствами прежде всего *намерения* авторов, скорее, чем их политическое влияние [Атнашев, Велижев 2018]. В дальнейшем я буду обращаться к политическим проектам или узлам проектов трех интеллектуалов-националистов, прямо не рассматривая степень их влияния на решения, государственные институты или актуальную идентичность россиян. Наш содержательный фокус в данном тексте — на самих конструкциях. Политическая значимость, потенциал признания и возможная альтернатива кратко рассматриваются в заключении.

Для более дифференцированного анализа вариантов сборки хронотопа полезно различить несколько риторических стратегий взаимодействия между конкурирующими и кооперирующими носителями различных его версий. Я различаю авторские стратегии *включения*, *патронажа*, *союза*, *исключения*, *вражды*, *присвоения* и *деконструкции* в отношении отдельных элементов или узлов хронотопа, других его версий или представителей отдельных групп внутри или вовне страны.

- *Включение* выражает притязание на полное поглощение и интеграцию отдельной группы в общность, от лица которой говорит автор (без остатка). Например, «русское» включает «казаков», «поморов», «сибиряков» [Ремизов 2016], но также и «мужчин» и «женщин», «пролетариев» и др., которые в принципе могли бы заявить себя как самостоятельную политическую общность, претендующую на относительную автономию или на полноценный суверенитет (ср. патронаж).
- *Патронаж* выражает притязание на главенство и предполагает включение отдельной группы в общность на правах автономии (с остатком). Например, Солженицын предлагает «малым народам» остаться в России на правах младших партнеров трех братских русских народов [Солженицын 1990].
- *Союз* выражает готовность партнерского взаимодействия общности, от лица которой говорит автор, с другой группой без слияния. Так, Солжени-

12 Я следую здесь общей логике понимания перформативности речи в философии Дж. Остина и в интерпретации К. Скиннера, приложившего эту теоретическую модель языка к интеллектуальной истории. См.: [Атнашев, Велижев 2018].

цын предлагает равноправный союз великороссов, малороссов и белорусов [Там же].

• *Исключение* ставит четкую границу между общностью автора нарратива и другой общностью, что запрещает ее членам притязать на общность или союз. Например, Крылов символически исключает всех «новиопов» и элиты «националов» из русской нации [Бобров, Михайлов 2018: 284]. Ремизов и Крылов исключают национально-территориальные автономии как юридические образования [Ремизов 2016; Крылов 2008]. Солженицын в 1990 году предлагал избавиться от балтийских, кавказских и среднеазиатских республик, указывая на сложности их ассимиляции [Солженицын 1990]. Все трое исключают «советский период» и «советское наследие» из национального прошлого [Там же; Ремизов 2002; Крылов 2008].

• *Вражда* указывает на необходимость различных форм борьбы группы носителя дискурса против другого сообщества, вплоть до массового насилия. Ремизов рассматривает агрессию Запада как на источник экзистенциальной угрозы, задающей мобилизационную повестку нации и обращает ее вовне [Ремизов 2002; 2022]. Крылов провозглашает национально-освободительную борьбу русского народа против «новиопской» метрополии и союза нерусских элит внутри страны [Крылов 2008].

• *Деконструкция* (высмеивание) — критика и дискредитация проектов прямых оппонентов или близких конкурентов, предлагающих свои варианты сборки. Например, Ремизов и Крылов критикуют и высмеивают «либеральную нацию», «эрэфию» или «многонациональный народ РФ» [Ремизов 2002; 2016; Крылов 2008; 2014].

Наконец, важно добавить еще одну важную характеристику политических хронотопов «воображаемых сообществ». В большинстве состоявшихся современных государств складывался динамичный конгломерат из частично конкурирующих и частично совпадающих нарративов, собирающих граждан, историческое время и пространство. В современном контексте после 1945 года предполагается, что собранный целый пазл совпадает с юридическими и фактическими границами страны-нации, а насильственное изменение границ табуировано. Множественность и гетерогенность дискурсов — структурное свойство современных обществ, и в этом смысле единство национального хронотопа редко встречается в *чистом* виде. Но важны как степень разнообразия, так и совпадение воображаемых версий сообщества и существующих государственных границ.

Особенность постсоветских тридцати лет в России заключается в том, что такая общность остается под большим вопросом и часто осмысляется *самими* мыслителями-националистами не как данность и уже преднаходимая реальность нации, но как интеллектуальная задача и разобранный пазл для авторской пересборки. В современном контексте особенно значимо и то, что фактические границы государства в моменте *не совпадали* со всеми тремя «авторскими» версиями хронотопа русской нации. При этом все три хронотопа существенно различаются между собой.

Общая территориальная динамика Российской империи, СССР и Российской Федерации за прошедший век указывает на фазу отступления империи — в результате были утрачены территории на западе, юге и на севере по размеру территорий и населения сопоставимые с оставшимся «ядром». В контексте мо-

дерных обществ утрата ранее входивших в общность регионов, народов и соответствующих укладов ставит проблему переформулировки единства постимперского и национального хронотопа. Выражением этой проблематики становится переосмысление того, что было «нашим», как «ненашего» и, наоборот, попытка сделать уже «не наше» снова «нашим». В следующей части статьи с помощью предложенной рамки я эскизно рассмотрю влиятельные и оригинальные авторские нарративы, или версии постимперской и национальной сборки хронотопа современной постсоветской России, предложенные яркими представителями нескольких поколений. Речь пойдет о текстах, написанных А. Солженицыным в 1990 году, М. Ремизовым — в начале 2000-х и в 2020-х и К. Крыловым — в начале 2010-х годов.

Три версии сборки русского национального хронотопа на месте СССР

Александр Солженицын

В сентябре 1990 года Александр Солженицын (1918—2008) опубликовал свой знаменитый манифест «Как нам обустроить Россию. Посильные соображения» [Солженицын 1990], призванный наметить контуры будущего Русского государства и отказаться от непосильного более имперского бремени. Манифест был опубликован тиражом более 20 миллионов экземпляров почти одновременно в нескольких изданиях. Текст всемирно известного писателя и диссидента вызвал множество откликов, хотя в моменте и не был принят обществом или политиками как актуальная программа[13]. Высказывание важно вписать в исходный контекст. В момент публикации трактата СССР оставался символической рамкой для публичной полемики, хотя страна переживала глубочайший экономический и политический кризис. Солженицын шокирует современников призывом решительно отказаться от СССР и осознанно подходит к задаче реконструкции *нового*, но в то же время *исконного*, исторического хронотопа страны как «России и страны русских», исключая из проектируемого хронотопа коммунизм, советское наследие и большую часть советских республик.

«А *что* же именно есть Россия? Сегодня. И — завтра (еще важней). *Кто* сегодня относит себя к будущей России? И *где* видят границы России сами русские?» [Там же: 4]. Прямо говоря *от лица* всех русских и всей исторической России, писатель считает необходимым сбросить «лишние» территории и народы на юге и на западе («три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать — да!» [Там же]). Далее он указывает, что Казахстан был «нарезан» коммунистами без разума из «частей Сибири и Приуралья» [Там же: 5]. Поэтому южная дуга областей, где проживают казахи, может отделиться, а Северный Казахстан законно отойдет к России. Мыслитель постоянно повторяет, что мирная пересборка нового целого требует сложной выкройки и мудрости. Автор проектирует сложносоставную общность, имена

13 Общий обзор влияния Солженицына на русский национализм см.: [Rowley 1997].

которой Россия, Русь и Российский Союз. В ядре — обобщенные русские, три кровных братских народа с корнем «*рос*». И периферия из ста народов и народностей, включая совсем малые. К каждому из больших и малых народов Солженицын обращает свой проект обустройства привлекательной стороной. Общая логика пересборки заключается в том, чтобы отказаться от внешней *имперской* экспансии и *добровольно* собраться вокруг исконного общего русского ядра.

Поэтому для мыслителя так важно предложить недовольным малым народам свободно покинуть союз. Только добровольное согласие может быть твердой основой сообщества, а «пространственное мышление», «имперский дурман» и «советский державный патриотизм» — главная коммунистическая опасность, ибо «нет у нас сил» на Империю. Ключевой аргумент в пользу отказа — невозможность *ассимиляции* окраин в ситуации демографического упадка русских. Собирание ядра поможет сохранить и развить русский дух и русскую культуру. Отрицая и символически исключая СССР из хронотопа[14], Солженицын приписывает имперское начало коммунизму. А из позднего наследия Российской империи вдруг проступает «рождающееся русское национальное самосознание» в сочетании с братством народов. Можно говорить о своеобразном имперском русском национализме, который одновременно ставит себе цель и ассимиляцию других народов русскими, и сбережение этнокультурного разнообразия союза народов.

Отвечая на вопрос о возможном отказе части братских народов от присоединения к будущему Русскому Союзу, Солженицын делает ставку на точный выбор аргументов, политическую мудрость и корневые связи. В качестве практического решения мыслитель предлагает тотальный и мозаичный референдум или отдельное голосование для каждой «местности». В результате должно возникнуть исконное и одновременно новое единство — союза трех русских народов и множества малых наций.

> Откуда этот замах: по живому отрубить Украину (и ту, где сроду старой Украины не было, как «Дикое Поле» кочевников — Новороссия, или Крым, Донбасс и чуть не до Каспийского моря). И если «самоопределение нации» — так нация и должна свою судьбу определять *сама*. Без всенародного голосования — этого не решить… никто не посмеет удерживать его (украинский народ. — *Т.А.*) силой. Но — разнообразна эта обширность, и только МЕСТНОЕ население может решать судьбу своей местности, своей области [Там же: 8].

Проект сборки «Российского Союза» Солженицына, очевидно, не был реализован буквально. СССР распался по границам, с его точки зрения, бездумно нарезанным коммунистами. В последние годы жизни самодостаточный и неподкупный русский мыслитель и диссидент проявлял знаки благорасположе-

14 Советский период для Солженицына последовательно предстает именно как период политики, направленной против русских. Ср.: «Подрубить именно русский народ и истощать именно его силы — была из нескрываемых задач Ленина. И Сталин продолжал следовать этой политике, даже когда произнес свой известный сентиментальный тост о “русском народе”» [Солженицын 1995: 681]. «А советская история была именно тупик. И хоть в эти 20—30-е… 60—70-е правили *не мы с вами* — а отвечать за все содеянные злодейства и перед всем миром достается — кому же? да только нам, и, заметим: только русским!» [Там же: 685].

ния Владимиру Путину, президенту страны и бывшему сотруднику КГБ. Писатель встречался с политиком для обсуждения «актуальных вопросов». Мы можем лишь допустить, что формула «три братских русских народа + часть Казахстана» могла стать для действующего президента актуальной и адекватной заменой советской державы, распад которой он называл геополитической катастрофой. Советский *державный милитаризм*, против которого так настойчиво выступал великий писатель, был маргинализирован в 1990-е годы. Однако стремление части политиков и граждан вернуть отдельные утерянные ранее элементы постимперского пазла приобретали все большее значение и содействовали возвращению советского же милитаризма и империализма и постепенному отказу от принципа добровольности.

Для нас же здесь особенно важна обнаженная Солженицыным модель *ручной пересборки* исторического и географического пазла отступающей империи. По его замыслу, предложенный им новый крой гармонично сочетает триединую русскую нацию, «содружность наций», выстроенную как почти равноправный союз, и шепотом проговариваемую задачу патронажа и мягкой ассимиляции окраин в сочетании с полными правами каждого народа на свои язык и культуру. Напротив, Узбекистан или Латвия исключаются и из будущего, и из прошлого пазла. Также как из прошлого хронотопа России в версии Солженицына — в отличие от текущей официальной доктрины — критически исключается советское наследие и в пределе весь советский период, чтобы символически воссоздать дореволюционную и крестьянскую Россию.

Михаил Ремизов

В начале 2000-х годов Михаил Ремизов (род. 1978) стал одним из наиболее влиятельных и ярких публицистов и политических мыслителей своего поколения[15]. Рано обозначив свою принадлежность консервативному направлению, он начинает в журнале Глеба Павловского «russ.ru» как редактор раздела «Политика» в орбите Фонда эффективной политики. Но уже через два года уходит оттуда, публично выступив против проекта «либеральной нации», продвигаемого фондом. Затем на протяжении многих лет совместно со Станиславом Белковским Ремизов участвует в ряде политических проектов, позиционирующих себя как экспертные и публицистические площадки национального строительства (Агентства политических новостей, Института национальной стратегии)[16]. В 2005 году он занял пост президента Института национальной стратегии, а с 2012 года возглавлял экспертный совет при коллегии Военно-промышленной комиссии. В 2019 году Ремизов продолжит работу в этой сфере

15 В 2004 году в рейтинге «российских интеллектуалов» М. Ремизов занял 26-е место, опередив Д. Галковского, А. Зорина, А. Проханова, В. Третьякова, С. Чернышева и др. (Интеллектуальная Россия: Рейтинг социогуманитарных мыслителей. 100 ведущих позиций. Год 2004 // https://www.sostav.ru/articles/rus/2004/08.09/news/intelekt.html (дата обращения: 06.05.2024).

16 См.: «Наконец, при переходе к обществу модерна формируется современная нация — как культурно однородное и социально солидарное сообщество равных людей» (*Белковский С., Ремизов М.* Специальная теория модернизации // Газета.ru. 2009 (http://www.gazeta.ru/comments/2009/10/12_a_3272036.shtml (дата обращения: 06.05.2024)).

как управленец и будет уже от своего имени точечно выступать в прессе с программными политическими текстами.

Молодой мыслитель в начале 2000-х видит свою задачу в том, чтобы, «освободившись от коросты обыденности и от всякого старого тряпья, ощутить, стоя на грани, непреложность своего существования, с тем чтобы выбрать себя, изобрести себя, спроектировать себя — себя, то есть Россию, — заново» [Ремизов 2002: 112]. Он прямо говорит о необходимости *создать* «воображаемое сообщество», разделяя два способа такого проектирования: утопическое и фундаменталистское. Утопическое проектирование предполагает универсальный порядок без привязки к времени и месту (США). Фундаменталистское проектирование обращается к «пространственно-временной генеалогии» и нацелено на «возобновление истоков» (Израиль)[17]. В современной России Ремизов противопоставляет бюрократизацию, бизнес-аппетиты элит и деполитизацию масс фигуре харизматического политика («полковника»), способного принимать подлинные решения — то есть провоцировать события, разрывающие обыденность и ломающие периметр права и порядка. По его мнению, в 2001 году Россия находилась в пограничной ситуации, под угрозой гибели от рук хищных конкурентов, но население, чиновники и элиты спали в плену повседневности [Там же: 46].

Именно создание и утверждение собственного мифа, собственной версии исторического сознания позволяет стране «войти в историю». Напротив, возникшая в 1991 году «Новая Россия» основана как иллюзорный либеральный проект, отрицающий прошлое с его уникальной связкой пространства, людей и времени. При этом реальность исторической судьбы России, которую вслед за А. Филипповым Ремизов предлагает принять как необходимый исходный миф, суть пространственно-временная перспектива империи. Напротив, утверждаемая «национальным либералом» Г. Павловским или «либеральными консерваторами» во главе с А. Кара-Мурзой, «новая Россия» — для самого радикального консерватора — *пока не существует*. С его точки зрения, в ранние 2000-е страна все еще находится в периоде смуты, когда ее субъектность максимально ослаблена. И только «полковник» может разбудить страну и объявить всеобщую мобилизацию.

Конституция 1993 года, государственные границы и сложившийся статус-кво в стране оказываются главной мишенью критики и деконструкции для радикального консерватора Ремизова. Жак Деррида помогает тут отвергнуть правовую фикцию либерального порядка. Ибо юридическая тавтология Конституции, которая сама себя утверждает в качестве основания политического порядка и как принцип единства сообщества, которое принимает Конституцию, и рутина статус-кво блокируют возможность артикулировать «доправовые, то есть *настоящие*, политические основания политического сообщества», для которых уже не подходит постмодернистская ирония [Там же: 39—40]. В ряде текстов автор прямо указывает, что таким основанием общей судьбы является «этнокультурная общность», которая табуирована и в либеральной Европе, и в России. В этом случае автор сознательно выбирает старую, «немец-

17 Парадоксальный тезис о том, что методологический конструктивизм не противоречит национальному консерватизму и автоматически не должен вести к «преодолению предмета», Ремизов более подробно разовьет в статье для первого номера журнала «Вопросы национализма» в 2010 году [Ремизов 2010].

кую» модель нации, предпочитая ее «конституционному патриотизму» Хабермаса. Как иронически констатирует публицист, никто не готов «умереть за статус-кво» или «за конституционный патриотизм» [Там же: 64]. Михаил Ремизов, напротив, был уверен, что «гражданская нация» либеральных индивидов, которая совпадает со случайным узором границ, суть трусливый отказ от *судьбы*, политики и исторической *воли*. Такое государство и такая национал-либеральная нация не пройдут испытания, когда само существование страны поставлено под вопрос:

> Логика «гражданской нации» предполагает, что все пересечения гражданства с этничностью («культурой», «происхождением», «религией», «языком») случайны, то есть не имеют отношения к сути гражданства. «Нация граждан» есть нация формальных граждан, которые и мобилизованы могут быть только формально [Там же: 79].

Константин Крылов

Константин Крылов (1967—2020) даже после смерти занимает особое место в современной политической мысли как наиболее влиятельный, последовательный и жесткий русский националист, прямо исповедовавший *этническое* прочтение национальности и защищавший «моральное» и интеллектуальное право на такую публичную позицию [Святенков 2020]. Долгое время Крылов был редактором сайта «apn.ru», которым ранее руководил Ремизов, а затем запустил новый научный журнал «Вопросы национализма», но с трудом обеспечивал финансирование проектов. В целом, несмотря на неформальный авторитет, он занимал не самое видное положение в публичном пространстве даже в среде русских националистов. Однако на момент его недавней кончины Крылов оказался фигурой, вызывающей уважение и признание очень широкого круга интеллектуалов и активистов[18].

Радикальный мыслитель видел своей задачей перейти от спектра идеологий, которые используют национализм «через черточку» («национал-большевизм», «национал-монархизм», «национал-империализм», «национал-анархизм»), к проекту,

> в котором Русский народ не является средством для чего бы то ни было — Государства, Империи, Социальной Справедливости… <…> С осознания этой простой мысли — русские нужны сами себе, а не как ресурс или топливо для чего-то внешнего, сколь бы привлекательным оно ни было, — и началось русское движение в подлинном смысле слова [Крылов 2008].

Перекодируя общественное и символическое пространство страны, Крылов, во-первых, настойчиво добивался признания нормальности «русского национализма», избавления его от навязываемого властью и интеллигенцией комплекса неполноценности и вины, опираясь на язык и опыт европейского нациестроительства. Именно это «терапевтическое» вмешательство, как представляется, сделало его столь авторитетным в среде националистов. Во-вторых,

18 В частности, см. специальный номер журнала «Вопросы национализма» за 2021 год, посвященный памяти К. Крылова.

как и многие другие, публицист иронически обличал «химеру многонационального народа». В-третьих, он предложил свою интерпретацию хронотопа РФ и свой проект создания русской нации.

Крылов описывает сложившийся политический режим как союз высшей власти, спецслужб, бизнеса и интеллигенции, в основном представляющих национальные меньшинства против порабощенного и бесправного русского народа или русской нации. Аналогичную схему «империи наоборот» он обнаруживает в СССР и в Российской империи. Россия никогда не была империей в классическом западном смысле, но скорее союзом национальных метрополий против общей колонии — «русской России». Хронотоп страны должен быть перекроен через осознание первенства до сих пор подавленного и спящего субъекта-суверена. Так, например, вредный для патриотов раскол на красных и белых преодолевается через указание на примиряющее всех первенство русского над любыми другими политическими принципами, что означает и конец «гражданской войны». Неожиданный *антиимперский*, антиколониальный пафос Крылова позволяет сформулировать русскую национально-освободительную и демократическую программу как революционную доктрину, обращенную и в будущее, и в прошлое.

С точки зрения политической практики речь идет о демократической форме координации. «На наших глазах складывается иная система — а именно сеть русских организаций, тесно координирующих свою деятельность, связанных совместными проектами, перекрестным членством, личными контактами, и, конечно, общей целью — созданием русской нации и строительством русского национального государства» [Там же]. Субъектом будущей политики, от лица которого говорил Крылов, была угнетенная «русская нация», понятая как объект эксплуатации, обвинений, русофобии и русоцида со стороны правящих элит и нацменьшинств[19]. Пассивный и потерянный сейчас русский *обыватель* должен осознать свою идентичность и превратиться в осмысленного русского националиста, и начать объединяться. Русские националисты, с его точки зрения потенциально представляющие подавляющее большинство в стране, являются последовательными *демократами* и должны избегать соблазнов «евразийцев» или «державников», говорящих о склонности русских к единовластию. Организованная нация обязана самоуправляться.

В пазле Крылова паразитические и нерусские элиты и антирусские этнократии исключаются из общего тела, но «для обычных татар, бурят или чукчей русское национальное государство будет скорее более комфортным, чем нынешняя “многонациональная” РФ» [Там же]. Для них предлагается патронаж и забота со стороны русской нации — сохранение культурной автономии и освобождение от собственных паразитических элит, что предполагает попытку деконструкции националистических нарративов в нерусских республиках. Всем нерусским гражданам гарантированы индивидуальные права и дружелюбие русских (не будет «расистского государства»), хотя сами угнетаемые русские и заслуживают «позитивной дискриминации». Напротив, советская

19 «На моей памяти из русских все время что-то делали — то есть резали их на куски и пытались сшить из этих кусков то “советский народ”, то “россиян”, то вот теперь “российскую нацию”. Разумеется, именно из русских — все остальные шестьсот шестьдесят шесть народов России неизменно оставались самими собой» [Крылов 2016: 3].

идентичность остается для Крылова предметом постоянного высмеивания или аналитического отрицания: «концепт “советского народа” давал людям (прежде всего русским) ложное чувство принадлежности к фантомной “всесоюзной общности”» [Крылов 2014: 4].

Как же, по мнению Крылова, происходит сборка национально-территориальных границ? С одной стороны, существует «труднообъяснимая… связь между народом и землей, на которой он живет» [Крылов 2008]. С другой — нужно отделить каркас государства и его аппарат от земли и нации. Националист считает, что процветание *народа* важнее, чем существование *государства* «под названием РФ». Сначала русская нация должна стать хозяином в своем государстве. И в будущем сильная национальная Россия вполне может начать процесс ирреденты, реинтеграции «славянского ядра» или возвращения утраченных земель, а также обеспечить репатриацию русских со всего мира. В отношении национальных республик внутри страны в конечном счете «необходима либо сепарация, либо реконструкция» [Там же]. В частности, кавказские республики должны сами доказать русским пользу от своего вхождения в Россию.

Наконец, К. Крылов оригинально разрешает еще один чувствительный момент для общей модели национальной сборки воображаемого сообщества — отношение к *православию* как маркеру «разрешенного русского чувства». В нескольких публичных работах за год до смерти он прямо атаковал РПЦ как декоративную часть госаппарата («единственная легальная форма русскости») и утверждал приоритет русскости над маркером православия: «РПЦ МП в нынешнем ее состоянии перестает быть нужной кому бы то ни было, кроме самой себя. Это абсолютный провал, фиаско, полное поражение проекта…» [Крылов 2019].

Михаил Ремизов (2022)

Весной 2022 года Михаил Ремизов вновь указывает на слабость и нежизнеспособность современной европейской либеральной модели гражданской нации для России [Ремизов 2022]. В своей апологии присоединения новых территорий он опирается на часть ходов Солженицына — возрожденная русская нация должна стать демократическим гегемоном и обустроить Россию[20]. Неудачи «идей “Русского мира”» на Украине консервативный философ объясняет «непристижностью» и «невыгодностью» русской идентичности в самой России и соседних странах, заимствуя аргументы Крылова.

Отмечая укорененность имперского наследия в России, Ремизов видит создание нации как новую задачу и как экзистенциальный *выбор* политиков и мыслителей, которых в критический момент поддержит проснувшееся общество. Воспитание и образование создали классические европейские *нации* эпохи модерна, которые, однако, в последнее время уступили место либеральным *гражданским сообществам*. Речь идет о достаточно последовательной попытке привить на русской почве немецкую национальную модель начала XX века. Только *этнокультурная* общность, сплоченная по принципу «свои

20 В более ранней книге политолог обосновывает включение Крыма как часть становления русского национального государства и деконструирует типичные критические тропы против русского национализма [Ремизов 2016].

против чужих», выбирающая коллективную судьбу и ощущающая связь с землей, способна защитить имперские завоевания прошлого от уравнивающей поступи глобализации. Только такой коренной национализм может обеспечить гражданский мир и социальную солидарность внутри страны. Для поднятия статуса русского национализма до уровня официальной доктрины Российского государства, в котором Конституция провозглашается от лица «многонационального народа», Ремизов ссылается на тексты недавних решений Конституционного суда:

> Ключевым основанием легитимности присоединения новых регионов к России является их русская идентичность. Это прямо зафиксировано в соответствующих постановлениях Конституционного суда… Россия больше не является нацией в административных границах РСФСР. Мы историческая нация, нация общей судьбы [Там же].

Однако искомой гомогенной национальной идентичности и солидарности мешает во многом та самая историческая укорененность и уникальная история страны-империи. В качестве дополнения к ядру русской национальной идентичности у Ремизова, как и у Солженицына, теперь тоже выступает «союз народов», где каждый участник может найти свои доводы в пользу развития в едином государстве, хотя для обоих мыслителей речь здесь идет, в наших терминах, о *патронаже*, а не о более равноправном партнерстве, заложенном в понятии «многонациональный народ». В целом русский национальный проект, включая и представление о союзе народов, оказывается легитимацией для фактического дальнейшего расширения территорий в «пространстве исторической России», ареал, оставляющий вопрос о границах принципиально открытым: «Сильная и открытая русская идентичность является основой того альянса народов, который сложился на пространстве исторической России. Без нее это пространство обречено на распад» [Там же].

Посильные либеральные соображения о строительных блоках хронотопа

В заключение я хотел бы отметить несколько общих черт рассмотренных русских национальных проектов современной России, и уже в жанре не исследования, но проекта указать на основания для возможной либеральной альтернативы. Во-первых, важно отметить четкое осознание рукотворности нации как модели для сборки, осмысление национального сообщества как *проекта*, конструкции и задачи на будущее каждым автором при одновременном утверждении фундаментальной, или *примордиальной*, основы сообщества. Во-вторых, мы видим многообразие и противоречия различных постимперских националистических сборок хронотопа — не возникло явного *гегемонического* представления о границах сообщества, критериях принадлежности к русской нации, нет согласия о ключевых маркерах принадлежности, ни о степени предполагаемой культурной интеграции или ассимиляции братских, союзных и соседних народов. С разной степенью жесткости и оговорками авторы исключают важные элементы советского наследия, воспринимая опыт СССР как катастрофу, а все еще массово укорененную советскую идентичность как досадный атавизм. Роль *православия* как объединяющего маркера достаточно

важна для Солженицына, незначительна для Ремизова и даже отрицательна в интерпретации Крылова, в частной жизни исповедовавшего зороастрийство. «Либеральная» же «эрэфная» идентичность «многонационального народа россиян» подвергается критической деконструкции и осмеянию. Я еще вернусь к этому упрямому и неподатливому камню преткновения и предмету насмешек националистов.

Все три автора отвергают существующие *границы* и «Конституцию» как основания для сборки русской нации и государства. Они ищут новые границы и новую оптимальную модель *первенства* этнокультурного исторического русского ядра при ожидаемом одобрении патронируемых малых народов будущей потери своих «титульных» национальных территорий и по-разному решают вопрос о *соотношении* русской, украинской и белорусской идентичностей.

Все три идеолога-националиста являются глубокими, эрудированными и убежденными знатоками и оригинальными *ретрансляторами старых европейских ценностей* национальной модернизации и соответствующих интеллектуальных ходов XIX—XX веков. Культурно-политически наши авторы заимствуют взгляды крайне правых европейцев, включая элементы консервативной критики самой модернизации, а экономически — скорее умеренных левых (они настороженно относятся к глобализации, крупному финансовому капиталу и культурной эмансипации). При этом одни делают ставку на низовое самоуправление и демократию, другие — на сильного лидера. Все считают русскую нацию проектом, а не данностью, и видят свою миссию в том, чтобы очертить его контуры. Наконец, сочетание элементов конструктивизма, сетований на слабое национальное самосознание и этнического эссенциализма позволяет авторам принимать известную пластичность этнонациональной самоидентификации (как ее выбора, изменения, так и полного отказа от нее), но примордиалистское понимание врожденной этнической принадлежности остается важным. При всех различиях трех мыслителей отрицание существующих границ превращает их модели национального хронотопа в де-факто *имперские* проекты. Хотя у Крылова, Солженицына и Ремизова в явном виде присутствуют серьезные антиимперские и антиколониальные мотивы, а все трое подчеркивают, что образцом для него является национальное государство. Крылов и затем Ремизов представляют русское национальное возрождение как *национально-освободительную* повестку прощания с империей (США и СССР).

Очевидно, данные нарративы составляют лишь небольшую часть пестрого ковра и официальных обоснований и/или критики существующего политического режима. Националисты в целом находятся в *диссонансе* или в более-менее скрытой *конкуренции* с мейнстримным официальным дискурсом, который скорее ориентирован на устойчивый и еще более гетерогенный сплав позднесоветского, имперского, русского, монархического и православного наследий. Эта какофония или полифония «нашего» и «ненашего» указывает на вполне открытый и пластичный характер воображаемого, но реального сообщества, в котором на данный момент, кажется, не возникло *гегемонии одного* из способов символической самоидентификации.

Какие выводы я могу сделать из вышесказанного для возможного постимперского и, в широком смысле, либерального переосмысления и пересборки русского хронотопа? Во-первых, либеральное, социал-демократическое и либерально-республиканское прочтения русского и российского сообщества

могут опираться на универсальные риторические ходы символического включения, патронажа, партнерства, деконструкции конкурирующих версий и исключения общих «строительных блоков» для сборки своего, более привлекательного хронотопа России. Исходные элементы пазла, по всей видимости, плохо стыкуются с *заимствованными* старыми европейскими моделями русских националистов, у которых не получается собрать единую модель хронотопа, опираясь на сложную и многослойную текстуру российского общества. Для создания более успешных моделей либерального хронотопа должна быть решена задача убедительной сборки и целостного осмысления исторически конкретной и в этом смысле вполне уникальной констелляции культур и людей, разделяющих чувство принадлежности к фундаментально здоровому целому, к его истории и его идеалам, — сообщества, разделяющего ответственность за совершенные от его имени преступления. Публицисты или политики, предлагающие такую сборку, могут публично говорить от лица этого предполагаемого, преднаходимого и одновременно воображаемого и конструируемого целого. От лица целого, осмысленного как общая история и как проект будущего сообщества, а не от лица заведомого меньшинства или части.

Насколько же этнокультурное видение русских мыслителей-националистов востребовано политическим руководством и насколько оно отзывается у большинства граждан России? Важно понимать, что, несмотря на интеллектуальную продуктивность и полемическое разнообразие различных версий этнонационализма Солженицына и Крылова и национализма «общей судьбы» Ремизова, политически эта позиция в течение последних тридцати лет с 1991 года остается слабо представленной и не востребованной обществом [Зевелев 2009], хотя в 2014 году этот дискурс на время стал более актуальным [Зевелев 2014]. Как я постарался показать, современный русский национализм как идеология оказывается набором авторских и глубоко продуманных версий *трансфера европейских образцов* нациестроительства, который в значительной мере игнорирует конкретные особенности сложившегося в России общества и его «элементов». В частности, националисты критикуют и буквально *исключают* из своего хронотопа советский период и связанные с ним ценности, идентичности и практики, но также вынуждены констатировать слабость национального самосознания в имперский период. Как лаконично пишет Солженицын, ссылаясь на В. Розанова, но используя понятие «возрождения» и как бы отсылая к более ранней форме национального самосознания в еще более далеком прошлом:

> Возрождения русского национального сознания — в русском обществе не произошло. И В.В. Розанов (в 1911) выразил это так: «Душа плачет, куда же все русские девались?.. Я ужасно плачу о русских, ибо думаю, что погибает само племя, что вообще попирается все русское» [Солженицын 1995: 674].

Конгломерат из советской идентичности, советского патриотизма и империализма, русской культуры, ценностей и практик дружбы народов, а также советского же антиколониализма с православной версией «консервативных ценностей» и, наконец, новой «российской идентичности» остается более популярным и востребованным в официальной и неофициальной риторике, чем ставка на этнокультурную русскую (по модели Германии, Греции или Армении) или на монокультурную гражданскую русскую идентичность (по модели Франции). С другой стороны, частичный характер мобилизации и преимущественно контрактная модель комплектования участников СВО с зарплатой

в пять-шесть раз больше медианы указывают на то, что этнокультурный и одновременно неоимперский проект, описанный Ремизовым в терминах выбора «общей судьбы» в широких границах исторической России, не стал актуальной моделью для большинства граждан.

В качестве приглашения к размышлению о структуре национальной самоидентификации большинства россиян можно использовать результаты соцопроса, проведенного в 2019 году по заказу агентства «Regnum»[21]. Возможно, выявленная здесь исторически сложившаяся и вполне массовая, сильная и открытая русская идентичность, не предполагающая гомогенизации, но осознающая себя как естественную принадлежность к единому целому русской культуры и к его собственной модели этнокультурного разнообразия, окажется частью полезного и вполне либерального постимперского наследия. Важно подчеркнуть, что вопрос об этнической, культурной и гражданской идентификации россиян заслуживает эмпирически фундированной дискуссии, небольшой вклад в которую я надеюсь внести настоящими «либеральными» соображениями.

Таблица 1

Генеральное распределение ответов на вопрос: «Россия — многонациональное государство. Как Вы считаете, можно ли назвать жителей России единым народом?»

№	Ответ	Количество выбравших ответ, %
1	«Да, мы все — один народ, вобравший в себя разные этносы»	41,0
2	«Нет, речь идет о союзе разных народов, но не о едином народе»	29,1
3	«Сложно сказать в нашем случае, он особый»	14,2
4	«Нет, они очень разделены и разобщены внутри себя по национальному признаку»	10,0
5	«Нет, они сильно разобщены, и национальности здесь ни при чем»%	5,70

Более 40% выбирают ответ «Один народ, вобравший в себя разные этносы», что прямо указывает на двухуровневую структуру идентификации и принятие наднационального уровня, союз народов занимает второе место по значимости и его выбирает чуть менее трети (*табл. 1*). Вероятно, отражая как представления респондентов о социальных ожиданиях и нормах, так и их собственные установки, 34,2% россиян выбирает *этнокультурное* понимание «русского», представленного здесь ответом «национальность» (*табл. 2*). При этом лишь 16% россиян считают себя «Националистами», а для большинства эта характеристика скорее негативная[22]. Эти две цифры (16 и 34,2%) вероятно задают

21 https://regnum.ru/news/society/2818412.html (дата обращения: 06.05.2024).

22 См. опрос об отношении к национализму: https://regnum.ru/news/society/2818412.html (дата обращения: 06.05.2024).

Таблица 2

Генеральное распределение ответов на вопрос:
«Как по-вашему, что такое “русский”?»

№	Ответ	Количество выбравших ответ, %
1	«Это национальность»	34,2
2	«Это состояние души»	22,3
3	«Это принадлежность к культуре»	21,6
4	«Это гражданство, в таком смысле мы все — русские, независимо от национальности»	19,3
5	Другое	2,6

текущие границы аудитории, которая может узнать себя в описании одной из версий сборки русского *этнокультурного* хронотопа, исключающего советский опыт и предлагающего патронаж другим этнокультурным сообществам. Напротив, понимание принадлежности к русской нации как открытой культурной идентичности (21,6%), как загадочному «состоянию души» (22,3%) и как простого факта гражданства (19,3%) разделяется в сумме большинством граждан России и двумя третями тех, кто сам идентифицирует себя *русской* или *русским* (*табл. 2*). То есть среди россиян, считающих себя русскими, доля не выбирающих этнокультурные варианты выше, чем среди людей с другой идентичностью. Однако речь идет не о гражданском национализме, предполагающем высокую культурную гомогенность «нации» по французскому образцу и не о немецкой модели этнокультурной солидарности «народа», но скорее о принятии двухслойной идентичности граждан страны как участников *общего* пространства русской культуры и российского этнокультурного разнообразия. Более того, согласно В. Малахову, русские националисты скорее *мешают* возникновению общего для большинства граждан России понимания национальной идентичности[23].

Как представляется, именно такая открытая русская и российская идентичность уже присутствует как один из двух разных уровней массовой самоидентификации русских, а также тех, кто имеет одновременно несколько этнокультурных ролей. Эта сложившаяся в Российской империи и затем закрепленная в СССР *двухуровневая* идентификация раздражает русских националистов и представляется для них помехой, требующей реконструкции, переделки или перевоспитания, но она же может стать важным и готовым строительным блоком либеральной сборки. Само этнокультурное русское ядро слишком многослойно для русского национализма по немецкому образцу.

---

23 Наличие такой идентичности, которую заслоняют националистические проекты, Владимир Малахов осмысляет в терминах сети коммуникаций: «Между тем, независимо от чьих-либо ожиданий, в сегодняшней Российской Федерации сформировалась и работает плотная сеть социальной коммуникации, интенсивность контактов внутри которой значительно выше, чем за ее пределами. Само существование такой сети позволяет говорить о нации, причем как в гражданском, так и в культурном значении этого слова» [Малахов 2017: 190].

Наконец, все более востребованные в том числе в официальном дискурсе и в образовании идеологемы цивилизации, хотя и отсылают к наднациональной идентичности, но оставляют вопрос о границах государства-цивилизации или нации наций еще более открытым – у *цивилизации* нет жестких границ. В этом смысле либеральная двухуровневая модель сообщества как коммуникационного пространства общей русской культуры и этнокультурного разнообразия исходит из текущих границ и в большей степени соответствует актуальной самоидентификации большинства граждан.

Один уровень отождествления соответствует общей для всех гражданской культурной идентичности, где именно русская культура и русский язык выступают как базис наднациональной национальной гражданской идентификации. Второй уровень соответствует этнокультурной идентичности, которая является приоритетной приблизительно для трети граждан и играет значимую, но подчиненную роль для двух третей. При этом люди, считающие себя русскими, в среднем чуть менее чувствительны к этнокультурной компоненте и больше ориентированы на универсалистские ценности[24]. Вероятно, именно к этой открытой двухуровневой идентичности обращается официальная риторика, используя советские образцы или *бюрократические* формулы типа «многонационального народа» или «дружбы народов», лишенные эмоциональной привязки [Ремизов 2016: 5]. Этот базовый «строительный блок», который через отрицательные характеристики (сон нации, принуждение, беспамятство, унижения русских за их идентичность — негативные объяснения слишком слабого национализма русских) прямо признают мыслители-националисты, вполне может стать положительным основанием будущей конструкции.

Мы должны помнить, что коллективная самоидентификация пластична и со временем в ней могут появляться новые идентичности, а пропорции разных уровней меняться под воздействием политических акторов или спонтанно. Однако сложившиеся ранее существенные «слои» и соответствующие им нормы, символы и практики, вероятно, надолго останутся частью общего наследия и ценными элементами пазла для сборки. Открытая двухслойная постимперская идентичность русского *большинства* создает потенциал для нового либерального осмысления отечественного хронотопа, признающего свое внутреннее единство, разнообразие и внешние границы. Напротив, ориентация на этнокультурную немецкую модель или французскую гражданскую культурную модель предполагает *более значительную* трансформацию и перековку самоидентификации как русских, так и всех россиян в целом и стимулирует множество взаимоисключающих авторских версий «националистического» хронотопа, границы которого остаются неопределенными.

---

24 Ср.: «На протяжении всего периода советской истории — от Ленина до Горбачева — существовал общий политический знаменатель, который серьезно ослаблял процесс формирования русского этнического самосознания, все более и более стирая его отличие от сознания наднационального. Речь идет о борьбе, пусть и не всегда последовательной, всех советских режимов против русского национализма. Систематическое ограничение русского национализма было той ценой, которую советское руководство было готово заплатить за сохранение многонационального государства. Неоформившееся русское национальное самосознание является одним из ключевых факторов, объясняющих, почему распад Советского Союза произошел так мирно» [Зевелев 2009: 92].

Библиография / References

[Атнашев, Велижев 2018] — *Атнашев Т., Велижев М.* Кембриджская школа: история и метод // Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории / Под ред. Т. Атнашева, М. Велижева. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 7—53.

(*Atnashev T., Velizhev M.* Kembridskaya shkola: istoriya i metod // Kembridzhskaya shkola. Teoriya i praktika intellektual'noy istorii / Ed. by T. Atnashev, M. Velizhev. Moscow, 2018. P. 7—53.)

[Баньковская, Кильдюшов 2019] — *Баньковская С.П., Кильдюшов О.В.* Свой, Другой, Чужой: беседа с профессором Факультета социальных наук НИУ ВШЭ С.П. Баньковской о Бенедикте Андерсоне и социологическом измерении национализма // Вопросы национализма. 2019. Т. 32. № 1. С. 143—161.

(*Bankovskaya S.P., Kildyushov O.V.* Svoy, Drugoy, Chuzhoy: beseda s professorom Fakul'teta sotsial'nykh nauk NIU VShE S.P. Bankovskoy o Benedikte Andersone i sotsiologicheskom izmerenii natsionalizma // Voprosy natsionalizma. 2019. Vol. 32. No. 1. P. 143—161.)

[Бахтин 1975] — *Бахтин М.М.* Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 234—407.

(*Bakhtin M.M.* Formy vremeni i khronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoy poetike // Bakhtin M.M. Voprosy literatury i estetiki. Moscow, 1975. P. 234—407.)

[Бобров, Михайлов 2018] — *Бобров И.В., Михайлов Д.А.* "Внутренние враги" современного русского национализма // Журнал исследований социальной политики (ЖИСП). 2018. № 2. С. 279—294.

(*Bobrov I.V., Mikhailov D.A.* "Vnutrennie vragi" sovremennogo russkogo natsionalizma // Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki (ZhISP). 2018. No. 2. P. 279—294.)

[Зевелев 2009] — *Зевелев И.* Будущее России: нация или цивилизация? Распад СССР и «русский вопрос» // Россия в глобальной политике. 2009. № 5. С. 88—102.

(*Zevlelev I.* Budushchee Rossii: natsiya ili tsivilizatsiya? Raspad SSSR i "russkiy vopros" // Rossiya v global'noy politike. 2009. No. 5. P. 88—102.)

[Зевелев 2014] — *Зевелев И.* Границы русского мира. Трансформация национальной идентичности и новая внешнеполитическая доктрина России // Россия в глобальной политике. 2014. № 2. С. 34—45.

(*Zevlelev I.* Granitsy russkogo mira. Transformatsiya natsional'noy identichnosti i novaya vneshnepoliticheskaya doktrina Rossii // Rossiya v global'noy politike. 2014. No. 2. P. 34—45.)

[Крылов 2008] — *Крылов К.* Семнадцать ответов // ИНТЕЛРОС — Интеллектуальная Россия (http://www.intelros.ru/intelros/reiting/reyting_09/material_sofiy/9147-semnadcat-otvetov.html (дата обращения: 06.05.2024).

(*Krylov K.* Semnadtsat' otvetov // INTERLOS — Intellektual'naya Rossiya (http://www.intelros.ru/intelros/reiting/reyting_09/material_sofiy/9147-semnadcat-otvetov.html (accessed: 06.05.2024)).)

[Крылов 2014] — *Крылов К.* Русские как титульная нация // Вопросы национализма. 2014. № 4. С. 3—6.

(*Krylov K.* Russkie kak titul'naya natsiya // Voprosy natsionalizma. 2014. No. 4. P. 3—6.)

[Крылов 2016] — *Крылов К.* Что значит быть русским сегодня? // Вопросы национализма. 2016. № 4. С. 3—5.

(*Krylov K.* Chto znachit byt' russkim segodnya? // Voprosy natsionalizma. 2016. No. 4. P. 3—5.)

[Крылов 2019] — *Крылов К.* РПЦ МП. Итоги и перспективы (ч. 1). 2019 г. // (https://www.apn.ru/index.php?newsid=37679 (дата обращения: 06.05.2024)).

(*Krylov K.* RPTs MP. Itogi i perspektivy (ch. 1). 2019 g. // https://www.apn.ru/index.php?newsid=37679 (accessed: 06.05.2024).)

[Лёзина 2021] — *Лёзина Е.* XX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы. 2-е изд., испр. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

(*Lyozina E.* XX vek: prorabotka proshlogo. Praktiki perekhodnogo pravosudiya i politika pamyati v byvshikh diktaturakh. Germaniya, Rossiya, strany Tsentral'noy i Vostochnoy Evropy. Moscow, 2021.)

[Ливен 2020] — *Ливен А.* Прогрессивный национализм. Почему национальная мотивация нужна для развития реформ // Россия в глобальной политике. 2020. № 5. С. 25—42.

(*Liven A.* Progressivny natsionalizm. Pochemu natsionalnaya motivatsiya nuzhna dlya razvitiya reform // Rossiya v global'noy politike. 2020. No. 5. P. 25—42.)

[Малахов 2017] — *Малахов В.* Нация и культурное разнообразие в имперской, советской и постсоветской России // Культурная сложность современных наций / Под ред. В. Тишкова, Е. Филиппова. М.: ИАЭ РАН, 2017. С. 190—202.

(*Malakhov V.* Natsiya i kul'turnoe raznoobrazie v imperskoy, sovetskoy i postsovetskoy Rossii // Kul'turnaya slozhnost' sovremennykh natsiy / Ed. by V. Tishkov, E. Filippov. Moscow, 2017. P. 190—202.)

[Малахов, Осипов 2021] — *Малахов В., Осипов А.* Динамика этнокультурной политики в России, Казахстане и Украине: отложенная «национализация»? // Мир России. 2021. № 2. С. 26—47.

(*Malakhov V., Osipov A.* Dinamika etnokul'turnoy politiki v Rossii, Kazakhstane i Ukraine: otlozhennaya "natsionalizatsiya"? // Mir Rossii. 2021. No. 2. P. 26—47.)

[Паин 2023] — *Паин Э.А.* Этничность, нация и политика: критические очерки по этнополитологии. М.: Новое литературное обозрение, 2023.

(*Pain E.A.* Etnichnost', natsiya i politika: kriticheskie ocherki po etnopolitologii. Moscow, 2023.)

[Пастухов* 2023] — *Пастухов В.** Как переучредить Россию? Очерки заблудившейся революции. М.: ОГИ, 2023.

(*Pastukhov V.** Kak pereuchredit' Rossiyu? Ocherki zabludivsheysya revolyutsii. Moscow, 2023.)

[Ремизов 2002] — *Ремизов М.В.* Опыт консервативной критики. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2002.

(*Remizov M.V.* Opyt konservativnoy kritiki. Moscow, 2002.)

[Ремизов 2010] — *Ремизов М.В.* Нация: конструкт или реальность? // Вопросы национализма. 2010. № 1 (1). С. 6—11.

(*Remizov M.V.* Natsiya: konstrukt ili real'nost'? // Voprosy natsionalizma. 2010. No. 1 (1). P. 6—11.)

[Ремизов 2016] — *Ремизов М.* Русские и государство. Национальная идея до и после крымской весны. М.: ЭКСМО, 2016.

(*Remizov M.* Russkie i gosudarstvo. Natsional'naya ideya do i posle krymskoy vesny. Moscow, 2016.)

[Ремизов 2022] — *Ремизов М.* «Запад переживает идеологический раскол». Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея? // https://lenta.ru/articles/2022/11/21/remizov/ (дата обращения: 06.05.2024).

(*Remizov M.* "Zapad perezhivaet ideologicheskiy raskol". Kak natsionalizm menyaet mir i pochemu Rossii nuzhna natsional'naya ideya? // https://lenta.ru/articles/2022/11/21/remizov/ (accessed: 06.05.2024).)

[Святенков 2020] — *Святенков П.* Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма // https://www.apn.ru/index.php?newsid=38633 (дата обращения: 06.05.2024).

(*Svyatenkov P.* Blagodarya Krylovu ischezli rodimye pyatna russkogo natsionalizma // https://www.apn.ru/index.php?newsid=38633 (accessed: 06.05.2024).)

[Солженицын 1990] — *Солженицын А.* Как нам обустроить Россию. Посильные соображения. Специальное приложение к «Русской мысли» № 3846 — 21 сентября 1990. Париж: Русская мысль, 1990.

(*Solzhenitsyn A.* Kak nam obustroit' Rossiyu. Posil'nye soobrazheniya. Spetsial'noe prilozhenie k "Russkoy mysli" no. 3846 — 21 sentyabrya 1990. Paris, 1990.)

[Солженицын 1995] — *Солженицын А.* «Русский вопрос» к концу XX века // Солженицын А.И. Публицистика: В 3 т. Ярославль: Верхняя Волга, 1995. Т. 1. С. 616—702.

(*Solzhenitsyn A.* Russkiy vopros k kontsy XX veka // Publitsistika: In 3 vols. Yaroslavl, 1995. Vol. 1. P. 616—702.)

[Тишков 2023] — *Тишков В.А.* Нация наций: о подходах к пониманию России. М.: ИЭА РАН, 2023.

(*Tishkov V.A.* Natsiya natsiy: o podkhodakh k ponimaniyu Rossii. Moscow, 2023.)

[Berger, Miller 2015] — Nationalizing Empires. Historical Studies in Eastern Europe and Eurasia / Ed. by S. Berger, A. Miller. Budapest: Central European University Press, 2015.

[Brubaker 1996] — *Brubaker R.* Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

[Brubaker 2011] — *Brubaker R.* Nationalizing States Revisited: Projects and Processes of Nationalization in Post-Soviet States // Ethnic and Racial Studies. 2011. Vol. 34. No. 11. P. 1785—1814.

[Calhoun 1993] — *Calhoun C.* Nationalism and Ethnicity // Annual Review of Sociology. 1993. Vol. 19. P. 211—239.

[Giuliano, Gorenburg 2012] — *Giuliano E., Gorenburg D.* The Unexpectedly Underwhelming Role of Ethnicity in Russian Politics, 1991—2011 // Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization. 2012. Vol. 20. No. 2. P. 175—188.

[Laine 2021] — *Laine V.* Nationalism as an Argument in Contemporary Russia. Four Perspectives on

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

Language in Action. Commentationes Scientiarum Socialium 80. Helsinki: Finska Vetenskaps-Societeten Suomen Tiedeseura, 2021.

[Laclau, Mouffe 1985] — *Laclau E., Mouffe C.* Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso, 1985.

[Malesevic 2006] — *Malesevic S.* Identity as Ideology: Understanding Ethnicity and Nationalism. New York: Palgrave, 2006.

[Malesevic 2019] — *Malesevic S.* Grounded Nationalisms. A Sociological Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

[Mann 2005] — *Mann M.* The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.

[Osterhammel 2014] — *Osterhammel J.* The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014.

[Rowley 1997] — *Rowley D.G.* Aleksandr Solzhenitsyn and Russian Nationalism // Journal of Contemporary History. 1997. Vol. 32. No. 3. P. 321—337.

[Rowley 2000] — *Rowley D.G.* Imperial versus National Discourse: The Case of Russia // Nations and Nationalism. 2000. No. 6. P. 23—42.

[Sahlins 1989] — *Sahlins P.* Boundaries: the Making of France and Spain in the Pyrenees. Berkeley: University of California Press, 1989.

[Smith 1986] — *Smith A.* The Ethnic Origins of Nations. MA: Blackwell Publishing, 1986.

[Smith 1995] — *Smith A.* Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge, UK: Polity, 1995.

[Ther 2014] — *Ther P.* The Dark Side of Nation-States: Ethnic Cleansing in Modern Europe. New York: Berghahn Books, 2014.

[Walling 2000] — *Walling C.B.* The history and politics of ethnic cleansing // The International Journal of Human Rights. 2000. No. 4 (3—4). P. 47—66.

[Weber 1976] — *Weber E.* Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870—1914. Stanford: Stanford University Press, 1976.

Прошлое и будущее республиканского проекта в России

Олег Хархордин

Республиканские проекты в России

Oleg Kharkhordin

Classical (Civic) Republicanism in Russia

Олег Хархордин (Европейский университет в Санкт-Петербурге, профессор, исследовательский центр «Res Publica», директор; PhD) kharkhor@eu.spb.ru.

Ключевые слова: классический республиканизм, гражданский республиканизм, исключающий республиканизм, СССР как федеративная республика, цезаризм, республиканизм как альтернатива империи, республиканизм и либерализм

УДК: 321.728
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_197

В статье вкратце описываются история классического (гражданского) республиканизма в дореволюционной и послереволюционной России. Приводится обычная аргументация споров его российских сторонников со сторонниками либеральной идеи. Если классический республиканизм имел шансы в дореволюционной России и может иметь реалистические шансы сейчас, пытаться найти его в СССР — трудно, если не безнадежно. СССР характеризуется в терминах классической политической теории как однопартийная деспотия или как извращение благой формы res publica под названием монархия. Также в статье оценивается популярность республиканизма сейчас и перспективы его развития.

Oleg Kharkhordin (PhD; Professor, European University at St. Petersburg, Director, “Res Publica” Research Center) kharkhor@eu.spb.ru.

Key words: classical republicanism, civic republicanism, exclusivist republicanism, USSR as a federal republic, Caesarism, republicanism as an alternative to empire, republicanism and liberalism

UDC: 321.728
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_197

The article gives a brief summary of the development of classical (civic) republicanism in Russia before and after the 1917 revolution. An overview of usual arguments that figure in the debates between Russian adherents of classical republicanism and liberalism are given in the end. If classical republicanism had feasible chances to become reality in pre-revolutionary Russia, and might have realistic chances to be implemented today, then trying to find it in the USSR is difficult if not well-nigh impossible. In terms of classical political theory the USSR is described as a one-party despotism or as a corrupt form of res publica named monarchy. The paper evaluates republicanism’s current popularity and its contemporary prospects.

Прежде чем обсуждать вопрос о республиканских проектах в России, надо вспомнить про различие между классическим (гражданским) республиканизмом и исключающим республиканизмом. Исключающий — это представление, обычное для нынешнего времени: республика противостоит монархии как форма правления и неоспоримо превосходит монархию в моральном плане. По сравнению с этим классический республиканизм различал три формы res publica (вернее, шесть: начиная с Аристотеля и Полибия выделялись три благих формы, в зависимости от того, правит ли один, небольшая группа или все; и указывались три соответствующих им ущербных формы). Монархия рассматривалась там как одна из трех правильных форм — если, конечно, монарх действовал во имя общего блага. От Цицерона вплоть до Руссо это было банальностью для политической теории [Хархордин 2021: 9—10].

Потому с точки зрения этой классической теории Екатерина II могла обоснованно считать себя «республиканкой в душе» и не запрещать (вплоть до книги Радищева и казни Людовика XVI во Франции) пьесы или книги, критиковавшие деспотию или тиранию. Тиранов, то есть единовластных правителей, действующих не в интересах общего блага, а в своих интересах, интересах узкой группы (олигархии) или под действием сиюминутных страстей, надо было свергать, и Екатерина как сторонница идей Монтескье разделяла эту точку зрения. А екатерининские реформы — например, ее попытка последовательно кодифицировать все законы Российской империи (чтобы все жили под одними публично известными законами), дать права дворянству и ввести такую структуру муниципального управления, чтобы города имели «градские общества» и систему гласных (выборных) должностей — могут рассматриваться как пример политики классического республиканизма перед тем, как исключающий республиканизм встал на повестку дня после Американской и Французской революций.

Декабристы являются переходным моментом в этом отношении — они, с одной стороны, радикализовали требования классического республиканизма, так как требовали введения публичной политики и участия населения в принятии законов (хотя их проекты отличались степенью этого участия), но, с другой стороны, уже читали и таких бывших сторонников классического республиканизма, как мадам де Сталь или Бенжамен Констан, перешедших после правления Наполеона на позиции либерализма. Потому мы можем найти среди их идей и элементы исключающего республиканизма. Подробнее про них как республиканцев надо читать у Виктора Каплуна, занимавшимся этим вопросом специально [Каплун 2007].

До екатерининско-александринского века был проект «верховников», то есть участников Верховного тайного совета, предложивших Анне Иоанновне в 1730 году «Кондиции», то есть условия занятия престола, ограничивавшие власть монарха. Некоторые из верховников читали специально сделанные для них рукописные переводы таких республиканских авторов, как Макиавелли и Траяно Боккалини. Взошедшая на престол императрица, однако, вскоре эти «Кондиции» порвала. Уже при Екатерине II были проекты ограничения императорской власти, которые предлагали граф Никита Панин (отвергнут императрицей) и, по рассказам декабристов, проект конституции, написанный его братом Петром Паниным, усмирившим восстание Пугачева.

Вообще до XVIII века трудно говорить о «проектах» республиканизма в России, которые имели бы под собой основу в виде сознательного республиканизма. Да, Новгород и Псков в XII—XV веках давали примеры республикан-

ского правления [Лукин 2021] (и именно так их и представила российская и европейская историография в XVIII веке), но сознательной рецепции классической республиканской политической теории мы там не найдем [Ерусалимский 2021]. В Ефремовой кормчей можно было найти древнерусские переводы греческого выражения *demosia pragmata*, которое переводило латинское *res publica*, употреблявшееся в деловом языке Восточной Римской империи, но оно не использовалось читавшими эту кормчую для каких-либо значимых целей, которые мы назвали бы «политическими» сейчас.

Книжник и дипломат XVI века Федор Карпов почти единственный древнерусский автор, упоминавший «Никомахову этику» Аристотеля. Широко известно его послание митрополиту Даниилу, главе русской церкви в то время, о том, должны ли существующие грады опираться на терпение народа (позиция Даниила) или основываться на правде, то есть справедливых законах (позиция Карпова). Карпов также пользовался трехзвенной классификацией форм res publica. Но это исключение, которое подтверждает правило: классической республиканской мысли на Руси не знали. По крайней мере, мы знаем очень мало древнерусских текстов, которые демонстрируют такое знание.

Уже после того, как он уехал в Литву и изучал латинский, князь Андрей Курбский в третьем послании к Грозному переводит два фрагмента из «Парадоксов стоиков» Цицерона для обличения царя и передает латинское выражение *res publica* как «общая вещь». В «Истории великого князя Московского» он говорит о мучениках, несправедливо «новоизбиенных от внутреннего змия», то есть опричниками Грозного, так как до этого они своими ратными трудами служили «цареви своему и общей вещи християнской верне» [Курбский 2015: 216]. Конечно, задним числом можно рассмотреть всю деятельность Курбского как классический республиканский проект. С некоторой натяжкой можно утверждать, что он хотел ввести или удержать то, что классическая политическая теория называла «смешанным правлением», то есть смесь трех благих форм res publica — монархии, аристократии (синклитов или Избранной рады) и демократии (Земских соборов), в то время как Грозный решил убрать один элемент (власть аристократии) из этой конструкции [Хархордин 2022: 167, 177—178]. Подобную двухзвенную структуру власти можно проследить и на примерах из жизни Московской Руси XVII века [Kollmann 2021: 494—496]. Однако популярность критики Курбским проекта Грозного подтверждается громадным количеством рукописных списков сборника Курбского, которые циркулировали среди русских дворян вплоть до времени Пушкина; сам Пушкин прочел про «проект Курбского» в такой копии (да и для Екатерины II сделали отдельную копию). Так что, похоже, «проект Курбского» подготовил рецепцию классического республиканизма, когда тот пришел в Россию во многих текстах на европейских языках и в переводах с них.

Последние примеры классического республиканизма в дореволюционной России — это создание системы земств во время Великих реформ в 1864 году. До тех пор, пока земства не стали встроены в вертикаль государственной власти империи после ограничения их прав Александром III в 1890 году, эти органы местного самоуправления пытались привлекать местное население к управлению. Конечно, крестьяне имели самое слабое представительство в этих органах местной власти, и земские учреждения имели очень слабую финансовую базу. Но в целом из-за этого опыта самоуправления земство могло стать «начальной школой свободы». Этим термином Алексис де Токвиль обозначил

New England township, то есть городскую общину Новой Англии, когда писал о ней как об основе системы политической свободы в Америке. Проекты дальнейших земских реформ вроде предложений председателя московской губернской земской управы Д.Н. Шипова, которые совмещали в себе монархию с опорой на широкую сеть земских институтов и с созывом общенационального Земского собрания [Соловьев 2021: 579—581], могли тоже уложиться в рамки классического республиканизма как создающие еще один тип «смешанного правления». Однако исключающий республиканизм стал главной идеологией среди типов республиканской мысли после середины XIX века. Ну а после Февральской революции 1917 года идея морального превосходства (представительной) республики над монархией стала господствовать почти среди всех образованных людей, кроме самых убежденных монархистов.

Исключающий республиканизм стал правилом жизни в России после 1917 года, если мы смотрим только на формальные черты политической системы. Каков бы ни был культ личности, который приписывали Керенскому, Ленину, Сталину и разным послесталинским вождям, эти вожди не могли легитимно передать правление по наследству без формального или реального следования процедурам изъявления воли народа.

А с помощью категорий классического республиканизма советскую систему власти вообще трудно охарактеризовать. Многие пишут, что сложившаяся в СССР система власти была при Ленине централизованной диктатурой партийного аппарата, а при Сталине это дополнилось еще и неограниченным культом личности Вождя. Лион Фейхтвангер описал СССР в 1937 году, проведя параллели с эпохой падения Римской республики: если Ленин — Цезарь Советской республики, то Сталин — ее Август. Такая оценка была лестна для советского режима, так как определяла СССР как цезаризм. Данное понятие сложилось в западноевропейской науке в конце XIX века после появления режимов Наполеона III во Франции и Бисмарка в Германии, опиравшихся на популярность лидера и участие широких масс населения в нефальсифицируемых выборах. Цезаризм — это такая система «смешанного правления», где из смеси трех благих форм res publica убирают одну, аристократическую, оставляя в смеси лишь монархию и демократию. Другими словами, цезаризм — это монархия, опирающаяся на демократию. «Советская демократия», однако, была далека от народовластия, начиная уже с бюрократизации советов и отмены разных форм рабочего контроля над производством в 1918 году. При написании Конституции РСФСР 1918 года предлагались проекты анархо-синдикалистского (федерация — это ассоциация профсоюзов или территориальных коммун) и парламентского (советская республика будет устроена как репрезентативная демократия) толка, но большевики продавили централизованный вариант, где советы разного территориального уровня находились в жесткой иерархии, а секрет работы системы — контролирующая и направляющая роль РКП(б) — вообще не упоминался. Потому теоретики, использующие категории классической политической теории, характеризуют СССР как «однопартийную деспотию» с Вождем во главе [Медушевский 2021: 728]. В XVIII веке многие сказали бы, что это было извращение благой формы res publica под названием монархия. Получается, что от цезаризма РСФСР перешла к деспотии. И термин этот не случаен: именно «деспотическое» переустройство отношений собственности на переходном к коммунизму периоде было записано как программное требование в конце II части «Манифеста Коммунистической партии».

Те же, кто, как Ханна Арендт, считали, что Советский Союз не попадал в классификацию шести известных с Античности форм res publica, так как был совсем новым, не известным до того типом власти, описывали его как тоталитаризм, когда атомизированное на отчужденных друг от друга индивидов общество приводится в действие через новые средства — идеологию и террор.

Советское государство как республика

Советское государство обозначало себя как федеративная советская республика. И с точки зрения исключающего республиканизма Сталин и его правоведы были правы: СССР не был монархией, а значит, был республикой. Однако политической свободы, если рассматривать СССР с точки зрения классического (гражданского) республиканизма, не было. Посмотрим на четыре основные признака гражданского республиканизма, которые включают в себя: 1) особое понимание свободы (libertas); 2) гражданские доблести или добродетели (virtus); 3) участие в заботе об общем благе (commune bonum); и 4) признание дел на благо всех, почести за них (honos/honestas) [Хархордин 2021: 41—46].

Классический республиканизм характеризуется особой концепцией свободы — не быть в воле другого, под произволом. Это свобода, понимаемая как статус, как считает Филип Петтит и его сторонники, или вид негативной свободы, как иногда пытался раньше утверждать Квентин Скиннер (в последних выступлениях он поддерживает позицию Петтита). В СССР же господствовала позитивная концепция свободы, противостояние которой с негативной так красноречиво описал Исайя Берлин. Еще у Аристотеля можно найти тезис, что свобода состоит в реализации человеческой природы, а после Руссо и Гегеля стало ясно, что позитивная свобода — это способность реализовать разумную природу человека, подчинив страсти разуму, и тем самым индивиду — стать самим собой, а сообществу — самоопределиться. Позитивная свобода — это свобода самореализации. Марксистская революция в России провозгласила своей целью всестороннее развитие личности в результате освобождения человека от капиталистического гнета. Правда, ради достижения этого надо было на время согласиться с волей партии, которая знала рациональные законы движения истории и указывала, куда идти. Для самореализации человека предлагалось находиться в воле партии, что на практике означало подчиниться линии партии, провозглашаемой ЦК или вождем. А в случаях, когда они не успевали ее сформулировать — подчиняться воле твоего непосредственного мелкого начальника.

Деспотия мелких начальников, временами ограничиваемая окриком из центра — вот суть повседневной советской власти. Классическое понимание республиканской свободы — не быть в воле другого — здесь есть только на словах (как член класса ты якобы участвуешь в формулировании общей воли, и потому подчиняешься себе, когда подчиняешься ей). Но если ты не участвуешь в формировании линии партии — либо потому что ты пассивен (пассивна), либо потому что структура власти обрекает тебя на это — ты находишься под произволом, что противоречит республиканизму.

Вторая характеристика классического республиканизма — это надежда на гражданские доблести (добродетели) граждан и обеспокоенность тем, что res publica рухнет, если происходит коррупция нравов. Постоянная обеспокоен-

ность моральным разложением сознательных коммунистов — например, их обуржуазиванием — была настолько похожа на заботу о морали в классическом республиканизме или среди русской аристократии XVIII века, воспитанной на Фенелоне и Руссо, что некоторые коллеги даже предложили считать тексты типа наиболее популярных книг Бухарина примером советской версии республиканизма [Бугров 2018]. Проблема с этим тезисом заключается в том, что надо различать доблести, рекомендуемые для верхушки партии, то есть «сознательных коммунистов», и то, как восприняло эту пропаганду подавляющее большинство населения РСФСР — то есть крестьяне, которые вместе с освоением грамотности осваивали и новый моральный дискурс. Если большевики старой закалки ориентировались, в отличие от Маркса или русских аристократов, не на гражданские доблести античной истории, а на гражданские доблести, явленные во время Французской революции и прежде всего при диктатуре добродетели при Робеспьере, то крестьяне, переезжающие в города и становящиеся рабочими, должны были что-то сделать со своими моральными интуициями крестьянского мира, часто доставававшимся им в христианской интерпретации. Когда большевики убрали три теологические добродетели (веру, надежду, любовь) как главные для спасения в загробном мире и стали говорить о качествах, нужных для построения коммунизма здесь и сейчас, то эти коммунистические проповеди пытались насадить новые большевистские доблести на базис из четырех кардинальных добродетелей, известных с аграрных обществ Античности (мужество, справедливость, сдержанность и практическая мудрость). Насколько успешна была эта пропаганда — отдельный вопрос. Как давно показала Катерина Кларк, тексты и фильмы соцреализма использовали техники конструирования жития святых (агиографию) для пропаганды новых доблестей, список которых был собран в 1961 году в «Моральном кодексе строителя коммунизма». На повседневном уровне он объяснялся и насаждался с помощью примеров из «Как закалялась сталь», «Повести о настоящем человеке» и «Тимура и его команды». Но античный базис доблестей воина аграрного общества, вышедшего за забор своего домохозяйства для собрания общины или дружинного начинания, был моральной основой, на которой все новое должно было надстроиться и закрепиться — как раньше христианские добродетели в долгие века христианизации крестьянского мира пытались надстроить над античными или, лучше сказать, архаично-аграрными[1].

Советскую цивилизацию в моральном плане можно назвать принудительным аристотелизмом. Во-первых, в отличие от либеральных демократий, страна имела телос — высшую цель, к которой двигалось общество. Моральным стало признаваться все, что ведет к коммунизму. Во-вторых, общество характеризовалась тем, что у Аристотеля названо homonoia, у его латинских последователей — concordia, а в большевистской версии требовалось как единодушие или единогласная поддержка. В-третьих, учитывая, что в начале VIII книги «Никомаховой этики» говорится, что политическая дружба или приязнь между гражданами важнее справедливости (так как когда такая дружба есть, то не нужна справедливость, а при наличии справедливости все равно нужна дружба или приязнь между участниками общего дела), то това-

1 Детали аргументации этого и следующего параграфов см.: [Хархордин 2011] (глава 6 «Добродетель»).

рищи по общему делу должны были заботиться и о добродетели друг друга. В советской версии это выражалось в периодических чистках, когда товарищами на собраниях проверялись моральные качества каждого из них как сознательного строителя коммунизма. В результате в позднем советском обществе распространенная легитимация несовершенства СССР была схвачена словами песни из телесериала «Следствие ведут знатоки»: «Если кто-то коегде у нас порой честно жить не хочет...» А ведь если бы все были добродетельны, ставили бы общее выше личного, то все работало бы в советской системе как надо — и к этому надо стремиться. Таково было повседневное понукание со стороны власти. Иными словами, советская мораль была типом этики добродетели (в отличие от кантовской этики принципов, если следовать известному противопоставлению этих двух типов систем у Макинтайра). Но иметь этику доблести не значит иметь этику гражданской или политической доблести, что предполагал классической республиканизм.

Третьим элементом классического республиканизма является значимое участие в общем деле. Однако участие в реально важных делах — например, в обсуждении и принятии и законов или в выработке линии партии по определенному вопросу — было уделом совсем немногих. Выборы были делом аккламации — то есть выражения одобрения назначенным властью кандидатам, уклоняться от которого было опасно. Наконец, участие в других действиях по снисканию общего блага было, как гласил известный эпитет, «добровольно-принудительным». Билеты членства в обществах типа ДОСААФ или облигации госзайма навязывали, забирая часть зарплаты или стипендии на оплату взносов в это якобы общее дело. Несвобода от линии партии и произвола мелких начальников изображалась как позитивная свобода — потому что страна помогает всем жить полнее и лучше, идя к коммунизму.

К тому же кроме работы на предприятии или в конторе каждого ждала «общественная работа», которой требовалось заниматься в свободное от основной работы время, якобы на благо всех. Де-факто это было рабство — порабощение человека даже после окончания рабочего дня. Чтобы развить мотивацию к такому участию, взяли методы «социалистического соревнования» (между трудовыми коллективами или индивидами по выполнению плановых заданий) и применили их и к общественной работе. В ней тоже можно было соревноваться с другими за лучшие результаты — например, по участию в принудительно собранных добровольно-народных дружинах, принуждающих прохожих культурно вести себя на улице и не нарушать правила социалистического общежития. Вместо совместного ревнования вещей возвышенных (что предполагало христианское со-ревнование), вместо соучастия и агональной борьбы за то, чтобы превзойти других в значимом деле на благо сообщества, общественная работа означала принудительную причастность, навязанное причащение к делам построения светлого будущего. Участь не быть частью такого общего была завиднее причастности, к которой тебя принуждали.

Последний, четвертый элемент классического республиканизма — это признание в res publica особо успешных деяний на общее благо, зафиксированных летописцами в историях значимой жизни. На первый взгляд кажется, что в СССР было и это — серия книг «Жизнь замечательных людей», доски почета при входе на каждое предприятие и знаки почета, включая героев СССР и героев соцтруда, которые для всех подчеркивали значимость определенного

поступка или их серии. Но хрупкость деяния (категория Ханны Арендт, с помощью которой она описывала специфику полисного деяния у греков) была устранена. Грек — зачинщик чего-либо в полисе — не мог надеяться на принуждение себе равных сограждан, и потому 1) мог не быть поддержан в своем начинании (тогда оно рушилось); 2) его деяние могло быть изображено теми, кто его потом описывал, как принесшее совсем другой результат (чем он рассчитывал); или 3) случившееся могли описать вообще как не его деяние. Советская машина фиксации героев и раздачи почета устраняла эту хрупкость. Главный форум по оценке чести того или иного человека и раздаче почестей — это партия, которая есть «ум, честь и совесть нашей эпохи», как гласил известный лозунг. Она оценивала честные дела, раздавала за них почести; правда, могла и обойти вниманием заслуживающего почестей или обесчестить кого угодно. В результате этого зачинщик действия мог надеяться на его нехрупкость, то есть мог контролировать его результаты, особенно если был партийным лидером с контролем над своим партбюро и связями наверху. Начальник не просто зачинщик начинания; он гарантирует успех любого почина. Форум выдачи почестей известен и контролируется; несогласных к исполнению партийной инициативы принудим, если что; плутархов для жизнеописания производимого нами героического поступка согласуем или назначим; ну и в конце концов выдадим официальный знак почета. Арендт бы сказала: вместо деяния, неожиданно открывшего нам человека, чье имя достойного занесения в историю полиса, в СССР устроили созидание героев через плановое производство дел воинской и трудовой чести, отмечаемых официальными историями жизни и почестями.

Успехи республиканских проектов в России

Проект введения исключающего республиканизма как основной идеологии XX века в России можно считать особенно успешным. Учитывая, какое количество населения было неграмотно на 1917 год и потому могло соглашаться, что традиционная монархия лучше, чем республиканская форма правления, к середине XX века, за редчайшими исключениями — прежде всего в белой эмиграции — ни у кого не было сомнения, что республиканский строй лучше монархии, хотя и реализован, возможно, не лучшим образом на территории СССР.

Проекты же государственного переустройства, предлагавшиеся по лекалам классического республиканизма, кажутся теперь — в эпоху массовой политики автократий и либеральных демократий, опирающиеся на механизмы голосования как основного способа участия масс в управлении, — либо делом далекого прошлого, либо неудачными. Посмотрим на екатерининско-александринский проект конца XVIII — начала XIX века. Конституционная монархия, за которую выступали многие русские аристократы той эпохи, казалась им — следуя теоретикам типа Монтескье — примером политической свободы классического образца, если посмотреть на Англию его времени. Король, палата лордов и палата общин, как казалось, обеспечивали идеал «смешанного правления» в том, что соединяли элементы монархии, аристократии и демократии в одну сбалансированную систему или смесь. Но такую систему не удалось построить в XIX веке, да и в 1905 году, после первой русской революции.

Однако то, что можно назвать «хитростью Пушкина», помогло внедрить элементы классических республиканских идеалов в систему всеобщего образования Советской России, особенно после празднования столетия со дня его смерти и во время подготовки к большой войне в конце 1930-х годов. До этого в течение 1920-х годов действующими лицами официальной истории (например, в изложении историка Покровского) были абстрактные народные массы, а изображение отдельных героических личностей не приветствовалось. Создание канона национальных героев в преддверии войны, наоборот, требовало героических историй. Переход к преподаванию авторов золотого века русской литературы в средней школе в СССР вел к тому, что опора на античные идеалы, которыми было пропитано воспитание поколения Пушкина и декабристов, стала предлагаться и советской молодежи. Хотели воспитать национальное и героическое сознание перед надвигающейся войной, но одновременно с этим стали предлагать модели античного поведения как значимый образец для подрастающего поколения. Миллионы советских юношей и девушек заучивали «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», чаще всего не зная, что это переложение Горация. Пушкин, как и Гораций, — поэт доблестей разгромленного республиканского века, вынужденного жить при императорах, но воспроизводящий хотя бы в стихах ориентиры поведения ушедшего века. Про влияние Пушкина и других авторов золотого века на укоренение размышлений и свободе и гражданской доблести можно вкратце сказать следующее.

Наверное, не николаевские репрессии против декабристов и устрашение других членов элиты, а разложение аристократической доблести под влиянием соблазнов коммерческого века и появление неистовой общественности с квазихристианскими и почти сектантскими механизмами веры привели к тому, что дискурс добродетели угас среди образованных людей во второй половине XIX века. Ирония истории, однако, заключается в том, что однопартийная деспотия XX века посредством всеобщего образования и навязывания униформного канона заставила всех учащихся заново читать и заучивать авторов пушкинской эпохи с ее античными идеалами, и тем самым навязывала читателям представления о том, что значит прожить значимую жизнь, рядом с образцами, которые можно было почерпнуть из основанного на методах агиографии соцреализма. В сферах неформальной жизни позднего советского общества эти ресурсы могли быть задействованы многими в культивации квазиреспубликанских практик работы над собой, то есть в создании альтернативных средств моральной оценки и самосовершенствования. Но это была стратегия без стратега, говоря терминами Мишеля Фуко: никто не проповедовал эти альтернативные методы жизни как доктрину. Нынешняя популярность работ Ханны Арендт, ставших доступными российскому читателю только в постсоветское время, во многом объясняется тем, как эти работы смогли артикулировать многие моральные интуиции, доставшиеся и сегодняшней молодежи из изучения обязательной программы по русской литературе. Пушкин, понятый через Арендт, выигрывает сражение с абсолютизмом через двести лет после своей смерти. Тем более что книги Арендт подсказали, чем затхлые принудительные формы жизни в советской цивилизации отличаются от схожих, но наполненных свободной энергией граждан.

Будущее республиканских проектов

Исторически национальные государства выиграли военное соревнование у классических республик типа Венеции (она пала в 1797 году перед наполеоновскими войсками) или Рагузы (Дубровника, сдалась в 1806 году французским войскам, чтобы не пустить отряды российской и черногорской армий), а независимость швейцарских кантонов (классических республик) восстановил Александр I в результате Венского конгресса 1814 года, и в дальнейшем она гарантировалась военной мощью Священного союза. Потому обычным утверждением сейчас является, что нынешние проекты, скроенные по лекалам классического республиканизма, работают либо на донациональном, либо на наднациональном уровне. На донациональном уровне в РФ мы видим различные формы реального, а не формального гражданского участия, среди которых в России наиболее популярны разного рода проекты инициативного или партиципаторного бюджетирования (ПБ), а также партиципаторного планирования и проектирования (жизни микрорайона, городских памятных мест, планирование жизни школы с участием ее учеников и т.п.). Если губернаторы поощряют создание ТОСов (то есть органов территориального самоуправления на уровне двора или микрорайона в рамках существующего муниципального органа), подбрасывая им средства для осуществления их проектов, жизнь идет и здесь. Комментаторы, которые поддерживают такие инициативы, считают их «детскими садами свободы», так как они действуют на уровне либо ниже муниципальной власти, как ТОСы, либо зависят от желания муниципальных властей создавать реальное, а не формальное участие населения в таких формах жизни, как ПБ. Это хуже, чем токвилевская «начальная школа свободы», но хоть что-то. Критики этих начинаний пишут об этих местных инициативах как о «кости, брошенной обществу», «клапане для выпускания пара», когда, по их мнению, отдельным людям (даже если набранным по классической республиканской процедуре — жребием) вместо реального участия населения в деле управления муниципалитетом дают право поучаствовать в дележке, например, всего 1—2% городского бюджета. С точки зрения этих критиков, популярность в некоторых странах БРИКС (таких как Индия и Китай) подобных систем привлечения населения к якобы участию во власти свидетельствует об использовании авторитарными политическими режимами таких форм действия для пацификации населения и снижения уровня социального напряжения.

Самоорганизация населения на донациональном уровне не обязательно должна следовать либеральным образцам. Так, ряд зарубежных коллег, исследовавших феномен «консервативного гражданского общества» в РФ, указывали на сложившиеся в 1990-е годы в противостоянии с либеральной центральной властью земские движения — например, в таких районах, как Белгородская и Орловская области. Деятели этих земских движений позже, в 2000-х годах, вошли в партию «Единая Россия», и казалось, что подобные инициативы ушли в прошлое. Однако создание властью и развитие на местах после 2022 года массовых волонтерских движений для помощи армии (своим воюющим землякам и т.п.), движения военкоров (особенно тех, кто ведет блоги и ТГ-каналы не общестранового, а областного уровня) может привести к расширению участия населения во власти, особенно тогда, когда конкретные меры конкретных чиновников местного или федерального уровня начинают оспариваться

консервативными активистами как неадекватные. История «либеральной империи» Наполеона III (1852—1870) демонстрирует схожий пример: жестко централизованная империя подавляла инакомыслие в печати и опиралась на систему назначаемых префектами мэров. Более того, система официальных кандидатов в законодательное собрание, которых поддерживало правительство, приводила к тому, что все власти на уровне департамента, города, полицейского управления и даже школьные учителя старались обеспечить то, что за депутатов от партии власти проголосуют. Однако опора на плебисциты (по поводу уже принятых правительством решений) и на поддержку сельского населения, консерватизм и традиционный патриотизм которого побудили Наполеона III дать ему широкие избирательные права, привели к тому, что советы депутатов региональных собраний, а потом и национальный законодательный орган стали наполняться знатными людьми с мест, которые вышли из местных округов и потому имели опыт противостояния не только с назначенными мэрами на местах, но и с другими эшелонами централизаторской власти. Результатом стало то, что политический строй Третьей республики был так легко принят во Франции (после поражения в войне с Пруссией и подавления восстания Парижской коммуны в 1871 году) — его более децентрализованная структура была во многом подготовлена политической борьбой последних лет империи [Hazareesingh 2004][2].

На наднациональном уровне задача кооперации России с другими странами в решении проблем глобального уровня, например совместное достижение 17 целей устойчивого развития, провозглашенных ООН в 2015 году, — как кажется многим — ушла после начала СВО на второй план. Тем не менее такие проблемы, как голод среди населения развивающихся стран или отсутствие доступа к адекватным запасам питьевой воды, никто не отменял. Ясно, что дебаты по реформе ООН на основании новой модели могут и не использовать теорию классического республиканизма. Но отсутствие единого мирового полицейского делает невозможным наличие мирового правительства и требует какого-то институционального регулирования поведения формально равноправных игроков (национальных государств) — чтобы не скатиться к захватам соседей по праву сильного или к игнорированию интересов, общих для населения планеты Земля. Климатический кризис, который привел к таким попыткам введения механизмов регулирования, как неэффективно работавший Киотский протокол, требует ответов в виде институциональных инноваций на уровне международных организаций. Региональные системы по ограничению выбросов парниковых газов — такие, как, например, меры ЕС — имеют невсеобъемлющий эффект. Пока что удивительным достижением всех стран ООН является реализация Монреальского протокола 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой (хлорфторуглеродам). Он более-менее успешно функционирует на базе самоограничений и создания общего фонда средств. Но для координации организационных решений по климатической проблематике без создания единого централизованного органа может оказаться полезным именно классический республиканизм.

Классические республиканские рецепты могут потребоваться на наднациональном уровне не только для регулирования кооперации национальных го-

2 В отличие от нынешней РФ, правда, во Второй империи не контролировали результаты выборов в муниципальные и местные сельские собрания.

сударств для решения совместных проблем уровня общей для нас планеты или общего приземного космоса. Они могут потребоваться, как пишут теоретики республиканизма, и для учета голосов не только государств и не только людей в дебатах о принятии решений по поводу климатического кризиса. Первоначально после критики со стороны активистов, в радикальном виде представленных фигурой Греты Тунберг, встал вопрос об учете голосов будущих поколений. Как мы, живущие сейчас, можем в своих дискуссиях и решениях учесть мнение тех, кто не имеет голоса сейчас? Мы же исходим из своей нынешней, ограниченной взглядами и заботами нашего времени, точки зрения, и мы не можем рационально поговорить с теми, кто родится после нас.

Вопрос встал не только по поводу поколения наших детей да и еще, возможно, не родившихся внуков. Потом вопрос о представительстве тех, кто не имеет голоса и не может сам выступить в парламенте или в дискуссии о том, что делать с климатическим кризисом, был применен активистами таких движений, как «Deep ecology», и к природным процессам. Они тоже не имеют голоса. И если вопрос стоит не только о контракте между людьми по поводу Земли, а о контракте между людьми и природой (частью цепочек обратной связи которой мы являемся как человечество, влияющее на природные процессы, но неразрывно в них вписанное), которая все больше и больнее ударяет по нам в ответ на наши действия по ее покорению и освоению, то надо дать голос и этим природным процессам! Аналогом этого требования признать голос и участие за природными процессами является ситуация, когда в Греции и Риме за рабами тоже не признавали права голоса, так как считали их неспособными к политической речи. Потом его не признавали за бедными (рабочим классом) и женщинами, которым полное право участвовать в голосовании дали только в XX веке.

Проекты создать «палаты будущих поколений» в парламентах ведущих стран мира потому не новость для европейских стран. Кроме участия в них представителей интересов этих поколений, предлагается ввести и институциональное представительство интересов отдельных природных процессов [Audier 2020]. Кто в этом случае будет выступать в роли представителей? Назначенные государством защитники таких интересов? Например, в «парламентах воды» госзащитники интересов отдельного участка реки Вилен (в Бретани) или Луары могут обсуждать, в улучшение какого участка реки надо вложить в этом бюджетном году деньги, чтобы поддерживать общую судоходность, обеспечивать экологический баланс всего речного бассейна и т.п. Или активисты НКО? Или ученые-естествоиспытатели, которые не только привыкли выпытывать тайны природных процессов, но и потом давать им голос, говорить от их лица с позиций объективной истины? Или надо объединить госэкспертов, энкэошников и ученых вместе в одной ассамблее, как предлагается в проекте мэрии Лиона по признанию реки Рона юридическим лицом с обсуждением ее интересов в постоянно идущей гражданской дискуссии о том, что делать с потеплением Роны и потерей ею полноводности [Bouchon 2024]?

Все эти вопросы сейчас кажутся далекими от забот России, но климатический кризис будет проявляться и у нас — причем не тем, что в Московской области можно будет скоро высаживать виноградники, а резкими колебаниями погодных условий и увеличением числа климатически обусловленных катастроф. После чего и в РФ придется задуматься, а не включить ли учет интересов природных процессов в общее обсуждение того, как нам жить и какие механизмы стоит для этого ввести.

Наконец, лет десять назад появилось и предложение о создании классических республиканских институтов на уровне именно национального государства, что не могли предположить другие перечисленные мною проекты. Это предложение пришло от школы теоретиков «плебейского республиканизма», которые считают, что такие гуру современной республиканской мысли, как Квентин Скиннер или Филип Петтит, являются элитистами. Эти гуру не хотят видеть или не учитывают то, что еще Макиавелли в «Discorsi» показал, что величие республиканского Рима основывалось на продуктивном конфликте между плебсом и нобилями, в то время как долгоиграющие ренессансные республики типа Венеции или Рагузы опирались на исключении из политического процесса громадной массы населения (полными гражданскими правами в них пользовалась только узкая группа мужских отпрысков фиксированного числа патрицианских семей).

Возрождение трибунов плебса сейчас предполагало бы создание коллективных трибунатов (не трибуналов! а коллективных органов власти неимущих масс населения) на уровне города (скажем, из 10—12 человек), региона (20—25 человек), всей страны (40—50 человек). Набор туда проводился бы по жребию после номинаций небольшими местными собраниями населения; участие избранных жребием в трибунате ограничивалось бы, скажем, сроком в один год, и пост этот было бы можно занимать не больше двух раз в течение жизни. Трибунаты определенного уровня (местного, регионального, федерального) имели бы право раз в год отменять один закон, принятый думой этого уровня и проводить импичмент одного чиновника этого уровня. Трибунаты бы также имели право законодательной инициативы, опираясь на местные собрания, номинирующие кандидатов для их состава, хотя сами избранные жребием члены трибуната не имели бы права участвовать в работе законодательных органов[3]. Критики плебейского республиканизма, однако, оценивают шансы введения таких институтов даже в современных либеральных демократиях как невысокие: существующие элиты должны поступиться заметным куском своей власти. В России даже еще не началось обсуждение подобных предложений, хотя для страны с традицией ленинских утверждений, что даже кухарка должна управлять государством, дискуссия о подобных институциях может привести к интересным результатам.

Возможен и синтез предложений национального и наднационального уровня. На последней на время написания этих строк, Третьей конференции по классическому республиканизму в Венеции в мае 2022 года автором было предложено создание института «трибунов природы», по модели трибунов плебса в Римской республике[4]. Исходя из общей идеи возрождения трибунов плебса, защищающих бедных и обездоленных в современных представительных демократиях, предлагается на основании ротации устраивать форум простых людей, набираемых по модели суда присяжных, кто мог бы после месячного обучения и обсуждения тщательно взвесить предложения, исходящие от госчиновников, ученых и представителей НКО, по действиям в ответ на отдельные угрозы или

3 Подобную схему, разработанную на основании проекта французской конституции 1793 года (автор Кондорсе), см.: [Vergara 2020].

4 Программу четвертой (2024) конференции этой серии см. здесь: https://www.univiu.org/campus-services/conferences/upcoming/the-venice-world-multidisciplinary-conference-on-republics-and-republicanism-fourth-edition (дата обращения: 25.05.2024).

катастрофы климатического характера. Также трибунов природы можно бы было наделить правом импичмента одного чиновника, правом отзыва одного из принятых законов и правом законодательной инициативы.

Общественное восприятие республиканских проектов в России

Классический (гражданский) республиканизм известен большинству россиян только подсознательно — через интуиции, которые им сообщили некоторые книги золотого века русской литературы, либо через исторические труды и фильмы. Сознательно многие проекты или происходящее вокруг просто не воспринимаются как «республиканские процессы». Многие знают, что монархии — это не республики, но этот исключающий республиканизм последних двухсот лет не кажется чем-то важным с точки зрения осуществления: ведь везде в мире вокруг и так в основном одни республики. Конечно, в мире существуют также и конституционные монархии и несколько единовластных правлений, согласно их официальному устройству. Но это банальное знание кажется неважным для повседневной жизни.

Отмечу, однако, что есть позитивное восприятие местных инициатив, действий муниципальных образований или сотрудничества с региональной властью, когда, например, граждане и местные чиновники собираются вместе в комиссии по партиципаторному бюджетированию. Если, конечно, там идут реальные обсуждения лицом к лицу (а не сбор «инициатив» или мнений граждан через интернет, как часто происходит, например, в Москве), если есть как ротация набираемых в эти комиссии людей из городской публики, так и преемственность между ротируемыми (чтобы комиссии осуществляли то, что решил прежний их набор) и т.п. Эти виды городского гражданского действия и участия в делах города не обязательно должны оставаться на уровне «малых дел». Лучшим примером реальных заметных на уровне страны свершений по классически республиканскому образцу могут служить движение градозащитников в Санкт-Петербурге или объединения разнородных сил и активистов для защиты Шиеса в Архангельской области от строительства там мусорного полигона или защиты шихана Куштау в Башкортостане от освоения его Башкирской содовой компанией.

Градозащитники — не правозащитники, они не вызывают такого раздражения власти, как те, кто защищают людей в соответствии с когда-то навязанной СССР доктриной «прав человека». Если последние по определению выглядели для большинства советского населения как идеалистичные агенты Запада, протестующие против очевидной реальности (какие «права человека», когда советский суд по звонку парторганов выносил решения, нужные власти?), а нынешние их наследники редко могут найти финансирование внутри страны и потому часто обречены на титул «иноагента», то градозащитники исходят из понятного всем чувства: «Это наш город! Кто дал вам право в него вторгаться, не учитывая чувства и мнения его жителей?» Инновацией Цицерона в классической политической теории считается то, что он передал греческое понятие *polis* латинским термином *res publica*, который может иметь вещественно-имущественные коннотации, которых греческий термин не имел. Res publica — это публичная вещь, забота (городской) публики, ее общее до-

стояние. Если жители на деле теряют право владеть и распоряжаться своей вещью, res publica исчезает. Потому хотя градозащитное движение «Наш город» в Санкт-Петербурге в 2007—2009 годах и открещивалось устами своих лидеров от того, что они занимаются политикой (ведь политика в обыденном сознании россиянина — это грязное дело), они тем не менее действовали как будто бы по классическим республиканским лекалам, требуя вернуть город его жителям.

Небольшая группа активистов, которых можно было назвать «профессиональными горожанами», если не «сознательными гражданами Петербурга», добилась невозможного: начав с блога по поводу разрушения персонально дорогих им зданий в центре города и небольших арт-перформансов на эту тему, они собрали массовую коалицию поддержки, поставившую на повестку дня петербургских и федеральных властей вопрос о том, что надо бы остановить строительство газпромовского небоскреба в центре города. Эффект был достигнут за счет того, что проблему небоскреба сделали заботой или проблемой для многих. Философ Владимир Бибихин, переводя эссе Хайдеггера «Вещь», передал понятие *res publica* как дело (а латинское слово *res* переводится и как «дело» и как «вещь» в смысле «вот какие вещи происходят»), которое деется так, что неизбежно задевает всех. «Живой город» разложил по почтовым ящикам горожан (и расставил стенды, где мог) фото их родной улицы, как она выглядела бы после строительства небоскреба: обычные перспектива и линия небосвода были бы для многих изменены фаллическим зданием, вздымающимся супервысоко вверх. То, что у них могли украсть их привычные восприятие их родного города или улицы и воспоминания о них, задело многих, если не всех. Письма в администрацию губернатора начали поступать ящиками, так как шаблоны их были предложены «Живым городом» горожанам, а на все эти письма в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ администрации надо было ответить в течение месяца, что грозило коллапсом. Проблема была решена в конце концов тем, что строительство Охта-центра было остановлено, а лидеров градозащитников пригласили к сотрудничеству по написанию правил совместной городской жизни. Например, надо было разработать местное законодательство по зеленым насаждениям вместе с сотрудниками профильного комитета городского правительства. (Правда, после смены губернатора это сотрудничество комитетов правительства региона и градозащитников было остановлено; однако перенос небоскреба за пределы городского центра не отменили.) Подобные процессы мы видели и на примере Шиеса и Куштау. Во всех трех этих случаях люди защищали общее для них достояние (то есть la chose publique — «публичную вещь», как переводится выражение *res publica* во французском языке). Это было городское или природное достояние, но тесно связанное с их общей историей или с их будущим.

Другой аспект классического (гражданского) республиканизма — это признание заслуг, то есть создание значимых историй жизни или народно финансируемых памятников, отмечающие уникальные достижения кого-либо в продвижении или защите общего блага. Создание памятников на народные средства — дело известное; правда, пока это в основном развивается лишь вокруг деятелей культуры, задавших делами своей жизни многие ориентиры для поведения подрастающих поколений. Да и их родителям тоже нужны ориентиры, чтобы советовать детям, как говорил Маяковский, «сделать бы жизнь с кого» — то есть чью жизнь можно копировать, так как она есть достойный пример для подражания. В сегодняшней России есть несколько стихийно воз-

никших мемориалов и памятников в честь Виктора Цоя (и фильм «Лето» про него) или памятник Сергею Довлатову на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге (и фильм Алексея Германа — младшего про этого писателя). Фигуры Цоя и Довлатова, отмеченнные стихийным народным почитанием, воплощают в себе классическую республиканскую потребность в создании значимых историй жизни в культуре; правда, пока не в политике. Стихийный мемориал на месте гибели Бориса Немцова и заваленная цветами могила Алексея Навального* показывают, что и политические мемориалы или романы-фильмы, отмечающие знаковые примеры гражданского действия, тоже могут появиться. Правда, такие механизмы не обязательно сводятся лишь к созданию мест памяти погибших за общее дело либералов. Похожие модельные истории жизни и места памяти создает и консервативное гражданское общество для своих героев, да и дела особо отличившихся в защите Родины (в том смысле, как это совместно и не противореча друг другу понимают на обоих полюсах политического спектра) могут стать очевидным для всех основанием всеобщего признания из-за жертвы за общее дело.

Республиканизм как альтернатива империи, монархии, самодержавию

Исключающий республиканизм последних 150 лет только и делал, что подчеркивал, что республика и монархия в форме самодержавия (а не в форме ограниченной или конституционной монархии) — это две разные и противостоящие друг другу формы правления. Потому, правда, мы забыли о классической республиканской традиции, которая считала, что res publica может существовать в форме монархии, если она не превращалась в свою противоположность (ущербную тиранию), когда монарх начинал править не в интересах общего блага.

С понятием «самодержавия» дело обстоит несколько сложнее. Русское слово является калькой с греческого *autokrator*, то есть части официального титула византийского императора. Но сами византийцы, или ромеи (греч. Romaioi), как они сами себя называли, считали, что у них продолжается извечная res publica Romana, а никакая не империя. Это дало основание Энтони Калделлису недавно выпустить книгу «Византийская республика», где обосновывается это самообозначение Восточной Римской империи [Калделлис 2018]. Дело в том, что там не было наследования трона, требовалось одобрение народа для нового императора в виде аккламации на ипподроме или в другом публичном месте, а императоры, не преследовавшие общее благо, — если так начинали считать их подданные — рисковали быть свергнутыми в результате заговора или гражданской войны. Потому в российском контексте самодержавие, определяемое как единовластное правление на благо народа в соответствии с законами, не осуждалось в классическом республиканизме. Что противопоставлялось благой форме res publica в виде ущербного или дурного единовластного правления? Это были отход от законов, каприз, самодурство, правление не на общее благо, что часто схватывалось категорией «самовластья». Потому Пуш-

* Включен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

кин употреблял именно этот термин в обращении к Чаадаеву: «И на обломках самовластья напишут наши имена!»

С термином «империя» все еще сложнее. Когда русская дипломатия столкнулась в XVII веке с такими классическими республиками, как Венеция или Объединенные провинции в Нидерландах, и послам или дьякам приказов пришлось называть их «статами», «Речью Посполитой» и — реже — «республикой», то империя в мире в строгом смысле была всего лишь одна. Это была Священная Римская империя (Sacrum Romanum Imperium), ведшая свое происхождение от короля франков Карла Великого, которого папа римский короновал в 800 году с титулом imperator augustus, передав ему права imperium (то есть империя — верховного командования), несмотря на то что череда западных императоров прервалась в 476 году. Среди русских авторов термин «империя» первым упомянул, похоже, Курбский, когда уже из Литвы писал о «Святорусской империи», возможно, взяв за образец название Священной Римской империи. Послы этой империи еще в конце XV века предложили великому князю Ивану III получить от единственного в мире римского императора (в 1453 году Византия перестала существовать) титул легитимного короля; Иван отказался. Но письмо императора в 1513 году уже к его наследнику называло адресата по-немецки Kaiser (кесарь или Цезарь); Петр I при принятии титула императора в 1721 году использовал этот прецедент. Однако противопоставление республики и империи — дело уже больше XIX века. Первый русский сокращенный перевод фундаментального труда Эдуарда Гиббона «История упадка и разрушения римской империи» вышел в 1824 году; в нем, опираясь на Тацита и Аппиана, но также на Бруни и Макиавелли, историк популяризовал привычную и стандартную для нас схему — сначала в Риме была республика, а потом из-за того, что она опиралась на оружие в своих завоеваниях, она не смогла контролировать свои расширенные территории и мощь провинциальных армий, полководцы которых использовали свой империй для захвата власти в Вечном городе. Однако только после появления теорий империализма в конце XIX — начале XX века стало обычным проводить контраст между имперскими захватами и якобы мирным республиканизмом.

Отношения республиканизма и либерализма

Обычный ответ Скиннера и Петтита на этот вопрос заключается в том, что гражданский республиканизм и либерализм находятся по одну сторону баррикад, когда они защищают свободы отдельного человека, и потому вместе противостоят разным версиям консервативной, националистической или религиозной мысли, где группа ставится выше индивида. Однако у них разные концепции свободы: если либерализм определяет свободу как невмешательство (вы свободны, когда де-факто ваши действия или намерения не ограничивают или в них не вмешиваются), то республиканизм считает, что вы свободны, если де-юре вы не зависите в своих решениях от воли другого. В ваши решения может вмешиваться, например, исполнительная власть, но если вы принимали участие в производстве законов, по которым она действует, а также принимали участие в назначении людей в органы этой власти, то в вашу жизнь вмешиваются по вашему согласию, то есть в соответствии с вашей волей. В такой ситуации вы свободны. С точки зрения последователей Скиннера и Петтита,

в Европе в конце XVIII — начале XIX века либерализм вытеснил республиканизм как основную теорию свободы из-за того, что было невозможно рассчитывать на постоянное и активное участие широких масс населения в политике, что было прискорбно. Альтернативная точка зрения утверждает, что либерализм — это классический республиканизм, который был подкорректирован, чтобы отвечать вызовам новой эпохи [Kalyvas, Katznelson 2008]. Дело не только в том, что слишком трудно требовать постоянного участия в политике, когда в коммерческом обществе многие хотят заняться мирным обогащением в своих целях, но и в том, что коммерческая деятельность ставит под вопрос безусловное требование ставить общее благо выше частного. Введение представительных институтов в политике якобы устраняет подобные затруднения, и потому либерализм — это республиканизм для новой эпохи. Свобода для политики превращается для многих в свободу от политики. Но иначе не получалось; надо было реагировать на новые вызовы, так как старые республиканские рецепты устройства политических сообществ не срабатывали.

Либералы критически относятся к классическому (гражданскому) республиканизму по многим причинам. Как пример приведу несколько аргументов, похожих на тезисы Андрея Зорина в нашем недавнем споре на одном из семинаров в конце 2023 года, и попробую ответить на них. Во-первых, концепция свободного человека в том виде, в котором она существует в республиканской традиции, предусматривает наличие несвободных людей, рабов. Если рабов нет, никто не может назвать себя свободным. Свободный — это тот, кто не раб при условии наличия рабов. Во-вторых, если мы уничтожаем рабство, то всех в политическое сообщество включить сложно — ведь как размер сообщества препятствует прямому участию всех в политике, так и сложно предполагать, что будет равное участие, пока существует неравный доступ к образованию или к доходам, которые позволяют не думать только о пропитании и обеспечении других базовых потребностей жизни и т.п. Такие непарламентские республики, как Венеция и Дубровник, гарантировали полные права гражданства только ограниченному слою людей из самых зажиточных аристократических семей (и только мужчинам!), исключая такие сословия, как cittadini (горожане, обслуживающие машину власти и основные функции города) и popolani (неимущие слои населения). Парламенты же, наоборот, решают проблему участия всех в политике на базе всеобщего избирательного права, но классические республиканцы критикуют такие представительные механизмы как ведущие к апатии и неучастию в политике де-факто.

В-третьих, главное в либерализме — это не как назначается исполнительная власть, честными выборами или жребием. Как выбирать власть — это двенадцатый вопрос. Абсолютно главный вопрос — это чтобы власти не лезли в жизнь к отдельному гражданину — что избранные по жребию, что по выбору, что самоназначенные. Чтобы меня не мобилизовывали, не направляли на фронт, чтобы мне не назначали цену, за которую я могу продать свое имущество, и т.д. А как они там окажутся — вопрос технический. Республиканизм же разрешает вмешательство в частную жизнь, если человек участвовал в принятии законов, по которым это делается. В-четвертых, любопытно, что в применении к России в качестве главных агентов республиканской традиции выдвинуты Пушкин и Гораций, которые республику не признавали и были убежденными монархистами аристократического свойства. Можно, конечно, считать, что Гораций контрабандой пронес в августовский режим республи-

канские идеалы, но большинство авторов считают, что он республику ненавидел и считал ее самым страшным злом. Пушкин и Гораций были очень монархическими поэтами, претендовавшими на то, чтобы быть монархами среди поэтов, и с успехом. Они поставили себе памятники, подобные тем, какие ставят монархам. При чем здесь республика, трудно понять.

Приведу несколько обычных ответов на эту критику. Во-первых, действительно, сейчас рабство не является де-юре чертой обыденной жизни большинства стран земного шара, поэтому почему надо заимствовать концепцию свободы как статуса, которую мы находим прежде всего в «Дигестах» Юстиниана, то есть в кодификации права рабовладельческого общества? Ответом является то, что мы все испытывали на себе власть мелкого непосредственного начальника или человека с высоким социальным статусом, от которого мы зависим в своих решениях, и потому вынуждены модифицировать свое поведение, чтобы учесть тот факт, что без его или ее соизволения или предварительного одобрения мы не сможем начать или осуществить свое действие. И дело не всегда в социальном статусе. Например, в книге Петтита «Республиканизм» термин *non-domination* (негосподство) неудачно перевели на русский как «недоминирование» — за исключением тех случаев, где он указывает на случаи господства внутри семьи. Термин «доминирование» подходит для этого лучше; все же в русском обыденном языке доминирующих супруга или супругу трудно назвать господином.

Во всех этих примерах рабов нет, но ситуаций, когда мы иногда находимся в воле другого или в зависимости от его/ее решений по важным для нас вопросам, много. И это характерно не только для России. Маурицио Вироли с помощью концепции республиканской свободы проанализировал Италию времен многолетнего правления Берлускони, власть которого была ни неограниченной, ни авторитарной, ни деспотической, ни незаконной. Но она являлась огромной и потому своим фактом своего существования разрушала свободу граждан. Обладающий такой властью «порождает у подчиняющегося ей рабский менталитет вместе с подхалимажем, злословием, неспособностью ясно рассуждать, отождествлением со словами и поведением господина… наглостью в отношении более слабых людей и противников» [Вироли 2014: 24]. «Такой образ мысли и образ жизни не совместим со свободой, потому что она требует, чтобы граждане не имели расположения ни к покорному служению, ни к высокомерному господству» [Там же: 18]. На вторую же критику — как возможно ввести классические республиканские механизмы сейчас, в политических системах со всеобщим избирательным правом, когда раньше такие республики всегда опирались на запрет на участие в политике для значительной доли населения, — ответом являются предложения по введению, например, институтов местного, регионального и федерального уровня, похожих на институты трибунов плебса.

На третий аргумент о том, что в либерализме главное — невмешательство, а республиканизм этого может и не гарантировать, у Скиннера есть следующий ответ. Вам кажется, что принцип «чтобы ко мне не лезли» — это главное и что можно устроить политическую систему так, что можно реалистично надеяться обеспечить такое невмешательство через права человека, суды и т.д.? Да, будем надеяться, что в современной Англии можно. Но там, где еще нет верховенства права и независимого суда, что делать? Во Флоренции и Венеции знали, что если не собираться вместе, не участвовать в политике и не приду-

мывать такие общие правила, чтобы ко мне не лезли, то неприкосновенность частного пространства не защитишь [Skinner 2002]. Поэтому, в отличие от либеральной свободы, понимаемой как невмешательство, в классических республиках практиковалась другая свобода, реализуемая с помощью таких республиканских механизмов, как участие.

А про четвертое возражение, представленное либералами, можно сказать следующее. В классическом республиканизме монархия — это один из трех благих видов res publica, когда монарх правит на общее благо, а не для обеспечения частных интересов или под влиянием капризов и страстей. Конечно, она сама по себе неустойчива и может превратиться в ущербную форму — тиранию. Потому идеалом является смешанное правление, то есть смесь монархии, когда правит один, аристократии, когда правят лучшие, и демократии, когда правят все. Не можем ли мы приписать Пушкину такое классическое воззрение на монархию? Тогда сказать, что он монархический поэт — это значит заклеймить его с точки зрения сегодняшнего исключающего республиканизма, но не с точки зрения классического. Ведь думать о благе единовластия, уравновешенного другими двумя началами, аристократическим и демократическим (и прежде всего аристократическим, как думал еще Курбский), — это стандартная мысль образованных свободолюбцев XVIII века. Пушкин читал Тацита про ужасы тирании Тиберия во время 1825 года, осуждал его кровавую тиранию — но что удивительного в том, что он одновременно мог быть за монархию? В рамках классического республиканизма того времени требовать смерти тиранов и одновременно защищать благого монарха на троне могли не только Екатерина II и Александр I, но и Радищев с Новиковым. Вопрос в том, насколько тяга к античному типу свободы совместима с нашим современным типом общества. Но по этому вопросу я привел три первых обычных контраргумента.

Библиография / References

[Бугров 2018] — *Бугров К.Д.* Республика/революция: гражданская добродетель в истории России // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / Под ред. Т. Атнашева и М. Велижева. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 547—581.

(*Bugrov K.D.* Respublika/revolyutsiya: grazhdanskaya dobrodetel' v istorii Rossii // Kembridzhskaya shkola: teoriya i praktika intellektual'noy istorii / Ed. by T. Atnashev and M. Velizhev. Moscow, 2018. P. 547—581.)

[Виролли 2018] — *Виролли М.* Свобода слуг / Пер. с итал. И. Кушнаревой. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2014.

(*Viroli M.* La libertà dei servi. Moscow, 2014. — In Russ.)

[Ерусалимский 2021] — *Ерусалимский К.Е.* Республика без республиканизма: дискурсы *общего дела* в Московской Руси // Res Publica. Русский республиканизм от средневековья до конца XX века / Под ред. К.А. Соловьева. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 153—265.

(*Erusalimskiy K.E.* Respublika bez respublikanizma: diskursy obshchego dela v Moskovskoy Rusi // Res Publica. Russkiy respublikanizm ot srednevekov'ya do kontsa XX veka / Ed. by K.A. Soloviev. Moscow, 2021. P. 153—265.)

[Калделлис 2018] — *Калделлис Э.* Византийская республика. Народ и власть в Новом Риме / Пер. с англ. В.И. Земсковой. СПб.: Дмитрий Буланин, 2018.

(*Kaldellis A.* The Byzantine Republic: People and Power in New Rome. Saint Petersburg, 2018. — In Russ.)

[Каплун 2007] — *Каплун В.Л.* «Жить Горацием или умереть Катоном»: российская традиция гражданского республиканизма (конец XVIII — первая треть XIX вв.) // Неприкосновенный запас. 2007. № 5. С. 197—219.

(*Kaplun V.L.* "Zhit' Goratsiem ili umeret' Katonom": Rossiyskaya traditsiya grazhdanskogo respublikanizma (konets XVIII — pervaya tret' XIX vv.) // Neprikosnovennyy zapas. 2007. No. 5. P. 197—219.)

[Курбский 2015] — *Курбский А.* История о делах великого князя московского. М.: Наука, 2015.

(*Kurbskiy A.* Istoriya o delakh velikogo knyazya moskovskogo. Moscow, 2015.)

[Лукин 2021] — *Лукин П.В.* Республиканская риторика в Древней Руси // Res Publica. Русский республиканизм от средневековья до конца XX века / Под ред. К.А. Соловьева. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 76—152.

(*Lukin P.V.* Respublikanskaya ritorika v Drevney Rusi // Res Publica. Russkiy respublikanizm ot srednevekov'ya do kontsa XX veka / Ed. by K.A. Soloviev. Moscow, 2021. P. 76—152.)

[Медушевский 2021] — *Медушевский А.Н.* Советский и постсоветский республиканизм // Res Publica. Русский республиканизм от средневековья до конца XX века / Под ред. К.А. Соловьева. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 659—801.

(*Medushevskiy A.N.* Sovetskiy i postsovetskiy respublikanizm // Res Publica. Russkiy respublikanizm ot srednevekov'ya do kontsa XX veka / Ed. by K.A. Soloviev. Moscow, 2021. P. 659—801.)

[Соловьев 2021] — *Соловьев К.А.* Res Publica в общественной мысли России (вторая половина XIX — начало XX века) // Res Publica. Русский республиканизм от средневековья до конца XX века / Под ред. К.А. Соловьева. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 555—614.

(*Solov'ev K.A.* Res Publica v obshchestvennoy mysli Rossii (vtoraya polovina XIX — nachalo veka) // Res Publica. Russkiy respublikanizm ot srednevekov'ya do kontsa XX veka / Ed. by K.A. Soloviev. Moscow, 2021. P. 555—614.)

[Хархордин 2011] — *Хархордин О.В.* Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

(*Kharkhordin O.V.* Osnovnye ponyatiya rossiyskoy politiki. Moscow, 2011.)

[Хархордин 2021] — *Хархордин О.В.* Республика. Полная версия. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2021.

(*Kharkhordin O.V.* Respublika. Polnaya versiya. Saint Petersburg, 2021.)

[Хархордин 2022] — *Хархордин О.В.* К вопросу о власти и авторитете в России // Звезда. 2022. № 6. С. 161—189.

(*Kharkhordin O.V.* K voprosu o vlasti i avtoritete v Rossii // Zvezda. 2022. No. 6. P. 161—189.)

[Audier 2020] — *Audier S.* La cite écologique. Pour un éco-republicanisme. Paris: La Decouverte, 2020.

[Bouchon 2024] — *Bouchon G.* Parlement des eaux: une entité citoyenne pour sauver le Rhône // Lyon Demain (https://www.lyondemain.fr/parlement-des-eaux-rhone-lyon/ (accessed: 06.04.2024)).

[Hazareesingh 2004] — *Hazareesingh S.* Bonapartism as the Progenitor of Democracy: The Paradoxical Case of the French Second Empire // Dictatorship in History and Theory / Ed. by P. Baehr and M. Richter. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 129—152.

[Kalyvas, Katznelson 2008] — *Kalyvas A., Katznelson I.* Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

[Kollmann 2021] — *Kollmann N.* A Muscovite Republic? // Slavic Review. 2021. Vol. 80. No. 3. P. 492—497.

[Skinner 2002] — *Skinner Q.* Machiavelli on virtù and the maintenance of liberty // Skinner Q. Visions of Politics: In 3 vols. Vol. 2: Renaissance Virtues. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 160—185.

[Vergara 2020] — *Vergara C.* Systemic Corruption. Constitutional Ideas for an Anti-Oligarchic Republic. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2020.

АНКЕТА

О республиканизме в России

1. Существовали ли республиканские проекты развития в России и какие?

Наталья Потапова (*доцент факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат исторических наук*)

Россия с давних времен (рискну допустить, что и никогда) не существовала в изоляции от Европы и интеллектуальных, идейных контактов с ней. Интенсивность этих контактов, мы знаем, стремительно возрастает в Новое время. Инфраструктура коммуникаций и циркуляции идей, технологий транспорта и переводов очень важна. Но в пространстве Российского государства сеть этих коммуникаций была организована для обслуживания потребностей государства, распределена очень неравномерно, обслуживая интересы режима. И республиканские ценности оседали на фильтре режима, часто принимали формы *мимикрии* под республиканизм, дискредитируя и подрывая его принципы.

Можно ли, например, верить Екатерине II, шутливо называвшей себя республиканкой, и рассматривать Уложенную комиссию, которую она созвала, как проект политического просвещения депутатов и приобщение их к республиканизму? Думаю, что да, если говорить о прожектерстве самой императрицы. Помимо Наказа, но в еще большей степени это проявилось в обрядах (процедурных правилах), обращенных к депутатам комиссии, там рассыпаны призывы к соучастию общему благу, гарантии равного доступа к власти, *недоминирования* во время работы, которая должна быть соперничеством не влиятельности, а аргументов и т.д. Однако Комиссия была слишком многочисленной, притом что представительство относилось к очень большим регионам, жители которых не знали друг друга и не имели возможности иначе, кроме как при посредничестве и активном вмешательстве, «протекции» губернской администрации быстро (как требовалось в данном случае государыне) определить «местные сословные интересы». Российский опыт политической репрезентации всегда был слишком громоздким. И участие государства в его моделировании всегда было жестким и деформирующим саму идею. Имперскому режиму традиционно в России были чужды федеральные модели, а в XIX веке и просто враждебны. Желание *контролировать* всегда оказывалось более сильным вектором, чем республиканские проекты поставить престол на фундамент активного гражданского *участия* в общем благе и заменить сервильность служением. На заседаниях комиссии, как бы ни настаивала законодательница, все знали настоящий титул и близость к престолу «депутата капорского дворянства» (граф Григорий Орлов) и других «особых» депутатов, решения которых поддерживали безапелляционно. Недостаточно было одной книжки с процедурными правилами и даже личного примера имеющих вес при дворе, чтобы превратить собрание привыкших к тому, что мир делится на сильных и сла-

бых, а порядок держится на телесных наказаниях, в сообщество обладающих равными возможностями. Это было невозможно, и придворные инициативы ощутимо растворялись в многолюдности этой ассамблеи. Как и сама суть дискуссии растворялась: при таком многолюдном собрании невозможна живая полемика и готовность физически ощутимо встать за свое предложение, свое понимание общего блага перед лицом тех, кто готов встать против, как в британском парламенте. Невозможно почувствовать противника, но главное — необходимо разделять и дальше с несогласными общие условия бытия, а значит, договариваться. А для республиканизма это очень важно. Прямая демократия — это все же очень важный опыт, на котором держатся и все прочие формы представительства более сложной архитектоники. Недаром аристотелевская модель опиралась на гражданское участие домохозяев, тех, кто имел опыт управления домовладением и ответственности за своих домочадцев (число которых, конечно, всегда было больше, чем простая семья, это и люди в услужении, не имеющие необходимой с точки зрения республиканизма свободой, интересы которых представляет их хозяин, и т.д.). И дальше, республиканская политическая культура — это опыт встречи с несогласными в обозримом пространстве форума или парламента, на площади или в зале суда, и это опыт постоянной работы — с этими людьми потом еще встречаться не раз. И это производит опыт принципиального отказа от насилия в пользу разумных аргументов и поиска *общей* рациональности, общего *блага*. Общее пространство, общее место и общие вещи принципиальны для приобретения опыта этой политической культуры. Которая, конечно, как всегда подчеркивал Олег Хархордин, не сводится к прямой и партиципаторной демократии, республиканизм гораздо шире и архитектоника республиканского представительства сложнее.

Дворянская усадьба во второй половине XVIII века становится тем пространством, где в России мог образовываться будущий гражданский активизм, где подрастало поколение будущих свободных домохозяев, готовых разделить ответственность за общее благо. Манифест о вольности дворянства освобождал домохозяев от обязанности служить государю, даруя и признавая его свободу действовать в своем имении ко благу, не нарушая законы уголовные и божественные. И это была очень важная для аристотелевской модели политики парадигма. Империя оставалась расколота на множестве домовладений, нетотальность режима также тут очень важна. Библиотека становится центром многих дворянских резиденций, республика писем и письмен формирует воображаемое единство вне конкретных имперских границ, давая возможность ощущать себя гражданами, подобно древним грекам или римлянам.

Республиканизм был возможен в России ситуативно в местах и в моменты ослабления власти, а не реализации ее проектов, и как деяние оставался демократией участия, площади. Думаю, что восстание на Сенатской площади мы уверенно можем отнести к проявлению классического республиканизма. Готовность выступить за восстановление попранной законности, выйти, подобно древним римлянам, на форум, к конной статуе перед зданием Сената и требовать ответа цезаря, показывала появление сообщества, способного к самоорганизации на основе республиканских принципов, разделения гражданской ответственности за самовольно попираемые законы (пусть даже и законы престолонаследия), участвовать если не в их принятии, то как минимум в незыблемости в равной степени для монархов и подданных и соблюдения процедуры их изменения как гарантии от узурпации прав.

Конечно, очень важно, что́ считать самоуправляющимся сообществом. Не каждый коллективный протест республиканский. Республиканизм зиждется на чувстве ответственности за коллективное бытие, за людей рядом, бытие вместе с которыми и составляет «режим истины».

Николай Плотников (*Институт русской культуры имени Ю.М. Лотмана Рурского университета в Бохуме, Prof. Dr.*)

Понятие «республиканство» в широком смысле означает политическую философию, основанную на различии монархии и республики или в целом на идее и практике самоуправления, которое граждане объединенным усилием противопоставляют единоличной, авторитарной власти. В этом смысле Россия, как и большинство европейских стран, имеет давнюю традицию республиканских идей. Наиболее отчетливо они начинают формулироваться в России в конце XVIII века в контексте осмысления сначала Американской революции, а затем и Великой французской революции, которые воплотили идею республики в политическом устройстве современных государств. К числу наиболее ярких сторонников республиканской идеи следует, несомненно, отнести Александра Радищева.

Но уже в прежние века российской истории мы встречаемся с многочисленными попытками верховной знати ограничить самодержавную власть царя начиная с эпохи Ивана Грозного и периода Смуты до «Кондиций» Анны Иоановны и восстания декабристов. Эти примеры свидетельствуют о многовековом противостоянии самодержавия и различных социальных групп, стремившихся его ограничить и получить свою долю участия во власти. Однако до начала XX века все эти попытки, ориентировались ли они на умеренную концепцию ограниченной монархии или же на радикальные требования замены монархической власти республиканской, были обречены на неудачу. Верховной власти удавалось с помощью служилого класса и иногда даже социальных низов пресечь все попытки активных слоев общества добиться политического участия и сохранить полноту самодержавия.

С конца XVIII века, с выступления Радищева, республиканские проекты в России приобретают отчетливо революционный характер и сочетаются — как это было у Пестеля, Бакунина, Герцена и вплоть до радикальных форм освободительного движения начала XX века — с требованием свержения самодержавной монархии и установления республиканского самоуправления народа. Идеалы Руссо, якобинства и революционного социализма становятся лейтмотивом республиканской политической философии в российском освободительном движении вплоть до первой революции 1905 года. При этом специфическим нюансом в российской дискуссии становится рефлексия по поводу форм социальной организации украинского казачества, которое рассматривается в качестве парадигмы республиканского самоуправления как многими сторонниками, так и противниками республиканской идеи. Но концептуализация этой рефлексии относится к началу XX века в связи с теорией и практикой анархизма до и после революции 1917 года.

2. Какие из проектов республиканского преобразования России были успешными и почему?

Наталья Потапова

Насилие в политике, породившее традицию обоюдного насилия и разрушительные революции в XIX—XX веках, связано, на мой взгляд, с регулярным провалом республиканских инициатив в России. Россия не знала права коллективных петиций вплоть до революции 1905 года. Россия не знала публичной политики европейского типа до революции 1905 года. Свобода печати, право митингов и собраний, необходимые, чтобы договориться об общих интересах лицом к лицу, все это, как и русский парламентаризм, возникает в России с большим опозданием, и опоздание это было фатальным. И опять же скатывается в насилие. Режим не ставил под сомнение возможность расстреливать из пушек в центре столицы собственный народ, время между восстанием на Сенатской площади и Кровавым воскресеньем — это тот контекст, тот режим, при котором республиканизм был по понятным причинам невозможен, даже в пространстве одного отдельно взятого имения. Характерный пример — история тверского земства, давшая начало журналу и группе «Освобождение» в эмиграции. Власть, присвоив чрезвычайные полномочия, открыто заявляла, что может в России не допустить собственника в его имение, может запретить заводить там, в границах частной собственности, учреждения на общее благо, может выслать из губернии, из страны, а может и отправить в Сибирь без суда.

Николай Плотников

Ответ на вопрос об успешности республиканских проектов в России с неизбежностью должен быть двояким, и эта двойственность является одной из главных проблем в понимании и легитимации республиканской идеи в российской истории и современности. С одной стороны, освободительное движение завершилось крушением самодержавия в феврале 1917 года и началом перехода к демократической республике, политическое устройство которой должно было быть определено Учредительным собранием. В этом смысле республиканское движение добилось своей цели и долгожданного триумфа — монархическая власть была заменена республиканской. Но, с другой стороны, фиксация всего освободительного движения лишь на намерении свержения самодержавия и почти полное отсутствие практики гражданского самоуправления и институций этой практики (за исключением земства) имели своим следствием установление большевистской диктатуры, которая лишь на словах объявила себя республиканской властью. Если вспомнить основные критерии республиканского правления, сформулированные Кантом в его трактате «К вечному миру» и включенные в учредительные документы и декларации политического устройства Европы после Второй мировой войны — гарантии политической свободы, равенство всех граждан перед законом и реальная система самоуправления, — то нужно констатировать, что ни один из этих критериев не соблюдался в политической практике Союза Советских Республик.

В этом втором аспекте можно говорить о том, что республиканский проект в результате революции 1917 года не состоялся. Значительное число сторонников республики из рядов либеральных конституционалистов (кадетов) отреклись в эмиграции от своего республиканства и стали открытыми сторонниками (ограниченной) монархии как политического устройства, которое следует предпочесть республиканской утопии. Одна из наиболее отчетливых формулировок противопоставления монархической и республиканской власти и осуждения республиканского проекта принадлежит перу бывшего (до революции) сторонника демократической республики, философа Ивана Ильина в его позднем трактате «О монархии и республике» (опубликован в 1979 году), в котором он с консервативно-монархической точки зрения подвел итог политическому развитию России и СССР в первой половине XX века. Этот трактат заслуживает упоминания в контексте обсуждения идеи республиканства не только наиболее отчетливым противопоставлением республиканства и монархизма как идеальных типов власти, но и потому, что в нем выражено типичное не только для русской эмигрантской мысли, но и для постсоветского периода недоверие власти к способности гражданского самоуправления народа, к партийности и парламентаризму, а также вера в спасительную силу реформ сверху. Единодушие постреволюционной эмигрантской мысли и наследовавшей ей постсоветской политической философии в недоверии к республиканскому проекту выразилось не только в факте принятия «суперпрезидентской» конституции в 1993 году, но и в невнимании к разработке основной несущей конструкции реализации республиканского проекта в России, а именно принципа федерализма в политическом устройстве.

(В скобках следует отметить, что далеко не вся эмигрантская мысль была антиреспубликанской. До сих пор в России мало исследованы проекты демократического правового социализма и социального либерализма, развивавшиеся сторонниками правых эсеров и кадетов на форуме парижского журнала «Современные записки». Это наследие даже еще не опубликовано полностью. А между тем для обсуждения республиканского проекта для России оно имеет огромное значение.)

3. Можно ли ожидать реализации каких-либо республиканских проектов в будущем? Соответственно, что мешает их реализовать? Можно ли сейчас в принципе (в условиях массовых модернизированных обществ) реализовать республиканский идеал общего дела и общего блага?

Наталья Потапова

Я не политолог, я историк, и главный опыт включенного наблюдения за практиками самоуправления у меня связан с наблюдением за работой городских инициатив типа «Твой бюджет» и республиканских активностей корпораций, реализующих свои интересы за счет встраивания их в модель общего блага (создание зон отдыха, охраняемых, убираемых и т.п. зон с удобными подъездными путями, культурными и образовательными площадками, спортивными, досуговыми и т.д.). Мешает реализовываться бедность (ограниченная

группа бизнес-элит имеет возможность «самодержавно» действовать в интересах общего блага: возможность для солидарного финансового участия в котором у большинства населения ничтожна). Республиканский проект всегда был проектом собственников, домовладельцев, которые, помимо ответственности за домочадцев (а их наличие важно — как опыт управления малыми группами), имеют *возможность* брать ответственность за происходящее в более широком сообществе. Помимо желания, принципиально тут важна и финансовая ответственность. Если коротко: Россия бедная страна с ярко выраженным неравенством, и у этого очень давняя история, с которой связано и отсутствие культуры и традиционных навыков самоуправления.

Николай Плотников

Недоверие к республиканскому проекту питалось в постсоветский период прежде всего энергией противостояния и разрушения советской модели Союза Социалистических Республик. Эта модель декларативно провозглашала наиболее полную реализацию идеи республики, разрабатывавшейся в русле российского освободительного движения. Но в реальной практике советская модель не допускала в принципе никакого самоуправления народа. Понятие и институт республиканской власти использовались в ней лишь как несамостоятельное промежуточное звено в централизованной властной иерархии между союзной и местной властью. Но, разрушив советскую систему псевдореспубликанства, новая власть России не сделала принцип самоуправления народа реальным фактом политического устройства нации, а в период укрепления с начала 2000-х годов нынешнего режима и вообще устраняла все легальные возможности гражданского участия населения во власти.

Вопрос о будущем республиканской идеи для России должен исходить из тезиса Канта в трактате «К вечному миру»: «Гражданское устройство каждого государства должно быть республиканским»[1]. Но принципы гражданского участия во власти, равенства перед законом, разделения властей должны стать не просто провозглашенными принципами и нормами писаной Конституции, но и условиями реального функционирования политического в формах совместного действия и самоопределения людей. Насколько такая республиканская идея сможет стать реальностью в России, зависит от двух фундаментальных факторов: готовности власти преодолеть недоверие к обществу и допустить не номинальное, а реальное участие общества во власти, а также готовности самого общества принять участие и явочным порядком затребовать его (как это было продемонстрировано, хотя и непоследовательно, в протестах 2011—2012 годов).

Однако помимо вопроса об отношении теории и практики республиканства обсуждение республиканского проекта будущего требует уточнения и его современного гештальта. Не секрет, что республиканское правление не только требует гражданского участия, но и нередко ставит гражданские добродетели и обязанности выше политических прав и в целом имеет тенденцию к достижению социальной однородности и к доминированию большинства над меньшинствами. Опыт политической истории Нового времени знает примеры и

1 *Кант И.* К вечному миру / Пер. с нем. А. Гулыги // Кант И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М.: Чоро, 1994. С. 14.

республиканских диктатур наподобие якобинской. Поэтому республиканская идея в современном мире, формулируемая с учетом прежнего опыта республиканских режимов, выступает в неразрывной связи с принципами либеральной демократии, гарантирующей возможности частной свободы индивидуума. Обсуждение образов политического устройства России на принципах политической философии либерального республиканства — дело будущего. Надеюсь, не столь отдаленного.

Алексей Глухов (*доцент школы философии и культурологии НИУ ВШЭ, кандидат философских наук*)

Идея и первые реализации республиканизма предшествуют модерну, поэтому заданный вопрос я понимаю как проблему совместимости республиканизма и современного человечества, понимаемого как массовая технологически развитая цивилизация. Иными словами, не блокирует ли развитие технологий и рост населения осуществление именно этого политического проекта? Прежде чем говорить отдельно о республиканизме, хотелось бы сделать общее замечание об отношениях между политической философией и реальностью. Политическая философия стремится изменить данную нам реальность некоторым осмысленным образом. Согласно известному тезису Маркса, все дело в том, чтобы изменить, а не просто описать или объяснить. На мой взгляд, это верно для любой политической философии независимо от школы и направления. Поэтому сама по себе данная нам реальность никогда не решает политико-философские проблемы, но и никогда не препятствует полностью их решению, ведь в конечном счете она все равно нуждается в изменении. Вероятно, осуществление республиканского идеала сегодня требует больших усилий, чем в Античности, но ведь и ресурсов для решения коммуникативных задач у современной цивилизации тоже больше. Что задача со временем только усложняется, скорее следует ожидать. Так ведь и происходит в жизни каждого отдельного человека, когда задачи, решаемые в начальной школе, существенно проще, чем решаемые в высшей. Но то же самое происходит и в истории человечества, если согласиться, например, с идеей Канта о том, что историческое развитие направлено на решение того, что он называет «величайшей проблемой». Кант был сторонником республиканизма, и в его описании «величайшая проблема», определяющая судьбу человечества, весьма напоминает проблему осуществления именно республиканского идеала. Грандиозная задача, без сомнения, но и самая значительная, ведь все прочие успехи оказываются всего лишь подготовкой к этому финальному достижению. Основная трудность в реализации республиканизма, на мой взгляд, заключается не в том, что окружает людей, — новые технологии и пр., — но, как обычно, в самих людях. Ведь республиканизм, по сути, предельная проверка каждого и всех на справедливость. Справедливость не просто соблюдение общезначимых норм, но также творческое умение создавать новые нормы в непредсказуемом соавторстве с другими людьми. Это не технический навык, но особый способ ориентации в реальности, требующий наличия, казалось бы, двух противоположных и поэтому запутывающих умений. Быть способным пойти на компромисс, в чем-то уступить, чтобы договориться об общем благе, перестать видеть в другом врага, найти общий язык. Но в то же время — уметь отстаивать свои насущные интересы,

сопротивляться чужому произволу и доминированию. Такое не дается от рождения, но приобретается как всякая добродетель по прошествии времени. Возможно, человеческая история — это такая продолжительная тренировка в республиканизме.

4. Известно ли что-то об общественном восприятии республиканских проектов развития в России?

Наталья Потапова

Проект «Твой бюджет» был очень популярен, его результаты в разных городах материальны и физически очевидны для жителей, которые друг от друга, особенно в небольших городах, хорошо осведомлены об этом проекте. Мне приходилось много раз, от случайных даже спутников в поездах, на вокзалах, в автобусах, аэропортах слышать про участие в этом проекте. Учитывая те в процентном отношении ничтожные суммы, распоряжаться которыми людям государство «позволило» по своему усмотрению, это показало огромный потенциал. Роль государства и его контроль еще раз нужно акцентировать. И второе, для работы бюджетных комиссий характерна вязкость дискуссий. А она, в свою очередь, производна от одной из главных причин, осложнявших реализацию этого проекта: нет привычки распоряжаться суммами, необходимыми для реализации общественных инициатив, нет похожего практического опыта у большинства участников. Тот, кто не построил дом, не построит и сквер.

Николай Плотников

Дискуссии второй половины XX века между коммунитаристами и либералами в западной политической философии по поводу отношения свободы и справедливости в политической практике демократических обществ привели к ренессансу идей республиканства в современной мысли. В центре внимания оказались идеи общественной солидарности, гражданского самоуправления, политических добродетелей партиципативности и инклюзивности, без успешного воплощения которых невозможна и реализация политических свобод и устройства общества на либеральных принципах. В первом десятилетии XXI века эти идеи становились все более важными и для самосознания нового поколения российских граждан. И это самосознание, укреплявшееся в ходе расширения поля волонтерских практик в России, неизбежно оказывалось в конфликте с верховной властью, все более устремленной на подавление институциональных форм самоуправления и участия граждан. Кульминацией этого конфликта стал гражданский протест 2011—2012 годов, который можно рассматривать как наиболее отчетливую форму запроса на республиканскую идею и ее реализацию в системе российской власти (честные выборы, расширения представительства оппозиции и т.п.). Но и после подавления протестов практика создания новых форм молодежной самоорганизации в волонтерском движении, академической и культурной среде продолжалась и усиливала противостояние власти и общества во втором десятилетии XXI века. Одновременно

стали развиваться и в рамках дискуссий о политической философии в России идеи нового понимания республиканства, адаптировавшие концепции западного республиканства применительно к российской истории и современности. После 24 февраля 2022 года эта дискуссия была фактически прекращена, а практики волонтерства и самоуправления объявлены вне закона.

5. Осмыслялся ли республиканизм как альтернатива империи, монархии, самодержавию?

Наталья Потапова

Республиканизм не противопоставлялся монархии как форме администрирования, принципиальным является лишь то, в чьих интересах осуществляется управления — в интересах одного или в общих. Идеи законности также принципиальны, монарх также подлежит закону, как и народ. Понятие самодержавия изначально было связано с идеей суверенитета и до конца XVIII века не обладало негативными коннотациями, как самовластие или деспотизм. И в этом понимании республика и самодержавие не связаны и не противопоставлены. Правда, уже Кавелин замечал парадоксальность этого сочетания: «В идеале русском представляется *самодержавная* власть, вдохновляемая и направляемая *народным мнением*. <…> Сама история заставляет нас создать *новый, небывалый своеобразный* политический *строй*, для которого не подыщешь другого названия, как — *самодержавной республики*»[2]. В XIX веке самодержавие все чаще ассоциируется с деспотическим правлением, и в этом значении как раз противопоставляется республиканскому правлению (как злое доброму в самых общих чертах). Если понимать республиканизм вслед за Квентином Скиннером и Филиппом Петтитом как горизонтальную политику, основанную на постулате свободы как недоминировании и связанную с готовностью действовать ради общего блага, может ли республиканизм осуществляться через институт коллективных петиций? Да, если заявители не рабски просят о льготах, а указывают монарху на то, что права порядок и свободы нарушены.

Итак, самодержавие и республиканизм — это понятия из разных кластеров политического дискурса, при помощи которых моделировались разные элементы политического поля: суверенное государство может быть республиканским. Монархия также не исключает политического действия ради общего блага. Понятие империи отсылает нас к третьему измерению. Империи в XVIII веке была противопоставлена федеральная модель управления, речь идет о возможности управления разных частей одного государства по разным принципам. Реймон Арон и в XX веке говорил об империализме республиканской политики Соединенных Штатов, понимая империализм в марксистском смысле («*République impériale*: Les Etats-Unis dans le monde»), но в XX веке это сочетание, конечно, ему было важно уже своим субверсивным потенциалом. Империализм, согласно Арону, подрывал базовые ценности и практики рес-

2 *Кавелин К.Д.* Разговор с социалистом-революционером // Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М.: Правда, 1989. С. 134—137.

публики. Но можно вспомнить принципат Августа, сочетавший выборные магистратуры и престолонаследие: для республиканизма принципиален не механизм передачи власти, а ее осуществление в общих интересах, гарантией чего могут быть и законы, и равный доступ к должностям. Так что вне зависимости от этикеток, используемых в названии государств политонимов, сами по себе они не гарантируют республиканского характера управления.

Алексей Глухов

Любопытно, что республиканизм в каком-то смысле тоже «империя», ведь «империя» — значит «власть», но только в республиканской мысли предполагается власть законов, а не людей. An empire of laws and not of men[3]. Именно так звучит одно из влиятельнейших определений республиканизма, следы которого можно найти в сочинениях Джеймса Гаррингтона и американских конституционалистов. Но дело, разумеется, в характере этой власти. Республиканская политическая онтология рассматривает политическую реальность как общение множества независимых источников власти, ни один из которых не обладает тотальным контролем. Все решения принимаются в результате обсуждения и достижения соглашения между многими участниками. Единственный способ реализации своей власти для участников — дискурсивный: нужно убедить других в разумности своей позиции, пойти на компромисс или согласиться с альтернативой, если она подкреплена разумными основаниями. Очевидно, что структура республиканского правления совершенно отлична от монархического абсолютизма или самодержавия.

6. В какой мере Советское государство было республиканским, насколько это понятие было важным в советскую эпоху?

Наталья Потапова

Советское государство выросло из насилия Первой мировой и Гражданской войн, в условиях войны была произведена субверсия прежних политических артикуляций, в том числе социалистических, радикальных, смыслы многих прежних слов изменились, а требования, формулируемые с их помощью, оказывались практически невозможны в условиях насилия и войны. Мой научный руководитель в аспирантуре, Алексей Николаевич Цамутали, часто вспоминал опыт своей семьи, это позволяло ему остранить трюизмы в отношении событий, мыслимых как хрестоматийные исторические. Он рассказывал, например, историю своего отца. Николай Михайлович Цамутали окончил артиллерийское училище и на протяжении всей Первой мировой войны находился в действующей армии. Осенью 1917 года, когда в полк пришли агитаторы и скомандовали «кто за большевиков — налево разойдись», солдаты вверенной ему части выполнили этот приказ и *одним движением* перешли на сторону большевиков. И он последовал за своими людьми, только потому, что

3 Империя законов, а не людей (англ.).

ответственность за людей в этих условиях стала для него первостепенной. Он не видел другого способа удержать людей и чувствовал за них ответственность, чтобы сохранить тот порядок, который, несмотря на политическую демагогию, в части продолжал существовать и поддерживался, держался на взаимном *согласии* и практической привычке людей друг к другу. Одним шагом в сторону режим не изменишь, а вот расстрелы и аресты, вырывавшие людей из практической жизни, очевидны своим разрушительной силой. Он пожертвовал «идеалами» на очень абстрактном уровне, но выбрал служение общему делу настолько, насколько это возможно и насколько у него оставалась возможность отвечать за жизнь и практическое бытие этих людей, выбрав сохранение базовых принципов на сугубо практическом уровне, — и, принципиально важно, не прибегая к насилию. И он не думал, что выбирает сильную сторону, напротив, он был уверен, что это смертельный выбор. Ответственность за людей и общее бытие с ними. Что далеко не всегда означает открытый поединок или сражение. Но это жизнь, прожитая и значимая для общины как деяние. И когда выпадет жребий принять участие, это безусловная готовность этот выбор принять.

Как соотносится свобода и насилие в такие моменты, думаю, тут показателен известный пример Януша Корчака. Это не «повиновение», подрывной потенциал такого действия очень высок в том числе и в глазах тех, кто осуществляет насилие. И это очень воодушевляющий пример. Республиканизм в мужестве разделить ответственность за людей и общее бытие с ними, общее дело, насколько это возможно, и поддержать попираемую *справедливость* в сжатом пространстве лицом к лицу, оставив демагогические рассуждения в категориях воображаемых сообществ. Сознание того, что это единственный выход, потому что оставить людей и остаться выжить одному неприемлемо, это значило бы быть в чужой воле, бросив своих. В этих актах готовность умереть без колебаний за общие принципы бытия.

Я думаю, республиканизм в России существовал и был возможен именно на таком уровне.

7. В каких отношениях находятся республиканизм и либерализм?

Наталья Потапова

Ключевым было расхождение в понимании свободы и участия. Либерализм строится вокруг идеи сохранить верность себе, своим идеалам (как если бы они были возможны вне взаимодействия с другими), не позволить другим ограничивать свою свободу. С этой точки зрения, наверное, подвиг Корчака — это проявление слабости, молчаливое подчинение сильной машине уничтожения людей. Он мог бы остаться на свободе и много еще сделать с либеральной точки зрения. Сохранить свободу себе. С радикальной точки зрения он должен был бы произнести пламенную речь и попытаться совершить побег, пусть и неудачный, попытаться освободить тех, кто с ним, ответив насилием на насилие. Его исторический выбор непонятен вне республиканской позиции: общий мир, вытесненный из публичного пространства в концлагерь, он сохранил вокруг себя до конца.

Алексей Глухов

Популярный историко-философский нарратив, предлагаемый, в частности, Квентином Скиннером и Филипом Петтитом, говорит, что правильная политическая философия, а именно республиканизм, долгое время незаслуженно пребывала в тени господствовавшей в западном мире менее правильной политической философии, а именно либерализма, но теперь наконец наступает долгожданное торжество республиканской идеи. Я не историк и не берусь судить о том, насколько этот нарратив соответствует историческим реалиям. С концептуальной точки зрения вызывает сомнение, что преимущество республиканской теории над либеральной в принципе доказуемо. С этим по крайней мере две сложности. С одной стороны, можно понимать эти направления широко, и тогда становится сложно их различать. Взять, например, такую важную фигуру, как Кант. Он мечтает о республиканском правлении, но вносит существенный вклад именно в либеральную мысль. С другой стороны, можно понимать эти направления академически узко, сделав различие между ними предельно отчетливым, причем современная аналитическая философия предлагает для этого идеальный инструментарий. Логический анализ языка позволяет свести различие между центральными принципами свободы в либерализме Исайи Берлина и республиканизме Филипа Петтита к одному единственному слову. Либерализм утверждает, что свобода есть отсутствие вмешательства, тогда как республиканизм вносит поправку: отсутствие произвольного вмешательства. Казалось бы, добавлено всего одно слово, но это влечет за собой масштабные расхождения. Произвольное вмешательство в республиканской логике означает капризный человеческий фактор, отсутствие которого приветствуется, а наличие всячески устраняется. В результате теория Петтита легко обходит множество неприятностей, буквально на каждом шагу подстерегающих теорию Берлина, когда, например, пешехода на светофоре приходится признать то свободным, если горит зеленый свет, то несвободным, если зажегся красный. С другой стороны, не меньшее количество неприятностей поджидает теорию Петтита, например, если рассматривать отношения между близкими людьми, ведь можно усомниться в том, что произвольное вмешательство родителей в жизнь детей требует устранения, а понимание любви обязано всегда соответствовать сложившимся социальным нормам. На мой взгляд, различие между этими теоретическими направлениями все-таки не сводится к единственному слову в понимании свободы. Прежде всего это различные способы политического мышления. Либерализм делает ставку на индивидуальную рациональность, республиканизм — на групповую рациональность (которую не следует путать с единомыслием). Либеральный теоретик рассуждает как шахматист, разыгрывающий партию в своем уме, без непосредственного общения с окружающими. Напротив, в республиканизме главное наладить принятие решений в сообществе разумных людей, избежав тирании большинства и саботажа со стороны меньшинств. Можно ли в итоге чисто теоретически доказать, что в превратностях политического бытия нам полезна только групповая или только индивидуальная рациональность? В этом есть серьезные сомнения. Проясняющий способ политического мышления скорее определяется конкретной жизненной ситуацией. В некоторых случаях преимущества коллективной кооперации несомненны, в других случаях явно не обойтись без того, чтобы иметь смелость думать своим умом.

Имперское и неимперское в русской литературе

Илья Виницкий

«Самостоянья щит»

БЫЛ ЛИ ПУШКИН НАЦИОНАЛ-СЛОВОТВОРЦЕМ?

Ilya Vinitsky

The Shield of "Self-Standing": Did Pushkin Coin a Key Term of Russian Nationalism?

Илья Виницкий (Принстонский университет; профессор кафедры славянских языков и литератур; доктор филологических наук) vinitsky@princeton.edu.

Ключевые слова: Пушкин, словотворчество, романтический национализм, славянское возрождения, дворянская утопия

УДК: 80+82
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_230

В последнее время (по понятным историческим причинам) активно обсуждается «вопрос о Пушкине» как символе имперской русской культуры, навязываемой государством с помощью различных идеологических институций. Говорят, в частности, о «вепонизации» (weaponization) Пушкина (ярким метафорическим выражением последней мы бы назвали построенный в 1943 году на собранные одним писателем-пушкинистом истребитель «Александр Пушкин»). В политической сфере борьба с государственным идолом «Пушкин» выражается в иконокластическом ниспровержении его многочисленных (и ненужных) памятников в Украине (напомним, что первыми мысль об избавлении от хрестоматийного Пушкина высказали еще русские футуристы, а Маяковский — сам ставший государственным поэтом после смерти — вообще призывал взорвать его памятник с помощью динамита). В научной сфере — в попытках деконструкции пушкинской имперской идеологии, примеры которой

Ilya Vinitsky (Doctor of Philology; Professor, Department of Slavic Languages and Literatures, Princeton University) vinitsky@princeton.edu.

Key words: Pushkin, word-creation, Romantic Nationalism, Slavic revival, gentry utopia

UDC: 80+82
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_230

For understandable historical reasons, the role of Pushkin as a symbol of Russian imperial culture has been actively discussed recently. In particular, some have justly spoken about the "weaponization" of Pushkin (I would choose as the iconic representation of this phenomenon the destroyer "Alexander Pushkin," built in 1943 with money collected by a single Pushkinist). In the political sphere the battle with the state idol of Pushkin has been expressed in the iconoclastic destruction of numerous monuments to him in Ukraine (it is worth recalling that the first to call for the destruction of the sanitized image of Pushkin were the Russian futurists, and Mayakovsky — himself a state poet after his death — advocated for blowing up his monument with dynamite). In the scholarly sphere it has been expressed in attempts at deconstructing Pushkin's imperial ideology, examples of which scholars have found in his works from "The Prisoner of the Caucasus" to "I raised a monument" (at the center of such deconstructions one often finds the anti-Polish and anti-Western poems of the early 1830s). Of course, Pushkin was and considered

исследователи находят в его произведениях от «Кавказского пленника» до «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Конечно, Пушкин в какой-то степени был и считал себя имперским и национальным поэтом (как Овидий, Гораций и Катулл были поэтами и трансляторами идей Римской империи), но исследовательской задачей пушкинистики является, на наш взгляд, прочтение его творчества в актуальных для него историко-культурных и эстетических контекстах. Решение этой задачи, в свою очередь, неотделимо от изучения разных сценариев мифологизации Пушкина, включающих и государственно-пропагандистский, и либерально-просветительский. Настоящая статья представляет собой такого рода попытку и посвящена генеалогии одного известного пушкинского слова («самостоянье»), которое он, как считается, придумал и которое породило многочисленные политические, философские и эстетические интерпретации.

himself an imperial poet (just as Ovid, Horace and Catullus were poets and translators of the ideas of imperial Rome), but the scholarly task of Pushkin studies is at the moment, in my view, to read his work in new, nuanced, and topical — both for him and for us — historical, cultural, aesthetic, and international contexts. The solution to Pushkin's question is in turn inseparable from the study of various scenarios of the mythologization of Pushkin, whether for motives of state propaganda or for liberal and educational purposes. The present lecture represents such an attempt and is dedicated to the genealogy of one word in Pushkin (*samostoian'e* — literally "self-standing"), which is alleged to have been invented by the poet and has been appropriated by his interpreters in various periods and from various perspectives.

Пока гробы вносят, ***Борис*** *обращается к залу*:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Рассматривает ткань на платье Владимира Мономаха.

Мать честная! Вы посмотрите, как платье сохранилось... Вот раньше делали, не то что сейчас...

Дмитрий Крымов. Борис. По мотивам исторической драмы А.С. Пушкина «Борис Годунов» (сценарий)[1]

В последнее время (по понятным историческим причинам) активно обсуждается «вопрос о Пушкине» как символе имперской русской культуры, навязываемой государством с помощью различных идеологических институций. Говорят, в частности, о «вепонизации» (weaponization) Пушкина (иконическим выражением последней мы бы назвали построенный в 1943 году на собранные одним писателем-пушкинистом истребитель «Александр Пушкин» [Виницкий 2023]). В политической сфере борьба с государственным идолом «Пушкин» выражается в иконокластическом ниспровержении его многочисленных (и ненужных) памятников в Украине (напомним, что первыми мысль об избавлении от хрестоматийного Пушкина высказали еще русские футуристы, а Маяковский — сам ставший государственным поэтом после смерти — вообще призывал взорвать его памятник с помощью динамита). В научной сфере — в попытках деконструкции пушкинской имперской идеологии, примеры которой исследователи находят в его произведениях от «Кавказского пленника» до «Я памятник себе воз-

1 *Крымов Д.* Своими словами: Режиссерские экземпляры девяти спектаклей, записанные до того, как они были поставлены. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 299.

двиг нерукотворный...» (в центре подобных деконструкций часто оказываются антипольские — антизападные — стихотворения поэта начала 1830-х годов).

Конечно, Пушкин был и считал себя имперским поэтом (как Овидий, Гораций и Катулл были поэтами и трансляторами идей Римской империи), но эта его имперскость явно преувеличивается как ее сторонниками, так и ее противниками, манипулирующими литературными фактами и игнорирующими важные творческие и историко-культурные нюансы. Исследовательской задачей пушкинистики на данном историческом этапе является, на наш взгляд, не очередная «спиритическая» попытка воскресить «живого», «хорошего» Пушкина (это еще один миф, лежащий в основании культа поэта), но прочтение его творчества в новых и актуальных для него (и для нас) историко-культурных и эстетических контекстах (собственно говоря, профессиональные пушкинисты этим и занимаются). Это обновляющее прочтение оказывается возможным благодаря современным технологическим достижениям, радикально расширившим базы исторических данных, не доступных нашим предшественникам, и глобализации научного сообщества, приобретающей в наше время, как и в давние эпохи религиозных и национальных войн, особое гуманитарное значение.

Решение этой задачи, в свою очередь, неотделимо от изучения разных сценариев мифологизации Пушкина, включающих и государственно-пропагандистский, и либерально-просветительский. Настоящая статья представляет собой такого рода попытку и посвящена генеалогии одного пушкинского слова, апроприированного интерпретаторами поэта разных эпох и взглядов.

Вычеркнутая строфа

В 1903 году известный филолог-славист, профессор Санкт-Петербургского университета И.А. Шляпкин опубликовал на основании сохранившихся черновых вариантов свою реконструкцию напечатанного П.В. Анненковым в 1855 году фрагмента болдинского стихотворения Пушкина «Два чувства дивно близки нам...», тесно связанного с принципиальными рассуждениями поэта, нашедшими отражение в «Моей родословной» и других произведениях начала 1830-х годов:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека, —
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Земля была без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без божества.

[Шляпкин 1903: 20][2]

2 См. описание автографа: *Пушкин А.С.* Болдинские рукописи 1830 года: В 3 т. Т. 1. СПб.: Альфарет, 2013. С. 39, 141—143.

Эта смелая и весьма сомнительная реконструкция, ставшая впоследствии чуть ли не манифестом пушкинского патриотизма, вызвала резко отрицательный отклик П.Е. Щеголева в статье «Ненаписанные стихотворения Пушкина». В них известный пушкинист увидел «совершенное отсутствие поэзии; это — проза, и притом плохая», и заявил, что на их основе никак нельзя делать «заключения о росте национально-патриотического сознания Пушкина», которыми проникнута вся брошюра Шляпкина, — профессора, отличавшегося консервативными убеждениями [Щеголев 1904: 273].

Из восстановленных Шляпкиным стихов едва ли не наибольшей известностью пользуется вычеркнутая Пушкиным «строфа» о «самостоянье человека», причем слово *самостоянье*, встречающееся всего лишь один раз в творчестве поэта, почитается исследователями и комментаторами самых разных взглядов и методологий как его собственный неологизм, введенный в русскую культуру:

> *Юрий Лотман*: Слово самостоянье, созданное Пушкиным, замечательно выражает понятие гордости, чувства уважения к себе, соединения культуры с ценностью родного дома [Лотман 1996: 807].
>
> *Сергей Бочаров*: ...слово «самостоянье», по-видимому, образовано, создано поэтом в этом тексте как пушкинский неологизм, чем, разумеется, повышена его ценность в составе «словаря языка Пушкина» [Бочаров 1999: 96].
>
> *Эркки Пеуранен*: Есть одно пушкинское слово, которое не вошло в словари. <...> Слово это «самостоянье», одно из центральных пушкинских слов [Пеуранен 2002: 274].

По мнению Ирины Сурат, «само слово “самостоянье” является пушкинским неологизмом и больше нигде у него не встречается» [Сурат 2015: 30]. «Рожденное в процессе художественного осмысления личного опыта» (болдинские хлопоты о будущем семействе), это слово «получает сильный акцент и особый статус в энергетически насыщенном, но лексически традиционном контексте окружающих его стихов» [Там же]. Заключение Сурат вошло в ее статью об этом стихотворении, напечанную в «Пушкинской энциклопедии»: «“Самостоянье” — созданное Пушкиным слово, имеющее аналоги в других его высказываниях: “наука первая” “чтить самого себя” («Еще одной высокой, важной песни...», 1829 [перевод фрагмента “Hymn To The Penates” Роберта Саути]), “независимость и самоуважение”» («Вольтер», 1836)» [Сурат 2009: 414]. Со второй половины 1820-х годов эта тема тесно переплетается у Пушкина с темой памяти и истории (наследственных гробов) — от «Бориса Годунова» до кладбищенского стихотворения «Вновь я посетил...» (1835).

Толкователи понимают пушкинское слово по-разному, часто в зависимости от собственных убеждений: «английское» чувство самоуважения [Энгельгардт 2019: 163—164], внутренней свободы, дома [Лотман 1996: 807], чувство «независимости поэта от любого внешнего давления» [Альтшуллер 2023], сохранение и самоутверждение себя как личности [Макогоненко 1974], «неповторимость и значимость [человека] посреди множества ему подобных существ окружающего мира» [Кошелев 2013: 170], «ключевая» антропологическая формула «философии личности» [Сурат 2009: 414], «эквивалент заимствованному и неясному в русском языке слову “амбиция”» [Захаров 1995: 643], «одиночест-

во и свобода»[3], «самодостаточность», «связь соборного начала с индивидуальной, личной духовной жизнью»[4] и (куда без этого) «чувство собственного духовного достоинства», включающее гордость за родину и ее армию[5].

Мы не собираемся ни уточнять или оспоривать эти программные дефиниции, ни предлагать какие-то новые эдиционные решения, связанные с этим фрагментом, но хотели бы проверить общий для всех толкователей тезис, согласно которому слово *самостоянье* придумано и введено в русский язык Пушкиным, ибо его нет ни в одном существующем словаре. Мы также хотели бы показать, что при ближайшем рассмотрении представленная во фрагменте Пушкина концепция не имеет никакого отношения к проповеди национальной или имперской исключительности и, если уж и связана с идеей величия, то не государственного или национального, а такого, какое определяется в «Отрывках из Путешествия Онегина» иронической формулой «[щ]ей горшок, да сам большой».

«Вещее слово»

Начнем с того, что сам Пушкин, конечно, *не вводил* это слово в русский язык. Стихотворение, в котором оно было использовано, так и осталось в его болдинской тетради незавершенным, причем строфа, включавшая этот «неологизм», была уверенно вычеркнута поэтом. В русский язык это слово *вошло* благодаря публикации Шляпкина (и опиравшимся на нее изданиям сочинений Пушкина), а еще точнее — благодаря статьям и речам политиков, литературных критиков и философов 1910—1930-х годов, увидевших в нем credo Пушкина, выражавшее его консервативное политическое сознание. Примечательно, что на протяжении нескольких десятилетий это слово популяризировалось в русской эмигрантской печати («Русская мысль», «Православная Русь», «Возрождение» и др.) как свидетельство национальной гордости поэта — «дивного чувства» «преемственности идей, тем и форм, возникающих из религиозных отечественных глубин»[6].

Для ностальгического эмигрантского восприятия этих стихов весьма показательна эмоциональная речь Ивана Шмелева на торжественном собрании по поводу десятилетия «Возрождения»: «Две-над-цать строчек. Что это?! Да это целая система! Нравственная, философская, религиозная, воспитательная, даже политическая система»[7]. В другой речи, посвященной столетней годов-

3 *Лосев Л.* Москвы от Лосеффа // Знамя. № 2. 1999 (https://znamlit.ru/publication.php?id=696 (дата обращения: 16.06.2023)).

4 *Франк С.* Религиозность Пушкина // Пушкин в русской философской критике: конец XIX—XX век / Сост., вступ. ст., биобиблиогр. справки Р.А. Гальцевой. М.: Университетская книга, 1999. С. 438.

5 *Ильин И.А.* Сочинения: Религиозная философия: В 2 т. Т. 2. М.: Медиум, 1993. С. 194.

6 *Мейер Г.* Достоевский и Боратынский // Возрождение. 1950. № 9. С. 84.

7 *Шмелев И.С.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 7. М.: Русская книга, 1999. С. 503. Едва ли не наиболее развернутая — до профетической истерики — национально-мистическая интерпретация этого стихотворения дана в статье Шмелева «Как нам быть? Из писем о России», опубликованной в «Русском колоколе» 1927 года Ильиным: «Вот — правда и вера Пушкина, заповедь его, национального, *нашего* Учителя, которого мы еще мало знаем. Читайте и перечитывайте его. Он — национальный. И, весь национальный, полный национального, он и за-национальный, он — *всякий*, как Достоевский

щине смерти Пушкина, Шмелев утверждал: «Если бы нас спросили, о самом важном, чего хотите? — вся Россия, и тут и там, сказала бы: "*Себя, самостоянья своего! жизни своей, по воле своей хотим*"»[8]. «Только в самостоянии будет жить Россия, — развивал эту мысль друг Шмелева философ Ильин. — Никто ей не поможет. Она должна помочь себе сама: молитвенным подъемом и действенной волей...»[9] Иное, метафизическое значение придал пушкинскому слову Вячеслав Иванов в военном цикле стихотворений «Римский дневник 1944 года»:

Так вызывал ты Сатану,
Свет-Михаил, на поединок.
И днесь, архистратиг иль инок,
Ты к духу держишь речь одну:

«Отважен будь! Отринь двуличье!
Самостоянью научись!
В Христово ль облекись обличье —
Или со Зверем ополчись»[10].

В Советском Союзе отрывок Пушкина, печатавшийся в собраниях сочинений поэта в редакции Т.Г. Цявловской, оказался идеологически востребованным в период Отечественной войны. Он последовательно включался в патриотические литературные антологии («Родина: сборник высказываний русских писателей о родине», 1942; «Русские поэты о родине: антология», 1943; «О родине: Сборник высказываний писателей народов СССР», 1944). В 1945 году «Журнал московской патриархии» (только что воскрешенной И.В. Сталиным под надзором органов безопасности) назвал его «вещим словом», очеловечивающим людей. Со второй половины XX века пушкинское слово *самостояние* стало активно использоваться как метафизический или экзистенциалистский термин — русский аналог хайдеггеровского *Insichstehen* (в-себе-стояние)[11]. Оно часто фигурирует в названиях статей и книг философического и (гео)политологического толка.

открыл его. В нем как бы знамение *будущей* России, ее возможностей! <...> Это — религия, духовная связь с родиной. Это — национальный *идеал*. Это глас Божий в нас. <...> Это весь *опыт* прошлого, корни прошлого, отсветы солнца прошлого, освещающие нам путь, с истоков родины нашей, с первых, детских ее шагов — до торжественно-властной поступи в истории народов! Это голоса славных гробниц наших, заветов и заклинаний тех, что *пали* за дело родины. Эти голоса наполняют духовное наше существо. <...> Это — *история*. Это песнь, вещая песнь России, вещий голос чудесных ее Певцов... Великое богатство предков, их *опыта*, — навеки связало вас, и ведет, если вы подлинно *кровный*, *ихний*» (*Шмелев И.С.* Душа Родины. Сборник статей от 1924—1950 г. Париж: Изд-во Русского научного института, 1967. С. 172—173).

8 Речи о Пушкине, 1880—1960-е годы / Сост. В.С. Непомнящий, М.Д. Филин. М.: Текст, 1999. С. 230.

9 *Ильин И.А.* За национальную Россию. Манифест русского движения // Слово. 1991. № 6. С. 25.

10 *Иванов Вяч.И.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1979. С. 632.

11 Сергей Бочаров обратил внимание на то, что его коллега А.В. Михайлов перевел хайдеггеровский термин именно «пушкинским» словом: «Уникальное творческое слово немецкого философа передается уникальным творческим словом русского поэта:

Но был ли Пушкин *создателем* этого слова? Конечно, можно допустить, что он «сконструировал» (перевел) его как кальку с немецкого *Selbständigkeit* (или der *Selbststand*[12]), «заполнив» тем самым недостающую морфологическую ячейку в «периодической таблице» русского языка (самостоянье как антитеза самовластью)[13]. Но проблема заключается в том, что это не вошедшее в русские словари слово было известно задолго до публикации Шляпкина и, главное, до предположительной даты написания пушкинского отрывка (октябрь 1830 года).

Русские прецеденты

Впервые (насколько мы знаем) оно было использовано в российской печати во второй части ультраархаической «современной поэмы» Павла Свечина (1788—1845) «Александроида» (1828) в описании побед русского воинства над французами при Гжати и Вязьме:

> Борьба в преломе... Наблюдатель
> На брань роззлобленную зрит:
> Что Галл — всех стран завоеватель?
> Что Росс — *самостоянья щит*?
> Наполеон всю власть державну,
> Всю дерзость злобы своенравну,
> Всю душу ада истощил, —
> И АЛЕКСАНДР всю мощь закона,
> Всю доблесть Царства, мудрость Трона,
> Всю Неба полноту явил...[14]

Поэма Свечина, изобилующая, по словам ее первого цензора А.Ф. Мерзлякова, «выражениями и оборотами неправильными и неупотребительными», вызвала насмешки критиков (см.: [Зайцева, Евсеева 2007: 510—511]), иронически противопоставивших это ископаемое чудище сочинениям Пушкина. В.Г. Белинский в статье о сочинениях Державина писал, что «никто не станет спорить, чтоб содержание “Александроиды” г. Свечина не было неизмеримо выше содержания “Руслана и Людмилы”, или “Графа Нулина” Пушкина; но никто также не станет спорить, что “Руслан и Людмила” и “Граф Нулин” — прекрасные поэтические произведения, а “Александроида” — образец бездарности и

гениальное творческое решение переводчика» [Бочаров 1999: 9]. Следует уточнить, что слово *Insichstehen* использовалось в немецкой философии до Хайдеггера, то есть не было уникальным. В 1920-е годы термин «самостояние» был использован Михаилом Бахтиным в работе «Автор и герой в эстетической деятельности» (1920—1924) [Бахтин 1986: 35].

12 В «Wörterbuchder Deutschen Sprache» И.Г. Камне (Joachim Heinrich Campe) 1810 года включено слово *der Selbststand* (*Campe J.H.* Wörterbuch der Deutschen Sprache. T. 4. Braunschweig: in der Schulbuchhandlung, 1807. S. 409).

13 В черновиках Велимира Хлебникова есть фрагмент, включающий экспериментальные образования слов от корневой основы *-сам-* (Неизданный Хлебников: В 24 вып. Вып. VIII. М.: Изд. Группы друзей Хлебникова, 1928. С. 4).

14 *Свечин П.* Александроида: В 2 ч. Ч. 2. М.: В тип. Семена Селивановского, 1828. С. 333.

ничтожности»[15]. Еще раньше Николай Полевой заметил, что по иронии судьбы поэма Свечина явилась на свет «в одно время» с «Полтавой»[16].

Хотя интерес Пушкина к эстетическому потенциалу одических славянизмов в этот период хорошо известен, едва ли он прочитал свечинскую «Александроиду» и позаимствовал из нее возвышенное слово *самостоянье*. Логичнее всего допустить, что это слово витало в языковом воздухе конца 1820-х годов — эпохи формирования национально-ориентированной литературной традиции, ставящей задачу скорейшего «возвращения» к самобытным истокам после столетнего странствования по Западу.

Действительно, в первой половине XIX века слово *самостояние* использовалось в значении государственной или национальной независимости (субъектности, автономии). Так, в более поздней брошюре А.Д. Черткова о русской нумизматике (1834) упоминаются «монеты Псковския, подобно Новгородским или *времени самостояния* с 1424 г.»[17]. В книге Павла Строева «Выходы Государей Царей и Великих Князей Михаила Феодоровича, Алексия Михаиловича, Феодора Алексиевича, всея Руси самодержцев» говорилось о том, что «в самом Новгороде люди житии (зажиточные), участвовавшие в правлении во времена его *самостояния*, часто назывались боярами»[18] (в контексте пушкинской идеологии 1830-х годов здесь примечательна связь родовой аристократии с принципом «самостояния»)[19].

В свою очередь, в статье об императоре Александре, помещенной в «Пантеоне знаменитых Современников» Ф.И. Веймара, мы читаем, что Венский конгресс по инициативе царя «продолжал свои действия, окончательно утверждая *права спокойствия и самостояния Европейских Государств*»[20].

Иначе говоря, редкое и яркое (а потому заметное) слово *самостояние* в языковом сознании 1820—1830-х годов имело политический оттенок и означало зрелое, самобытное существование и внутреннее развитие — не качество, как в образованном от прилагательного привычного слова *самостоятельность*, а состояние и процесс.

Славянские конкуренты

Здесь следует заметить, что пушкинское употребление этого «высокого» слова удачно вписывается в быстро развивавшуюся традицию «переводов» западно-

15 *Белинский В.Г.* Собрание сочинений: В 9 т. Т. 6. М.: Художественная литература, 1976. С. 52.

16 Московский телеграф. 1830. Ч. 32. С. 70.

17 *Чертков А.* Описание древних русских монет. М.: В тип. С. Селивановского, 1834. С. 151. Пушкин был лично знаком с Чертковым, правда, это знакомство относится к более позднему времени.

18 *Строев П.М.* Выходы государей царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, всея Руси самодержцев: (С 1632 по 1682 г.) М.: В тип. А. Семена, 1844. С. 10.

19 Строев упоминает в «Списке иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви» строителей, присылаемых от Лавры «по приобретении самостояния» (*Строев П.М.* Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския церкви. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1877. С. 220).

20 *Веймар Ф.И.* Пантеон знаменитых Современников. Александр Первый, Император Всероссийский. СПб.: Тип. И. Глазунова, 1838. С. 7.

европейской политической и философской терминологии на славянские языки. В первой половине XIX века оно чаще всего встречается в сербской и украинской литературе как калька немецкого термина *Selbständigkeit*. В переведенном с немецкого на славяно-сербский язык «Руководстве к домостроительству за Мужеский и Женский пол» (1809) мудрый отец наставляет свою выросшую дочь: «Нынѣ возвышую тебе петнаестъ лѣтъ, и скоро оставлене године помало у Правице и Должности *собственнаго самостоянія*»[21]. В напечатанной в том же Будиме первой части «Сербске летописи за год 1827» говорится, что «поредакъ у военной службы, коимъ се текъ едва добиено *самостояние* обдержаши могло, морао е Сенату кромѣ свега на сердце лежати»[22] (интерес Пушкина к сербскому языку и сербской поэзии хорошо известен).

Позднее это слово и его деривативы будут использованы в книге известного «галицького будителя» и реформатора письменного украинского («самостоянной правописи») языка Якова Головацького «Исторический очерк основания Галицко-руской Матице» (1850). Ср.: «…в другой части нашей истории, начинающейся съ временъ *пострaданія нашего самостоянія политического, черезъ все наше Ляхолѣтіе*, конечно намъ есть неустанно предъ очима имѣти, постепенное наше отчужденіе ся сперва политическоє, послѣ такожь и религійноє отъ прочей Руси»[23]. (В 1865 году А.С. Петрушевич напишет о галицком периоде Руси: «…начиная с XIV столетия, то есть, со времен *падения нашего политического самостояния*»[24].)

Обратим в этом контексте внимание на призыв Богдана Хмельницкого к «милым братьям козакам» из незаконченной пьесы Николая Костомарова «Украинские сцены из 1649 года» (середина 1840-х годов):

> Чіє серце не обважиться скрухою, помышляючи о судьби града сёго, колись славна и горда столиця вольного и *самостоянного народу руського*, предкивъ нашихъ, градъ повный злата и срибра и каменіи честныхъ, — теперь бидна руина, могила перешлои славы![25]

Можно сказать, что идеологически ближе всего слово *самостоянье* не к церковнославянскому *самобытность* (в значении *самостоятельность*)[26], но к украинским словам *самостойность*, *самостійність* или более редким книжным образованиям *самостоянность* и *самостоянство*[27], обозначавшим у га-

---

21 *Микович Г.* Руководство к домостроительству за Мужеский и Женский пол, с Немецкого на Славено-Сербский язык. Будим, 1809. С. 61.

22 Сербске летописи за год 1827. Ч. 1. Будим, 1827. С. 38.

23 *Головацкий Я.* Исторический очерк основания Галицко-руской Матице. Львов: Черенками Института Ставропигияньского, 1850. С. LXXIV.

24 *Петрушевич А.* Рассуждение о важности исторических записок и надписей, яко источнице для нашей истории // Науковый сборник издаваемый Литературным обществом Галицко-русской Матицы. (Литературное отделение). Львов, 1865. С. 2.

25 *Костомаров Н.И.* Литературное наследие: автобиография, стихотворения, сцены, исторические отрыки, малорусская народная поэзия, последняя работа. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1890. С. 242.

26 Как заметил академик В.В. Виноградов, в поздние годы Пушкин сближал церковнославянское слово самобытность «со словом самостоятельность (буквальный перевод нем. Selbstständigkeit)» [Виноградов 1935: 265].

27 Так «Малоруско-німецкій словарь» Е. Желеховского предлагает переводить *Selbständigkeit* (*Желеховский Е.* Малоруско-німецкій словарь. Bd. II. Львів: в друкарні тов. им. Шевченка, 1886. С. 851). В «Полном немецко-российском лексиконе» 1798 года

лицких авторов утраченную или обретаемую в борьбе политическую и культурно-лингвистическую независимость от чужеземной власти (прежде всего австро-немецкой и польской, затем московской)[28]. В XIX веке это слово употреблялось и в значении «духовная свобода» («духовная самостійність»), но опять же в контексте восходящей к идеалистической философии Фихте идее национальной самореализации народа (*die selbstständige Fortdauer seiner Nation* в его знаменитых «Речах к немецкой нации»[29]).

Английский стиль

Из приведенного экскурса в сравнительную историю «пушкинского» слова следует, что оно не является ни пушкинским, ни специфически русским, но отражает общий для славянских литератур романтической эпохи процесс художественного языкотворчества. Использованное Пушкиным в вычеркнутых вариантах незаконченного стихотворения, оно, скорее всего, представляет собой славянизированный по эстетическим и идеологическим соображениям аналог слова *Selbständigkeit* (*Selbstand*), встречающийся в русской (по отношению к средневековым республикам Новгорода и Пскова) и славянских литературах пушкинской эпохи[30].

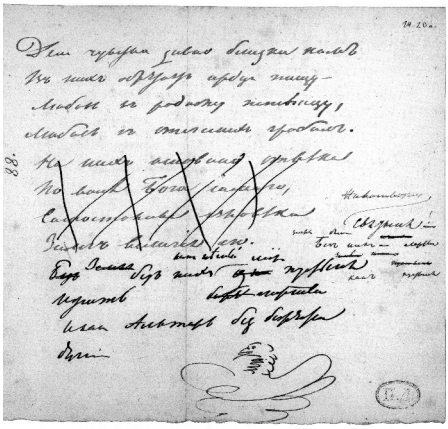
встречается слово *самостоящая* по отношению к всеобщей, первоначальной, главной истине в богословии (перевод немецкого слова *die Grundwahrheit*: Полный немецко-россійской лексикон, из большаго граматикально-критическаго Словаря господина Аделунга составленный, с присовокуплением всех для совершеннаго познания Немецкаго языка нужных словоизречений и объяснений: В 2 т. Т. 1. СПб.: в Императорской тип. у Ивана Вейтбрехта, 1798. С. 79). Это же прилагательное несколько раз используется в «Руководстве к славенскей грамматице: исправленней во употребление славено-сербских народних училищ» Аврама Мразовича (*Мразович А.* Руководство к славенскей грамматице. Будапеща: писмени Кралевскаго всеучилища Пештанскаго, 1800).

28 Ср. в программном вступлении И. Вагилевича к сборнику украинских народных песен «Русалка дністровая» (1837): «Нарід руський один з головних поколінь слов'янських, в середині меж ними, розкладаєся по хлібородних окресностях з-поза гір Бескидських за Дон. Він найщирше задержав у своїх поведінках, піснях, обрядах, казках, прислів'ях все, що єму передвіцькі діди спадком лишили; а коли другії племена слов'ян тяглими загонами лютих чужоплеменників печалені бували і часто питома власть ріками крові теряних чад пересякала, коли *напослідок схилили в'язи під окови залізні і лишилися самостоянства*, Русь заступлена була Бескидами, що ся на низу ланцями пов'язали, і огорнена густими і великими ріками, що як сестриці почіплялися за руки» (цит. по: Україна: Романтики національного відродження (1800—1863 роки): У 10 т.: Дорога до себе. Т. 5 [редкол.: І.М. Дзюба]. Київ: Основи, 2009. С. 82).

29 *Fichte J.G.* Reden an die deutsche Nation. Berlin: Heimann, 1869. С. 80.

30 Интересно в этом контексте проследить генезис хлебниковского выражения *самодержавный народ* в известном стихотворении «Свобода приходит нагая...» (апрель 1917), навеянного, в частности, стихами тринадцатилетней украинки Милицы. Заметим, что просветительское (Руссо, Монтескье) по происхождению выражение *самодержавный народ* неоднократно встречается в русской литературе XIX — начала XX века. Ср., например, у Г.В. Плеханова: «Согласно истории, самодержавный народ (le peuple souverain) создал королей своим выбором, причем он предпочитал для этого таких людей, которые превосходили других умелостью и добродетелью» [Плеханов 1925: 165]. Это слово пользовалось популярностью во время первой революции и после Февральской. Так, в брошюре Н.Н. Соколова (Дикого) «Что такое всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право?» (СПб., 1905; переизд. Пг.: Изд-во

В то же время семантическое экспериментаторство «архаиста» Пушкина, еще в первой половине 1820-х годов осознавшего необходимость создания русского абстрактного «метафизического языка»[31], заключается в том, что это редкое выразительное слово он перенес из «германского» этно-политического (романтическое, фихтеанское, самостояние нации, языка и государства) контекста в гораздо более близкий ему «английский» индивидуально-исторический (родовые пепелища Вальтера Скотта и Роберта Саути как «залоги» самостояния личности, определяемой сословной культурной памятью и ответственностью перед прошлыми поколениями), сохранив при этом его ностальгически-патриотическую окраску (как в антинаполеоновской «Александроиде» Свечина). Такие семантические сдвиги-обновления (неосемантизмы) забытых или маргинальных слов нередки в истории литературы (достаточно вспомнить хлебниковские преображения архаизмов, диалектизмов и украинизмов вроде слова *самовитый*).



Ил. 1. Беловой автограф стихотворения, переходящий в черновой. Рукописный отдел Института русской литературы РАН. Ф. 244. Оп. 1. № 137. Л. 1. Воспроизводится по: А.С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года. Т. 3. СПб., 2013. С. 61.

О том, что в основе этого пушкинского фрагмента, тесно связанного, как известно, с «Моей родословной», лежит именно индивидуальное дворянское (рыцарское), а не национальное чувство, говорит, как мы полагаем, и изображение в нижней части листа геральдического орла — не двуглавого царского, а одноголового, «прусского», с распростертыми крыльями и высунутым языком.

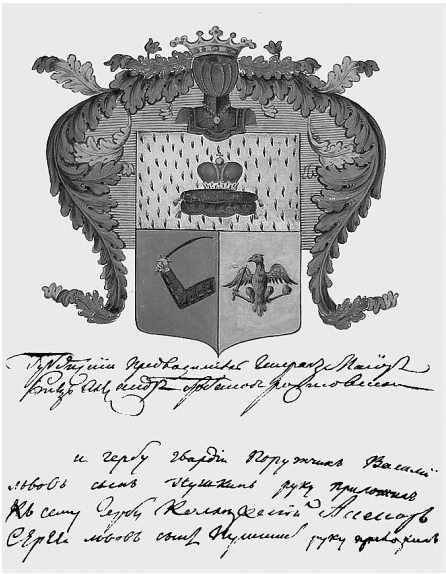
По всей видимости, Пушкин срисовал здесь часть своего фамильного герба или личной печати, полученной в 1830 году от дяди Василия Львовича (в «Моей родословной»: «Под гербовой моей печатью / Я кипу грамот схоронил»[32].

Орел с высунутым языком был и на гербе его пращура по материнской линии Ганнибала, потомки которого владели селом Захаровым, куда поэт приехал летом 1830 года, вскоре после своей помолвки.

Союза солдат-республиканцев, 1917) воспевается воля «Его Величества Самодержавного народа» (цит. по: Свободный флот. 1917. № 2 (4). 26 августа. С. 21). Хлебников впоследствии заменил слово *самодержавный* на *самосвободный*, но и последнее, вопреки мнению хлебниковедов, не является неологизмом (использовалось в философском лексиконе). Не являются неологизмами Хлебникова и церковно-славянские и древнерусские составные слова с корнем *-сам-*: *самобожество*, *самоумие*, *самостный*, *самотворец*, *самоглас*, *самогуд*, *бессамный* и т.д. (см.: [Перцова 1995]).

31 Выражение, как установлено, восходит к сочинениям г-жи де Сталь (la langue des metaphysiciens). О пушкинской семантике слова *самовластье* см.: [Сурат 2002].

32 *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 16 т. Т.3, кн. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 262.



Ил. 2. Герб рода Пушкиных из дела московского губернского предводителя дворянства. 1799. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук. Воспроизводится по: А.С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года. Т. 1. СПб., 2013. С. 2.



Ил. 3. Герб Ганнибалов. Воспроизводится по: Телетова Н.К. Герб Ганнибалов // Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. ОЛЯ. Пушкин. комис. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1989. Вып. 23. С. 142.

В письме к дочери Н.О. Пушкина от 22 июля 1830 года сообщала о своем старшем сыне: «Он совершил этим летом сентиментальное путешествие в Захарово совершенно один, единственно чтобы увидеть место, где он провел несколько лет своего детства» [Аринштейн 1991: 178]. Отсюда Пушкин ездил в Вяземы князя Голицына (бывшая вотчина Годунова), где похоронен был его младший брат, умерший в 1807 году. Можно предположить, что ностальгическое стихотворение о двух дивных чувствах было задумано поэтом еще до приезда в Болдино, во время его сентиментального путешествия в деревню бабушки Ганнибал.

Как точно заметила И.З. Сурат:

> ...если в статьях и прозе Пушкин говорил об «уважении к мертвым прадедам», «уважении к минувшему» («<Наброски статьи о русской литературе>», 1830), о праве «гордиться славою своих предков» («Отрывки из писем, мысли и замечания», 1827), то в стихах на место «уважения» и «гордости» приходит «любовь» и таким образом «разговор о родовой памяти переводится из плана исторического и социального в сферу душевной жизни человека [Сурат 2009: 413].

Слово *самостоянье* здесь не что иное, как возвышенная форма любимого (и столь же далекого от имперскости, сколь далек от Петра Великого обедневший представитель старого рода Евгений из «Медного всадника») выражения поэта *сам большой* — сам на своем родовом месте, представитель своего — как

уже ему было ясно, обреченного — сословия (отсюда обобщенное «мы» в афористическом тексте), держащего свой щит на наследственной земле, открытой роковым страстям.

В свою очередь, некоторые эмигрантские, поздне- и постсоветские истолкователи этого незавершенного стихотворения, сконструированного консервативно настроенным славистом (Шляпкин в шутку называл себя «старым народником-черносотенцем — в политическом отношении» [Берков 1967: 277]), гиперидеологизировали слово *самостоянье* как ключ к пушкинской религии и «вернули» его в национально-патриотический контекст, отождествив семейные пенаты и предания независимой от царя и мнения толпы пушкинской поэтической личности с концептом утраченного и чаемого ими уникального православного самодержавного национального государства: «Великое богатство предков, их *опыта*, — навеки связало вас, и ведет, если вы подлинно *кровный*, *ихний*» (см. выше).

В результате мимолетное пушкинское слово было положено в основание мифа о государственном (имперском) самосознании или русском национализме поэта, являющемся важной частью российской пропаганды в разные эпохи (вспомним в этой связи недавний концепт «суверенной демократии», популярные идеи полного самообеспечения и счастливой самоизоляции России вплоть до совсем с пылу с жару терминоида «самобытное государство-цивилизация»). Муляжи «отеческих гробов» с маркой «А.С. Пушкин» в этом идеологическом ритуале доставляются, как в крымовской постановке «Бориса», прямо на дом отечественному читателю.

Между тем не стоит забывать, что по какой-то причине строки с этим выразительным словом Пушкин вычеркнул, а стихотворение так и не закончил. Может быть, оно показалось ему чересчур личным (версия Сурат) или чересчур вычурным и навязчиво рассудочным, и прав был Щеголев, полемически связавший «шляпкинскую» конструкцию с ранней пушкинской пародией на нехитрую благочестивую семейную идиллию старшего поэта-современника, описывающую пепелище древнего отеческого замка:

> Послушай, дедушка, мне каждый раз,
> Когда взгляну на этот замок Ретлер,
> Приходит в мысль, что, если это проза,
> Да и дурная...[33]

33 *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 2. Ч. 1. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1949. С. 412.

Библиография / References

[Альтшуллер 2023] — *Альтшуллер М.* Почему Пушкин считал, что политические свободы не нужны // Горький. 2023. 18 января (https://gorky.media/context/pochemu-pushkin-schital-chto-politicheskie-svobody-ne-nuzhny/ (дата обращения: 16.06.2023)).

(*Al'tshuller M.* Pochemy Pushkin schital, chto politicheskiye svobody ne nyzhny // Gor'kiy. 2023. January 18 (https://gorky.media/context/pochemu-pushkin-schital-chto-politicheskie-svobody-ne-nuzhny/ (accessed: 16.06.2023)).)

[Аринштейн 1991] — *Аринштейн Л.М.* Сельцо Захарово в биографии и творчестве Пушкина // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 14 / Отв. ред. Я.Л. Левкович. Л.: Наука, 1991. С. 177—191.

(*Arinshtein L.M.* Sel'tso Zakharovo v biografii i tvorchestve Pushkina // Pushkin: Issledovaniya i materialy. Vol. 14 / Ed. by Ya.L. Levkovich. Leningrad, 1991. P. 177—191.)

[Бахтин 1986] — *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества / Примеч. С.С. Аверинцева, С.Г. Бочарова. 2-е изд. М.: Искусство, 1986.

(*Bakhtin M.* Estetika slovesnogo tvorchestva / Notes by S.S. Averintsev, S.G. Bocharov. Moscow, 1986.)

[Берков 1967] — *Берков П.Н.* Русские книголюбы. Л.: Советский писатель, 1967.

(*Berkov P.N.* Russkie knigolyuby. Leningrad, 1967.)

[Бочаров 1999] — *Бочаров С.* Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999.

(*Bocharov S.* Syuzhety russkoy literatury. Moscow, 1999.)

[Виницкий 2023] — *Виницкий И.* Пушкин в киевском Софийском соборе. О ключевом эпизоде романа И.А. Новикова «Пушкин на юге» // Временник Пушкинской комиссии. Вып. 37 / Отв. ред. А.Ю. Балакин. СПб.: Восток, 2023. С. 175—177.

(*Vinitskii I.* Pushkin v kievskom Sofiyskom sobore. O klyuchevom episode romana I.A, Novikova "Pushkin ia yuge" // Vremennik Pushkinskoy komissii. Iss. 35 / Ed. by A.Yu. Balakin. Saint Petersburg, 2023. P. 175—177.)

[Виноградов 1935] — *Виноградов В.В.* Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка. М.; Л.: Academia, 1935.

(*Vinogradov V.V.* Yazyk Pushkina: Pushkin i istoriya russkogo literaturnogo yazyka. Moscow; Leningrad, 1935.)

[Зайцева, Евсеева 2007] — *Зайцева А.И., Евсеева М.К.* Свечин Павел Иванович // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 5 / Гл. ред. П.А. Николаев. М.: Большая российская энциклопедия, 2007. С. 510—512.

(*Zaitseva A.E., Evseeva M.K.* Svechin Pavel Ivanovich // Russkie pisateli. 1800—1917. Biografisheskiy slovar'. Vol. 5 / Ed. by P.A. Nikolaev. Moscow, 2007. P. 510—512.)

[Захаров 1995] — *Захаров В.Н.* Трагедия и Сатира: «вечные» роли героев Достоевского // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: канонические тексты: В 15 т. / Под ред. В.Н. Захарова. Т. 6. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 1995.

(*Zakharov V.N.* Tragediya i satira: "vechnye" roli geroev Dostoevskogo // Dostoevskiy F.M. Polnoe sobranie sochineniy: kanonicheskie teksty: In 15 vols. Vol. 6. Petrozavodsk, 1995.)

[Кошелев 2013] — *Кошелев В.А.* Об автографах пушкинского стихотворения «Два чувства дивно близки нам...» // Временник Пушкинской комиссии: Сборник научных трудов. Вып. 31 / Отв. ред. А.Ю. Балакин. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2013. С. 164—171.

(*Koshelev V.A.* Ob avtografakh pushkinskogo stikhotvoreniya "Dva chuvstva divno blizki nam…" // Vremennik Pushkinskoy komissii: Sbornik nauchnykh trudov. Iss. 31 / Ed. by A.Yu. Balakin. Saint Petersburg, 2013. P. 164—171.)

[Лотман 1996] — *Лотман Ю.М.* О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство—СПб, 1996.

(*Lotman Yu.M.* O poetakh i poezii. Saint Petersburg, 1996.)

[Макогоненко 1974] — *Макогоненко Г.* «Самостоянье человека, залог величия его...» // Вопросы литературы. 1974. № 6. С. 35—69.

(*Mokogonenko G.* Samostoyan'e chekoveka, zalog velichiya ego..." // Voprosy literatury. 1974. No. 6. P. 35—69.)

[Пеуранен 2002] — *Пеуранен Э.* «Сила слова и величие человеческое» // Пушкин через двести лет: Материалы международной научной конференции юбилейного (1999) года / Под ред. В. Непомнящего. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 270--277.

(*Peuranen Ekka V.* "Sila slova i velichie cheloveskoe" // Pushkin cherez dvesti let: Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii yubileynogo (1999) goda / Ed. by B. Nepomnyashchiy. Moscow, 2002.)

[Перцова 1995] — *Перцова Н.* Словарь неологизмов Велимира Хлебникова / Предисл. Х. Барана. М.; Vien: Hansen-Löve, 1995.

(*Pertsova N.* Sovar' neologizmov Velimira Khlebnikova. Moscow; Vien, 1995).

[Плеханов 1925] — *Плеханов Г.В.* История русской общественной мысли: В 3 т. 2-е изд., доп. Т. 1. М.; Л.: Гудок, 1925.

(*Plekhanov G.V.* Istoriya russkoy obshchestvennoy mysli: In 3 vols. Vol. 1. Moscow; Leningrad, 1925.)

[Сурат 2002] — *Сурат И.З.* Заметки о пушкинском словаре. 3. Смиренный и суровый. 4. «В тишине самовластия» // Московский пушкинист: Ежегодный сборник. Вып. X. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 48—55.

(*Surat I.Z.* Zametki o pushkinskom slovare. 3. Smirennyy i surovyy. 4. "V tishine samovlastiya" // Moskovskiy pushkinist: Ezhegodnyy sbornik. Iss. X. Moscow, 2002. P. 48—55.)

[Сурат 2009] — *Сурат И.З.* «Два чувства дивно близки нам...» (1830) // Пушкинская энциклопедия. Произведения. Вып. 1. А—Д / Отв. ред. И.С. Чистова. СПб.: Нестор-История, 2009. С. 412—415.

(*Surat I.Z.* "Dva chuvstva divno blizki nam…" (1830) // Pushkinskaya entsiklopediya. Iss. 1. A—D / Ed. by I.S. Chistova. Saint Petersburg, 2009. P. 412—415.)

[Сурат 2015] — *Сурат И.З.* Опущенные строфы в лирике А.С. Пушкина: текст и смысл // От истории текста к истории литературы / Отв. ред. М.И. Щербакова. М.: ИМЛИ РАН, 2015. С. 24—45.

(*Surat I.Z.* Opushchennye strofy v lirike A.S. Pushkina: tekst i smysl // Ot istorii teksta k istorii literatury / Ed. by M.I. Shcherbakova. Moscow, 2015. P. 24—45.)

[Шляпкин 1903] — *Шляпкин И.А.* Из неизданных бумаг А.С. Пушкина. М.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1903.

(*Shlyapkin I.A.* Iz neizdannykh bumag A.S. Pushkina. Moscow, 1903.)

[Щеголев 1904] — *Щеголев П.Е.* Ненаписанные стихотворения А.С. Пушкина // Исторический вестник. 1904. № 1. С. 263—274.

(*Shchegolev P.Ye.* Nenapisannye stikhotovreniya A.S. Pushkina // Istoricheskiy vestnik. 1904. No. 1. P. 263—274.)

[Энгельгардт 2019] — *Энгельгардт Б.* Литературоведение. Избранное. М.: Юрайт, 2019.

(*Engelgardt B.* Literaturovedenie. Izbrannoe. Moscow, 2019.)

Евгений Добренко

Советская многонациональная литература как имперский проект и как вызов империи

Evgeny Dobrenko

Soviet Multinational Literature as an Imperial Project and as a Challenge to the Empire

Евгений Добренко (Университет Венеции Ca' Foscari, профессор; PhD) evgeny.dobrenko@unive.it.

Ключевые слова: советская многонациональная литература, национальное своеобразие литератур, литературоцентризм, Союз писателей СССР, имперские практики, национализм

УДК: 82.091
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_245

Советская многонациональная литература была имперским проектом. Однако институционально, идеологически и эстетически она произвела не- и даже антиимперское пространство. Оно складывалось как побочный продукт, но оказалось едва ли не единственной доступной площадкой и доменом для формирования национального сознания на имперских окраинах. Если в республиках культивировался антиколониальный национальный дискурс, то в Москве официально транслировался и поддерживался интернационалистский дискурс, где доминировали идеи национального разнообразия, «взаимодействия и взаимообогащения». В статье рассматриваются эти процессы на уровне институций, оформляющего их дискурса и порождаемых ими эстетических практик.

Evgeny Dobrenko (PhD; Professor, Ca' Foscari University of Venice) evgeny.dobrenko@unive.it.

Key words: Soviet multinational literature, national specificity of literature, literary-centrism, Union of Writers of the USSR, imperial practices, nationalism

UDC: 82.091
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_245

Soviet multinational literature was an imperial project. However, institutionally, ideologically, and aesthetically, it produced a non- and even anti-imperial space. It developed as a byproduct but turned out to be perhaps the only available platform and domain for the formation of national consciousness on the imperial outskirts of the USSR. If an anti-colonial national discourse was cultivated in the Soviet republics, then in Moscow an internationalist discourse was officially transmitted and supported, dominated by the ideas of national diversity, "interaction and mutual enrichment." The article examines these processes at the level of institutions, the discourse that shaped them and the aesthetic practices they generated.

Много лет я работаю над книгой «Империя слов: советская многонациональная литература и имперское воображаемое». Проект этот изначально возник как сугубо историко-литературный. Мне хотелось понять, как сформировался и работал этот уникальный продукт имперского культурного строительства. Хотя число работ о национальных литературах в советскую эпоху растет с каждым днем, почти все они строятся в жанре, который я называю национальным плачем: это история расцвета после революции и гибели национальных литератур в сталинскую эпоху.

У этого печального нарратива есть полное право на доминирование. На Украине, например, целая генерация уничтоженных поэтов и писателей называется «расстрелянным возрождением». В Белоруссии была своя «ночь рас-

стрелянных поэтов». Масштабы этих репрессий были беспрецедентными, а потери национальных культур — невосполнимыми. Достаточно сказать, что до 1940 года были репрессированы свыше 60% членов Союза писателей БССР состава 1935 года — 238 человек. Из них выжили лишь 20 человек (8,4%). Своя печальная история у каждой из национальных литератур. Некоторые, в особенности те, что не имели республиканской аффилиации, уничтожались под корень. Причем не только в эпоху Большого террора, но и после войны. Достаточно упомянуть о судьбе ингушской, чеченской, карачаевской, калмыцкой, балкарской, крымскотатарской и других литератур депортированных народов. Причем это продолжалось вплоть до самой смерти Сталина. Упомяну в этой связи об уничтожении еврейской литературы в СССР, кульминацией чего стал расстрел практически всех крупнейших советских еврейских поэтов и писателей — членов Еврейского антифашистского комитета. 12 августа 1952 года вошло в еврейскую историю как «ночь казненных поэтов».

Эти национальные плачи — истории «расстрелянных возрождений», «ночей казненных поэтов», русификации, унификации, распыления и гибели национальных литератур, а затем робкого пробуждения и прозябания чахлых ростков когда-то многообещающих цветений. Я точно знал, чего я не хотел бы делать, — это транспонировать эти истории, писать симфонию из разных версий национальных плачей о погублении национальных литератур. Я искал драмы в этих схожих в своем печальном однообразии нарративах, пока не понял, что она лежит на поверхности. И тогда многое прояснилось.

Главный вопрос в истории советской многонациональной литературы состоит в необходимости понять, благодаря чему из этих растоптанных и разрушенных иногда буквально до основания национальных литератур и построенных на их руинах мертворожденных соцреалистических големов в эпоху хрущевско-брежневской нормализации советская многонациональная литература смогла расцвести неожиданным многообразием. Упомяну грузинский философский роман Отара Чиладзе, Чабуа Амирэджиби, Нодара Думбадзе, белорусскую прозу о войне, украинский химерный роман Олександра Ильченко, Василя Земляка, Володимира Яворивського, Романа Федорива, Василя Шевчука, Павла Загребельного, Евгена Гуцало, эстонский экспериментальный роман Пауля Куусберга, Лилли Промет, Энна Ветемаа, Владимира и Эмэ Бээкманов, Яана Кросса, литовский роман внутреннего монолога Миколаса Слуцкиса и Альфонсаса Беляускаса, Витаутаса Бубниса и Йонаса Авижюса, прозу Айтматова и Василя Быкова, поэзию Кайсына Кулиева и Юстинаса Марцинкявичюса…

Совершенно неожиданное появление первоклассной литературы на руинах национальных литератур может быть понято как результат перемен, происшедших после смерти Сталина, которые резко и до неузнаваемости изменили облик этих литератур и их статус в общей структуре советской литературы.

Советская многонациональная литература изначально была вполне имперским проектом. Однако институционально, идеологически и эстетически она произвела не- и даже антиимперское пространство. Оно складывалось на протяжении всей советской истории в качестве непредвиденного побочного продукта, но оказалось едва ли не единственной доступной площадкой и основным источником для формирования национального сознания на имперских окраинах СССР. Причем речь идет не о национальных, но именно о «всесоюзных» площадках. Дело в том, что именно в республиках цензурное и

политическое давление всегда было намного более жестким, чем в Москве, поскольку борьба с национализмом была для республиканского партийно-государственного руководства безусловным приоритетом, основным показателем политической и идеологической лояльности. Как говорили в Украине, «когда в Москве режут ногти, в Киеве рубят пальцы», чему история советской многонациональной литературы дает немало примеров.

Советский период в истории народов российских национальных окраин был чрезвычайно важным, а для многих и формативным в том, что касается их национального сознания. Давид Самойлов проницательно писал о Хрущеве, что тот не знал, что делать с властью, поскольку «не имел собственной экономической и политической программы и идеологии», но в результате его действий

> принудительное единство сталинских официальных идей рухнуло. Должны были родиться новые идеи, отвечающие реальным интересам разных общественных групп. Они и рождались — как справа, так и слева. Они рождались более четкими, реальными и откровенными, чем когда-либо. Хрущев заполнял паузу. Он был наседкой, сидящей на яйцах неведомых птиц. Как только вылупились птенцы, они прежде всего начали клевать наседку[1].

Среди этих неведомых птиц были и национальные литературы, в которых аккумулировалось национальное самосознание народов, населявших советские имперские окраины.

Политические реформы нередко имеют побочный эффект, который способен убить пациента. Именно это случилось с советским имперским проектом. Его природа была внутренне глубоко дихотомичной, чем определялась его специфика. Советское многонациональное государство создавалось на своеобразном контракте с национальными элитами, от поддержки которых изначально зависела легитимность советского режима. Условия этого контракта я сформулировал бы в виде простой формулы — литература взамен суверенитета: вы отказываетесь от национального суверенитета, а взамен получаете национально-культурное строительство. Иначе говоря, вместо институтов национального государственности вы получаете национальные союзы писателей. В этом была своя логика: государство создается быстрее, чем нация, поскольку государство — это институции, а нация — это еще и сфера политического воображаемого, в создании которого литература играет ключевую роль. При этом настоящей целью этих литератур было *не*возникновение наций. Если учитывать, что литература была в России одной из наиболее успешных и эффективных институций, она позволила создать не настоящие, но литературные нации. Литература стала своего рода мерой измерения их суверенитета.

Это объясняет всеми отмечаемый парадокс советского национального строительства: Советское государство стремилось к «расцвету» наций и одновременному их уничтожению. Репрессии были прямым следствием этого процесса, механизмом регулирования, поскольку национальное всегда стремится к уникальности, а имперское — к универсальности. Таким образом, советизация национальных литератур оказывается задачей не менее важной, чем самое создание этих литератур.

---

1 *Самойлов Д.* Памятные записки. М.: Международные отношения, 1995. С. 360—361.

Была и еще одна причина для культивирования национальных литератур: они призваны были дереализовывать и стирать реальный национальный опыт советских народов. Что сталинизм действительно дал так называемым советским нациям, так это не столько национальные элиты, которые были насквозь советскими и не имели никаких реальных национальных устремлений в стране, где нации были фикциями, не столько «кадры» интеллигенции, сколько реальный и страшный общий опыт. Сталинизм дал нациям прошлое, которое начало сворачиваться в историю. Из переработки этого опыта рождались национальные литературы (там, где для них созрела культурная почва).

Вместо вымышленных для новых наций историй в первой половине XX века сталинизм дал советским нациям переживание собственного рождения и становления в качестве основной травмы. Через Гражданскую и Отечественную войны, коллективизацию, террор (а теперь, уже вдогонку, еще и через постсоветские войны). Они-то и стали материалом литератур, на которых формировалась завязь будущих наций. Это — ключ к постсталинским литературам. Через этот страшный опыт открылось и их прошлое, которое начало обретать форму литературного нарратива, организуемого в соответствии с национальными и общесоветскими (поскольку это был и общесоветский опыт!) традициями. Революция, террор, война, деревня, история, постсоветская борьба, а где и война, за свои суверенитет и политическое будущее.

Советские национальные литературы позиционировались как колыбель «социалистических наций», хотя они изначально были пригодны не для национального строительства, но скорее для его симуляции. Однако, создавая субъектов империи, они выталкивали подлежащий переработке этот общий опыт, чем уничтожали общую акустику, стимулируя национальный партикуляризм и неимперское пространство.

Советская литература была не «национальной по форме», но этнической. В строгом смысле она была не многонациональной, но многоэтнической. Ее задача была в том, чтобы *не позволить этносу стать нацией. Движение к имперскому универсализму предполагает этнический партикуляризм* в виде поддержки этнических стилей, традиций, фольклора, различных форм «национальной культуры» и т.п. Иными словами, эта империя сама порождает неимперское пространство.

Поэтому таким же двойственным оставалось и российско-советское сознание, страдавшее от феномена, который можно было бы обозначить как *имперская шизофрения*. Российско-советская имперскость — композитный феномен. Притом что русский этнический национализм основан, как и любой национализм, на разных формах ксенофобии и откровенном презрении к «нацменам», специфика его в том, что своим основным содержанием он имеет прославление не только собственной цивилизаторской миссии, но именно «всемирной отзывчивости».

Поэтому даже в сталинскую эпоху советская многонациональная литература порождала анклавы неимперскости в самых, казалось бы, неожиданных местах. Так, в 1946 году Исайя Берлин остроумно заметил, что чрезвычайно высокий уровень перевода в СССР

> вызван, конечно, не только тем, что это — почтенный способ уклониться от политически опасных высказываний; традицию переложения с чужих языков Россия, страна, долгое время интеллектуально зависевшая от иностранной литера-

> туры, развила еще в XIX веке. В результате люди исключительной чуткости и литературных достоинств перевели великие классические произведения Запада, и халтурных переводов (как большинство версий русской литературы на английском) в России практически нет. Такая сосредоточенность на переводе — отчасти следствие повышенного внимания, уделяемого сейчас жизни окраинных регионов Советского Союза; поэтому политически выгодны переводы с таких модных языков, как украинский, грузинский, армянский, узбекский, таджикский. Некоторые из самых одаренных русских писателей делают это блестяще, улучшая тем самым добрососедские отношения между регионами. Возможно, это окажется значительным вкладом Сталина в развитие русской словесности [Berlin 2000: 58].

Но ровно это же можно сказать и про литературы других национальных республик. Индустрия переводов, которая была одним из ключевых институтов советской многонациональной литературы и в этом качестве служила формированию единого имперского культурного поля, одновременно формировала и прямо противоположное культурное пространство национального партикуляризма, что позволяет увидеть основную драму, основной сюжет имперского культурного строительства: каждая национальная литература стремится к уникальности, каждая заточена на партикуляризм, на самобытность, в которой нация раскрывает свою уникальность. Империя, напротив, стремится к тому, чтобы каждая культура была прозрачна, легко проницаема и готова к конвергенции. Имперское культурное строительство — это всегда переорганизация, перебалансировка этих полюсов. Высококачественные переводы становятся достоянием литературы, на язык которой они делаются.

Россия — литературоцентричная империя. С одной стороны, литературоцентризм характерен для культур, где отсутствует иная трибуна, кроме литературы, — нет ни сложившегося гражданского общества, ни демократических институтов, ни общественного представительства, ни свободы слова. В этих условиях вопросы политики, истории, философии, культуры, социальные и национальные вопросы и даже экономические могут обсуждаться главным образом (а порой — и только) через литературу как платформу и трибуну. С другой стороны, литературоцентризм характерен для субалтерных культур. В силу невидимости и угнетенности подчиненных групп они могут только через литературу поднимать и обсуждать вопросы своего политического статуса, национальной идентичности, истории, языка и культуры. В большинстве традиционных имперских культур действовал только второй фактор. В России сложилась уникальная ситуация — оба фактора оказались задействованными и находились в прямом и тесном взаимодействии. В обоих случаях литература выполняла важную компенсаторную функцию — давала маргинализированным слоям населения компенсацию за лишение их политического голоса.

В советское время влияние русской литературы на национальные литературы СССР было значительно и разнообразно и выходило далеко за пределы того, на что обычно обращают внимание — на внедрение в них конвенций русского эпического романа, толстовского психологизма, стилевого и тематического репертуара и институциональных форм, выработанных в русской литературной традиции. Было, однако, и куда более глубокое влияние на сам статус литературы и ее место национальном сознании. Литературоцентризм, присущий русской и советской культуре, формировал писателя — учителя жизни и едва ли не отца нации. Статус национального поэта, хранителя национально-

го языка и традиции, пришедший из романтизма, расцвел на русской почве в XIX веке, в эпоху формирования русского национального сознания. Это сознание в условиях имперского строительства было пронизано имперскостью (русский универсализм, национальный мессианизм, миссионерство в отношении других народов и т.д.). Но если в XIX веке оно оказывало лишь минимальное влияние на только формирующиеся у большинства народов Российской империи национальные литературы, то в советскую эпоху оно оказалось определяющим: как старые, так и новые литературы кроились и перекраивались по русскому литературному канону. В каждой из них воспроизводилась иерархия русского литературного канона с непременной «вакансией поэта». В результате национальные писатели формировались как носители и выразители «национального духа», а сама романтическая традиция, отмиравшая в модернизме, оказалась законсервированной в воспроизводившей домодерную архаику советской литературной традиции и переданной ею по наследству всем литературам народов СССР.

Ирония состоит в том, что основанная на русской традиции советская литература сама сформировала в республиках ту национальную литературную среду, которая при первом же дуновении либеральных перемен отторгла от себя имперскую опалубку. Как только нации и народности СССР начали выходить из состояния советского анабиоза, именно в этой среде, в которой в формативный советский период зарождалось национальное самосознание, они нашли опору и возможности для выражения своих национальных устремлений.

В этом свете история советской многонациональной литературы — это и история того, в каких условиях формировались и развивались национальные литературы бывших советских окраин. А если иметь в виду, что именно в литературе формировались все основные параметры нации — кодифицировался национальный язык, вырабатывалось национальное историческое воображаемое, обретало плоть национальное самосознание, складывалась национальная мифология, укоренялся в массовом сознании общий взгляд на национальное прошлое и т.д., то речь идет, по сути, о предыстории постсоветских наций.

Наверное, наилучшим примером того, как возникало неимперское пространство в результате институционального укрепления имперских структур, было создание в 1958 году по инициативе Хрущева после его знаменитых встреч с интеллигенцией Союза писателей РСФСР. Непроговариваемая цель этого Союза состояла в том, чтобы укоротить влияние наиболее либеральной части московских писателей в так называемом «большом» Союзе. А одной из основных проговариваемых целей было то, что создание такого Союза позволит усилить позиции национальных литератур внутри РСФСР, чем была обеспечена поддержка ими этого начинания. Однако этот шаг имел обратный эффект — резко ускорил размежевание внутри Союза писателей (СП) СССР.

В сталинском СП СССР русские и национальные писатели находились вместе, а русских писателей было больше половины, что позволяло русской литературе всегда держать «контрольный пакет» внутри этой институции. Позиции извне просто не предполагалось. Сталин построил СП СССР так же, как он строил СССР: с демократическим декорумом, номинальной независимостью республиканских отделений, но фактически в качестве союзного министерства по делам литературы, управляемого Агитпропом ЦК. Теперь же из этого аморфного «большого» Союза выделился СП РСФСР, который изначально позиционировался как ортодоксальное противоядие против москов-

ских либералов. В итоге СП РСФСР стал центром так называемой русской партии, в руках которой оказались принадлежащие СП РСФСР газеты, такие как «Литературная Россия», журналы, такие как «Октябрь» и «Наш современник», а также множество провинциальных журналов от «Москвы» до «Дона», издательства, такие как «Советская Россия» и «Современник». Такая концентрация националистических сил в одном Союзе автоматически превратила другой («большой») Союз в интернационалистскую альтернативу. И в таком качестве их противостояние протекало в 1970—1980-е годы, вплоть до конца Советского Союза.

Именно в рамках «большого» Союза культивировался интернационалистский дискурс, поддерживались усилия по либерализации политико-эстетических оснований института советской многонациональной литературы. Ясно, что этот проект изначально был переложением модели горьковской «всемирной литературы» на «отдельно взятую страну». Но при его транспонировании произошла не просто редукция, но замена целей. Если социализм в одной стране должен был прийти на смену мировой революции, то на место пролетарского интернационализма должна была прийти «дружба народов». Так вместо горьковской «всемирной литературы» появилась «литература народов СССР». Ее окончательная инаугурация и институциализация произошли на Первом съезде советских писателей и совпали с началом «большого возврата» и поворота от классовой беспочвенности к имперскому патриотизму.

Тема эта неоднократно всплывала на Первом съезде писателей после того, как в «Правде» в середине 1934 года начали публиковаться первые статьи о Родине. Теперь подчеркивается новизна самого этого понятия:

> В нашей революции пролетариат, освобождая себя, освобождает вместе с собой и все угнетенное человечество. Мы завоевали, мы создали себе великую и могучую родину, родину человечества. Родина! Еще семнадцать лет тому назад это было только лживым этимологическим понятием, орудием обмана и оглупления трудящихся. Сегодня это слово выражает в себе все, что рабочий класс и трудящийся крестьянин завоевал в революции. Это она, наша родина, соединяет многонациональное собрание писателей в одну семью[2].

Пройдет еще полтора десятилетия, и этот имперский дискурс станет еще более русоцентричным. В 1947 году критика так определяла место русской литературы в советской многонациональной литературе:

> Прогрессивная русская литература — эта наша гордость, являющаяся богатейшей сокровищницей человеческой культуры, всегда стоявшая в авангарде развития общественной мысли в России, эта литература, поднятая на новую, небывалую высоту Великой Октябрьской социалистической революцией и вдохновленная гениальными идеями Ленина, творчески оплодотворила, призвала к жизни всю многонациональную литературу десятков народов, составляющих наш могучий великий Советский Союз, обогатила, развила ее, подняла ее в ряде случаев из небытия, помогла заблистать всеми многогранными, полнокровными, яркими цветами[3].

---

2 Первый всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет / Ред. И. Луппол, М. Розенталь, С. Третьяков. М.: ГИХЛ, 1934. С. 384.

3 Сулейман Стальский в критике и воспоминаниях: Сб. статей, очерков и заметок. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1969. С. 87.

Но уже к концу 1950-х годов эстетическая теория многонациональной советской литературы выглядела совсем иначе. В 1959 году прошло Всесоюзное совещание по вопросам социалистического реализма «Творческая практика и теоретическая мысль». В его ходе выяснилось, что в соцреализме есть, оказывается, национальные стили. И больше того, что «различные стили и формы литературы социалистического реализма реально существуют прежде всего в своем неповторимом национальном облике. Художественное богатство нашей литературы и начинается в первую очередь с богатства ее национальных красок» [Творческая практика 1959: 82] (Леонид Новиченко).

Теперь утверждалось, что помимо национальной формы существует еще и национальное содержание:

> Советская культура, а следовательно, и литература как ее составная часть, — социалистическая по содержанию и национальная по форме. При этом, поскольку категория содержания в литературе ни в коем случае не является абстрактной, черты известной национальной определенности, национального своеобразия свойственны не только форме, но и содержанию литературного произведения [Там же] (Новиченко).

Выяснилось, далее, что национальные литературы не только учатся, но и имеют собственные «прогрессивные традиции», а если и учатся, то не только у русской литературы, но и у мировой:

> Неправильно поступают критики, когда доказывают, что представители наших национальных советских литератур учатся только у русской литературы. Национальные писатели учатся не только у Пушкина и Толстого, но и у Бальзака и Шекспира, не только у Горького, Маяковского и Шолохова, но и у многих других представителей социалистической литературы у нас в стране за рубежом [Там же: 83] (Иззат Султанов).

Так, например, «татарская поэзия, испытав на себе влияние русской, западноевропейской и восточных литератур, создала в прошлом самые различные стилистические направления. Эти направления и явились основой стилистического развития советской татарской поэзии» [Там же: 84] (Роберт Бикмухаметов).

Более того, оказалось также, что эти традиции не только реалистические, но и те, что считались давно «отмершими»: фольклорно-условная, условно-риторическая и др. Последняя еще недавно была постоянным объектом критики. Накануне открытия Второго съезда писателей Николай Тихонов со страниц «Правды» учил поэтов Средней Азии, что

> стих, которым так искусно владели выдающиеся поэты древности, — все эти сложные, изощренные ритмы, гиперболические образы, игра внутренних рифм, чрезмерная пышность описаний, выспренность при изображении переживаний героев, — не может быть целиком перенесен в поэзию наших дней как продолжение поэтических традиций...[4];

что «невозможно представить себе, что строитель Ферганского канала или крестьянин, Герой Социалистического Труда, изображены, как Фархад, а ком-

4 *Тихонов Н.* За новый подъем советской многонациональной литературы // Правда. 1954. 17 июля.

сомолка воспета в такой же манере, как легендарная Ширин»[5]. «Поэты Востока» осуждались за то, что

> берут от прошлого одну патетику и насыщают этой патетикой свои стихи так густо, что современная тема завешивается как бы неким пестрым, тяжелым туманом, теряет видимые связи с действительностью... все еще находится в плену архаики, в плену устарелых, отживших форм...[6]

По словам Тихонова, у них есть стихи, «где восточная условная образность, пышность, велеречивость окутывают содержание, как облаком»[7].

Спустя всего пять лет утверждалось нечто прямо противоположное. Оказалось, что

> условно-риторический стиль оставил не только дурные традиции. Существуя на протяжении тысячелетий, он выработал немало непреходящих эстетических ценностей, покушаться на которые — означает поднимать руку на самое существо некоторых восточных литератур [Там же] (Бикмухаметов).

Еще более неортодоксальной стала прямая защита романтизма в национальных литературах:

> В литературах украинской, азербайджанской, узбекской, армянской, грузинской, таджикской и некоторых других романтизм существовал не только как определенное историко-литературное направление. Романтизм в этих литературах составляет национальную стилевую тенденцию, которая неизменно сопутствует литературному развитию. Неразрывность романтической формы искусства с национальной литературной традицией, вернее, слитность романтической традиции и национального стиля придавали романтизму особое идейное и эстетическое содержание. В романтических красках, в романтической форме искусства светилась реальная жизнь [Там же: 85] (Георгий Ломидзе).

Иными словами, не только отстаивалась национальная специфика, но и оспаривался «реалистический» императив.

К началу 1970-х годов рассуждения о «своеобразии национальных литератур» приобрели повсеместный характер. Даже там, где раньше подчеркивалось исключительно «единство», теперь обнаружилось «многообразие», под которое подводилась необходимая историческая база и доминирующей становится концепция соцреализма как «исторической открытой эстетической системы» [Марков 1970].

Еще в 1954 году Тихонов предлагал национальным авторам чуть ли не отказаться от собственного фольклора ради учебы у русских классиков:

> Вопрос о поэтическом наследстве и об использовании фольклора поэтами очень непрост. И здесь важнейшее значение имеет проблема освоения передовых традиций русской литературы. Мы можем видеть, какое богатство тем и образов черпали классики из народного творчества, как проникают традиции Горького и Маяковского в наши национальные литературы[8].

---

5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 *Тихонов Н.* За новый подъем советской многонациональной литературы.

К началу 1970-х годов национальные традиции литератур Кавказа, Северного Кавказа и Средней Азии стали наконец возводить не столько к русской литературе, сколько к литературам Турции и Персии, что было совершенно немыслимо в сталинское время [Юсуфов 1972: 332—333, 336].

Итак, именно в Москве начались процессы либерализации на уровне институций, оформляющего их эстетического дискурса и порождаемых ими художественных практик, которые формировали две прямо противоположные системы — имперскую и неимперскую (на национальных окраинах она неизбежно становилась антиимперской). Между ними произошло разделение функций. Если память о преступлениях империи против национальных культур хранилась в республиках, то антиимперский дискурс формировался именно в Москве, где для этого сложились условия. Если в республиках культивировался комплекс виктимности и, соответственно, антиколониальный национальный дискурс, где доминировали ресентимент, обида, скорбь, то в Москве на официальном уровне транслировался и поддерживался интернационалистский дискурс, где доминировали идеи национального разнообразия, «взаимодействия и взаимообогащения». Все это питало тот эксплозивный потенциал, который на волне либерализации привел к взрыву национализмов и распаду советской империи.

Библиография / References

[Марков 1970] — *Марков Д.* Генезис социалистического реализма. Из опыта южнославянских и западнославянских литератур. М.: Наука, 1970.

(*Markov D.* Genezis sotsialisticheskogo realizma. Iz opyta yuzhnoslavyanskikh i zapadnoslavyanskikh literatur. Moscow, 1970.)

[Творческая практика 1959] — Творческая практика и теоретическая мысль (Всесоюзное совещание по вопросам социалистического реализма) // Вопросы литературы. 1959. № 6. С. 61—92.

(Tvorcheskaya praktika i teoreticheskaya mysl' (Vsesoyuznoe soveshchanie po voprosam sotsialisticheskogo realizma // Voprosy literatury. 1959. No. 6. P. 61—92.)

[Юсуфов 1972] — *Юсуфов Р.Ф.* Расцвет национальных литератур и обогащение общесоветской художественной традиции // Единство, рожденное в борьбе и труде. Новая историческая общность людей — советский народ и литература социалистического реализма / Ред. В.В. Озеров, М.Н. Пархоменко, В.Р. Щербина. М.: Известия, 1972.

(*Usufov R.F.* Rastsvet natsional'nykh literatur i obogashchenie obshchesovetskoy khudozhestvennoy traditsii // Edinstvo, rozhdennoe v bor'be i trude. Novaya istoricheskaya obshchnost' lyudey — sovetskiy narod i literatura sotsialisticheskogo realizma // Ed. by V.V. Ozerov, M.N. Parkhomenko, V.R. Shcherbina. Moscow, 1972.)

[Berlin 2000] — *Berlin I.* The Arts in Russia under Stalin // The New York Review. 2000. October 19.

Мария Майофис, Илья Кукулин

Позднесоветская литература об этнических депортациях в полемике с советским романом воспитания[1]

Maria Mayofis, Ilya Kukulin

Late Soviet Literature on Ethnic Deportations in Controversy with the Soviet Novel of Education

Мария Майофис (Амхерст-Колледж (США), приглашенный профессор; кандидат филологических наук) mmaiofis@gmail.com.

Илья Кукулин (Стэнфордский университет (США), приглашенный преподаватель; кандидат филологических наук) ikukulin@gmail.com.

Ключевые слова: роман воспитания, этнические депортации в СССР, Семен Липкин, Анатолий Приставкин, постколониальные исследования литературы

УДК: 821.161.1, 82-1/-9, 82-311.6
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_255

В русской литературе 1980-х были сформированы несколько моделей постколониального и посттравматического романа воспитания (Bildungsroman), которые были «вытеснены» (в психоаналитическом смысле) и забыты в ходе постсоветских трансформаций исторического сознания общества. В этой статье обсуждаются две повести: «Декада» Семена Липкина (1979—1980) и «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина (1981). В центре сюжета обеих этих повестей — депортации народов Северного Кавказа, осуществленные по решению Сталина и советского руководства в 1944 году: у Приставкина речь идет о чеченцах, у Липкина — о вымышленном народе тавларов, обобщающем черты нескольких депортированных этносов. Оба произведения имеют гибридную жанровую природу, и в обоих авторы независимо друг от друга переосмысляют элементы классического и советского Bildungsroman — так, что обе повести имеют значимые параллели с англоязычными постколониальными романами воспитания, созданными в начале XXI века. Анализируя повесть Липкина, мы специально останавливаемся на значении декад литературы и искусства — важной формы парадной репрезентации «дружбы народов», необходимой для осуществления советской национальной политики.

Maria Mayofis (PhD.; Visiting Assistant Professor, Amherst College (USA)) mmaiofis@gmail.com.

Ilya Kukulin (PhD.; Visiting Faculty, Stanford University (USA)) ikukulin@gmail.com.

Key words: Bildungsroman, ethnic deportations in the USSR, Semion Lipkin, Anatoly Pristavkin, postcolonial literary history

UDC: 821.161.1, 82-1/-9, 82-311.6
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_255

Authors of Russophone literature of the 1980s elaborated one or more models of the postcolonial and post-traumatic Bildingsroman, which were “suppressed” (in Freudian sense) and forgotten in the course of the post-Soviet transformations of society’s historical consciousness. This paper discusses two novellas: *The Decade* by Semyon Lipkin (1983) and *The Inseparable Twins* by Anatoly Pristavkin (1981). The basis of both novellas’ plots is deportation of the peoples of the North Caucasus, initiated by Stalin and the other Soviet leadership in 1944: Pristavkin’s story concerns the Chechens, Lipkin’s one — the fictional nation of Tavlars, which summarizes the features of several deported ethnic groups. Both works are of a hybrid genre, and both authors independently revisit elements of the classical and Soviet Bildungsroman, so that their novellas have significant parallels with English-language postcolonial Bildungsromans created at the beginning of the 21st century. When analyzing Lipkin’s novella, we particularly discuss the significance of “decades of literature and art” — an important form of ceremonial representation of the “friendship of peoples” necessary for the implementation of Soviet national politics.

1 Благодарим за ценные консультации Е.А. Добренко и К.К. Султанова.

Сегодня в русистике все более энергично раздаются призывы развивать новые, пост- и деколониальные подходы к изучению русскоязычной литературы и литератур других народов России. Наиболее заметная часть этой работы — анализ и разоблачение экспансионистских и «государствоцентрических» мотивов в произведениях разных эпох. Такие разоблачительные сюжеты вызывают, вероятно, наибольшие споры и в академических кругах, и за их пределами. Мы полагаем, однако, что сегодня важно выявить различные типы постколониального и деколониального письма, *уже присутствующие* в русской литературе, но прежде не опознанные и даже вытесненные из публичного поля в 1990—2020-е годы.

В этой статье мы надеемся показать, что в русской литературе 1980-х были сформированы несколько моделей постколониального и посттравматического романа воспитания, которые были «вытеснены» (в психоаналитическом смысле) и забыты в ходе постсоветских трансформаций исторического сознания общества. По справедливому замечанию Н.Е. Копосова, травмирующие антисталинистские публикации периода перестройки воспринимались в кругах интеллигенции и политических активистов прежде всего как инструмент делегитимации политического режима [Копосов 2011: 111—136, 179—180]. После того как в начале 1990-х в стране сменилась система власти, большинство педагогов, журналистов, популяризаторов не имели интеллектуальных инструментов для соотнесения описания травм прошлого и событий настоящего, поэтому в популярной культуре конца 1990-х — 2000-х годов репрессии сталинского времени изображались словно бы с далекой эпической дистанции [Дубин 2006]. Сегодня перечтение позднесоветских постколониальных романов воспитания открывает новые возможности для того, чтобы российская культура стала более открытой и диалогичной, чем прежде.

1

Повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» (1981) и Семена Липкина «Декада» (1979—1980) написаны почти одновременно. Оба эти произведения не могли быть опубликованы в СССР до периода перестройки; повесть Приставкина была издана в 1987-м, Липкина — в 1989-м. Обе они достаточно известны, особенно первая: в 1990-е годы «Ночевала тучка» была включена в программы по литературе для российских школ и сохраняется там и сегодня[2]; впрочем, неизвестно, что будет после объявленного в 2023 году радикального пересмотра списка литературных произведений, изучаемых в школе[3].

---

2 В разных программах эту повесть предполагается изучать в разных классах в диапазоне от 7-го до 10-го. Планы «типовых уроков» по повести Приставкина в интернете см.: https://tinyurl.com/muabvte8 (дата обращения: 03.03.2024); https://infourok.ru/urokrazdume-v-klasse-po-povesti-a-i-pristavkina-nochevala-tuchka-zolotaya-2096128.html (дата обращения: 03.03.2024). О преподавании романа Приставкина в школе регулярно публикуются статьи в специализированных журналах, см.: [Курбатова 2007; Подкопаева 1989; Ребель 2003] и пр.

3 См.: *Гордеев В.* Школьную программу по литературе расширили советскими писателями // РБК. 2023. 26 апреля (https://www.rbc.ru/society/26/04/2023/64496eb89a7947a88abd9dc1 (дата обращения: 03.03.2024)).

В обзорных статьях и главах книг о русской литературе периода перестройки «Ночевала тучка...» и «Декада» обычно перечисляются через запятую — среди художественных произведений, осмысляющих сталинские репрессии и, в частности, этнические депортации в СССР. Формально говоря, это правильно, однако такая констатация лишь в очень малой степени позволяет увидеть своеобразие эстетической и этической проблематики обоих этих текстов. Это своеобразие становится заметным именно при сопоставлении двух повестей друг с другом. Несмотря на большое количество критических работ о Приставкине[4] (впрочем, научных работ о его повести совсем немного), такого сопоставления до сих пор сделано не было.

В этой статье мы попробуем предложить эскизный анализ обоих произведений и показать, что на их поэтику оказала существенное влияние эстетическая и моральная традиция, стоящая за европейским романом воспитания (Bildungsroman) XVIII—XX веков, и частично, с большими трансформациями, усвоенная советским романом воспитания, а затем — что параллели между этими сочинениями объясняются частичным сходством задач, которые решали два писателя.

2

Повесть «Декада» была написана в 1979—1980 годах и впервые вышла в нью-йоркском издательстве «Chalidze Publications» в 1983 году [Липкин 1983][5]. По-видимому, работать над ней Семен Липкин начал вскоре после того, как он и его жена Инна Лиснянская вышли из Союза писателей СССР в знак протеста против исключения из этой организации Виктора Ерофеева и Евгения Попова — молодых писателей, которые вместе с Лиснянской и Липкиным приняли участие в неподцензурном альманахе «Метрополь»[6]. После этого поступка Липкин и Лиснянская остались без легальных средств к существованию — но и перестали зависеть от советских цензурных инстанций. Иначе говоря, повесть была написана, скорее всего, сразу для публикации в тамиздате. Липкин, постоянно стремившийся обойти советскую цензуру с помощью намеков, эзопова языка и других «маневров» (как вспоминал Евгений Витковский, Липкин в начале 1970-х сказал ему: «Я привык с уважением относиться к станку Гутенберга»[7]), здесь дал себе полную свободу — насколько только это было возможно.

Повесть оказалась недооценена в критике — прежде всего потому, что у рецензентов даже в неподцензурных изданиях не было языка для того, чтобы о ней говорить. Характерно, например, что Виктор Некрасов в своей одобри-

4 *Шкловский Е.* Как брат брата: заметки о повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая...» // Правда. 1988. 29 августа. См. также: [Кардин 1987; Лошкарева 1987]. Из научных работ можно назвать, например: [Колядич 1992].

5 В дальнейшем при цитировании повести Липкина все страницы указаны по этому изданию в круглых скобках после цитаты.

6 См. об этом: [Дело «МетрОполя» 2006; Митрохин 2006]. Если быть точными, Ерофеев и Попов формально не были исключены из Союза писателей — после попытки опубликовать в СССР сборник неподцензурной литературы «Метрополь» решение об их приеме не было утверждено вышестоящей организацией Союза. Но, поскольку обычно процедура утверждения происходила автоматически, по сути речь шла именно об исключении.

7 Мемуарный очерк Витковского был помещен на сайте «Век перевода»: https://www.vekperevoda.com/1900/slipkin.htm (дата обращения: 03.03.2024).

тельной по тону и довольно большой по объему рецензии в эмигрантской газете «Новое русское слово» в основном пересказывает содержание повести, почти ее не анализируя[8]. Липкину удалось написать, по-видимому, первое в истории русской литературы произведение, отрефлексированно работающее с постколониальной и постимперской проблематикой — всего через два года после того, как в издательстве «Pantheon Books» вышла книга Эдварда В. Саида «Ориентализм», один из первых манифестов постколониальной теории (1978). В литературном же отношении повесть Липкина представляет собой сложный и необычный жанровый и стилистический гибрид[9].

Место действия повести — вымышленная советская автономная республика Гушано-Тавлария (второе слово — от тюркского «тав» — гора; «тавлар» — горы), объединяющая черты нескольких автономных областей или республик, образованных в 1920—1930-е годы для проживания двух этнических групп. Так были сформированы Чечено-Ингушская и Кабардино-Балкарская АССР и Карачаево-Черкесская автономная область[10]. Из этих групп в период Второй мировой войны чеченцы, ингуши, карачаевцы и балкарцы были полностью депортированы в Среднюю Азию по обвинению в коллаборационизме, кабардинцы — частично[11]. Согласно воображаемой географии Липкина, Гушано-Тавлария находится где-то поблизости с Чечено-Ингушетией.

Гушаны и тавлары изображены в повести одновременно с двух точек зрения. Прежде всего, это два мусульманских кавказских народа, которые подвергаются специфически советской модернизации. Политические и культурные элиты этих народов изображены большей частью с нескрываемым сарказмом, непривилегированные персонажи — с глубоким сочувствием и подробными объяснениями для читателей специфически кавказских и исламских «подтекстов» их высказываний, поступков и решений. В 1944 году тавларов выселяют в Киргизию по голословному обвинению в сотрудничестве с гитлеровцами, которые ненадолго захватывают столицу республики — Гугирд. В повести подробно изображены страдания тавларов в изгнании. После XX съезда КПСС тавларам разрешают вернуться на родину.

Другой ракурс изображения гушанов и тавларов — неомифологический. И по сюжетным отступлениям в далекую древность, и по манере письма по-

---

8 *Некрасов В.* Познакомимся с прозаиком Липкиным // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1983. 12 июня. № 26158. Перепечатано в журнале «Вопросы литературы»: 1997. № 3. С. 324—326.

9 В этой статье мы опираемся на результаты ранее предпринятого анализа: [Кукулин 2012: 878—883].

10 Хаджи-Мурат Сабанчиев полагает, что тавлары — просто эвфемизм, примененный Липкиным для обозначения балкарцев [Сабанчиев 2007]. Мы вслед за П.М. Поляном полагаем, что оба описанных у Липкина народа — все же собирательные образы [Полян 2010: 640]. Этот вывод можно сделать на основании слов самого писателя, который вспоминал о том, что для него была большой травмой депортация всех горских народов Северного Кавказа, и сказал об этом, в частности, в открытом письме к руководству союзов писателей СССР и РСФСР по поводу гонений на авторов альманаха «Метрополь» [Липкин 2008: 179]. Фрагмент из письма Липкина косвенно подтверждает связь между отказом поэта от соблюдения советских литературных конвенций и возникновением замысла «Декады».

11 Из кабардинцев по распоряжению Л.П. Берии были без суда депортированы около двух тысяч человек, обвиненных Берией в сотрудничестве с нацистами. Общий очерк истории этих депортаций см., например: [Полян 2001: 116—131].

весть Липкина напоминает произведения авторов неомифологической прозы, или литературы магического реализма: романа Томаса Манна «Иосиф и его братья» и произведений латиноамериканских писателей[12]. Неомифологизм в 1970-е годы был очень модным среди советской критически настроенной интеллигенции, и, что особенно важно, лучше всего привился именно в советских литературах Кавказа — прежде всего в грузинской[13]. Вся 6-я глава «Декады» представляет собой «изложение» исторического мифа гушанов, придуманного Липкиным, по-видимому, на основании доступных ему исследований зороастризма и доисламского пласта мифологии адыгов — группы кавказских этносов, в который входят, в частности, черкесы и кабардинцы[14]. Для понимания приведенной далее цитаты нужно знать, что в центре Гушано-Тавларской АССР стоит священная двуглавая гора Эльбавенд, «срисованная» с Эльбруса[15].

> ...Не умерло старинное имя гушанов: так продолжало себя называть небольшое племя, поселившееся у подножья Эльбавенда, той двуглавой горы, где когда-то кузнец Кова приковал к скале царя-змея. Платили гушаны дань Руму (Византии. — *М.М., И.К.*), и позднее хазарскому кагану, но голову держали высоко, гордились своим происхождением. Христианскую веру принес им Рум, но продолжали гушаны поклоняться огню, как заповедал Зардушт (Заратустра. — *М.М., И.К.*). Забыли гушаны, правда, что огонь создал Ахура-Мазда, Многоведающий, и, хотя отвергли двоичность Ахура-Мазды и Ангра-Манью, познав благодать святой Троицы, трепетали они перед богом огня. Они утверждали: огонь очага соединяет людей, он есть союз. <...> Они пошли за аварцем Шамилем на битву с белым царем, и Русь одолела их, взяла их землю, но не отняла у них огонь. А огонь есть не только тепло очага, сияние светильника и язык человека, огонь есть неугасимая память о прошлом. И еще огонь — память о родстве. Нередко такая память превращается в золу, и зола тлеет, но не гаснет (с. 54, 57).

Этот «авторский миф» выполняет в повести минимум две функции. Он говорит о глубокой древности народов, о которых пишет Липкин, и тем самым придает культурную значимость двум небольшим группам, живущим на окраине империи, сравнимую с русскими и евреями, — что было очень важным для Липкина, который всегда обостренно воспринимал свое еврейство. Один из персонажей повести, горский еврей Авшалумов, сравнивает тавларов и евреев как два народа, изгнанные с родины. Обращаясь к тавлару Мураду Кучиеву, он говорит: «В рассеянии мы остались великим народом. Теперь судьба испытает, — будет ли твой народ великим, изгнанный на чужбину? Что дороже — множество песка или горсть жемчужин?» (с. 68). Вторая функция: образ священного огня, отсылающий к зороастризму, одновременно является

---

12 Липкин мог читать его в переводе Соломона Апта или в оригинале, так как хорошо знал немецкий. Вся анализируемая далее шестая глава по интонации и по обращению к мифологически-древним временам напоминает вступление к «Иосифу и братьям», начинающееся словами: «Прошлое — это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?» (пер. С. Апта).

13 Об общих чертах неомифологической литературы см.: [Мелетинский 2000: 277—372].

14 По современным данным, зороастризм действительно оказал влияние на древние верования некоторых народов Северного Кавказа.

15 У Эльбруса две вершины: Западная и Восточная. Гора находится на территории двух республик в составе России: Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

метафорой подавленной, репрессированной исторической памяти гушанов и тавларов, которая, однако, в будущем обязательно «вспыхнет», то есть оживет вновь.

Повесть Липкина, таким образом, имеет черты неомифологического исторического эпоса, а поскольку речь в ней идет о репрессированных народах, перед нами антитоталитарный неомифологический эпос. Еще один жанровый компонент этого произведения — «роман с ключом». В повести под собственными именами участвуют руководители СССР (Сталин, Маленков, Хрущев) и деятели русской культуры (Федор Сологуб). Некоторые другие персонажи связаны с узнаваемыми, но менее известными историческими прототипами. Тавларский поэт-сказитель Мусаиб Кагарский по своей биографии отчетливо напоминает балкарского поэта Кязима Мечиева (1859—1945), который вместе с другими балкарцами был депортирован в Среднюю Азию и последние свои стихотворения посвятил именно депортации — как и Кагарский из «Декады». Прототип вернувшегося из лагерей чеченского писателя и ученого Анзорова, скорее всего, Халид Ошаев (1897—1977), автор многочисленных романов и пьес и создатель первой версии чеченского алфавита на основе латинской графики, действительно отсидевший в ГУЛАГе в 1937—1953 годах. В изображении руководителей Гушано-Тавларии Липкин использует факты из биографии кабардинского чиновника Зубера Кумехова (1910—1988) — первого секретаря Кабардино-Балкарского областного комитета ВКП(б) и председателя Совета народных комиссаров Кабардино-Балкарской АССР. 25 февраля 1944 года, сразу после депортации чеченцев и ингушей, Кумехов отправился в Грозный, где встретился с руководителями НКВД. На этой встрече он, по-видимому, поддержал предполагаемую депортацию балкарцев и предложил из кабардинцев выслать из республики только несколько тысяч «особо опасных» [Полян 2001: 124]. В повести Липкина история Кумехова разделена между двумя персонажами. Главный партийный чиновник среди гушанов Даниял Парвизов (в начале повести — секретарь обкома по пропаганде, в дальнейшем — первый секретарь обкома Гушанской АССР) спасает свой народ, вовремя подсунув Георгию Маленкову во время конфиденциальной встречи в 1944 году нужную цитату из Сталина (с. 26—27), а глава совнаркома республики тавлар Акбашев тогда же пытается отделаться выселением только части тавларов, но, в отличие от Кумехова, терпит поражение:

> ...дал ему Девяткин совет: когда поедет Акбашев в Москву (подходящий предлог для этого найдем), пусть добьется личного свидания с товарищем Маленковым и вручит ему список тавларов — предателей родины, числом, скажем, в пять тысяч: так, мол, предотвратишь поголовное выселение всего народа, ста тысяч человек. И Акбашев сам, не доверяя подчиненным, составил список, в который вошли пропавшие без вести воины Красной Армии (и их семьи, разумеется), личные недруги Акбашева, предполагаемые или действительные, дальние родственники репрессированных (близкие родственники давно были отправлены в лагеря или в ссылку), несколько сот семей, оставшихся при немцах в Гугирде. И добился Акбашев личного свидания с Маленковым, и вручил ему отпечатанный на меловой бумаге список, и угрюмое бабье лицо Маленкова вроде бы помягчело, но нет, не помог список, плохой совет дал Девяткин, копию списка отправят в Казахстан, и Акбашева — в Казахстан, Акбашева, такого же спецпереселенца, как и весь его народ, только в мягком вагоне он поедет. Или в купейном? (с. 24)

Возможно, Липкин рассчитывал, что среди его читателей будут и такие, кто знает историю Кумехова — и они поймут его намек: судьба депортированных народов полностью зависела от произвола Сталина, Берии и иных советских руководителей. Попытки «спасти свой народ» могли привести к успеху только в результате случайности, а не в результате «правильно» или «неправильно» выбранной стратегии.

Наконец, еще один жанровый компонент повести — роман воспитания. В повести два главных героя. Первый из них — Станислав Бодорский, неподцензурный поэт и переводчик гушанских и тавларских писателей, объединяющий в себе узнаваемые черты Арсения Тарковского и, менее заметные, самого Липкина[16]. Второй — тавларский мальчик Алим Сафаров, родившийся, видимо, в начале 1930-х (у него, насколько можно судить, нет очевидных реальных прототипов). Подростком он уходит в изгнание вместе со своим народом, а позже, повзрослев, становится русскоязычным писателем, постоянно играющим с советской цензурой, чтобы все-таки прорваться в печать с историями, опирающимися на травматическую память тавларов.

Главы о взрослой жизни Сафарова показывают *становление гибридного постколониального интеллектуала в советском контексте*[17]. Понятие постколониального интеллектуала впервые обосновал Эдвард Саид в своем эссе 1986 года, где доказывал, что такие авторы бросают вызов общепринятым клише, выражающим отношение представителей метрополии к колониальному Другому [Said 1986][18]. Энгин Исин пишет:

> То, что делает постколониальных интеллектуалов постколониальными — это понимание их места в имперско-колониальном порядке. А то, что делает их интеллектуалами — это понимание их позиции в режимах знания-власти. <...> Постколониальные интеллектуалы подрывают (traverse) и позиции господства, и позиции подчинения [Isin 2018: XI—XIV][19].

Mutatis mutandis все эти определения применимы и к Сафарову: он старается определить — точнее, создать заново — свое место в отношениях имперского центра и колониальной по сути автономной республики. Дневник Сафарова показывает: он хорошо осознает, насколько советские репрезентации жизни тавларов являются инсценировкой, направленной на поддержание существующих отношений культурной и политической власти.

Сафаров оказывается важнейшим интеллектуальным собеседником Бодорского. И в реальной жизни, и в воображении Бодорского они говорят на тему, которая в начале 1980-х была, а сегодня, в 2020-х, вновь становится жгуче

---

16 Бодорский уверен в том, что происходит из древнего кавказского рода, чьи потомки переселились в Польшу и стали шляхтичами. Подобную же историю любил рассказывать о себе и Тарковский (подробнее см.: [Султанов 2019]). Сцена встречи юного Бодорского с Федором Сологубом, по-видимому, основана на дословной записи (Липкиным) мемуарных рассказов Тарковского, который пришел в гости к Сологубу, чтобы показать свои стихи, в 1926 году, за год до смерти мэтра.

17 По-видимому, не случайно герой носит имя Алим: скорее всего, Липкин помнил о семантике этого арабского по происхождению мусульманского имени — «ведающий», «знающий».

18 О современном состоянии дискуссий см.: [Ponzanesi 2021].

19 Здесь и далее, если иного не оговорено, перевод иноязычных цитат выполнен авторами статьи.

болезненной: возможно ли сохранение многонационального государства после тех репрессий, которые центральная власть обрушила на народы Северного Кавказа — и далеко не только на них, и после тех эксцессов, которые сопровождали их возвращение? В «Декаде» изображены и травма изгнания (на примере тавларов), и травма возвращения, повлекшего за собой конфликты с новыми жителями опустевших сел и городов — на примере чеченцев. Липкин едва ли не единственный русскоязычный писатель, изобразивший массовые беспорядки в Грозном в августе 1958 года, вызванные столкновениями чеченцев, возвращавшихся на родину из ссылки, и русских, которые были поселены на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР[20]. По-видимому, Липкин знал об этих событиях или как непосредственный свидетель, или «из первых рук», но соединил — вполне сознательно — описания волнений в Грозном в 1958 году и в Новочеркасске в 1962-м[21]. Формально финал повести относится к концу 1950-х годов, однако внутренний монолог Бодорского в нем плавно переходит в размышления повествователя в настоящем времени — так, что они разворачиваются словно бы одновременно и в конце 1950-х, и в конце 1970-х:

> Неужели Алим Сафаров — некий предвестник некоего возрождения? Но возможно ли возрождение после событий в Грозном? Никогда еще не было у нас такой ненависти мусульманских народов к русским, русских — к инородцам. <…> О, вершины кавказских гор, придет смутный день, и вы оторветесь от России, но вы будете по ней тосковать, по моей бедной России, бедной моей России (с. 184).

Это темпоральное «раздвоение» подготовлено предшествующей сценой минутного секса писателя Мансура Азадаева и чехословацкой журналистки Власты; по демонстрируемой всеми участниками событий легкости нравов эта ситуация могла произойти в СССР только после сексуальной революции 1960-х годов. Да и возлюбленная Сафарова Оля напоминает молодых интеллектуалок не 1950-х, а скорее 1970-х годов. Ее стихи — «входящий в моду верлибр» (с. 177); мода на верлибры в русской поэзии стала распространяться в 1960—1970-е [Гаспаров 2000: 283].

3

Классический роман воспитания (Bildingsroman) сложился в европейских литературах, прежде всего в немецкой, в XVIII — начале XIX века. Уже в XVIII—XIX веках европейские нарративы воспитания (Bildung) были переосмыслены

---

20 Об этих волнениях см.: [Козлов 2006: 204—234]. После депортации чеченцев и ингушей в 1944 году территория Чечено-Ингушской АССР была разделена между Грузинской ССР, Северо-Осетинской АССР и Дагестанской АССР, а на оставшейся части была образована Грозненская область. В 1957 году Чечено-Ингушская АССР была юридически восстановлена, но в других границах — в частности, переданный Северной Осетии в 1944 году Пригородный район не был возвращен в состав республики.

21 Так, Липкин сделал командующим расстрелом толпы в Грозном реальное историческое лицо — генерала Иссу Плиева. Однако он командовал войсками при подавлении волнений в Новочеркасске, но не в Грозном. В липкинской версии событий в город входят танки, чего не было в Грозном, но было в Новочеркасске. Однако начало бунта в Грозном Липкин описывает довольно близко к тому, как его описывают современные историки на основании данных следствия.

в русской культуре — в результате появляется русский роман воспитания (характерный ранний пример — «Капитанская дочка» Александра Пушкина) [Steiner 2011]. Жанровая конвенция романа воспитания предполагает, что герой или героиня на пути взросления проходит через множество испытаний, но в конце обретает новую мудрость и новую связь с сообществом, к которым и вели его эти испытания [Kontje 2019][22]. Франко Моретти полагает: роман воспитания возникает потому, что юность (молодость) как переходное состояние в XVII—XVIII веках превращается в социальную проблему. Одновременно изображение взросления и связанных с ним поисков становится символической формой, изображающей перипетии модернизации [Moretti 1987][23].

Сафаров в процессе катастрофических испытаний — депортации тавларов — переживает вхождение в мировую культуру, то есть устанавливает связь со всеобщим, и в этом смысле сюжетная линия Сафарова — это Bildungsroman во вполне классическом значении этого понятия. В повести Липкина очень важна роль ссыльного университетского тюрколога Николая Гензельта, который рассказывает Сафарову историю Евразии как набор переплетающихся многотысячелетних сюжетов, пересказывает ему Геродота и древних китайских историков. Более того, в младшем поколении персонажей Сафаров единственный, кто переживает процесс Bildung. Гушанские писатели примерно того же возраста, которые взрослеют одновременно с Алимом — Мансур Азадаев и Мухаббат Хизриева — выглядят провинциальными интриганами, готовыми послушно играть по советским правилам и, более того, кажется, не умеющими жить иначе, но не потому, что они гушаны, а потому, что они конформисты, только и умеющие, что пользоваться конъюнктурой.

Однако, в отличие от ситуации классического Bildungsroman, Сафаров и в финале повести не может достичь целостного самосознания: он по-прежнему не понимает, как быть тавларом и как быть писателем. Он признается себе в том, что плохо знает тавларский — потому что вырос в ссылке, где вокруг многие говорили по-русски, — и даже Коран может читать только в русском переводе.

В повести приведены фрагменты его дневника:

> Что бы я ни писал, даже смешное, даже будничное, — есть моя молитва Богу. Так не все ли равно, на каком языке я молюсь, на русском или тавларском? Почему же мои соплеменники недовольны тем, что я пишу по-русски? Разве от этого я становлюсь менее тавларом, чем они? Разве они, забывая Бога, — а они его забывают, — могут оставаться тавларами? Разве они могут оставаться тавларами, будучи рабами? А они — рабы (с. 178).

От Алима в его Bildung постоянно требуется экзистенциальное усилие: он стремится осмыслить и полученную тавларами коллективную травму, и историю этого этноса — но отказывается от национализма и возврата к патриархальному сознанию. Травма Алима, по сути, имеет постколониальный смысл: он осознает для себя значение российской культуры и становится русскоязычным писателем — и хорошо понимает, что его народ депортировали солдаты, действовавшие по приказу московских властей. Он мог бы стать или конформи-

22 См. также: [Selbmann 1994].

23 См. особенно с. 18—24 о «Годах учения Вильгельма Мейстера».

стом, или консервативным националистом, но отказывается быть и тем, и другим: для того, чтобы преодолеть эту дихотомию, он стремится стать неподцензурным писателем, говорящим о неупоминаемой публично травме тавларов. От этого решения его отговаривает Бодорский. Удивительно, что решение не уходить в самиздат принимает персонаж неподцензурной повести — но в подцензурной литературе оно не могло бы и обсуждаться. Бодорский уговаривает Сафарова принять участие в декаде гушано-тавларской культуры и искусства, которая должна пройти в Москве, по-видимому, в 1958 году.

Вопрос об участии в декаде приобретает для Сафарова экзистенциальный характер. Участие означало сохранение себя в публичном, подцензурном поле, то есть согласие хотя бы отчасти играть по правилам советской литературы. Сафаров сначала отказывается, но потом соглашается — после долгих размышлений, артикулированных в дневнике:

> У тебя, если ты совестлив, есть только одна жалкая, грязная возможность: служить [советской власти] плохо. Я буду служить плохо. Служить не как верная Личарда и не как продажный Фуше. Служить, как колхозники-тавлары служили в «Мече революции» (колхоз для ссыльных в Киргизии. — *М.М., И.К.*), как и сейчас служат все колхозники на общественных полях. И только на своем приусадебном участке, — на своих страницах, — я буду служить преданно и честно, служить Истине. Боже, не игру ли я затеваю? Я поеду на декаду (с. 183).

Таким образом, обе декады гушано-тавларской культуры, изображенные в повести, становятся своего рода «пробным камнем» для Бодорского, а вторая — еще и для Сафарова. Своим согласием на участие, своим взаимодействием с местными культурными элитами, установлением этических границ, которые они готовы или не готовы перейти — они переводят это внешнее событие в разряд внутренних, индивидуальных испытаний. Для того чтобы понять, почему Липкин поставил два этих культурных фестиваля в центр своей повести, необходимо разобраться в том, какое значение декады национальных культур имели в советской культурной политике 1930—1960-х годов.

4

В советской иерархии праздников декада считалась высшей формой репрезентации — и инсценировки — культур национальных и автономных республик в Москве. Гораздо реже декады проводились не в Москве, а в столицах союзных республик, но и в этом случае предметом репрезентации была *другая* культура (например, декада белорусского искусства в Узбекистане в 1966 году). Декады искусства, или декады литературы, или декады культуры и искусства автономных и союзных республик СССР в Москве проходили регулярно с 1930-х до 1960-х годов. Иногда, если речь шла не о союзных, а об автономных республиках в составе РСФСР, они могли называться «показами культуры и искусства» такой-то республики, но суть от этого не менялась. Они включали в себя гастроли театральных и танцевальных коллективов, оркестров, премьеры новых фильмов, выступления писателей, художественные выставки.

Декады национального искусства считались в СССР важным инструментом культурного менеджмента [Kaplan 2020]. Так, выступая с установочным докладом на Первом съезде художников СССР в феврале 1957 года, официозный

художник Борис Иогансон утверждал: «Художники братских республик демонстрируют значительные успехи не только на многочисленных выставках на местах, но особенно на декадах национального искусства в Москве и на всесоюзных выставках»[24]. В переводе с советского бюрократического языка на общепонятный это означало: отбор для участия в декаде был важнейшим способом установки «правильных» иерархий среди художников в национальных республиках — и, конечно, перегруппировки уже существовавших иерархий.

Декады решали еще одну важнейшую задачу — менеджмента национальных напряжений. Так, декада абхазской литературы и искусства в Тбилиси, проведенная 16—26 ноября 1957 года [Прицкер 1981: 30], по-видимому, была призвана урегулировать отношения между абхазскими и грузинскими политическими и культурными элитами после периода принудительного «огрузинивания» абхазов в конце 1940-х — начале 1950-х годов (перевод абхазского языка на грузинский алфавит, перевод школьного обучения на грузинский язык и пр.). В 1953—1956 годах меры по насильственному «огрузиниванию» были постепенно отменены, но без каких-либо публичных деклараций. Характерно, что декада грузинской культуры в Москве — в которой участвовали и абхазские художники — была проведена сразу после декады абхазской культуры в Тбилиси: таким образом и грузинским, и абхазским элитам было отправлено сообщение о том, что грузинская культура имеет большое значение для центральной власти, однако национальная политика в Грузии в дальнейшем будет — или должна стать — более сбалансированной.

После установления режимов «народной демократии» в странах Восточной Европы советские администраторы начали организовывать в СССР имевшие аналогичную функцию декады культуры и этих стран: они совмещали парадную презентацию и решали политически-менеджерские задачи. Так, в июне — июле 1957 года были проведены декады культуры Литовской ССР в Польше и польской культуры в Литве[25]. Сделано это было, очевидно, чтобы по возможности улучшить отношения между политическими и культурными элитами двух стран, сильно испорченные в предшествующее десятилетие. Руководство Литовской ССР в конце 1940-х — начале 1950-х годов развернуло репрессии против этнических поляков и польской культуры — скорее всего, по собственной инициативе, а не по указке из Москвы. «В течение 1949—1950 годов все [польские] школы были переведены на литовский или русский язык обучения. <...> Поляки были вытеснены практически со всех руководящих должностей» [Зубкова 2008: 160]. В октябре 1950 года ЦК ВКП(б) даже пришлось принимать специальное постановление, чтобы одернуть своих литовских подчиненных [Там же: 161]. Вероятно, эти две декады были особенно необходимы советскому руководству после прихода к власти в Польше в октябре 1956 года коммунистов-реформаторов во главе с Владиславом Гомулкой.

Очевидно, что такие мероприятия должны были готовиться с пристальным вниманием к персональному составу участников. Так оно и было. Из подробного отчета о республиканском совещании работников литературы и искус-

---

24 *Иогансон Б.В.* Состояние и задачи советского изобразительного искусства // Советская культура. 1957. 1 марта. С. 2.

25 См.: [*Б.а.*] Декада литовской культуры в Польше // Советская культура. 1957. 27 июня. С. 1; [*Б.а.*] Закончилась декада польской культуры в Литве // Литературная газета. 1957. 2 июля. С. 1.

ства Грузии, проведенного в начале октября 1957 года в Тбилиси, можно видеть, что на нем писателей и художников энергично делили на «агнцев» и «козлищ» (главным «грешником» был объявлен драматург Виктор Габескирия, публичное поношение которого, видимо, должно было напугать всех остальных), и от художников всех видов искусства требовали создания шедевров, которые могли бы способствовать наилучшему представлению республики на декаде грузинского искусства в Москве, которая должна была состояться — и прошла — через полгода, 21 марта — 1 апреля 1958 года[26]. Стратегией республиканских властей стала привычная для Советского Союза штурмовщина, но важно, что декада понималась как культурный аналог республиканской выставки на ВДНХ в Москве.

По-видимому, такое отношение к декадам было характерно и для других региональных элит. Поэтому вполне правдоподобно выглядит эпизод повести Липкина, в котором гушанские поэты-соцреалисты Мансур Азадаев и Мухаббат Хизриева плетут друг против друга интриги, чтобы не допустить своего конкурента до участия в декаде (с. 170—174). Липкин был одним из первых писателей, сказавших о роли локальных элит в конструировании лояльных советских версий национальных культур («социалистических по содержанию»).

Если посмотреть на список декад, видно, что они распределены во времени очень неравномерно — и не только из-за Второй мировой войны. Можно выделить две волны декад. В рамках каждой из этих волн решались разные задачи.

Первая волна приходится на 1936—1941 годы: в нее входят декады украинского (март 1936-го), казахского (май 1936-го), грузинского (январь 1937-го), узбекского (май 1937-го), азербайджанского (апрель 1938-го), кыргызского (май — июнь 1939-го), армянского (октябрь 1939-го), белорусского (июнь 1940-го), бурятского (октябрь 1940-го) и таджикского (апрель 1941-го) искусства. Эти декады были направлены, по-видимому, на презентацию искусства национальных республик, только что «отформатированного» на основании новых принципов культурной политики — сочетания перформативной национальной экзотики и социалистического реализма («национальная по форме, социалистическая по содержанию»). Это «форматирование» анализирует в своей диссертации Исабель Каплан, подробно показывая, как была организована декада азербайджанского искусства в 1938 году и как она повлияла на культурную жизнь СССР [Kaplan 2017: 136—182]. На декаде белорусского искусства в июне 1940 года в Москве были представлены оркестры и хоры из Восточной и из Западной Беларуси, только что — в сентябре 1939 года — аннексированной СССР по результатам вторжения в Польшу [Kaplan 2020: 83].

В послевоенные годы декады изредка проводились, но на 1955—1960 годы приходится вторая волна, когда эти помпезные мероприятия следовали друг за другом довольно часто: за декадой белорусской литературы и искусства (февраль 1955-го) последовали «показы», посвященные советским культурам Башкирии (июнь 1955-го), Туркмении (октябрь 1955-го), Латвии (декабрь 1955-го), Армении (май — июнь 1956-го), Эстонии (декабрь 1956-го), Таджикистана (апрель 1957-го), Татарии (май — июнь 1957-го), Кабардино-Балкарии (июнь — июль 1957-го), Адыгеи и Карачаево-Черкесии (октябрь 1957-го), Якутии (де-

26 *Корреспондент «Советской культуры»* [sic!]. Советский художник живет одной жизнью с народом. На республиканском совещании работников литературы и искусства Грузии // Советская культура. 1957. 8 октября. С. 2.

кабрь 1957-го), Грузии (март — апрель 1958-го), Киргизии (октябрь 1958-го), Казахстана (декабрь 1958-го), Узбекистана (февраль 1959-го), Азербайджана (май — июнь 1959-го), Карелии (август — сентябрь 1959-го), Бурятии (ноябрь — декабрь 1959-го), Дагестана (апрель 1960-го), Молдовы (май — июнь 1960-го), Северной Осетии (август — сентябрь 1960-го), Украины (ноябрь 1960-го).

Декады второй волны, насколько можно судить, были нужны для урегулирования тех напряжений, которые возникли в результате репрессивной политики Сталина — в частности, этнических депортаций, уничтожения интеллигенции в автономных и союзных республиках, избирательной дискриминации. Подготовка таких декад вынуждала думать и говорить о репрессированных художниках и о разгроме целых культурных сообществ во время Большого террора. В 1959 году к предстоящей декаде узбекской культуры, которая должна была пройти в Москве, в Ташкенте был издан сборник переводов сосланных в Узбекистан крымско-татарских писателей «Дни нашей жизни»[27]. Подготовка к декаде украинской культуры в 1960 году заставила украинских писателей вспомнить о «расстрелянном возрождении» — масштабном движении украинского модернизма 1910-х — 1930-х годов[28]. Важнейшие представители украинского модернизма были расстреляны в карельском урочище Сандармох в 1937 году.

В случаях, когда такие декады проводились дважды или трижды на протяжении 1930—1950-х годов — как, например, украинская, казахстанская или грузинская, — оттепельные культурные фестивали должны были быть довольно болезненными для тех, кто помнил предыдущие декады — и о том, кто из их участников в дальнейшем исчез и, пользуясь выражением из русского перевода Дж. Оруэлла, превратился в нелицо.

Особенно заметным было присутствие недавних травм в декадах — «показах» — культуры автономий, население которых прежде подверглось депортациям: Кабардино-Балкарской АССР и Карачаево-Черкесской автономной области. Проведение этих декад было приурочено к организованным в 1957 году юбилейным торжествам по случаю 400-летия «добровольного присоединения к России» народов этих республик. В действительности соответствующие регионы были завоеваны Российской империей в несколько этапов на протяжении XIX века. 400-летие отсчитывалось от военного союза, который заключил в 1557 году верховный князь Малой Кабарды Темрюк с Иваном Грозным. По случаю этого же юбилея Карачаево-Черкесская и Адыгейская автономные области и Кабардино-Балкарская АССР были награждены орденами Ленина[29].

Однако вся эта помпезность и исторические натяжки прикрывали довольно печальное состояние дел. Только в 1957 году карачаевцы и балкарцы были реабилитированы и начали возвращаться на родину, и только в том же 1957-м автономии на Северном Кавказе получили свои прежние двойные на-

---

27 См.: Дни нашей жизни: Сборник произведений татарских писателей / [Пер. с крымско-татар. О. Мальцева]. Ташкент: Гослитиздат УзССР, 1959.

28 См. об этом: [Mayofis 2023].

29 См. парадные материалы на эту тему: Правда. 1957. 28 сентября. С. 1—2. В газете говорится о «добровольном присоединении» к России Адыгеи и Карачаево-Черкесии, как если бы она существовала в XVI веке. Более топонимически корректное «присоединение Кабарды к Русскому государству» было упомянуто в приветственном письме руководства СССР и КПСС руководителям Кабардино-Балкарии (Правда. 1957. 6 июля. С. 1). О сложном взаимодействии нальчикских и московских чиновников, стоящем за этим «юбилеем», см.: [Тихонов 2017].

звания. Представители интеллигенции прежде репрессированных народов до этого года не могли ничего публиковать на родных языках и вообще заявлять о своем существовании. Соответственно, у них было мало возможностей участвовать в этих декадах. Секретарь Кабардино-Балкарского обкома КПСС Хатута Бербеков в своей парадной статье, приуроченной к открытию декады, говорит о едином «кабардино-балкарском народе» и единой «кабардино-балкарской литературе»[30] — но среди авторов этой литературы без комментариев упоминает балкарцев Кязима Мечиева, умершего в ссылке, и Кайсына Кулиева, который добровольно отправился в ссылку за другими балкарцами (в повести Липкина некоторые черты его биографии переданы Мураду Кучиеву). Только во время декады кабардино-балкарской культуры в Москве Кулиев смог встретиться со своим ближайшим другом, кабардинским поэтом и прозаиком Алимом Кешоковым, с которым они не виделись с 1944 года[31].

О связи декад с механизмами перераспределения символической власти было известно советским деятелям культуры и партийным чиновникам, но это никогда не проговаривалось публично — разве что с помощью бюрократических эвфемизмов, как в речи Б. Иогансона. Описывая диалоги Бодорского и Сафарова о том, стоит ли участвовать в декаде, Липкин деконструирует этот важный советский культурный институт. По-видимому, неделя гушано-тавларской культуры — собирательный образ на основе декад 1) адыгейской и карачаево-черкесской и 2) кабардино-балкарской культур. Они были проведены до волнений в Грозном, а не после, как это описано в «Декаде», но Липкин переставил местами события, чтобы в финале повести сделать акцент не на межнациональный конфликт, а на скрытую, тихую реабилитацию национальной культуры в подцензурных условиях.

Липкин подчеркивает роль «оттепельных» декад как напоминаний о коллективной травме. Декада с участием его героев проходит в Москве дважды, и первый раз — в 1949 году, только как гушанская; о тавларах на ней никто не вспоминает. Эта декада нужна для того, чтобы показать, в каких условиях, требующих изворотливости и угадывания конъюнктуры, персонажи младшего поколения (Мансур Азадаев, Матвей Капланов и др.) вписывались в советский литературный истеблишмент (как раз этот «стиль жизни» и отвергает Сафаров). Еще одна цель этой главы — показать, как московские руководители Союза писателей и Сталин выстраивали иерархии в национальных литературах и в советском искусстве в целом.

Прототипом этой декады была декада таджикской литературы в Москве, проведенная в сентябре 1949 года; Липкин участвовал в ней как переводчик знаменитого таджикского писателя Садриддина Айни[32]. Тогда Липкин действительно был на приеме в Кремле, детально и, видимо, почти дословно описанном в повести; на нем Айни восторженной репликой перебил произносящего тост Сталина — так же, как в повести его перебивает Хаким Азадаев. Однако кавказских прототипов у описанного Липкиным сюжета не было:

30 *Бербеков Х.* Светлая новь // Советская культура. 1957. 20 июня. С. 1.

31 *Аппаева Е.* Мы горской песни два крыла // Горянка (газета). 2017. 1 ноября (https://nalchik.bezformata.com/listnews/gorskoj-pesni-dva-krila/62205514/ (дата обращения: 03.03.2024).

32 Об этом Липкин рассказал критику Станиславу Рассадину, см.: *Рассадин С.* Человек преодолевающий // Новая газета. 2001. 17 сентября. № 67.

после того, как кабардинская и черкесская культуры уже не могли быть представлены в паре со своими «визави», их декады в Москве не проводились.

Вторая описанная в повести декада, 1958 года, с точки зрения Бодорского, необходима для реабилитации тавларов — именно поэтому он просит Сафарова об участии в ней. Однако, несмотря на явственную симпатию к Бодорскому, Липкин отделяет свою точку зрения от точки зрения своего героя и деконструирует ее (по-видимому, их кругозоры сближаются только в финальном абзаце). Мысли Бодорского о том, что Сафарову не стоит жениться на русской неподцензурной поэтессе, что его женой должна стать «правильная» тавларка, безропотно подчиняющаяся мужу, — показывают, что Бодорский не понимает гибридности сознания своего ученика, которую понимает читатель благодаря тому, что в повесть включены фрагменты записных книжек Сафарова. Это непонимание объяснимо: Бодорский сталкивается с подобной гибридностью первый раз в жизни, а Липкин уже знал о реальных гибридных авторах-нонконформистах — в диапазоне от Фазиля Искандера до распространявшего свои тексты в самиздате крымско-татарского писателя Энвера Умерова.

Если использовать сегодняшнюю терминологию, то, описывая подготовку к гушано-тавларской декаде, Липкин думал о том, возможно ли в рамках постколониальной культуры решать эмансипационные задачи. Об этом же размышляет и его персонаж — Сафаров. Сама его готовность отвечать на этот вопрос показывает, что он стал зрелым постколониальным интеллектуалом. Это достижение зрелости, по-видимому, означает, что роман воспитания подошел к логическому завершению.

5

Уже во второй половине XIX века роман воспитания меняется — как полагал Франко Моретти, в ответ на изменение социально-политической ситуации в Европе [Moretti 1987: 27—28]. И Моретти, и более поздние исследователи обращают внимание на то, что роман воспитания в разных европейских литературах больше не заканчивается тем, что герой или героиня обретают устойчивую социальную позицию — их будущее (особенно в случае героя-мужчины) оказывается неопределенным; становится возможен и трагический финал, то есть смерть главного персонажа [Ibid.: 73; Salmon 2019].

Эта же неопределенность в высшей степени важна для постколониального романа воспитания — жанра, формирующегося во второй половине XX века [Hoagland 2019]. Хано Пипич полагает, что в основе такого романа лежит прежде всего травма, полученная главным героем/героиней и основанная на дискриминации по признаку расы, гендера и пр. [Pipic 2013]. Именно этот эффект мы можем видеть в «Декаде»: Сафаров переживает травму не только в связи с депортацией, но и потому, что он тавлар, то есть принадлежит к «запрещенному» этносу.

В «Декаде» присутствуют и другие черты постколониального романа воспитания. Для того чтобы их описать, нужно учесть ключевые дискуссии, которые развернулись в 1990—2010-е годы в связи с этим типом романа. В целом Алим Сафаров очень похож на героев таких произведений, созданных писателями «колониального» происхождения, и это очень интересно, потому что Липкин с точки зрения ортодоксальной постколониальной теории — предста-

витель гегемониальной культуры метрополии. Тем не менее и он сам, и его герой Бодорский поддерживают постколониального интеллектуала Сафарова.

Мария Хелена Лима полагает, что для постколониальных писателей сам выбор жанра романа воспитания, по своему происхождению глубоко европейского, а значит, по ее мнению, потенциально колонизаторского, является всякий раз парадоксальным, потому что выстраивание биографии героя/героини по лекалам Bildungsroman «позволяет воспроизводить культурный империализм, который неизбежно отделяет интеллектуала третьего мира от сообщества и культуры, присущих ему или ей по рождению» [Lima 1993: 434]. С этим сложно согласиться, так как в современном, стремительно меняющемся мире не существует стабильных «сообществ, присущих по рождению». Фен Чи пишет, отвечая на вопрос о «европейскости» Bildungsroman: сегодня этот жанр «является наиболее подходящим символическим выражением» стремления смягчить чувство бездомности, испытываемое теми, кто лишен чувства сообщества или нации в результате колониальных захватов [Chea 2003: 242]. Исследователь полагает: для многих «трудность деколонизации заключается в том, что [часто] не существует сообщества, с которым субъект мог бы примириться [в результате действия Bildung]» [Ibid.: 243]. Развивая мысль Фен Чи, Эрика Хогланд пишет о «затруднительном положении многих героев постколониальных романов воспитания, которым, возможно, суждено никогда не прекращать поиск, никогда не переставать задаваться вопросом, кто они и где их место» [Hoagland 2019: 218]. Суть постколониального романа воспитания, по Хогланд — «постоянное исцеление травматического наследия колониализма в процессе самосовершенствования [героя]. Гармоничная развязка, по крайней мере, в том смысле, в каком она понимается в европейском Bildungsroman, не наступает и не гарантируется» [Ibid.: 219].

Все это применимо к истории Алима Сафарова. Бодорский в своем заключительном монологе фактически выражает надежду на то, что Сафаров — единственный известный ему пример советского интеллектуала, который может «исцелить травматическое наследие колониализма» в процессе своего самосовершенствования. Но Бодорскому в пределах повести остается неизвестным содержание записных книжек Сафарова, а читатель знает о том, что Сафаров чувствует себя бесприютным и не готовым примкнуть ни к какому уже существующему сообществу. Быть тавларом для него означает писать для еще не существующих тавларов, избавленных от рабского сознания.

«Декада» позволяет по-новому, в оптике постколониального романа воспитания прочитать произведение гораздо более известное, чем повесть Липкина, но написанное одновременно с ней, независимо от нее и анализирующее ту же ситуацию — как возможно взросление и соединение со всеобщим после советских этнических депортаций. Это повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая».

6

Повесть Приставкина (часть автобиографической трилогии) впервые была опубликована в 1987 году в журнале «Знамя» (№ 3 и 4). По жанру она тоже является романом воспитания, но не столько жанровым гибридом, как «Декада», сколько жанровой инверсией и полемикой с советскими романами воспитания.

Основных версий советского романа воспитания можно выделить две. Первая — историко-революционная, описывающая становление общественного борца, в диапазоне от «Как закалялась сталь» Николая Островского (1934) до «Мальчика из Уржума» (1936) Антонины Голубевой. Вторая — интеллигентская, прямо ориентированная на традиции европейского Bildungsroman XIX века; образцовое произведение этого типа — роман Вениамина Каверина «Два капитана» (1945)[33] с явными аллюзиями на «Дэвида Копперфилда» Ч. Диккенса (например, Ромашов как вариация Урии Хипа)[34]. В обоих версиях взросление представало как «преодоление трудностей» и творческое выстраивание собственной жизни[35].

По-видимому, конкретным советским произведением, с которым полемизировал Приставкин, была повесть Александра Неверова «Ташкент — город хлебный» (1923), во многом заложившая основы советского романа воспитания. Как и у Неверова, главные герои Приставкина — два мальчика, которые путешествуют по разоренной стране, один из них по ходу действия погибает. Повесть Неверова имеет благополучный финал — настолько, насколько был возможен такой финал у произведения, у которого и временем написания, и временем действия был период массового голода в Поволжье 1921—1922 годов: Мишка Додонов после долгих испытаний все же добирается до Ташкента и, проработав там несколько месяцев у богатого крестьянина, возвращается в родное село с двумя огромными мешками хлеба — правда, к этому моменту из всей его большой семьи в живых осталась только мать. Но Мишка полон решимости восстановить разрушенный быт.

> Увидал сухой лошадиный помет, вспомнил про лошадь: покупать придется. Увидел гнездо куриное с двумя перышками на почерневшей соломке, грустно вздохнул: заново придется налаживать ему все хозяйство. Лошади нет и курицы нет...
>
> <...> Поднял дугу почерневшую, поставил в угол, встал около мешков с пшеницей, твердо сказал:
>
> — Ладно, тужить теперь нечего, буду заново заводиться... [Неверов 1924: 166].

Такого финала у Приставкина нет и быть не может. Герои его повести оказываются в более сытом, чем Подмосковье, месте — но это не (относительно) мирный Ташкент, а Северный Кавказ 1944 года, откуда за несколько месяцев до приезда туда эвакуированных детей войска НКВД депортировали чеченцев и ингушей. Кузьменыши, два мальчика-близнеца, видят пустые дома и поля, но лишь постепенно узнают, почему эти прежде населенные пространства обезлюдели.

> За весь наш многочасовой путь не попалась нам ни подвода, ни машина, ни случайный путник. Пусто было кругом.
>
> Поля дозревали. Кто-то их засевал, кто-то пропалывал, убирал. Кто?..
>
> На долгом нашем пути была деревня, кто-то ведь в ней жил... Отчего же так пустынно и глухо встретила нас эта красивая земля? Отчего даже здание техникума... было пустынным, без единого человека? [Приставкин 2010: 67][36]

---

33 Первая версия романа была опубликована в 1940 году.

34 Подробнее см.: [Майофис 2017].

35 Другую концепцию соцреалистического романа воспитания см.: [Лахусен 2000].

36 В дальнейшем при цитировании повести Приставкина все страницы указаны по этому изданию в круглых скобках после цитаты.

Так же, как и для некоторых классических романов воспитания («Приключения Оливера Твиста») и повести Неверова, для повести Приставкина очень важно описание голода главных героев. Однако радикальное и жесткое описание того, насколько разрушителен голод для психики героев, напоминает скорее рассказы Варлама Шаламова, чем романы воспитания. Только немного подкормившись в опустевшей Чечне, Кузьменыши обретают способность реагировать на более сложные сигналы, чем еда. Первыми такими сигналами является отсутствие населения в опустошенной стране, которое на уровне восприятия выглядит как фрейдовское «жуткое» (Unheimlich). После этого сначала Кузьменыши, а затем Колька и Алхузур открывают для себя искусство. В описании первого эстетического опыта Приставкин, по-видимому, вновь вступает в диалог с классической традицией Bildingsroman — и тут уже можно вспомнить даже не Диккенса, а «Годы учения Вильгельма Мейстера», который большинство современных исследователей считают первым зрелым романом воспитания в европейской литературе. Важнейшими впечатлениями для становления Мейстера оказываются театр и песня. Аналогичные «встречи с искусством» подробно описаны и у Приставкина — но в менее возвышенном регистре, чем у Гёте. Когда Кузьменыши едва ли не впервые в жизни встречаются с музыкой, ее носителем оказывается «бывший солдат» Демьян:

> Демьян пел вроде бы негромко, но лихо у него это выходило. Он будто пел про Регину Петровну, про себя и про этот их домик, куда он, будто в хуторок, приехал погостить... Кузьменыши от зависти приподнимались на цыпочки, шеи вытягивали, стараясь заглянуть Демьяну в рот... Так сильно, так гладко управлял он своим красивым голосом. И чеченская балалаечка с тремя струнами играла-переливалась на русский манер под его рукой. Вот чудно-то!
>
> В этот момент все братья ему простили, обормоту хитрому: и заначенный арбуз, и козу с цигаркой, и даже его приставания к воспитательнице Регине Петровне.
>
> И вот что потрясло ребят: оказывается, и не тюремную песню, а про какую-то там вдову можно петь так, что пробирает мороз до косточек (с. 199—200).

После гибели Сашки и знакомства Кольки с Алхузуром мальчики попадают в детприемник для беспризорников, где много слепых детей — но всех их, и слепых, и зрячих, приводят на показ спектакля «Двенадцать месяцев» по новой для того времени пьесе Самуила Маршака[37]:

> Колька сидел рядом с Антоном, по другую сторону сидел Алхузур. Они пытались пересказывать Антоше все, что видели на сцене, но это было так трудно! Злая мачеха велит своей падчерице принести зимой красных ягод земляники, и девочка уходит в ледяной лес. Она замерзает от холода, но вдруг... Как бы Колька описал это, если вдруг прямо посреди поляны загорелся, вспыхнул огромный костер и вокруг него сидели двенадцать месяцев.
>
> Алхузур онемел от восторга, а Колька рот открыл, и слюнка потекла.
>
> Антоша же дергал их за руки и просил: «Ну, что там? Что там?» Никогда ребята не были в театре и выходили будто пьяные. Доро́гой Колька молчал, боялся со словами растерять что-то из увиденного (с. 260).

---

37 Описание этой постановки — анахронизм А. Приставкина: пьеса была завершена и опубликована в 1943 году, до депортации чеченцев и ингушей, но впервые поставлена не в 1944 году, когда происходит действие повести, а 10 марта 1945 года на сцене Свердловского дворца пионеров.

И наконец, Колька и сам читает другим сиротам стихотворение Лермонтова — и не может произнести слово, связанное с одним из ключевых понятий повести Приставкина — одиночеством.

> А потом зрячие ребята выступали каждый с чем мог, а Колька стал читать стихи... Про тучку золотую.
>
> ...Но остался влажный след в морщине
>
> Старого утеса...
>
> Колька замолчал и посмотрел на слепых: они, вытянув шеи, напряженно слушали. Будто боялись пропустить даже его молчание... А оно затягивалось, потому что у Кольки перехватило дыхание и сжало горло. Он никак не мог выговорить слово «одиноко»... (с. 261)

Наконец, важнейший элемент Bildingsroman — встреча со значимым старшим, который стремится просветить взрослеющего героя. Роль такого старшего в повести Приставкина выполняет Регина Петровна; одновременно она принимает участие в спасении Алхузура, так как помогает выдать его перед энкавэдэшниками за брата Кольки Кузьмина. Тем не менее неизвестно, не разоблачат ли те же или другие энкавэдэшники Алхузура впоследствии.

Опустевшая Чечня и лишь шепотом называемые «чечены» изображены в повести сразу из двух перспектив. С одной стороны, о них постепенно — и далеко не сразу — узнают дети, и в этом случае и сами чеченцы, и места, откуда их изгнали, предстают как Unheimlich: то, что должно быть обжитым, но внезапно оказывается страшным и чреватым смертью[38]. С другой стороны, о «стертой» культуре советской Чечни иногда начинает говорить взрослый саркастический повествователь, знание которого намного превышает знание мальчиков-Кузьменышей:

> В простенках, по обе стороны сцены, проглядывали какие-то нерусские надписи, их замазали масляной краской и частично прикрыли портретами вождей. Так что выходило: вожди как бы своими спинами стыдливо прикрывали свои собственные призывы, только на другом, нежелательном теперь языке (с. 146).

В повести Приставкина, на первый взгляд, гораздо менее заметно влияние модернистской прозы, чем у Липкина. Однако есть одна резко заметная ее черта, отличающая ее от классической прозы и уж тем более от социалистического реализма — осциллирующий нарратор. Повесть написана в основном в третьем лице с использованием традиционного «всезнающего повествователя», но периодически нарратор вдруг непредсказуемо переключается в первое лицо, при котором то рассказывает о Кузьменышах со стороны («Еще жили в нашей комнате два брата, Кузьмины, мы их звали Кузьменыши», с. 252), то совпадает с Колькой:

> Эта повесть, наверное, последний мой крик в пустоту: откликнитесь же! Нас же полтыщи в том составе было! Ну хоть еще кто-то, хоть один, может, услышит, из выживших, потому что многие потом, это и на моих глазах частью было, начали пропадать, гибнуть на той, на новой земле, куда нас привезли... (с. 29)

Ср. также фрагмент, где нарратор видит разоренное чеченское кладбище глазами Кольки:

---

38 Это этимологическое объяснение значения слова «Unheimlich» предлагает Зигмунд Фрейд в своем одноименном эссе 1919 года.

> На рассвете, лишь рассеялся густой туман, прикрывавший долину, и с поля потянуло ветерком и запахом горелой травы, мы вдвоем пробрались тихим двором, где рядом с желтым бугорком директорской могилы торчала повозка с камнями. Видать, ее вчера так и не смогли вытащить. Мы скользнули в наш лаз и выбрались к кладбищу. Впрочем, кладбища уже не было. Валялись тут и там побитые и выкорчеванные камни, готовые к отправке, да рыжела вывернутая земля (с. 243).

Это осциллирование выполняет минимум две функции: из него следует, что главный герой повести (если он все-таки совпадает с нарратором) остался в живых и что он не забыл тех травматических этических и исторических открытий, которые ему пришлось сделать в опустевшей Чечне, и не отступился от них. Наоборот, повесть и является результатом этого постижения.

В классическом романе воспитания главный герой часто, хотя и не обязательно, по ходу действия разгадывает тайну, связанную с другим персонажем или его/ее собственным происхождением (пример второго — «Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенса[39]). В повести Приставкина герои, и в первую очередь Колька, постепенно разгадывают другую тайну — совершенного государством преступления, о котором было известно многим из первой когорты читателей Приставкина.

Ирина Муравьева, автор одной из первых рецензий на повесть в эмигрантской периодике, полагала: взгляд ребенка дает Приставкину возможность остраненного описания преступлений государства.

> Детским взглядом, свежим и острым, как первая зелень, охватывает повесть действия взрослых людей, и взгляд этот полон недоумения, ибо одиннадцатилетний ребенок, сколько бы он ни пережил, имеет только один опыт — опыт здорового чувства. Самый логичный и самый точный. Исходя из него, он и выносит свой приговор. <…> …Тот безобразный процесс перемещения наций, которого… не знала человеческая история, находит в книге этой какое-то неповторимое свое преломление, потому что, как всё в ней, освещается удивленным взглядом ребенка [И.М. 1988: 263, 265][40].

В классическом Bildungsroman и общение со значимым старшим, и искусство должны вести героя к «правильной» социализации и преодолению внутренних противоречий, как это происходит у Гёте. Однако у Приставкина пережитые тяготы не «снимаются» в смысле гегелевского Aufhebung, а катастрофа остается в сознании персонажа. Для демонстрации того, что положенный в основу повести конфликт остался неразрешенным и ситуация по-прежнему кризисная, и Приставкин, и — менее очевидно — Липкин продолжают сюжет в современности нарратора. Липкин в финальном монологе Бодорского говорит фактически о кризисе межэтнических отношений в СССР 1970-х годов. У Приставкина нарратор, который, возможно, был когда-то Колькой Кузьминым, встречает в Москве конца 1970-х бывших сотрудников НКВД, которые продолжают похваляться своими «подвигами» в ходе этнических депортаций.

> Вот на Кавказе… Мы там этих, черных, вывозили. Они Гитлеру продались! <…> А у нас ведь как положено: голову тащишь в штаб, а там кто-нибудь из ихних опо-

39 О «Твисте» как о романе воспитания см., например: [Stević 2014].

40 Подпись расшифрована в том же номере журнала «Грани», где помещена и эта рецензия, в перечне справок об авторах на с. 313.

знает, и вычеркивают из списков. Ахмет или еще кто... Ну, там, до весны, орден дали, а потом татар переселял... Больше на тот свет... Калмыков, литовцев... Тоже злодеи, фашисты, сволочи такие...

И вдруг я услыхал что-то уже знакомое, слышанное давным-давно. Наверное, там же на Кавказе:

— Всех, всех их надо к стенке! Не добили мы их тогда, вот теперь хлебаем (с. 242).

У Липкина единственной надеждой на преодоление скрытой розни между обществами России и Северного Кавказа остается гибридное самосознание Сафарова и дружба между Бодорским и Сафаровым. У Приставкина аналогичным источником надежды становится побратимство Кольки и Алхузура. И Колька, и Алхузур тоже, кажется, готовы считать себя гибридными субъектами. Так, Алхузур объясняет Кольке, что река Сунжа по-чеченски — «Солжа» (более точно — Соьлжа хи), что означает «две реки», хотя река на вид и одна (в современной науке нет общепринятого мнения об этимологии этого гидронима). Колька констатирует, что они с Алхузуром и есть Солжа, то есть двое, объединенные в одно, и начинает учить простые слова чеченского языка, например «бепиг» — хлеб.

— Теперь ты мой брат, — сказал, подумав, Колька. — Мы с тобой Солжа... <...> А хлеб это для нас с тобой бепиг, а для них хлеб — это хлеб... (с. 238)

В ответ Алхузур соглашается выдавать себя за Сашку — среди русских:

— Во дает! — воскликнул Колька и тут же оглянулся, заткнул себе рот. Негромко продолжал: — Ты прям как Сашка... он то же самое говорил!

— Я Саск... — подтвердил Алхузур. — Я будыт хырош Саск... А там... — он указал на горы, — я буду хырош Алхузур... А хлеб будет бепиг, а кукуруза — качкаш... А вода будыт хи... (с. 245)

В повести Приставкина можно проследить и влияние неомифологической прозы — но гораздо более скрытое, чем в повести Липкина. Описывая — от первого лица — визит Кольки и Алхузура на разоренное чеченское кладбище, нарратор предвидит будущее возвращение чеченцев — и дорога, по которой идут герои, приобретает черты метафорического спиритуального пути:

Ни он, ни я, конечно, не могли тогда знать, что наступит, придет время — и дети, и внуки тех, чьи имена стояли на вечных камнях, вернутся во имя справедливости на свою землю.

Они найдут эту дорогу, и каждый из вернувшихся придет сюда, возьмет камень своих предков, чтобы поставить его на свое место.

Они унесут их все, и дороги, ведущей в пропасть, не станет (с. 244—245).

Когда Сашку убили чеченские партизаны, Колька «вернулся к телу брата и сел отдышаться у его ног, рядом с кровью» (с. 218). Когда Алхузур заменяет Сашку, они с Колькой чувствуют необходимость породниться кровью — и смешивают кровь из ранок на руках. Кровь из ран — то, что буквально связывает Кольку и с его родным, и с его названым братьями. Мифологические «включения» в нарратив Приставкина указывают на надличную связь персонажей и на их участие в процессе восстановления коллективной памяти — как отчасти и у Липкина: вспомним его образ зороастрийского огня, погасающего и вспыхивающего.

В рамках постколониального подхода такое использование неомифологических «вставок» выглядит глубоко логичным. Они нужны для указания на гибридную идентичность Кольки и Алхузура, у обоих мальчиков основанную на целой серии травм, и «гибридизация» как раз и помогает им пережить свою травмированность. Как только Алхузур сообщает Кольке, что вода по-чеченски — «хи», Колька вспоминает чеченских детей в запертом вагоне на станции Кубань: «...из окошек зарешеченных тянулись руки, губы, молящие глаза... И до сих пор бьющий по ушам крик: “Хи! Хи! Хи! Хи!” Так вот что они просили!» (с. 245). Неомифологические элементы в повести позволяют увидеть конкретные акты насилия как свидетельство о социуме, проникнутом взаимной местью и жестокостью; гибридное самосознание мальчиков — единственный способ противостоять круговороту насилия.

Преодоление больших трудностей в советском романе воспитания является достаточной гарантией этической состоятельности героя. Однако у Приставкина герой — возможно, сочетающий в себе Кольку и взрослого нарратора — оказывается этически состоятельным именно постольку, поскольку он не может и не видит возможности преодолеть в себе травму, по крайней мере, пока он помнит о том, как мимо него — мальчика, лежащего в борозде, проезжали на лошадях чеченские партизаны, а в позднесоветской современности — пока он способен внутренне сопротивляться, встречая довольных своим ремеслом палачей, сожалеющих лишь о том, что действия их «коллег» были недостаточно жестоки. Повесть, собственно, и является важнейшим средством такого сопротивления.

7

После того как мы проанализировали повести Приставкина и Липкина в контексте постколониальных романов воспитания, мы можем вернуться к их традиционной интерпретации как антисталинистских произведений. Эта интерпретация тоже важна, но конкретное значение антитоталитарного заряда обеих повестей становится понятным только после — и на основе — их постколониального перечтения.

В европейских литературах XX века, помимо постколониального, сложился еще один жанровый подвид Bildungsroman, основанный на нарративе травмы, — посттоталитарный роман воспитания. В нем травма главного героя или героини является следствием не колониальной политики в ее классическом виде, а репрессий государства и атмосферы нетерпимости в обществе. Для этой модели тоже характерно пародирование или инвертирование схем классического романа воспитания [Selbmann 1994: 158—161]. В западногерманской литературе 1950-х годов формируется «антироман воспитания», или «роман антивоспитания» (термин Герхарда Майера [Mayer 1974]). Примером такого произведения является «Жестяной барабан» («Die Blechtrommel», 1959) Гюнтера Грасса, действие которого заканчивается примерно в период написания романа, как и в случае «Декады» и «Ночевала тучка золотая». Герой Грасса, трехлетний мальчик Оскар Мацерат, отказывается расти в знак протеста против лицемерия и фальши взрослого мира, на протяжении нескольких десятилетий сохраняет внешность ребенка ростом 94 см, хотя все время взрослеет (и даже сексуально созревает) внутренне. Только в 1945 году, после пора-

жения нацистской Германии, он принимает решение расти дальше. Не растущий мальчик Мацерат, однако, на всем протяжении романа отличается оглушительно громким голосом, от которого разбиваются стекла и предметы домашней утвари. Эта особенность голоса героя — символическое выражение его несовместимости с общепринятым социальным укладом.

Мацерат неожиданно напоминает другого громкоголосого персонажа — Джельсомино из детской повести Джанни Родари «Джельсомино в Стране лжецов» («Gelsomino nel paese dei bugiardi»), вышедшей за год до романа Грасса — в 1958-м. Рассмотрение вопроса о возможном влиянии Родари на Грасса не входит в наши задачи, здесь важно другое: первоначально разрушительный эффект голоса Джельсомино говорит о его глубоком конфликте с окружающим его обществом, и особенно — с обществом Страны лжецов.

По ходу действия Джельсомино постепенно учится использовать свой оглушительный голос на благо общества и благодаря этой трансформации становится великим певцом. Поэтому повесть Родари тоже близка по смыслу к роману воспитания. В отличие от романа Грасса, Родари не пишет явным образом о фашизме и не имеет в виду только прошедшую эпоху — скорее, его повесть иронически реагирует на гипнотизирующее воздействие пропаганды, особенно заметное в авторитарном обществе. Недаром в его повести Страна лжецов появилась потому, что захватившие ее пираты решили скрыть и свои преступления, и сам тот факт, что они пираты.

В совокупности эти два произведения могут быть поняты как свидетельство того, что в 1950-е годы в европейских литературах формируется посттоталитарный роман воспитания.

8

«Ночевала тучка золотая» и «Декада» выполняют в российской литературе функцию, близкую к функции посттоталитарного и постколониального романа воспитания — и эта функция оказалась в 1990—2010-е годы в значительной степени забыта и вытеснена: рефлексия того, как возможна и зачем нужна Bildung, то есть формирование личности, связанной со всеобщностью мировой культуры — после государственных преступлений, и, в частности, после этнических депортаций, приведших к многолетней розни и к долгодействующей коллективной травме.

И Приставкин, и Липкин показывают такое взросление, при котором персонаж не может просто преодолеть катастрофический опыт своего детства — он должен сам совершить тяжелое нравственное усилие и для социальной самореализации нуждается в том, чтобы аналогичное усилие совершил и другой герой (другие герои). Только такие встречные усилия могут помочь людям восстановить течение жизни после государственного террора. Работать с собственной травмой Сафаров может только в диалоге с Бодорским. Смешать кровь и выдавать себя за братьев Колька и Алхузур могут только в результате сначала общих усилий, а потом и помощи воспитательниц в детприемнике. Осуществленный и Приставкиным, и Липкиным подрыв нарративных стратегий «советского романа воспитания» был направлен на денормализацию, при которой примирение с прошлым и обретение устойчивого социального статуса заведомо невозможны.

Заново обретаемая Bildung в обоих произведениях с неизбежностью оказывается гибридной, совмещающей перспективы «репрессивного центра» и «репрессированного меньшинства», «официального» и «неофициального». Одна из целей этой Bildung в рамках романного мира — примирение людей помимо (и даже против) государства. Однако в рамках советской ситуации авторы могут решить проблему обретения Bildung и примирения враждующих групп только с помощью Künstlerroman — романа о становлении художника, потому что единственный способ для их героев сохранить память о травматическом событии — это письмо.

В обоих повестях память об этнических депортациях и о вызванной ими социальной травме оказывается необходимой для будущего. В повести Липкина это будущее названо совершенно прямо: текст завершается философско-лирическим монологом повествователя, размышляющего о возможностях отделения от России то ли описанной им обобщенной северокавказской автономной республики — Гушано-Тавларии, то ли всего Северного Кавказа. Центральный эпизод повести Приставкина — «смешение крови» — может быть прочитан как притча о преодолении этнической вражды и желания мстить, которые вызваны не только собственно депортацией, но, вероятно, и прежним насилием, с которым осуществлялась российская колонизация Северного Кавказа. В дальнейшем жажда мести, как показывает Приставкин, была характерна не только для скрывающихся в горах чеченцев, но и для энкавэдэшников, которые жалеют о том, что «недодавили» репрессированные народы. Собственно, и Липкин, и Приставкин показывают в «современных» главах своих повестей позднесоветское общество как находящееся в состоянии латентной гражданской войны, поэтому антисталинизм здесь — только часть общеполитического месседжа обоих произведений.

Эрика Хогланд пишет о том, что постколониальный роман воспитания часто бывает полемическим, инвертирует важнейшие сюжетные схемы и презумпции классического Bildungsroman [Hoagland 2019: 218]. Приставкин, как уже сказано, представляет «вывернутую» версию советского романа воспитания, Липкин же полемизирует в целом с базовыми концепциями советского исторического романа, прежде всего с представлением о цивилизаторской функции России и с обязательным историческим оптимизмом. Оба эти типа интертекстуальной работы направлены на денормализацию, то есть на представление исторических травм как не исцеленных и не забытых.

В современной России денормализующий вектор культуры памяти сегодня не просто утрачен, но и усиленно и намеренно вытесняется из публичного пространства. Этому вытеснению способствует и возвращение в массовую культуру советских нарративов «преодоления трудностей», на основе которых формировались советские версии романа воспитания. В этих условиях повести Приставкина и Липкина важны не только как напоминания о государственных преступлениях, но и эстетически — как проблематизирующие нарративы, в которых герой покидает пространство катастрофы, но этически обязан сосуществовать с памятью о преступлениях государства, от которой невозможно уйти.

Библиография / References

[Гаспаров 2000] — *Гаспаров М.Л.* Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. 2-е изд., доп. М.: Фортуна Лимитед, 2000.

(*Gasparov M.L.* Ocherk istorii russkogo stikha. Metrika. Ritmika. Rifma. Strofika. 2nd ed., exp. Moscow, 2000.)

[Дело «МетрОполя» 2006] — Дело «МетрОполя»: Стенограмма расширенного заседания секретариата МО СП СССР от 22 января 1979 года / Подгот. текста, публ., вступ. ст. и коммент. М. Заламбани // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. С. 243—281.

(Delo "MetrOpolya": Stenogramma rasshirennogo zasedaniya sekretariata MO SP SSSR ot 22 yanvarya 1979 goda / Prep., publ., forew. and comments by M. Zalambani // Novoe literaturnoe obozrenie. 2006. No. 82. P. 243—281.)

[Дубин 2006] — *Дубин Б.В.* Старое и новое в трех телеэкранизациях 2005 года // Новое литературное обозрение. 2006. № 78. С. 273—277.

(*Dubin B.V.* Staroe i novoe v trekh teleekranizatsiyakh 2005 goda // Novoe literanurnoe obozrenie. 2006. No. 78. P. 273—277.)

[Зубкова 2008] — *Зубкова Е.Ю.* Прибалтика и Кремль. 1940—1953. М.: РОССПЭН; Фонд первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008.

(*Zubkova E.lu.* Pribaltika i Kreml'. 1940—1953. Moscow, 2008.)

[И.М. 1988] — *И.М.* [*Муравьева И.*] За душу хватающая книга // Грани. 1988. № 148. С. 261—268.

(*I.M.* [*Murav'eva I.*] Za dushu khvatayushchaya kniga // Grani. 1988. No. 148. P. 261—268.)

[Кардин 1987] — *Кардин В.* «Нас было двое: брат и я...»: о романе А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» // Литературное обозрение. 1987. № 9. С. 45—48.

(*Kardin V.* "Nas bylo dvoe: brat i ya…": o romane A. Pristavkina "Nochevala tuchka zolotaya" // Literaturnoe obozrenie. 1987. No. 9. P. 45—48.)

[Козлов 2006] — *Козлов В.А.* Неизвестный СССР: Противостояние народа и власти. 1953—1985. М.: ОЛМА-Пресс, 2006.

(*Kozlov V.A.* Neizvestny SSSR: Protivostoyanie naroda i vlasti. 1953—1985. Moscow, 2006.)

[Колядич 1992] — *Колядич Т.М.* Сюжетно-композиционное своеобразие повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» // Дети и книга: Сб. научных трудов. Вып. 1. М.: Прометей, 1992. С. 24—30.

(*Koliadich T.M.* Syuzhetno-kompozitsionnoe svoeobrazie povesti A. Pristavkina "Nochevala tuchka zolotaya" // Deti i kniga: Sb. nauchnych trudov. Iss. 1. Moscow, 1992. P. 24—30.)

[Коносов 2011] — *Коносов Н.Е.* Память строгого режима: история и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

(*Koposov N.E.* Pamyat' strogogo rezhima: istoriya i politika v Rossii. Moscow, 2011.)

[Кукулин 2012] — *Кукулин И.* «Внутренняя постколонизация»: формирование постколониального сознания в русской литературе 1970—2000-х годов // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 846—909.

(*Kukulin I.* "Vnutrennyaya postkolonizatsiya": formirovanie postkolonial'nogo soznaniya v russkoy literature 1970—2000-kh godov // Tam, vnutri. Praktiki vnutrenney kolonizatsii v kul'turnoy istorii Rossii / Ed. by A. Etkind, D. Uffelmann, I. Kukulin. Moscow, 2012. P. 846—909.)

[Курбатова 2007] — *Курбатова В.П.* Мотивы лирики XIX века в произведениях литературы XX в.: повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» // Русская словесность. 2007. № 3. С. 40—42.

(*Kurbatova V.P.* Motivy liriki 19 veka v proizvedeniyakh literatury 20 v.: povest' A. Pristavkina "Nochevala tuchka zolotaya" // Russkaya slovesnost'. 2007. No. 3. P. 40—42.)

[Лахусен 2000] — *Лахусен Т.* Соцреалистический роман воспитания, или провал дисциплинарного общества // Соцреалистический канон: Сборник статей / Под общ. ред. Х. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 841—852.

(*Lahusen T.* Sotsrealisticheskiy roman vospitaniya, ili proval distsiplinarnogo obshchestva // Sotsrealisticheskiy kanon / Ed. by H. Günter and E. Dobrenko. Saint Petersburg, 2000. P. 841—852.)

[Липкин 1983] — *Липкин С.* Декада. Нью-Йорк: Chalidze Publications, 1983.

(*Lipkin S.* Decada [A Decade]. New York: Chalidze Publications, 1983).

[Липкин 2008] — *Липкин С.* Образ и давление времени. Открытое письмо (1979) // Липкин С. «Угль, пылающий огнем...». Воспоминания о Мандельштаме. Стихи, статьи, переписка. М.: РГГУ, 2008. С. 175—179.

(*Lipkin S.* Obraz i davlenie vremeni. Otkrytoe pis'mo (1979) // Lipkin S. "Ugl', pylayushchiy ognem...". Vospominaniya o Mandel'shtame. Stikhi, stat'i, perepiska. Moscow, 2008. P. 175—179.)

[Лошкарева 1987] — *Лошкарева Н.* Мы связаны одной судьбой // Октябрь. 1987. № 6. С. 204—206.

(*Loshkareva N.* My svyazany odnoy sud'boy // Oktyabr'. 1987. No. 6. P. 204—206.)

[Майофис 2017] — *Майофис М.* Как читать «Двух капитанов» // Арзамас. 2017. 16 июня (https://arzamas.academy/mag/429-2cap (дата обращения: 03.03.2024)).

(*Mayofis M.* Kak chitat' "Dvukh kapitanov" // Arzamas. 2017. June 16 (https://arzamas.academy/mag/429-2cap (accessed: 03.03.2024)).)

[Мелетинский 2000] — *Мелетинский Е.М.* Поэтика мифа. 3-е изд., репринт. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000.

(*Meletinsky E.M.* Poetika mifa. 3rd ed., reprint. Moscow, 2000.)

[Митрохин 2006] — *Митрохин Н.** Санитары советской литературы // Новое литературное обозрение. 2006. № 82. С. 282—290.

(*Mitrokhin N.** Sanitary sovetskoy literatury // Novoe literanurnoe obozrenie. 2006. No. 82. P. 282—290.)

[Неверов 1924] — *Неверов А.* Ташкент — город хлебный. 2-е изд. М.; Л.: Земля и фабрика, 1924.

(*Neverov A.* Tashkent — gorod khlebny. 2nd ed. Moscow; Leningrad, 1924.)

[Подкопаева 1989] — *Подкопаева В.С.* Это правда, взорванная совестью // Вечерняя средняя школа. 1989. № 3. С. 37—39.

(*Podkopaeva V.S.* Eto pravda, vzorvannaya sovest'yu // Vechernyayia srednyaya shkola. 1989. No. 3. P. 37—39.)

[Полян 2001] — *Полян П.* Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР. М.: ОГИ, 2001.

(*Polian P.* Ne po svoey vole... Istoriya i geografiya prinuditel'nykh migratsiy v SSSR. Moscow, 2001.)

[Полян 2010] — *Полян П.М.* Операция «Чечевица»: немцы на Кавказе и депортация вайнахов в марте 1944 г. // Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии во внутренней политике России и СССР (начало XIX — середина XX в.) / Под ред. В.А. Козлова. М.: РОССПЭН, 2010. С. 639—649.

(*Polian P.M.* Operatsiya "Chechevitsa": nemtsy na Kavkaze i deportatsiya vaynakhov v marte 1944 g. // Vaynakhi i imperskaya vlast': problema Chechni i Ingushetii vo vnutrenney politike Rossii i SSSR (nachalo XIX — seredina XX v.) / Ed. by V.A. Kozlov. Moscow, 2010. P. 639—649.)

[Приставкин 2010] — *Приставкин А.* Ночевала тучка золотая // Приставкин А. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2. Ночевала тучка золотая. Кукушата. М.: АСТ: Зебра-Е, 2010. С. 5—264.

(*Pristavkin A.* Nochevala tuchka zolotaya // Pristavkin A. Sobranie sochineniy: In 5 vols. Vol. 2. Nochevala tuchka zolotaya. Kukushata. Moscow, 2010. P. 5—264.)

[Прицкер 1981] — *Прицкер Л.М.* Советская Абхазия в датах: хронология важнейших политических, экономических и культурных событий. Сухуми: Алашара, 1981.

(*Pritsker L.M.* Sovetskaya Abkhaziya v datakh: khronologiya vazhneyshikh politicheskikh, ekonomicheskikh i kul'turnykh sobytiy. Sukhumi, 1981.)

[Ребель 2003] — *Ребель Г.* Повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» // Филолог (Пермь). 2003. Вып. 2. С. 35—53.

(*Rebel G.* Povest' Anatoliya Pristavkina "Nochevala tuchka zolotaya" // Filolog (Perm'). 2003. No. 2. P. 35—53.)

[Сабанчиев 2007] — *Сабанчиев Х.-М.А.* Депортация, жизнь в ссылке и реабилитация балкарского народа: Дис. ... д-ра ист. наук. Ростов н/Д., 2007.

(*Sabanchiev Kh.-M.A.* Deportatasiya, zhizn' v ssylke i reabilitatsiya balkarskogo naroda: Dr. habil. Thesis. Rostov-on-Don, 2007.)

[Султанов 2019] — *Султанов К.К.* «Есть высоты властительная тяга...», или Кавказская тема в судьбе, стихах и переводах Арсения Тарковского // Султанов К.К. Угол преломления. Литература и идентичность: коммуникативный аспект. М.: ИМЛИ РАН, 2019. С. 320—331.

(*Sultanov K.K.* "Est' vysoty vlastitel'naya tyaga…", ili Kavkazskaya tema v sud'be, stikhakh i perevodakh Arseniya Tarkovskogo // Sultanov K.K. Ugol prelomleniya. Literatura i identichnost': kommunikativnyy aspekt. Moscow, 2019. P. 320—331.)

[Тихонов 2017] — *Тихонов В.В.* История лоббирования руководством Кабардинской АССР 400-летия «добровольного присоединения» к России // Новейшая история России. 2017. № 4. С. 107—114.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

(*Tikhonov V.V.* Istoriya lobbirovaniya rukovodstvom Kabardinskoy ASSR 400-letiya “dobrovol’nogo prisoedineniya” k Rossii // Noveyshaya istoriya Rossii. 2017. No. 4. P. 107—114.)

[Chea 2003] — *Cheah Ph.* Spectral Nationality: Passages of Freedom from Kant to Postcolonial Literatures of Liberation. New York: Columbia, 2003.

[Hoagland 2019] — *Hoagland E.* The Postcolonial Bildungsroman // A History of the Bildungsroman / Ed. by S. Graham. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. P. 217—239.

[Isin 2018] — *Isin E.* Preface. Postcolonial Intellectuals. Universal, Specific or Transversal? // Postcolonial Intellectuals in Europe. Critics, Artists, Movements and their Publics / Ed. by S. Ponzanesi and A.J. Habed. London: Rowman and Littlefield International, 2018. P. XI—XIV.

[Kaplan 2017] — *Kaplan I.R.* The Art of Nation-Building: National Culture and Soviet Politics in Stalin-Era Azerbaijan and Other Minority Republics: PhD Thesis. Washington, DC, 2017.

[Kaplan 2020] — *Kaplan I.R.* Comrades in Arts: The Soviet Dekada of National Art and the Friendship of Peoples // RUDN Journal of Russian History. 2020. Vol. 19. No. 1. P. 78—94.

[Kontje 2019] — *Kontje T.* The German Tradition of the Bildungsroman // A History of the Bildungsroman / Ed. by S. Graham. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. P. 10—24.

[Lima 1993] — *Lima M.H.* Decolonizing Genre: Jamaica Kincaid and the Bildungsroman // Genre: Forms of Discourse and Culture. 1993. Vol. 26. No. 4. P. 431—459.

[Mayer 1974] — *Mayer G.* Zum deutschen Antibildungsroman // Jahrbuch der Raabe-Gesellschaft. 1974. Vol. 15. No. 1. S. 41—64.

[Mayofis 2023] — *Mayofis M.* Two Views on Ukrainian Culture of the late 1910s-early 1920s in Two Open Letters from the Year 1960 // eSamizdat. 2023. Vol. 16. P. 65—84 (http://tinyurl.com/e6yvhjns (accessed: 03.03.2024)).

[Moretti 1987] — *Moretti F.* The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture. London: Verso, 1987.

[Pipic 2013] — *Pipic H.* Trauma in Postcolonial Bildungsroman as Reflected in Selected Novels // Is This a Culture of Trauma? An Interdisciplinary Perspective / Ed. by J.A. Lavrijsen and M. Bick. Oxford, UK: Inter-Disciplinary Press, 2013. P. 129—141.

[Ponzanesi 2021] — *Ponzanesi S.* Postcolonial intellectuals: new paradigms // Postcolonial Studies. 2021. Vol. 24. No. 4. P. 433—447.

[Said 1986] — *Said E.W.* Intellectuals in the Post-Colonial World // Salmagundi. 1986. No. 70/71. P. 44—64.

[Salmon 2019] — *Salmon R.* The Bildungsroman and Nineteenth-Century British Fiction // A History of the Bildungsroman / Ed. by S. Graham. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. P. 57—83.

[Selbmann 1994] — *Selbmann R.* Der deutsche Bildungsroman. 2., überarb. u. erweit. Aufl. Stuttgart; Weimar: Verlag J.B. Metzler, 1994.

[Steiner 2011] — *Steiner L.* For Humanity’s Sake: The Bildungsroman in Russian Culture. Toronto: Buffalo; London: University of Toronto Press, 2011.

[Stević 2014] — *Stević A.* Fatal Extraction: Dickensian Bildungsroman and the Logic of Dependency // Dickens Studies Annual. 2014. Vol. 45. P. 63—94.

Андрей Ранчин

Иосиф Бродский: преодоление имперского

Andrey Ranchin

Joseph Brodsky: Overcoming the Imperial

Андрей Ранчин (Московский государственный университет, профессор / Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, ведущий научный сотрудник; доктор филологических наук) aranchin@mail.ru.

Ключевые слова: имперское, колониализм, ориентализм, цивилизация, варварство, пространство, одическая традиция

УДК: 82.091+82-311.6
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_282

Статья посвящена соотношению антиимперских и имперских мотивов в творчестве Иосифа Бродского. Поэт безусловно отрицал Империю как воплощение тоталитарного начала, о чем свидетельствует образ Римского государства в его стихотворениях; Рим здесь во многом является аллегорией Советского Союза. Так понимаемой Империи Бродский противопоставляет позицию частного человека и поэта. Имперское начало в творчестве Бродского не было полностью преодолено. Однако имперскость у поэта лишена собственно политического элемента и апелляции к истории. Воспоминание о прошлом является у него не основанием для пестования национальной гордыни, а напоминанием об исторической вине.

Andrey Ranchin (Dr. habil.; Professor, Moscow State University / Leading Researcher, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences) aranchin@mail.ru.

Key words: imperial, colonialism, orientalism, civilization, barbarism, space, odic tradition

UDC: 82.091+82-311.6
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_282

The article is devoted to the relationship between anti-imperial and imperial motifs in the works of Joseph Brodsky. The poet certainly denied the Empire as the embodiment of a totalitarian principle, as evidenced by the image of the Roman state in his poems; Rome here is in many ways an allegory of the Soviet Union. Brodsky contrasts the position of the Empire with the position of a private person and a poet. The imperial element in Brodsky's work was not completely overcome. However, the poet's imperialism is devoid of a strictly political element and an appeal to history. For him, the memory of the past is not a basis for nurturing national pride, but a reminder of historical guilt.

Вначале необходимо определить значение используемых мною понятий *имперское* и *имперскость*. Под ними очень часто подразумевается этатизм, государственнический культ, или милитаризм. *Имперское* и *имперскость* в традиционном понимании, которое я принимаю, характеризуется признанием территориальной экспансии как сущностного свойства государства и, соответственно, его протяженности как абсолютной ценности и колониалистскими политикой и культурным сознанием, основанными на оппозиции *метрополия — колонии*, в которой второй элемент признается неравным первому, отличается недостаточностью, ущербностью. Авторитарный или тоталитарный характер власти, который часто ассоциируется с имперскостью, в число ее обязательных признаков не входит. (Хотя у Иосифа Бродского лексема *империя*/*Империя* этими коннотациями обычно наделена.) Такое (достаточно строгое) понимание теоретически может не совпадать с осмыслением имперского, при-

сущего тому или иному писателю. Но трактовка имперского начала Бродским как будто бы в целом вписывается в рамки этого осмысления.

Йенс Херльт обратил внимание на парадокс, характеризующий отношение поэта к идее империи:

> У Бродского империя играет двойственную роль. С одной стороны, в ней воплощены враждебные поэзии (и самому поэту) начала власти, контроля, бюрократизма и т.д. Такой империя выступает у Бродского с середины 1960-х гг., гримируясь в тогу Римского государства <…> С другой стороны, империя осмысляется позитивно. Себя Бродский считал имперским поэтом. Империя — гарантия культуры в мире варварства. <…> Империя предстает как некая центростремительная сила, без которой нет цивилизации. <…> Разумеется, когда империя тотальна и вездесуща, она утрачивает положительный смысл, превращаясь в абсурд (пьеса «Мрамор»)[1]. Вместе с тем отрицательный вариант империи проецируется у зрелого Бродского на Восток (Византия, Оттоманская империя, Советский Союз), тогда как позитивное начало связано с западно-римской империей [Херльт 2022: 218].

Эта характеристика, отчасти верная в самых общих чертах, весьма неточна в деталях и несколько противоречива. (Впрочем, противоречия в этом описании отчасти обусловлены сложностью и неоднозначностью его предмета.) Римская империя в «Post aetatem nostram» (1970) и в «Письмах римскому другу» (1972), как, впрочем, и в значительно более поздних драме «Мрамор» (1982) или в стихотворении «Бюсту Тиберия» (1981), по словам самого же исследователя[2], наделена однозначно негативной оценкой, что едва ли позволяет согласиться с утверждением о ее соотнесенности с позитивным началом. Можно возразить, что в ранних стихах Римская империя не более чем аллегория советской реальности. Однако если это даже и так (а это не совсем так), важно, *что именно* может составить план выражения в такой аллегории. Для сравнения: Лермонтов написал «Жалобы турка», подразумевая Россию, но исходя из традиционного представления об Османской империи как об «идеальной» деспотии.

Оппозиция *Рим — Восток* (*Византия, Оттоманская империя, Советский Союз*) представлена в одном-единственном эссе «Путешествие в Стамбул» (1985)[3], которое в идейном плане отчасти уникально: в нем содержится негативная оценка христианства как религии, в отличие от язычества чреватой тоталитаризмом и имперскостью[4]. При этом перенесение столицы Константином Великим на Восток представлено как осуществление идеи империи, зародившейся уже на римской почве. Причем линейный принцип, по Бродскому отличительный и для христианства, и для империй, здесь трактуется как предпосылка тоталитаризма, поскольку лишает и человека уникальности: он становится не более чем песчинкой или каплей в телеологическом потоке истории. Выразителем линеарной идеи, косвенно ответственным за случившееся, автор «Путешествия в Стамбул» считает Вергилия [Бродский 2001, V: 287—288].

С почтением относившийся к античной культуре, и в частности к поэтам золотого Августова века, Бродский тем не менее не удерживается от упрека

---

1 См. о ней: [Вайль, Генис 1986].

2 См.: [Херльт 2022: 218].

3 Англоязычная версия — «Flight from Byzantium».

4 В целом Бродский — поэт и эссеист ориентируется на иудео-христианскую традицию. О христианской культурной основе его творчества написано много работ. См. перечень основных исследований в моей статье: [Ранчин 2022: 590, примеч. 1].

в их адрес, вызванного сервильностью по отношению к царственному покровителю. А расширение Pax Romana он мыслит отнюдь не на имперский манер, — а как следствие путешествия в пространстве и времени, совершаемого отдельными личностями-творцами, но вовсе не как результат неостановимой поступи железных легионов. Автор в эссе «Letter to Horace» («Письмо Горацию», 1995) обращается к римскому поэту:

> ...так человек расширяет Pax Romana. С помощью снов, если необходимо.
> Что, если вдуматься, есть еще одна — возможно, последняя — форма возрождения жизни, особенно если ты один. Она безразлична к цезарю... Хотя, повторяю, бесполезно говорить с тобой в таком тоне, поскольку твои чувства к нему ничуть не отличались от чувств Вергилия. Как и твои способы их выражения. Ты тоже возносишь славу Августа над человеческим горем <...> Да, ты прав: ничто так не порождает снобизма, как тирания [Там же, VII: 378] (пер. с англ. Елены Касаткиной).

Сюжет столкновения Империи с варварами, в котором имперское начало выступало бы хранителем цивилизации, в поэзии Бродского отсутствует. Напротив, в «Post aetatem nostram» представлена отвратительная сцена, в которой римский наместник избивает варварского царька [Там же, II: 397—398].

Признак злосчастного царя — не принадлежность к миру, противоположному цивилизации, а покорность римскому наместнику, ничем не отличающая его от других подданных империи. Мраморные «сатир и нимфа», персонифицирующие культуру, противопоставлены наместнику Рима, творящему расправу — то есть подлинное варварство. Носителем культуры здесь оказывается маргинал, «бродяга»-грек, — не варвар, но и не римлянин, а представитель колонизованного народа. Причем он бежит из Империи, которая в первой строке аттестована самым некомплементарным образом: «“Империя — страна для дураков”» [Там же: 397]. В стихотворении «Anno Domini» (1968) варвары — «вожди племен с стеклянными глазами» [Там же: 213] нарисованы как покорные союзники и подданные империи. А само существование варварского мира как антикультурной силы, угрожающей благополучию Империи, представлено едва ли не иллюзорным: римский Наместник «за стеной / всю ночь безмолвно борется с болезнью / и жжет огонь, чтоб различить врага», но враг — это не более чем недуг представителя имперской власти, да и тот «отступает» [Там же: 215].

На этом фоне выделяется стихотворение «К переговорам в Кабуле» (1992), где «жестоковыйные гордые племена», неполиткорректно названные «козлами, воспитанными в Исламе», действительно воплощают варварское, антицивилизационное начало; однако им отнюдь не противопоставлена некая Империя как воплощение культуры: контрастируют с образом жизни номадов «валюта» и «мерседес» [Там же, IV: 118][5].

Что касается реального, а не аллегорического Рима, то в поэзии 1981 года, отразившей впечатления Бродского от пребывания в Вечном городе, имперская тема никак не представлена. В «Пьяцца Маттеи» Рим характеризуется как «колыбель / Муз, Права, Граций, / где Назо и Вергилий пели, / вещал Гораций», как «вариант автопортрета» [Там же, III: 209], как обитель свободы («усталый раб — из той породы, / что зрим все чаще —/ под занавес глотнул свободы» [Там же: 211]) и как пространство творчества: «все ж не оставлена свобода, / чья дочь — словесность» [Там же: 212].

---

5 См. о нем: [Brodsky 2002].

Тема «Римских элегий» — «частная жизнь», любовь, искусство, творчество. «Рим, человек, бумага» (X элегия [Там же: 231]). Пространство Рима — это приватный локус; исконно имперский мотив раздвижения и охранения границ (*кордон*, *когорты*) превращен в метафору стихотворства:

Север! в огромный айсберг вмерзшее пианино,
<...>
десять бегущих пальцев милого Ашкенази.
Больше туда не выдвигать кордона.
Только буквы в когорты строит перо на Юге.
И золотистая бровь, как закат на карнизе дома,
поднимается вверх, и темнеют глаза подруги.

(IX элегия [Там же])

Метафора *буквы — когорты*[6], по-видимому, является вариацией метафоры *стихи — войска* из «вступления в поэму» Владимира Маяковского «Во весь голос»; ср.:

Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий
Оружия
любимейшего
род
готовая
рванулся в гике,
застыла
кавалерия острог,
поднявши рифм
отточенные пики
И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.

[Маяковский 1955—1961, X: 282—283][7]

---

6 Совсем иначе лексема *когорты* употребляется в более раннем стихотворении «Письмо генералу Z.» (1968), где характеризует имперский милитаризм: «Генерал! Только Время оценит вас, / ваши Канны, флеши, каре, когорты» [Бродский 2001, II: 222]. Стихотворение — отклик на ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, но милитарный дискурс здесь представлен предельно обобщенно: *Канны* отсылают одновременно к Ганнибалу и к проигравшим битву римлянам, флеши — к Багратионовым флешам на поле Бородина, когорты — к армии Древнего Рима.

7 Метафора *буквы-когорты* также напоминает и о *войске песен* из хлебниковского стихотворения «Сегодня снова я пойду...»; ср.: [Хлебников 1986: 93].

Однако у Маяковского эти строки заряжены имперским пафосом в его революционной версии (планетарной победы пролетариата, что при переводе на язык политики означает в конечном счете советскую экспансию). В метафоре же из «Римских элегий», по-видимому, воплощен инвариантный для Бродского мотив преодоления, заполнения пустоты, небытия словом, который прямо декларирован в стихотворении «Похороны Бобо» (1972):

Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более херово.
И на пустое место ставит слово.

[Бродский 2001, III: 35]

Точно прокомментировал эти строки Павел Спиваковский:

> Здесь на место «отсутствующего в реальности» мистического начала ставится слово (может быть, даже слово «логос»), и существование, таким образом, обретает символическую видимость смысла… [Спиваковский 2023: 207].

Собственно имперское величие Рима, грандиозность его завоеваний, впечатляющее расширение границ поэту глубоко безразличны. Как безразличны и имперские победы вообще, расширение границ. Показательно, что в стихотворении «На смерть Жукова» (1974), являющемся подражанием такому имперскому жанру, как торжественная ода, полностью исключен мотив восхваления за победы в чужих землях, за покорение. Дань признательности Жукову воздается только как полководцу оборонительной войны, «родину спасшему, вслух говоря» [Бродский 2001, III: 73].

Отношение к Риму у Бродского в период жизни в Советском Союзе и после эмиграции действительно во многом различно: если в доэмигрантской поэзии представлен Рим не как город, а как государство, причем ассоциирующееся с Советским Союзом как воплощением тоталитарного начала, то есть Рим скорее метафорический, чем настоящий, то в стихотворениях, написанных после 1972 года, это реальный город, причем воспринимаемый восторженно[8].

Но Древний Рим не как город, а как империя описан Бродским с отвращением; структуру государства символизирует бюст императора-тирана Тиберия; тело империи отождествляется с туловищем ее правителя:

Все то, что ниже подбородка, — Рим:
провинции, откупщики, когорты
плюс сонмы чмокающих твой шершавый
младенцев — наслаждение в ключе
волчицы, потчующей крошку Рема
и Ромула. (Те самые уста!
глаголющие сладко и бессвязно
в подкладке тоги.) В результате — бюст
как символ независимости мозга
от жизни тела. Собственного и
имперского. <…>

(«Бюст Тиберия», 1981 [Там же: 274])

8 См. об этом подробнее: [Ранчин 1993; 2001: 415—441; 2013].

Имперскому дискурсу, основанному на идее господства центра над периферией и раздвижения границ, Бродский, как справедливо заметил Йенс Херльт, Бродский противопоставил позицию «провинциала»:

Если выпало в империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.

И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники — ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

(«Письма римскому другу», 1972 [Там же: 11])

В стихотворении, посвященном рождению и жизни в Петербурге — Петрограде — Ленинграде, любимом городе поэта, подчеркнуто его периферийное положение и демонстративно отброшены все элементы петербургского имперского дискурса, заданные Пушкиным во вступлении к «Медному всаднику»:

Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос…

(«Я родился и вырос в балтийских болотах, подле…»
из цикла «Часть речи», 1975—1976 [Там же: 403])

Если у Пушкина «топь блат» и пустынные «неведомые воды» противопоставлены вознесшемуся по воле Петра Великого «юному граду, / Полнощных стран красе и диву» [Пушкин 1948: 135—136], то у Бродского начертана картина местности в невской дельте, какой она была до основания Петербурга. Значимо само положение города на окраине страны, у морского простора[9]. Как заметил позднее Бродский в интервью Соломону Волкову: «Лично мне чем Петр приятен? <…> …он начисто отказался от этой утробной московской идеи» [Волков 2000: 293].

При этом имперское пространство мыслится Бродским как мертвящее, холодное: показательны *вьюга* как характеристика столицы империи в «Письмах римскому другу», мотив замерзания «в параднике Третьего Рима» [Бродский 2001, III: 58] в стихотворении «На смерть друга» (1973)[10]. Имперское пространство — замкнутое, закрытое, живое в нем мертвеет, превращается в мрамор и бронзу:

И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
тут конец перспективы.

(«Конец прекрасной эпохи», 1969 [Там же, II: 312])[11]

---

9 По характеристике Юрия Лотмана, Петербург — это так называемый эксцентрический город. См.: [Лотман 1984].

10 *Третий Рим* понимается Бродским не в религиозно-историософском смысле, как исконно в теории старца Филофея (ср.: [Плюханова 1995: 238—241; Синицына 1998; Флоровский 2009: 24—25]), а в политическом значении — как агрессивная мощная держава.

11 Лев Лосев, исходя из того, что этим стихам предшествуют строки «Красавице платье задрав, / видишь то, что искал, а не новые дивные дивы» [Бродский 2001, III: 311—312], полагает: «“Раздвинутый мир” сначала ограничивается пределами раздвинутых

Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,
иль замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,
можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг.

Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы,
взятые из природы или из головы, —
все, что придумал Бог и продолжать устал
мозг, превращено в камень или металл.
Это — конец вещей, это — в конце пути
зеркало, чтоб войти.

(«Торс», 1972 [Там же, III: 36])[12]

В тупик упирается и некий собирательный имперский поход, отсылающий к советской агрессии против Чехословакии: «Генерал! Я боюсь, мы зашли в тупик. / Это — месть пространства косой сажени» («Письмо генералу Z.», 1968 [Там же, II: 221]). Косая сажень в художественном мире Бродского эквивалентна сходящимся прямым линиям из геометрии Лобачевского.

Имперскому у Бродского противостоит отчетливо артикулируемая позиция частного человека, словами о которой поэт начал Нобелевскую лекцию (1987) [Там же, VI: 44]. Об отражении этой позиции в стихах писал Лев Лосев [Лосев 2008: 153]. В крайнем выражении этот мотив превращается в декларацию эскапизма в стихотворении «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» (1970 (?)). Также имперскому государству противопоставлена поэзия, к метафорической «державе» («Конец прекрасной эпохи», 1969 [Бродский 2001, II: 311]) которой принадлежит лирический герой Бродского.

Имперская колониальная политика наделяется Бродским относительным положительным смыслом только в случае, когда колонизуемые государство и социум содержат тоталитарное начало в его крайней форме, как это было у ацтеков[13]. «Все-таки лучше сифилис, лучше жерла / единорогов Кортеса...» [Там же, III: 100], — пишет он в стихотворении «К Евгению» из цикла «Мексиканский дивертисмент» (1975), противопоставляя окостенелости ацтекской циви-

---

ног, а затем вовсе сходит на нет, как в конце перспективы, в “части женщины”. (Нельзя не отметить мастерское употребление анжамбемана, ритмически выделяющего повтор слова “тут” в финале строфы и таким образом воспроизводящего механический ритм coitus’a» [Лосев 2008: 237—238]. Думаю, что строки о «раздвинутом мире» имеют более общий, философский смысл, а повтор лексемы *тут* воспроизводит не механику совокупления, а тщетные попытки пробиться, протолкаться сквозь метафизический тупик.

12 Ср. в этой связи наблюдения Виктора Юхта о статуе и имперском пространстве у Бродского [Юхт 1995: 420—422].

13 Между прочим, подоплекой оценки ввода советских войск в Афганистан как преступления в стихотворении «Стихи о зимней кампании 1980 года» (1980) является, несомненно, тоталитарная природа СССР, а не просто цивилизационное преступление — вторжение модерна в мир средневековья, как объясняет поэт в интервью Соломону Волкову («антропологическое преступление», «как вторжение железного века в каменный» [Волков 2000: 56]. Вторжение испанских конкистадоров, которое Бродский в «Мексиканском дивертисменте» оправдывает, было аналогичным цивилизационным конфликтом.

лизации с ее человеческими жертвоприношениями испанских завоевателей, олицетворяющих мир истории, динамики. Ацтеки — носители «языка, не знавшего слова “или”» [Там же: 100][14]. В другом тексте из «Мексиканского дивертисмента» — «1867» — Бродский иронически рисует революционера-антиколониалиста Хуареца (Хуареса) с его «гражданской позой» [Там же: 94][15]. В обоих стихотворениях слышатся полемические отголоски строк «Мексики» Маяковского: «Тяжек испанских пушек груз. // Сквозь пальмы, / сквозь кактусы лез // <…> генерал Эрнандо Кортес. // <…> Хранят / краснокожих / двумордые идолы. // От пушек / не видно вреда» [Маяковский 1955—1961, VII: 44] и «Скорей / над мексиканским арбузом, // багровое знамя, взметнись!» [Там же: 48].

Санна Турома оценила образ освободившейся Мексики в цикле Бродского с позиций постколониальной критики: «Стратегии репрезентации, которые использует Бродский в цикле, представляют собой новое приятие евроимперского, так же как и русского имперского, знания для поэтического выражения столкновения с неевропейской территорией» [Turoma 2010: 92]. Примерно так же охарактеризовал образ мексиканского императора Максимилиана в стихотворениях «Гуернавака» и «1867» Андрей Десницкий: для Бродского «Максимилиан представляет Империю — законную, просвещенную Европейскую Империю, которую он пытался установить в Мексике, пусть эта империя ограничивалась стенами его королевский дворец и просуществовала всего несколько лет» [Desnitsky 2023]. Эту точку зрения оспорила Ольга Богданова: поэта «интересуют не проблемы колонизации/постколонизации, не аспекты социального или политического государственного устройства, но вопросы бытийные, экзистенциальные» [Богданова 2023: 157].

В действительности колониалистский дискурс в «Мексиканском дивертисменте» присутствует: он проявляется в высокомерном описании и оценке Мексики как нищей, необустроенной, «дикой» страны. Однако государство Максимилиана отнюдь не противопоставлено Мексиканской республике в качестве воплощения благотворного цивилизационного начала. Внедренные несчастным императором «хрусталь, шампанское, балы», которые «скрашивают быт» («Гуернавака» [Бродский 2001, III: 92]), — слишком мелкие вещи для вывода о правовом и просвещенном характере политики мексиканского императора из династии Габсбургов. Беспечно танцующий в ночном саду Максимилиан, словно не замечающий нависшей над ним угрозы, обрисован не апологетически, а с горькой иронией.

---

14 Ср. характеристику колониалистского сознания в эссе «Посвящается позвоночнику» (1978): «У белого человека вести себя нагло в других широтах основания как бы исторические, крестоносные, миссионерские, купеческие, имперские — динамические, одним словом» [Бродский 2001, VI: 65].

15 Роман Тименчик считает: «Это стихотворение о поэте, поддавшемся соблазну власти… Речь идет о совместительстве “нюхающего розы” с “гражданской позой”…», — относя эти строки, в частности, лично к императору Максимилиану, писавшему стихи [Тименчик 2002: 105] (ср.: [Turoma 2010: 100]). Ольга Богданова отвергает такую трактовку, полагая, что выражение *гражданская поза* отнесено к Хуарецу, а *презренье к ближнему* характеризует танцующего в саду с любовницей мексиканского императора [Богданова 2023: 163]. В данном случае я готов с ней согласиться: структура стихотворения «1867» строится на оппозиции *Максимильян* (*Максимилиан*) — *Хуарец* (*Хуарес*) и гедонист-император противопоставлен заговорщику, бесплатно раздающему пеонам «новые винтовки» [Бродский 2001, III: 94].

Образ Мексики, хотя она и не является азиатской страной, в трактовке Бродского вписывается в рамки оппозиции *Запад — Восток*. Томас Венцлова заметил о «Путешествии в Стамбул»: «Запад рассматривается как начало демократии, Восток — как начало автократии…» [Венцлова 2022: 204—205]. По характеристике Льва Лосева, «для Бродского Европа, начиная от ее эллинистического истока, это гармония (структурность), движение, жизнь. Азия — хаос (бесструктурность), неподвижность, смерть» [Лосев 2008: 160]. Отталкиваясь от анализа «Речи о пролитом молоке» (1967) и наблюдений над «Назиданием» (1987), Лев Лосев замечает:

> Азия, ислам, татарщина у Бродского выступают как метафоры коллективизма не только в обществе, но и в индивидуальном сознании. Этому посвящена его большая вещь в прозе «Путешествие в Стамбул» (1985) — протест против отрицания «я» в пользу «мы», превращения людей в пыль [Там же: 163].

Москва, столица советской империи и метонимия всей страны, наделена в поэзии Бродского азиатскими чертами: «календарь Москвы заражен Кораном» («Речь о пролитом молоке»); «полумесяц плывет в запыленном оконном стекле / над крестами Москвы, как лихая победа Ислама» («Время года — зима. На границах спокойствие. Сны…», 1967—1970 [Бродский 2001, II: 179, 210])[16].

Дж. Смит охарактеризовал упоминания Бродского об исламе как «параноидальную подозрительность и презрение Бродского ко всему мусульманскому» [Смит 2022: 174]. В концепции Эдварда Саида это вариант ориентализма, понимаемого как проявление колониалистского, имперского мировидения:

> …попирающая массу материала общая совокупность идей, неоспоримо пропитанных идеей европейского превосходства, разного рода расизма, империализма и тому подобное, догматическими взглядами по поводу «восточного человека» как своего рода идеальной и неизменной абстракции [Саид 2006: 17] (пер. А.В. Говорунова).

Санна Турома уличила в нем Бродского — автора «Путешествия в Стамбул» [Turoma 2010: 118—151][17]. Существенно, однако, что у Бродского «ориентализм» основан именно на отрицании тоталитарного начала, которое как раз способно к экспансии (о его расползании и угрозе, исходящей от него западному миру, потенциально не чуждому тоталитарному соблазну, сказано подробно в эссе «Путешествие в Стамбул»). То есть этот «ориентализм» («ориентализм наоборот») заряжен, по крайней мере субъективно, именно антиимперским чувством. Кроме того, интересно, что Бродский совмещает при взгляде на азиатскую имперскость внешнюю и внутреннюю точки зрения, идентифицируя себя и как европейца, и как азиата [Лосев 2008: 164].

Андрей Десницкий, сравнивая несколько стихотворений Бродского, описывает своеобразный парадокс: «В этих стихотворениях есть различие, бросающееся в глаза уже при первом взгляде: Бродский приветствует независимость Литвы, одновременно отрицая те же права за украинцами и ацтеками. Что касается афганцев… его презрение еще более ощутимо», — выдвигая свою

16 Подробнее об этих атрибутах и об образе Москвы у Бродского см.: [Бараш 2023: 228—229; Loseff 1990: 41—42].

17 Ср. новейшее исследование имперской темы у Бродского в рамках postcolonial studies: [Zorattini 2024].

трактовку: «Предлагаемое объяснение — это концепция “Культурной Империи”, которую поэт считает высшим благом» [Desnitsky 2023]. Это суждение нуждается в корректировке. Поэт действительно желал независимости Литве, о чем в метафорической форме сказано в «Литовском ноктюрне» (1973 [1974?] — 1983[18]):

Полночь. Сойка кричит
человеческим голосом и обвиняет природу
в преступленьях термометра против нуля.
Витовт, бросивший меч и похеривший щит,
погружается в Балтику в поисках броду
к шведам. Впрочем, земля
и сама завершается молом, погнавшимся за
как по плоским ступенькам, по волнам
убежавшей свободой.

[Бродский 2001, III: 53]

Преступленья термометра против нуля — это перифрастическое именование заморозков, метафорически обозначающих политический климат в Советском Союзе[19]. По отношению к метрополии Литва, очевидно, мыслилась Бродским как европейский локус в полуазиатской деспотии. Однако его взгляд на перспективы развития получивших независимость бывших советских республик, в том числе и стран Балтии, был довольно пессимистичным, о чем свидетельствует пьеса «Демократия!» (ср.: [Лосев 2008: 262]). Тем более скептически оценены сепаратистские тенденции и настроения российских автономных республик в стихотворении «Подражание Горацию» (1992[20]): из трюма аллегорического корабля — России раздается «визг республик». Но и будущее Российской Федерации видится поэту неясным и даже угрожающим: «Но ты, кораблик, чей кормщик Боря, / не отличай горизонт от горя. / Лети по волнам стать частью моря, / лети, лети» [Бродский 2001, IV: 156]. Ориентир — горизонт, неотличимый от *горя*[21].

К распаду СССР Бродский отнесся с безразличием. Но «даже люди, хорошо его знавшие, были удивлены тем, как сильно его огорчило отделение Украи-

18 Датировку привожу в соответствии с указанием адресата стихотворения [Венцлова 1998: 206]. Между прочим, в этом стихотворении СССР именуется Империей: «Поздний вечер в Империи, / в нищей провинции» [Бродский 2001, III: 49]).

19 Ср. строку «В этих грустных краях все рассчитано на зиму» («Конец прекрасной эпохи» [Там же, II: 311]), имперскую *вьюгу* («Письма римскому другу» [Там же, III: 11]) и начальные стихи в самом «Литовском ноктюрне»: «Взбаламутивший море / ветер рвется как ругань с расквашенных губ / в глубь холодной державы» [Там же: 48].

20 Дата написания «Подражания Горацию» приводится по: [Хронология жизни и творчества... 2008: 406—407].

21 Лев Лосев аттестует «Подражание Горацию» как «веселое стихотворение», исполненное «энтузиазма», доказывая эту трактовку с помощью анализа интонации и рифмовки. Бродский действительно избрал «лихой, бесшабашный тон» [Лосев 2008: 265], однако стихотворение строится во многом именно на контрасте плана выражения и плана содержания, и лексема *горя* не случайно поставлена в сильную позицию рифмы в последнем катрене. Лейтмотив стихотворения — своеобразный акт экзистенциального риска, путешествие в поисках свободы, где процесс важнее сомнительного результата.

ны от России». «Стало очевидно», что «пространство от Белого до Черного моря, от Волги и до Буга» было в его сознании «единой родной страной» [Лосев 2008: 263]. Выражением этих настроений стало стихотворение «На независимость Украины» (1992?)[22]. На выступлении в Куинс Колледже 28 февраля 1994 года автор заметил, что произведение его побудила написать «“печаль… по поводу этого раскола” (“sadness… on behalf of that split”)» [Там же: 264].

Приведем два фрагмента. Строфы четвертая и пятая:

> Скажем им, звонкой матерью паузы метя, строго:
> скатертью вам, хохлы, и рушником дорога.
> Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире,
> по адресу на три буквы на все четыре
>
> стороны. Пусть теперь в мазанке хором Гансы
> с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.
> Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще,
> а курицу из борща грызть в одиночку слаще?[23]

И заключительный катрен:

> С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи!
> Только когда придет и вам помирать, бугаи,
> будете вы хрипеть, царапая край матраса,
> строчки из Александра, а не брехню Тараса.

Андрей Краснящих, охарактеризовавший «На независимость Украины» как произведение, принадлежащее к особому «жанру брани», предположил, что стихотворение представляет или некий монтаж реплик условных персонажей, отнюдь не тождественных авторскому голосу, или же одну цельную реплику, но сказового типа, то есть тоже дистанцированную от авторского слова [Краснящих 2020].

Евгений Брейдо, видимо не знавший этой заметки, высказал ту же мысль о нетождественности позиции Бродского точке (точкам) зрения, представленным в тексте. Все высказывания якобы принадлежат разным речевым субъектам: сначала это голос либерально настроенного современного шведа; «дальше в стихотворении слышно много голосов, и ни один из них не звучит как голос автора или хотя бы лирического героя. Да его здесь и нет, потому что это не лирическое стихотворение, а скорее небольшое драматическое произведение» [Брейдо 2023: 226]. Так, в процитированных выше мною четвертом и пятом катренах «звучит… голос… этакого русского имперского уродца», а в финале «можно расслышать голос поэта, книжника. Правда, словно в насмешку говорит он о превосходстве собственной культуры» [Там же: 228, 230].

---

22 Стихотворение было впервые прочитано автором на вечере в еврейском центре в Пало-Альто в Калифорнии 30 октября 1992 года [Лекманов 2023: примеч. 2]. О его датировке см.: [Хронология жизни и творчества… 2008: 407].

23 Здесь и далее стихотворение цитируется по авторизованному тексту из «Живого журнала» Натальи Горбаневской (запись от 17 мая 2008 года), присланному Валентиной Полухиной; см.: https://ng68.livejournal.com/123368.html (дата обращения: 15.04.2024).

Проведенные и Андреем Краснящих, и Евгением Брейдо параллели между «На независимость Украины» и «Представлением» (1986—1988[24]) Бродского, действительно являющимся своеобразной драматической сценой, на что указывает уже само заглавие этого текста[25], безосновательны: во втором стихотворении реплики персонажей маркированы, отделены друг от друга пунктуационно — с помощью кавычек. Ссылка на тот факт, что «украинское» стихотворение записано с голоса и его авторское пунктуационное оформление неизвестно, несостоятельна. Во-первых, смущение, испытываемое Бродским при чтении этого поэтического текста или при напоминании о нем, свидетельствует о принадлежности всех строк в произведении одному голосу, причем это голос, обозначенный местоимением первого лица *мы*, — авторский. Олег Лекманов в этой связи привел свидетельство Григория Фрейдина: Бродский «“с шутливо виноватым лицом только рассмеялся”… но не стал говорить, что он в “мы” не входит» [Лекманов 2023: примеч. 3].

Во-вторых, в авторизованном тексте в «Живом журнале» Горбаневской никаких кавычек, выделяющих реплики разных персонажей, нет.

Для Евгения Брейдо одним из аргументов в пользу полисубъектности текста «На независимость Украины» является обращение к шведскому королю Карлу XII в начальных строках «Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой, / слава Богу, проиграно»: это обращение либерально настроенного шведа, уверенного, что отказ его страны от имперских амбиций и бремени, предопределенный этой «конфузией», способствовал благополучному развитию Швеции [Брейдо 2023: 224—226]. Возможность иной трактовки, исходящей из того, что здесь отражена русская, а не шведская точка зрения и что подразумевается проигрыш *новой Полтавы*[26], отождествляемый с отделением Украины от России, исследователь категорически отводит:

> Если с точки зрения субъекта провозглашение независимости Украины равно проигрышу Полтавской битвы… то этот субъект — русский имперец. Но такой человек ни в коем случае не скажет, что сражение, «слава Богу, проиграно». Для него это драма, если не трагедия. Предположить во фразе иронию невозможно, поскольку с имперской точки зрения в данном случае она абсолютно неуместна… [Брейдо 2024: 288].

Однако приравнивание отделения Украины к возможному проигрышу Полтавской баталии совершенно необязательно должно принадлежать истовому имперцу, а странный оборот *слава Богу* в данном случае является вкраплением чужой точки зрения и чужой речи: *слава Богу* — с точки зрения шведской, исход Полтавской битвы оказался словно переигран Историей, Россия поте-

---

24 См. о датировке стихотворения: [Лосев 2011: 405—406].

25 О поэтике «Представления» см., например: [Ранчин 2023]. Здесь же указана основная литература.

26 Евгений Брейдо оспаривает трактовку, принадлежащую Дмитрию Кузьмину [Имперский текст в русской поэзии 2023: 252]. Однако с некоторыми нюансами эта интерпретация высказывалась и раньше [Лосев 2008: 264]. Допустимо и еще одно понимание, видящее в *проигранном сражении* именно Полтавскую битву, но предполагающее также русскую, а не шведскую точку зрения: «Хорошо, что Швеция в результате поражения лишилась возможности объединиться с Украиной и в итоге не переживала расставания с неблагодарной союзницей» [Павлов 2021: 463]. Эти истолкования Евгением Брейдо не учтены.

ряла Украину, куда некогда вторгся, но где потерпел фиаско Карл XII. В терминологии Михаила Бахтина это пример «двуголосого слова» «активного типа (отраженного чужого слова)» [Бахтин 1994: 99].

Другим аргументом в пользу многосубъектности текста «На независимость Украины» для Евгения Брейдо является его полистиличность: наличие сленговых словечек, обилие бранной лексики, многочисленные украинизмы (*жмеия*, *карбованец*, *рушник*, *Днипро* и др.). Присутствие украинизмов, по его мнению, свидетельствует об отражении в стихотворении точки зрения украинцев, ассоциирующих себя с российским имперством. Но в действительности сленговая, обсценная, просторечная лексика имеется в стихотворениях Бродского, моносубъектность которых несомненна (ср. хотя бы «Речь о пролитом молоке», «Разговор с небожителем», «На смерть друга» и др.). Не чурался поэт и украинизмов, причем в безусловно монологических поэтических текстах (ср.: [Славянский 2022: 681—682]). В «На независимость Украины» у такой стилистики может быть особый смысл: Лев Лосев предположил, что перемешивание «клишированных украинизмов» «со словами и выражениями из воровского арго» должно усиливать «ощущение незаконности, криминальности отделения Украины от России» [Лосев 2008: 263].

Категорическое утверждение Евгения Брейдо, что Бродский, этнический еврей, помнивший о своем еврействе, не мог назвать себя *кацапом* («Не нам, кацапам, их обвинять в измене»), также принять невозможно: автор «На независимость Украины» говорил о себе: «Я — русский поэт и еврей» (цит. по: [Там же: 138]), а потому такая самоидентификация вполне возможна, являясь опять-таки примером использования «чужого слова». Парадоксально здесь самоименование не Бродского, а собирательных русских (*нам*) *кацапами* — пренебрежительным украинским словцом.

Заключительную строфу стихотворения сам Евгений Брейдо считает репликой поэта, и у нас нет никаких оснований не считать ее выражением позиции автора. Справедлива мысль Ольги Бертельсен:

> …сама логика, стиль и тон стихотворения привели его к неизбежному выводу о превосходстве русской культуры: поэзия Пушкина была первозданной, вечной и являлась манифестацией «высокой» культуры, тогда как поэзия Шевченко была фальшивой, неискренней и представляла собой обывательскую культуру… [Bertelsen 2015: 277].

Украинская культура и государственность представлены в стихотворении как ущербные и второсортные: «жовто-блакитный» флаг выглядит неудачной репликой шведского (но *без креста*), ткань на который предоставила *Канада*, будущее рисуется как подчинение *ляхам и ганцам*, то есть полякам и немцам, притязания на европейский путь — как несостоятельные. О том, что грубые строки в адрес украинцев принадлежат отнюдь не «русскому имперскому уродцу», а непосредственно автору, свидетельствует скрытая ироническая реминисценция из цветаевского стихотворения «Хочу у зеркала, где муть…» из цикла «Подруга»: «— Благословляю Вас на все / Четыре стороны!» [Цветаева 1994: 227] (у Бродского: «на все четыре»).

В целом же, как справедливо подчеркнул Сергей Завьялов, признать гипотезу, высказанную Евгением Брейдо, «мешает контекст творчества Бродского, для которого часто характерен агрессивный монолог, отвергающий все существующие конвенции» [Имперский текст в русской поэзии 2023: 243].

(«Представление», упоминаемое Андреем Краснящих и Евгением Брейдо как аналог «На независимость Украины», — раритетный для творчества поэта пример действительно полисубъектного текста.) Возражение Евгения Брейдо, упрекнувшего автора приведенной цитаты в декларативности [Брейдо 2024: 288], остается само не более чем декларацией. В стихотворении Бродского представлены не разные голоса, а различные модуляции одного и того же голоса. И голос это высокомерный, звучащий вызывающе-оскорбительно и порой по-хамски.

Как справедливо заметил Дмитрий Кузьмин, «от его прочтения как лирики первого лица» стихотворение Бродского отнюдь не делается» имперским, так как

> брань вслед освободившейся колонии так же несовместима с имперским дискурсом (основанном на представлении о недопустимости и неприемлемости такого освобождения, о необходимости ему противодействовать силой без ограничения срока давности), как брань вслед уходящей возлюбленной — с дискурсом насильника, который никому никуда уйти не позволит… [Имперский текст в русской поэзии 2023: 252].

Он напомнил, что

> основой имперского ресентимента, как и вообще имперского дискурса, является представление о *благости* империи… Стихотворение Бродского исходит из прямо противоположной посылки: имперское общее прошлое ужасно («как в петлю лезть»), не дай бог туда вернуться (да и как вернуться, если мы, оглядываясь, видим лишь руины!), но почему строить на этих руинах что-то новое и осмысленное нужно непременно поврозь?» [Там же][27].

У России и Украины общая историческая вина (самоубийственность советской *петли*, в которую они *влезли*[28]. Отречение от досоветского прошлого, от досоветской культуры трактуется как измена христианской цивилизации («Не нам, кацапам, их обвинять в измене. / Сами под образами семьдесят лет в Рязани / с залитыми глазами жили, как при Тарзане»)[29]; в свою очередь, декларация

---

27 На трактовку Бродским объявления Украиной независимости как ухода возлюбленной указывалось и раньше, см.: [Демчиков 2015].

28 *Вертухаи* в стихотворении совершенно не обязательно означают украинских прислужников немецких нацистов, как убежден Павлов [Павлов 2021: 474—475]. Этим словом обозначались на советском тюремном жаргоне надзиратели. Ср.: «…еще прочухивается тюремное начальство — и только бодрствует вертухай, ежеминутно отклоняющий щиток глазка» («Архипелаг ГУЛаг», ч. 1, гл. 5) Как поясняет Солженицын: «Говорили, что это пошло от надзирателей-украинцев: “стой, а не вертухайсь!”» [Солженицын 2010: 187]). У Бродского здесь, конечно же, аллюзия (видимо, через указание на солженицынский текст) на советские репрессии и причастность к ним украинцев, забывших о своей вине.

29 Рязань здесь, конечно, не аллюзия на так называемую измену Олега Рязанского, как полагает Олег Лекманов [Лекманов 2023] (это маргинальный и очень давний сюжет, не имеющий отношения к российско-украинским отношениям), а метонимия глубинной, «кондовой» России, на что указал его критик [Колобродов 2023]. (При этом принять тон его критики и общие выводы я считаю невозможным.) *Образа* не противопоставлены советскому отступничеству от цивилизации (*с налитыми глазами*), как считает Павлов [Павлов 2021: 469], а являются составной частью этого «варварского» существования, возможно, как проявление обрядоверия. В поэзии

украинской независимости мыслится как отречение от этой общей вины и в этом смысле как еще одна измена (намек на это — описание украинского флага: «даром, что без креста: но хохлам не надо»). Упоминание о Конотопе, над которым развевается украинское знамя, может отсылать не только к конотопской битве 1659 года[30], проигранной Россией украинским войскам гетмана Ивана Выговского, разорвавшего договор с Москвой. Это еще и напоминание о Конотопе как о пограничном городе между Украиной (Речью Посполитой) и Россией начиная с XVII века [Лазаревский 1893: 206] и как о городе, где было 2 апреля 1649 года торжественно встречено московское посольство Унковского [Воссоединение Украины с Россией… 1953: 168], приезд которого знаменовал начало процесса присоединения Украины к Московскому царству. Наконец, под этим городом были подписаны 12 июня 1672 года так называемые Конотопские статьи — договор, определивший отношения Гетманщины и России. *Без креста* может быть еще и намеком на нарушение присяги (крестоцелования), данной на Переяславской раде 1654 года.

Имперскость в «На независимость Украины» проявляется не в политическом, а в культурном аспекте — как признание неполноценности украинской культуры[31]. (Политический уход Украины понимается как культурный разрыв, как отречение от общих культурных ценностей.) Это имперский взгляд, но особого рода. Механизм этой, в данном случае непреодоленной, имперскости достаточно нетривиален. Прежде всего он основан на «культе русского языка как универсального поэтического языка», который «понимался И. Бродским при его последовательном неприятии советского строя как явление, опосредованное национальной идеей и неразрывно связанное с ней» [Савицкий 2024: 165][32]. Точнее было бы сказать, что язык и является для поэта национальной идеей. Об этом свидетельствует, в частности, раннее стихотворение «Народ» (1964)[33]. Украинский язык, по мнению Бродского, не породивший таких шедевров, как русский, этим высоким статусом не обладает. Самоидентификация поэта с русским языком косвенным образом предопределила корреляцию его творчества с русской государственностью, с русским пространством. Корреля-

---

Бродского *образа* упоминаются только в пейоративном контексте («Пятая годовщина (4 июня 1977)», «Представление»). Поэт был равнодушен к православию и признавался в тяготении к кальвинизму [Бродский 2000: 467, 628—629, 668]. Не исключена, впрочем, справедливость другой догадки Павлова, что *образа* в «На независимость Украины» — это метафора, обозначающая портреты советских вождей [Павлов 2021: 470].

30 Так считают практически все комментаторы стихотворения.

31 Можно согласиться с утверждением: «В его глазах западная политическая ориентация Украины является изменой родной для нее русской культуре. Бродский исповедует не имперские взгляды в их политическим смысле, а то, что польский поэт Адам Загаевский назвал у него “аристократическим шовинизмом русской культуры”» [Павлов 2021: 477]. Ср.: [Загаевский 2020]. Однако утверждение Павлова «В анализируемом тексте Бродский разделяет ценности православно-державного направления русской мысли, но трактовать его взгляды как имперские невозможно» совершенно несостоятельно. Во-первых, «православно-державное» и есть вариант имперского. Во-вторых, идеи этого направления поэту были совершенно чужды: достаточно вспомнить реплику, которую произносит «некто православный» в «Представлении» [Бродский 2001, III: 299].

32 Ср. о понимании Бродским креативной роли языка: [Ахапкин 2000; Polukhina 1989: 60—66, 169—182].

33 См. о нем: [Лосев 2010].

ция эта проявлялась в стихотворениях, написанных в Советском Союзе, безусловно негативно, как реализация модели гонимого пророка, который в своей значимости и силе может быть признан равным имперской мощи: его *второсортная держава* вступает в конфликт с государством, чреватый казнью: «Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора / да зеленого лавра» («Конец прекрасной эпохи» [Бродский 2001, II: 311, 312]). Сильное чувство лирического героя соотносится с имперским началом: «Глушеною рыбой всплывая со дна, / кочуя, как призрак — по требам, / как тело, истлевшее прежде рядна, / как тень моя, взапуски с небом, / повсюду начнет возвещать обо мне / тебе, как заправский мессия, / и корчится будут на каждой стене / в том доме, чья крыша — Россия» («Отказом от скорбного перечня — жест…», 1967 [Там же: 194]), «Любовь — имперское чувство» («Прощайте, мадемуазель Вероника», 1967 [Там же]).

Противостояние стихотворца и империи Бродский называет «архетипической драмой» (эссе «Сын цивилизации» [Там же, V: 95], пер. Д. Чекалова). В поэзии эмигрантского периода мотив гонимого поэта исчезает, но сохраняется мотив соотнесенности поэта и империи, в самой протяженности которой усматривается величие: «Восточный конец Империи погружается в ночь» — о Соединенных Штатах Америки («Колыбельная Трескового мыса» [Там же, II: 81]), «Я, пасынок державы дикой / с разбитой мордой, / другой, не менее великой / приемыш гордый» («Пьяцца Маттеи» [Там же, III: 209]). Показателен интерес поэта к таким категориям, как время и пространство, взятым в их предельной абстракции, соотносящимся с многовековой культурной историей и с большим, имперским пространством. Величие поэзии и языка реализовывалось в стихотворениях Бродского посредством использования пространственной модели, в которой взгляд лирического «я» или существа, это «я» манифестирующего, «парит» над миром («Осенний крик ястреба», 1975; «К Урании», 1982), а его взгляд, размыкая окоем, как бы наделяет его смыслом, существованием. Похожая организация пространства характерна для торжественной оды:

> Вертикальный ужас лирического подъема разрешается в компенсаторной и преобразующей идентификации с горизонтальным простиранием российской мощи. Таким образом, опыт поэтического вдохновения представлен как аналог политической власти, которую он затем описывает: безличной, абсолютной, как ви́дение, которое парит, чтобы охватить расширяющуюся сферу. Это пространственное сочленение двух осей, а также психические и исторические энергии, которые оно объединяет, обеспечивает основу имперского величия [Ram 2003: 5][34].

Целостность ядра российского имперского пространства для Бродского обеспечивалась культурным единством. В этом отношении восприятие поэтом Украины и украинской культуры оказывается внутренне противоречивым: с одной стороны, они мыслятся как органическая часть метрополии, а не как объект колонизации; с другой стороны, украинская культура с имперской точки зрения экзотизируется и признается неполноценной. В этом принципиальное отличие от восприятия Бродским, например, ацтекской цивилизации, ко-

34 Ср. в этой связи работу Р. Циркина-Садана, в которой осмысление Бродским пространства трактуется в контексте русского имперского литературного дискурса [Tsirkin-Sadan 2021].

торая трактуется как варварская и тоталитарная и разрушение которой колонизаторами-завоевателями оценивается как благо. Или от трактовки ввода советских войск в Афганистан, описываемого как вторжение тоталитарной власти в чужое пространство.

Имперское начало поддерживалось в культурном сознании Бродского впечатлениями от Петербурга, о котором он писал как о «гигантском воплощении совершенного порядка вещей», порождающем прекрасную поэзию (эссе «Сын цивилизации» [Бродский 2001, V: 98]). Показательно не лишенное восторга отношение к Петру Великому именно как к основателю Петербурга, при этом именуемому государем [Волков 2000: 293].

Таким образом, имперское начало в творчестве Бродского не было полностью преодолено. Однако имперскость у поэта лишена собственно политического элемента, оппозиционна по отношению к тоталитаризму, свободна от апелляции к истории и от искушения историософскими соблазнами[35]. Воспоминание о прошлом является у него не основанием для пестования национальной гордыни, а напоминанием об исторической вине. Позиция Бродского практически лишена традиционных элементов русского имперского дискурса.

Библиография / References

[Ахапкин 2000] — *Ахапкин Д.* Лингвистическая тема в статьях и поэзии Иосифа Бродского о литературе // Russian Literature. 2000. Vol. XLVII. No. 3—4. P. 435—447.

(*Akhapkin D.* Lingvisticheskaya tema v stat'yakh i poezii I. Brodskogo o literature // Russian Literature. 2000. Vol. XLVII. No. 3—4. P. 435—447.)

[Бараш 2023] — *Бараш О.* «Лучший вид на этот город…»: Москва глазами Иосифа Бродского // И.А. Бродский: pro et contra: Антология / Сост. О.В. Богдановой, А.Г. Степанова: [В 2 т.]. Т. 2. Иосиф Бродский в мировой культуре. СПб.: РХГА, 2023. С. 227—244.

(*Barash O.* "Luchshiy vid na etot gorod…": Moskva glazami Iosifa Brodskogo // I.A. Brodskiy: pro et contra: Antologiya / Comp. by O.V. Bogdanova, A.G. Stepanov: [In 2 vols.]. Vol. 2. Iosif Brodskiy v mirovoy kul'ture. Saint Petersburg, 2023. P. 227—244.)

[Бахтин 1994] — *Бахтин М.М.* Проблемы творчества Достоевского. 5-е изд., доп. Киев: NEXT, 1994.

(*Bakhtin M.M.* Problemy tvorchestva Dostoevskogo. 5th ed., add. Kiev, 1994.)

[Богданова 2023] — *Богданова О.* Поэтический цикл И. Бродского «Мексиканский дивертисмент» // И.А. Бродский: pro et contra: Антология / Сост. О.В. Богдановой, А.Г. Степанова: [В 2 т.]. Т. 2. Иосиф Бродский в мировой культуре. СПб.: РХГА, 2023. С. 148—184.

(*Bogdanova O.* Poeticheskiy tsikl I. Brodskogo "Meksikanskiy divertisment" // I.A. Brodskiy: pro et contra: Antologiya / Comp. by O.V. Bogdanova, A.G. Stepanov: [In 2 vols.]. Vol. 2. Iosif Brodskiy v mirovoy kul'ture. Saint Petersburg, 2023. P. 148—184.)

[Брейдо 2023] — *Брейдо Е.* Комментарий к стихам Бродского «На независимость Украины» // Новое литературное обозрение. 2023. № 183. С. 223—232.

35 Между прочим, показательна в этой связи пристрастная и крайне резкая оценка Тютчева-поэта как «верноподданного» и «холуя»: «Тютчев имперские сапоги не просто целовал — он их лобзал» [Волков 2000: 51]. Верноподданнических стихотворений у Тютчева практически нет; Бродский, видимо, подразумевает его историософские стихотворения с панславистской идеей, в которых представлена мессианская роль Российской империи в славянском мире.

(*Breido E.* Kommentariy k stikham Brodkogo “Na nezavisimost’ Ukrainy” // Novoe literaturnoe obozrenie. 2024. No. 183. P. 223—232.)

[Брейдо 2024] — *Брейдо Е.* К дискуссии об имперскости в русской литературе (ответ оппонентам) // Новое литературное обозрение. 2024. № 185. С. 285—290.

(*Breido E.* K diskussii ob imperskosti v russkoy literature (otvet opponentam) // Novoe literaturnoe obozrenie. 2024. No. 185. P. 285—290.)

[Бродский 2000] — *Бродский И.* Большая книга интервью / Сост. В. Полухина. М.: Захаров, 2000.

(*Brodskiy I.* Bol’shaya kniga interv’yu / Comp. by V. Polukhina. Moscow, 2000.)

[Бродский 2001] — *Бродский И.* Сочинения: В VII т. / Сост. Г.Ф. Комаров. СПб.: Пушкинский фонд, 2001.

(*Brodskiy I.* Sochineniya: In VII vols. / Comp. by G.F. Komarov. Saint Petersburg, 2001.)

[Вайль, Генис 1986] — *Вайль П., Генис А.* От мира — к Риму // Поэтика Иосифа Бродского: Сборник статей / Под ред. Л.В. Лосева. Tenafly, N.J.: Эрмитаж, 1986. С. 198—206.

(*Vail’ P., Genis A.* Ot mira — k Rimu // Poetika Iosifa Brodskogo: Sbornik statey / Ed. by L.V. Losev. Tenafly, N. J., 1986. P. 198—206.)

[Венцлова 1998] — *Венцлова Т.* О стихотворении Иосифа Бродского «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова» // Новое литературное обозрение. 1998. № 33. С. 206—222.

(*Venclova T.* O stikhotvorenii Iosifa Brodskogo “Litovskiy noktyurn: Tomasu Ventslova” // Novoe literaturnoe obozrenie. 1998. No. 33. P. 206—222.)

[Венцлова 2022] — *Венцлова Т.* Путешествие из Петербурга в Стамбул // И.А. Бродский: pro et contra: Антология / Сост. О.В. Богдановой, А.Г. Степанова: [В 2 т.]. Т. 1. СПб.: РХГА, 2022. С. 194—207.

(*Venclova T.* Puteshestvie iz Peterburga v Stambul // I.A. Brodskiy: pro et contra: Antologiya / Comp. by O.V. Bogdanova, A.G. Stepanov: [In 2 vols.]. Vol. 1. Saint Petersburg, 2022. P. 194—207.)

[Волков 2000] — *Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 2000.

(*Volkov S.* Dialogi s Iosifom Brodskim. Moscow, 2000.)

[Воссоединение Украины с Россией... 1953] — Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы: В 3 т. Т. 2. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953.

(Vossoedinenie Ukrainy s Rossiey. Dokumenty i materialy: In 3 vols. Vol. 2. Moscow, 1953.)

[Демчиков 2015] — *Демчиков В.* «На независимость Украины» как главное стихотворение Бродского // Гефтер. 2015. 8 июня (http://gefter.ru/archive/15397 (дата обращения: 15.03.2024)).

(*Demchikov V.* “Na nezavisimost’ Ukrainy” kak glavnoe stikhotvorenie Brodskogo // Gefter. 2015. June 8 (http://gefter.ru/archive/15397 (accessed: 15.03.2024)).)

[Загаевский 2020] — *Загаевский А.* «О Иосифе Бродском, вразброс» // Звезда. 2020. № 5 (https://magazines.gorky.media/zvezda/2020/5/o-iosife-brodskom-vrazbros.html (дата обращения: 17.03.2024).)

(*Zagaewski A.* “O Iosife Bridskom, vrazbros” // Zvezda. 2020. No. 5 (https://magazines.gorky.media/zvezda/2020/5/o-iosife-brodskom-vrazbros.html) (accessed: 17.03.2024).)

[Имперский текст в русской поэзии 2023] — Имперский текст в русской поэзии: Анкета // Новое литературное обозрение. 2023. № 183. С. 233—260.

(Imperskiy tekst v russkoy poezii: Anketa // Novoe literaturnoe obozrenie. 2023. No. 183. P. 233—260.)

[Колобродов 2023] — *Колобродов А.* «Независимость Украины» и зависимость от тенденции: перетягивание Бродского. 2023. 5 июня (https://vnnews.ru/nezavisimost-ukrainy-i-zavisimos/ (дата обращения: 13.03.2024)).

(*Kolobrodov A.* “Nezavisimost’ Ukrainy” i zavisimost’ ot tendentsii: peretyagivanie Brodskogo. 2023. June 5 (https://vnnews.ru/nezavisimost-ukrainy-i-zavisimos/ (accesed: 13.03.2024)).)

[Краснящих 2020] — *Краснящих А.* Гой ты рушник, карбованец // Ex Libris НГ. 2020. 20 мая (https://www.ng.ru/ng_exlibris/2020-05-20/12_1030_ukraine.html (дата обращения: 16.03.2024))

(*Krasnyashchikh A.* Goy ty rushnik, karbovanets // Ex Libris NG. 2020. May 20 (https://www.ng.ru/ng_exlibris/2020-05-20/12_1030_ukraine.html (accessed: 16.03.2024)).)

[Лазаревский 1893] — *Лазаревский А.М.* Описание старой Малороссии. Материалы для истории заселения, землевладения и управления: [В 3 т.]. Т. 2. Киев, 1893.

(*Lazarevskiy A.M.* Opisanie staroy Malorossii. Materialy dlya istorii zaseleniya, zemlevladeniya i upravleniya: [In 3 vols.]. Vol. 2. Kiev, 1893.)

[Лекманов 2023] — *Лекманов О.* «Нам» и «нас» в стихотворении Бродского «На независимость Украины» // Волга. 2023. № 5 (https://magazines.gorky.media/volga/2023/5/nam-i-nas-v-stihotvorenii-brodskogo-na-nezavisimost-ukrainy.html (дата обращения: 10.03.2024).)

(*Lekmanov O.* “Nam” i “nas” v stikhotvorenii Brodskogo “Na nezavisimost’ Ukrainy” // Volga. 2023. No. 5 (https://magazines.gorky.media/

volga/2023/5/nam-i-nas-v-stihotvorenii-brodskogo-na-nezavisimost-ukrainy.html (accessed: 10.03.2024)).)

[Лосев 2008] — *Лосев Л.* Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. 3-е изд. М.: Молодая гвардия, 2008.

(*Losev L.* Iosif Brodskiy: Opyt literaturnoy biografii. 3rd ed. Moscow, 2008).

[Лосев 2010] — *Лосев Л.* О любви Ахматовой к «народу» // Лосев Л. Солженицын и Бродский как соседи. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. С. 102—125.

(*Losev L.* O lyubvi Akhmatovoy k "narodu" // Losev L. Solzhenitsyn i Brodskiy kak sosedi. Saint Petersburg, 2010. P. 102—125.)

[Лосев 2011] — *Лосев Л.* Примечания // Бродский И. Стихотворения и поэмы: В 2 т. / Сост. Л.В. Лосева. Т. 2. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома; Вита нова, 2011. С. 329—539.

(*Losev L.* Primechaniya // Brodskiy I. Stikhotvoreniya i poemy: In 2 vols. / Comp. by L. Losev. Vol. 2. Saint Petersburg, 2011. P. 329—539.)

[Лотман 1984] — *Лотман Ю.М.* Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту: Тартуский государственный университет, 1984. Вып. 664. С. 30—45.

(*Lotman Ju.M.* Simvolika Peterburga i problemy semiotiki goroda // Uchenye zapiski Tartuskogo gosudarstvennogo universiteta. Tartu, 1984. Iss. 664. P. 30—45.)

[Маяковский 1955—1961] — *Маяковский В.В.* Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: Художественная литература, 1955—1961.

(*Mayakovskiy V.V.* Polnoe sobranie sochineniy: In 13 vols. Moscow, 1955—1961.)

[Павлов 2021] — *Павлов С.Г.* «На независимость Украины» И.А. Бродского в контексте украинской евроинтеграции // Труды Нижегородской духовной семинарии. Сборник работ преподавателей и студентов. Вып. 19. Н. Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2021. С. 455—480.

(*Pavlov S.G.* "Na nezavisimost' Ukrainy" I.A. Brodskogo v kontekste ukrainskoy evrointegratsii // Trudy Nizhegorodskoy dukhovnoy seminarii. Sbornik rabot prepodavateley i studentov. Iss. 19. Nizhniy Novgorod, 2021. P. 455—480.)

[Плюханова 1995] — *Плюханова М.Б.* Сюжеты и символы Московского царства. СПб.: Акрополь, 1995.

(*Plyukhanova M.B.* Syuzhety i simvoly Moskovskogo tsarstva. Saint Petersburg, 1995.)

[Пушкин 1948] — *Пушкин <А.С.>* Полное собрание сочинений, 1837—1937: В 16 т. Т. 5. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

(*Pushkin <A.S.>* Polnoe sobranie sochineniy, 1837—1937: In 16 vols. Vo1. 5. Moscow; Leningrad, 1937—1959.)

[Ранчин 1993] — *Ранчин А.М.* «Римский текст» Иосифа Бродского // Russian Literature. 1993. Vol. XXXIV. № 3. P. 471—486.

(*Ranchin A.M.* "Rimskiy tekst" Iosifa Brodskogo // Russian Literature. 1993. Vol. XXXIV. No. 3. P. 471—486.)

[Ранчин 2001] — *Ранчин А.М.* «На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского. М.: Новое литературное обозрение, 2001.

(*Ranchin A.M.* "Na piru Mnemoziny": Interteksty Iosifa Brodskogo. Moscow, 2001.)

[Ранчин 2013] — *Ранчин А.М.* «Рим» как концепт в поэзии И. Бродского // Диалог культур: «Итальянский текст» в русской литературе и «русский текст» в итальянской литературе: Материалы международной научной конференции (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 9—11 июня 2011 г.). М.: Инфотех, 2013. С. 225—231.

(*Ranchin A.M.* "Rim" kak kontsept v poezii I. Brodskogo // Dialog kul'tur: "Ital'yanskiy tekst" v russkoy literature i "russkiy tekst" v ital'yanskoy literature: Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Institut russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova RAN, 9—11 iyunya 2011 g.). Moscow, 2013. P. 225—231.)

[Ранчин 2022] — *Ранчин А.М.* Философская традиция Иосифа Бродского // И.А. Бродский: pro et contra: Антология / Сост. О.В. Богдановой, А.Г. Степанова: [В 2 т.]. Т. 1. СПб.: РХГА, 2022. С. 566—594.

(*Ranchin A.M.* Filosofskaya traditsiya Iosifa Brodskogo // I.A. Brodskiy: pro et contra: Antologiya / Comp. by O.V. Bogdanova, A.G. Stepanov: [In 2 vols.]. Vol. 1. Saint Petersburg, 2022. P. 566—594.)

[Ранчин 2023] — *Ранчин А.* От мистерии к балагану: «Шествие» и «Представление» Иосифа Бродского // Новый мир. 2023. № 7. С. 198—209.

(*Ranchin A.* Ot misterii k balaganu: "Shestvie" i "Predstavlenie" Iosifa Brodskogo // Novyy mir. 2023. No. 7. P. 198—209.)

[Савицкий 2024] — *Савицкий С.* Что знает кириллица? Идея поэтического языка в «Эклоге 4-й» и эссе И. Бродского // Новое литературное обозрение. 2024. № 185. С. 163—174.

(*Savitskiy S.* Chto znaet kirillitsa? Ideya poeticheskogo yazyka v "Ekloge 4-y" i esse I. Brodskogo // Novoe literaturnoe obozrenie. 2024. No. 185. P. 163—174.)

[Саид 2006] — *Саид Э.* Ориентализм: Западные концепции Востока / Пер. с англ.

А.В. Говорунова. СПб.: Русский міръ, 2006.

(*Said E.* Orientalism. Saint Petersburg, 2006. — In Russ.)

[Синицына 1998] — *Синицына Н.В.* Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции. М.: Индрик, 1998.

(*Sinitsyna N.V.* Tretiy Rim: Istoki i evolyutsiya russkoy srednevekovoy kontseptsii. Moscow, 1998.)

[Славянский 2022] — *Славянский Н.* Твердая вещь. Борьба за стиль // И.А. Бродский: pro et contra: Антология / Сост. О.В. Богдановой, А.Г. Степанова: [В 2 т.]. Т. 1. СПб.: РХГА, 2022. С. 679—687.

(*Slavyanskiy N.* Tverdaya veshch'. Bor'ba za stil' // I.A. Brodskiy: pro et contra: Antologiya / Comp. by O.V. Bogdanova, A.G. Stepanov: [In 2 vols.]. Vol. 1. Saint Petersburg, 2022. P. 679—687).

[Смит 2022] — *Смит Дж.* Иосиф Бродский: взгляд иностранного современника // И.А. Бродский: pro et contra: Антология / Сост. О.В. Богдановой, А.Г. Степанова: [В 2 т.]. Т. 1. СПб.: РХГА, 2022. С. 164—175.

(*Smit Dzh.* Iosif Brodskiy: vzglyad inostrannogo sovremennika // I.A. Brodskiy: pro et contra, antologiya / Comp. by O.V. Bogdanova, A.G. Stepanov [In 2 vols.]. Vol. 1. Saint Petersburg, 2022. P. 164—175.)

[Солженицын 2010] — *Солженицын А.И.* Собрание сочинений: В 30 т. Т. 4. М.: Время, 2010.

(*Solzhenitsyn A.I.* Sobranie sochineniy: In 30 vols. Vol. 4. Moscow, 2010.)

[Спиваковский 2023] — *Спиваковский П.* Образы пост-смерти в поэзии Иосифа Бродского // И.А. Бродский: pro et contra: Антология / Сост. О.В. Богдановой, А.Г. Степанова: [В 2 т.]. Т. 2. Иосиф Бродский в мировой культуре. СПб.: РХГА, 2023. С. 202—211.

(*Spivakovskiy P.* Obrazy post-smerti v poezii Iosifa Brodskogo // I.A. Brodskiy: pro et contra: Antologiya / Comp. by O.V. Bogdanova, A.G. Stepanov: [In 2 vols.]. Vol. 2. Iosif Brodskiy v mirovoy kul'ture. Saint Petersburg, 2023. P. 202—211.)

[Тименчик 2002] — *Тименчик Р.* «1867» (1975) // Как работает стихотворение Бродского: Сборник статей / Ред.-сост. Л.В. Лосев и В.П. Полухина. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 100—107.

(*Timenchik R.* "1867" (1975) // Kak rabotaet stikhotvorenie Brodskogo: Sbronik statey / Ed. by L.V. Losev i V.P. Polukhina. Moscow, 2002. P. 100—107.)

[Херльт 2022] — *Херльт Й.* «В ожидании варваров»: Бродский и границы эстетики // И.А. Бродский: pro et contra: Антология / Сост. О.В. Богдановой, А.Г. Степанова. Т. 1. СПб.: РХГА, 2022. С. 208—224.

(*Kherl't Y.* "V ozhidanii varvarov": Brodskiy i granitsy estetiki // I.A. Brodskiy: pro et contra: Antologiya / Comp. by O.V. Bogdanova, A.G. Stepanov. Vol. 1. Saint Petersburg, 2022. P. 208—224.)

[Хлебников 1986] — *Хлебников В.* Творения / Сост. В.П. Григорьева и А.Е. Парниса. М.: Советский писатель, 1986.

(*Khlebnikov V.* Tvoreniya / Comp. by V.P. Grigor'ev and A.E. Parnis. Moscow, 1986.)

[Хронология жизни и творчества... 2008] — Хронология жизни и творчества И.А. Бродского / Сост. В.П. Полухиной при уч. Л.В. Лосева // Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. 3-е изд. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 323—424.

(Khronologiya zhizni i tvorchestva I.A. Brodskogo / Comp. by V.P. Polukhina with the part. by L.V. Losev // Losev L. Iosif Brodskiy: Opyt literaturnoy biografii. 3rd ed. Moscow, 2008. P. 323—424.)

[Флоровский 2009] — *Флоровский Г., прот.* Пути русского богословия. М.: Институт русской цивилизации, 2009.

(*Florovskiy G., prot.* Puti russkogo bogosloviya. Moscow, 2009.)

[Цветаева 1994] — *Цветаева М.И.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 1. М.: Эллис Лак, 1994—1995.

(*Tsvetaeva M.I.* Sobranie sochineniy: In 7 vols. Vol. 1. Moscow, 1994.)

[Юхт 1995] — *Юхт В.* К проблеме генезиса статуарного мифа в поэзии Иосифа Бродского (1965—1971 гг.) // Russian Literature. 1995. Vol. XLIV. P. 409—432.

(*Juht V.* K probleme genezisa statuarnogo mifa v poezii Iosifa Brodskogo (1965—1971 gg.) // Russian Literature. 1995. Vol. XLIV. P. 409—432.)

[Bertelsen 2015] — *Bertelsen O.* Joseph Brodsky's Imperial Consciousness // Scripta Historica. 2015. No. 21. P. 263—289.

[Brodsky 2002] — Joseph Brodsky, "On the Talks in Kabul": A Forum on Politics in Poetry // The Russian Review. 2002. Vol. 61. No. 2. P. 85—219.

[Desnitsky 2023] — *Desnitsky A.* De-imperializing Joseph Brodsky: "On the independence of Ukraine" and other poems // Studies in East European Thought. 2023. October (https://www.researchgate.net/publication/374872385_De-imperializing_Joseph_Brodsky_On_the_independence_of_Ukraine_and_other_poems (accessed: 10.03.2024)).

[Loseff 1990] — *Loseff L.* Poetics/Politics // Brodsky's Poetics and Aesthetics / Ed. by L. Loseff and V. Polukhina. Bastingstoke (Hants.); London: MacMillan Press, 1990. P. 34—55.

[Polukhina 1989] — *Polukhina V.* Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

[Ram 2003] — *Ram H.* The Imperial Sublime. A Russian Poetics of Empire. Madison, Wisconsin, 2003.

[Tsirkin-Sadan 2021] — *Tsirkin-Sadan R.* Genre and Politics: The Concept of Empire of Joseph Brodsky's Work // Partial Answers. 2021. Vol. 19. No. 1. P. 119—143.

[Turoma 2010] — *Turoma S.* Brodsky Abroad: Empire, Tourism, Nostalgia. Madison: The University of Wisconsin Press, 2010.

[Zorattini 2024] — *Zorattini J.* You Are in the Empire, Friend: The Legacy of the Russian Imperial Narrative in the Poetry of Joseph Brodsky // Bakhtiniana: Revista de Estudos do Discurso. 2024. Vol. 19. No 2 (https://www.scielo.br/j/bak/a/VpzTjmtq8HhYpYcDZznRw5L/?lang=en (accessed: 10.03.2024)).

Марк Липовецкий

Андеграунд — альтернативная модель русской культуры?

Mark Lipovetsky

The Underground — an Alternative Model for Russian Culture?

Марк Липовецкий (Колумбийский университет, Нью-Йорк; профессор, доктор филологических наук) ml4360@columbia.edu.

Ключевые слова: позднесоветский андеграунд, самиздат, тамиздат

УДК: 82-1+82-3
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_303

Является ли позднесоветский андеграунд жизнеспособной альтернативой иерархической и централизованной модели культуры, построенной в СССР? Андеграунд 1960—1980-х годов стремится воссоздать те формы функционирования культуры, которые сложились в начале XX века и частично сохранялись в 1920-е годы. По контрасту с имперской моделью андеграунд децентрализован и построен как архипелаг, состоящий из множества не изолированных, но автономных «островов». Статья также стремится обрисовать спектр проблем, требующих внимания со стороны художников и исследователей, видящих свою роль в продолжении традиций андеграундного искусства и оглядывающихся на позднесоветский андеграунд как на модель для архитектуры новой, антиимперской культуры, в которой роль государства будет минимизирована, а роль самиздата и тамиздата перейдет к интернету.

Mark Lipovetsky (Dr. habil.; Professor, Columbia University, New York) ml4360@columbia.edu.

Key words: late Soviet underground, samizdat, tamizdat

UDC: 82-1+82-3
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_303

Is the late Soviet underground a viable alternative to the hierarchical, centralized model of culture built in the USSR? The underground of the 1960s—80s strives to reproduce those forms for functioning of culture that shaped at the turn of the 20th century and which partially continued to operate in the 1920s. Unlike the imperial cultural edifice, the underground is decentralized and constructed as an archipelago consisting of a multiplicity of — not isolated but autonomous — "islands". The article also attempts to define a spectrum of problems that need to be addressed by those authors and scholars who see their role in the continuation of traditions rooted in the late Soviet underground and employing it as a blueprint for a new cultural architecture, anti-imperial by its logic and structure, in which the state's participation would be minimized and the role of samizdat and tamizdat redistributed to the internet.

Московские концептуалисты часто импровизировали на тему присвоения воинских званий классикам литературы и искусства. У Пригова даже описана «Игра в чины» [Пригов 1997: 193—199], а у Бориса Орлова эта тема обыгрывается в целом ряде визуальных работ (см., например, ил.). Таким образом они насмешничали над иерархическим характером советской культуры. Сформированная по военному образцу в 1930-е, она продолжает оставаться таковой вплоть до ее распада в 1990-е годы. Иерархия более или менее лояльных художников (см. также повесть «Шапка» Владимира Войновича) дополнялась триединством идейности — партийности — народности и дихотомией центр — периферия, молчаливо оформлявшей доминирование русской культуры над другими культурами СССР. Как Е.А. Добренко и Н. Джонссон-Скрадоль показали в своей книге «Поздний сталинизм», в 1940-е — начале 1950-х классовая парадигма была полностью вытеснена националистической, и, несмотря на

осуждение «борьбы с космополитизмом» в хрущевские времена, она легла в основание позднего социализма и его властной структуры (governmentality) [Добренко, Джонссон-Скрадоль 2022]. Сегодня совершенно очевидно, что именно советский национализм — а не марксизм и тем более не социализм — поднят на знамя агрессивной современной политической реакции. Национализм, переформатированный под новые политические условия, является движущей силой, разносящей все ценное и живое, что было создано в сфере культуры и образования в течение тридцати постсоветских лет.



Борис Орлов. Национальный тотем. А.С. Пушкин в маршальском мундире. 1982. Частное собрание

Я далек от того, чтобы без разбору гвоздить русскую культуру как ответственную за происходящее. Однако невозможно спорить и с тем, что культура, заново выстроенная после 1991 года, обладала слабым иммунитетом против национализма и имперского вируса. Но ведь и раскол — как раз по этим линиям — начался задолго до 2014 года. Уже в 2000—2001 годах триггерами таких расколов стали сначала «Брат-2» Балабанова, а затем роман Проханова «Господин Гексоген», выпущенный левым издательством «Ad Marginem» (см.: [Lipovetsky 2022; Кукулин 2008]).

С другой стороны, нынешний вождь Z-литературы Захар Прилепин многие годы был любимцем либеральных медиа — от «Эха Москвы» до «Новой газеты» (где он был спецкором по Нижегородской области). Неужели его идеологические приоритеты были так надежно скрыты? Да нет, все было высказано без обиняков — достаточно вспомнить, что в романе «Санькя» заглавный герой, с которым автор полностью отождествляется, планирует «месть» балтийскому судье, вынесшему приговор советскому ветерану[1]. Но и этот роман, и другие публикации Прилепина воспринимались многими представителями «либеральной общественности» как свежий голос протестной молодежи. Да и как было не порадоваться на фоне интеллектуальной моды на Проханова, Лимонова и Дугина при поддержке авторитетной премии «Нацбест» и круга покойного Виктора Топорова, чьи наследники (например, В. Левенталь) сегодня примкнули к госпропаганде.

1

Иначе говоря, когда сегодня, не без помощи Госуслуг, возводится новая иерархическая конструкция «имперской культуры», многие задумываются о том,

1 См. мой анализ идеологии Прилепина в: [Липовецкий 2012].

как перестраивать (в который уж раз) культурную архитектуру так, чтобы иммунитет против национализма был встроен в ее ДНК, чтобы ее сопротивляемость культу государства была заложена на уровне рефлексов и не требовала доказательств и чтобы *неиерархическая и децентрализованная структура* новой культуры служила антидотом против ностальгии по имперскому величию. Разумеется, в этом поиске особое значение приобретает наследие культуры советского литературного и художественного андеграунда, особенно 1950—1980-х годов, которое, слава богу, было кропотливо собрано и изучено за последние десятилетия[2]. Почему именно андеграунд становится актуальным сегодня, а не, например, культура Серебряного века или вообще дореволюционная культура?

Во-первых, андеграунд может служить прототипом новой русской культуры, потому что он наглядно доказал возможность полноценного существования современной культуры внутри авторитарного государства с агрессивной внешней и внутренней политикой. Во-вторых, в андеграундной среде — на коленке, самодельно, путем бриколажа — были возрождены децентрализованные и неиерархические модели культурной жизни, восходящие к досоветскому и раннесоветскому периодам, от салонов до групп, кружков и их самодеятельных журналов. В-третьих, андеграунд стал точкой сплетения повседневности и эстетических проектов, здесь получили реализацию авангардные и модернистские дискурсы, казалось бы, беспросветно вытесненные за пределы советского мира. Наконец, инфраструктура андеграунда наиболее совместима с современными медиа: например, интернет легко интегрирует такие важнейшие формы андеграундной дистрибуции, как самиздат, тамиздат и магнитофониздат.

Андеграунд *децентрализован* — он состоит из множества «островов», не изолированных друг от друга, но тем не менее вполне автономных. Этот архипелаг — зеркально противоположный солженицынскому — населен группами и кружками, объединенными общими эстетическими вкусами и сходными стилями жизни. Относительная автономия нонконформистских союзов от государственной идеологии и институтов служит важнейшим смыслом существования андеграундной культуры. Разделяя критическую позицию по отношению к советской власти, андеграундные группы зримо воплощают эстетический (и философский) плюрализм, хотя различия между кружками не переходили в конфронтацию, и немало авторов свободно курсировали между группами.

Пригов говорил о том, что позднесоветский андеграунд создал «квазиинституты»[3], такие как самиздат и тамиздат, машинописные журналы, салоны, чтения, перформансы и хеппенинги, квартирные выставки и многое другое. Как показала Клавдия Смола [Smola 2018], именно они сыграли критическую роль в формировании позднесоветского суррогата публичной сфе-

2 См., например: [Бобринская 2013; Время надежд... 2018; Переломные восьмидесятые... 2014; Савицкий 2003; Самиздат... 2003; Сумерки «Сайгона» 2009; Эти странные... 2010; Dropping Out of Socialism... 2017; Komaromi 2022; Oxford Handbook... 2024; Samizdat, Tamizdat... 2013].

3 «Думается, что андеграунд состоялся как некая квазиинституция в пределах советской культуры, когда он смог накопить некую минимальную критериальную референтную стабильную массу социокультурного общения-функционирования...» [Пригов 2019: 398].

ры, по Хабермасу, как «пространства осмысленной дискуссии, основанной на принципах открытости и равенства субъектов, регулируемой правилами, установленными и принятыми в процессе коммуникации» Хабермас [Хабермас 2016][4].

Наряду с этими институтами каждый «остров» андеграунда обладал не только особенной эстетикой, языком и культурным каноном, но и своей системой *самоуправления* (governmentality), не всегда, впрочем, отрефлектированной. Достаточно много групп вырастали вокруг харизматического лидера и цементировались своеобразным культом личности. Однако были и яркие примеры демократической самоорганизации — среди которых я бы выделил «Коллективные действия» и «Клуб-81»[5].

Еще одна важная черта андеграундной культуры — ее *локализация*. Андеграундные кружки и группы неотделимы от конкретной топографии, языковой и даже архитектурной среды. Вписанные в пейзаж города, эти коллективы часто — полусерьезно-полушутливо — мифологизируют свою среду. Ленинград, воссозданный в ленинградской нонконформистской литературе и визуальном искусстве 1950—1980-х, ближе к «петербургскому тексту», чем вся советская литература (за исключением Вагинова, конечно). Мифология «герцогства Беляево» — придуманный Приговым пародийный нарратив об окрестностях этой станции московского метрополитена — продолжает функционировать и сегодня. Писателями и художниками андеграунда были созданы аналогичные многогранные и многозначные хронотопы Киева, Львова, Харькова, Риги, Таллина, Вильнюса, Минска, Ферганы, как, впрочем, и Свердловска, Новосибирска, Горького и некоторых других городов СССР. Каждая из этих эстетизированных локаций требует отдельного изучения, а в совокупности они образуют карту позднесоветской контркультуры. Такая карта могла бы стать полезным инструментом для анализа альтернатив имперской парадигме.

Важно подчеркнуть, что локализация андеграунда не предполагает дихотомии «центр — периферия». Каждый локус, созданный и культивируемый андеграундными авторами, понимается ими как абсолютный центр автономного культурного универсума. Универсальность этой сферы настолько высока, что все остальные «локусы» исчезают за линией горизонта. Как правило, андеграундный автор соотносил себя не с «соседями», а мировыми авторитетами — глобальной контркультурой или избранными фигурами из классической культуры. Показательно, что практически каждая андеграундная группа стремилась создать свой канон и свою модель культурной истории, для чего, собственно, и издавались машинописные журналы.

Характерно в этом отношении признание Виктора Кривулина:

> Условно говоря, я «семидесятник», хотя бы потому, что на моем внутреннем календаре отмечена ярко-красным одна дата — 5 часов утра 24 июля 1970 года. Нет, в ту ночь я не писал стихов. Я читал Баратынского и дочитался до того, что перестал слышать, где его голос, а где мой. Я потерял свой голос и ощутил неверо-

4 См. также раздел «The Lifeworlds of the Soviet Underground», написанный К. Смолой и М. Энгстрём в коллективной главе «Theoretical Problems of Soviet Underground Culture» [Oxford Handbook... 2024: 4—16].

5 См. о «Коллективных действиях»: [Kalinsky 2013; Eşanu 2013]. О Клубе-81: [Иванов 2013; Kukulin 2024].

> ятную свободу, причем вовсе не трагическую, вымученную свободу экзистенциалистов, а легкую, воздушную свободу, словно спала какая-то тяжесть с души. Вдруг не стало времени. Умерло время, в котором я, казалось, был обречен жить до смерти, утешаясь стоической истиной, что «времена не выбирают, в них живут и умирают». Вот оно только что лежало передо мной на письменном столе, нормальное, точное, сносно устроенное, а осталась кучка пепла. И тотчас за окном, в конце Большого проспекта, вылезло из-за дома Белогруда огромное солнце. Очень большое, неправдоподобное [Кривулин 1998: 7].

В этой сцене совершается преображение автора: социально-определенное «я» умирает, а вместо него рождается «я», принадлежащее асоциальному и внеисторическому «хору». Это преображение для Кривулина символизирует экзистенциальную свободу от собственного времени. Восход, замыкающий описание, акцентирует мифоподобный характер пережитого «перехода»: новый мир родился, и над ними восходит новое солнце. Свобода автора всецело замкнута сферой языка и предлагает множество возможностей для интеракции с прошлым. И ухода от настоящего. Как писал Кривулин:

> …я отталкивался от чужих текстов, ощущая поэзию действительно как бесконечный разговор, диалог, хор, соборное какое-то звучание. И вот я ощутил свою анонимность в этом хоре, счастливую анонимность. <…> Я вдруг физически ощутил, что все люди, которые умерли, на самом деле присутствуют среди нас. Они присутствуют через язык, через слово, и это совершенно другой мир — абсолютно свободный, вне пространства и времени и в то же время абсолютно реальный. Есть язык со своими ресурсами, и он всех нас связывает и все организует [Кривулин 1999: 366].

Такого рода откровение для Кривулина означало «выбор определенного образа жизни, с Союзом писателей, разумеется, не связанного. И так, собственно, было у всех из моего поколения. Рано или поздно приходилось делать выбор» [Там же: 367].

Выбор образа жизни в совокупности с доминированием устных и перформативных форм культурной коммуникации в андеграунде в сочетании с плотной локализацией приводит к тому, что позднесоветский андеграунд, как доказывает Клавдия Смола, наряду с конкретными текстами и артефактами, стремится создавать «жизненные миры» — полуутопические перформативы эстетизированной коммуникации:

> …самиздат, тамиздат и другие альтернативные коммуникативные каналы порождают символические сферы, которые размывают «западную» дихотомию публичного и частного. <…> Андеграундные коммуникативные структуры были основаны на пространственной близости и одновременном «различении» от внешнего мира. Феномен взаимной близости между художниками поэтому приобретает эстетическое значение и становится системной чертой андеграунда. По контрасту с преимущественно вертикальным, парадигматическим миром государственного социализма, андеграунд порождает горизонтальное распространение неофициальных и полуофициальных контактов внутри дружеских кругов и разнообразных зон общения [Oxford Handbook… 2024: 11].

Изучать «жизненные миры» крайне трудно: в редких случаях они задокументированы, хотя бы частично. Однако именно через эти феномены осуществ-

ляется связь между позднесоветским андеграундом и авангардом начала века с его утопическим жизнетворчеством.

Все эти и ряд других характеристик андеграундной культуры не просто намечают иные формы культурного существования, но и экспериментальным путем утверждают жизнеспособность альтернативной модели культуры: фрагментарной — а не централизованной, производящей не мета-, а микронарративы, которые тем не менее способны эстетизировать коммуникацию внутри определенного круга, задавая параметры жизненного мира. В свою очередь, жизненный мир функционирует и как бытовой контекст, важный для авторов и их художественного продукта и включающий в себя не только производителей, но и потребителей андеграундного искусства; и как «комьюнити», которое становится формой утверждения и подтверждения определенной системы ценностей, в том числе и этических.

Наиболее убедительно концепция позднесоветского андеграунда как альтернативной модели культуры разработана Энн Комароми в ее недавней книге «Советский самиздат: Воображая новое общество», посвященной сам- и тамиздатской периодике. Отталкиваясь от концепции «воображаемых сообществ» Бенедикта Андерсена, она доказывает, что советские андеграундные сообщества строятся, конечно, не вокруг printed capitalism, как у Андерсена, а вокруг сверхценной категории «правды» — понятой широко, не только как правда о социальных и исторических преступлениях, но и как «правильное», настоящее, современное искусство и философское миропонимание — и даже как путь «личных и социальных изменений в соответствии с этой правдой» [Komaromi 2022: 148]. Объединенные общей аксиологией, самиздатские периодические издания становятся центрами альтернативных официальным пабликов, или (по Майклу Уорнеру) контрпабликов:

> Эти альтернативные паблики основывались на понимании правды как автономной от того, что предлагало государство, даже когда их правда пересекалась с советским дискурсом, будь то официальное законодательство или официально декларируемые революционные или культурные цели. <…> В результате складывается плюралистский андеграунд, состоящий из многих альтернативных пабликов, более или менее свободно соотнесенных друг с другом и общим социальным контекстом [Ibid.: 150—151].

Эта концепция помещает андеграундные культуры в ряд альтернативных пабликов, которые Алексей Юрчак объединяет понятием «жить вне» в своей известной книге 2006 года [Yurchak 2006].

2

Несмотря на локализацию, как правило, в андеграундной культурной среде 1960—1980-х либо сосуществовали, либо сменяли друг друга следующие концептуально-эстетические формации: 1) диссидентское искусство; 2) «герметический модернизм» (Т. Гундорова); 3) разного рода постмодернистские группы и кружки — как правило, пародийно или комедийно ориентированные. Так, например, Т. Гундорова выделяет эти направления в украинском андеграунде: диссидентское искусство шестидесятников — в Украине это прежде всего Василь Стус, Лина Костенко, Иван Драч. В русском андеграунде аналогом этой тенден-

ции будут Андрей Синявский и Юлий Даниэль, Александр Солженицын, Лидия Чуковская, Вадим Сидур, Борис Свешников и др. К герметическому модернизму постшестидесятников Гундорова относит Василя Голобородько, Виктора Кордуна, Валентина Отрошенко, Станислава Вышенского. С равным успехом с этим понятием можно связать ленинградских и московских неомодернистов Леонида Аронзона, Виктора Кривулина, Елену Шварц, Александра Миронова, Леонида Губанова, Ольгу Седакову и, конечно, Иосифа Бродского. И те, и другие пытались «вернуться» к модернизму 1920—1930-х годов — в Украине это был прежде всего модернизм «расстрелянного возрождения», а в России — Серебряного века и его прямых наследников. Разновидностью герметического модернизма можно считать тех авторов, которые были более осознанно ориентированы на *западный* авангард (не исключая экспрессионизм и сюрреализм) — в Украине это был круг львовских писателей, объединенных участием в альманахе «Скрыня» («Сундучок») Олех Лышеня, Грицко Чубай, Мыкола Рябчук и художников 1970-х (Кокс, Кауфман). В России аналогичные тенденции представляли группа «Горожане», Аркадий Драгомощенко, позднее Алексей Парщиков. Наконец, на рубеже 1970—1980-х возникают постмодернистские группы и течения — «Бу-Ба-Бу» во Львове и круг абсурдистов (Лесь Подеревянский, Володымыр Диброва) в Киеве[6]. В России такие тенденции сопоставимы, с одной стороны, с Хеленуктами (еще в 1960-е), затем с Волохонским и Хвостенко, Венедиктом Ерофеевым, московскими концептуалистами и, наконец, с «митьками». Разумеется, здесь также ни в коем случае не приложима модель «центр — периферия». Сходные феномены возникают параллельно, но часто по разным причинам.

Но также важно отметить принципиальную разницу между украинским (как и беларусским или балтийскими) андеграундом и его российским вариантом. В Украине общим знаменателем если не всех, то многих андеграундных объединений был пафос *национального возрождения*, направленного прежде всего против русификации и партийного диктата, идущего из Москвы. И конечно, именно участие в национально-освободительном движении подвергалось наиболее решительному террору со стороны КГБ (например, аресты Василя Стуса, Мыколы Плахотнюка, Леонида Плюща, Ивана Дзюбы, Семена Глузмана и Надежды Светличной в 1972 году).

Как ни странно, в России тоже было свое «национальное возрождение», но оно породило прежде всего такие консервативные феномены, как деревенскую прозу, и журнал «Наш современник» в подцензурной культуре, а в андеграунде — круг журнала «Вече», Владимира Осипова и Леонида Бородина. Вместе эти течения слились в описанной Митрохиным «Русской партии», от которой прямо тянутся связи к сегодняшней политической идеологии Кремля. В имперском контексте «национальное возрождение» никак не может быть иным — его единственный удел: производство врагов и оправдание насилия.

Более того, как мы знаем, ряд андеграундных групп становятся инкубаторами новых и радикальных ультраконсервативных идеологий — это и круг Южинского переулка, поздние Евгений Харитонов и Сергей Курехин, «Новая академия» и, конечно, Эдуард Лимонов. Как правило, критики и адвокаты этих авторов объясняют «правые повороты» своих кумиров через категорию

6 Я опираюсь на главу Т. Гундоровой «The Ukrainian Underground: Aesthetics, Resistance, and Performance» в «Oxford Handbook of Soviet Underground Culture». См. также: [Гундорова 2005].

трансгрессии — свойственной многим авангардным эстетикам и характерной для контркультуры. При наличии либерального мейнстрима — часто воображаемого в результате экстраполяции идей и настроения близкого окружения на все общество — ультранационалистические и имперские идеи производят трансгрессивный эффект, чем и пользуются талантливые контркультурщики. Другим часто используемым объяснением солидарности выросших в андеграунде талантов с фашистами становится перформативный или даже игровой характер этих жестов. Заметим на это, что перформативность совершенно не исключает идентификации с перформатируемой идеологией. Джудит Батлер давно доказала, что именно игровые стратегии лежат в основании гендерной идентификации. Как свидетельствует современная культура, стеб — сегодня называемый троллингом — прекрасно совмещается с пропагандой расизма и ксенофобии («Брат-2» Балабанова чуть не первым открыл этот принцип), а косплей стал языком войны[7].

Рискну высказать еще одно предположение: эстетические приемы мерцания (незалипания) и субверсивной аффирмации, которые практиковали авторы андеграундных произведений, в диапазоне от Пригова до Курехина и от Ерофеева до Мамлеева, обладают довольно тонкой и сложной механикой. При переносе этой эстетики в область массовой культуры тонкость и сложность утрачиваются, а мерцание превращается в троллинг, эффектно декорирующий, но и ни в коей мере не подрывающий консервативную идеологию, в которую автор — следуя массовым ожиданиям — радостно «влипает». Таков был случай Лимонова. А иногда такая вульгаризация происходит и без участия автора — как это случилось с постсоветской рецепцией соц-арта (о чем кратко писал Илья Калинин[8]).

3

Одним словом, не так уж и трудно установить связи *определенных андеграундных феноменов* с современным милитаризованным национализмом. Однако, в сущности, эти отношения парадоксальны, потому что, например, круг Южинского переулка, по определению Марии Энгстрём,

> существовал как бы в другом измерении, полностью вне реальности советской жизни; это было сознательная попытка возродить Серебряный век с его интересном к потустороннему и эзотерическому… Важной характеристикой южинцев как сообщества было радикальное сомнение не только по отношению к советской системе, но и по отношению к современному миру в целом. Позднесоветская реаль-

7 См.: [Nicolosi 2022; Магун 2022].

8 «…окончательная смена знака в отношении к советскому прошлому, произошедшая в середине 2000-х годов, была предопределена тем типом критики, который стал доминировать с конца 1980-х годов, но своими корнями уходил в стилистические и идеологические приемы соц-арта, концептуализма, повседневной поэтики стеба. Речь, естественно, не идет о том, чтобы вменять ныне существующий национал-патриотический консенсус в вину Комару и Меламиду, Булатову или Пригову. Речь идет о том, что характерная для позднесоветской эпохи критика *советского* оказалась не слишком продуктивной и, скорее наоборот, способствовала его частичному возвращению» [Калинин 2018: 123].

> ность воспринималась ими как специфический пример «космического» кризиса; южинцев не занимала политическая или социальная критика советского порядка, они фокусировались на проблемах «метафизических» [Engström 2024: 868].

Сознательное игнорирование советской реальности было характерно для многих, если не всех, представителей позднесоветского андеграунда. К примеру, Сорокин вспоминал:

> Сформировался как литератор я в московском андерграунде, где хорошим тоном считалась аполитичность. Я помню притчу, которая ходила из уст в уста: когда немецкие войска входили в Париж, Пикассо сидел и рисовал яблоко… Такой была и наша позиция: сиди и рисуй свое яблоко, независимо от того, что происходит вокруг [Сорокин 2007].

Не стоит, разумеется, понимать эту позицию как аполитичную — она, безусловно, была политической; как напомнила во время XXIII Банных чтений Ирина Прохорова, таким образом художники андеграунда отстаивали важнейшую модернистскую ценность — автономию искусства, свободу от диктата идеологии и цензуры. Выбор «поколения дворников и сторожей», предпочитавших независимую эстетическую и философскую деятельность служебному (а значит, интеллектуальному и политическому) коллаборационизму с советской системой, Алексей Юрчак сравнивал с западной системой грантов [Yurchak 2006: 151—155]. Однако, конечно, ситуация была значительно более драматичной, экономически стесненной и, как правило, необратимой (в отличие от кратковременного творческого отпуска, обеспеченного гранта).

Как бы то ни было, андеграунд культивировал политическую позицию, которая отделяла себя не только от официально навязываемого политического дискурса, но и от диссидентской политики[9]. В своих позднейших рефлексиях андеграундные художники довольно часто возвращаются к этому критерию самоидентификации:

> …отношение к диссидентам — по крайней мере, у меня — было как к людям с другой планеты (Илья Кабаков) [Эти странные… 2010: 105].

> …Диссидентство, как это ни покажется странным, было частью советской системы. Ненавидимой, уничтожаемой, но — частью. Частью этого социально-культурного тела. Это хорошо видно на текстах диссидентов, которые пользуются теми же самыми эстетическими и языковыми кодами, что и власть. Если пользоваться вашим словом «стиль», то они находятся в том же стиле. В этом смысле диссиденты художникам были чужие, художники находились в другом стиле (Виктор Пивоваров) [Там же: 226—227].

> Этих людей (андеграундных писателей и художников. — *М.Л.*) объединяло эстетическое неприятие советской действительности. От политических оппонентов режима их отличало равнодушие к социальной проблематике. Их протест носил не конкретный, а скорее эмоциональный или, наоборот, фундаментальный, общефилософский, отвлеченный характер. <…> Мы довольно быстро поняли, что дело не в политике, но в миропорядке, и каждый по-своему миропорядок стали исследовать. Так возникла наша литература [Кривулин 1998: 131—132].

---

9 Об этом также писал А. Юрчак [Yurchak 2006: 126—128].

Причины для отталкивания были многообразны — от культурного консерватизма диссидентов (видевших в Солженицыне нового Толстого и вершину литературного Олимпа) до «ужасающей мимикрии» [Oushakine 2001], сближающей диссидентский дискурс с языком советского официоза. Строго говоря, в этом отношении позднесоветский андеграунд мало чем отличался от западного неоавангарда — Клемент Гринберг, как известно, квалифицировал откровенно политизированное искусство как форму китча [Гринберг 2005].

Опасные оттенки андеграундной «аполитической политики» стали видны довольно рано — в первые годы перестройки. Показательной в этом смысле была Лиссабонская конференция 1988 года, в которой участвовали как советские (Толстая, Аннинский, Ким, Матевосян), так и эмигрантские писатели (Бродский, Довлатов, Зиник), с одной стороны, и крупнейшие центральноевропейские (Данило Киш, Георгий Конрад, Чеслав Милош, Йозеф Шкворецкий, Вено Тауфер, Адам Загаевский) и западные писатели (Салман Рушди, Сюзан Зонтаг, Дерек Уолкотт) — с другой. Выступление Т. Толстой в духе «аполитической политики» было поддержано Бродским, но было оценено как глубоко имперское центральноевропейскими и западными коллегами. В частности, Конрад говорил:

> ...коллеги из Советского Союза говорят о вечности, о космосе, о неважности советского военного присутствия. Более того, они заявляют, что танки — лишь незначительное ухудшение климатических условий. Я так не считаю. Я убежден, что ваше отношение в целом, ваши нравственные идеалы, ваша литература отражают тот факт, что вы слишком осторожно судите собственную действительность — в том смысле, что ваши танки вас словно не касаются. Но я уверен, рано или поздно вам придется столкнуться с той ролью, которую ваша страна играет в мире. <...> Чтобы изменить климат в вашей стране, недостаточно, как я полагаю, говорить лишь о необходимости перестроить русское или советское прошлое; необходимо также пересмотреть имперскую политику России, как прошлую, так и нынешнюю. <...> Поэтому вопрос в том, хватит ли нашим русским коллегам моральной и гражданской ответственности, чтобы посмотреть в лицо этой проблеме. В девятнадцатом веке те же самые вопросы стояли перед русскими писателями, в частности такими, как Толстой и Достоевский. Их ответы были нечеткими. У Толстого чуть лучше, у Достоевского — совсем плохо [Лиссабонская конференция... 2006][10].

Эти вопросы звучат и сегодня. Разъясняя позицию полной невовлеченности в политику ради высших целей культуры, Толстая и Бродский то и дело «проговаривались», выдавая такие производные своей надмирности (или, скорее, ее предпосылки), как «достоевская» убежденность в универсальности русской культуры, способной вобрать в себя любую другую культуру и культ российского страдания, используемый как доказательство культурного превосходства России над Центральной Европой и Западом. Релевантность дискуссии 35-летней давности явно демонстрирует, что концепция автономии искусства, сложившаяся в андеграунде, дожила до сегодняшнего дня, по крайней мере частично сохраняя свою влиятельность. Однако сегодня она лишена ореола

10 См. подробный анализ этой дискуссии в блоке статей: ["Divide et Impera"... 2016]. Блок включает статьи Д. Уффельманна, Г. Киршбаума, В. Чернецкого, Д. Пратта, Д. Скочевского и М. Липовецкого.

нонконформизма, став лицензией для коллаборационизма. Скрытые имперские подтексты этой позиции больше ни для кого не скрыты[11].

4

Андеграундная установка на автономию искусства также подрывалась целым рядом социокультурных обстоятельств, отчасти забытых, отчасти недооцениваемых сегодня. Как известно, многие звезды андеграунда были одновременно звездами в подцензурных сферах культуры: достаточно напомнить о детских книжках, оформленных Ильей Кабаковым, Виктором Пивоваровым и Эриком Булатовым. Некоторые из этих книжек были написаны Генрихом Сапгиром и Яном Сатуновским. Как замечает Э. Морс:

> Концепция андеграунда, или неофициальной культуры, невольно пронизана бинарностью. Не порывая с ней полностью, мы тем не менее можем уверенно утверждать, что многие культурные акторы оказывались между полюсами конформизма и бунта. В сущности, не будет преувеличением предположить, что такие «промежуточники» составляли большинство в постоттепельном искусстве СССР, а лишь малая часть занимала позиции яростной официальности или отчаянной неофициальности [Morse 2024: 227].

«Промежуточность» даже была институционально закреплена в конце 1970-х — начале 1980-х. Традиционно считается, что 1960-е были временем, когда границы официальной культуры расширялись, а в 1970-е процесс пошел в обратную сторону. Это справедливо лишь по отношению к политическому «контенту» литературы, кино и изо. Если же сфокусироваться на границах допустимого эстетического эксперимента, то после знаменитой и трагической Бульдозерной выставки 1974 года власти склоняются к тому, чтобы создавать некие «заповедники» экспериментального искусства под контролем КГБ. Так возникают однодневные выставки в Измайловском парке и более длительные в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ. В Ленинграде аналогичные выставки нонконформистов с декабря 1974 года проходят в Домах культуры Невского района и имени Газа (вместо этот феномен получает название Газаневщина[12]). Создается московский Горком графиков с постоянным адресом на Грузинской, 28, который становится официальным центром «умеренного» неофициального искусства. Сходные процессы приобретают еще более радикальный характер в балтийских республиках, где фактически легитимируются модернистские и авангардные эксперименты, если в них не замечено *прямой* политической критики режима[13].

---

11 См., например: «Кремль не просто массово фальсифицировал выборы — это, в конце концов, не его открытие. Ноу-хау режима состоит в том, что он дискредитировал самое понятие “политика”, “политическое” — в качестве того, что принадлежит людям. В качестве альтернативы Кремль предложил большинству пилюлю равнодушия, неучастия, бесчувствия. Режим в течение 20 лет легитимизировал и всячески пестовал *аполитичного гражданина*. И даже больше — формировал “до-политического человека”, еще менее политичного, чем, скажем, в 2000-е или в 1990-е, навязав обывателю тип существования “я-вне-политики”» [Архангельский 2023: 23].

12 См.: [Газаневщина 2004; Smola 2024].

13 См.: [Art of the Baltic 2001].

Авторы московского альманаха «Метрополь» (1978), поверив в готовность властей признать статус «промежуточного» искусства, попытались явочным порядком установить бесцензурный режим. В результате разразился скандал, который тем не менее привел к формированию таких важнейших институций, как Клуб-81 для ленинградских писателей-нонконформистов и Ленинградский же рок-клуб, который послужит моделью для рок-клубов в других городах СССР. Как отмечает Дирк Уффельманн, эти институты не означали переход андеграунда в сферу официального искусства, скорее «речь шла о конструировании промежуточных пространств» [Uffelmann 2024: 152]. А Илья Кукулин характеризует эти институты как «серые зоны»:

> «Серые зоны» возникали в тех ситуациях, где по тем или иным причинам не действовали обычные советские нормы и правила. Инициаторами их создания могли быть политические элиты, локальные администраторы или — гораздо реже — активисты из числа интеллигенции. Однако часто происходило так, что эти культурные пространства учреждались по инициативе администраторов, а представители интеллигенции становились их вольными или невольными союзниками — или, пользуясь экономическим языком, оказывались бенефициарами от создания таких промежуточных полупубличных пространств [Kukulin 2024: 250].

При такой интерпретации «серые зоны», конечно, не только относятся к художественному андеграунду и даже к сфере культуры, но связывают андеграундную культуру с широким спектром социальных феноменов позднесоветской эпохи.

Так, например, в недавно вышедшем двухтомнике Николая Митрохина «Очерки советской экономической политики в 1965—1989 годах» отмечается радикальная криминализация советского общества в рассматриваемый (постоттепельный) период. Расширение зоны теневой экономики, развивавшейся под крылом партийных властей и полицейского аппарата, в свою очередь стимулировало развитие «организованной преступности, использующей методы насилия для достижения своих целей. В конце 1960-х — начале 1970-х годов ее участники на систематической основе стали грабить и ставить под свой контроль представителей советской торговли и сферы услуг» [Митрохин 2022: 156]. В прямой связи с расширением этих практик криминальный мир пересмотрел основания, на которых он был организован, — и этот пересмотр во многом рифмуется с трансформацией всего советского общества, происходившей в это время. Как известно, «воры в законе», считавшиеся руководителями криминальных сообществ, «жили по строгому своду правил, который фактически исключал появление у них постоянных семей и каких-либо накоплений» [Там же: 157]. Однако

> на крупном (и первом за как минимум десятилетие) съезде сообщества в Киеве в 1970 году они либерализовали правила своего кодекса поведения. Они допустили возможность того, что «воры» могут стать руководителями организованных банд и кланов, чтобы лично не участвовать в совершении преступлений. Фактически это означало, что «воры» могут продолжительное время жить на свободе и заводить семьи. Важной новацией стало и то, что отныне «воры» могли заниматься коррумпированием сотрудников правоохранительных органов и публично отрекаться от своего звания при их давлении [Там же].

При этом, как подчеркивает Митрохин, теневая экономика («тенью» которой, в свою очередь, была позднесоветская мафия), а также

> получение личной прибыли при нелегальной торговле общественными ресурсами и взяточничество в целом серьезной угрозы не представляли. Они находились под солидарным контролем правоохранительных и общественных структур. В некоторых случаях это позволяло более эффективно использовать имеющиеся мощности и ресурсы и более гибко перераспределять товары и социальные сервисы в пользу тех, кто был готов платить за них реальную цену. У подпольных предпринимателей и продавцов накапливались значительные суммы наличности, и они перед лицом очевидной инфляции были готовы тратить их на предлагаемые государством товары, в которые была заложена огромная, по сути конфискационная маржа… Более того, для советских политиков эти явления представляли определенный политический ресурс, поскольку борьба за «справедливое» (то есть социально санкционированное) распределение ресурсов имела, разумеется, массовую поддержку, чем впоследствии пользовались и Андропов, и его выдвиженцы [Там же: 168].

Трансформации криминального сообщества и его симбиотические отношения с официальной экономикой, в свою очередь, вписываются в более широкую логику позднесоветской государственности, которую Алена Леденева обозначает понятием «система» (sistema) — а вернее, системы, кластеры неформальных связей и неформальной власти, которая сливается с официальной властью:

> …неформальные сети функционируют амбивалентно — они одновременно поддерживают и подрывают существующие модели государственности. Можно эффективно использовать потенциал системы, но ее дальний эффект состоит в подрыве институционального развития [Леденева б.г.].

Как Леденева показывает в своих книгах[14], эта социоэкономическая «система» — с некоторыми модификациями — успешно переживает распад Советского Союза, и именно ее устойчивость становится главным препятствием на пути модернизации: «Система настолько сложна, что ее невозможно просто “реформировать” в традиционном смысле слова» [Там же]. Самосохранение системы — ее главная цель, считает Леденева, и именно она регулярно останавливает или реверсирует процессы модернизации. Так происходило в 1960-е годы, когда была остановлена оттепель; в 1970-е годы, когда, как показывает Н. Митрохин в своих «Очерках экономической политики» [Митрохин 2022], по этой же причине была свернута косыгинская экономическая реформа; нечто подобное произошло и в 2000-е годы. Более того, абортивный характер модернизации (если использовать терминологию Л. Гудкова) в советской истории, как правило, становился главной мотивацией для активизации имперской политики и имперских методов укрепления режима, обычно ведущих к его расшатыванию и даже коллапсу.

Вероятно, уже возник вопрос: какое отношение все сказанное имеет к позднесоветскому эстетическому андеграунду? Примеры криминальных сообществ, теневой экономики и разного рода «систем» в позднесоветском обществе ясно демонстрируют, что эти альтернативные формации, естественно, ничего об-

14 См.: [Ledeneva 2001; 2006].

щего не имевшие с социалистическими моделями экономики и социальности, на самом деле были теснейшим образом переплетены с официальными структурами, нередко используя их как фасад, за которым разворачивалась совсем другая политэкономия. Исходя из этих рассуждений, можно представить себе постсоветский капитализм как победу «системы» над мешавшей ее развитию советской идеологией и формальными институциями (как если бы Корейко действительно дожил до капитализма). Однако было бы большим преувеличением считать неформальную «систему» альтернативой советской экономики: несмотря на спорадические кампании против теневой экономики, ее деятелей и покровителей (вспомним андроповские попытки «чисток»), искоренить ее было возможно только вместе с советской властью — и не так уже безумна мысль о том, что именно андроповские судороги ускорили гибель СССР.

Разумеется, аналогии обманчивы, но тем не менее они демонстрируют общие социокультурные процессы. С этой точки зрения видно, что андеграунд не является альтернативой официальной советской культуры — скорее он является ее продолжением и даже в чем-то ее «бессознательным». Подобно теневой экономике, компенсировавшей провалы экономики плановой и во многом позволявшей последней существовать, эстетический андеграунд с его инфраструктурой (журналы, чтения, домашние выставки, самиздат и тамиздат) оформлял культурное пространством, куда вытеснялось все то, что отторгалось подцензурной культурой — но в конечном счете таким образом «невозможное» и «недопустимое» получало свою сферу циркуляции, своего зрителя и читателя, хотя и очень ограниченного.

Однако в то же время параллель с теневой экономикой представляется не вполне точной, хотя бы потому, что после падения цензурной стены эстетика, сложившаяся в андеграунде, не стала мейнстримом, в отличие от теневой экономики, которая успешно вышла на поверхность. Андеграунд был (и остался) лабораторией новых культурных и эстетических языков и стратегий. Коммуникация со сферой массовой — то есть в советское время официальной и подцензурной — культуры, конечно, не была полностью отсечена от экспериментов авторов андеграунда: важными каналами связи оставались детская литература, бардовская песня и перевод. Однако, когда в 1990-е годы официальные запреты были сняты, выяснилось, что только очень немногие лидеры андеграунда смогли вписаться в новый культурный ландшафт. Массовый успех Бродского, «Москвы — Петушков» и Довлатова в этом отношении скорее представляет исключение, чем правило. Единственный несомненный факт — это обретенная в 1990-е годы популярность изобразительного соц-арта и скорее в глобальном, чем национальном, контексте концептуалистского направления в целом. В остальном андеграунд, выйдя из подполья, весьма незначительно расширил свою аудиторию, разве что к его прежним поклонникам добавились их дети и ученики. (То, что это наши дети и наши ученики, лишь искажает картину, создавая ложное впечатление тотальной популярности андеграундного искусства.)

5

Написав все это, я продолжаю настаивать на том, что культурная матрица, созданная позднесоветским андеграундом, может стать фундаментом для культурной архитектуры, альтернативной той, что формируется сегодня в россий-

ском мейнстриме вокруг идеологии империи, национализма и национального лидера. Свойственные андеграунду децентрализация, локализм, самоуправление и ориентация на создание жизненных миров в сочетании с формальными экспериментами и поисками новых языков породили целый спектр продуктивных моделей, которые не могут не быть востребованы современной русофонной культурой, создаваемой вне государственной опеки и аксиологии. Адаптируя андеграундное наследие к потребностям сегодняшнего дня, необходимо тем не менее задуматься о том, как, какими механизмами поддерживать атмосферу нетерпимости к ультраконсервативным, националистическим и имперским дискурсам. Как поднять иммунитет андеграундной эстетики по отношению к дискурсам насилия, даже если они выдаются за отважные эстетические жесты? Как уберечь инновационную эстетику от инструментализации агрессивными идеологиями, от превращения в придаток официальной культуры?

Что можно порекомендовать в этом случае? Более последовательное незалипание? Более субверсивную аффирмацию? Менее трансгрессивную трансгрессию? Все эти «предложения», конечно, звучат комично. Экспериментальное искусство по своей природе не может не рисковать и не заступать за опасную грань, иначе оно утратит свою культурную роль и станет неотличимым от мейнстрима.

Единственным, давно известным ответом на эти вопросы является *критика*. Критика как культурная институция, вырабатывающая внутренние нормы и принципы — в том числе политические или этические — культурного сообщества. Советский андеграунд первоначально исповедовал критику, замкнутую в собственном кругу и ощетинившуюся против всех «чужаков», даже если это соседи по андеграунду, — такой была критика в основных изданиях андеграунда[15]. Постепенно происходило формирование некоторых кластеров близких по эстетике групп, способных вести разговор на общем для участников языке. Роль организатора такого разговора между «своими», но все же принадлежащими к разным кругам и кружкам, играли «Клуб-81» в Ленинграде и «Коллективные действия» в Москве с их относительно открытыми дискуссиями.

В том и в другом случае исповедовался принцип: *спорить можно только со своими*. Это, конечно, верный принцип. Но, перенося эту логику на сегодняшнее состояние, видно, что, с одной стороны, существующие (а также новые) интеллектуальные площадки — такие как «Новое литературное обозрение», «Неприкосновенный запас», «Кольта» или «Горький» — приобретают новое значение как места для взаимной критики, идеологически близких, эстетических и культурных кластеров. С другой стороны, консолидация групп и их эстетик/идеологий могла бы помочь художникам преодолеть культурное одиночество и обрести единомышленников. Ведь сегодня даже не обязательно, чтобы участники группы находились в одном физическом пространстве. Почему не попробовать? Может быть, из их индивидуальных траекторий сложатся групповые культурные идентичности? Когда-то слово «групповщина» было ругательством, сегодня же, возможно, именно формирование новых групп и кружков станет первым важным шагом в сторону возрождения наследия андеграунда в новых условиях. Собственно, эти шаги уже делаются и делались еще до февраля 2022 года. Круг поэток и критиков, сложившийся во-

15 См. раздел о критике андеграунда, написанный М.Ю. Бергом, в: [История... 2011: 513—532].

круг платформы «Ф-письмо», — ясное свидетельство продуктивности новой «групповщины». Успех книги «F-Letter» на английском показывает, что групповые идентичности в нынешней ситуации необходимы не только русофонным авторам и авторкам (см.: [F-Letter... 2020]). Я очень хочу надеяться, что таких групп станет больше и что их взаимные споры станут источником новой критики, необходимой для строительства глобальной руссофонной культуры, альтернативной той, что существует и насаждается в России.

Говоря о необходимости критики и о новой групповщине, я не имею в виду раппоподобную критику искусства с точки зрения политических лозунгов сегодняшнего дня. Сегодняшняя русофонная критика скорее будет более эффективной, если она последовательно займется *деконструкцией власти* — не только внешней (цензура, пропаганда), но и внутренней, воплощенной в позиции самого художника или интеллектуала. Важный критерий такого рода критики был сформулирован Фуко в разговоре с Делёзом:

> ...роль интеллектуала состоит не в том, чтобы, пройдя «немного вперед» или слегка отодвинувшись «в сторону», высказывать за всех безмолвную истину, а скорее, наоборот, в том, чтобы бороться против всех видов власти там, где он сам представляет собой сразу и объект, и орудие: в самом строе «знания», «истины», «сознания», «дискурса» [Фуко 2002: 69].

Библиография / References

[Архангельский 2023] — *Архангельский А.* Назвать зло по имени // Перед лицом катастрофы: Сборник статей / Под ред. и с предисл. Н. Плотникова. Berlin: Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2023. С. 19—26.

(*Arkhangel'skii A.* Nazvat' zlo po imeni // Pered litsom katastrofy: Sbornik statey / Ed. and introd. by N. Plotnikov. Berlin, 2023.) P. 19—26.

[Бобринская 2013] — *Бобринская Е.* Чужие? Неофициальное искусство: Мифы, концепции, стратегии. М.: Бреус, 2013.

(*Bobrinskaia E.* Chuzhie? Neofitsial'noe iskusstvo: Mify, kontseptsii, strategii. Moscow, 2013.)

[Время надежд... 2018] — Время надежд, время иллюзии: 1950—1960 годы. Проблемы истории советского неофициального искусства / Под ред. Г. Кизевальтера. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

(Vremia nadezhd, vremya illyuzii: 1950—1960 gody. Problemy istorii sovetskogo neofitsial'nogo iskusstva / Ed. by G. Kizeval'ter. Moscow, 2018.)

[Газаневщина 2004] — Газаневщина / Под ред. А. Басина и Л. Скобкиной. СПб.: П.Р.П, 2004.

(Gazanevshchina / Ed. by A. Basin and L. Skobkina. Saint Petersburg, 2004.)

[Гринберг 2005] — *Гринберг К.* Авангард и китч (1939) / Пер. с англ. А. Калинина // Художественный журнал. 2005. № 60 (http://vcsi.ru/files/grinberg.pdf (дата обращения: 16.04.2024)).

(*Grinberg K.* Avant-Guard and Kitch (1939) // Khudozhestvennyy zhurnal. 2005. No. 60 (http://vcsi.ru/files/grinberg.pdf (accessed: 16.04.2024)). — In Russ.)

[Гундорова 2005] — *Гундорова Т.* Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. Київ: Критика, 2005.

(*Gundorova T.* Pisliachornobil's'ka biblioteka. Ukraïns'kii literaturniy postmodern. Kiïv, 2005.)

[Добренко, Джонссон-Скрадоль 2022] — *Добренко Е.А., Джонссон-Скрадоль Н.* Госсмех: Сталинизм и комическое. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

(*Dobrenko E.A., Dzhonsson-Skradol' N.* Gossmekh: Stalinizm i komicheskoe. Moscow, 2022.)

[Иванов 2013] — *Иванов Б.* История Клуба-81. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2013.

(*Ivanov B.* Istoriia Kluba-81. Saint Petersburg, 2013.)

[История... 2011] — История русской литературной критики / Под ред. Е. Добренко и Г. Тиханова. М.: Новое литературное обозрение, 2011.

(Istoriya russkoy literaturnoy kritiki / Ed. by E. Dobrenko and G. Tikhanov. Moscow, 2011.)

[Калинин 2018] — *Калинин И.* Владимир Сорокин: У-топос языка и преодоление литературы // «Это просто буквы на бумаге...» Владимир Сорокин: После литературы / Под ред. Е. Добренко, И. Калинина, М. Липовецкого. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 122—145.

(*Kalinin I.* Vladimir Sorokin: U-topos yazyka i preodolenie literatury // "Eto prosto bukvy na bumage…" Vladimir Sorokin: Posle literatury / Ed. by E. Dobrenko, I. Kalinin, M. Lipovetsky. Moscow, 2018. P. 122—145.)

[Кривулин 1998] — *Кривулин В.* Охота на мамонта. СПб.: Блиц, 1998.

(*Krivulin V.* Okhota na mamonta. Saint Petersburg, 1998.)

[Кривулин 1999] — *Кривулин В.* «Поэзия — это разговор самого языка» // Кулаков В. Поэзия как факт. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 360—377.

(*Krivulin V.* "Poeziya — eto razgovor samogo yazyka" // Kulakov V. Poeziya kak fakt. Moscow, 1999. P. 360—377.)

[Кукулин 2008] — *Кукулин И.* Реакция диссоциации: легитимация ультраправого дискурса в современной российской литературе // Русский национализм: Социальный и культурный контекст / Под ред. М. Ларюэль. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 257—338.

(*Kukulin I.* Reaktsiya dissotsiatsii: legitimatsiya ul'trapravogo diskursa v sovremennoy rossiiskoy literature // Russkiy natsionalizm: Sotsial'nyy i kul'turnyy kontekst / Ed. by M. Lariuel. Moscow, 2008. P. 257—338.)

[Леденева б.г.] — *Леденева А.* Призма амбивалентности и российская система. (Рукопись).

(*Ledeneva A.* Prizma ambivalentnosti i rossiyskaya sistema. (Manuscript).

[Липовецкий 2012] — *Липовецкий М.* Политическая моторика Захара Прилепина // Знамя. 2012. № 10 (https://magazines.gorky.media/znamia/2012/10/politicheskaya-motorika-zahara-prilepina.html (дата обращения: 16.04.2024)).

(*Lipovetsky M.* Politicheskaya motorika Zakhara Prilepina // Znamya. 2012. No. 10 (https://magazines.gorky.media/znamia/2012/10/politicheskaya-motorika-zahara-prilepina.html (accessed: 16.04.2024)).)

[Лиссабонская конференция... 2006] — Лиссабонская конференция по литературе. Русские писатели и писатели Центральной Европы за круглым столом // Звезда. 2006. № 5 (https://clck.ru/3BLp5s. (дата обращения: 16.04.2024)).

(Lissabonskaya konferentsiya po literature. Russkie pisateli i pisateli Tsentral'noy Evropy za kruglym stolom // Zvezda. 2006. No. 5 (https://clck.ru/3BLp5s (accessed: 16.04.2024)).)

[Магун 2022] —*Магун А.* От триггера к трикстеру. Энциклопедия диалектических наук. Т. 2. Негативная этика. М.: Изд-во Института Гайдара, 2022.

(*Magun A.* Ot triggera k triksteru. Entsiklopediya dialekticheskikh nauk. Vol. 2. Negativnaya etika. Moscow, 2022.)

[Митрохин 2022] — *Митрохин Н.* Очерки советской экономической политики в 1965—1989 годах: В 2 т. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

(*Mitrokhin N.* Ocherki sovetskoy ekonomicheskoy politiki v 1965—1989 godakh: In 2 vols. Vol. 2. Moscow, 2022.)

[Переломные восьмидесятые... 2014] — Переломные восьмидесятые в неофициальном советском искусстве / Под ред. Г. Кизевальтера. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

(Perelomnye vos'midesiatye v neofitsial'nom sovetskom iskusstve / Ed. by G. Kizeval'ter. Moscow, 2014.)

[Пригов 1997] — *Пригов Д.А.* Советские тексты / Сост. и вступ. статья А. Зорина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1997.

(*Prigov D.A.* Sovetskie teksty / Comp. and introd. by A. Zorin. Saint Petersburg, 1997.)

[Пригов 2019] — *Пригов Д.А.* Мысли: Избранные манифесты, статьи, интервью / Под ред. М. Липовецкого и И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

(*Prigov D.A.* Mysli: Izbrannye manifesty, stat'i, interv'yu / Ed. by M. Lipovetsky and I. Kukulin. Moscow, 2019.)

[Савицкий 2003] — *Савицкий С.* Андеграунд: История и мифы неофициальной культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

(*Savitskii S.* Andegraund: Istoriya i mify neofitsial'noy kul'tury. Moscow, 2003.)

[Самиздат... 2003] — Самиздат Ленинграда, 1950—1980-е: Литературная энциклопедия / Под ред. В. Долинина. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

(Samizdat Leningrada, 1950—1980-e: Literaturnaya entsiklopediia / Ed. by V. Dolinin. Moscow, 2003.)

[Сорокин 2007] — *Сорокин В.* Темная энергия общества. Интервью журналу «Шпигель» // Spiegel. 2007. 2 февраля (https://srkn.ru/interview/spiegel.shtml (дата обращения: 16.04.2024)).

(*Sorokin V.* Temnaya energiya obshchestva. Interv'yu zhurnalu "Shpigel'" // Spiegel. 2007. February 2 (https://srkn.ru/interview/spiegel.shtml (accessed: 16.04.2024)).)

[Сумерки «Сайгона» 2009] — Сумерки «Сайгона» / Под ред. Ю. Валиевой. СПб.: Zамиздат, 2009.

(Sumerki “Saygona” / Ed. by Ju. Valieva. Saint Petersburg, 2009.)

[Фуко 2002] — *Фуко М.* Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью: В 3 ч. Ч. 1 / Пер. с фр. С.Ч. Офертаса под общ. ред. В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2002. С. 66—80.

(*Foucault M.* Articles politiques. Conferences. Interviews // Fuko M. Intellektualy i vlast’. Izbrannye politicheskie stat’i, vystupleniya i interv’yu: In 3 pt. Pt. 1. Moscow, 2002. P. 66—80. — In Russ.)

[Хабермас 2016] — *Хабермас Ю.* Политические функции публичной сферы // Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: исследование относительно категории буржуазного общества / Под ред. М. Беляева; пер. с нем. В.В. Иванова. М.: Весь мир: 2016. С. 112—137.

(*Habermas J.* Strukturwandel der ffentlichkeit // Habermas Yu. Strukturnoe izmenenie publichnoj sfery: issledovanie otnositel'no kategorii burzhuaznogo obshchestva. Moscow, 2016. S. 112—137. — In Russ.)

[Эти странные... 2010] — Эти странные семидесятые, или Потеря невинности / Под ред. Г. Кизельвальтера. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

(Eti strannye semidesiatye, ili Poterya nevinnosti / Ed. by G. Kizeval’ter. Moscow, 2010.)

[Art of the Baltic 2001] — Art of the Baltics: The Struggle for Freedom of Artistic Expression under the Soviets, 1945—1991 / Ed. by A. Rosenfeld and N.T. Dodge. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press; Rutgers, N.J.: Jan Voorhees Zimmerli Art Museum, State University of New Jersey, 2001.

[Dropping Out of Socialism... 2017] — Dropping Out of Socialism: The Creation of Alternative Spheres in the Soviet Bloc / Ed. by J. Fürst and J. McLellan. Lexington Books, 2017.

[Engström 2024] — *Engström M.* Late-Soviet Occulture: Evgenii Golovin and the Yuzhinskii Circle // Oxford Handbook of Soviet Underground Culture / Ed. by M. Lipovetsky, M. Engstrom, T. Glanc, I. Kukuj and K. Smola. New York; Oxford: Oxford University Press, 2024. P. 865—892.

[Eșanu 2013]— *Eșanu O.* Transition in Post-Soviet Art: The Collective Actions Group Before and After 1989. Budapest: Central European University Press, 2013.

[F-Letter... 2020] — F-Letter: New Russian Feminist Poetry / Ed. by G. Rymbu, E. Ostashevsky and A. Morse. New York: Isolarii, 2020.

[Hundorova 2024] — *Hundorova T.* The Ukrainian Underground: Aesthetics, Resistance, and Performance // Oxford Handbook of Soviet Underground Culture / Ed. by M. Lipovetsky, M. Engstrom, T. Glanc, I. Kukuj and K. Smola. New York; Oxford: Oxford University Press, 2024. P. 277—302.

[Kalinsky 2013] — *Kalinsky E.* Drowning in Documents: Action, Documentation, and Factography in Early Work by the Collective Actions Group // ARTMargins. 2013. Vol. 2. No. 1. P. 82—105.

[Komaromi 2022] — *Komaromi A.* Soviet Samizdat: Imagining a New Society. Ithaca: Cornell University Press, 2022.

[Kukulin 2024] — *Kukulin I.* “Grey Zones” Between Official and Unofficial Cultures // Oxford Handbook of Soviet Underground Culture / Ed. by M. Lipovetsky, M. Engstrom, T. Glanc, I. Kukuj and K. Smola. New York; Oxford: Oxford University Press, 2024. P. 249—276.

[Ledeneva 2001] — *Ledeneva A.* Unwritten Rules: How Russia Really Works. London: Centre for European Reform, 2001.

[Ledeneva 2006] — *Ledeneva A.* How Russia Really Works: The Informal Practices that Shaped Post-Soviet Politics and Business. Ithaca: Cornell University Press, 2006.

[Lipovetsky 2022] — *Lipovetsky M.* “Brother 2” as a political melodrama // Russia.Post. 2022. July 11.

[Oxford Handbook... 2024] — *Lipovetsky M., Glanc T., Engström M., Kukuj I., Smola K.* Theoretical Problems of Soviet Underground Culture // Oxford Handbook of Soviet Underground Culture / Ed. by M. Lipovetsky, M. Engstrom, T. Glanc, I. Kukuj and K. Smola. New York; Oxford: Oxford University Press, 2024. P. 1—38.

[Morse 2024] — *Morse A.* “In-Betweeners”: Navigating Between Official and Nonofficial Cultures // Oxford Handbook of Soviet Underground Culture / Ed. by M. Lipovetsky, M. Engstrom, T. Glanc, I. Kukuj and K. Smola. New York; Oxford: Oxford University Press, 2024. P. 227—248.

[Nicolosi 2022] — *Nicolosi R.* Paranoia, Resentment, and Reenactment: The Russian Political Discourse on the War in Ukraine // Ab Imperio. 2022. No. 3. P. 247—261.

[Oxford Handbook... 2024] — Oxford Handbook of Soviet Underground Culture / Ed. by M. Lipovetsky, M. Engstrom, T. Glanc, I. Kukuj and K. Smola. New York; Oxford: Oxford University Press, 2024.

[Oushakine 2001] — *Oushakine S.A.* The Terrifying Mimicry of Samizdat // Public Culture. 2001. Vol. 13. No 2. P. 191—214.

[Samizdat, Tamizdat... 2013] — Samizdat, Tamizdat, and Beyond: Transnational Media During and after Socialism / Ed. by F. Kind-Kovács and J. Labov. Berghahn, 2013.

[Smola 2018] — *Smola K.* Community as Device: Metonymic Art of the Late Soviet Underground // Russian Literature. 2018. Vols. 96—98. P. 13—50.

[Smola 2024] — *Smola K.* “Gazanevshchina”: Experimental (Life) Artists of Leningrad // Oxford Handbook of Soviet Underground Culture / Ed. by M. Lipovetsky, M. Engstrom, T. Glanc, I. Kukuj and K. Smola. New York; Oxford: Oxford University Press, 2024. P. 842—864.

[Uffelmann 2024] — *Uffelmann D.* Major Events, State Interference, and Resilience: Practices in the Late Soviet Underground // Oxford Handbook of Soviet Underground Culture / Ed. by M. Lipovetsky, M. Engstrom, T. Glanc, I. Kukuj and K. Smola. New York; Oxford: Oxford University Press, 2024. P. 141—160.

[“Divide et Impera”... 2016] — “Divide et Impera”: The Lisbon Conference of 1988 / Ed. by D. Uffelmann // Zeitschrift für Slavische Philologie. 2016. Vol. 72. No. 1. P. 1—99.

[Yurchak 2006] — *Yurchak A.* Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press, 2006.

Кевин М.Ф. Платт

Русскоязычная антиимперская поэтика: модели деколонизации

Kevin M.F. Platt

Russophone Poetic Anti-Empires: Models of Decolonization

Кевин М.Ф. Платт (Университет Пенсильвании, Филадельфия, США; заведующий программой сравнительной литературы и литературной теории, профессор на факультете русских и восточноевропейских исследований; PhD) kmfplatt@sas.upenn.edu.

Ключевые слова: русская поэзия, русскоязычная поэзия, деколониальное письмо, антиимперское письмо, гибридность, смешение языков, перформативный перевод

УДК: 82-1+325
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_322

Как и другие имперские языки и культурные системы (английская, французская, испанская), русский язык и культура служили и продолжают служить инструментами имперского господства. В то же время русская и русскоязычная культура является средством антиимперского сопротивления, освободительного политического высказывания и субверсии для многих из тех, кто находится как внутри, так и за пределами Российской Федерации. Статья прослеживает и анализирует стратегии русских и русскоязычных авторов антиимперских и деколониальных поэтических текстов с акцентом на последние десятилетия и в особенности на последние годы. Эти стратегии включают в себя: простой отказ от норм и канонов русской поэтической традиции; открыто антиимперскую и деколониальную гражданскую поэзию; эстетическую гибридизацию и смешение языков; перформативный перевод и др. Среди рассматриваемых поэтов — Шамшад Абдуллаев, Кети Чухров, Егана Джаббарова, Семен Ханин, Дмитрий Кузьмин, Артур Пунте, Динара Расулева, Владимир Светлов, Сергей Тимофеев, Сергей Завьялов.

Kevin M.F. Platt (PhD; University of Pennsylvania, Philadelphia, USA; Chair, Program in Comparative Literature and Literary Theory; Professor of Russian and East European Studies) kmfplatt@sas.upenn.edu.

Key words: Russian poetry, Russophone poetry, decolonial writing, anti-imperial writing, hybridity, language-mixing, performative translation

UDC: 82-1+325
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_322

Like other imperial languages and cultural systems (English, French, Spanish) Russian language and culture have served and continue to serve as instruments of imperial domination. At the same time, Russian and Russophone language and culture is a vehicle of anti-imperial resistance, emancipatory political expression, and cultural subversion for many inside and outside of the Russian Federation. This article surveys and analyzes strategies among Russian and Russophone poets of anti-imperial and decolonial writing, with a focus on poetry of recent decades and especially recent years. Such strategies include: simple rejection of the norms and canons of the Russian poetic tradition; overt anti-imperial or decolonial civic poetry; aesthetic hybridization and language-mixing; performative translation; and others. Poets under consideration include: Shamshad Abdullaev, Keti Chukhrov, Egana Dzhabbarova, Semyon Khanin, Dmitry Kuz'min, Artur Punte, Dinara Rasuleva, Vladimir Svetlov, Sergej Timofejev, Sergey Zavyalov, and others.

> Французский язык… становится инструментом освобождения. <…> В борьбе за освобождение мы видим начало масштабного процесса изгнания демонов из французского языка. Можно почти сказать, что «коренной житель» берет на себя ответственность за язык захватчика.
>
> [Fanon 1967: 90]

История литературы Российской империи, а позже и империи советской, следы колониализма в ней и их возвращение сейчас — темы сложные и спорные.

С одной стороны, представляется самоочевидным, что русский язык и культура — это инструменты имперского господства. Веками русский язык и российская система эстетических иерархий, построенная по принципу метрополии, навязывались завоеванным народам и территориям; служили — и продолжают служить сейчас — инструментами господствующей власти и культурного империализма, а также символами цивилизационного превосходства, призванными узаконить насильственное имперское господство. С другой стороны, закономерным результатом существования империи стало то, что на русском языке сегодня говорят миллионы людей как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами, в бывших колониях и оккупированных зонах, а также в эмиграции, и многие носители русского языка сопротивляются политике империи, сознательно создавая литературные произведения на русском языке (и другую русскоязычную культурную продукцию) в целях этой борьбы: чтобы оспорить свой подчиненный статус, обусловленный их нынешним положением колоний или проистекающий из колонизации, произошедшей ранее, а также чтобы оспорить статус потомков колонизированного населения, либо — в знак солидарности с такими подчиненными субъектами.

Русский язык и литература для них — это инструменты антиимперского сопротивления, освободительного политического самовыражения, подрывной деятельности в культуре — или просто новаторства: поскольку метрополия слишком далеко, авторы чувствуют свободу от ее власти, а их инновации не стеснены ничем.

Безусловно, ситуация с русским языком (как имперски обремененным мировым языком, полем битвы между голосом колонизатора и голосом колонизируемых) имеет аналогии в истории других языков крупных империй — английского, французского, испанского и т.д., а их уже исследовали такие известные и влиятельные авторы, как Франц Фанон, Эдвард Саид, Гаятри Спивак, Амир Муфти и другие [Said 1993; Spivak 1988; Mufti 2016]. Однако степень вовлеченности каждой из этих империй в культуру в каждом конкретном случае различна.

Возможно, излишне говорить, что в среде современного русскоязычного культурного производства обсуждение империализма в языке и литературе становится полемически острой темой. Причины этого — как теоретические (запоздалое и, возможно, все еще лишь частичное признание важности империи как феномена для культуры в целом), так и вполне злободневные (продолжение имперского господства в регионах Российской Федерации и возобновление неоимперского конфликта на территориях, населенных носителями русского языка).

Политические стратегии культурного империализма очевидны. В течение последних двух десятилетий Российское государство, а также политическая и экономическая элиты все более настойчиво заявляли о том, что они являются единственными представителями, выражающими интересы всех, кто где-либо говорит по-русски, всех, кто идентифицирует себя с русской литературой или создает ее, и всех, кто относит себя к русскоязычной культуре. Риторика об особом «Русском мире» является центральным элементом идеологии, которая не только легитимирует имперское господство над людьми и территориями (и тем самым обосновывает притязания сильных мира сего представлять отдельную мировую цивилизацию особого рода, sui generis), но и решает практические задачи (подробнее о «Русском мире» как идеологическом проекте

и политической инициативе см.: [Gorham 2019]). Стратегии антиимперского письма, возможно, менее очевидны для наблюдателей (как я утверждаю в конце этого эссе, они хрупки и находятся под угрозой). Тем не менее они подкрепляются фактами исторической и социальной реальности: ведь вне зависимости от того, насколько резко защитники эссенциализированной, ограниченной и единичной «русской традиции» заявляют о своих взглядах, странные предметы изучения, которые мы называем «культурами», на самом деле всегда многочисленны, проницаемы на своих границах и разбиты на множество фрагментов.

Точно так же, как существует множество нечетко разграниченных англоязычных, франкоязычных, германских и испаноязычных культур, каждая со своим собственным каноном или антиканоном, эстетической иерархией или антииерархией, ориентацией на широкую публику или отказом от нее, существует также несколько русскоязычных культур[1]. В ответ на политику «Русского мира» с начала нового тысячелетия русскоязычные поэты как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами разработали ряд стратегий антиимперской борьбы: они противопоставляют идеологии единого «Русского мира» онтологию множественности русскоязычных миров, обогащают русский язык и разнообразные культурные традиции инновационной контрэстетикой и гибридизированными альтернативами, а главное — поднимают темы империализма и насилия в российском культурном и политическом пространстве, вскрывают неявное наследие империализма в современности, чтобы продолжить необходимый процесс «изгнания из русского языка его имперских демонов» (если позаимствовать формулировку Франца-Омара Фанона, которую я привожу в эпиграфе выше). В своем эссе я предлагаю обзор этих стратегий борьбы и сопротивления.

До начала разбора стратегий противостояния империализму необходимо объяснить, почему именно поэзия стала основным рубежом русскоязычной антиимперской внутрикультурной борьбы. Во времена Алжирской войны, когда Фанон написал только что упомянутые строки, антиимперская трансформация языка колонизатора рассматривалась прежде всего как вопрос политики — и чуть ли не как часть военных действий (цитируемый отрывок представляет собой обсуждение использования французского языка в качестве средства антиимперской политической речи и средства информирования масс в революционном Алжире).

На сегодняшний день в контексте Российской Федерации нужно рассмотреть это и с экономической точки зрения. В 2016 году на конференции «XXIV Банные чтения» я выступил с докладом под названием «Поэзия как инструмент мобилизации. 3.0», в рамках которого рассматривал поэтические выступления, выражающие протест против российского государства и его политики, а также размышлял о российских протестных движениях 2011—2012 годов и об их конечном подавлении и маргинализации (доклад был впоследствии опубликован под другим названием, см.: [Платт 2017]). После моего выступления началась дискуссия: помимо прочего, один из слушателей высказал мнение, что сам предмет изучения был ничтожен и подобен буре в стакане воды. По мнению этого человека, поэзия — маргинальная, элитарная ли-

1 Обоснования этого утверждения см. в недавней работе: [Platt 2019]. См. также: [Рубинс 2021].

тературная форма, которая не в силах ни мобилизовать оппозицию, ни бросить вызов дискурсивной власти государства: это акт бесплодного позерства, которое претендует на выражение оппозиционных мнений, но на самом деле выражает бессилие российской интеллигенции как политической силы. Такое возражение, высказанное в 2016 году, показалось мне очень основательным, а в сегодняшней ситуации стало звучать еще убедительнее. В самом деле: почему кто-то вообще должен обращать внимание на антиимперские «битвы» поэтов на фоне настоящих сражений сторонников расширения империи с противниками имперского господства, которые (в отличие от поэтов) тратят на это сопротивление собственные деньги и проливают собственную кровь?

Ответ на этот вопрос так или иначе связан с проблемами денег, власти и жанра. За десятилетия, прошедшие после распада СССР, русскоязычная литература в России и за ее пределами, как и все прочее в бывшем социалистическом мире, в корне изменилась. В советскую эпоху литературные произведения создавались и публиковались либо в рамках социалистической культурной индустрии (в соответствии с ее политически и эстетически запретительной логикой), либо в зоне неподцензурного, андеграундного и нонконформистского письма, которое обладало значительной автономностью от официальной советской политики, но также было крайне ограничено по масштабам своей аудитории и по воздействию на общество в целом[2].

На Западе авторы-эмигранты действовали в своей собственной сфере ограничений: либо они трудились в относительной безвестности и изоляции, либо, как это случилось лишь с немногими избранными, поднимались к вершинам славы и успеха благодаря культурным механизмам геополитики холодной войны. В постсоциалистические годы, после окончания двойственной культурной жизни СССР и всего мира в целом, капитализм свободного рынка послужил стимулом для трансформации русскоязычной литературной жизни. При этом законы рынка по-разному повлияли на различные жанры. Как показал Брэдли Горски, если мы говорим о прозе, то справедливо будет сказать, что после 1991 года русская литература стала крупным бизнесом с такими маркетинговыми нововведениями, как массовость рекламы и распространения книг, частые экранизации прозы, выделение «бестселлеров», развитие коммерческих жанров криминального чтива и детективного романа. Все эти факторы способствовали превращению литературы в настоящий товар, а выдающихся авторов — в успешных профессионалов, интегрированных в высшее общество и связанных с могущественными СМИ, а в случае некоторых писателей — и вхожих в кулуары власти [Gorski 2020; 2021]. Тотальное превращение культурной жизни в товар еще более очевидно в сфере изобразительного искусства, однако рассмотрение этой темы выходит за рамки настоящего эссе.

В отличие от этого, после 1991 года поэты бывшего социалистического мира открыли истину, давно известную поэтам западным: денег на поэзии не заработать. Можно утверждать, что в силу этого поэзия лишилась былой власти, ее статус в русскоязычной литературной жизни понизился и она стала менее заметным и значимым явлением по сравнению с предыдущими эпохами, а также — что это привело к изоляции новейшей поэзии (в частности, к поме-

2 См. авторитетные отчеты о социальном позиционировании нонконформистской литературы в СССР: [Komaromi 2015; 2022].

щению ее в тепличные условия все более эксклюзивных и элитарных институциональных контекстов и социальных кругов). Однако следует отметить, что эта ситуация обернулась усилением эстетической автономии поэзии и ее вневременного статуса. В обществе, в котором власть связана с деньгами, передается через деньги, служит деньгам и направляется ими, свобода от рынка, пожалуй, является наиболее важной формой свободы. Такое утверждение, конечно, основано на широких обобщениях. Поэзия, как и все остальное в мире, созданном капитализмом, зависит от денег: кто-то должен оплачивать публикацию книг, а поэтам нужно кормить семьи. Отражая устойчивый статус поэзии как элитарного, возвышенного жанра (статус, который на самом деле усиливается из-за отсутствия у нее прямой рыночной стоимости), государственная власть, комитеты по присуждению премий, резиденции и субсидируемые издательские серии предоставляют поэтам различные формы финансовой поддержки. Иногда это может парадоксальным образом вовлекать поэтов в отношения зависимости от политических институтов, которые становятся более прямыми, чем союз с властью, опосредованный рынком.

Более того, в мире растущей геополитической напряженности между государствами такие авторы могут оказаться в подвешенном состоянии между институциональными структурами конкурирующих социальных и политических сред, например между премией в Москве и обитанием в Берлине (подробнее об этом — в конце этого эссе). Наконец, следует признать, что у некоторых поэтов (например, Веры Полозковой) в самом деле есть возможность получать доход с помощью поэзии «по старинке» — продавая ее как товар.

Тем не менее, абстрагируясь от всех оговорок, можно утверждать, что в современной русскоязычной литературе поэзия несомненно является жанром, который наименее колонизирован капиталом и, следовательно, политической властью, и среди форм литературы обладает не только наименьшей ценностью, но и — в силу той же причины — наибольшей автономностью.

В эпоху, когда империализм в российской культуре является проектом олигархической денежной элиты и капиталистического политического класса, пропагандирующего каноническую и широко известную русскую культуру по всему миру (в форме спонсируемых издательских программ, международных литературных премий, показов визуального искусства в нью-йоркском музее Гуггенхайма, гастролей первоклассных оркестров и балета, эстрадных фестивалей, транслируемых по телевидению, и т.д.), поэзия — это жанр, в наибольшей степени свободный от российской империи наживы. В эпоху, когда интернет делает возможным распространение текстов (и особенно текстов, не имеющих какой-либо ценности, в отношении которых вопросы авторского права никого не волнуют), рыночная независимость русской поэзии является одним из фундаментальных условий, обеспечивших беспрецедентный расцвет русскоязычной антиимперской поэзии, происходящий децентрализованно во многих альтернативных русскоязычных культурных мирах земного шара. (Также отметим, что по причине пиратства, не знающего никаких ограничений, степень свободного распространения литературы на русском языке в интернете намного выше, чем у литературы на английском и других литературных языках западных стран. Это неравенство еще более выражено в отношении поэзии, что является отражением общего признания среди поэтов и издателей того факта, что пиратство не является подходящим понятием, когда то, что «украдено», в любом случае не имеет денежной ценности. Для современного российского поэта

польза от свободного распространения среди максимально широкой аудитории намного перевешивает необходимость защиты авторских прав. Кроме того, известность, возросшая в результате бесплатного виртуального распространения, может в конечном итоге привести к увеличению продаж бумажных книг.)

Обратимся к рассмотрению разнообразных стратегий антиимперского поэтического творчества, переходя от самых простых к самым сложным. Имена соответствующих поэтов будут неоднократно повторяться в моем описании различных стратегий, поскольку для анализа творчества каждого поэта, ориентированного на проблемы «языка» и «империи», зачастую требуются несколько подходов. Стратегия номер один — самый простой жест из всех: сознательное игнорирование. Это поэтическая установка, исходя из которой необходимо отвернуться от традиций и поэзии метрополии, обратившись к новым направлениям, чтобы создать новую поэтическую систему для альтернативной географии, реальной, воображаемой — или и той и другой. В связи с этим можно привести пример русскоязычного узбекского поэта Шамшада Абдуллаева из Ферганы, который ориентирует свой насыщенный, имажистский свободный стих на все, кроме русской поэтической традиции и современной российской поэтической сцены. Возьмем, к примеру, его стихотворение 2014 года «Ёдзё»:

Ёдзё

Кто отверз твои уста ослик?
Дышать украдкой дышать
Никаких мыслей никаких дел никакого будущего никого рядом
Глиняные глыбы осыпаются в подошве холмов
и свет не перечит им
В дневной дымке в конце тротуара местные жители идут
спиной и затылком вперёд над лежащим пирамидально
белым асфальтом коренастые пейзаны в тюбетейках
Вдыхаешь её ноябрьскую тусклость
в стылом помёте карбидного воздуха

но пустынные улицы как вспышки озаряют
кадры снятые обратным планом
Ритуал один свидетелей много
Вдох и выдох
числятся по сю сторону затянувшейся краткостью
а ты выглядишь как
spirans cadaver После
пятидесяти чтишь только
невозможное 21 псалом
чтобы «не остаться в стыде»[3].

Ёдзё (yojo) — японский термин, обозначающий особый эстетический эффект: продолжительное эхо глубокого, вибрирующего чувства, которое хорошее хайку порождает в читателе. Рассматриваемое стихотворение, как и многое другое

3 Стихотворение цит. по: *Абдуллаев Ш.* Илон Изи: [стихи] // Знамя. 2014. № 4 (https://znamlit.ru/publication.php?id=5521 (дата обращения: 13.07.2023)).

в творчестве Абдуллаева, сочетает в себе глобальные литературные отсылки (японская культура, а также европейский модернизм, художественный кинематограф, исламские и христианские библейские традиции) с местными реалиями и образами Центральной Азии. В другом контексте, в начале 1990-х годов, Абдуллаев, являясь лидером и наиболее видным представителем Ферганской школы, охарактеризовал поэтов этой школы с точки зрения нерусских идей и влияний:

> Их отличает склонность к медитативной, онтологической (бытийной) поэзии. Они преимущественно ориентируются на достижения англо-американских имажистов и итальянских герметиков, свободно используют кинематографические аллюзии (от Мельеса до Эрмано Ольми), пытаясь удержать чувственную прозрачность и целостность, посюсторонность конкретного мира. Их девиз — слова Пауля Клее: не отражать реальность, а делать ее зримой [Абдуллаев 1991].

При этом (помимо самого русского языка) творчество Абуллаева мало что берет от русской поэзии, прошлой или настоящей.

Как заметил сам Абдуллаев в интервью в 2004 году: «К сожалению, меня меньше всего интересует русская литература. Она по-прежнему, при всем своем величии, остается архаичной, заторможенной на моральных реакциях и структурных предпочтениях девятнадцатого века» [Абдуллаев, Иоффе 2004]. Примечательно, что эта стратегия сознательного игнорирования имперской традиции на протяжении трех десятилетий была основой для восторженного восприятия творчества Абдуллаева в элитных столичных поэтических кругах, которые с начала 1990-х публиковали поэта в известных журналах и книжных сериях и наградили его Премией Андрея Белого. В другом месте, в более развернутом обсуждении творчества Абдуллаева, я описал его как «экстратерриториального» писателя, который обретает значимость в центре столичной литературной системы благодаря тому, что использует освободительный потенциал ситуации за пределами ее привычной географии [Платт 2021]. К числу других авторов, которые используют стратегию Абдуллаева, то есть стратегию антиканонического и, следовательно, антиимперского сознательного игнорирования, и пользуются, как и он, литературным успехом в качестве экстратерриториальных авторов в центре метрополии, относятся заметные русскоязычные израильские поэты, такие как Леонид Шваб, а также поэты группы «Орбита» из Риги (Латвия), среди которых можно назвать Сергея Тимофеева, Артура Пунте, Семена Ханина и Владимира Светлова, чья поэзия также ориентирована на европейские и локальные (разумеется, в другой местности) источники вдохновения и прецеденты, отвергая канонические русские традиции без особой помпезности или заламывания рук, поскольку эти традиции не имеет отношения к их проекту[4]. Ниже, при описании следующей антиимперской стратегии, работа этой группы будет рассмотрена более подробно.

Как с точки зрения трендов в сфере эстетики, так и с точки зрения реалий транснациональных проекций власти неприятие Абдуллаевым (а также другими упомянутыми авторами) российской культурной метрополии может рассматриваться как тактика 1990-х годов. В тот период писатели Восточной Евро-

4 См. специальное обсуждение литературной стратегии Абдуллаева в терминах имперского наследия: [Корчагин 2017]; а также сравнение Ферганской школы с группой «Орбита» в: [Кукулин 2002].

пы и Евразии отвергли политическую ангажированность как отличительную черту литературной жизни государственного социалистического прошлого, заняв вместо этого позицию автономии от политики, часто — в сочетании с поэтикой иронического постмодернизма. Более того, литературная жизнь российской метрополии первого постсоветского десятилетия погрязла в институциональном беспорядке и творческом хаосе, в то время как транснациональная культурная политика казалась каким-то образом менее напряженной, поскольку, как считалось, не только бывшие советские и социалистические страны, но и мир в целом вступал в эру открытых границ и неограниченной глобализации (то есть, по выражению Томаса Фридмана, в эру «плоской Земли»). Конечно, все это долго не продлилось. Новая эпоха закрытия границ, растущей напряженности и меняющейся эстетики, которая сформировалась в 2000-х и 2010-х годах, потребовала иных стратегий взаимодействия с российской культурой и империей. С наступлением нового тысячелетия и по мере того, как прямое политическое участие в русскоязычной литературе вновь стало эстетически возможным и политически необходимым, возникла вторая, столь же прямолинейная, но диаметрально противоположная антиимперская стратегия: поэзия, которая решительно «возражает» империи. Возьмем стихотворение Дмитрия Кузьмина 2018 года «Удобно ненавидеть Россию...», которое является убедительной иллюстрацией поэтической полемики с имперской властью в литературной жизни:

Е. С.

Удобно ненавидеть Россию из Латвии.
Удобно ненавидеть Россию из Америки.
Более или менее удобно ненавидеть Россию из некоторых районов Украины,
но из Крыма и из Донбасса не очень удобно.
Сравнительно удобно ненавидеть Россию из Москвы.
Гораздо неудобнее — из Перми или Омска,
где горожан развлекают моделью виселицы в натуральную величину.
Очень неудобно ненавидеть Россию из Лабытнанги.
Голова кружится, сильная слабость,
покалывания в пальцах, онемение рук.
Сухость во рту постоянная, не получается напиться водой[5].

В некотором смысле стихотворение не требует интерпретации (хотя я ни в коем случае не хочу преуменьшать сложность этого текста как поэтического высказывания; подробнее я рассматриваю это стихотворение, а также литературные проекты Кузьмина в публикации: [Платт 2021]). Оно посвящено украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, который был осужден в России по сфабрикованному обвинению в террористическом заговоре и на момент написания стихотворения отбывал наказание в исправительной колонии. Написанное по-русски, но провозглашающее свободу ненавидеть Россию, стихотворение Кузьмина артикулирует географическое пространство как вопрос степеней свободы от

5 Стихотворение цит. по: *Кузьмин Д.* Удобно ненавидеть Россию из Латвии... // Dreamwidth (blog site). 2018. 12 августа (https://dkuzmin.dreamwidth.org/593395.html (дата обращения: 13.07.2023)).

российской имперской власти, которая неравномерно распространяется по всему пространству — от свободного пространства Латвии к относительно контролируемой Москве, далее к более контролируемой властью территории Перми или Омска и до полностью подконтрольного пространства исправительной колонии. Возможно, сегодня это стихотворение нельзя было бы напечатать в Российской Федерации из-за политического содержания, но сам факт появления этого стихотворения отражает черты русскоязычного литературного мира, отличного от того, который окружен российскими государственными границами и правовыми институтами, запрещающими определенные формы речи и способы самовыражения. В качестве дополнительных примеров можно легко привести поэтов самых различных эстетических и политических ориентаций (можно даже сказать «ориентаций, противоречащих друг другу»), которые публиковали русскоязычные стихи в режиме прямого обращения к российской имперской власти: Вера Павлова, Борис и Людмила Херсонские, Кирилл Медведев, Александр Скидан, Галина Рымбу, Константин Шавловский, Мария Степанова, Елена Фанайлова и многие другие. После 24 февраля 2022 года интенсивность таких прямых обращений, содержащих «возражения в адрес империи», возросла в геометрической прогрессии.

Третья стратегия антиимперского письма в русскоязычном мире, которая за последние несколько десятилетий получает все большее распространение, подводит нас к рассмотрению вопроса, более сложного с формальной точки зрения: речь идет о стратегии многоязычной гибридизации стандартного русского языка в контакте с языками подчиненных или (ранее) колонизированных стран. В качестве давнего примера такого подхода можно привести работу Сергея Завьялова — например, его «Берестяные грамоты мордвы-эрзи и мордвы-мокши» 1997—1998 годов.

Это произведение включает в себя строфы на мордовских языках и переводы народных песен с этих языков на русский, но в ней также осуществляется децентрация русского языка, который, по оценке Ильи Кукулина, «грамматически и семантически деформирован, по-видимому, скрытым, полузабытым присутствием других языков на каком-то более глубоком уровне» [Kukulin 2019: 176].

нет места на он
поцеловать

какой он смуглый
с черный крапинки как волосы
желанно изогнутый

и на он
слово как московский песня
короткий
как сама жизнь

Вирь кучканяса **паргу келуня**
Прясонза морси **цинняй нармоння**
Вай кува морай **сияк аварди**
Чик-чирик-чирик **морай-кольгонди**

Как среди леса *кудрявая березонька*
А на ней поет *голосистая птичка*
Ох поет она *а сама плачет*
Чик-чирик-чирик *плачет-горюет*[6]

В последующие годы и по настоящее время Завьялов продолжает свои эксперименты с мультикультурным и многоязычным письмом. В качестве примера этой стратегии рассмотрим стихотворение автора младшего поколения «Rus bala», написанное деколониальным критиком и поэтессой Еганой Джаббаровой, которая размышляет о проблеме языков меньшинств в имперской матрице российской культурной и социальной жизни, исследует непрерывное насилие, проистекающее из навязывания доминирующего языка другим культурным и лингвистическим контекстам и традициям, и занимает позицию носителя гибридного, смешанного, нестандартного языка как знамени поэтического освобождения:

помнишь, сестра,
как было стыдно,
что мы обрусевшие дети,
которые выросли на чужой земле,
что мы rus bala, rus bala

ata-can, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня,
принять приёмных детей в свою семью,
постелешь нам спать на полу?
<…>
вы пишете как-то не по-русски — говорит мне К,
извините, пожалуйста, я больше не
я по-другому не могу,
извините, К, я по-русски не умею[7].

Суть этой позиции парадоксальна: «я по-русски не умею», но тем не менее «я пишу по-русски». Такое письмо представляет собой лабораторию «нестандартных русских языков» — русстарского, русзерийского, русшанского, защищающих свое право на существование от политического и институционального гнета нормативного языка. При этом, возможно, даже такие термины, как «русзерский», следует отвергнуть как формы пренебрежительного искусственного обособления. Как учит нас стихотворение Джаббаровой, ее язык тоже должен быть признан русским. Когда-то Бахтин писал, что живые языки всегда являются полем, на котором борются, с одной стороны, «центростремительные силы языковой жизни», цель которых — «вытеснение языков, их порабощение, просвещение истинным словом, приобщение варваров и социальных низов единому языку культуры и правды, канонизация идеологических систем», а с другой стороны, актуальность разноречия, «непрерывная работа центробежных сил языка», которая поддерживает жизненную реальность языка, «внут-

6 Цит. по: *Завьялов С.* Мелика: Вторая книга стихотворений. М.: АРГО-Риск, 1998. С. 32.

7 Цит. по: *Джаббарова Е.* Rus bala // Грёза. 2021. 11 августа (https://greza.space/rus-bala/ (дата обращения: 13.07.2023)).

ренняя расслоенность единого национального языка на социальные диалекты, групповые манеры, профессиональные жаргоны, жанровые языки, языки поколений и возрастов, языки направлений», вплоть до включения языков подчиненных и колонизированных культур (позже в этом же эссе Бахтин деконструирует концепцию «национального языка» в целом, указывая на исторически изменчивые границы национальных языков) [Бахтин 1975: 76—88].

Несмотря на своеобразное неприятие Бахтиным поэзии как жанра, способного моделировать разноречие на живом языке, современная русскоязычная поэзия включает в себя широкий круг поэтов как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами, которые непосредственно преодолевают внутренние и внешние границы языка с помощью стратегии лингвистической гибридизации. Степень использования этой стратегии (а также ее риторические интенции) различны: от Шамшада Абдуллаева до Рамиля Ниязова, поэтов «Орбиты» и многих других. И хотя формат данного текста не предполагает попыток предложить полную аналитическую дифференциацию множества примеров, следует отметить различия, присущие особенностям геополитического и социального позиционирования в отношении языкового разнообразия: работа с языком коренного народа, долгое время являвшегося объектом колонизации (Завьялов), распространение в Российской Федерации языкового наследия, приводящее к миграции населения из ныне независимой бывшей колонии (Джаббарова) и гибридизации произведений русскоязычных авторов в таких же постколониальных контекстах (Абдуллаев, Тимофеев). Список ранжированных категорий можно было бы продолжить вплоть до крайнего случая американского поэта Евгения Осташевского, который смешивает номинально англоязычную поэзию с элементами своего русскоязычного наследия (и многих других языков вдобавок).

Аналогичным образом внутри самого поэтического высказывания переменная динамика взаимоотношений между языком метрополии и мятежом колонизируемого или ранее колонизированного языка проходит через множество градаций: от примеров, подобных стихотворению Джаббаровой, в котором синтаксический параллелизм создает в некотором смысле разновидность перевода или словарь, располагающий оба языка на одном уровне, до методов письма, включающего в себя отрывки, понятные лишь для тех, кто разделяет лингвистический инструментарий поэта, как в некоторых произведениях проживающей в Берлине русско-татарской поэтессы Динары Расулевой, — например, в ее стихотворении «Психоз»:

клок волос

до крови расчесала нос
психоз на вынос

не вынес
ла
астагафирулла
заусенцаңны тимә
башыңны тырнама
тик генә утыр
убыр

вышла на улицу
но вместо улицы там была пустая степь
ей захотелось всей собой обнять ее
сесть
лечь
касаясь степи как можно большим пространством тела

в руке в глубине свербело[8].

Горизонт событий лингвистической гибридизации, ее предельный случай — это поэзия, полностью переходящая на язык ранее или в настоящее время колонизированной группы, находящейся в подчинении, которая может быть понята как форма антиимперского «русскоязычного» письма только применительно к процессам национальной независимости и освобождения, рассматриваемым в историческом контексте.

Выше уже были упомянуты поэты группы «Орбита»: Тимофеев, Светлов, Ханин и Пунте. Впрочем, исследование всей совокупности их творчества как русскоязычных латышских поэтов подводит нас к рассмотрению четвертой стратегии антиимперского письма в русскоязычной поэзии. В то время как упомянутые ранее стратегии, помимо инноваций и изобретений конкретных поэтов, явно имеют глубокую предысторию как в русскоязычной, так и в мировой литературе, стратегии группы «Орбита» принадлежат к полностью самобытной и оригинальной области. Совершенно независимо от экспериментов с межъязыковой гибридизацией, как упоминалось выше, «Орбита» стала пионером особой стратегии освобождения русскоязычной поэзии от пост- или неоимперских рамок, а именно стратегии перформативного перевода. Принцип, лежащий в ее основе, прост: поэзия группы «Орбита» никогда не появляется в Латвии на русском языке без перевода текста на латышский в той или иной форме. Иногда этот принцип реализуется в более или менее традиционном формате публичного чтения поэзии на языке оригинала и в переводе, или в книге, напечатанной с оригиналами и переводами на разворотах.

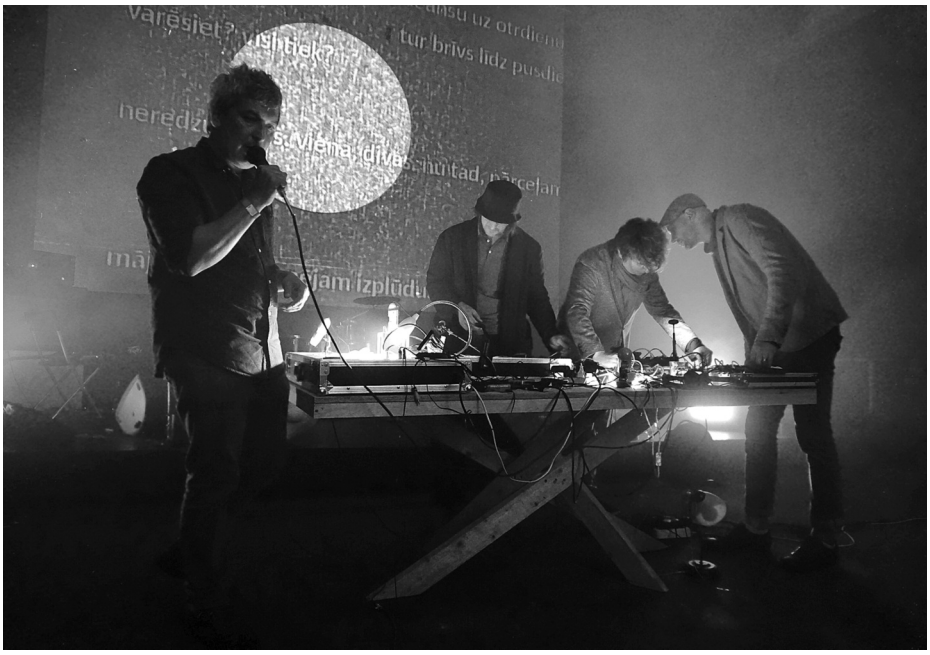
Однако такие простые и привычные случаи являются исключением. Чаще всего «Орбита» представляет сложные способы переплетения двух языков: проекции текстов и переводов на экраны во время чтения; трансляции переводов и их усиление с помощью портативных местных радиопередатчиков; книги-объекты, сочетающие два языка в немыслимых типографских комбинациях; видеопоэзия, которая изобретательно объединяет языки в различных звуковых дорожках и визуальных репрезентациях; музейные арт-инсталляции, которые доводят принцип сочетания языков до концептуалистских крайностей, включая устные и графические изображения оригиналов и переводов, переплетенные замысловатым образом[9].

Практика группы «Орбита» включает в себя постоянно расширяющийся набор приемов, с помощью которых объединяются тексты на русском и латышском языках, ниспровергая тем самым общепринятые концепции перевода, связанные с национальными литературными проектами. Обычно о пе-

8 Неопубликованная рукопись.

9 Подробнее о практиках перформативного перевода группы «Орбита» см. в: [Platt 2024].

реводе судят по тому, насколько он понятен и незаметен, — в противовес идеалу совершенной, в той или иной степени не опосредованной передачи сути оригинала, как бы ее ни понимали, когда переводчик и сам акт перевода исчезают из поля зрения, в то время как национальное единство языков, используемых для этих целей, создается принудительным образом (ил.). В случае с «Orbita», напротив, перевод демонстративно разыгрывается как некое самостоятельное действо. Аудитории «Орбиты» ни в коем случае нельзя забывать, что стихотворение существует на другом языке, а также нельзя воображать, что оригинал и перевод абсолютно идентичны, и, более того, никогда не позволено упускать из виду сам акт перевода. Позаимствовав концепцию у Эмили Аптер, эта литература придает имперской границе или постколониальному государству Латвия образ «зоны перевода», которая смещает наше представление о языке с «отдельных языков, содержащихся в пределах границ стандартизированного использования», на «мультиязычный процесс… в который вовлечены языки перевода, пиджины, креолы, идиоматическая выборка, заимствованные слова, калькирование и переключение кодов» [Apter 2013: 100].



Ил. Перформанс «Motopoesis» группы «Орбита», в котором задействованы проекции переводов и «переводы» устной поэзии при помощи сложных механических и электронных устройств. Рига, Латвия, 2019. Фото Кевина М.Ф. Платта

Концентрируя внимание аудитории на переводе, а не на «центре» национальной лингвистической и культурной традиции, «Орбита» освобождает литературу от пространства, определяемого принадлежностью к тому или иному государству. Практики перформативного перевода «Орбита» определяют место языка и культуры в географии, кардинально отличное от тех, которые действуют в современных национальных государствах и в нынешних глобальных

режимах монолингвализма. Здесь язык и культура становятся как в высокой степени локализованными, так и глобальными, как привязанными к конкретному многоязычному культурному сообществу Риги, так и детерриториализированными — оторванными от политических и географических рамок, которые настойчиво (и все более настойчиво) закрепляют использование языка за привилегированным сообществом его носителей и исторически определенной территорией или родиной. Деятельность группы «Орбита» является примером того, что Ясемин Илдыз описывает как «постмоноязычную» работу с эстетикой. Это не многоязычные культурные проекты, а скорее те, что

> настраивают языки таким образом, чтобы представить новые формации, предметы и модусы принадлежности… предлагают более критический способ борьбы с моноязычной парадигмой [и] борются с нескончаемым принуждением со стороны «родного языка»… способами, которые стремятся нарушить сходство между языком и этнокультурной идентичностью, устанавливаемое парадигмой [Yildiz 2012: 26].

В завершение этого эссе рассмотрим последний пример, включающий в себя аспекты всех стратегий антиимперского письма, рассмотренных выше, и еще больше усложняющий их политическое и концептуальное значение. Это драматический текст Кети Чухров «Not Even Dead» 2014 года. В сценах этой концептуальной «драмы» на своеобразной грани между пародией и реализмом вступают во взаимодействие удивительной конфигурации различные персонажи современного общества. Вот вступительный монолог одного из персонажей на английском языке, который объясняет суть этой работы:

> My name is Ilona,
> You think you see me here, but in fact I am filmed in real time for the project, which I am making under the commission of the Dutch institution Van Bregge, in the frame of the research exhibition on the survival strategies. I came to the town I had been born in, where some of my relatives remain after the civil war. My aunt Lema didn't leave the town despite the siege, since she supported the side of those who besieged the place. This reportage is transmitted now in real time for the booth at the Van Bregge show with my piece called "War and Resilience". No military actions here — except for slight shelling. My aunt Lema — abbreviation from Lenin, Engels, Marx — is a daughter of the founder of the regional Komsomol Platon Kikoria. Despite sporadic supply of humanitarian help from Russia the inhabitants of areas like this suffer from the harsh shortages of food and medication. At first I thought to document their ways of survival via interviews, but then i understood this would hamper the unmediated study of the situation, so we have put a couple of cameras in the house of my aunt and promised her we would come for a visit to talk to her and her neighbors but then decided to document the way they live when they are not aware they are recorded. I am now going to cover the broadcast from her house with my voice — so that I can translate for you, but also because the quality of transmission is bad. I try to completely follow what happens and perform it. Now I switch off my image, so that you see them. They are sitting on the stairs and waiting for me to come, not knowing they are filmed and broadcasted [Чухров 2016: 124].

Первая половина этого необычного произведения написана на английском языке с заметными ошибками (стоит ли называть его *рунглиш*?): Илона якобы переводит в режиме реального времени слова своих родственников в зоне бое-

вых действий. Драматический сюжет переключается со сцен жизни в экстремальных условиях и голода на обсуждение недавнего опыта насилия, включая казнь отца семейства вражескими войсками; абсурдистское/шекспировское появление призрака отца; замечания персонажей о греческой трагедии и других драматических формах; рассуждения о классической музыке; невидимое зрителю самоубийство одного из членов семьи. Наконец, Илона появляется на обещанном интервью. Но с этого момента Илона уже сама участвует в действии, а потому — больше не переводит, и ее речь переключается на русский язык с вкраплением мегрельского. Интервью проходит не по плану: ее родственники мучают ее, раздевают догола, обвиняют в предательстве, жестоко избивают и пытаются изнасиловать.

Можно рассматривать работу Чухров как форму перформативного перевода, выдвигающую на первый план акт перевода как центральную часть действия и в этом подобную работам группы «Орбита». И все же здесь, в отличие от утопического проекта многоязычной гибридности «Орбиты», работа Чухров предлагает размышление об этике и самой возможности любого перевода опыта низших слоев населения на имперской границе на язык (а значит, и в реальность) метрополии. Когда кто-то представляет страдания другого, «дальнего», и причина этих страданий — власть и привилегии, этично ли это? Что ты делаешь, превращая чужие страдания в газетный репортаж, политический проект, художественную инсталляцию или стихотворение? Создаешь ли ты культурные мосты — или присваиваешь боль других для продвижения своей карьеры, поскольку превращаешь страдания экзотического другого (навеки заброшенного в незападную локацию обыденной катастрофы) в зрелищное шоу? (Мы должны принять к сведению тот факт, что Чухров фокусируется в этом необычном произведении на аспектах своей собственной биографии и семейной истории, что усложняет вопрос о себе и других при любом обсуждении присвоения для самого автора.) Текст Кети Чухров предлагает многоуровневое моделирование имперских географий. Здесь она раскрывает взаимосвязи между многочисленными системами господствующей власти, языкового и идеологического доминирования.

Человеческий опыт страдания, представленный в этом произведении, а также политический проект поэта существуют на границе между имперским русским и глобальным английским языками. Долгая история их геополитического противостояния является контекстом и в некотором смысле основой для местного насилия, которое фигурирует в «Not Even Dead». Ироническое противостояние двух языков власти — английского и русского — в тексте раскрывает вечную неспособность или нежелание любой из двух конкурирующих метрополий урегулировать проблемы насилия в постколониальной пограничной зоне. Возможно, лучше сказать, что это противостояние раскрывает содействие обеих метрополий ориентализации, экзотизации и натурализации насилия в зоне, где нормы закона не действуют. Всепоглощающая ирония, сопутствующая пьесе о потреблении аудиторией метрополии страданий кавказцев и об утрате языка сострадания на границах между языками власти, может рассматриваться как призыв неомарксистского поэта к другому миру: к миру, который выходит за рамки моноязычной карты национализации «печатного капитализма» и системы вестфальского суверенитета, к миру открытых или подвижных границ, языков и культур, освобожденных от имперского насилия и власти капитала.

Действие стихотворения-пьесы, его переход от этически обремененного, насильственного перевода к простому насилию становится аллегорией нарушения коммуникации в зоне боевых действий, когда межъязыковой контакт рвется, а речь превращается в тишину или звуки ударов.

Это как нельзя лучше напоминает о сложностях текущего момента: о том факте, что перед лицом неоимперского насилия творческая языковая гибридность многоязычных поэтов на в доминионах и бывших колониях уступает место простому отказу от языка чужаков. Не только русскоязычные авторы Украины, такие как Володимир Рафєєнко, но даже и Артур Пунте из рижской группы «Орбита» в последние годы объявили о своем неприятии русского языка. Жестокий вооруженный конфликт, возникший в местах зон гибридного контакта, создает жесткие границы между национальными языками. Кто захочет писать на имперском языке, если при этом рискует своей репутацией? Если ценой использования языка становится то, что в тебе узнают часть насильственного, неоимперского «Русского мира» — или объявят его частью? С известной долей иронии, как напоминает нам стихотворение-пьеса Кети Чухров, антиимперский, постмоноязычный потенциал зоны перевода начинает исчезать как раз тогда, когда в нем больше всего нуждаются. На этом парадоксальном результате заостряет внимание актуальный момент в стихотворении Чухров: попытка тети Лемы оплакивать своего брата на всех возможных языках:

> Chkim jima, mucho midart, mushen” ghol’ tena,
> Mushen dite, mushen dite skan’ skualeb,
> Muk magholes, mu skvam boshik medin,
> Mu kvara, mu kiser”, mu murizkhi tsal toleb’
> Mu khe ughud, mu tol’ do tsar’,
> gvalio kirses va geduo,
> Svetik, skan’ golvapro,
> si tchaish matsiljaro mushendin”
> Mucho gijinedes oropileb’, ma tina va bshino
> Verg bo te ngara.
>
> (*бросает петь мингрельскую песню*)
>
> Aba Beetkhoven’ kibibrao:
> (поет II часть IV концерта Бетховена).
> ena kholo verg ngarad, aba atena:
>
> (*бросает петь Баха*)
>
> Were you there when they crucified my lord.
>
> [Там же: 130]

Трудности, связанные с пониманием этой максимальной артикуляции языка зоны перевода, очевидны: кто мог бы адекватно произносить слова и петь на всех этих языках, если не утопический универсальный человеческий субъект? При этом нет никаких сомнений, что общность людей, возникающая при оплакивании наших общих потерь, — это то, в чем мы отчаянно нуждаемся. Однако в настоящее время нам всем угрожает опасность низведения до положения вооруженных национальных или имперских субъектов.

Тем не менее антиимперское сопротивление в русскоязычной литературе будет продолжаться. Разве может быть иначе? Как писал Эдвард Саид, «сопротивление, имеющее мало общего с простой реакцией на империализм, является альтернативным способом осмысления человеческой истории», инициированным политической реальностью деколонизации (процесса, который рано или поздно, быстро или медленно продолжится на евразийском пространстве). Саид добавляет: «Особенно важно увидеть, насколько это альтернативное переосмысление основано на разрушении барьеров между культурами» [Said 1993: 216]. Таким образом, в заключение мы должны еще раз признать утопический потенциал мира освобожденных языков и культурных образований, проницаемых на своих границах, множественных внутри. Этот потенциал по-разному описывается каждым из вышерассмотренных поэтов, а также теоретиков (начиная с Бахтина и заканчивая поэтами-теоретиками, такими как Кети Чухров). Одно из основных бинарных категориальных различий, предложенных Фердинандом де Соссюром, заключается в противопоставлении языка (langue) как абстрактной системы, основанной на правилах, и речи (parole) как области актуального индивидуального высказывания. Это различие вновь возвращает нас к дифференциальному отношению различных жанров к империи, уже рассмотренному в начале этого эссе. Категориальное противопоставление Соссюра указывает на фундаментальный теоретический парадокс языковой политики и культурной онтологии: язык один — или их много? Империя — это борьба за господство одного центра, исторически наделенного властью, то есть стремление к победе центростремительных сил над центробежными. Империя — это господство нормативного академического словаря, самого имперского жанра из всех. Поэзия — это противоположная крайность: жанр речи (parole), жанр выхода из-под контроля, практика индивидуального миростроительства (все это можно назвать самой сутью искусства). В этом смысле вся истинная поэзия, по крайней мере потенциально, является антиимперской.

Перевод с англ. Алексея Порвина

Библиография / References

[Абдуллаев 1991] — *Абдуллаев Ш.* Введение к разделу «Поэзия» // Звезда Востока. 1991. № 5. С. 3.

(*Abdullaev Sh.* Vvedenie k razdelu “Poeziya” // Zvezda Vostoka. 1991. No. 5. P. 3.)

[Абдуллаев, Иоффе 2004] — *Абдуллаев Ш.* «Разговорный жанр жизнетворчества. Шамшад Абдуллаев: конвульсии песка на гребне Расстояний». Интервью с Денисом Иоффе // Топос. 2004. 4 апреля (http://www.topos.ru/article/2215 (дата обращения: 13.07.2023)).

(*Abdullaev Sh.* “Razgovornyy zhanr zhiznetvorchestva. Shamshad Abdullaev: konvul’sii peska na grebne Rasstoyaniy”. Interv’yu s Denisom Ioffe // Topos. 2004. April 4 (http://www.topos.ru/article/2215 (accessed: 13.07.2023)).)

[Бахтин 1975] — *Бахтин М.* Слово в романе // Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М.: Художественная литература, 1975. С. 72—233.

(*Bakhtin M.* Slovo v romane // Bakhtin M. Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniya raznykh let. Moscow, 1975. P. 72—233.)

[Корчагин 2017] — *Корчагин К.* «Когда мы заменим свой мир...»: Ферганская поэтическая школа в поисках постколониального субъекта // Новое литературное обозрение. 2017. № 144. С. 448—470.
(*Korchagin K.* "Kogda my zamenim svoy mir...": Ferganskaya poeticheskaya shkola v poiskakh postkolonial'nogo sub"ekta // Novoe literaturnoe obozrenie. 2017. No. 144. P. 448—470.)
[Кукулин 2002] — *Кукулин И.* Фотография внутренностей кофейной чашки // Новое литературное обозрение. 2002. № 54. С. 262—282.
(*Kukulin I.* Fotografiya vnutrennostey kofeynoy chashki // Novoe literaturnoe obozrenie. 2002. No. 54. P. 262—282.)
[Платт 2017] — *Платт К.М.Ф.* Пожар в голове: Павел Арсеньев, эстетическая автономия и Лаборатория поэтического акционизма / Пер. с англ. А. Скидана // Новое литературное обозрение. 2017. № 145. С. 278—291.
(*Platt K.M.F.* Fire in the Head: Pavel Arseniev, Aesthetic Autonomy and "The Laboratory of Poetic Actionism" // Novoe literaturnoe obozrenie. 2017. No. 145. P. 278—291. — In Russ.)
[Платт 2021] — *Платт К.М.Ф.* Преимущества расстояния: экстратерриториальность как культурный капитал на литературном рынке // Век диаспоры: Траектории зарубежной русской литературы (1920—2020): Сб. статей / Под ред. М. Рубинс; пер. с англ. А. Степанова, Н. Махлаюка, Е. Гудвин. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 274—311.
(*Platt K.M.F.* The benefits of distance: extraterritoriality as cultural capital in the literary marketplace // Redefining Russian Literary Diaspora, 1920—2020 / Ed. by M. Rubins. London: ULC Press, 2021. P. 214—243. — In Russ.)
[Рубинс 2021] — *Рубинс М.* Невыносимая легкость диаспорического бытия: Модальности письма и чтения экстратерриториальных нарративов // Век диаспоры: Траектории зарубежной русской литературы (1920—2020): Сб. статей / Под ред. М. Рубинс; пер. с англ. А. Степанова, Н. Махлаюка, Е. Гудвин. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 5—35.
(*Rubins M.* The unbearable lightness of being a diasporian: modes of writing and reading narratives of displacement // Redefining Russian Literary Diaspora, 1920—2020 / Ed. by M. Rubins. London: ULC Press, 2021. P. 3—36. — In Russ.)
[Чухров 2016] — *Чухров К.* Not Even Dead (Unmade film) // [Транслит]. 2016. № 18. С. 123—133.
(*Chuhrov K.* Not Even Dead (Unmade film) // [Translit]. 2016. No. 18. P. 123—133.)
[Apter 2013] — *Apter E.* Against World Literature: On the Politics of Untranslatability. London: Verso, 2013.
[Fanon 1963] — *Fanon F.* The Wretched of the Earth / Transl. by C. Farrington. New York: Grove Press: 1963.
[Fanon 1967] — *Fanon F.* A Dying Colonialism / Transl. by H. Chevalier. New York: Grove Press, 1967.
[Gorham 2019] — *Gorham M.* When Soft Power Hardens: The Formation and Fracturing of Putin's 'Russian World' // Global Russian Cultures / Ed. by K.M.F. Platt. Madison: University of Wisconsin Press, 2019. P. 185—206.
[Gorski 2020] — *Gorski B.A.* The Bestseller, Or The Cultural Logic Of Postsocialism // Slavic Review. 2020. Vol. 79. No. 3. P. 613—635.
[Gorski 2021] — *Gorski B.A.* Socialist Realism Inside-out: Boris Akunin And Mass Literature For The Elite // The Akunin Project / Ed. by E.V. Baraban and S.M. Norris. Toronto: University of Toronto Press, 2021. P. 255—281.
[Komaromi 2015] — *Komaromi A.* Uncensored: Samizdat Novels and the Quest for Autonomy in Soviet Dissidence. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2015.
[Komaromi 2022] — *Komaromi A.* Soviet Samizdat: Imaging a New Society. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2022.
[Kukulin 2019] — *Kukulin I.* Russia as Whole and as Fragments // Global Russian Cultures / Ed. by K.M.F. Platt. Madison: University of Wisconsin Press, 2019. P. 151—182.
[Mufti 2016] — *Mufti A.R.* Forget English! Orientalisms and World Literatures. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016.
[Platt 2019] — *Platt K.M.F.* Putting Russian Cultures in Place // Global Russian Cultures / Ed. by K.M.F. Platt. Madison: University of Wisconsin Press, 2019. P. 3—16.
[Platt 2024] — *Platt K.M.F.* Chapter 5: Performative Translation and Lyric Cosmopolitanism // Platt K.M.F. Border Conditions: Russian-Speaking Latvians Between World Orders. Ithaca, NY: Cornell University Press; Northern Illinois University Press, 2024 (forthcoming).
[Said 1993] — *Said E.W.* Culture and Imperialism. New York: Vintage Books, 1993.
[Spivak 1988] — *Spivak G.Ch.* Can the Subaltern Speak // Marxism and the Interpretation of Culture / Ed. by C. Nelson and L. Grossberg. Urbana; Chicago: Illinois University Press, 1988. P. 271—313.
[Yildiz 2012] — *Yildiz Y.* Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition. New York: Fordham University Press, 2012.

Кирилл Осповат

Руины: русская филология ввиду катастрофы

Kirill Ospovat

Ruins: Russian Philology in the Face of Catastrophe

Кирилл Осповат (Университет Висконсина в Мэдисоне, Департамент германских, скандинавских и славянских языков и литератур, доцент; кандидат филологических наук) ospovat@wisc.edu.

Ключевые слова: русская филология, деколонизация, критическая теория

УДК: 82.01/.09
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_340

Статья задается вопросом о месте русской филологии как дисциплины ввиду разворачивающейся катастрофы, о политике филологического метода в прошлом и будущем и очерчивает потенциальную модель эмансипаторного литературоведения. Предлагаемая аргументация отправляется от критики понятия культуры как сопутствующего насилию и угнетению. Вслед за тем очерчиваются консервативные представления о классическом наследии, увязывающие культуру с империей и имперским политическим воображаемым. После этого описывается иная, народническая традиция понимания литературы и филологии как «службы понимания», работающей в интересах обделенных. Эта традиция корреспондирует и с иным, демократическим и республиканским пониманием поэзии и памяти в украинской традиции. В заключении статьи очерчиваются некоторые категории для народнической и антиимперской филологии будущего.

Kirill Ospovat (PhD; Associate Professor, Department of German, Nordic, and Slavic, University of Wisconsin-Madison) ospovat@wisc.edu.

Key words: Russian philology, decolonization, critical theory

UDC: 82.01/.09
DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_340

The article addresses the place of Russian philology as a discipline in view of the unfolding catastrophe and its politics in the past and the future, outlining a potential alternative model for an emancipatory literary criticism. The starting point for my argument is a critique of the notion of culture as concept which consecrates violence and oppression. Accordingly, a conservative vision of classical heritage links culture with empire and the imperial political imaginary. Another tradition of understanding literature and philology, derived from Russian populism understands itself as “service of understanding” working in the interests of the disenfranchised. This tradition corresponds to a democratic and republican understanding of poetry and historical memory in the Ukrainian tradition. In conclusion, the article outlines possible categories for a populist and anti-imperial philology of the future.

В условиях исторической катастрофы критические голоса необходимо задаются вопросом об имперских измерениях *русской культуры* [Гулин 2022; Zabuzhko 2022]. Этот вопрос, способный вызывать рефлекторное отторжение у русистов, взывает не только к критике империализма, но и к ревизии понятия *культуры* и той гуманитарной науки — филологии, — для которой это понятие оставалось до сих пор основополагающим. Как и предупреждали критические теоретики от Вальтера Беньямина до Фредрика Джеймисона, за понятием *культуры* слишком часто скрывается жест политической «универсализации» исторического материала, предполагающий «иллюзию существования только одной настоящей “культуры”» и подавление «оппозиционного

голоса» — голоса угнетенных, «по большей части заглушаемого и сведенного к молчанию, вытесненного на периферию, чьи высказывания потерпели сокрушительное поражение» [Джеймисон 2014: 46—47][1]. О соучастии *культуры* в угнетении говорит и формула господствующей исторической памяти из уже хрестоматийных тезисов Беньямина «О понятии истории» (1939), написанных в ответ на торжество нацизма:

> Все те, кто вплоть до наших дней выходил победителем, участвуют в триумфальной процессии, которую сегодняшние властители ведут по распростертым телам сегодняшних побежденных. Как положено по традиции, в процессии несут и добычу. Ее называют: культурные сокровища. <…> Не существует ни одного документа культуры, который не являлся бы и документом варварства [Беньямин 2001].

Перенос понятия *варварства* с угнетенных на аппараты власти и *культуру* угнетателей имеет важные импликации и для политической, и для эстетической мысли. Как напоминает А. Эткинд, автор термина «геноцид» Рафаэль Лемкин начал разрабатывать это понятие под «классицизирующим» названием «варварства и вандализма» в связи с украинским голодомором [Etkind 2022]. В сфере теории культуры Беньямину наследует хрестоматийная формула Теодора Адорно «писать стихи после Освенцима — варварство» из эссе «Критика культуры и общество» (1951), где страшная память о преступлениях нацизма диалектически сочетается с критикой послевоенного медиакапитализма, в котором не осталось даже идеологий, «а есть только реклама мира посредством его дублирования и провокационной лжи, которая даже не хочет веры, а требует лишь молчаливого согласия» [Адорно 2018].

Понятое по Беньямину *варварство* составляет сейчас необходимый горизонт рефлексии о российской *культуре* и ее критике [Гулин 2022]. Вопреки влиятельным в сегодняшних — или вчерашних — спорах предрассудкам, эта аргументация не ведет ни к уничтожению культурной сложности, ни к запрету на само понятие *культуры*. Напротив, усложняя это понятие и распознавая в нем диалектику, общую для формы и истории, Беньямин возвращает ремесло историка и филолога в историческое пространство. В этом духе вопрос об историческом месте русской филологии и ее объекта должен быть поставлен на фоне преемственности разворачивающейся катастрофы по отношению к консервативным течениям, которым оппонировал Беньямин, и ее происхождения из «отрицательной революции» 1989—1991 годов [Будрайтскис 2020; Магун 2008]. Выходя за пределы автоматизированного двойного империализма, рассматривающего *русскую культуру* наряду с западными и отказывающего в значении всем остальным, русская филология может обрести важную точку отсчета для собственной деколонизации в украинской литературной и филологической традиции, давно и последовательно рефлектирующей исторический и культурный опыт российской империи с точки зрения угнетенных[2].

---

1 Характерный пример привычно элитистской апелляции к понятию *культуры* в новейших дискуссиях см. в: [Архангельский 2023].

2 Настоящая работа выросла из онлайн-форума, организованного Энн Лоунсбери и артикулировавшего многие из изложенных здесь идей. Материалы форума см. в: Ab Imperio. 2022. № 2.

I

Среди визуальных фигур разворачивающейся катастрофы находится эмблематическая композиция, в которой аллегорическая фигура русской культуры с телом двуглавого орла, узнаваемыми лицами русских писателей и ногами балерины парит над дымящимися развалинами уничтоженного города. Эту эмблему не удастся списать в разряд бьющей мимо цели публицистики: соположение *культуры* и *руин* — осязаемой аллегории массового насилия и разрушения — относится к фундаментальным фигурам модерности как таковой и, в частности, сломов поздне- и постсоветской истории [Ruins… 2010]. С руин начинаются — на крайне правом конце политического спектра — не теряющие страшной актуальности стихи Бродского, наиболее канонизированного из русских поэтов эпохи распада СССР, «На независимость Украины» (1994):

> Дорогой Карл Двенадцатый, сражение под Полтавой,
> слава Богу, проиграно. Как говорил картавый,
> время покажет — кузькину мать, руины,
> кости посмертной радости с привкусом Украины[3].

Руины советской империи и Украины оказываются узловой эмблемой истории и *культуры*, понятых под знаком катастрофы. Заимствуя (несколько неожиданно) авторитет и инструментарий геополитической агрессии сразу у двух советских вождей и задавая таким способом координаты для будущей войны с Западом (прямой адресат угроз Хрущева здесь заменен на «гансов с ляхами»), Бродский противопоставляет историческому распаду СССР поэтический мираж имперской вечности, объединяющей его читателей с современниками Северной войны. Иронически мимикрируемый пацифизм предателя-мазепинца («дорогой Карл Двенадцатый») бледнеет перед мифологической неприкосновенностью победы при Полтаве, гарантированной авторитетом упомянутого ниже Пушкина и русской поэзии как таковой. Украина, предстающая у Бродского территорией смерти и поражения украинской нации и ее языка, в колониальной перспективе обретает культурную ценность в качестве *руины* — памятника убийству и разрушению, производящего «посмертную радость» возрожденной империи: славу русского оружия и совпадающей с ней классической поэтической традиции. Эти стихи следуют сценарию полтавского боя у Пушкина, в котором «груды тел» сменяются «прекрасным пиром» Петра, знаменующим победу России над Западом и уничтожение обреченной на забвение Украины; на ее месте остается только воздвигнутый первым императором «огромный памятник себе»[4]. Финальное предсказание Бродского, основывающее величие русской поэзии на истреблении украинской литературы и языка — «будете вы хрипеть, царапая край матраса, / строчки из Александра, а не брехню Тараса» — осуществляет смежное имперское пророчество Пуш-

3 *Бродский И.* На независимость Украины. Здесь и далее стихотворение цитируется по авторизованному тексту из «Живого журнала» Натальи Горбаневской (запись от 17 мая 2008 года), см.: https://ng68.livejournal.com/123368.html (дата обращения: 20.06.2023).

4 *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 17 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937—1959. Т. 5. С. 57—65.

кина: его памятник увековечивает политико-лингвистическую колонизацию народов — в том числе польского и украинского — во имя «Руси великой»: «И назовет меня всяк сущий в ней язык, / И гордый внук славян, и финн...»[5] Именно так пушкинскую строфу толковал будущий идеолог русификации Украины М.Н. Катков:

> Множество разнообразных племен, населяющих наше отечество, должны вполне, умственно и нравственно, подчиниться русской народности, как подчинены они теперь Российскому государству. Для этих племен русская народность есть единственный путь к человеческому образованию, и они «назовут имя Пушкина»[6].

Недавний информативный комментарий Евгения Брейдо к стихам «На независимость Украины», опубликованный в «Новом литературном обозрении» в сопровождении нескольких откликов, защищает Бродского от упреков в имперстве, указывая на сложность поэтической техники и коммуникативной ситуации стихов «На независимость Украины» [Фанайлова и др. 2023: 240—241; Брейдо 2023]. Аргументация такого рода предполагает сущностное противоречие между культурной сложностью и нелиберальной политикой, между *империей* и *культурой*. Бродский между тем многократно артикулировал свою принадлежность к хорошо разработанной традиции, настаивавшей на их родстве [Turoma 2010]. Отвечая в 1988 году на колонизаторское презрение Бродского к литературам оккупированных СССР стран Центральной Европы, Чеслав Милош ставил ему в вину введение слова «империя» в поэтический язык[7]. В стихах «На независимость Украины» геополитический ресентимент переплетен с консервативной идеологией *культуры* и филологии как знания о ней. Евгений Брейдо прав в том отношении, что сопоставление поэзии Пушкина и Шевченко диктуется в стихах Бродского не столько личными пристрастиями поэта-читателя, сколько логикой многоголосной (пост)имперской общности [Брейдо 2023: 230] (см. также: [Лекманов 2023]). Ей соответствует ученая типология поэтических традиций, чье величие происходит из истории государств. Такой взгляд, ассоциируемый с классической филологией и *классицизмом*, суммируется понятием о *классике* как имперском каноне, составляющем предмет и оправдание филологического знания.

В русском литературоведении эту перспективу красноречиво артикулировал Л.В. Пумпянский, знаток и апологет *классицизма* как союза между поэзией и империей. Его разбор пушкинского «Памятника» (1923), опубликованный в 1977 году, черпает эвристическую точность из совпадения имперского восторга поэта и исследователя. Рассматривая фигуру памятника у Горация, Пумпянский выводит работу филологии из актов завоевания и разрушения, порождающих имперскую вечность:

---

5 Там же. Т. 3. С. 424.

6 *Катков М.Н.* Пушкин // Русская эстетика и критика 40—50-х годов XIX в. М.: Искусство, 1982. С. 398.

7 Лиссабонская конференция по литературе. Русские писатели и писатели Центральной Европы за круглым столом // Звезда. 2006. № 5 (https://magazines.gorky.media/zvezda/2006/5/lissabonskaya-konferencziya-po-literature-russkie-pisateli-i-pisateli-czentralnoj-evropy-za-kruglym-stolom.html (дата обращения: 20.06.2023)). См. об этой встрече блок статей под редакцией Дирка Уффельмана: Zeitschrift für Slavische Philologie. 2016. Bd. 72. № 1.

> ...падшие цивилизации, камни Египта, Междуречья, Африки — вот образы погибших царств; римляне относительно них скорее в роли англичан в Индии: ученые властители-знатоки; отсюда такое знание всей науки о разрушении камня. <...> Итак, тема предполагает глубокий исторический опыт империалистического народа, владеющего землями бывших великих царств... <...> Действительно, тема о величии поэзии только в великом государстве и может быть поставлена; великое же государство предполагает себя вечным и прошлые катастрофы считает не связывающими его: недаром оно есть Империя [Пумпянский 2000: 200—201].

Аффектированная брань стихов «На независимость Украины», воспроизводящая с пародическим сдвигом геополитический восторг классической оды, вписывает судьбы России и Украины в те же горизонты имперской вечности колонизаторов: «время покажет — кузькину мать, руины». В более ранних стихах Бродского имперский филологизм (опиравшийся, в частности, на культурный консерватизм Т.С. Элиота) сопровождался меланхолией, характерным аффектом позднесоветского времени (см.: [Киршбаум 2016; Lounsbery 2022; Turoma 2010]). Эта меланхолия разыграна в «Письмах римскому другу» (1972):

> Вот и прожили мы больше половины.
> Как сказал мне старый раб перед таверной:
> «Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
> Взгляд, конечно, очень варварский, но верный[8].

«Письма римскому другу» в первую очередь читаются как модель приватности — интеллигентской? диссидентской? эмигрантской? — будто бы вынесенной за пределы политического. Эта позиция локализована, однако, в *империи* и вписана в ее координаты: добровольность отдаления от *цезаря* и дружелюбное соседство с *наместником-ворюгой* подчеркиваются контрастом между комфортной автономией протагониста и не столь завидным положением *раба-варвара*. Появлением этой фигуры маркируется напряжение между приватной и имперской приуроченностью поэтического акта и *культуры* вообще. Кружковое *мы* первого стиха — избранное общество поэта и его *свободных* адресатов, наделенных стоицистким политическим скепсисом и филологическим интересом к Старшему Плинию и псевдо-Марциалу, — расширяется при виде *раба* до имперской общности, *мы* рабов и господ. Империя обретает свою идентичность в созерцании *руин*, в котором «варварский взгляд» оказывается основополагающим жестом *культуры* [Schönle 2011: 183—193]. Такого рода имперское переживание собственного исторического времени — сказывающееся, например, в панегирике Бродского Жукову как современному «Велизарию или Помпею» — разворачивается параллельно с поэтической инсценировкой филологического комментария, воскрешающего вокруг классических литературных имен жизненные миры давнопрошедших колониальных деспотий.

Руины оборачиваются многослойным символом, обозначающим отношения субъекта с собственным временем, историческим прошлым и литературной *классикой*. Переживание всеобщей и уравнивающей смертности сталки-

8 *Бродский И.* Сочинения: В 7 т. / Общ. ред. Я.А. Гордин; сост. Г.Ф. Комаров. СПб.: Пушкинский фонд, 1997. Т. 3. С. 11.

вается с напоминанием о воплощенных в фигуре раба структурах угнетения и становится формулой любой имперской истории: *руины* из «Писем римскому другу» можно понять, например, как публицистическую аллегорию катастроф, принесенных советской властью. Будучи вменен культурному субъекту (автору и его читателю), жест созерцания руин расширяется до меланхолического взгляда на всеобщую историю культуры, увиденную под знаком Римской империи и ее классической поэзии в момент одновременно расцвета и упадка. Эта форма меланхолии имела отчетливые политические измерения и восходила к языку немецкой «консервативной революции» начала XX в. Протагонист Бродского заимствует оптику Освальда Шпенглера, предлагающего созерцать «с безвременной высоты, взором, устремленным на тысячелетия мира исторических форм» процесс падения Запада, смену аристократической *культуры* массовой и коммерческой *цивилизацией*, определяющую историю XX века и уже случившуюся в Античности, «где триумвир Красс был всемогущим спекулянтом земельными участками», а «римский народ, перед которым даже на расстоянии трепетали галлы, греки, парфяне, сирийцы, в неимоверной нищете ютился в густонаселенных многоэтажных домах неосвещенных предместий и обнаруживал полное равнодушие или своего рода спортивный интерес к успехам милитаристической экспансии» [Шпенглер 1998: 167].

Филологически оснащенному наблюдателю остается только поза культурной ностальгии, вынесенная как будто за пределы политической актуальности, но переплетенная с фундаментальным недоверием *к народу* и классическим почитанием империи, эстетизирующим под названием *культуры* запечатленное в *руинах* завоевательное насилие. Еще один адепт «консервативной революции», Э.Р. Курциус, чей труд «Европейская литература и латинское средневековье» (1948) занимал профессиональное воображение российской филологии задолго до появления новейшего перевода, видел целью филологической работы защиту *культуры* и *образования* (Bildung) — то есть «интеллектуальной традиции Европы, уничтоженной катастрофами» (вторжениями масс в духовную жизнь, от Реформации до революции). *Культура* в этой перспективе понимается как язык «монархических и католических институтов», задающих раз и навсегда «связь между народом и властью в государстве» — то есть как фантазматический лексикон ушедшей в прошлое всемирной латинско-немецкой империи, служившей образцом для рейхов Новейшего времени [Курциус 2020: 11—66, 249—250].

II

«Письма римскому другу» инсценируют моделирующую роль поздне- и постсоветской филологии, ее способность предлагать читателям и обществу определенный тип культурной субъектности и политического аффекта, укорененный в специфических формах исторической памяти и переживания истории. Имперская меланхолия стихов Бродского созвучна, например, выкладкам М.Л. Гаспарова, чье вышедшее двумя годами раньше предисловие к сборнику римского поэта именовалось «Гораций, или золото середины», восстанавливало историческую картину раннего принципата и не без шпенглерианского скептицизма оспаривало автоматическое представление о том, что «всякая республика — благо, а всякая монархия — зло» [Гаспаров 1970: 31]. Однако воз-

зрения Гаспарова, признанного российским филологическим цехом арбитром научного вкуса, далеко не тождественны имперскому классицизму Бродского.

Вопреки устойчивой репутации Гаспарова как образцового носителя эскапистски-антикварного научного этоса, его высказывания о политике филологии с перестроечных времен и до его смерти в 2005 году настаивают на актуальных функциях гуманитарного знания: «...гуманитарная наука не может быть только хранилищем культурной памяти, она должна представлять себе те запросы ближайшего будущего, на которые эта память откликается». В начале XXI века это, среди прочего, «проблема экологического равновесия» и «глобальный социальный раскол» [Гаспаров 2023: 486]. Кроме того, русская культура и филология должны отвечать на кризис и распад СССР, в котором Гаспаров видит необходимое событие «деколонизации» [Там же: 14]. В своем профессиональном манифесте, статье «Филология и нравственность» (1979, 2001), Гаспаров выводит работу филологии из той же темпоральности исторических разрывов, на которую опирается филологизм Бродского:

> Филология — наука понимания. Слово это древнее, но понятие — новое. В современном значении оно возникает в XVI—XVIII вв. Это время, когда складывалась основа мышления современных гуманитарных наук — историзм. Классическая филология началась тогда, когда человек почувствовал историческую дистанцию между собою и предметом своего интереса — античностью. <...> Эти знания и стала давать наука филология. А за классической филологией последовали романская, германская, славянская; за филологическим подходом к древности и средневековью — филологический подход к культуре самого недавнего времени; и все это оттого, что с убыстряющимся ходом истории мы все больше вынуждены признавать близкое по времени далеким по духу [Там же: 214—215].

Позиция филолога и его аудитории определена меланхолическим опытом все более стремительного разрыва времен, отсчитываемого от вечно завораживающей классической античности. Вместе с тем под «убыстряющимся» — а в его же статье начала 1990-х уже «обычным» — ходом истории имеются в виду катастрофы XX века, и в первую очередь (если иметь в виду вторую область научных интересов Гаспарова) революция 1917 года, разорвавшая культурную преемственность между поэтами Серебряного века и читателями брежневской эпохи и вызвавшая к жизни трагическую необходимость комментария. По словам Ильи Кукулина, «в советскую эпоху комментарий — не всегда, но значимо часто — исходил из неявной оценки тогдашнего советского бытия как неподлинного, а дореволюционного опыта как подлинного» [Комментарий... 2004: 119]. Эта логика могла бы привести к эстетизирующе-меланхолической идеализации империи Романовых, «ностальгии по 1913 году», до сих пор объединяющей многих критиков российской власти с ее адептами. Однако рассуждение Гаспарова разворачивается совсем в ином направлении:

> Каждая культура строит свое настоящее из кирпичей прошлого, каждая эпоха склонна думать, будто прошлое только о том и заботилось, чтобы именно для нее поставлять кирпичи. Постройки такого рода часто разваливаются: старые кирпичи выдерживают не всякое новое применение. Филология состоит на такой стройке чем-то вроде ОТК, проверяющего правильное использование материала. Филология изучает эгоцентризмы чужих культур, и это велит ей не поддаваться своему собственному: думать не о том, как создавались будто бы для нас культу-

> ры прошлого, а о том, как мы сами должны создавать новую культуру [Гаспаров 2023: 217].

Исторический взгляд, направленный за линию катастрофического слома, вновь упирается в *руины*, однако находит среди них путь в будущее. Отвергая антикварно-реставративный взгляд на прошлое («осаживать назад бесконечно — нельзя»), Гаспаров настаивает на том, что «поиски пути вперед стали нашей задачей», и заявляет о близости своей филологической программы — которую он в работе «Бахтин в русской культуре XX века» (1979) связывает с именем Бахтина — революционному пафосу 1920-х годов с их «социальной революцией» и «попыткой прорваться в культуру будущего — “мы наш, мы новый мир построим”» [Там же: 409, 672]. Из этой демократической утопии филология черпает свою нужность: «наука понимания» существует как средство против эгоцентризма и «национального эгоизма» [Там же: 212], неспособности услышать и понять Другого. В статье 2005 года Гаспаров опознает угрозу грядущей катастрофы в дефиците «взаимопонимания и взаимоуважения человеческих обществ и культур», проявляющемся и в ненависти к чужому, и в агрессивной апроприации сходного — и призывает на помощь «гуманитарную науку, вооруженную историзмом» [Там же: 486]. Формулировки Гаспарова указывают в том же направлении, что и рассуждения Эдварда Саида, связывающего работу филологии (и, в частности, «Мимесис» Э. Ауэрбаха) с антиимперским интернационализмом и демократической критикой разрушительно-нарциссического модерного порядка [Said 2003].

Поиском путей к демократической утопии и осознанием ее хрупкости в исторической темпоральности катастроф, сочетанием оптимизма и пессимизма (см.: [Гаспаров 2012: 51]) филолог Гаспарова напоминает историка-антифашиста из прославленного фрагмента тезисов Беньямина:

> У Клее есть картина под названием Angelus Novus. На ней изображен ангел, который выглядит как будто он собирается удалиться от чего-то, во что он пристально вглядывается. Его глаза вытаращены, рот раскрыт, крылья распахнуты. Так должен выглядеть ангел истории. Его лик обращен к прошлому. Где нам видится цепь событий, там он видит одну единственную катастрофу, которая беспрерывно громоздит обломки на обломки и бросает их ему под под ноги. Ангел может и хотел бы остаться, разбудить мертвых и восстановить разрушенное. Но из рая дует ураганный ветер, который поймал его крылья с такой силой, что ангел уже не может их сложить. Этот ураган неудержимо несет его в будущее, к которому он обращен спиной, в то время как гора обломков перед ним растет в небо. Этот ураган и есть то, что мы называем историей [Беньямин 2001].

Историческое познание здесь, как и у Гаспарова, определяется исторической силой катастроф и разрывов. Право-консервативной меланхолии Шпенглера зеркально соответствует у Беньямина левая меланхолия — траур по демократическим утопиям, уничтоженным вечно торжествующими, ведущими к нацизму силами правящих классов [Traverso 2016]. Работа историка состоит в том, чтобы сохранять — то есть интерпретировать — прошлое во имя демократической потенции: «Только тот историк сможет вдохнуть искру надежды в прошлое, который твердо знает, что даже мертвых не оставит в покое враг, если он победит» [Беньямин 2001]. (Так Бродский в «Письмах римскому другу» дает слово историческому рабу-варвару лишь затем, чтобы тот удостоверил

разрушительную мощь имперского времени.) Беньямин противопоставляет свой подход, который он именует историческим материализмом, позитивизму Ранке: «выразить прошлое исторически не означает узнать его “таким, каким оно было в действительности”», поскольку метод «вчувствования» в прошлое (Einfühlung), игнорирующий его релевантность для будущего, есть форма «праздности сердца» (acedia), консервативной меланхолии и политической апатии, укорененной в вечном сочувствии исторического позитивизма победителям [Там же].

Хотя научный пафос Гаспарова прямо наследует позитивизму Ранке, его политическая подкладка оказывается вывернута. Защищая историзм от анахронизма, Гаспаров, подобно Беньямину, противостоит диктату господствующего самодовольного вкуса, фокусируя исторический взгляд на проигравших: «Было сказано, что в картинах Рубенса мы ценим не только его труды, но и труды всех тех бесчисленных художников, которые не вышли в Рубенсы. Помнить об этом — нравственный долг каждого, а филолога — в первую очередь» [Гаспаров 2023: 217]. Или, как говорит Беньямин, «все без исключения культурные сокровища… существуют благодаря не только усилиям великих гениев, создавших их, но и безымянному подневольному труду их современников» [Беньямин 2001]. Известный афоризм Гаспарова из статьи «Критика как самоцель» (1994) — «душевный мир Пушкина для нас такой же чужой, как древнего ассирийца или собаки Каштанки» [Гаспаров 2023: 231] — прочерчивает траекторию филологического понимания от канонизированного классика недавней эпохи к безымянному подданному давно исчезнувшей империи и, наконец, к фигуре абсолютной инаковости: лишенная речи, но наделенная личностью собака столяра Каштанка обитает в узнаваемо-модерных городских пространствах бедности и насилия, которым Чехов и Гаспаров противопоставляют литературное воображение и филологическую герменевтику как нравственный императив действенного сочувствия обделенному Другому. Гаспаровское определение филологии совпадает с его формулой народничества XIX века, сказавшегося и в «Каштанке»: «…человек видит чужое несчастье, примеривает на себя, пытается прочувствовать и обращает свое чувство к ближнему» [Гаспаров 2023: 199].

III

Гаспаров, вместе с такими фигурами, как Ю.М. Лотман и М.О. Чудакова, принадлежал к (пост)диссидентской филологии, исходящей из фундаментально-критического отношения к репрессивно-империалистической государственности. С этой критической установкой в российском литературоведении последних десятилетий конкурировали и другие: эксплицитный националистический ресентимент, заметный за пределами столичных научных центров и кружков, и то, что сам Гаспаров называл «солипсической филологией», которая «замечает те книги, которые хочет, и не замечает тех, каких не хочет» [Там же: 231]. Возобновлению политико-критического потенциала российской филологии и одновременно расширению ее сферы обзора и продуктивному сдвигу точки зрения может способствовать не только возвращение к русской демократически-народнической мысли, но и обращение к не совсем чуждой ей украинской поэтической и филологической традиции. Нижеследующие со-

ображения об этой традиции не претендуют на самостоятельность, но призваны в первом приближении резюмировать в интересах российской дискуссии — с опорой на украинские голоса, услышанные слишком поздно — некоторые базовые моменты украинского антиимперства, продуктивные для деколониальной ревизии российской филологии.

Для утверждения русской *классики* Бродскому, вслед за колониальным жестом пушкинского «Памятника», необходимо упразднить украинскую поэзию и нацию, которой она адресована: «будете вы хрипеть, царапая край матраса, / строчки из Александра, а не брехню Тараса». Близорукость этого пророчества объясняется слепым пятном, стоящим за понятием *брехни*: так отметается не столько просторечный стиль «мужицкого поэта» Шевченко (стихотворение Бродского несравнимо грубей), сколько демократическая модель поэзии и языка. Действительно, Шевченко и опирающаяся на него украинская традиция предлагают радикальную политическую альтернативу культурной парадигме имперского *классицизма*, ассоциирующего поэтический опыт с эстетизацией господства или с таящимся в его тени аристократическим эскапизмом. Эта альтернативная парадигма, заданная поэзией Шевченко и описанная Григорием Грабовичем и Оксаной Забужко под названием «мифа» Украины, не сводится к очередной форме национального эгоизма — Шевченко и его товарищи по украинофильскому Кирилло-Мефодиевскому братству представляли себе федерацию свободных народов — но имеет характер универсалистской революционной утопии [Грабович 1998; Забужко 2009].

Работам Грабовича и Забужко предшествовал манифест украинского диссидента, авторитетного филолога и биографа Шевченко Ивана Дзюбы «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1965) [Дзюба 2005]. Положение Советской Украины осмыслялось здесь в категориях социалистического интернационализма, с одной стороны, и российской имперской истории — с другой. Описывая подавление украинского языка и национального самосознания в УССР, Дзюба с опорой на Маркса и Ленина отказывает позднесоветскому режиму в претензиях на освободительный интернационализм и вменяет ему вместо этого русификаторский партикуляризм, наследующий не революционной традиции, но черносотенному национализму позднеимперской эпохи. Тем самым устойчивые категории дебата об «украинском национализме» полностью инвертируются: российская критика украинского партикуляризма якобы с наднациональных позиций маскирует (пост)имперскую «русификацию», а *украинство*, направленное против имперского господства и солидаризирующееся с иными угнетенными группами — например, в хрестоматийном стихотворении Шевченко «Кавказ» (1845) — оборачивается универсалистским антиимперским проектом.

Дзюба противопоставляет русский имперский национализм взглядам русских писателей и мыслителей XIX века (Тургенева, Герцена, Бакунина и многих других), связанных с радикальной борьбой против имперского режима и оказывавшихся естественными союзниками колонизованных. Среди прочего, Дзюба цитирует выразительную формулировку Герцена о русификации Украины:

> С какой стати украинец, например, променяет свою простодушную речь — ту, на которой он говорил на свободных радах, ту, на которой схоронена в его песнях вся история его, — на язык предательского правительства, постоянно обманывавшего Малороссию, на язык той преступной женщины, которая одной рукой вооружала гайдамаков, другой подписывая указы об укреплении казаков за

> своими наложниками? <…> Пусть язык наш смоет прежде следы подобострастия, рабства, подлых оборотов, вахмистрской и барской наглости — и тогда уже начнет поучать ближних[9].

Это рассуждение о *языке* показательно для той демократической поэтико-филологической утопии, которая осталась маргинальной в российской культуре, но вышла на первый план в украинской традиции и, в частности, у Шевченко. Филологизм свойствен Шевченко не меньше, чем Бродскому, но он совсем иного рода: вместо преемственности по отношению к имперской *классике* он ориентирован — как показывает Забужко — на восстановление и культивирование народного языка и украинского *народа* как его утопического, политически уполномоченного субъекта [Забужко 2009: 119—124]. В предисловии к неосуществленному изданию «Кобзаря» (1847) Шевченко описывает свойственное российским элитам и украинскому панству пренебрежение к украинскому языку как невежество, форму исторической амнезии и апатии, отвечающих ситуации деспотизма. Им противостоит филологическое и этнографическое внимание к речи и культурной памяти украинских «мужиков»:

> …прочитайте ви думи, пісні, послухайте, як вони співають, як вони говорять меж собою шапок не скидаючи, або на дружньому бенкеті як вони згадують старовину і як вони плачуть, неначе справді в турецькій неволі або у польського магнатства кайдани волочать[10].

Интерес романтической филологии к локальной традиции неотделим у родившегося крепостным Шевченко от универсалистской критики институтов угнетения и революционно-республиканского идеала народной свободы: характерная печаль украинской речи объясняется внятной всем обделенным массам (особенно в эпоху «весны народов» 1848 года) жаждой политического освобождения. «Простодушие», которое вменяет украинцам и их языку Герцен — не недоумие, но свойство той исконной демократии и ее мощного, нетронутого деспотическими ухищрениями языка, которые руссоистская политическая теория и следовавшая ей историография обнаруживали в древних традициях любых обществ.

Филология Шевченко охватывает и историю, и политическую географию, и археологию Украины. Исследователи привлекают внимание к отрывку из написанного по-русски сентиментального травелога Шевченко «Прогулка с удовольствием и не без морали» (1855—1858), где исторический взгляд в очередной раз сосредоточивается на *руинах*:

> Что же говорят пытливому потомку эти частые темные могилы на берегах Днепра и грандиозные руины дворцов и замков на берегах Днестра? Они говорят о рабстве и свободе. …моя прекрасная, могучая, вольнолюбивая Украйна туго начиняла своим вольным и вражьим трупом неисчислимые огромные курганы. Она своей славы на поталу не давала, ворога деспота под ноги топтала и свободная, нерастленная умирала. Вот что значат могилы и руины. Не напрасно грустны и унылы ваши песни, задумчивые земляки мои. Их сложила свобода, а пела тяжкая одинокая неволя[11].

---

9 *Герцен А.И.* Собрание сочинений: В 30 т. Т. 15. М.: Изд. АН СССР, 1958. С. 210.

10 *Шевченко Т.Г.* Повне зібрання творів: У 12 т. Т. 5. Київ: Наукова думка, 2003. С. 208.

11 Там само. Т. 4. С. 266.

Оптика повествователя, переходящего — по замечанию Забужко — от отстраненности этнографа и географа к напевной меланхолии украинских дум, подвергает природный ландшафт сложному поэтическому и политико-утопическому означению. *Руины* не только напоминают о бедах прошлого, но и символизируют — для соответствующим образом настроенного взгляда — материально неуловимый, но мощный принцип республиканской свободы и политической добродетели. Эта поэтико-политическая герменевтика руин развернута в классическом стихотворении Шевченко «Чигрине, Чигрине...» (1844), оплакивающем запустение бывшей гетманской столицы:

Чигрине, Чигрине,
Все на світі гине <...>

Розсипаються могили,
Високі могили —
Твоя слава... <...>

Спи, Чигрине, нехай гинуть
У ворога діти,
Спи, гетьмане, поки встане
Правда на сім світі[12].

Меланхолический траур по ушедшему величию оказывается у Шевченко не формулой апатии и конформизма, но наоборот — парадоксальным приемом аффективной мобилизации. Забывший историю Украины читатель мог и не думать про эпоху гетманата при виде Чигирина, но исторический плач Шевченко возвращает республиканскую свободу — и возможность вооруженной освободительный борьбы — в политический горизонт деспотической современности и ее будущего. Именно поэтому логическим финалом стихотворения оказывается пророчество о возвращении на землю социальной правды. Как говорится в другом стихотворении Шевченко о руинах, «Стоїть в селі Суботові...» (1845):

Церков-домовина
Розвалиться... і з-під неї
Встане Україна.
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить,
І помоляться на волі
Невольничі діти!..[13]

Г. Грабович очерчивает пронизывающий весь корпус Шевченко революционный милленаризм и и его политические измерения: отвергая любую государственность и власть как формы деспотизма, Шевченко на основе исторической памяти о казачестве создает поэтическую утопию «радикального антидержавного популізму і навіть анархізму» [Грабович 1998: 144]. В «Книге бытия украинского народа» (1847) — составленном Н.И. (М.І.) Костомаровым манифесте

12 Там само. Т. 1. Київ: Наукова думка, 2001. С. 254—256.

13 *Шевченко Т.Г.* Повне зібрання творів: У 6 т. Т. 1. Київ: Відавніцтво АН УСССР, 1968. С. 307.

Кирилло-Мефодиевского братства — Украина представала узловым актором грядущего освобождения от империй и вселенски-анархистского упразднения власти как таковой: «Встанет Украина из своей могилы и опять воззовет к братьям славянам, и услышат воззвание ея, и восстанет Славянщина, и не останется ни царя, ни царевича, ни князя, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни превосходительства, ни пана, ни боярина, ни крестьянина, ни холопа ни в Великий России, ни в Польше, ни в Украине, ни в Чехии, ни у хорутан, ни у сербов, ни у болгар»[14].

IV

Историческое знание, говорит Беньямин, нужно затем, чтобы «сохранить образ прошлого, который неожиданно является историческому субъекту в момент опасности» и «спасти традицию от конформизма, угрожающего покорить ее» [Беньямин 2001]. В случае современной России, по словам Ильи Будрайтскиса, «деколонизация прошлого — а значит, и настоящего — должна быть связана с пересмотром взгляда на историю народа как на становление государства через бесконечное множество переходов от частей к целому» [Budraitskis 2023]. Российской филологии только предстоит выработать образ прошлого, отличный от имперской мифологии и не спаянный с этосом политической апатии, — беньяминовской acedia, — привычным настолько, что он часто воспринимается как условие научности. Если очертания исторического времени филология находит в литературной традиции, то вместо имперской вечности Пушкина и Бродского нам доступна и активистская целеустремленность русского революционного движения, и народнический утопизм Шевченко, обретающего свою аудиторию в горизонтах национального и социального освобождения:

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров'ю
Волю окропіте.
І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом[15].

Поэтическое бессмертие — или, выражаясь более терминологично, продолжающееся существование (Nachleben) литературной традиции, питательная среда филологии и предмет ее трудов — не укореняются в принимаемом с восторгом или меланхолией осязаемом порядке вещей, но резонируют с неоконченной, продолжающейся политической работой освобождения. Обращаясь с политическим призывом от имени прошлого к филологии как исторической памяти о поэзии, Шевченко вменяет ей беньяминовскую «слабую мессианскую силу». Открывающееся историческому материалисту «прошлое несет с собой тайный знак, указывающий на свое освобождение» — несбывшиеся

14 Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. Київ: Наукова думка, 1990. Т. 1. С. 169.
15 *Шевченко Т.Г.* Повне зібрання творів: Т. 1—12. Т. 1. С. 371.

надежды на свободу, артикулированные поэтическим и политическим воображением и становящиеся ответственностью новых поколений и их историков [Беньямин 2001].

Обращенный к украинской нации, политико-поэтический голос Шевченко не замирает на границах Украины, но предлагает сценарий эмансипаторной исторической памяти и иным сообществам. Единомышленник Герцена Н.П. Огарев писал в предисловии к сборнику неподцензурной русской поэзии:

> Поэзия сделала первый шаг к проявлению областной жизни; Украина проснулась в Шевченке и — лучшее доказательство, как сила обстоятельств влечет к самобытности областей и нераздельности союза, — Шевченко, народный в Малороссии, с восторгом принят как свой в русской литературе и стал для нас родной, — так много было общего в наших страданиях и так самобытность каждого становится необходимым условием общей свободы[16].

Хотя формула «нераздельного союза» с тех пор прочно вошла в репертуар имперского насилия, в словах Огарева можно увидеть не только невольное имперство, но и нечуждый и самому Шевченко поиск утопического «вечного мира», построенного на началах «общей свободы».

Статья Огарева (на которую опирается, например, разработанная Л.Я. Гинзбург теория лирики) может быть понята как продуктивный образец протестной — и эмигрантской — политической филологии. Рассматривая историю литературы в перспективе общественных форм, деспотизма и протеста, Огарев предлагает соответствующий взгляд на художественную форму и ее отношения к аудитории. Отказываясь от эскапистской презумпции сущностной внеположности поэтической формы историческому существованию, Огарев находит основу и функцию поэтического языка в коллективном политическом аффекте:

> И кто же может верить, чтобы живое стремление к общественному благу, *лирическая перестройка общественных отношений* (курсив наш. — *К.О.*) и сопряженные с ними политические ненависти и восторги — были недоступны для художественной формы?[17]

Утопические горизонты протеста встречаются здесь с логикой эстетической трансцендентности, ищущей выхода из унылого порядка вещей. Подобно тому, как сфера поэзии не сводится к частным забавам, солидарность с *самобытностью* Украины и дело *общей свободы* понимаются не столько как вопрос личных убеждений (либеральная приватизация политического заводит в тупик), сколько как горизонты существования и мысли *общества* — горизонтальной и протестной политической формы, сущностно отличной от империи с ее салонами и пропагандистским аппаратом и несущей в себе прообраз свободного *народа*.

В этом зазоре между глухим, подавленным протестом и *общей свободой* как его недостигнутой целью разворачиваются, согласно Огареву, *художественная форма* и *русская литература*, естественным союзником которой становится Шевченко и борющаяся за свою свободу Украина. (Об антивоенном потенциале классической русской литературы и ее перечтений напоминает авторитетная

16 *Огарев Н.П.* Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1956. С. 501.
17 Там же. С. 452.

украинская феминистка Ирина Жеребкина [Zherebkina 2022].) Сопротивляясь консервативному пониманию культуры, прочно фиксирующему фактичность господства и самый ход истории, поэзия — не в последнюю очередь поэзия Шевченко — и филологическая герменевтика Огарева показывают, что даже в ситуации по-видимому безнадежного угнетения утопический горизонт свободы поддается распознанию и активации как динамический, приостановленный или просто скрытый принцип коллективной мысли и действия.

Библиография / References

[Адорно 2018] — *Адорно Т.* Критика культуры и общество / Пер. с нем. В. Котелевской // Артгид. 2018. 8 июня (https://artguide.com/posts/1519 (дата обращения: 19.06.2023)).

(*Adorno T.* Kulturkritik und Gesellschaft // Artgid. 2018. June 8 (https://artguide.com/posts/1519 (accessed: 19.06.2023)). — In Russ.)

[Архангельский 2023] — *Архангельский А.* Назвать зло по имени // Перед лицом катастрофы: Сб. статей / Под ред. Н. Плотникова. Berlin: LIT, 2023.

(*Arkhangel'skiy A.* Nazvat' zlo po imeni // Pered litsom katastrofy: Sb. statey / Ed. by N. Plotnikov. Berlin, 2023.)

[Брейдо 2023] — *Брейдо Е.* Комментарий к стихам Бродского «На независимость Украины» // Новое литературное обозрение. 2023. № 183. С. 223—232.

(*Breydo E.* Kommentariy k stikham Brodskogo "Na nezavisimost' Ukrainy" // Novoe literaturnoe obozrenie. 2023. No. 183. P. 223—232.)

[Беньямин 2001] — *Беньямин В.* Историко-философские тезисы / Пер. с нем. В. Биленкина // Левая Россия. 2001. № 7 (20) (http://www.left.ru/2001/7/benjamin.html (дата обращения: 19.06.2023)).

(*Benjamin W.* Über den Begriff der Geschichte // Levaya Rossiya. 2001. Nr. 7 (20). — In Russ.)

[Будрайтскис 2020] — *Будрайтскис И.* Мир, который построил Хантингтон и в котором живем все мы. Парадоксы консервативного поворота в России. М.: Циолковский, 2020.

(*Budraytskis I.* Mir, kotoryy postroil Khantington i v kotorom zhivem vse my. Paradoksy konservativnogo povorota v Rossii. Moscow, 2020.)

[Гаспаров 1970] — *Гаспаров М.Л.* Поэзия Горация // Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М.: Художественная литература, 1970. С. 5—38.

(*Gasparov M.L.* Poeziya Goratsiya // Goratsiy. Ody. Epody. Satiry. Poslaniya. Moscow, 1969. P. 5—38.)

[Гаспаров 2012] — *Гаспаров М.Л.* Филология как нравственность. Статьи, интервью, заметки / Сост. А.М. Зотовой. М.: Фортуна Эл, 2012.

(*Gasparov M.L.* Filologiya kak nravstvennost'. Stat'i, interv'yu, zametki / Ed. by A.M. Zotova. Moscow, 2012.)

[Гаспаров 2023] — *Гаспаров М.Л.* Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М.: Новое литературное обозрение, 2023.

(*Gasparov M.L.* Sobranie sochineniy: In 6 vols. Vol. 6. Moscow, 2023.)

[Грабович 1998] — *Грабович Г.* Поет як міфотворець. Семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Перекл. з англ. С. Павличко. 2-е вид. Київ: Часопис «Критика», 1998.

(*Grabowicz G.* The Poet as Mythmaker: A Study of Symbolic Meaning in Taras Ševčenko. Kyiv, 1998. — In Ukr.)

[Гулин 2022] — *Гулин И.* О войне, насилии, власти и русской культуре // Syg.ma*. 2022. 19 мая.

(*Gulin I.* On War, Violence, Power, and Russian Culture / Transl. by A. Morse // e-flux. 2022. May 18 (https://www.e-flux.com/notes/469328/on-war-violence-power-and-russian-culture (accessed: 19.06.2023)).)

[Дзюба 2005] — *Дзюба І.М.* Інтернаціоналізм чи русифікація? Київ: Києво-Могилянська академія, 2005.

(*Dziuba I.M.* Internatsionalizm chi rusifikatsiya? Kyiv, 2005.)

[Джеймисон 2014] — *Джеймисон Ф.* Марксизм и интерпретация культуры / Пер.

* Включен Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.

с англ. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014.

(*Jameson F.* Marxism and the Interpretation of Culture. Moscow; Ekaterinburg, 2014. — In Russ.)

[Забужко 2009] — *Забужко О.* Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. 4-е вид. Київ: Факт, 2009.

(*Zabuzhko O.* Shevchenkiv mif Ukraïni. Sproba filosofs'kogo analizu. Kyiv, 2009.)

[Киршбаум 2016] — *Киршбаум Г.* Экфразы Андрея Тарковского и эстетика меланхолии в эпоху застоя // Andrej Tarkovskij Klassiker — Классик — Classic — Classico / Hrsg. von N.P. Franz. Bd. 1—2. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 2016. Bd. 2. S. 378—397.

(*Kirschbaum H.* Ekfrazy Andreya Tarkovskogo i estetika melankholii v epokhu zastoya // Andrej Tarkovskij Klassiker — Klassik — Classic — Classico / Hrsg. von N.P. Franz. Bd. 1—2. Potsdam, 2016. Bd. 2. S. 378—397.)

[Комментарий... 2004] — Комментарий: блеск и нищета жанра в современную эпоху (Стенограмма «круглого стола» в рамках XI Лотмановских чтений. Москва, РГГУ, 20 декабря 2003 г.) // Новое литературное обозрение. 2004. № 66. С. 103—120.

(Kommentariy: blesk i nishcheta zhanra v sovremennuyu epokhu. Stenogramma "kruglogo stola" v ramkakh XI Lotmanovskikh chteniy. Moskva, RGGU, 20 dekabrya 2003 g. // Novoe literaturnoe obozrenie. 2004. No. 66. P. 103—120.)

[Курциус 2020] — *Курциус Э.Р.* Европейская литература и латинское средневековье: В 2 т. / Пер. с нем. Д.С. Колчигина. Т. 1. М.: ИД ЯСК, 2020.

(*Curtius E.R.* Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Moscow, 2020. — In Russ.)

[Лекманов 2023] — *Лекманов О.* «Нам» и «нас» в стихотворении Бродского «На независимость Украины» // Волга. 2023. № 5. https://magazines.gorky.media/volga/2023/5/nam-i-nas-v-stihotvorenii-brodskogo-na-nezavisimost-ukrainy.html (дата обращения: 02.04.2024).

(*Lekmanov O.* "Nam" i "nas" v stikhotvorenii Brodskogo "Na nezavisimost' Ukrainy" // Volga. 2023. No. 5 (https://magazines.gorky.media/volga/2023/5/nam-i-nas-v-stihotvorenii-brodskogo-na-nezavisimost-ukrainy.html (accessed: 02.04.2024)).)

[Магун 2008] — *Магун А.В.* Отрицательная революция: к деконструкции политического субъекта. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2008.

(*Magun A.* Negative Revolution: Modern Political Subject and Its Fate After the Cold War. Saint Petersburg, 2008.)

[Пумпянский 2000] — *Пумпянский Л.В.* Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000.

(*Pumpyanskiy L.V.* Klassicheskaya traditsiya: Sobranie trudov po istorii russkoy literatury. Moscow, 2000.)

[Фанайлова и др. 2023] — *Фанайлова Е., Шубинский В., Немцев М., Завьялов С., Недеогло В., Кузьмин Д.* Анкета «Имперский текст в русской поэзии» // Новое литературное обозрение. 2023. № 183. С. 223—232.

(*Fanaylova E., Shubinskiy V., Nemtsev M., Zav'yalov S., Nedeoglo V., Kuz'min D.* Anketa "Imperskiy tekst v russkoy poezii" // Novoe literaturnoe obozrenie. 2023. No. 183. P. 223—232.)

[Шпенглер 1998] — *Шпенглер О.* Закат Европы: Т. 1—2. М.: Мысль, 1998. Т. 1.

(*Spengler O.* Untergang des Abendlandes: Bde. 1—2. Bd. 1. Moscow, 1998. — In Russ.)

[Budraitskis 2023] — *Budraitskis I.* What Kind of Decolonization Do We Need? // RussiaPost. 2023. February 1 (https://russiapost.info/politics/decolonization (accessed: 01.04.2024)).

[Etkind 2022] — *Etkind A.* Ukraine, Russia, and Genocide of Minor Differences // Journal of Genocide Research. 2022. June 7 (https://doi.org/10.1080/14623528.2022.2082911).

[Lounsbery 2022] — *Lounsbery A.* Introduction to the Forum: How Will Our Scholarship On Nineteenth-Century Russian Culture Change In Response To Russia's War On Ukraine? // Ab Imperio. 2022. No. 2. P. 58—62.

[Ruins... 2010] — Ruins of Modernity / Ed. by J. Hell and A. Schönle. Durham: Duke University Press, 2010.

[Said 2003] — *Said E.* Humanism and Democratic Criticism. New York: Columbia University Press, 2003.

[Schönle 2011] — *Schönle A.* Architecture of Oblivion: Ruins and Historical Consciousness in Modern Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2011.

[Traverso 2016] — *Traverso E.* Left-Wing Melancholia. Marxism, History, and Memory. New York: Colombia University Press, 2016.

[Turoma 2010] — *Turoma S.* Brodsky Abroad: Empire, Tourism, Nostalgia. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2010.

[Zabuzhko 2022] — *Zabuzhko O.* No Guilty People in the World? Reading Russian Literature // The Times Literary Supplement. 2022. 22 April.

[Zherebkina 2022] — *Zherebkina I.* Does Ukraine Need Russian Culture? // e-flux. 2022. July 1 (https://www.e-flux.com/notes/477795/does-ukraine-need-russian-culture-to-win-the-war-against-russia (accessed: 27.06.2023)).

Библиография

Алексей Васильев, Виктория Васильева

Империя, либерализм, национализм:

ПРЕОДОЛЕВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_356

Рэмптон В. Либеральные идеи в царской России /
Пер. с англ. И. Нахмансона.
СПб.: Academic Studies Press; Библиороссика, 2024. — 312 с. — 150 экз.
(Современная западная русистика).

Rabow-Edling S. Liberalism in Pre-Revolutionary Russia: State, Nation, Empire.
L.; N.Y.: Routledge, 2019. — VIII, 138 p. — (Routledge Studies in Modern History; vol. 40).

The Tsar, the Empire, and the Nation: Dilemmas of Nationalization in Russia's Western Borderlands, 1905—1915 / Ed. by D. Staliūnas, Y. Aoshima.
Budapest; N.Y.: Central European University Press, 2021. — VI, 401 p. —
(Historical Studies in Eastern Europe and Eurasia; vol. 5).

Для анализа российской интеллектуальной культуры, как представляется, вполне применимо понятие духовного (или ментального) оснащения (l'outillage mental), предложенное в свое время Люсьеном Февром в качестве инструмента, позволяющего понять способ восприятия мира человеком XVI в. Это «оснащение» включает в себя не только интеллектуальные концепты, но и определенные связанные с ними эмоции. К их числу принадлежат, в частности, интересующие нас здесь явления из истории российской политической традиции: либерализм, империя и нация (национализм). Из этих элементов, и не только в российской традиции, давно уже сложилась определенная конструкция, своеобразная «докса». Выглядит она приблизительно так: либерализм «органически» несовместим с Россией и оттор-

гается российской реальностью[1]; либерализм не имеет ничего общего с национализмом и империей; империя олицетворяет отсталость и архаику и не имеет ничего общего с нациями, которые олицетворяют прогресс и современность; национализм охотно смешивается с империализмом, а оба они вместе — с шовинизмом. Основная трудность, с которой встречается исследователь, пытающийся аналитически распутать этот клубок, заключается в том, что, с одной стороны, каждое из названных понятий (в том числе и в российском интеллектуальном контексте) имеет собственную историю и связанное с нею многообразие определений, а также зачастую отличается большей или меньшей размытостью границ; с другой стороны, за каждым тянется длинный шлейф культурно-политических коннотаций и связанных с ними чувств и эмоций. Однако в последнее время как исследователи-россиеведы, так и специалисты по теории и истории нации и национализма (а также по «новой имперской истории») начали весьма успешно работать в направлении переосмысления и прояснения реального исторического содержания и историко-культурной генеалогии указанной «доксы». Книги, которые будут здесь рассмотрены, репрезентируют определенный этап этого интеллектуального движения.

Отправной точкой в анализе нам послужит российский либерализм. Эта тема в интеллектуальной традиции как нельзя лучше иллюстрирует феномен экзотизации России. Причем прибегают к приему экзотизации как внутренние российские, так и внешние акторы, создающие то позитивные, то негативные образы «загадочной России», к которой якобы неприменимы «западные» категории анализа, поскольку и сами явления западной мысли и политической культуры (либерализм в первую очередь) здесь не приживаются. Этот отказ «умом Россию понимать» создает прекрасную почву для трогательного альянса западных русофилов, умиляющихся неповторимой экзотике «духовности», и внутренних реакционеров-консерваторов, защищающих свои позиции ссылками на «особый путь» России. Во многом это связано с тем, что в мировом россиеведении долгое время доминировали романтически настроенные филологи, сосредоточенные на уникальности языка и литературы, заключающих в себе «загадочную душу» изучаемой страны, и мало склонные к социально-историческим обобщениям и сравнительному анализу.

Серьезный вызов этой модели был брошен в конце 1950-х — 1960-х гг. Варшавской школой истории идей, среди представителей которой для нас наиболее важен Анджей Валицкий. Его посвященная российскому славянофильству книга «В кругу консервативной утопии» была издана в Варшаве в 1964 г.[2] Она стала определенным рубежом в интересующем нас аспекте, поскольку в ней российское славянофильство было полностью лишено ареола какой бы то ни было уникальности и поставлено в один рад с более или менее современными ему проявлениями европейской консервативной мысли, общая парадигма которой была выявлена в конце XIX в. Фердинандом Теннисом, выдвинувшим дихотомию «общность — общество». В 1987 г. вышла (по-английски; польск. пер. — 1995) книга Валицкого о российском либерализме, открывшая интересующую нас здесь перспективу взгляда на это явление[3]. Автор начинает книгу с констатации: «Россия редко ассоциируется с такими поня-

1 Характерно название самой важной в сегодняшней российской историографии биографии П.Н. Милюкова: *Думова Н.Г.* Либерал в России: трагедия несовместимости: исторический портрет П.Н. Милюкова. М.: [Ин-т российской истории РАН], 1993.

2 Рус. пер.: *Валицкий А.* В кругу консервативной утопии: структура и метаморфозы русского славянофильства / Пер. с польск. К. Душенко. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

3 *Валицкий А.* Философия права русского либерализма / Пер. с англ. О.Р. Пазухина и др. М.: Мысль, 2012.

тиями, как либерализм и право», и тут же приводит «ходячий образ русской интеллектуальной традиции как традиции, враждебной либерализму и праву, связанной с негативным отношением к закону — как слева, так и справа»[4]. Либеральная интеллектуальная традиция, по мысли Валицкого, была в России гораздо более развита, чем об этом принято думать. Самое важное и оригинальное ее достижение — разработка философии права. В этом проявилась и определенная специфика российского либерализма, так как в отличие от многих западных версий либерализма ценность права здесь не постулируется как аксиома, а тщательно обосновывается в полемике правыми и левыми версиями «правового нигилизма». Валицкий не спорит с тем, что подозрительное отношение к праву, антиправовые предрассудки действительно были присущи российской культуре. Именно поэтому российские либеральные мыслители и должны были сосредоточиться прежде всего на защите права. Однако, — и в этом польский исследователь не видит никакой «тайны русской души», —

> более близкое изучение традиционных русских антиправовых взглядов <…> приводит к выводу, что не следует преувеличивать их специфически русские черты. Враждебное или по крайней мере глубоко подозрительное отношение к рациональному правопорядку можно в большей или меньшей степени обнаружить во всех отсталых и периферийных обществах, а особенно в тех, где модернизация приняла вид вестернизации и где поэтому современная правозаконность представляется враждебной их самобытной культуре и свойственной только Западу. В дореволюционной России такая тенденция была, вероятно, особенно выразительна. Но справедливо ли приписывать это природной вражде между русским характером и духом законов? Мое отношение к этому скорее скептическое. Более пристальное изучение русской мысли XIX в. показывает скорее, что во многих случаях характерная для нее антиправовая настроенность имеет западное происхождение[5].

Российская интеллигенция сформировалась в ту эпоху, когда «юридическое мировоззрение» XVIII — начала XIX в. с присущими ему понятиями естественного права и общественного договора уже стало казаться анахронизмом и вытеснялось более «актуальными» (по сути антилиберальными) направлениями «исторической школы права» и правового позитивизма. Единственным исключением на этом фоне выглядит, как отмечает Валицкий, Радищев, сформулировавший вполне зрелую форму либерального мировоззрения. В дальнейшем же русская интеллигенция знакомилась прежде всего с западной критикой идеи естественного права и разными версиями «неоромантического антикапитализма», прежде всего немецкой. Именно поэтому специфически российский характер правового нигилизма российской интеллигенции не следует преувеличивать. Борис Чичерин, Владимир Соловьев, Лев Петражицкий, Павел Новгородцев, Богдан Кистяковский, Сергей Гессен — авторы, взгляды которых анализирует Валицкий, — создали, по его мнению, мощную традицию защиты либеральной ценности права, стоявшую на самом высоком мировом интеллектуальном уровне.

Две рассматриваемые ниже монографии, одна — написанная доктором наук, сотрудником кафедры философии Федерального швейцарского технологического института Ванессой Рэмптон, другая — доцентом, старшим научным сотрудником Института российских и евроазиатских исследований Уппсальского университета

---

4 Там же. С. 9. Автор указывает на необходимость преодоления «холодно-военного образа России как страны, естественным образом породившей коммунистический тоталитаризм и органически неспособной к либеральной демократии» (с. 17).

5 Там же. С. 9—10.

(Швеция) Сюзанной Рэбоу-Эдлинг, представляют именно это, обозначенное Валицким, направление изучения российского либерализма. Речь идет о сравнительном анализе российского и западного либерализма, демонстрации его значения для общемирового либерального течения мысли и политической практики, раскрытии до сих пор не привлекавших к себе внимания черт российского либерализма, которые объединяют его с соответствующей западной традицией, а также выявлении его специфических черт.



Ванесса Рэмптон в книге «Либеральные идеи в царской России» (2020, рус. пер. 2024) рассматривает историю российского либерализма «долгого XIX в.» — от Екатерины II до 1917 г. — с кульминацией в 1900—1914 гг., когда либерализм в России оформился как политическое движение. Россия для либерализма оказывается своего рода лакмусовой бумажкой, выявляющей его характерные черты. Прежде всего российский либерализм показывает сложность и неоднородность либеральной доктрины, необходимость каждый раз приспосабливать ее к различным и зачастую, как в случае с Россией, весьма неблагоприятным условиям: «Глубокая продуманность, свойственная учениям российских либеральных мыслителей, и та исключительная политическая ситуация, в которой они, как правило, находились, делают историю российского либерализма идеальным объектом изучения для исследователей, интересующихся конфликтом между либеральными ценностями и свободами и тем, как влияют друг на друга теория и конкретные исторические обстоятельства…» (с. 45—46), — пишет исследовательница. Ее оценка главных достижений российского либерализма в целом совпадает с мнением Валицкого: прежде всего эти достижения находятся в области теории. Рэмптон обращает внимание на своеобразие российского либерализма, выражавшееся, среди прочего, в дилемме поддержки реформ государственной власти или поддержки революции против власти с целью установления правового государства, а также в настороженном отношении к идеям демократии и права широких масс участвовать в политике и, напротив, менее настороженном, чем на Западе, отношении к государственному вмешательству в экономическую и общественную жизнь (Павел Милюков замечал в связи с этим, что российские кадеты — самая левая из аналогичных политических партий Европы).

Однако являются ли все эти черты чем-то специфически российским? Либерализм как философско-политическая доктрина прошел длинную историю, которую начинают обычно с XVII в., называя в числе основоположников Джона Локка, а то и Томаса Гоббса. Апогей развития и влияния либерализма пришелся на Британию XIX в. В XX столетии либерализм подвергся трансформациям, связанным с необходимостью отвечать на разнообразные (прежде всего левые) вызовы, а также с тем, что многие из некогда основополагающих идей и лозунгов либерализма превратились в банальные общие места (например, идея прав человека). Самой ранней формой либерализма вообще был религиозный либерализм — не случайно первой иностранной книгой, которую приказал перевести и издать Петр I, были «Письма о веротерпимости» Локка. В России эта европейская повестка XVII—XVIII вв. была актуальной вплоть до революции 1905 г. Другой важной формой либерализма был либерализм экономический. Поэтому политический либерализм как таковой не был ни самой ранней, ни единственной его формой. «Нет и не было единого канона либеральной мысли», — отмечает выдающийся историк социаль-

ных идей Ежи Шацкий[6]. Фактически интегрирующими все это многообразие идей положениями, позволяющими назвать ту или иную доктрину либеральной, являются программный индивидуализм и идея благотворности невмешательства внешним регулированием в спонтанно возникающий порядок. И эта констатация чрезвычайно важна для понимания специфики российского либерализма, а иногда и самой возможности квалифицировать столь якобы непохожие на западные идеи российских мыслителей как либеральные. Согласна с этим положением и Рэмптон: «…Никогда не существовало какой-то консолидированной и четкой либеральной позиции ни по одному вопросу: ни по объему основных прав и свобод, таких как свобода слова, ни по роли государства в борьбе с социальным неравенством, ни по положению и роли национальных меньшинств в либеральном обществе, ни даже по революции. Либеральное решение проблемы соблюдения равновесия между различными видами свободы всегда зависит от условий места и времени» (с. 245).

Видеть в присущих порой российским либералам политическом радикализме и склонности к революционности некое отклонение от «канона либеральной мысли» едва ли оправданно. Разве не были революционерами американские и французские сторонники либеральных идей XVIII в.? Да и позднее, у западных либералов XIX в., отношение к революции не было однозначно негативным. Они признавали ее закономерный и неизбежный характер, осуждая главным образом ее крайности и жестокости. «Либералы, — писал Стенли Меллон об историках эпохи Реставрации, — вынуждены искать способ защиты Революции, одновременно отвергая упреки в том, что они революционеры… Они изобретают метод, и этим методом является история. История должна была стать территорией, на которой либералы могли бы инсценировать и оживлять революционные битвы, защищать свою позицию, оставаясь неприкосновенными под защитой безликой музы»[7].

Рэмптон отмечает также настороженное отношение российских либералов к идеям равенства, демократии, требованиям права участия в политической жизни для широких народных масс (с. 37). Это обычно объясняется спецификой России с ее огромным неграмотным крестьянским населением и описывается как слабость позиции российских либералов. Но так ли это специфично именно для российских либералов? Учитывающие опыт революционного террора во Франции западные либералы XIX в. выступали не только против тирании государства (подобно своим предшественникам-просветителям, обличавшим королевский деспотизм), но и против «тирании толпы». Как нельзя более отчетливо Алексис де Токвиль показал, что требования свободы и равенства отнюдь не согласуются друг с другом естественным и органическим образом. Демократическое равенство легко может стать угрозой свободе ничуть не меньшей, чем персональный деспотизм тирана. Собственно, именно уникальный опыт гармонизации свободы и равенства заинтересовал французского либерала в США, о чем в конечном итоге и была написана его «Демократия в Америке». Такой безусловный классик либеральной мысли, как Джон Стюарт Милль, в эссе «О свободе» отмечал: «…Народная власть может иметь побуждение угнетать часть народа, и поэтому против ее злоупотреблений также необходимы меры, как и против злоупотреблений всякой другой власти»[8]. Поэтому можно вполне уверенно утверждать, что в пресловутом «страхе» российских

6 *Шацкий Е.* История социальной мысли: [В 2 т.] / Пер. с польск. под общ. ред. А. Васильева. М.: Новое литературное обозрение, 2018. Т. 1. С. 195.

7 *Mellon S.* The Political Uses of History: A Study of Historians in the French Restoration. Stanford, CA: Stanford University Press, 1958. P. 1. (Цит. по: *Шацкий Е.* Указ. соч. С. 239.)

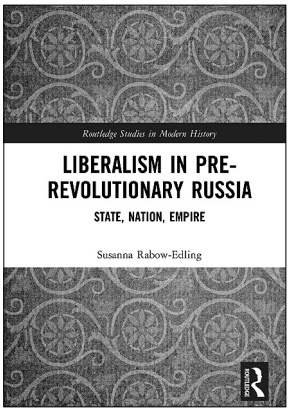
8 *Милль Дж.С.* О свободе // О свободе: Антология западноевропейской классической либеральной мысли / Отв. ред. М.А. Абрамов. М.: Наука, 1995. С. 290—291.

либералов перед «народными массами» было не так уж много чего-то уникально российского.

Что же касается более благосклонного отношения российских либералов к государственному вмешательству, то сама Рэмптон замечает: «…Как правило, российские мыслители с меньшей тревогой воспринимали вмешательство государства в общественную, экономическую и культурную жизнь граждан, чем их западные единомышленники, что на самом деле было вполне в духе происходившей в течение всего XIX в. переоценки либералами роли государства — от вызывающего опасения репрессивного механизма до органа, который ради общего блага регулирует различные аспекты жизни сограждан» (там же).

В монографии Рэмптон дана более широкая панорама российского либерализма, чем в книге Валицкого. В зависимости от лежащих в основании либеральной доктрины философских оснований исследовательница выделяет два вида либерализма: позитивистский, представленный прежде всего Милюковым, и неоидеалистический: «Происходившее после 1890 г. во всей Европе переосмысление фундаментальных позитивистских принципов в России ознаменовалось наступлением Серебряного века и вызвало к жизни споры между либерально настроенными мыслителями о том, какими должны быть философские предпосылки, лежащие в основе учений о личности, свободе и истории. Так, в поисках новых форм для осознания происходивших в России процессов социально-культурной трансформации возникло новое течение — либеральный неоидеализм» (с. 51). Валицкого интересует фактически только последняя, неоидеалистическая версия — философия права, которую он обоснованно считает высшим достижением российской либеральной мысли.

Книга *Сюзанны Рэбоу-Эдлинг* «Либерализм в дореволюционной России» продолжает исследовательскую линию, связанную с помещением российского либерализма в общеевропейский контекст, но делает это иначе, тем самым расширяя перспективу видения российской либеральной традиции мысли. На этот раз речь идет о том, чтобы рассмотреть соотношение российского либерализма с идеями империи и нации.



Известно, что в европейской истории либерализм, империализм и национализм были достаточно тесно связаны друг с другом и составляли во многом один идейный комплекс. Вместе с тем на российском материале эти связи мало исследованы. Более того, на уровне общепринятого мнения в российском политическом сознании устоялось представление о том, что либерализм является чем-то абсолютно несовместимым с национализмом и идеей империи. Объяснение этого явления, вероятно, могло бы стать предметом обстоятельного исследования. Здесь мы лишь позволим себе высказать некоторые гипотезы. Сложившееся в российском либерализме отношение к национализму, очевидно, было связано с тем, что в период своего наивысшего теоретического подъема и организационно-партийного оформления, то есть в конце XIX — начале XX в., российские либералы имели дело с антилиберальными и антидемократическими формами «интегрального национализма», распространившимися тогда по всей Европе. Это идейно-политическое явление сильно отличалось от либерального национализма конца XVIII — середины XIX в. (с пиком во время революций 1848 г.).

Идея нации, родившаяся в период Американской и Французской революций, была либеральной и совершенно неотделимой от идей свободы, естественного

права и народного суверенитета. Эта связь хорошо выражена в лозунге польского Ноябрьского восстания (1830—1831): «За нашу и вашу свободу!». Само конструирование нации как сообщества граждан, наделенных равными правами, было невозможно вне либерального комплекса идей. Отвергнув старые способы маркирования границ сообществ на основании сословности, подданства и вероисповедания, либерализм неизбежно оказывался перед проблемой поиска критерия определения границ «своего» политического сообщества, идентификации наделенными равными правами и свободами «своих». Именно принцип гражданского национализма и позволял решить эту проблему.

Однако во второй половине XIX в. (особенно к концу столетия) набирал силу «интегральный национализм», основанный на антилиберальных принципах коллективизма, вождизма и социал-дарвинизма. Нация представлялась организмом, участвующим в беспощадной борьбе за существование с другими подобными организмами. Выживает сильнейший, поэтому необходимы абсолютное сплочение, подчинение вождю, пренебрежение индивидуальными правами и свободами во имя единства и боеспособности народа, нравственный релятивизм. В России проявлением этого общеевропейского тренда[9] были черносотенцы и подобные им праворадикальные группы. Нет ничего удивительного в том, что оформлявшийся во враждебном противостоянии с ними российский либерализм усвоил идею своей коренной несовместимости с подобным антиевропейским, антимодерным этническим национализмом. Это, однако, не мешало российским либералам (как и их западным единомышленникам) вырабатывать собственные проекты и модели либерального национализма.

Империализм на Западе также вполне органично сочетался с империализмом и колониализмом. Собственно, «точкой сборки» здесь выступала эволюционистская доктрина, господствовавшая в науке и, шире, мировоззрении Европы второй половины XIX в. Идея о необходимости помочь менее развитым народам в их движении по пути прогресса, просвещения и свободы делала для либерала вполне приемлемой и даже неизбежной поддержку имперского господства. Так, например, просвещенная либеральная имперская бюрократия Александра II смотрела на Январское восстание (1863—1864) в Царстве Польском как на реакционное движение средневековых сословий шляхты и католического духовенства против модернизации и прогресса. Что касается восприятия соотношения либерализма и империи на российской почве, то здесь, вероятно, сыграло роль то обстоятельство, что именно кадеты были наиболее яркой парламентской оппозицией накануне свержения монархии, а высшая точка политического влияния российских либералов пришлась на период крушения Российской империи — от февраля до октября 1917 г. Поэтому, несмотря на достаточно умеренную позицию кадетов («оппозиция Его Величества, а не Его Величеству»), за российскими либералами закрепился имидж врагов и разрушителей империи.

Тем не менее это не отменяет того факта, что феномен либерализма, в том числе и российского, не может быть до конца понят вне учета его диалога и пересечений с идеями нации и империи. Но на российском материале, как справедливо отмечает Рэбоу-Эдлинг, эта проблематика практически не разработана. Западные исследо-

9 Тенденция «интегрального национализма» вообще была сильнее проявлена в Центрально-Восточной и Восточной Европе. Поэтому до сих пор как в русском, так и в других языках региона слово «национализм» имеет сильную эмоционально-негативную коннотацию и практически смешивается с понятием «шовинизм». В английском же и французском языках это скорее нейтральный термин, означающий специфическую форму массовой политической идентичности, характерную для эпохи модерна.

ватели российского либерализма, по ее наблюдению, концентрировались прежде всего на его слабости, вторичности, консерватизме, религиозно-умозрительном характере. На либеральный национализм в Russian studies обращали мало внимания, сосредоточиваясь на крайних правых формах антилиберального национализма. Это было связано с тем, что на Россию долгое время смотрели в перспективе концепции Ханса Кона о двух типах национализма, «западном» (прогрессивном, либеральном, инклюзивном) и «восточном» (реакционном, консервативном, эксклюзивном), и концепции Лии Гринфельд о либертарианском (индивидуалистическом) и авторитарном (коллективистском) типах национализма[10]. Элиты незападных обществ вынуждены были соединять в своей деятельности две конфликтующие между собой повестки — модернизации (вестернизации) и формирования культурной аутентичности. По мнению Гринфельд, незападный национализм был реакцией на ощущение отсталости, в нем оригинальная либеральная модель западного национализма искажалась, принимая антизападные, антимодерные формы. Российский тип национализма считался в этой оптике «восточным», ресентиментным по отношению к Западу и антилиберальным по своей природе. Оказывалось, что в России, в отличие от Запада, либерал не может быть националистом, а подобные проявления в российской либеральной мысли должны были свидетельствовать о непоследовательном, консервативном характере российского либерализма.

Однако со временем эта концепция, называемая националистической дихотомией, стала подвергаться критике. Оппоненты отмечали, что «чистый» гражданский национализм невозможен, что национализм имеет «восточные» этнокультурные черты и на Западе. В конце концов, «Action française» и идеи Шарля Морраса в конце XIX в. родились не в Москве и не в Петербурге. Просто в россиеведении эта дихотомия дольше сохраняла свое влияние и дольше не ставилась под сомнение. Она «удачно» экзотизировала Россию, отделяла ее от Запада, хорошо коррелировала с присущими западной русистике идеями об «особом» российском пути, «загадочной душе» и, в конце концов, была удобна как для «русофилов», так и для «русофобов».

Книга Рэбоу-Эдлинг посвящена взаимодействию российского либерализма с национализмом и империализмом в период с 1825 по 1917 г. Это исследование не российской либеральной мысли как таковой, а российских форм либерального национализма и либерального империализма. Автор видит свою задачу в том, чтобы поставить под сомнение идеи о «российской исключительности» и «врожденном антилиберальном характере российского общества». По ее мнению, в России была своя модель либерализма, связанная с европейской и так же, как и последняя, интегрировавшая в себя идеи национализма и империализма. Лишь осознав взаимосвязь либерализма, национализма и империализма как на Западе, так и на Востоке, мы сможем понять, что́ российские либералы думали о нации и империи.

Рэбоу-Эдлинг выделяет четыре фазы в истории российского либерального национализма: декабристскую, «западническую» (1830—1840-е гг.), раннелиберальную (1850—1860-е гг.) и кадетскую (начало XX в.). Наиболее ясно идея российского либерального национализма была сформулирована, по мнению исследовательницы, декабристами. Оба их конституционных проекта, а именно конституции Никиты Муравьева и Павла Пестеля, отражали западную по происхождению идею гражданской нации. Отличались они только степенью ассимиляции членов единого гражданского национального сообщества.

10 См.: *Kohn H.* Nationalism, Its Meaning and History / Malabar, FL: Krieger, 1965. P. 16—38; *Гринфельд Л.* Национализм: пять путей к современности / Пер. с англ. Т.И. Гринцольц, М.Р. Вирозуба. М.: ПЕР СЭ, 2012. С. 34—39.

И хотя в 1830-е гг. дискуссии западников и славянофилов приняли более абстрактно-философский характер, но все же это было первое столкновение идеи культурной аутентичности и модернизации. Западники продемонстрировали при этом возможность отличного от антизападного и антимодерного этнического национализма ответа на проблему имитативной модернизации. Они считали, что Россия должна быть частью Европы и идти западным путем, но не имитировать Запад. Модерная, прогрессивная, европейская российская культура как важная часть общеевропейской — вот ответ западников на дилемму модернизации и аутентичности. Россия, как и все другие европейские страны, должна создать свою национальную европейскую культуру, европейский характер которой не будет означать подражания кому бы то ни было, так же как не предполагают подражания проекты французской или британской национальных культур. Национальная же культура для своего существования, очевидно, нуждалась в нации, которая развивалась бы органично и самобытно на основе западного просвещения. Идея единой национальной культуры была особенно близка именно либеральному крылу западников (в отличие от радикального).

После Крымской войны либерализм стал рассматриваться российскими либералами прежде всего как средство укрепления государства и защиты национальных интересов. Либеральные реформы, отмена крепостного права должны были создать современную бессословную гражданскую нацию, существование которой было предпосылкой модернизации страны. Российская гражданская нация должна была возникнуть внутри империи и модернизировать ее.

Что же касается темы империи, то она, по мнению Рэбоу-Эдлинг, заняла важное место в российской либеральной мысли в пореформенное время. Петр Струве и Павел Милюков представляли две модели российского либерального империализма. Концепция Струве предполагала ассимиляцию нерусского населения, в то время как Милюков исходил из необходимости защиты меньшинств и федерализации. Струве был более оптимистичен в отношении прогрессивного потенциала империи, считал имперскую мощь необходимым условием выживания в современном мире в сочетании с либеральным нациестроительством внутри страны. Струве, таким образом, в отличие от более ранних либералов (вроде Чичерина), добавлял к либерализму имперское измерение. Либерализм — основа империи. Необходимо освобождение народа и культуры, свободное и добровольное участие народа в имперском проекте Великой России, основанной на русской культурной традиции. Самые прогрессивные современные государства, по его мысли, являются либеральными и открыто империалистическими одновременно. Такой модели, по мысли Струве, должна следовать и Россия. Естественный процесс национальной интеграции превратит Российскую империю в национальное государство с единой нацией.

Милюков же, в отличие от Струве, считал, что сохранить единство империи можно только признавая ее внутреннее многообразие и идя на встречу требованиям нерусских меньшинств. Россия Милюкова должна была двигаться по пути Австро-Венгрии — к федерализму. Во время Первой мировой войны и после февраля 1917 г. позиция кадетов становится более консервативной и развивается в направлении идеи «единой и неделимой» империи с польской и финской автономиями. Царизм критиковали уже скорее за слабость и неспособность удержать империю и великодержавные позиции России. Кадеты встали в это время на позиции «государственности» и «надклассовости», не хотели идти навстречу социальным требованиям. Таким образом, им не удалось предложить российскому обществу основанный на социальных реформах инклюзивный проект гражданской нации, привлекательный для рабочих, крестьян и национальных меньшинств. Именно поэтому российский либерализм был вытеснен (а точнее — сметен) с по-

литической сцены левым проектом, предложившим непривилегированным группам модель социальной инклюзивной общности.

Все это подводит нас к вопросу о соотношении нации и империи. В последнее время происходит активное переосмысление исторической природы их взаимосвязи. Возникла «новая имперская история», которая уже не исходит из традиционного понимания нации как следующего этапа исторического прогресса, следующим за имперским этапом. Империя уже не выглядит как однозначно домодерное, архаичное политическое образование, на смену которому приходит современная прогрессивная нация. Происходит отказ от устоявшейся как в марксистской, так и в либеральной историографии «парадигмы тюрьмы народов» (Ф. Тьер), в соответствии с которой нации вызревают в рамках империи и вырываются на свободу из-под ее гнета в ходе прогрессивной освободительной борьбы. То, что говорилось выше о взаимоотношениях национализма и империализма во взглядах российских либералов, хорошо иллюстрирует ключевой тезис «новой имперской истории», которая констатирует

> невозможность локализовать историческую точку перехода из мира империй в мир наций, а равно и некорректность деления исторического опыта на специфически имперский и национальный. Тем самым появляется возможность осмыслить империю и нацию не как воплощенные в реальности политические и социальные явления, а как категории анализа, которые позволяют описывать отличные векторы исторического процесса и диспозиции исторических сил. Если один вектор связан с производством, воспроизводством и инструментализацией многообразия, то другой — с гомогенизацией и инструментализацией культурной, социальной и политической однородности[11].

Этапным явлением на пути научного переосмысления взаимосвязей имперского и национального стал выход в 2015 г. коллективного труда «Национализируя империю» под редакцией А. Миллера и С. Бергера[12].

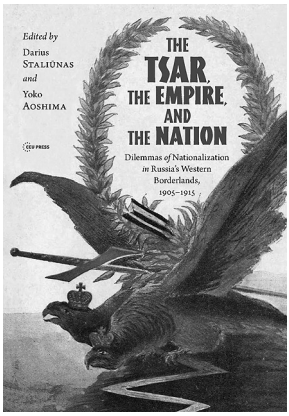
Практическим применением к конкретным региону и историческому периоду указанного подхода «новой имперской истории» является последнее из рассматриваемых здесь изданий — коллективная монография «Царь, империя и нация: дилеммы национализации российских западных окраин 1905—1915 гг.» под редакцией Дариуса Сталюнаса и Йоко Аошима[13]. В книге рассматриваются процессы в двенадцати западных губерниях Российской империи в последние десятилетия существования царизма. Именно там и тогда империя впервые встретилась с вызовами современного национализма. Общий вывод из представленных в книге кейсов заключается в слабости имперских структур, их неспособности дать адекватный ответ на вызовы национализма.

---

11 *Герасимов И., Могильнер М., Семенов А.* В поисках ясности // Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма / Ред.-сост. И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов. М.: Новое изд-во, 2010. С. 11—12.

12 Nationalizing Empires / Ed. by A. Miller, S. Berger. Budapest; N.Y.: Central European University Press, 2015 (рец.: *Васильев А.* Национализация империй: уходя от «вестфальской ортодоксии» (Рец. на кн.: Nationalizing Empires. Budapest; N.Y., 2015) // Новое литературное обозрение. 2017. № 144. С. 509—518). Конкретным приложением этого подхода к Российской империи можно рассматривать кн.: *Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

13 Это издание можно рассматривать как своего рода продолжение кн.: Западные окраины Российской империи / Под ред. М. Долбилова и А. Миллера. М.: Новое литературное обозрение, 2006.



Том состоит из четырех разделов, каждый из которых касается определенного аспекта соотношения имперского и национального в жизни западных регионов Российской империи начала XX в. Первый раздел посвящен трансформациям имперской национальной политики и воздействию националистической идеологии на бюрократическое мышление и управленческие практики. Авторы рассматривают конкурирующие политические стратегии и влияние либерализации режима на возможности эффективного управления. Они показывают, как имперская бюрократия пыталась проводить политику поддержки восточнославянского населения и дискриминации «инородцев», одновременно идя навстречу требованиям нерусского населения в культурно-образовательной сфере с целью добиться от него лояльности империи. Та или другая тенденция могла ситуативно брать верх в тот или иной момент, однако окончательного доминирования не достигала ни та, ни другая, а имперская политика в целом утрачивала последовательность и предсказуемость.

Исследователь из Школы исторических наук НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) *Антон Котенко* сосредоточивается на взаимоотношениях правительства с русским и украинским национальными движениями в юго-западных губерниях. Малороссийское (украинское) население рассматривалось империей как часть «триединого русского народа» наряду с великорусским и западнорусским (белорусским) населением. Однако революция 1905 г. легализовала публикации на украинском языке, ослабила натиск властей на украинскую культуру. Часть чиновников склонялась к тому, чтобы между политикой гомогенизации населения и обеспечением стабильности выбирать последнее. Конкуренция разных форм видения национальной проблемы в империи, а также важные политические изменения после революции 1905 г. привели, по мнению автора, к тому, что в последние годы царского режима последовательная ассимиляционная политика уже не проводилась: это была, по словам Котенко, «непоследовательная национализирующаяся империя».

Научный сотрудник Института истории Литвы и преподаватель Вильнюсского университета *Дариус Сталюнас* также обращается к проблеме непоследовательности имперской национальной политики в Северо-Западном крае, отмечая сосуществование двух конкурирующих линий, одна из которых предлагала удовлетворить определенные культурные требования нерусского населения с целью обеспечить его лояльность, а другая требовала продолжать «жесткий курс», взятый после Январского восстания, стараться ассимилировать восточнославянское население в рамках проекта «единого русского народа», а также сегрегировать и дискриминировать еврейское, польское (и католическое вообще) население. Автор показывает, что даже сами представители царской администрации отдавали себе отчет в неэффективности обеих стратегий в долгосрочной перспективе.

Автор третьей статьи, профессор истории Центральной и Восточной Европы Ольденбургского университета *Мальте Рольф*[14], рассматривает дилеммы имперской политики в Царстве Польском. Развивавшееся в регионе русское националистическое движение при поддержке определенной части элиты требовало от царской бюрократии продвижения проекта «русского дела» в Царстве Польском.

14 На русском языке опубликована монография автора: *Рольф М.* Польские земли под властью Петербурга: от Венского конгресса до Первой мировой / Пер. с нем. К. Левинсона. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

Однако варшавский генерал-губернатор Георгий Скалон не был готов в полной мере проводить такую политику. Он оставался сторонником сохранения порядка в западной части империи на основании скорее сословной логики, чем национальной. Требования радикальных русских националистов, с его точки зрения, могли подорвать основы порядка и поэтому не могли быть в полной мере поддержаны имперской администрацией. Это приводило к «двойной изоляции» имперской администрации Царства Польского. Она оказывалась чужой и враждебной как для местного нерусского населения (прежде всего поляков и евреев), так и для русских националистов. Царская администрация в регионе не имела стратегического видения способов управления полиэтничными окраинами и была вынуждена принимать разнонаправленные и при этом тупиковые ситуативные решения.

Второй раздел посвящен религиозной проблематике. В центре внимания — статус религиозных сообществ в регионе после революции 1905 г. Научный сотрудник отдела истории XIX в. Института истории Литвы *Вильма Жалкаускайте* рассматривает влияние Закона о веротерпимости 1905 г., позволившего переходить из православия в другие конфессии, на ситуацию в Северо-Западном крае. Здесь большинство «упорствовавших», сопротивлявшихся насильственному обращению в православие в 1860-х гг. и стремившихся вернуться в католицизм после принятия Закона о веротерпимости, были белорусскими римскими католиками. Автор отмечает, что противостояние католического духовенства и верующих, нерусского населения и национальных движений нерусских народов, с одной стороны, и православных общин, духовенства и имперской администрации — с другой, имело долгую предысторию в регионе, а некоторое обострение религиозной политики властей около 1908 г. не способствовало смягчению ситуации.

Преподаватель Токийского университета международных исследований *Чихо Фукушима* рассматривает воздействие Закона о веротерпимости, на процессы образования наций. Анализируя эти процессы в Хелмско-Подляшском регионе, автор указывает, что разрешение покидать православие привело к массовому переходу в римский католицизм некогда насильственно обращенных в православие униатов, которые стали при этом хорошо интегрированными членами польского сообщества. Те же, кто остался верен православию, стали русскими.

Третий раздел посвящен связанным с революцией 1905 г. трансформациям в области образования. Доцент центра славяно-евроазиатских исследований Университета Хоккайдо *Йоко Аошима* подчеркивает в своей статье, что после революции 1905 г. власти Российской империи обсуждали образовательную политику скорее в общегосударственном масштабе, чем на региональном уровне. При этом место разных регионов на российской ментальной карте было разным. Это приводило к тому, что, как и до революции, отсутствовало единообразие в области допущения родных языков народов империи в образовательную систему. Объектом рассмотрения автора являются Балтийские провинции и Царство Польское. Он показывает, что дискуссии об использовании нерусских языков в образовании носили здесь преимущественно региональный характер, хотя центральное правительство в результате революции 1905 г. и допустило на общегосударственном уровне более широкое использование нерусских языков в школьной практике при сохранении общего доминирования русского языка и соблюдении «жизненных интересов государства». Все эти дискуссии в центре вызывали все возрастающие требования со стороны национальных сообществ. Губернаторы, следуя инструкциям из центра, все чаще удовлетворяли их требования. Это, в свою очередь, все больше беспокоило правительство, пытавшееся одновременно сохранить языковую интегральность Империи. В итоге управление в этой области хаотизировалось.

Кимитака Матсузато, профессор Школы права и политики Токийского университета, исследует проблемы введения всеобщего образования на Правобережной Украине после 1905 г. Правительство стремилось создать как можно более широкую сеть начальных государственных и земских школ, обеспечив детям как можно более широкий доступ к начальному образованию. Политической целью реформы было ограничение числа приходских школ, под эгидой которых разрасталась система подпольного польского образования. Однако нехватка средств заставляла правительство обращаться к местным сообществам, а те, в свою очередь, предпочитали финансировать не начальные школы, а учебные заведения более высокого уровня.

Старший научный сотрудник Института литовской культуры *Йолита Мулевичиуте* исследует механизмы производства имперской лояльности в Северо-Западном крае при помощи организации массового туризма. Политический аспект этих педагогических практик стал, по ее мнению, особенно очевиден в организации школьных экскурсий, которые были основной формой групповых экскурсий в северо-западных губерниях. Аспект политической пропаганды становился все более очевидным после 1910 г., когда на этот счет были изданы официальные директивы. Целью этих экскурсий было воспитание патриотизма: новое поколение должно было учиться воспринимать свой край в общеимперском контексте. Власти стремились интегрировать, прежде всего ментально, население Северо-Западного края (то есть бывшего Великого Княжества Литовского) в общеимперское пространство. Однако интеграция этих территорий в ментальную карту России происходила медленно, и это туристическое направление в общероссийском контексте оставалось маргинальным. Анализ происхождения практик массового туризма позволяет проследить изменение стратегий интеграции империи и то, как в этой сфере властные практики переплетались с культурными механизмами, направленными на моделирование коллективного социального опыта подданных империи. Остается, однако, открытым вопрос о том, как в реальности эти туристические практики влияли на массовое сознание; есть основания полагать, что подчас эффект был обратным искомой интеграции местных сообществ в общеимперский контекст.

Ольга Мастяница, научный сотрудник Института истории Литвы, рассматривает проблему формирования имперской лояльности в образовательной системе Северо-Западного края в период с 1905 по 1915 г. Она отмечает, что и после революции 1905 г. ни центральное правительство, ни местные органы образования не искали специфических методов обеспечения лояльности империи, направленных именно на молодежь северо-западных губерний. Такие школьные предметы, как история и география, преподавались по тем же методикам, что и во внутренних провинциях Российской империи. Преподавание истории Северо-Западного края и после 1905 г. в основном опиралось на концепцию истории России, разработанную в 1830-х гг. Николаем Устряловым: согласно ей, Великое княжество Литовское было таким же русским в этническом и конфессиональном отношениях государством, как и Московское княжество. Попытки некоторых учителей уделять больше внимания истории и географии Северо-Западного края были редкостью, более того, любое желание углубить знания об историческом прошлом и природе своего региона могло предлагаться ученикам только как этап познания «большой Родины». В принципе любое акцентирование внимания на региональном измерении, даже если речь шла об особом внимании к российской истории региона, не приветствовалось и считалось потенциально чреватым сепаратизмом.

Авторы четвертого раздела рассматривают общие черты и вариативные модели взаимоотношений царского правительства с русским правым национализмом на западных окраинах Российской империи. Исследователь из Института истории Литвы *Витаутас Петронис* отмечает, что в Северо-Западном крае правые орга-

низации различной ориентации — как умеренные националисты, так и крайние (радикалы и монархисты) — возникли в начале XX в. Первые были более влиятельны в так называемых литовских провинциях, вторые — в белорусских землях. Однако ни у кого из них не было определенной идеологии или стратегии, которые интегрировали бы нерусские национализмы в общие рамки империи. Имперское правительство поддерживало все эти организации в период с 1905 по 1907 г., а затем скорее использовало ситуативно в качестве политического инструмента. По мнению автора, после 1910 г. государственная их поддержка ослабла. Начиная с 1908 г. имперская национальная политика на западной периферии становилась все более дискриминационной по отношению к нерусским. В этом смысле имперское правительство как бы шло навстречу пожеланиям крайне правых, однако этот сдвиг не произошел синхронно во всех «нерусских» периферии империи.

Профессор эстонской и всеобщей истории Таллинского университета и вице-президент Балтийской исторической комиссии *Карстен Брюггеман* отмечает в своей статье своеобразие балтийских провинций по сравнению с северо-западными губерниями. Здесь был очень маленький процент русского населения, поэтому и требования русских националистов оказывались более радикальными. Они, в частности, предлагали организацию переселения русских крестьян в этот регион с одновременным стимулированием «добровольного» выезда эстонцев и латышей. Для царского правительства эти планы выглядели утопическими и опасными с точки зрения возможной дестабилизации ситуации в регионе, поэтому правые русские националисты и не получили здесь правительственной поддержки.

Наконец, в статье *Владимира Левина*, директора Центра еврейского искусства при Еврейском университете в Иерусалиме, ставится вопрос о том, почему в Российской империи не появилось правоконсервативных еврейских организаций. Автор отмечает, что между правительством и правыми русскими националистами не было существенных разногласий по «еврейскому вопросу»: ни одна из сторон в принципе не планировала давать евреям равные со всеми остальными подданными права. В существовавших как у имперской бюрократии, так и у правых националистов представлениях о евреях можно видеть определенную динамику. Если во время революции 1905 г. евреи занимали первое место в «иерархии врагов» империи, то впоследствии, по мере приближения к Первой мировой войне, их место в этой иерархии заняли немцы. Равные права евреи получили только после Февральской революции. Однако к ним продолжали относиться как к «гражданам второго сорта», что и сделало невозможным создание правоконсервативных еврейских организаций. Отдельные консервативные евреи, евреи-лоялисты, пытавшиеся объединиться в правые еврейские организации и сотрудничать с русскими правыми, конечно, были, однако, как показывает автор, успеха не имели.

Подводя итоги, можно констатировать, что к настоящему времени сложилась уже весьма зрелая и устойчивая традиция в мировой историографии, заключающаяся в переосмыслении и деэкзотизации российского опыта либерализма и его связей с идеями нации и империи, а также соотношения имперского и национального в истории империй вообще и в истории Российской империи в частности. Предпринятый здесь анализ позволяет заключить, что основные тенденции этого переосмысления состоят, во-первых, в признании общности российской и западной версий либерализма, во-вторых, в выявлении сущностных взаимозависимостей между либерализмом, либеральным национализмом и империализмом, характерных как для западной, так и для российской политической культуры, и, наконец, в осмыслении «национальных» последствий имперской политики, наблюдавшихся опять же отнюдь не только в поздней Российской империи.

А. И. Рейтблат

Свет и тени российского анархизма

(ОБЗОР КНИГ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ)

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_370

Буренина-Петрова О.Д. Анархизм и искусство авангарда.
СПб.: Петрополис, 2021. — 295 с. — 500 экз.

Кривенький В.В. Анархистское движение в России в первой четверти XX века: теория, организация, практика.
М.: РОССПЭН, 2018. — 430 с. — 700 экз.

Рублев Д.И. Российский анархизм в XX веке.
М.: Родина, 2019. — 703 с. — 500 экз.

Рябов П.В. Краткий очерк истории русского анархизма: от Феодосия Косого до Алексея Борового.
М.: Common place, 2020. — 383 с. — 500 экз.

Чекин С.Н. Воспоминания анархиста-старобуянца / Вступ. статья, сост., подгот. текста, коммент. Л.С. Чекина.
М.: Новое литературное обозрение, 2024. — 480 с. — 500 экз.

Одним из антиимперских движений в России был анархизм. Собственно говоря, он был направлен не против имперской власти, а против любой государственной власти. Но поскольку в России власть была имперская, то анархисты боролись с ней. В СССР анархистов репрессировали, а память о них планомерно уничтожалась или фальсифицировалась, их изображали в кино и в художественной литературе как грабителей и громил или как вульгарных, вызывающий смех людей. Научной литературы о них почти не было, а то, что печаталось, показывало их только в черном свете. Вот, например, что писали о них в «Советской исторической энциклопедии»: «Анархизм (от греч. anarxia — безвластие) — мелкобурж. общественно-политич. течение, основная идея к-рого состоит в отрицании всякой гос. власти и проповеди т.н. абсолютной свободы личности. <...> Мелкая буржуазия, деклассированные элементы, люмпен-пролетариат составляют социальную основу А. <...> После Окт. социалистич. революции, показавшей на практике всю беспочвенность и вред А. для пролетариата, А. в России стал вырождаться в антинар. контрреволюц. течение, а подчас даже в прямой бандитизм (см. Махновщина). По мере разгрома белогвардейцев и упрочения Сов. власти анархисты занимали все более контрреволюц. позиции»[1].

Ситуация изменилась в постсоветский период: книги об анархизме стали выходить в большом количестве[2]. Только за последние пять лет (2019—2023) было

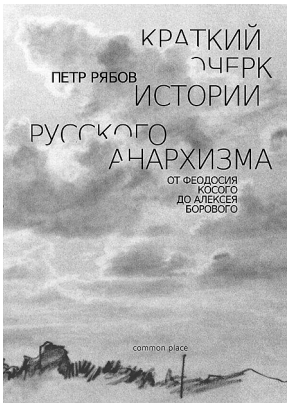
1 Советская историческая энциклопедия. М., 1961. Т. 1. Стлб. 484—486.

2 В частности, в издательстве URSS в 2009—2023 гг. в серии «Размышляя об анархизме» вышло 50 монографий.

издано почти четыре десятка книг на эту тему. Среди них на первом плане труды «классических» отечественных теоретиков анархизма М.А. Бакунина (1814—1876) и П.А. Кропоткина (1842—1921), выходящие даже в карманных изданиях[3]. Немало и переводных книг по теории и практике анархизма[4]. Но основной массив книг по анархизму составляют издания по его истории в России[5].

Ниже мы рассмотрим несколько книг последних лет, которые репрезентативны, на наш взгляд, для этого потока литературы.

Последняя по времени — это популярный «Краткий очерк истории русского анархизма: от Феодосия Косого до Алексея Борового» *П.В. Рябова*. Автор начинает с того, что «анархия — это не хаос, а гармоническое общество свободных личностей. Общество не дезорганизованное, а просто организованное на иных, невластнических началах и состоящее из людей, движимых иными ценностями, чем господствующие. Анархизм же можно понимать в нескольких смыслах: как социальное учение со своим идеалом общества, как философское мировоззрение со своей системой ценностей (в центре которых личность и ее свобода), как субкультуру и движение с определенным набором личных и общественных практик и дискурсов» (с. 9—10). Понимание анархизма у него абсолютно не историческое, оказывается, что «анархизм существовал на протяжении всей известной человеческой истории» (с. 10), анархистами, по Рябову, были и даосы в Китае, и софисты в Древней Греции, и Франсуа Рабле, и духоборы, и славянофилы, и русские народники, и Герцен, и Лев Толстой (с. 9, 10, 14). Хотя в выходных данных книга названа «научным изданием», но таковым она не является как по характеру изложения, так и по внешним признакам (в ней нет ни историографии вопроса, ни ссылок при цитировании). Но книга может быть полезна для первого знакомства с теорией и историей русского анархизма, поскольку написана живо.



Отдельные главы в ней посвящены взглядам крупнейших русских анархистов М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. Рябов пишет, что анархистское мировоззрение Бакунина окончательно сформировалось в конце 1860-х гг. В основе его — критика религии и государства, порабощающих человека. Бакунин утверждал в работе «Федерализм, социализм и антитеологизм» (1867): «...там, где начинается государство, кончается индивидуальная свобода, и наоборот. Мне возразят, что государство, представитель общественного блага или всеобщего интереса, отнимает у каждого часть его свободы только с тем, чтобы обеспечить ему все остальное. Но остальное это — если хотите, безопасность, но никак не свобода. Свобода неделима: нельзя

3 См., например: *Бакунин М.А.* Государственность и анархия. М.: Эксмо, 2023. (Pocket book); *Кропоткин П.А.* Анархия и нравственность. М.: Эксмо, 2023. (Философия в кармане).

4 См.: *Бертоло А.* Оставим пессимизм до лучших времен: переосмысляя анархизм / Пер. М. Цовма и др. М., 2018; *Герен Д.* Анархизм: от теории к практике / Пер. с фр. Вл. Наумова. М., 2022; *Кинна Р.* Никакой власти: теория и практика анархизма / Пер. с англ. О. Корчевской. М., 2022; *Кун Г.* Постанархизм без розовых очков / Пер. с нем., англ. М., 2023; *Нозик Р.* Анархия, государство и утопия / Пер. с англ. М., 2019; Только анархизм: антология анархистских текстов после 1945 года / Сост. Б. Блэк; пер. с англ., фр. М., 2020; и др.

5 См.: *Рублев Д.И.* Черная гвардия: московская федерация анархистских групп в 1917—1918 гг. М., 2020; *Он же.* «Науко-политическое сословие» и «Диктатура интеллек-

отсечь ее часть, не убив целиком. Малая часть, которую вы отсекаете, — это сама сущность моей свободы, это все» (цит. по с. 93). Исходя из этого, Бакунин призывал не к политической, а к социальной революции, которая посредством всеобщего бунта разрушит государство, имущественные различия и церковь и создаст «вольную федерацию снизу вверх рабочих ассоциаций — как промышленных, так и земледельческих, как научных, так и художественных или литературных, сначала в коммуны, федераций коммун в области, областей в нации, а наций — в братский интернационал» (цит. по с. 96). Он резко критиковал патриотическую мифологию, которую использует государство: «Настоящий патриотизм, чувство, разумеется, весьма почтенное, но вместе с тем узкое, исключительное, противучеловеческое, нередко просто зверское. Последовательный патриот только тот, кто, страстно любя свое отечество и все свое, также страстно ненавидит все иностранное <…>» (цит. по с. 94).

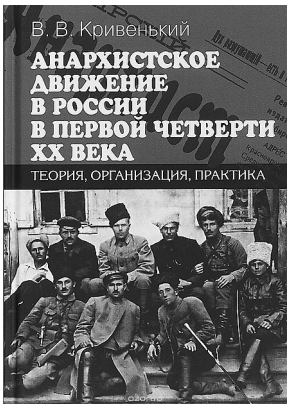
Кропоткин, согласно Рябову, разрабатывал, в отличие от Бакунина, не ключевые, а частные аспекты теории анархизма, причем основной акцент он делал не на разрушении старого строя, а на создании нового. Он стремился положить в основу анархизма научное знание, обосновать закон взаимопомощи как важнейший принцип эволюции, а в качестве основных факторов прогресса рассматривал взаимную помощь и солидарность. Современное ему общество Кропоткин считал стадией перехода к анархическому коммунизму. Он выступал за революцию, но такую, которую начинает народ снизу, а не какая-либо партия, допускал он и революционный террор как стихийную месть народа: «Народный террор — это террор отчаяния и ответ на все угнетение и презрение правящих классов. Но совсем другой характер носит террор, который возводится в “государственный принцип” и диктуется не чувством народной мести и отчаяния, а холодным рассудком во имя революционной идеи. Вот этого рода террор и дорог для якобинцев всех революций <…>. Будучи оружием правителей, террор служит, прежде всего, главам правящего класса; он подготовляет почву для того, чтобы наименее добросовестный из них добился власти» (цит. по с. 127).

Кропоткин полагал, что в будущем обществе, в котором реализуются анархические принципы, распределение будет организовано по потребностям, умственный и физический труд соединятся (и, соответственно, землю будут обрабатывать не только сельские, но и городские жители), будет налажен прямой обмен между деревней и городом, промышленность будет разукрупнена и т.д. (см. с. 131). Его взгляды оказали громадное влияние на анархистов всего мира, и в России в основном анархизм существовал в кропоткинском изводе.

Монография *В.В. Кривенького* «Анархистское движение в России в первой четверти XX века: теория, организация, практика» дает весьма яркую картину укоренения анархизма на русской почве, его развития и жестокого уничтожения в Советской России. Это, в отличие от книги Рябова, весьма основательный научный труд, являющийся итогом многолетнего изучения истории русского анархизма. Автор проработал большой массив архивных материалов и анархистской периодики, учел работы других исследователей и написал подробную историю анархи-

туалов»: проблема «интеллигенция и революция» в анархистской публицистике России конца XIX — начала XX веков. М., 2020; *Клименко В.А.* Московские анархисты после Октября. М., 2020; *Рябов П.В.* Анархизм: от Прудона до новейшего российского анархизма. М., 2020; Анархизм и марксизм в России: материалы научных конференций 2018—2019 гг. СПб., 2020 (Тематический выпуск журнала «Acta eruditorum» (вып. 35)); Апология безвластия: анархистская альтернатива решения социально-политических проблем: сб. статей / Под ред. П.И. Талерова. СПб., 2022; и др.

ческого движения в России. При этом основное внимание он уделил 1905—1921 гг. Согласно Кривенькому, «как массовое революционное движение анархизм оформился и начал играть определенную роль только в системе общественно-политических взглядов народников в 1870-х гг. XIX в., под влиянием идей выдающегося мыслителя и революционера М.А. Бакунина» (с. 85). Хотя Бакунин и Кропоткин немало теоретизировали по поводу анархизма, основополагающие положения анархизма очень просты: в основе всего находится личность, любая власть над ней несправедлива, прежде всего власть государства. Поэтому необходимо разрушить государство и свободно объединяться снизу.



Кривенький цитирует работу Бакунина «Государственность и анархия» (1873), в которой он писал: «...мы объявляем себя врагами всякой правительственной, государственной власти, врагами государственного устройства вообще и думаем, что народ может быть только тогда счастлив, свободен, когда, организуясь снизу вверх, путем самостоятельных и совершенно свободных соединений и помимо всякой официальной опеки, но не помимо различных и равно свободных влияний лиц и партий, он сам создаст свою жизнь» (цит. по с. 85). В том же 1873 г. П.А. Кропоткин составил программный документ кружка Н.В. Чайковского — записку «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?», содержавшую близкие идеи.

Вскоре стали возникать анархистские кружки и анархистские периодические издания. Происходило это в эмиграции, главным образом в Швейцарии, позднее в США; в России анархисты были очень малочисленны. Несколько оживилось анархическое движение в начале XX в. В Женеве в 1900—1901 гг. возникла Группа русских анархистов за границей, в 1903 г. была создана группа анархистов-коммунистов «Хлеб и воля». Уже тогда проявились те качества анархистов (обусловленные в значительной степени основополагающими их принципами), которые мешали им стать серьезной идейной и политической силой — отсутствие иерархически построенной организации и единой четкой программы. Кривенький пишет, что «возникшие в начале XX в. за границей группы русских анархистов, как правило, не имели общих строго выработанных программ и часто действовали в тесной зависимости от индивидуальных качеств и взглядов лидеров» (с. 99). Тогда в Европе насчитывалось не более полусотни анархистов (с. 101).

В России первые анархистские группы появились в 1903 г., причем тогда анархисты не находили сочувствия у окружающих, а члены социалистических партий считали их своими противниками. В последующие годы число анархистских групп быстро росло, увеличивалось и число их членов. Лидерами были интеллигенты, но подавляющее число членов являлись социальными маргиналами — безработными или ремесленниками. Среди них был очень высокий процент евреев (особенно молодых), в большей степени испытывавших государственный гнет, чем другие народы Российской империи, поскольку они были лишены многих гражданских прав[6].

6 Этой теме посвящены книги М.М. Гончарука: Век воли: русский анархизм и евреи (XIX—XX вв.). Иерусалим, 1996; Очерки по истории еврейского анархистского движения (идиш-анархизм). Иерусалим, 1998; Пепел наших костров: очерки истории еврейского анархистского движения (идиш-анархизм). 2-е изд., испр. и доп. М., 2017.

Кривенький пишет, что «в масштабе страны (особенно до революции 1905 г.) анархисты пользовались весьма ограниченным влиянием, преимущественно в среде ремесленников и кустарей. В то же время, особенно в некоторых зонах “еврейской оседлости” (Белосток и окрестности, Вильно, Одесса, Екатеринослав), они пытались составить конкуренцию другим революционным силам и иногда даже (на весьма короткие периоды) возглавляли борьбу с режимом» (с. 117). По подсчетам автора, в период революции 1905—1906 гг. в стране было более пяти тысяч анархистов (с. 118). Среди членов их преобладали мещане и крестьяне, более трех четвертей анархистов имели лишь начальное образование (с. 126).

Многие российские политические движения того времени распадались на несколько ответвлений, но особенно свойственно это было анархистам, поскольку у них отсутствовали партийная дисциплина и какая бы то ни было иерархия; среди них было много разных течений и групп: анархо-коммунисты, анархо-синдикалисты, анархо-индивидуалисты и др., разделяющие основные положения анархистской теории, но расходящиеся в методах борьбы с государством и построения анархического общества. При этом все они (хотя и в разной степени) признавали возможными в качестве методов борьбы террор и экспроприации. И не только признавали, но и практиковали их в своей деятельности. Кривенький пишет, что «уже на первом этапе (1880 — начало XX в.) идейный терроризм в значительной степени приобретал признаки обычного бандитизма, чисто уголовного насилия» (с. 157); «...лишь около 20—25 террористических акций и столько же “эксов” со стороны российских анархистов в первое десятилетие XX в. имели всероссийский общественный резонанс. Остальные “мелкие операции” (а их было множество по отдельным регионам) как раз и сформировали устойчивое представление об анархистах как отъявленных “бандитах” и уголовниках, проводящих свои действия для приобретения известной популярности в массах трудящихся, ради наживы и спортивного интереса» (с. 161).

Исследователь в основном пишет об анархистах с симпатией и сочувствием. Но приводимый им богатый фактический материал[7] дает основания сделать вывод, что в анархистском движении был громадный разрыв между гуманной теорией лидеров и очень жестокой практикой в деятельности рядовых членов. Основными методами борьбы с государством (а в ряде случаев и с обществом) становились убийства и экспроприации. Показательно, что пропагандистской работе анархисты уделяли мало внимания, что было связано, по-видимому, с низким образовательным уровнем большинства членов движения (поэтому пропагандировать было некому).

После поражения Первой русской революции число анархистов в стране резко уменьшилось, в 1914—1916 гг. анархистские организации были лишь в семи населенных пунктах, а общее число анархистов, ведущих практическую работу, составляло 250—300 человек (с. 229). Однако после Февральской революции число их стало быстро расти. Анархисты помогали большевикам в свержении Временного правительства, даже входили в Петроградский военно-революционный комитет. В марте 1917 г. в Москве была создана Федерация анархистских групп (с. 234), возникли аналогичные объединения и в других городах. В октябре-декабре анархистские организации были более чем в 60 населенных пунктах, в них входило от одной до трех тысяч человек (с. 253), рост продолжался до лета 1918 г.

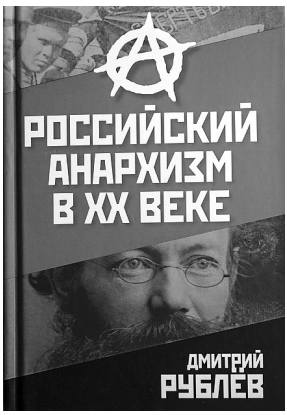
---

7 Кривенький выпустил также ценный сборник документов «Анархисты: Документы и материалы» (М., 1998. Т. 1—2); позднее вышел продолжающий его сборник: Анархистские движения России и Русского Зарубежья: документы и материалы: 1922—1941 гг. / Сост. Д.И. Рублев. М., 2021.

В ряде акций (например, при защите Петрограда) анархисты поддерживали большевиков. В декабре 1917 г. один из видных анархистов писал в газете: «Врозь с большевиками идти, но вместе с ними бить, пока они продолжают бить направо, — такова наша общая тактика в настоящее время по отношению к буржуазии» (цит. по с. 268). Но встраиваться в советский государственный аппарат они не хотели. Поэтому анархисты, как правило, не входили в советы рабочих и солдатских депутатов. А вот в работе фабрично-заводских комитетов участвовали (особенно анархисты-синдикалисты), поскольку это не расходилось с их теоретическими установками.

Нередко анархисты выступали против правительства; они захватывали дворцы и особняки в Москве, а в дальнейшем хотели устроить «третью революцию», которая должна была привести к безгосударственному коммунистическому обществу. С конца 1917 г. анархисты создавали Черную гвардию — боевые отряды, которые к весне 1918 г. имелись во многих местах. В Москве было около полусотни таких формирований, в которые входило почти две тысячи человек (с. 293). Иногда большевики использовали их для реквизиций и обысков, однако в основном «“анархическая революция на местах” вылилась в прозаические налеты на квартиры, грабеж складов и магазинов, сводилась к эпатажным акциям» (там же).

Укрепив свою власть, большевики повели борьбу с анархистами, опасаясь усиления их влияния на население. Их обвиняли в поддержке буржуазных контрреволюционеров, организации пьяных погромов, бандитизме. 12 апреля 1918 г. в Москве были разгромлены особняки, где находились анархистские организации, и арестовано порядка полутысячи анархистов, за этим последовали аналогичные акции в Петрограде и других городах. Постепенно анархистам «перекрывали воздух». А после Кронштадтского мятежа анархистски настроенных матросов в стране весной и летом 1921 г. прошли массовые аресты анархистов. По сути это было начало конца анархистского движения в России.



Серьезным исследованием является и монография *Д.И. Рублева* «Российский анархизм в XX веке». В основном она охватывает тот же период, что книга Кривенького, но здесь гораздо больше места уделено 1920—1930-м гг., деятельности анархистов в эмиграции, а также возрождению анархистского движения в России в конце XX — начале XXI в. Очень выразительно описана Рублевым линия поведения анархистов в период преследований 1920-х гг., когда одни пытались приспособиться, сотрудничая с советской властью и идя на компромиссы, другие поступали как ренегаты и вступали в коммунистическую партию, третьи переходили на нелегальное положение, четвертые эмигрировали. При этом почти всех анархистов, оставшихся в стране, ждал (независимо от их тактики) один конец — репрессии: ссылки, тюрьмы, лагеря и нередко смертные приговоры.

Книга Рублева более аналитична, чем книга Кривенького, он стремится вписать анархическое движение в рамки социальных процессов в России того времени. Так, он пишет, что

> как и другие радикальные политические учения, отечественный анархизм стал отражением социально-экономических и социокультурных реалий, сложившихся в нашей стране во второй половине XIX — начале XX в., связанных с капиталистической модернизацией, переходом к индустриально-капиталистической модели

> общества. В тех условиях формирование анархистского социально-политического учения и его развитие выдающимися русскими мыслителями Михаилом Бакуниным и Петром Кропоткиным стало возможным на благодатной почве общинной психологии, сочетавшей как широко распространенные в среде рабочих, крестьянстве и значительной части интеллигенции представления о коллективизме, с одной стороны, так и об автономии низовых сообществ от государства, с другой. Бакунин и Кропоткин ответили на вызовы нарождающегося в России капитализма, сформулировав социально-политическое учение, выдвигавшее модель безгосударственного социалистического самоуправления в рамках федерации трудовых коллективов и крестьянских общин. Стремясь развивать коллективистские и самоуправленческие традиции, присущие российскому общинному крестьянству, казачеству и нарождающемуся рабочему классу, анархисты стремились преодолеть патриархальные и авторитарные настроения, присущие общинной психологии[8].

Причины неудачи анархистов Рублев видит в том, что «анархисты недооценили силу авторитарных, патриархальных элементов в той самой общинной коллективистской психологии, на которую пытались опираться последователи П.А. Кропоткина», а также в том, что «небольшие анархистские организации, плохо координировавшие свои действия в масштабах страны, были не в состоянии конкурировать с жестко централизованной политической партией, ориентированной, прежде всего, на захват власти»[9].

На наш взгляд, это лишь частные причины неудачи анархистского движения. Главная заключается в том, что анархизм — чисто утопическое учение, а утопия характеризуется тем, что не может быть воплощена в реальности. В истории не было народов, которые, пройдя стадию родо-племенного строя, обошлись бы без государства, и не было общества, в котором «объединение снизу» обходилось бы без сильных конфликтов, ведущих к распаду. Об этом свидетельствует опыт различного рода фаланстеров, общин и коммун, создававшихся в XIX—XX вв. Характерно, что даже сами анархисты не могли прийти к согласию, часто полемизировали между собой, а их объединения постоянно дробились, распадались и т.п. Коммунизм в марксистской версии тоже утопия, однако не столь далеко отходящая от реальности, допускающая длительное существование государства, пока оно не отомрет, к тому же российские его строители на деле строили казарменный социализм, который просуществовал лишь немногим более семидесяти лет.

Книги Кривенького и Рублева в основном рисуют внешнюю (идейную и организационную) сторону анархистского движения. Тому, что думали рядовые адепты анархизма, чем он привлекал их, уделено очень мало внимания. Правда, в книге Кривенького приведена очень выразительная характеристика мотивации одной из разновидностей анархистов, которую дал Леонид Андреев:

> Видел я как-то на Невском <…> маршировавших анархистов со знаменем «смерть буржуям», <…> просто низкая чернь, глупцы, жалкое двуногое, а посмотрел я на их лица, и встало предо мною *извечное*. Да, рабы, с их впалыми щеками и глазами, вечная обида, вечный гнев и восстание. Конечно, они ничего не понимают <…> в анархизме <…>, но они знают другое, важнейшее, вечное, о чем не помышляла рассерженная приличная публика на панели; и они были выше самих себя и своего грубо нацарапанного знамени. <…> И как они несли свои винтовки! Целая поэма. То, что всегда было обращено против них и грозило им смертью, теперь в их руках:

8 Цитируем по электронному изданию: «Алисториус», 2019. С. 355.

9 Там же. С. 357, 358.

> это надо почувствовать! Оружие делало их людьми, они всеми лицами своими выражали это; и, по-видимому, они считали себя с этими винтовками — непобедимыми, сильными и свободными до ужаса (цит. по с. 260).

Однако это не единственный тип анархиста. Совсем другой представлял *С.Н. Чекин*, автор мемуарной книги «Воспоминания самарского анархиста». Студент, выходец из крестьян, учившийся на медицинском факультета Самарского университета и искавший наиболее близкую идеологическою программу, он увлекся в революционные годы анархизмом. Чекин вспоминал:

> До половины девятнадцатого года <...> всюду свободно продавалась революционная литература крайне левого направления. Читались массовые публичные лекции, устраивались диспуты в клубах и общественных местах на политические и религиозные темы, которые мы <...> часто и аккуратно посещали в свободное время от учебы. <...> Мы проходили школу всех политических партий от марксидов до анархистов, которые как-то сразу нас очаровали ясностью и простотой — они брали сразу «быка за рога», а не за хвост, то есть разрешали экономическую проблему в первую очередь, тогда как все другие партии учили брать быка за хвост — начинать с политики.
>
> Нам стало ясно, что покамест существует государство — будет существовать экономическое неравенство, то есть эксплуатация меньшинством большинства, правящей партией или классовой аристократией. Следовательно, партии по форме видоизменяют и создают государственную машину экономического неравенства в новом общественном строе, правда, с большими улучшениями, но с теми же старыми принципами угнетения и насилия над человеком и обществом. Из всех партийных теоретических и практических учений по душе пришлось только анархическое, разрешающее полную свободу личности и общества в экономическом, политическом и моральном отношении. <...> в два-три года я теоретически стал законным атеистом и антигосударственником, а Советскую власть, по тогдашней еще наивности, рассматривал как переходную ступень-фазу в безгосударственный строй жизни общества в ближайшие годы, рассматривал Советскую власть не как цель, а как средство к цели <...> высшей форме общественного строя — Вольному безгосударственному советскому коммунистическому обществу без кнута и пряника, к советам снизу вверх, а не сверху вниз (с. 93, 95).

Чекин посещал клуб самарских анархистов, входил в кружок, продолжавший изучение анархизма по трудам П.Ж. Прудона, Бакунина, А.И. Герцена, Кропоткина, М. Штирнера, Г. Цоколли, С. Фора и др. Однако в 1919 г. «власти арестовали активных анархистов, разгромили клуб, библиотеку, а нас, учеников, задержали на несколько часов, переписали и отпустили» (с. 306).

Анархисты проявили себя не только в социальной теории и революционной деятельности. Они оказали влияние и на культуру, прежде всего на искусство. Книга *О.Д. Бурениной-Петровой* «Анархизм и искусство авангарда» посвящена почти не изученной стороне русского анархизма — его эстетической программе и влиянию на искусство. Автор полагает, что в начале XX в. «из философско-теоретического дискурса и политической программы анархизм, с одной стороны, преобразуется в эстетику и психологию художественного творчества, а с другой стороны, развивается на стыке философии, литературы и искусства» (с. 39). Отдельные главы книги посвящены таким сюжетам, как декларации и художественная практика художников-анархистов, анархистские поиски в сфере театра, литературное творчество анархо-биокосмистов, «интерпланетаризм» в литературе и др. Составлен-

ная из статей, часть которых печаталась отдельно, она пестрит неточностями и ошибками[10].



Художники-анархисты нередко выступали со своими статьями и манифестами в газете «Анархия», выходившей в 1917—1918 гг. Эта группа художников называла себя анархо-футуристами и критиковала не только академическое искусство, но и художников-футуристов, считая их недостаточно левыми, пошедшими на компромисс со вкусами публики (Александр Родченко именовал их «осалонившимися футуристами»). Особенно часто в «Анархии» печатались Алексей Ган, Казимир Малевич, Родченко, Ольга Розанова, Алексей Моргунов. Основной пафос их публикаций заключался в том, что государство не должно вторгаться в сферу искусства и, более того, к отрицанию государственной власти как таковой. Для этих художников на первый план выходили разрушение, ломка старых рамок и форм, создание нового искусства, связанного с эпохой и не похожего на старое. Они выступали (в духе романтизма) за искусство, свободное не только от государства и меценатов, но и от публики. Эти их заявления носили не только эстетический, но и политический характер. Так, Малевич 28 марта 1918 г. писал в «Анархии», что, «как бы мы ни строили государство, но раз оно — государство, уж этим самым образует тюрьму» (цит. по с. 87). Буренина-Петрова считает, что он попытался создать визуальную модель анархизма в своем «Черном квадрате», который, «наряду с уничтожением “вещей”, идеально репрезентировал форму уничтожения государственности, повинной в их порождении»; «расставаясь с понятиями “верх — низ”, “правое — левое”, с традиционной изобразительностью, [он] становится идеальным воплощением анархистской свободной стихии» (с. 79, 81).

Наряду с художниками печатались в «Анархии» и поэты: Рюрик Ивнев, Баян Пламень[11] и др.

Анархистские идеи проникли и в театр. Это прежде всего нашло выражение в деятельности организованного в сентябре 1917 г. Пролетарского театра, входившего в Московскую федерацию анархистских групп. Театр этот возник из самодеятельного театрального кружка и готовил к постановке несколько пьес, но из-за

10 Часть их названа в рец.: *Королев Р.* Черные флаги и черный квадрат // https://gorky.media/reviews/chernye-flagi-i-chernyj-kvadrat/ (дата обращения: 13.06.2024). Отмечу также, что один и тот же абзац авторского текста можно встретить на с. 78 и 88, а одна очень большая цитата присутствует на с. 75—76 и 126; Отто Вейнингер назван в книге Венингером (с. 96 и 280), а Джон Хартфилд — Хертвилдом (с. 100, 123 и 286); театроведческую книгу Г.К. Крыжицкого автор считает воспоминаниями (с. 150). Довольно курьезна подпись под фотографией, на которой изображен представленный А. Родченко на конкурс проект киоска (с. 114). Буренина-Петрова указала там, что это проект киоска «Бизиакс». На самом деле (и это видно на фотографии) Бизиакс — это не киоск, а псевдоним (девиз) Родченко, под которым проект был подан на конкурс (очень часто на конкурсах для обеспечения объективного решения жюри проекты подавались не под фамилиями авторов, а под девизами).

11 Буренина-Петрова пишет, что чей это псевдоним, неизвестно (с. 62). Мы предполагаем, что за ним скрылся Д.А. Кауфман, впоследствии прославившийся как режиссер-документалист под другим псевдонимом — Дзига Вертов. Стихи, которые он писал в молодости (см.: *Дзига Вертов*. «Миру — глаза»: стихи / Сост. К. Горячок. СПб., 2020), очень похожи на стихи Баяна Пламеня.

«анархичности» участников (многие не являлись на репетиции) дело затягивалось и в итоге из-за ареста ряда сотрудников коллектив не успел, судя по всему, показать их публике. В главе под названием «О пролетарском театре анархии» Буренина-Петрова сосредоточивается на деятельности теоретика пролетарского театра А. Гана. В своей статье «Театр около масс», опубликованной в газете «Анархия», он писал о проектах театральных зданий немецкого архитектора Августа Це и руководителя мюнхенского Художественного театра Георга Фукса, которые называл «футлярами». Буренина-Петрова подробно излагает эти проекты, направленные на обновление театра и сближение его со зрителем, и делает вывод, что, по Гану, «модель функционального театрального "футляра" Це и Фукса открывает подлинное решение загадки преобразования искусства в витальную конструкцию» (с. 127). Это передержка, извращение мысли Гана. Он не приветствовал подобные «футляры», а критиковал их. Вот что в той же статье он писал о проекте Це (эти слова Буренина-Петрова не цитирует): «...зритель в безопасности, поле зрения повсюду одинаково, возможны световые эффекты на сцене. А в зрительном зале будет страшно или просто скучно». А по поводу Фукса он замечает, что «отсутствие пьес и новых драматургов заставило [его] остановиться пока на футляре. А проект архитектора Це разве не футляр? И если бы ему удалось разрешить этот "сложный" вопрос шире, примерно тысяч на сто, подвинуло бы это хоть на один вершок осуществление народного театра? Думаю, что нет»[12]. Ган считал, что важны не театральные здания, «футляры», а другие принципы создания пьес и их исполнения. Так, он полагал, что актеру не нужно давать инструкции и советы, он должен сам свободно интерпретировать роль. Не нужны ему ни традиции, ни профессиональное обучение, ни руководство режиссера. Ган предлагал и тексты для постановок писать драматургу и актерам совместно. В дальнейшем он еще дальше отошел от традиционного театра, став сторонником «массовых действ», «интерпретирующих настоящий момент», «инсценирующих и подчеркивающих революционный быт» (цит. по с. 145).

Интерес представляет глава об анархо-биокосмистах, которые стремились расширить сферу свободы за пределы чисто социального — в биологию (за счет достижения бессмертия и воскрешения умерших), с одной стороны, и за пределы Земли, в космос — с другой. Тут подробно рассматривается творчество поэта и командира одного из отрядов Черной гвардии А.Ф. Агиенко, писавшего под псевдонимом Александр Святогор, и прозаика, автора утопических и фантастических произведений, А.Б. Ярославского. Святогор, редактор журнала «Биокосмист» (1922), опираясь на ряд современных научных работ, писал о возможности освобождения от смерти путем обретения личного телесного бессмертия, а также (под влиянием идей философа Н.Ф. Федорова) о необходимости воскрешения мертвых. При этом, как отмечает Буренина-Петрова, он считал, что «бессмертие обеспечивается изменениями в организации человеческого общества, которое на основе коллективного договора должно стать научно-технически сверхразвитым обществом вселенского единства и в централизованном порядке превратить отдельные эксперименты в нечто вроде государственной программы» (с. 160). Проблема преодоления смерти волновала и Ярославского, редактировавшего журнал «Бессмертие» (1922) и опубликовавшего «Поэму анабиоза», в которой анабиоз выступал гарантией бессмертия.

Главы «Анархизм и "интерпланетаризм"» и «Анархистская научно-социальная фантастика в литературе и кино» мы в этом обзоре не рассматриваем, поскольку в них в основном идет речь об авангардизме, а анархизму уделены лишь считаные

12 Анархия. 1918. № 16. 12 марта.

страницы: в первой из названных — об искусственном языке Вольфа Гордина (с. 211—215), а во второй (наряду с рассмотрением не имеющих отношения к анархизму книг и фильмов) кратко охарактеризованы анархические утопии Алексея Борового, братьев Гординых и Аполлона Карелина, а роман Ивана Морского «Анархисты будущего» ошибочно отнесен к числу анархических[13].

И наконец, в заключительной главе автор дает поверхностный обзор возрождения анархистского движения в России в конце 1980-х — 1990-х гг. и характеризует творчество Юрия Аввакумова, Анатолия Осмоловского, группы Э.Т.И. и деятельность Клуба имени Джерри Рубина.

Серьезным научным исследованием книгу Бурениной-Петровой назвать нельзя, но все же она полезна как первая попытка привлечь внимание исследователей к связям анархизма с искусством и собрать информацию о них. Однако даже популярная книга П. Рябова содержит более интересные общие наблюдения и выводы по этой теме (в главе «Анархизм и российская культура конца XIX — первой половины XX века»). Он пишет, например, что

> расцвет художественного авангарда на заре XX века вызывал у анархистов двойственное отношение: с одной стороны, симпатию и поддержку как утопическую устремленность в будущее, трансцедирование и преодоление данности, с другой стороны, враждебность и отторжение по причине наличия в анархизме сильной «традиционалистской» и «консервативной» тенденции, критически относящейся к идее технического прогресса, индустриализма, апеллирующей к идеям «золотого века» и раннего христианства, к либертарно истолкованным ценностям доиндустриального общества (солидарность, природосообразность, коллективизм), и в силу отталкивания анархизма от «элитаризма» и самой мессианской идеи «авангарда» и социального планирования, диктующего природе, жизни и человеку свои догмы. Поэтому, если авангардистски-индустриалистские течения искусства, например футуризм, скорее оказывались связанными с тоталитарными индустриалистскими движениями большевистского и фашистского толка, воспевавшими технологическую экспансию и авторитарную перекройку природы и культуры с конструированием нового человека посредством социальной инженерии и тотального технического планирования, то анархизм более связан с художественными движениями, коренящимися в романтизме — с его либертарной и ностальгической эстетической утопией, призывающей к гармонии человека и природы, восстановлению определенных элементов средневековья (вольный город, общинность, ремесленничество, украшающее повседневную жизнь и интегрирующее труд) и к высвобождению человеческого потенциала (с. 235).

Как видим, изучение связей анархизма и искусства только начинается, причем задача эта непростая, поскольку ее решение требует совместных усилий историков, искусствоведов и литературоведов.

В целом же наш краткий обзор показывает, что, с одной стороны, идет серьезное и разностороннее осмысление истории русского анархизма, но, с другой стороны, как реакция на тенденциозное, весьма критическое отношение к анархизму в советский период, изучение анархизма направлено в основном на его защиту (временами приводящую к апологетике). Поэтому анархизм рассматривается изнутри, а не в контексте социально-политической и культурной истории России и без социологического анализа того, насколько в принципе реализуемы анархистские идеи.

---

13 См.: *Королев Р.* Указ. соч.

Евгений Савицкий

Амбивалентности советского интернационализма в политике и культурной практике

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_381

Kirasirova M. The Eastern International: Arabs, Central Asians, and Jews in the Soviet Union's Anticolonial Empire.

Oxford: Oxford University Press, 2024. — X, 401 p. — (Oxford Studies in International History).

Koivunen P. Performing Peace and Friendship: The World Youth Festivals and Soviet Cultural Diplomacy.

Berlin; Boston: De Gruyter; Oldenbourg, 2022. — VIII, 303 p. — (Rethinking the Cold War; vol. 9).

Edgar A. Intermarriage and the Friendship of Peoples: Ethnic Mixing in Soviet Central Asia.

Ithaca; L.: Cornell University Press, 2022. — XIV, 284 p.

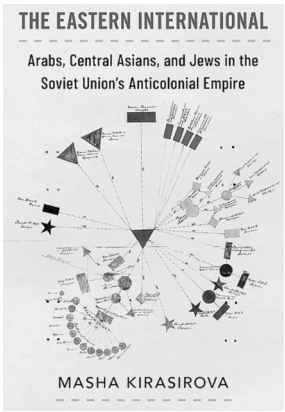
Рассматриваемые в этом обзоре книги посвящены тому, как важная для СССР легитимация себя в качестве антиколониального государства то и дело вступала в противоречие с тенденциями внутренней политики, делая ее неоднозначной и открывая возможности для различных трансформаций. Действующими лицами этих процессов были не только партийные и государственные деятели, но и рядовые политические активисты из центра и с периферии, и учившиеся в Москве иностранные студенты, и участники международных фестивалей, и ученые-этнографы, и те, кто решал вступить в этнически смешанный брак. В этих исследованиях предпринимается попытка уйти от характерного для теории тоталитаризма взгляда на советское общество сверху вниз, как на состоящее из институтов подавления и их жертв. Это касается в особенности среднеазиатских республик и живших там людей, роль которых в сотворении страны в целом и ее частей[1], а также в изменении политических и культурных приоритетов до сих пор зачастую недооценивается[2]. Кроме того, в последние годы наблюдается смещение интереса историков, особенно американских, от причин распада Советского Союза[3] к тому, что обеспечило его довольно длительное существование как многонационального государства. Так, например, Д. Сахадео, полемизируя с Ю. Слёзкиным и Ю. Фюрст, пишет, что дружба народов и инсценирующие ее фестивали не были лишь идео-

1 См.: *Халид А.* Создание Узбекистана: нация, империя и революция в раннесоветский период / Пер. с англ. К. Тверьянович, А. Рудаковой. Бостон; СПб., 2022; *Дриё Х.* Кино, нация, империя: Узбекистан 1919—1937 / Пер. с фр. В. Петрова. Бостон; СПб., 2023.

2 Ср.: *Чупринин С.И.* Оттепель: действующие лица. М., 2023.

3 Ключевой работой была кн.: *Suny R.* Revenge of the Past: Nationalism and the Collapse of the Soviet Union. Stanford, 1993.

логической ширмой[4]. Воспринимаемая людьми вполне серьезно, эта идеологема обретала реальность в сознании и поступках обычных людей, обеспечивая высокий уровень социальной и региональной мобильности в позднем СССР, который в этом отношении вовсе не был «застойным». Эта мобильность, в свою очередь, оказывала значимое воздействие на происходившие в СССР изменения. Подобный пересмотр советской истории сквозь призму возникшего тогда особого опыта мультиэтничности происходит и в ряде других работ.



Книга профессора Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Маши Кирасировой «Восточный интернационал: арабы, выходцы из Средней Азии и евреи в советской антиколониальной империи» посвящена истории людей, которых автор определяет как посредников в формировании глобальных антиколониальных связей СССР[5]. Внимание к этим людям, их сетям взаимодействий, групповой идентичности и интересам позволяет, по словам Кирасировой, увидеть Советское государство глазами самих действующих лиц, с учетом особенностей их мышления. Такой подход направлен на уход как от «тоталитарных» исследовательских моделей, согласно которым советский строй представлял собой монолитное единство, контролировавшее атомизированное общество, так и от однобокости ревизионистских подходов, для которых идеология была лишь прикрытием для чего-то еще, что «реально» происходило и что может быть раскрыто посредством социальной истории или истории советской субъективности[6].

Как отмечает Кирасирова, большевики активно пользовались оппозицией Запада и Востока, что проявилось в создании отдельных «восточных» институций вроде Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ). Это повлияло на последующую историографию, где западные и восточные аспекты политики обычно рассматриваются отдельно, причем вторым уделяется намного меньше внимания. Между тем Средняя Азия, как и Закавказье, имела для советского строя особое значение — в качестве витрины успешных, как считалось, постколониальных трансформаций.

В первой главе рассматривается деятельность К.М. Трояновского (1876—1951), приехавшего с Лениным из Швейцарии и занимавшегося утверждением советской власти в Средней Азии, а также распространением мировой революции на сопредельные страны. Однако, как показывает Кирасирова, цели местной освободительной борьбы не всегда совпадали с тем, о чем мечтали коммунисты русского или еврейского происхождения. Имели значение и прагматичные соображения московского большевистского руководства, стремившегося прежде всего консолидировать свою власть в регионе и осознававшего ограниченность имеющихся ресур-

4 См.: *Сахадео Д.* Голоса советских окраин: жизнь южных мигрантов в Ленинграде и Москве / Пер. с англ. Д. Чагановой. М., 2023. С. 80—81, 98—99.

5 Изучению культурных посредников уделяется большое внимание в современной историографии. См., в частности: *Дэвис Н.З.* Путешествия трикстера: мусульманин XVI в. между мирами / Пер. с англ. Н. Лужецкой. М., 2023; *Кэмпбел Я.* Знание и окраины империи: казахские посредники и российское управление в степи, 1731—1917 / Пер. с англ. А. Разина, И. Захаряевой. Бостон; СПб., 2022.

6 См.: *Халфин И.* Автобиография большевизма: между спасением и падением. М., 2023; *Хелльбек Й.* Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи / Пер. с англ. С. Чачко. 3-е изд. М., 2023.

сов. Советско-английское торговое соглашение (1921) позволило РСФСР начать выход из международной политической и экономической изоляции, но одновременно способствовало прекращению протестного движения в Британской Индии, привело к краху Гилянской республики в Иране и поставило крест на идее экспорта революции в этом регионе[7]. Советское руководство пожертвовало восточным, антиколониальным направлением политики ради улучшения отношений с Западом, и для многих это было большим разочарованием. Трояновский в 1921 г. был исключен из партии, остаток жизни он занимался научной работой.

После остановки внешней экспансии происходит поворот к культурной политике, и особое значение здесь обретает деятельность КУТВ, которому посвящена вторая глава. По мысли Сталина, имя которого носил университет, представители внутреннего Востока должны были привлекать к сотрудничеству с СССР представителей зарубежных азиатских стран, и все они должны были сплачиваться в единую революционную силу. Однако на деле обнаруживалось много препятствовавших единению различий. Так, европеизированный турецкий поэт Н. Хикмет иронизировал над диковинными нарядами среднеазиатских юношей; среди арабских студентов давали о себе знать локальные и религиозные различия, а общая светская национальная идентичность была очень слабой.

Кирасирова обращает внимание и на то, что многие студенты занимались самоинсценировкой, чтобы быть зачисленными в университет, искажая свое настоящее классовое и этническое происхождение[8]. Кроме того, «восточная отсталость» была хорошей защитой от обвинений в политических ошибках. Стремившиеся выдвинуться студенты руководствовались не столько Марксом, сколько навыками колониальной мимикрии, и КУТВ оказывался похож на миссионерские школы.

После расправы Чан Кайши над коммунистами в 1927 г. Сталин отказывается от политики единого фронта с буржуазными национально-освободительными движениями, и социальное происхождение теперь контролируется более строго, что сужает возможности привлечения слушателей. Одновременно начинает проводиться курс на коренизацию ближневосточных компартий, в которых до сих пор преобладала интеллигенция из национальных и этнических меньшинств. Это приводит к расколу в Сирийско-ливанской компартии, где было много армян, а также к кризису в Компартии Палестины, которая осталась преимущественно еврейской, но должна была отказаться от дальнейшего привлечения евреев. Евреи преобладали и среди преподавателей КУТВ, что все чаще становилось причиной конфликтов с арабскими студентами.

Возглавлявший в 1930—1934 гг. Восточный отдел Исполкома Коминтерна Г.И. Сафаров прославился развернутым в 1919 г. террором против русских поселенцев в Казахстане. Хотя большинство из них поддерживало революцию, для Сафарова они были колонизаторами и подлежали выселению, что сопровождалось разными жестокостями. На ситуацию в Палестине Сафаров переносил свое видение Средней Азии, солидаризируясь с арабами против еврейских поселенцев, и это влияло на внутреннюю ситуацию в КУТВ, где студенты начали писать доносы на преподавателей.

---

7 См.: *Сергеев Е.Ю.* Большевики и англичане. Советско-британские отношения, 1918—1924: от интервенции к признанию. М., 2019; Персидский фронт мировой революции: Документы о советском вторжении в Гилян (1920—1921) / Сост. М.А. Персиц. 2-е изд., испр. М., 2017.

8 Ср.: *Фицпатрик Ш.* Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века / Пер. с англ. Л.Ю. Пантиной. М., 2011; *Хлевнюк О.* Корпорация самозванцев: теневая экономика и коррупция в сталинском СССР. М., 2023.

В середине 1930-х гг. происходит постепенный отказ от стигматизации русских как проводников имперской политики на окраинах, из книг по истории исчезают критика русского колониализма и упоминания о Туркестанском восстании 1916 г.[9] Проводниками колониализма провозглашаются сотрудничавшие с царизмом местные феодалы. Это было связано с отказом от политики коренизации внутри СССР, однако вовне эта политика продолжалась, и КУТВ теперь готовит преимущественно зарубежные кадры. По словам Кирасировой, в последние годы существования университета большинство арабских студентов были малограмотными, хотели бороться с евреями, а не с буржуазией, а в остальном избегали высказывать свое мнение из-за страха репрессий. В 1938 г. университет был закрыт, пав жертвой накопившихся внутренних противоречий и сталинских чисток.

Далее автор переходит к теме послевоенного разворота в сторону русского патриотизма, критики западной культуры и борьбы с космополитизмом. Ближневосточные компартии смогли пережить репрессии 1939—1941 гг. на британских и французских подмандатных территориях, и для многих ближневосточных интеллектуалов СССР оставался символом построения более свободного будущего. В русской литературе они находили созвучную их собственным размышлениям критику западных ценностей[10]. В 1947 г. организуется визит в СССР делегации сирийских и ливанских интеллектуалов, в той или иной мере имевших левые симпатии. Однако затем поддержка Советским Союзом раздела Палестины и образования Израиля вызвала серьезный кризис в отношениях с местными компартиями, привела к резкому сокращению их численности.

Вызывало много вопросов и то, каким образом совместим с борьбой против колониализма провозглашенный Н.С. Хрущевым курс на мирное сосуществование. Это стало одним из предметов разногласий с Китаем, стремившимся к утверждению собственного влияния на новые независимые государства. В дальнейшем Хрущев то и дело жертвовал ближневосточными коммунистами ради выстраивания хороших отношений с пришедшими к власти арабскими националистами. Так, после Июльской революции 1952 г. в Египте правительство Г.А. Насера стало преследовать коммунистов жестче прежнего, что не помешало советско-египетскому сближению в преддверии Суэцкого кризиса 1956 г. и продолжению сотрудничества позднее. На XXI съезде КПСС Хрущев открыто критикует Насера за репрессии против коммунистов, но аресты продолжаются; в том же году в Сирии, входившей тогда вместе с Египтом в состав Объединенной Арабской Республики, был запытан до смерти лидер Ливанской компартии Фарджалла эль-Хилу.

Таким образом, линия Международного отдела ЦК КПСС вступала в противоречие с более прагматичной политикой МИДа. В конце концов непартийный подход возобладал, и для его оправдания Г.И. Мирский и Е.М. Примаков придумали теорию «революционной демократии»: при слабом пролетариате революционно-демократической силой могут выступить мелкая буржуазия и младший офицерский состав армии, которые и поведут страну к социализму. СССР заставит самораспуститься компартии Сирии, Ирака и Египта.

В ответ на критику со стороны КНР и других постколониальных стран СССР решает продемонстрировать образцовый характер советского преобразования Средней Азии: дескать, ее сохранение в составе СССР не имеет ничего общего с прежним

---

9 См.: *Мартин Т.* Империя «положительной деятельности»: нации и национализм в СССР, 1923—1939 / Пер. с англ. О.Р. Щёлоковой. М., 2011. С. 468—592.

10 Ср. о чтении Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого афроамериканцами: *Петерсон Д.* Долой оковы! Русская и афроамериканская литература этнической «души» / Пер. с англ. Д. Гаричева. Бостон; СПб., 2024.

русским колониализмом. Этим Кирасирова объясняет особую поддержку Хрущевым Н.А. Мухитдинова, первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана в 1955—1957 гг., а с 1957 г. — члена Президиума ЦК КПСС. При Мухитдинове в Узбекистане открываются новые заводы и вузы, удваивается число институтов Узбекской академии наук, Ташкент превращается в образцовый современный город и начинает активно принимать зарубежных гостей, особенно из стран Азии и Африки, в налаживании связей с которыми Мухитдинов активно участвует. Происходит ревизия сталинской политики — вплоть до реабилитации и посмертного восстановления в партии А.И. Икрамова. Мухитдинов говорит о необходимости сохранять бдительность в отношении буржуазного национализма, но в то же время и не допускать ложных обвинений в нем. Мухитдинов пал в 1961 г., поскольку М.А. Суслов, А.И. Микоян и Ф.Р. Козлов сочли диспропорциональность в развитии Узбекистана и проводимую там политику коренизации угрозой стабильности СССР.

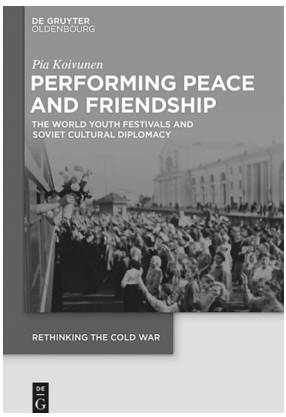
Тем не менее значение Узбекистана как витрины образцовой деколонизации сохранилось и при Ш.Р. Рашидове, усилиями которого организуется Международный кинофестиваль стран Азии и Африки в Ташкенте (1968) и много других знаковых международных форумов, благодаря которым, по словам Кирасировой, Средняя Азия превращается в ключевую афро-азиатскую контактную зону. СССР также активно отправляет среднеазиатское кино и делегации из деятелей искусств на ближневосточные фестивали, хотя там не всегда были этим довольны, поскольку больше интересовались европейским советским искусством. При Рашидове предпринимаются и попытки создать такую версию установления советской власти в Узбекистане, которая была бы приемлема внутри и вне страны. На примере истории создания фильма «Буря над Азией» (1964, реж. К. Ярматов), сценарий которого обсуждался с участием самого Рашидова[11], Кирасирова показывает, что убедительно согласовать разные версии прошлого, национальное сопротивление и руководящую роль РСДРП(б), так и не удалось.

Автор приходит к выводу, что представители Средней Азии, и особенно Узбекистана, имели для позднесоветской внешней политики то же значение, что и добившиеся к концу 1960-х гг. гражданских прав афроамериканцы для внешней политики США: они демонстрировали позитивное мультиэтничное лицо страны. Однако руководители и деятели культуры советских среднеазиатских республик не были лишь пассивными исполнителями директив из центра. Подобно лидерам движения за гражданские права в США, они активно использовали внешнеполитическую ситуацию в собственных внутриполитических целях, реагируя на все более усиливавшееся к концу советской эпохи давление снизу.

Фестивалям как событиям, во время которых сталкивались внутри- и внешнеполитические задачи, стремление к расширению влияния и страх чрезмерной открытости, посвящена книга доцента Университета Турку Пии Койвунен «Воплощая мир и дружбу: всемирные фестивали молодежи и советская культурная дипломатия». Основное внимание уделяется московскому фестивалю 1957 г., а также его предыстории начиная с пражского фестиваля 1947 г. Интерес к этой теме возник у Койвунен из знакомства с личными воспоминаниями и сувенирами финских участников, на основании которых складывался исключительно позитивный образ фестивалей: они были возможностью посетить за небольшие деньги другие страны (и это во времена, когда зарубежные поездки были все еще редкими и дорогими), встретиться там с другими молодыми людьми и весело провести время.

11 Рашидов был также писателем. В частности, в 1956 г. он опубликовал повесть «Кашмирская песня», посвященную борьбе индийского народа против колониального гнета.

При этом политическое значение фестивалей казалось второстепенным или даже вовсе незначимым. Между тем в современной историографии такие фестивали обычно трактуются как сугубо пропагандистские мероприятия, проходившие под жестким советским контролем и имевшие целью распространение советского влияния. Отмечается, что они не имели ничего общего с настоящей, основанной на свободном общении дружбой между людьми из разных стран. Обращается внимание и на особое внутриполитическое значение фестивалей, в частности на связь московского фестиваля 1957 г. с политикой оттепели.



По мнению Койвунен, наличие столь разных трактовок делает необходимым исследование того, как соотносились между собой официальные задачи фестивалей и подходы к их организации с их восприятием участниками и населением тех городов, где они проводились. Подобно С. Микконену, автору книги об Обществе дружбы «СССР — Финляндия»[12], Койвунен считает, что значение культурных и спортивных обменов выходило за рамки официально предписанного. Они делали возможными очень разнообразные по характеру и культурным последствиям контакты между людьми. Конкретные обстоятельства проведения фестивалей, способы участия в них рядовых людей из разных стран придавали каждому из этих событий особый облик, и советских истеблишмент не мог это полностью контролировать. Фестивали использовались для таких целей, как встречи эмигрантов с родственниками, установление контактов с единоверцами, провоз запрещенной литературы и т.д. Книги Койвунен и Микконена вписываются в более широкий контекст исследований низовой советской культуры с их особым вниманием к тому, как советские граждане не только были объектами тоталитарного подавления, но и активно участвовали в конструировании советского, в трансформации его рамок[13].

---

12 *Микконен С.* Дружба по расчету: культура и искусство в советско-финских отношениях, 1944—1960 / Пер. с фин. Я. Новиковой. М., 2024. См. также сборник статей под редакцией Койвунен и Микконена: Beyond the Divide: Entangled Histories of Cold War Europe / Ed. by S. Mikkonen, P. Koivunen. N.Y.: Berghahn, 2015. Книге Койвунен предшествовала монография Й. Креколы о Восьмом всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки (1962): *Krekola J.* Maailma kylässä 1962. Helsingin nuorisofestivaali. Helsinki, 2012. См. об этом фестивале также: *Шорохова И.В.* Участие молодежи Карелии в VIII всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 г. // Карелия — приграничный регион России в XX—XXI вв.: формирование и становление карельской государственности в составе СССР/России: Сб. докладов. Петрозаводск, 2018. С. 86—91; *Она же.* Балет «Сампо» на VIII всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 г. // Рябининские чтения — 2019: Материалы VIII конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. Петрозаводск, 2019; *Она же.* Участие артистов Карелии в VIII всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки в 1962 г. // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2018. № 5 (174). С. 70—75.

13 См.: *Kotkin S.* Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. Berkley, 1995 (часть книги переведена на русский: *Коткин С.* Говорить по-большевистски (из кн. «Магнитная гора: сталинизм как цивилизация») / Пер. с англ. Э. Филипповой, О. Леонтьевой // Американская русистика: вехи историографии последних лет: советский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2001. С. 250—328); *Ross C.* Constructing Socialism at the Grass-roots: The Transformation of East Germany, 1945—1965. Basingstoke, 2000; *McDougal A.* Youth Politics in East Germany: The Free German Youth Movement, 1946—1968. Oxford, 2004.

Сразу после Второй мировой войны СССР создает целый ряд международных организаций, не имевших открыто коммунистического характера, чтобы распространять свое влияние за пределы стран социалистического лагеря. Наряду со Всемирной федерацией профсоюзов (1945), Женской международной демократической федерацией (1945), Всемирной федерацией научных работников (1946) и др. появляются также Всемирная федерация демократической молодежи (1945) и Международный союз студентов (1946), которые в дальнейшем будут заниматься организацией фестивалей. Эти организации выступали с позиций не марксизма-ленинизма, а общегуманистических ценностей: мира, дружбы, взаимопонимания и демократии. Но на Западе все они стали рассматриваться просто как инструменты советской внешнеполитической пропаганды. По мнению Койвунен, реальность была более сложной. После произошедшего при Хрущеве поворота к политике мирного сосуществования СССР открывается для культурных и туристических обменов. В этих условиях происходит ослабление контроля над созданными международными организациями, чтобы они могли более эффективно выполнять роль посредников между Востоком, Западом и Глобальным Югом. Советские инициативы не были лишь политическими манипуляциями. Наряду с построением альтернативного социального и экономического порядка Советский Союз стремился продемонстрировать возможность иной, чем на Западе, свободной от коммерциализации культуры. В позднесталинское время СССР стал рассматривать себя как хранителя подлинной общечеловеческой культуры, которая все больше вырождается на Западе. Возникающие в конце 1940-х гг. фестивали молодежи и студентов должны были оказывать оздоровляющее воздействие на глобальные культурные процессы.

На концепцию фестиваля повлиял опыт всемирных выставок, скаутских съездов, спортивных олимпиад (Койвунен пишет, что в фестивалях реализовался замысел П. де Кубертена, который хотел, чтобы олимпийские состязания, как у древних греков, имели культурную составляющую), а также советский опыт организации массовых торжеств — майских демонстраций и физкультурных парадов.

Именно демонстрация советских культурных достижений было главной задачей Первого всемирного фестиваля молодежи и студентов, состоявшегося в Праге в 1947 г. Туда получили возможность поехать М.Л. Растропович и М.М. Плисецкая (даже несмотря на то что отец ее был расстрелян в 1938 г. как «враг народа»). Участвовавшие в фестивале советские граждане могли увидеть иную жизнь, где еще сохранялись остатки довоенного благополучия. В то же время, цитируя уже перестроечные воспоминания Плисецкой, Койвунен пишет, что контакты участников советской делегации строго контролировались; у них не было денег, чтобы что-то купить; они перемещались группами, распевая гимн фестиваля или скандируя лозунги; над каждым довлела угроза быть досрочно отправленным на родину. Участники из других стран, жаждавшие общения с советскими сверстниками, интерес к которым после войны был особенно силен, почти не имели для этого возможностей. Как отмечает Койвунен, такого рода ограничения вредили эффективности советского проекта, как и его эксплицитная политизация в виде повсеместных портретов Сталина и Готвальда.

Будапештский фестиваль 1949 г. ознаменовался усилением политического контроля, в частности отказом в участии югославской делегации. Впрочем, и этот фестиваль, как и пражский, воспринимался по-разному: многие вспоминают коллективное пение гимна как трогательный момент всеобщего единения, а вовсе не как принуждение. Третий фестиваль проводился в Берлине в 1951 г., когда была в разгаре Корейская война и западные страны более активно препятствовали участию своих граждан в советском мероприятии. Направлявшимся на фестиваль участникам отказывали в транзитных визах; триста британских делегатов были за-

держаны на несколько дней в американской зоне оккупации в Австрии; других участников пришлось вывозить из Франции польским кораблем, поскольку все поезда в Германию были отменены. По словам Койвунен, действия западных стран хорошо запомнились участникам фестиваля, поскольку противоречили пропагандистской риторике, согласно которой железный занавес накрыл Европу с востока. Создавалось впечатление, что на деле контактам еще недавно разделенной войной молодежи препятствует именно Запад. Во время фестиваля в западных медиа активно распространялись слухи о том, что участников кормят гнилым мясом, что среди них началась эпидемия холеры, что фестиваль постоянно сопровождается раздорами, но участниками это воспринималось как откровенная ложь. В Западном Берлине были организованы альтернативные культурные развлечения с бесплатным угощением, восточногерманских участников фестиваля призывали остаться на Западе, но особенно запомнившимся моментом было организованное председателем Союза свободной немецкой молодежи Э. Хонекером шествие в Западный Берлин, закончившееся столкновениями с западногерманской полицией, жестокие действия которой наглядно демонстрировали репрессивность капиталистического строя. В результате, резюмирует автор, бойкот со стороны западных стран не смог предотвратить проведение фестиваля, а вместо этого лишь еще больше толкнул его в советскую орбиту влияния.

Койвунен обращает внимание на то, что в воспоминаниях западных участников трех первых фестивалей отсутствует какая-либо критическая рефлексия, а ведь тогда был апогей культа Сталина. Она объясняет это тем, что весь реальный и вымышленный негатив озвучивался западной пропагандой, и идентифицировать себя с нею никто не желал, важнее было то позитивное, что удалось увидеть и пережить. В то же время многие ездили на фестивали просто развлечься и участвовали в них по много раз, специально для этого вступая в левые молодежные объединения.

Фестиваль в Бухаресте 1953 г. был, по словам автора, сталинским фестивалем без Сталина. Его статуи еще стояли, а многие учреждения носили его имя, но портреты и транспаранты с цитатами уже отсутствовали. Только что закончилась Корейская война, произошло восстание в Восточном Берлине, было неспокойно и в Польше. Незадолго до открытия фестиваля был арестован Л.П. Берия. Признаком наступления новых времен было и то, что после завершения фестиваля более двух тысяч финских участников по комсомольской линии смогли посетить Москву и Ленинград, хотя для въездного туризма СССР откроется только в 1955 г. По словам Койвунен, избранный в 1952 г. первым секретарем ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепин понимал, что позднесталинская самоизоляция вредит распространению советского влияния, в том числе среди западной молодежи, и потому нужно сделать Комсомол более открытым для международных контактов, в частности постараться привлечь к организации фестивалей некоммунистические западные молодежные объединения. Для этого можно было ослабить контроль над Всемирной федерацией демократической молодежи и Международным союзом студентов.

После Бухареста возникает идея проведения фестиваля в Москве. Однако, поскольку столица СССР была не готова к этому ни инфраструктурно, ни политически, было решено провести фестиваль 1955 г. где-то еще, а московский отложить до 1957 г. Койвунен подчеркивает, что решение о проведении фестиваля в Москве было принято за два года до XX съезда. Подготовка фестиваля, таким образом, не была следствием произошедших на съезде перемен, а во многом прокладывала им путь. После долгих обсуждений принять фестиваль 1955 г. не совсем охотно согласилась Варшава. Нежелание проводить фестиваль было связано прежде всего с тем, что он был тяжелым финансовым бременем. Расходы в основном несли именно СССР и его союзники, приезд западных участников, а также участников из стран

Азии, Африки и Латинской Америки дотировался. Западные левые просоветские организации были способны лишь на совсем незначительные денежные взносы. Перераспределение финансовой нагрузки было одним из аргументов руководства ВЛКСМ в пользу более активного привлечения западных партнеров, об этом Шелепин прямо писал в 1955 г. в ЦК КПСС.

В случае с варшавским фестивалем особой трудностью было то, что даже среди членов Союза польской молодежи более 70% были верующими. Папа Пий XII запретил им участвовать в фестивале и организовал альтернативный католический съезд. В результате поляки готовили варшавский фестиваль без энтузиазма, плохо его рекламировали, не стремились к расширению сложившейся программы. Кроме того, как до этого в Румынии, пошли слухи, что из-за фестиваля совсем не станет еды, опять введут карточки. Отношение значительной части населения к фестивалю было враждебным. Поезда с участниками и места их жительства забрасывались камнями. Скандировались антисоветские лозунги. Были враждебные акции и в отношении западных немцев. Подвергались избиениям африканские и азиатские участники. При этом, как и на предыдущих фестивалях, более 80% участников были европейцами, а среди выходцев из Азии, Африки и Латинской Америки было много учившихся в Европе студентов. К организации фестиваля не удалось привлечь прозападные молодежные объединения, но менее строгий отбор участников привел к тому, что приехало особенно много «антисоветских элементов». В то же время, по данным советской цензуры, более 90% открыток, отправленных участниками фестиваля во Францию, Италию и Швейцарию, сообщали о фестивале и Польской народной республике только хорошее. Применительно к Англии это было 72%, к Западной Германии — 60%, к Бельгии — 100%, к Австрии — 97%.

Московский фестиваль должен был придать этому событию новый размах и в то же время избежать множества обнаружившихся проблем с организацией. На проведение фестиваля были выделены рекордные суммы; многое делалось и для того, чтобы к появлению тысяч зарубежных гостей подготовить жителей СССР, для которых еще недавно общение с иностранцем было сродни измене Родине. Наряду с мерами по повышению «культурности» советской торговли организовывалось изучение иностранных языков и истории зарубежных стран. Для подготовки советских граждан к беседам с иностранцами стали проводиться инструктажи по разным сложным темам, которые прежде замалчивались. Пропагандировалась даже терпимость к иным взглядам. ВЛКСМ пошел на конфликт с Союзом композиторов и Отделом культуры ЦК КПСС, легализовав джазовые оркестры и оказав им поддержку; в канун фестиваля в Москве их было уже более ста. Чтобы избежать обвинений в отсутствии свободы слова и свободы совести, были предусмотрены студенческие дискуссионные семинары и встречи представителей религиозных групп[14]. Были организованы художественные выставки, где, в частности, можно было увидеть работы Э. Булатова и О. Рабина, восточногерманских экспрессионистов и японских сюрреалистов, что способствовало признанию в СССР альтернативных соцреализму видов искусства. В западных медиа, как отмечает Койвунен, подготовку к фестивалю сравнивали с тем, как при Сталине гостям показывали приукрашенную реальность[15].

---

14 См. также: *Герасимова О.Г.* К вопросу об участии Московского университета в подготовке и проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 г. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2005. № 1. С. 35—64.

15 Ср.: *Орлов И.В., Попов А.Д.* See USSR! Иностранные туристы и призрак потемкинских деревень. М., 2018; *Кузнецова Л.* Пространство советского курорта: свобода или контроль? // Новое литературное обозрение. 2014. № 126. С. 123—131. О туристических образах как важных наглядных воплощениях советской мечты см.:

Однако дело обстояло несколько иначе, и участники имели гораздо больше возможностей увидеть реальную жизнь СССР.

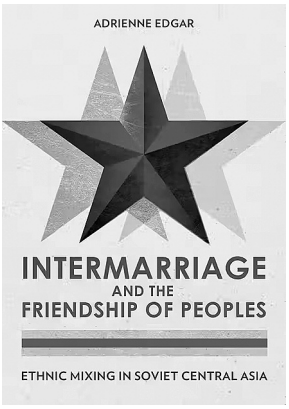
За несколько недель до начала фестиваля была предотвращена попытка смещения Хрущева консервативным крылом Президиума ЦК. Яркое открытие фестиваля стало празднованием победы курса на десталинизацию. Участники вспоминали, что никто не проверял их багаж, что можно было запросто пойти погулять по Красной площади и даже потанцевать на балу в Кремле. Один занзибарец даже пригласил на танец члена Президиума ЦК Е.А. Фурцеву. В целом, однако, суждения западных участников отличались амбивалентностью. Они видели, что жители страны, запустившей спутник, не могли себе позволить и пары новых костюмов в год. Весьма разнились оценки жилья и витрин магазинов. По словам Койвунен, в воспоминаниях можно найти своего рода бриколаж из официальной советской пропаганды и неоднозначных личных впечатлений. Для искренне веривших в коммунизм советская реальность была большим разочарованием.

Советские воспоминания о фестивале гораздо менее обстоятельны. Они писались в основном позднее, в 1960-е гг., в перестройку и после распада СССР, когда важнее казались другие события. В этих воспоминаниях преобладает ощущение краткого, но очень хорошего праздника, говорится о всеобщей радости, яркости переживаний, о песнях и плясках на улицах, о возможности подружиться с первым встречным, об искренней непосредственности отношений. Так, писатель А. Макаров утверждал, что все время был в состоянии экзальтации и не помнит, ел ли и спал ли в те дни, он просто был счастлив[16]. Другой участник писал, что в те дни будто марсиане высадились и бродили по городу. Койвунен отмечает, что вследствие сталинского запрета на контакты с иностранцами встречи с ними вызывали особую эйфорию. Их появление разрушало многие стереотипы: они не выглядели ни как нищие пролетарии, ни как капиталисты с сигарами, демонстрируя, подобно подвижным манекенам, привлекательность западной культуры потребления. Даже африканские участники были одеты слишком хорошо, чтобы быть похожими на полуголых угнетаемых дикарей. Советские граждане видели образованных африканских и азиатских студентов, владеющих несколькими языками, одетых по-европейски, но не забывающих собственную культуру. Важно было и открытие альтернативных способов быть коммунистом. Наряду с левыми активистами в Москву, однако, приехали и канадские духоборы, желавшие посмотреть свою историческую родину. Члены израильской делегации, выглядевшие уверенными в себе, не скрывавшие национальность и веру, были удивительным примером для переживших борьбу с космополитизмом советских евреев. Для делегатов были организованы посещения как православных храмов, так и костелов, синагог, мечетей, мест собраний разных протестантских групп. От бесед с верующими возникало впечатление, что никаких религиозных гонений в СССР нет. Впрочем, отмечает Койвунен, священники прошли перед фестивалем специальную подготовку. А студенческие дискуссионные семинары оказались скучным зачитыванием заготовленных деклараций, что организаторы объясняли необходимостью перевода. Количество участников таких «дискуссий» ограничивалось.

Коенкер Д. SPAсибо партии: отдых, путешествия и советская мечта / Пер. с англ. В. Петрова. Бостон; СПб., 2021; *Кузнецова Л.А.* Дискуссии о форме и содержании советского курортного отдыха (1920-е — 1930-е гг.) // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2018. № 4 (43). С. 98—106.

16 О карнавальности фестиваля 1957 г. см.: *Зеверт Д.Л.* Советский карнавал: от политического шествия до «праздника для народа» // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2016. № 4 (6). С. 118—125.

Тем не менее, заключает автор, фестиваль имел важные политические и культурные последствия для СССР. Он не был лишь инструментом пропаганды, множество участников делало из этого события то, что было нужно им, и властям приходилось с этим считаться. При этом, как видно из воспоминаний, ни советские граждане не стали меньшими патриотами своей страны, ни западные участники не обратились в коммунистов. То, что происходило на фестивале, не следовало черно-белой логике холодной войны.



Амбивалентностям советского интернационализма посвящена и книга профессора Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Эдриен Эдгар «Смешанные браки и дружба народов: межэтнические связи в советской Центральной Азии»[17]. Исследование основано главным образом на устных интервью с жителями бывших Казахской и Таджикской ССР. В этих беседах постоянно упоминалось о существовавшем в советское время духе интернационализма, о том, что национальность человека не имела значения, что все были просто советскими гражданами. В то же время нередкими были рассказы о дискриминации людей смешанного происхождения. Те же самые люди, которые говорили о неважности национальной принадлежности, охотно обсуждали расхожие тогда этнические стереотипы: казахи гостеприимны, русские пьют, азербайджанцы патологически ревнивы и пр.

По мнению Эдгар, этот парадокс указывает на внутренние противоречия в советском мультиэтничном государстве, которые проявлялись уже в том, что идеология интернационализма совмещалась, особенно в позднесоветское время, с примордиализмом в понимании национальности. Последняя осмыслялась как наследуемая биологически и определяющая черты характера человека. В период между Октябрьской революцией и Второй мировой войной национальность определялась как историческое явление, основанное на общих культурных корнях, а не на основе кровной общности[18]. Однако затем это меняется. Будучи основой территориального деления, нации стали восприниматься как вечные, бессмертные. Не в последнюю очередь такому их переосмыслению способствовало возрождение начиная с 1960-х гг. генетики, ранее разгромленной Сталиным[19]. В советской этнографии под влиянием работ Ю.В. Бромлея, директора Института этнографии АН СССР с 1966 по 1989 г., утверждается биосоциальное понимание этноса. Наиболее яр-

17 См. также: Intermarriage from Central Europe to Central Asia / Ed. by A. Edgar, B. Frommer. Lincoln, 2020.

18 Примордиализм, отмечает Эдгар, отрицался Сталиным в его каноническом определении: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры» (*Сталин И.В.* Марксизм и национальный вопрос. М., 1950. С. 22). В полемике со сторонниками Бунда и грузинскими меньшевиками Сталин настаивал, что «общность эта не расовая и не племенная», что нация — это «историческая категория определенной эпохи, эпохи подымающегося капитализма» (Там же. С. 15, 37). См. также: *Хирш Ф.* Империя наций: этнографическое знание и формирование Советского Союза / Пер. с англ. Р. Ибатуллина. М., 2022. С. 52—53. О сталинском повороте к примордиализму с конца 1930-х гг. см.: *Мартин Т.* Указ. соч. С. 606—617.

19 *Pollock E.* Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton, 2006; *Graham L.* Lysenko's Ghost: Epigenetics and Russia. Cambridge, MA, 2016.

кой фигурой, выдвигавшей альтернативные теоретические подходы, был в те годы Л.Н. Гумилев, понимавший этнос с еще более биологически детерминистских позиций и критиковавший смешанные браки. В результате, отмечает Эдгар, несмотря на официальную критику расизма, среди жителей позднего СССР все больше утверждались, по сути, расистские взгляды, способствовавшие подъему радикальных националистических движений[20].

В отличие от США, где долгое время проводилась политика расовой сегрегации, Советское государство всегда приветствовало межэтнические браки как проявление нерушимой дружбы народов. Считалось, что они постепенно позволят разным национальностям слиться в единый народ. Кроме того, в СССР, в отличие от Германии, США и Южной Африки, преобладали взгляды, что именно смешанное потомство оказывается наиболее крепким и здоровым. В то же время соотношение новой советской и исторической национальной принадлежности оставалось не вполне проясненным, и люди, родившиеся от смешанных браков, сталкивались со сложностями в поиске своего места в обществе из-за необычного облика, недостаточного знания местного или русского языка и т.д. При этом, хотя официально смешанными считались браки между людьми разных национальностей (согласно разработанной после 1917 г. системе национального деления), на практике, особенно в Средней Азии, важными границами были также религиозная принадлежность, родственные связи, социальный статус и образ жизни (оседлый или кочевой). Так, в Туркмении представители одного племени редко женились на представителях другого[21]. Во всей Средней Азии представители сакральных родов ходжей или сейидов женились в своем кругу. В то же время казахи, вступившие в брак с русскими, татарами или украинцами, часто не рассматривали свои семьи как смешанные из-за культурной близости. Таким образом, для многих советских людей национальность не была самым важным элементом идентичности. Тем не менее официальное понимание межнационального брака имело значение. Оно было создано после Октябрьской революции с упразднением церковного брака и постепенно было усвоено жителями страны, вытеснив иные понятия смешения. Так, бывшие граждане СССР из Центральной Азии понимают смешанный брак именно как брак между представителями двух национальностей. Созданные в советское время категории идентичности оказались весьма прочными.

Если в США и Великобритании во второй половине XX в. понятие межрасового брака все больше подвергалось критике, то в СССР отметки в паспортах, наличие территориальных национальных образований, национальных школ, газет, квот и т.п. укрепляли представление о существовании отдельных национальностей и национальной чистоте. По словам Эдгар, сами дискуссии о межнациональных браках, призванные размыть национальные границы, напротив, все больше укрепляли их, подрывая проект создания советского народа. Смешанные семьи стали заложниками этих противоречий, поскольку было недостаточно определять себя просто

---

20 Э. Вейц указывал на наличие расизма уже в национальных чистках 1930-х гг.: *Weitz E.D.* Racial Politics Without the Concept of Race: Reevaluating Soviet Ethnic and National Purges // Slavic Review. 2002. Vol. 61. No. 1. P. 1—29. Н. Найт оспаривал значимость расы для советской культуры и политики первых десятилетий: *Knight N.* Vocabularies of Difference: Ethnicity and Race in Late Imperial and Early Soviet Russia // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2012. Vol. 13. No. 3. P. 667—683. См. также: Ideologies of Race: Imperial Russia and the Soviet Union in Global Context / Ed. by D. Rainbow. Montreal, 2019.

21 Туркменской ССР была посвящена более ранняя книга Эдгар: *Edgar A.L.* Tribal Nation: The Making of Soviet Turkmenistan. Princeton; Oxford, 2004.

как советских граждан, а однозначно отнести себя к какой-либо национальности они не могли. Несмотря на позитивное отношение со стороны государства, смешанные семьи постоянно сталкивались с целым рядом сложных вопросов: как назвать ребенка, как определить гендерные роли в семье, как взаимодействовать с родственниками, делать ли ребенку обрезание и т.п. Даже если эти вопросы не вели к конфликтам, они требовали серьезного переосмысления сложившихся норм. Кроме того, вопреки поддерживаемым официальной советской этнографией представлениям о прогрессивности смешанного брака и о русских женщинах как об авангарде модернизации Средней Азии, в большинстве случаев жены добровольно или вынужденно принимали образ жизни мужей-мусульман и их родни. В некоторых случаях они затем даже поддерживали насильно устроенные свадьбы собственных дочерей. В подавляющем большинстве русско-мусульманских семей русскими были именно жены. Девушки из мусульманских семей в соответствии с нормами ислама не могли быть выданы замуж за немусульманина. Их держали взаперти, не позволяя ходить на танцы или даже просто гулять со сверстниками. Реалии советской Средней Азии были далеки от идеалов свободы жизненного выбора и гендерного равенства[22]. В отличие от других колониальных обществ, где смешение ограничивала доминирующая (то есть европейская) группа населения, в советской Средней Азии все обстояло наоборот, наибольшую открытость демонстрировали именно русские.

Представление о том, что в СССР не было сегрегации и конфликтов на расовой почве, вело к тому, что он исключался из обсуждения проблемы межрасовых гендерных отношений в колониальных и постколониальных обществах[23]. Между тем, как отмечает Эдгар, советский опыт поощрения межэтнических браков не совсем уникален. Можно найти параллели между Центральной Азией, где смешанные браки между русскими и местными жителями должны были способствовать цивилизационному развитию последних, и аналогичной политикой в Австралии и Новой Зеландии[24]. Также в странах Латинской Америки политика метисажа рассматривалась ее сторонниками как важное средство национального сплочения и развития[25]. При этом если в Австралии, Новой Зеландии и Латинской Америке такая политика со второй половины XX в. осмыслялась все более критически (в том числе историками), то применительно к СССР и постсоветским государствам в этом плане сделано довольно мало.

Три рассмотренные книги интересны тем, что позволяют увидеть советскую историю с необычных ракурсов: оттепель — из Ташкента и Дамаска, куда был отправлен послом Мухитдинов; фестиваль молодежи в Бухаресте — глазами финских

---

22 По словам Сахадео, одним из мотивов для миграций из Средней Азии и Закавказья в Москву и Ленинград было именно освобождение от насильно предписываемых семьями норм поведения. Ознакомительные поездки по комсомольской линии и участие в фестивалях способствовали открытию иных жизненных возможностей для молодежи с окраин: *Сахадео Д.* Указ. соч. С. 132, 135.

23 Ср.: *McClintock A.* Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. N.Y., 1995; Sex, Love, Race: Crossing Boundaries in North American History / Ed. by M. Hodes. N.Y., 1999; *Stoler A.L.* Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule. Berkley, 2002.

24 *Riddell K.* Improving the Maori: Counting the Ideology of Intermarriage // New Zealand Journal of History. 2000. Vol. 34. No. 1. P. 81—85; *Ellinghaus K.* Taking Assimilation to Heart: Marriages of White Women and Indigenous Men in the United States and Australia, 1887—1937. Lincoln, 2006.

25 *Miller M.* The Rise and Fall of the Cosmic Race: The Cult of Mestizaje in Latin America. Austin, 2004.

участников, фотографирующихся в национальных костюмах под памятником Сталину у зоопарка; дружбу народов — через непростые истории казахско-корейских, таджикско-татарских и русско-таджикских семей. В то же время амбивалентность советского интернационализма не трактуется как уникальная или патологическая черта, наоборот, она оказывается тем, что открывает новые возможности для критических сопоставлений по сравнению с теми, что стали обычными в рамках теории тоталитаризма[26].

26 Обзор написан в рамках проекта РНФ № 20-18-00482.

Ян Левченко

Деколониальная перспектива формализма в «Смерти Вазир-Мухтара»

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_395

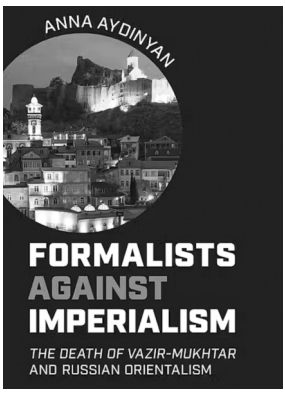
Aydinyan A. Formalists against Imperialism: *The Death of Vazir-Mukhtar* and Russian Orientalism.

Toronto; Buffalo; L.: University of Toronto Press, 2022. — XII, 224 p.

Книга Анны Айдинян с актуальным названием «Формалисты против империализма» представляет собой расширенный комментарий к роману Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» (1928). В ходе перестановки акцентов, обновляющей прочтение объекта под нужным углом зрения, автор обосновывает позицию, согласно которой представители формальной школы (по крайней мере петербургского формализма) были носителями антиимперских взглядов и продвигали критику российского колониализма задолго до того, как усилиями Эдварда Саида началось наступление на европейский ориентализм.

Предыстория деколониализма в России

Формалисты выступают здесь как продолжатели дела, начатого еще на рубеже веков так называемой школой Розена. Среди представителей этого направления петербургского востоковедения, таких как Василий Бартольд и Сергей Ольденбург, Николай Марр и Федор Щербатской, лишь последний имеет «русское» (при всей условности термина) происхождение, тогда как первые двое — немцы, а третий — сын шотландца и грузинки. Другими словами, они типичные продукты имперского микширования этносов и культур. То же самое можно сказать и о «петербургском триумвирате», как иногда называют костяк ОПОЯЗа в лице Виктора Шкловского, Юрия Тынянова и Бориса Эйхенбаума. Все они — евреи, тем или иным способом попавшие в столицу империи, логично отличавшуюся от других ее городов повышенной этнокультурной пестротой.



Петербургским востоковедам школы Виктора Розена была посвящена вышедшая в 2011 г. монография профессора Манчестерского университета Веры Тольц-Зилитинкевич «Собственный восток России». Книга выпускницы классического отделения ЛГУ (то есть также биографически связанной с Петербургом) была очень быстро переведена на русский и в 2013 г. опубликована в серии «История науки» издательства «Новое литературное обозрение». В рецензии на русское издание профессор ЕУСПб Сергей Абашин писал, что, несмотря на частые апелляции к идеям Саида, который мог быть знаком с идеями школы Розена через египетского марксиста Анвара Абдуль-Малека, моно-

графию о наследии петербургских востоковедов отличает намного большая сдержанность и дистанцированность[1]. Иными словами, профессор Тольц не присоединилась к крестовому походу против западного колониализма силами самого Запада, как это можно наблюдать в подавляющем большинстве случаев.

Айдинян пишет в предисловии, что Тынянов мог быть прямо или косвенно знаком с позицией ученых предшествующего поколения. Осторожность понятна: в отсутствие прямых ссылок было бы слишком самонадеянно утверждать, что литературовед, работающий преимущественно на русском материале, непосредственно опирается на тюркологов и буддологов, нередко писавших о предельно экзотических объектах. Но в пользу высокой вероятности знакомства Тынянова с петербургским востоковедением говорит его близкое знакомство с Вениамином Зильбером, входившим в литературную группировку «Серапионовы братья» и прославившимся под псевдонимом Каверин. Зильбер учился на арабском отделении Института живых восточных языков и закончил его в 1923 г. Диссертацию — уже по литературоведческому направлению — он посвятил Осипу Сенковскому, который выведен в том числе и в романе «Смерть Вазир-Мухтара»[2]. Именно его самодурству и неадекватности противостоит Грибоедов, защищая студентов как член экзаменационной комиссии в университете. Тынянов был не просто женат на младшей сестре Каверина, но и был его важнейшим наставником в деле освоения формалистской теории.

Коммерция, победившая словесность

Романтический национализм, возросший на ниве Просвещения, поколение Пушкина и Грибоедова ставит на службу империи, еще не сознавая разрушительность своих на тот момент прогрессивных взглядов. Формалисты в этом смысле ближе революционным идеалам конца XVIII в., и Тынянов занимает позицию, схожую с той, что первым среди них сформулировал правый эсер Шкловский, вспоминающий в травелоге «Сентиментальное путешествие» о своем «гранд-туре» в Персию в качестве комиссара Временного правительства. Однако, напоминает автор, роман Тынянова был издан накануне «года великого перелома» (1929) и освещал события вековой давности, когда романтизм эволюционировал в служение империи. В этом смысле Грибоедов, отказавшийся от литературы в пользу проектов в сфере государственного управления, выбран героем второго романа совершенно сознательно. Так же, как герой «Кюхли» (1925) был важен в качестве фигуры «попутчика» декабристов, наблюдающего их поражение, «Вазир-Мухтар» продолжал референсы к той современности, к которой пришлось приспосабливаться формалистам.

Один из ключевых объектов интереса Айдинян — проект Российской Закавказской компании, который Грибоедов составлял вместе с будущим гражданским губернатором Тифлиса Петром Завелейским. Перефразируя Терри Мартина, называвшего СССР «империей положительной деятельности» (the affirmative action

1 *Абашин С.* Востоковеды против ориентализма? (Рец. на кн.: Тольц В. «Собственный Восток России»: Политика идентичности и востоковедение в позднеимперский и ранний советский периоды. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 332 с.) // Антропологический форум. 2014. № 20. С. 343—351.

2 В качестве диссертации Каверин представил беллетризованное исследование, уже изданное в виде книги: *Каверин В.* Барон Брамбеус: история Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». Л.: Изд-во писателей, 1929.

empire)[3], в Завелейском можно распознать «колонизатора положительной деятельности». Это был влиятельный чиновник, основатель первых акционерных обществ Грузии, а также друг тестя Грибоедова — Александра Чавчавадзе, много сделавшего для урегулирования отношений грузинской аристократии с новыми русскими хозяевами. Айдинян считает, что благодаря такой перестановке акцентов ее книга становится редким исследованием по сравнительному колониализму, где его российская версия рассматривается на фоне французской и британской. В основном же трактовки «Смерти Вазир-Мухтара» лишь мельком затрагивают этот вопрос.

Анну Айдинян интересуют источники коммерческого гения Грибоедова. Как выясняется, наибольшее влияние на него оказали Дени Дидро и Гийом Тома Рейналь, в особенности его книга «История о коммерции европейцев в обеих Индиях» (1770). Ее частично переводили на русский начиная с 1776 г., а полностью издали накануне наполеоновского нашествия, причем по инициативе правительства. Именно из этого трактата Грибоедов почерпнул идею ограниченной экспансии, которая сопровождается интенсивным развитием новых территорий. Грибоедов и Завалейский предстают у Айдинян рационалистами, для которых заработок и честная конкуренция с той же Англией гораздо предпочтительнее захвата обширных территорий и создания «засечных полос» по периметру империй, препятствующих быстрому проникновению врага в центральные регионы, — то есть стратегии, которая, как показывает новейшая российская повестка, остается актуальной и по сей день.

В перспективе поныне здравствующего российского империализма Закавказская компания могла проиллюстрировать эмансипацию романтизма, то есть развитие от литературного опыта до большого предприятия, куда вовлечено множество людей и деловых интересов. Этому помешали ранняя смерть Грибоедова плюс отсталость Николаевской эпохи. В деколониальной же перспективе, как пишет Айдинян, Тынянов в своем романе «разоблачает империалистическую природу романтического национализма XIX в. и его ориенталистское письмо как неверного наследника Просвещения. Моральный компас XVIII в. становится генетическим наследием века XX-го, когда деды и внуки сближаются, минуя отцов» (с. 38).

В той же части, посвященной проекту Российской Закавказской компании, анализируется написанный в 1841 г. (год гибели Лермонтова — символический конец русского романтизма) и опубликованный в 1858 г. (то есть через десять лет после смерти уже самого автора) роман Хачатура Абовяна «Раны Армении». Историческое повествование о борьбе армянского народа за свободу во время Русско-персидской войны Айдинян рассматривает в аспекте меркантилистских взглядов Абовяна и его восторженного отношения к США в оппозиции колониям Испании, которые не столько развивались, сколько привлекали искателей золота. Роман дает немного материала для иллюстрации этих взглядов, но и его оказывается достаточно для выполнения задачи. Романтическая поэтика Абовяна создает рамку для его концепции органического развития родного края, который может достичь процветания только через подготовку местных кадров и развитие промышленности, использующей внутреннее сырье. Айдинян признает вместе с тем, что проекты Абовяна по преобразованию родного края едва ли имели прямые практические последствия. В контексте обсуждаемого исследования эта нереализованность становится еще одним аргументом в поддержку параллели идей Абовяна с неосуществленными замыслами «Вазир-Мухтара».

---

3 *Мартин Т.* Империя положительной деятельности: нации и национализм в СССР, 1923—1939 / Пер. с англ. О.Р. Щелоковой. М.: РОССПЭН, 2011.

Даль научного романа

Книга отвечает современной тенденции обращаться с литературой как с материалом истории, инструментом политики и зеркалом общества. Айдинян — выпускница Йеля и ученица Катерины Кларк, принадлежащей к первому поколению «преодолевших формализм» (перефразируя заглавие известной статьи Жирмунского об акмеистах[4]), то есть исследователей-русистов, вышедших за границы анализа собственно литературного текста. Впрочем, Айдинян сознает необходимость рассмотреть и литературную сторону романа, о чем свидетельствует небольшой раздел «Романный контур ориентализма» (с. 61—74), где ставится задача анализа литературных приемов, которыми оперирует Тынянов для описания Кавказа. Тем не менее представляется, что речь идет не столько о приемах, сколько об эпитетах, которыми награждают Кавказ русские авторы начиная с Державина и Жуковского и которые становятся у Тынянова, как водится, объектом пародии. Для Айдинян понятие пародии служит едва ли не универсальным инструментом интерпретации. Понятно, что Тынянов сам дает для этого убедительные основания, а его концепция пародии крайне суггестивна, однако ни о каких литературных приемах в упомянутом разделе почти ничего не говорится.

В итоге перекос в сторону эксплуатации литературы в антиформалистском духе остается непреодоленным. Если анализ политических и экономических идей Грибоедова, а также их сравнение со взглядами Абовяна дает несомненный прирост, то по части анализа романа в контексте собственно литературной истории и тем более истории самой формальной школы налицо легкая архаичность. Так, во второй части книги, которая призвана осветить эту сторону материала, выдвигается характерный полемический тезис. Автор пишет: «Читая роман Тынянова как исследование русского ориентализма и применяя к нему бахтинское понятие диалогизма, я бросаю вызов мнению, что Тынянов и формалисты рассматривали литературу в автономном ключе и оставляли без внимания свою связь с историей или с жизнью» (с. 42). Носителем этого удивительного мнения выступает… Ханс Роберт Яусс, видимо, в общих чертах слышавший о формалистах, но точно не занимавшийся анализом их теоретического пути.

Легко спорить с Яуссом, привлекая в качестве инструмента анализа Тынянова такое полезное понятие, как «диалогизм» Бахтина! «Вдруг стало видимо далеко во все стороны света», как писал в чуть другой связи Николай Васильевич Гоголь в повести «Страшная месть». Ошибочно датировав статью «О литературной эволюции» 1924 г. (на самом деле — 1927), автор ссылается на статью Стивена Ловелла «Тынянов как социолог литературы» (2001)[5], дабы подкрепить свою мысль о том, что формалисты включили в сферу своих интересов внелитературные ряды во второй половине 1920-х гг. Ни свидетельства близкого круга — того же Каверина, Бориса Эйхенбаума, Лидии Гинзбург, — ни более ранние, чем статья Ловелла, книги Оге Ханзена-Лёве, Питера Стайнера, Юрия Штридтера, скорректировавших образ формалистов, созданный Бахтиным под маской Павла Медведева[6], не попали в поле зрения исследовательницы. Отсюда — представление о том, что бросаешь вызов, хотя забиваешь красивый мяч в развалившиеся от времени пустые ворота.

---

4 *Жирмунский В.* Преодолевшие символизм // Русская мысль. 1916. № 12. С. 25—56.

5 *Lovell S.* Tynyanov as Sociologist of Literature // Slavonic and East European Review. 2001. Vol. 79. No. 3. P. 415—433.

6 *Медведев П.Н.* Формальный метод в литературоведении / М.М. Бахтин; коммент. В.Л. Махлина. М.: Лабиринт, 1993.

По утверждению Айдинян, роман Тынянова пародиен в первую очередь в отношении пушкинского «Путешествия в Арзрум». В позднейшей статье об этом травелоге (1936)[7] Тынянов реагирует на сталинский мортально-юбилейный заказ (к 100-летию гибели) и выводит Пушкина критиком русской колониальной политики. Хотя достаточно пробежать глазами пушкинский оригинал, чтобы выявить его простодушно-колониальное отношение к кавказским «туземцам», пусть и слегка смягченное романтическим гуманизмом в отношении страданий, которые те вынуждены терпеть от жестоких и непреклонных завоевателей. Пушкин ироничен и дистанцирован, его язвительность — следствие скорее общего презрения к солдафонским порядкам родного отечества, чем какого-то проникновенного отношения к угнетенным. Айдинян вполне к месту напоминает, что Тынянов скорее сам по возможности ироничен, в том числе в статье 1936 г., когда пишет о «самоваре и христианстве» как формуле российской колониальной политики на Кавказе.

«Путешествие в Арзрум», безусловно, выступает по отношению к «Смерти Вазир-Мухтара» как отправная точка, своего рода биографическое либретто, а в широком смысле — как важнейший метатекст. Тогда как в качестве источника цитат, референций и реминисценций, своего рода словаря приемов выступает другой травелог, написанный в 1919—1922 гг. Виктором Шкловским. Речь идет, разумеется, о «Сентиментальном путешествии», которое представляет собой еще и мемуар ближайшего друга и коллеги по научной школе. Грибоедов как персонаж Тынянова создан по образу и подобию Шкловского как персонажа Шкловского. Оба они, выражаясь словами из книги, «инсайдеры, наделенные знаниями и властью, временами чувствующие себя беспомощными и сбитыми с толку сложностью исторических событий, в которых им приходится принимать участие» (с. 56). Они — «люди двадцатых годов», которых история вознесла на гребень волны с разницей в столетие. Один погиб молодым и остался символом крушения романтизма, другой приспособился к страшному времени, научившись «скрещиваться с материалом» и «пропадать, как мясо в супе»[8]. Оба иллюстрируют жуть и тщету русской истории, идущей по кругу.

Секс, бунт и (черные) дыры истории

Все, что нужно знать о колониализме на Кавказе, да и где бы то ни было в сходной степени, выражено в одном эпизоде романа «Смерть Вазир-Мухтара». Там приводятся разговоры на обеде у генерала-адъютанта Сухозанета — участника все той же Русско-персидской кампании, позднее директора пажеского корпуса и затем военной академии, в этой должности ставшего нарицательным обозначением бессмысленной муштры, убивавшей в молодых офицерах остатки человеческого достоинства. Павел Голенищев-Кутузов, в то время военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга, рассказывает, с трудом одолевая смех: «...после взятия Эривани стояли в Ихдыре. Селение такое: Ихдыр. Вот и будто бы, — покосился он на Грибоедова, — граф там тост сказал: за здоровье прекрасных эриванок и ихдырок». Хохот, пишет далее Тынянов, «стал всеобщим», и добавляет: «...это было средоточие всего сегодняшнего обеда, выше веселье не поднималось»[9].

---

7 *Тынянов Ю.Н.* О «Путешествии в Арзрум» // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. С. 57—73.

8 Цитаты из книги Виктора Шкловского «Третья фабрика» (1926) — последней части его теоретико-автобиографической трилогии.

9 *Тынянов Ю.Н.* Смерть Вазир-Мухтара // Тынянов Ю.Н. Сочинения: В 3 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1959. Т. 2. С. 115.

Тынянов ставит сдержанный акцент в том месте, где смолчать нельзя, каким бы иронично-дистанцированным ни был повествователь в романе. Голенищев-Кутузов косится на Грибоедова не потому, например, что выдумывает название места: Ыгдыр — город, как раз отошедший к Эриванской губернии в результате Турманчайского мира. Это правдивый анекдот, который может не понравиться Грибоедову, как опасаются присутствующие. В подавляющем большинстве никто не видит в произнесении такой остроты ничего предосудительного. Более того, это законная «пометка» завоеванной территории. «Туземки» относятся к тому же уровню трофеев, что недвижимость, скот и другие ценности. Пьют ли офицеры за прекрасных дам или сразу переходят к делу.

Но Грибоедов не столько шокирован, сколько разочарован неотесанным юмором петербургского губернатора. Он знает толк в завоевании женщин, которые для него тем желаннее, чем унизительнее их положение. Вот еще один фрагмент, где описывается секс Грибоедова с Геленой фон Иде, женой его друга Фаддея Булгарина, прекрасно знающего, куда и с кем «Леночка» исчезает из театра:

> Он тупым железом входил в тучную землю, прорезал Кавказ, Закавказье, вдвигался клином в Персию.
>
> Вот он ее завоевывал, землю, медленно и упорно, входя в детали.
>
> И наступило такое время, что все уже было нипочем.
>
> Чего там! Не свист дыхания, а разбойничий свист стоял во всем мире.
>
> Он догуливал остатки Стенькой Разиным, были налеты на землю, последние грабежи, все короче и глубже.
>
> Какая злость обрабатывала мир.
>
> И наступило полное равновесие — младенческая Азия дышала рядом. Легкий смех стоял у него на губах[10].

Виртуозная параллель между фактическим изнасилованием и аннексией территорий в терминах исследования Айдинян также может быть описана как сугубо пародийная. Как я уже писал выше, пародия здесь универсальна: Тынянов только тем и занимается, что с карнавальным сарказмом жонглирует Пушкиным, Радищевым и даже шпионскими романами. Однако это не столько пародия, или снижение, сколько работа возвышенного, которое, по Канту, дает о себе знать, когда человек сознает присутствие чего-то, что превосходит его масштабы. Секс с чужой женой возвышается в сознании Грибоедова до колониальной программы России, которая начинается объявленными войнами и оборачивается сепаратизмом окраин. Образ Стеньки Разина, как бы вдруг взявшийся тут, конечно, совсем не случаен. Ведь наиболее красноречивым свидетельством жестокости российского колониализма становится случайно доставленное Грибоедову письмо от бывшего вахмистра Нижегородского полка, ставшего в Персии Самсон-ханом. Мало что доставляет Грибоедову больше дискомфорта, чем письмо человека, которого он за десять лет до этого назвал канальей и у которого обманом увел 75 казаков, обещая им вольную, а вместо этого заковав их в кандалы.

Показательно, что соглашение, достигнутое с Ираном стараниями Грибоедова, важнейшим пунктом имеет возвращение домой в Россию всех русских, что оказались на службе у иранского князя Аббаса-Мирзы. То есть, говоря коротко, расправу над ними. И казак Самсон-хан вежливо напоминает, что новые подданные Персии будут защищаться от бывшей родины, так как больше ей не подчиняются и только в страшном сне видят свое возвращение. По этой причине утонченный автор

10 Там же. С. 58.

«Горя от ума» называет Самсона Макинцева «Новым Стенькой». Потому что боится смертельно, до окоченения и дурноты, длинноволосых всадников в остроконечных шапках, в которых уже и не узнать бывших подданных православного царя. Страшно Грибоедову не только читать письмо с проклятиями от бывшего казака. Страшно вспоминать, как престарелый палач Кавказа генерал Ермолов холодно рассуждал о том, как можно перехватить в России власть, пойдя на столицу из взбунтовавшихся колоний. Страшно думать о будущем, где разъяренная толпа прервет его собственную жизнь в далеком Тегеране, куда его зашлют, засунув под сукно проект прекрасных преобразований «российской Ост-Индии».

Предотвращение будущего

Анна Айдинян предлагает в своей монографии весьма сложную перспективу, в которой проблема деколонизации бывших территорий Российской и граничащих с ней (и соответственно, конкурирующих) империй требует учета множества позиций и точек зрения. Роман Тынянова становится своеобразным «черным ящиком», преобразующим высказывания о прошлом в оптике раннесоветской постколониальной утопии и в то же время программирующим обреченность этого проекта на неудачу. Тынянов не имеет права занимать позицию всезнающего нарратора в отношении своего героя, так как через сто лет находится, в сущности, в той же точке собственной невостребованности и выпадения из времени.

Если мир с Ираном для Грибоедова как имперца — предмет расстройства и причина сплина, то для Тынянова мир самого Грибоедова — предмет иронии. Кстати, тем самым подход формалистов к XIX в. оказался намного более дистанцированным и, следовательно, адекватным, чем стремление спрятаться в него от современности в позднесоветской филологической культуре. Тынянов с бесконечной усталостью и четким пониманием будущего смотрит на политические маневры ранней николаевской России из эпохи заката НЭПа и нарастания советского террора. Сталинский колониализм еще не заявил о себе в полную силу, и формалист еще может позволить себе транслировать привычный интернационализм первого пореволюционного десятилетия. Он уже понимает, к чему все идет. Формалистские достижения ждет судьба грибоедовского проекта.

В рассмотренном комментарии к «Смерти Вазир-Мухтара», на данный момент самом полном и разноплановом, Грибоедов прямо сравнивается с евнухом Мирзой Якубом, сыгравшим роковую роль в его судьбе. Именно этот этнический армянин, оскопленный в юношеском возрасте, знавший несколько языков и отвечавший за казну при дворе Алаяр-хана, решил воспользоваться правом армян вернуться на родину согласно все тому же Туркменчайскому договору. Покровительство, которое русская миссия оказывала ему и подобным ему людям, и привело в итоге к эскалации напряжения в тегеранском обществе и последующей расправе.

Айдинян считает, что Грибоедов, как и Мирза Якуб, оказался в жерновах истории, что его судьба иллюстрирует превратности жестокого исторического периода, когда опыт жизни на границах культурных ойкумен нес в себе несравненно большие риски, чем пребывание в устоявшихся центрах империй. Но эти жертвы не напрасны, так как задают новые перспективы восприятия колониальных отношений. Остается добавить к этому, что в аналогичные жернова вскоре угодил и Тынянов. Ему было важно успеть реализовать проект биографической трилогии, поставившей научную проблему крушения интеллектуального поколения примерно раз в столетие русской истории. Интуиции его не подвели, а иллюзии вовсе не были ему присущи.

Хроника научной жизни

Цикл семинаров
«В фокусе: деколонизация»

(*Центр исследований России и Евразии имени Кэтрин и Шелби Дэвисов в Гарвардском университете, 3 февраля — 31 марта 2023 года*)[1]

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_402

За последние годы понятие «деколонизация» стало одним из наиболее частотно используемых в социогуманитарных науках, в особенности в англоязычном академическом мире. Из рассуждений исследователей этот термин перешел в практики культурных институций, политический дискурс и обыденную речь. Важным импульсом к этому стал также подъем активизма среди этнических меньшинств и других непривилегированных групп, порой никак не связанного с академической средой и даже противопоставляющего себя ей.

Цикл семинаров «В фокусе: деколонизация» Центра исследований России и Евразии имени Кэтрин и Шелби Дэвисов Гарвардского университета имел целью осмыслить, конкретизировать и проблематизировать этот термин, сфокусировавшись на постсоветском пространстве — где его использование остается довольно непривычным и активно оспаривается. Шесть секций, состоявшихся с февраля по март 2023 года, были посвящены соответственно релевантности этого понятия для данного исследовательского поля, соотношению англоязычного академического дискурса и других региональных и локальных научных традиций, голосам молодых ученых, влиянию научного знания на практическую деятельность, новым стратегиям в преподавании и будущему славистических исследований. Едва ли можно утверждать, что в результате была выработана некая единая точка зрения — скорее, напротив, в докладах и дискуссиях звучали порой в чем-то противоположные позиции, но именно то, что все они смогли прозвучать, и представляется важным в конечном итоге.

Первый семинар, озаглавленный «Деколонизация: почему это важно?», прошел 3 февраля 2023 года; модератором выступила *Тамар Ширинян* (Университет Теннесси, США). После небольшого вступительного слова *Жужанны Магдо* (Питтсбургский университет, США), поприветствовавшей участников и слушателей от лица ключевого спонсора мероприятия — Ассоциации славистических, восточно-

1 Программу и записи секций можно посмотреть на сайте центра: https://daviscenter.fas.harvard.edu/insights/announcing-decolonization-focus-seminar-series (дата обращения: 18.06.2024).

европейских и евроазиатских исследований (ASEEES*), — и представления докладчиков семинар открылся выступлением *Марины Могильнер* (Иллинойский университет в Чикаго, США).

По мысли докладчицы, активно ведущиеся в настоящее время дискуссии о деколонизации страдают от ряда методологических ловушек. Эти ловушки преимущественно связаны с эссенциализирующей тенденцией — склонностью рассматривать те или иные понятия как данности, контуры которых четко очерчены раз и навсегда. В частности, Могильнер отметила контрпродуктивное, по ее мнению, внеисторическое использование жестких бинарных оппозиций наподобие «колонизатор — колонизируемый». В противовес этой тенденции докладчица предложила остранить привычные категории анализа, такие как «колония», «империя», «Европа», чтобы сохранять чуткость к специфике смысла, которым они наполняются в каждом конкретном контексте. При таком использовании, по мысли Могильнер (сооснователя и редактора журнала «Ab Imperio»), понятие «империя» оказывается особенно продуктивным, так как, не совпадая полностью ни с одной из реальных империй, позволяет проследить процесс их формирования и изменения во времени, задействуя широкую компаративную перспективу.

Одним из проявлений эссенциализма Могильнер назвала некритическое, антиисторическое использование понятий «Россия» и «российский», особенно в том контексте, в котором сейчас нередко говорят об «отмене» российской культуры. Сходная мысль прозвучала в докладе *Светланы Бедаревой* (Ибероамериканский университет, Мексика / Киевская школа экономики, Украина), которая указала на парадоксальные последствия ассимиляции деятелей искусств с имперских «окраин» в русскую культуру — теперь они тоже оказываются «отменяемыми». Так, Школа архитектуры американского художественного колледжа Купер-Юнион отложила проведение выставки, посвященной ВХУТЕМАСу, которая должна была открыться в конце января 2023 года[2]. Этот пример наглядно показывает, что обманчивое наименование «русский авангард» прочно укоренилось не только в российской исследовательской традиции, но и в мировом искусствоведении. В качестве другой иллюстрации этой тенденции Бедарева назвала книгу Бориса Гройса «Gesamtkunstwerk Сталин», где в русские художники оказались бесхитростно записаны уроженцы Украины от Малевича до Кабакова.

Гройс, как известно, ввел в оборот термин «московский концептуализм», по аналогии с которым получили свое название другие региональные версии советского неофициального искусства, в частности «одесский концептуализм». По мысли Бедаревой, этот кейс позволяет высветить комплексные отношения между «центром» и «периферией»: с одной стороны, термин будто бы мигрирует из Москвы в Одессу, демонстрируя «вторичность» локальных художественных явлений. С другой стороны, сами эти явления не просто предшествуют термину, но, можно сказать, развиваются в обратном направлении: так, в становлении московского концептуализма значительную роль сыграли художники из Одессы и других украинских городов, например участники (московской) арт-группы «Инспекция “Медицинская герменевтика”» Юрий Лейдерман, Сергей Ануфриев и Владимир Федоров.

Игнорирование этой сложной динамики, ее «спрямление» в сторону утверждения безусловной гегемонии центра — одна из характерных черт колониализма, суть которого не сводится к экономической эксплуатации. Об этом говорила в своем выступлении следующая докладчица семинара, *Эпп Аннус* (Университет штата

---

* ASEEES признана нежелательной организацией на территории РФ.

2 В итоге выставка прошла 25 апреля — 5 мая 2023 года, после бурной полемики в американской и мировой прессе и соцсетях.

Огайо, США). По ее мнению, именно колониализм ответствен за развитие эссенциализирующего мышления, продолжающего даже в постколониальную эпоху делить мир на «своих» и «чужих». Ключевым аспектом колониализма Аннус назвала централизованное принятие решений, не учитывающее локальных интересов и игнорирующее знания локальных акторов (из-за чего представители центра, ответственные за принятие таких решений, нередко оказываются плохо информированными о контексте их имплементации и возможных последствиях).

Отталкиваясь от рассуждения Эдварда Саида в его работе «Культура и империализм», докладчица указала на центральное значение земли, территории для колониального проекта. Но если для Саида территория представляет собой прежде всего географическое и социальное пространство, то Аннус привлекает внимание к материальности природы (вернее, природы-культуры, понимаемой в латуровском ключе) и акцентирует также аспект экологического насилия в отношениях метрополии и колоний. Разрушение экосистем, отравление воздуха и почв, радиационное заражение не только трансформируют ландшафт и делают его менее пригодным для жизни — они входят в тело, отпечатываясь в каждой его клетке, и для анализа всей этой совокупности последствий колониализма требуется многоуровневый трансдисциплинарный подход.

Подводя итоги секции, Тамар Ширинян обратила внимание на то, как по-разному трактуется (де)колонизация в различных исследовательских традициях: в рамках подхода, для которого парадигматическим является колониализм, осуществляемый путем создания поселений (settler colonialism), деколонизация понимается исключительно как возвращение земли коренным народам, и метафорическое использование этого понятия критикуется. По мнению модератора, доклад Аннус представил важную альтернативу такой позиции, показав, как можно по-новому концептуализировать «землю», совмещая практическую конкретность с широтой взгляда и задействуя среди прочего перспективу социальной экологии.

Также Ширинян предложила подумать о неоднозначной роли Западной Европы и США в том, как осмысляется колониализм в Восточной Европе и Евразии. Зачастую речь идет об импорте авторитетных теорий, переносимых в контекст, значительно отличающийся от ситуации, для описания которых они изначально создавались, — что само по себе можно рассматривать как форму власти, эпистемологическую «колонизацию». Этот эффект накладывается на политическое и экономическое доминирование Запада, которое достаточно остро ощущается в регионе. В частности, в Армении, как отметила Ширинян, о неоколониальных амбициях США говорят и консервативные силы, по мнению которых Запад навязывает другим странам чуждые им ценности, и левые политики, указывающие на фатальные последствия «вашингтонского консенсуса»[3] для постсоветских экономик. Пересечение и взаимное наложение различных форм и векторов имперского господства стало одной из центральных тем всего цикла семинаров, и, в частности, второе мероприятие серии, озаглавленное «Дискурс и деколонизация: взгляд из-за пределов англоязычной академической среды», поместило в фокус внимания конкуренцию исследовательских парадигм и динамику властных отношений в этой области.

Этот семинар, состоявшийся неделю спустя, 10 февраля, модерировал *Виталий Чернецкий* (Канзасский университет, США). Заседание открылось выступлением *Катажины Гурак-Сосновской* (Варшавская школа экономики, Польша), рассказавшей о рецепции деколониальных теорий в Польше и о своем собственном

3 «Вашингтонским консенсусом» называют совокупность мер по либерализации экономики, которую в 1990—2000-е годы Международный валютный фонд и Всемирный банк рекомендовали для преодоления кризисов переходного периода.

опыте знакомства с этими идеями. По мнению докладчицы, дискуссии о деколонизации представляют собой диалог между странами первого и третьего мира, тогда как второй мир, включая Польшу, никак в нем не участвует. В польских академических кругах исторический опыт собственной страны практически никогда не обсуждается в (де)колониальном ключе: изучив англоязычные и польскоязычные статьи, выдаваемые сервисом «Академия Google» по соответствующим запросам, Гурак-Сосновска обнаружила разрыв в несколько порядков по количеству публикаций в целом и по степени их релевантности теме истории польского колониализма.

Исследовательница также поделилась рассказом о том, как на заре своей академической карьеры направила в западный научный журнал статью, в которой утверждала, что Польша, в отличие от стран Западной Европы, никогда не была колонизатором. Предсказуемым образом статья была отклонена. Редакторы и рецензенты международных журналов с высоким рейтингом выступают в роли «привратников» (gatekeepers), не допускающих распространения «неправильного» знания, закрепляя мировое господство англо-американских научных парадигм. Эта ситуация крайне проблематична: с одной стороны, продвигаемые таким образом идеи зачастую действительно имеют высокий эвристический потенциал — так, Гурак-Сосновска со временем пересмотрела свои взгляды на польский колониализм и нашла деколониальную перспективу весьма продуктивной для собственных исследований. С другой стороны, сама асимметрия отношений между современными интеллектуальными «центрами» и «периферией» затрудняет полноценный диалог, вызывая либо упорное сопротивление актуальным научным парадигмам, либо их некритическое заимствование. И та, и другая реакция выходит за рамки собственно академических практик, задавая тон общественных дискуссий. В качестве примера имплицитной авторитетности западного опыта и устоявшихся языков его описания Гурак-Сосновска, специалист по мусульманским культурам, указала на споры по поводу строительства мечетей в Польше, в котором обе стороны (противники и сторонники разрешения) в качестве аргументов ссылаются на ситуации, имевшие место в Западной Европе, никак не учитывая разницу контекстов и локальную специфику.

Подобные асимметричные отношения могут существовать не только между отдельными странами или обширными транснациональными регионами, такими как Западная и Восточная Европа, но и между территориями внутри одного государства. Пример этого привела в своем выступлении *Ирина Склокина* (Львовский центр городской истории, Украина), говорившая о положении Донбасса. Совмещая исторические коннотации Дикого поля и индустриального региона, статус которого во многом определялся наличием месторождений угля, Донбасс долгое время мыслился как объект имперского цивилизующего воздействия. Следы подобного отношения коллеги Склокиной по Центру городской истории обнаружили в своих собственных установках, обсуждая неатрибутированную фотографию середины XX века, на которой женщины жарят курицу над костром, разведенным непосредственно на тротуаре во дворе многоэтажного дома. Эти «чужие» практики, не соответствующие нормативным представлениям о городской повседневности Новейшего времени, прекрасно укладывались в стереотип о «Донбассе как Другом»[4], однако саморефлексия львовских исследователей позволила им переключить внимание с объекта обсуждения на производящие его дискурсы и задаться вопросом о том, как иерархическое мышление в цивилизационных категориях может влиять на практики до-

4 См.: *Портнов А.* «Донбасс» как Другой: Украинские интеллектуальные дискурсы до и во время войны // Неприкосновенный запас. 2016. № 6. https://magazines.gorky.media/nz/2016/6/donbass-kak-drugoj.html (дата обращения: 18.06.2024).

кументации, формирования архивов и музейных коллекций. В этом смысле в деколонизации нуждаются сами эти институции, а не только исследовательские процедуры и вопросы, адресуемые уже собранным материалам. Необходим не столько пересмотр пантеона героев или смена полюсов в оценке исторических событий, сколько радикальная трансформация самих способов производства знания, с тем чтобы в него могли быть интегрированы разные голоса и точки зрения.

Докладчица рассказала о первых шагах в этом направлении, предпринимаемых Львовским центром городской истории. С одной стороны, это межрегиональное институциональное сотрудничество, в рамках которого особое внимание уделяется обмену опытом и знаниями, совместной работе по формированию источниковой базы и преодолению асимметричных аспектов взаимодействия. Так, в 2020—2021 годах Львовский центр городской истории сотрудничал с Мариупольским краеведческим музеем в рамках проекта по оцифровке музейных фондов. В отличие от Центра городской истории, не имеющего собственных исторических коллекций, Мариупольский музей хранил обширное собрание ценных предметов, но не располагал техническими и финансовыми средствами, необходимыми для создания цифрового архива — тогда как львовские партнеры обладали всеми возможностями для этого. При этом им было крайне важно подчеркнуть, что представленные на их сайте изображения принадлежат Мариупольскому краеведческому музею и местным сообществам — в противовес колониальной музейной политике, основанной на вывозе всех сколько бы то ни было значимых ценностей в метрополию.

Другим важным направлением работы Центра городской истории является взаимодействие с публикой: институция собирает зрительские отклики на оцифрованные и доступные на сайте источники, рассматривая эти реакции как составную часть архива. Тем самым оказывается возможным совместное производство знания в диалоге с аудиторией, вместо того чтобы в одностороннем порядке транслировать ей некую единую, официально принятую точку зрения. Полифония голосов создает комплексную картину, не сводящуюся, к примеру, к противостоянию взглядов на советское прошлое как однозначно «плохое» или «хорошее», хотя в ней и присутствуют ярко выраженные ностальгические, иронические и критические интонации. В частности, именно посетители сайта разглядели икону на заднем плане фотографии ударника труда из Мариуполя — деталь, проблематизирующую привычные дихотомии между архаикой и модерностью, крестьянским укладом и индустриальным развитием, религией и советской идеологией.

Выступавшая следующей *Ботакоз Касымбекова* (Базельский университет, Швейцария) рассказала о том, как решила стать историком, узнав о беспорядках во Фрунзе (современный Бишкек) в 1967 году — одном из крупнейших антисоветских выступлений второй половины XX века, о котором сейчас мало кто помнит. Внимание исследовательницы привлекло не только само событие, но и его ретроспективная «невидимость», которая также представляет собой исторический феномен. Интерес к тому, как функционирует забвение внутри страны или региона и за их пределами, как и зачем люди учатся забывать, что способствует стиранию памяти, во многом определил область исследований и методологию Касымбековой. Докладчица отметила, что особенно привлекательной для нее оказалась немецкоязычная академическая среда, в которой тема коллективной памяти в условиях диктатуры и насилия является одним из центральных сюжетов для социогуманитарных штудий. Деколониальная перспектива как таковая изначально не была важна для Касымбековой, однако со временем исследовательница пришла к пониманию того, что колониальные практики и дискурсы, с одной стороны, и антиколониальная борьба — с другой, создали современный мир в том виде, каким мы его знаем. Вместе с тем докладчица отметила устойчивое сопротивление интер-

претации советского прошлого в имперских или колониальных категориях, с которым она непосредственно столкнулась, в том числе со стороны западных коллег. Среди адресованных лично ей упреков Касымбекова отмечает обвинения в «американизации» или «вестернизации», которые, по мысли исследовательницы, представляют собой любопытную современную параллель советскому ярлыку «безродного космополита».

После выступлений докладчиц разгорелась живая и содержательная дискуссия. Особенно продуктивным оказался вопрос о категории «расы» в контексте деколониальных исследований в Восточной Европе и Евразии: как соотносится использование этого понятия в западном академическом сообществе и за его пределами и насколько полезен термин «раса» вне привычного контекста европейских колониальных империй? Ботакоз Касымбекова в ответ рассказала о расовой стратификации пространства киргизских городов, которые делятся на «Бомбей» — часть, где живут белые поселенцы, и «Шанхай» — район, заселенный этническими Другими, в том числе представителями депортированных народов. Исследовательница также отметила существование представлений о русификации как о расовой «нормализации»: казахи, переходившие на русский язык, будто бы приобретали европейские черты лица. Роль лингвистических аспектов в конструировании идеи расы подчеркнула также Ирина Склокина, указав на богатую украинскую традицию изучения языка как расового маркера. Катажина Гурак-Сосновска рассказала о том, что для поляков категория расы остается во многом невидимой, хотя польские трудовые мигранты в Великобритании четко опознаются как расовые Другие, тогда как в самой Польше чертами расовой инаковости наделяются люди, принявшие ислам.

Третий семинар цикла, состоявшийся 24 февраля 2023 года, носил название «Молодые ученые о состоянии исследовательского поля, активизме и адвокации». Модератором выступила *Джессика Пизано* из Новой школы социальных исследований (Нью-Йорк, США), и эту же институцию представляли две из трех докладчиц мероприятия. Отчасти данная секция развивала тему предыдущей, так как выступившие на ней молодые исследовательницы работают в США, являясь в то же время в силу своего происхождения носительницами альтернативной теоретической перспективы — пресловутого «взгляда из-за пределов англоязычной академической среды», заявленного в заглавии второго семинара серии. Кроме того, в этой секции вышел на первый план лишь пунктирно намеченный раньше, но, безусловно, центральный для всего цикла семинаров вопрос о том, в какой мере приемлема (или даже желательна) политизация научных исследований.

Одним из основных объектов критического обсуждения на секции стала американская научная парадигма регионоведения (area studies), в рамках которой в основном организовано образование и научная деятельность, связанная с изучением постсоциалистических обществ. Размеры изучаемых территорий, их геополитические очертания и влиятельность в международном контексте во многом определяют популярность соответствующих учебных программ среди студентов и возможности получения грантов для исследований. Вместе с тем, уверена первая докладчица семинара, *Каролина Козюра* (Новая школа социальных исследований, США), американская наука «колонизирует» Восточную Европу, закрепляя сложившийся status quo и практически игнорируя голоса исследователей из региона. По ее наблюдениям, «постсоветские» научные и учебные программы в нью-йоркских институциях по большей части сосредоточены на Москве, а собственные исследования Козюры, посвященные памяти о голодоморе, воспринимаются американскими коллегами как чересчур политизированные. Помимо ряда продуктивных вопросов, вызванных таким положением дел: каким образом те или иные места

начинают считаться заслуживающими внимания, какие темы признаются важными и почему и где пролегает граница между допустимым и чрезмерным уровнем политизации, — докладчица озвучила важную мысль о том, что «регионы» в американском регионоведении обычно рассматриваются как объекты изучения, а не источники знания, нейтральная область применения теорий, а не место их производства. Деколонизация регионоведения требует пересмотра этих исходных предпосылок дисциплины.

Следующая докладчица, *Мария Шинкаренко* (Новая школа социальных исследований, США), отметила, что в институции, с которой она аффилиирована, образование не структурировано регионоведческой парадигмой, поэтому исследовательница столкнулась с ней лишь при попытке подавать заявки на гранты. Шинкаренко должна была формально увязывать свои научные проекты, посвященные национальной идентичности крымских татар, с Россией, поскольку все доступные ей источники финансирования так или иначе были локализованы в поле русистики. Докладчица указала также на русоцентричность западных дискурсов, описывающих события 2014 года, апеллируя к идее «русского большинства» в Крыму и игнорируя исторические процессы, которые привели к формированию этого большинства и которые полностью вписываются в западную концепцию колониализма, осуществляемого путем создания поселений.

В отличие от своих коллег, *Аманда Задорян* (Оберлинский колледж, США), выступавшая в этой секции последней, признает за регионоведением некоторые достоинства — в частности, такая перспектива позволяет сместить внимание с проблематичной концепции «нации» и не оперировать ею как некой эмпирической данностью. Считая особенно продуктивными компаративные исследования, сама Задорян занимается изучением нефтяной промышленности России и Бразилии. Такой подход, по мнению докладчицы, позволяет получить иные данные по сравнению с результатами, которые были бы доступны при рассмотрении России в контексте Восточной Европы, а Бразилии — в контексте Латинской Америки, и задаться вопросом о причинах институциональной конвергенции в столь различных обстоятельствах. По крайней мере отчасти внутренние сходства обусловлены симметричными позициями этих стран на глобальном рынке, где им отведена роль развивающихся экономик с сырьевой ориентацией. Однако такого рода иерархии влияют не только на те регионы, которые описываются с их помощью из «нейтральной» западной перспективы, но и на сам ее источник. По мысли Задорян, деколониальным исследователям следует уделять больше внимания вопросу о том, как колонизация конструирует «Запад», ведь все Другие имперского воображения в том или ином смысле оказываются его двойниками.

Дискуссия после секции сосредоточилась вокруг трех основных вопросов. Во-первых, слушатели захотели узнать больше о роли западной, а конкретнее американской академической среды в закреплении тождества между СССР и Россией и в замалчивании других голосов. Джессика Пизано указала на то, что данная проблема не ограничивается академическим сообществом, но существует и на политическом уровне: так, после распада Советского Союза Россия по умолчанию заняла его кресло в ООН, и никто не задал вопросов к ее статусу государства-преемника. А Аманда Задорян отметила негативное влияние таких дискурсивных конструкций, как «история СССР»: нет и не может быть точки зрения (за исключением имперской), с которой можно было бы написать советскую историю в единственном числе, поэтому продуктивнее было бы говорить о множественных «историях СССР».

Другой вопрос коснулся библиотек и архивов: принципов комплектования их фондов и влияния осуществляемого при этом выбора на возможности исследова-

телей. Не только ученые из различных регионов обладают различным авторитетом и степенью известности в международном поле, но и на уровне источников определенные голоса оказываются более слышны, и чаще всего это голоса метрополий. Отчасти это проблема любых исторических исследований: архив сохраняет преимущественно точку зрения господствующих групп, — отчасти же это специфическая постколониальная ситуация, в которой язык продолжает быть инструментом господства. Языки империй являются средством межнационального общения, их охотнее выбирают для изучения в масштабах всего мира, тогда как языки колонизированных народов остаются «экзотическими», а источники на этих языках (и та перспектива, которую они представляют) — невидимыми для многих исследователей.

Каролина Козюра отметила, что в силу закрытости архивов в странах соцблока специалисты по этому региону изначально относились к недоступным им документам с особым пиететом — казалось, что стоит лишь открыть архивы, и можно будет узнать всю правду о советском режиме. Такое положение дел отличает данную область от классических постколониальных исследований, представители которых гораздо менее склонны фетишизировать источники и обладают развитым навыком читать их «наперекор» написанному (against the grain). Исследователи же (пост)социалистических обществ, кажется, лишь меняют со временем объекты своей фиксации, но не подход к ним: так, по мере разочарования в архивных документах, отражавших официальную советскую точку зрения, многие, по наблюдению Козюры, бросились искать правду в устноисторических интервью, ожидая (зачастую неоправданно) встретить в них альтернативную точку зрения.

Аманда Задорян в ответ на вопрос о том, какие источники по восточноевропейской и евроазиатской истории недостаточно представлены в американских библиотеках и архивах, высказала трудно реализуемую, но важную мысль: вместо того, чтобы закупать новые материалы для этих коллекций, стоило бы перенаправить средства на создание и развитие архивов в тех странах, к которым непосредственно имеют отношение документы, представляющие интерес для исследователей. Тем самым удалось бы преодолеть неоколониальную динамику, которую иллюстрирует тенденция к сосредоточению в обладающих огромным бюджетом культурных институциях США значимых исторических источников со всего мира.

Задорян принадлежит также остроумный и вдохновляющий ответ на поднимавшийся из секции в секцию вопрос о том, как возможны позитивные изменения в условиях колоссальной институциональной инерции и устойчивости сложившихся дискурсов и моделей знания. Исследовательница отметила, что подобный пессимизм не столько опирается на объективную оценку фактов, сколько представляет собой перформативный жест, в противовес которому она предпочитает практиковать столь же перформативный оптимизм. По мнению Задорян, все новые подходы, которые сейчас с трудом пробивают себе дорогу, в последующие десятилетия расцветут пышным цветом, и через полвека новое поколение молодых ученых будет работать уже в значительно более благоприятных условиях. Ее поддержала Джессика Пизано, которая призвала начинающих исследователей не дожидаться, пока те или иные идеи приобретут институциональную форму, а активно продвигать их самим, создавая собственные платформы и сообщества.

Следующий семинар цикла, состоявшийся 3 марта 2023 года, прошел под названием «Деколонизация: резонанс за пределами башни из слоновой кости?». Это мероприятие, посвященное внеакадемическим деколониальным практикам, модерировал *Дуглас Роджерс* (Йельский университет, США). Выступавшая первой *Эрика Марат* (Национальный университет обороны, США) рассказала о работе с памятью и травмой в творчестве современных художниц из Центральной Азии

Сауле Сулейменовой и Алтын Капаловой. Докладчица остановилась на инсталляции Капаловой, установленной в горах близ Иссык-Куля и изображающей массовый исход в Китай киргизских семей, спасавшихся от набора в царскую армию и от репрессий против участников антиколониального восстания 1916 года. Монумент, приуроченный к столетней годовщине этих трагических событий, сделан из железных прутьев, которые качаются на ветру, — так силуэт каравана приходит в движение. При этом прутья составляют фон композиции, тогда как сами фигуры всадников и пеших путников образованы негативным пространством, пустотой, материализующей историческую утрату.

Иным образом идею хрупкости воплощают «Целлофановые картины» Сауле Сулейменовой, в которых художница переносит на прозрачные полиэтиленовые «холсты» этнографические и семейные фотографии в технике коллажа из разноцветных пластиковых пакетов. Непрочность памяти об изображенных людях, среди которых жертвы политических репрессий, чисток и депортаций, подчеркивается материальностью произведений, противостоящей рафинированной традиции «высокого» искусства, создаваемого «на века». Использование целлофана также позволяет художнице привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения: среди ее работ есть и пейзажи, в которых идиллические образы степи в буквальном смысле складываются из мусора, ставшего в наши дни неотъемлемой частью природных ландшафтов. Вместе с тем пластик несет в себе идею современности, столкновение которой с прошлым, памятью и традициями составляет еще одну интригу работ Сулейменовой.

В этом же направлении — осмысления соотношения, взаимопроникновения настоящего и минувшего — развивается, как показала Марат, и массовая культура Казахстана. Если долгое время кочевое прошлое казахов было заключено в этнографических музеях, а в обыденной жизни скорее являлось предметом стыда и замалчивания — настолько укоренился имперский стереотип об «отсталости» кочевых народов, — то в последние годы появился тренд на инкорпорирование его элементов в современные практики в качестве значимых маркеров казахской идентичности. В качестве примеров этой тенденции Марат указала на использование юрт в культурной дипломатии, в частности в контексте спортивных событий, а также продемонстрировала рекламу казахстанской сети кофеен «Coffee Boom» — графическое изображение современного горожанина в одежде с традиционным орнаментом и со стаканчиком кофе в руке. Кроме того, докладчица отметила популярность «деколониальных» хештегов в соцсетях, где деколонизация переводится в индивидуальную плоскость и понимается в первую очередь как поиск себя. Этот поиск осложняется противоречивыми чувствами, которые вызывает недавнее прошлое: гордость от достижений советской эпохи и ностальгия по временам собственной молодости, преобладающая у многих представителей старшего поколения, идут вразрез с коллективной травмой и памятью о голоде 1930-х годов, когда, по приведенным Марат данным, погибло около 40% казахов. Докладчица продемонстрировала невозможность однозначного отношения к советскому периоду на примере собственной семьи, относившейся к советской элите благодаря партийной активности бабушки, но «заплатившей» за привилегированное положение другими членами семьи, о судьбе которых ничего не известно.

Если Марат говорила о деколонизации за пределами академической среды, сама являясь представительницей последней, то две другие докладчицы секции привнесли перспективу, связанную с практической деятельностью, а не чисто теоретическими исследованиями. Библиотекарь *Анна Араис* (Йельский университет, США) рассказала о деколониальных подходах в своей профессиональной области, включая проблемы «цифровой репатриации». Как и многие другие участники этого цикла

семинаров, Араис обратилась к влиятельной статье Ив Так и Уэйна Янга «Деколонизация не является метафорой»[5], в которой постулируется недопустимость размывания этого понятия, означающего прежде всего возвращение коренным народам отнятых у них земель. Докладчица вступилась за использование деколонизации в том смысле, который Так и Янг называют метафорическим, отметив, что кажущееся абстрактным знание получает конкретное применение и последствия в реальном мире, поэтому четко отделить практику от теории не представляется возможным.

Связь между теоретическими представлениями и политическими возможностями наглядно продемонстрировала выступавшая следующей журналистка *Фатима Тлис* («Голос Америки»*, США), рассказавшая о том, как непризнанный геноцид черкесов в Российской империи продолжает влиять на положение этого народа в современном мире. Тлис также привела примеры асимметричного отношения к титульной нации и этническим меньшинствам в российских СМИ, как на уровне репрезентации, так и на уровне участия в производстве контента. Еще в перестроечную эпоху, получая журналистское образование, Тлис неоднократно слышала от преподавателей, что она не должна писать на этнические темы (в частности, о своем собственном народе), так как ее происхождение не позволит ей освещать их объективно. Однако те же самые преподаватели и редакторы не видели ничего настораживающего или предвзятого в том, чтобы русские журналисты выбирали сюжеты, связанные с этническими русскими. В результате подобной неофициальной цензуры и самоцензуры, по наблюдению Тлис, этнические меньшинства крайне редко (и исключительно в негативном качестве — как преступники и «сепаратисты») оказываются в заголовках федеральных новостей. Та же ситуация воспроизводится в западных СМИ, которые берут информацию преимущественно из официальных российских источников и не заинтересованы в освещении проблем этнических меньшинств.

Полемическая острота выступлений в этой секции, особенно заключительного, способствовала тому, что в дискуссии вновь был поднят вопрос о соотношении политики и аналитики. Фатима Тлис в ответ назвала тему прав человека политической по определению, а Анна Араис выразила уверенность в том, что библиотека как публичное пространство, в котором физически и символически находится место любым людям и группам, является политической институцией. Доклад Эрики Марат вызвал у слушателей вопрос, как относятся к деколониальным движениям правительства Казахстана и Кыргызстана. Марат ответила, что в целом отношение можно назвать положительным: лидеры этих стран охотно используют вновь обретшие популярность национальные символы, чтобы продемонстрировать свою солидарность с народом, и рады тому, что, фокусируясь на негативных аспектах и следствиях колонизации, деколониальные активисты не выдвигают претензий к ним лично. Однако, по мнению исследовательницы, деколониальные инициативы преимущественно возникают на низовом уровне, тогда как правительства в этом отношении достаточно пассивны и избегают предпринимать какие-либо решительные меры — например, открыть доступ в архивы советской эпохи.

Пятый семинар цикла под заголовком «Разработка учебных программ и критическая педагогика на занятиях: как преподавать по-другому?» состоялся 17 марта 2023 года; модератором выступила *Крис Мартин* (Гарвардский университет, США). Две докладчицы, *Шошана Келлер* (Гамильтон-колледж, США) и *Каресс Шенк* (Назарбаев университет, Казахстан), обсудили практические сложности,

5 *Tuck E., Yang K.W.* Decolonization is not a metaphor // Decolonization: Indigeneity, Education & Society. 2012. Vol. 1. No. 1. P. 1—40.

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

встающие перед преподавателями, которые хотели бы привнести в свои курсы деколониальную перспективу, и пути преодоления этих затруднений. Келлер сформулировала ключевую дилемму: фокусируясь на титульной нации и точке зрения «из центра», имперская история предоставляет единую линию повествования, которую легко проследить, понять и запомнить даже в рамках вводного общеобразовательного курса. Отказываясь от этого нарратива и заменяя его на множество разнородных голосов «с окраин», можно запутать студентов, у которых в итоге не останется от курса никакой внятной картины или цельной совокупности знаний. Келлер призналась, что сама пока находится в процессе пересмотра своей учебной программы и не может предложить готовых решений этой проблемы. В качестве примера перспективных изменений докладчица назвала акцентировку «мультикультурного» характера Киевской Руси, выявление роли иудеев, мусульман и язычников в древних славянских обществах. Терпимость и открытость этих ранних государственных образований контрастирует с позднейшими эпохами, когда евреям, например, отказывалось в праве селиться на землях Московского княжества, и отвечает этноконфессиональному разнообразию современных студентов.

Каресс Шенк указала на еще одну преподавательскую дилемму: противоречие между желанием предложить обучающимся наиболее передовые, революционные подходы и обязанностью дать им крепкую базу знаний, необходимую для успешного трудоустройства впоследствии. В этом смысле крайне важно донести до студентов устоявшуюся точку зрения, в то же время вооружая их инструментами для ее критической деконструкции. По мнению Шенк, работающей в казахстанском университете, в этом контексте требуется двойная деколонизация: переработка советского (и российского имперского) наследия и противодействие гегемонии Запада, в том числе эпистемологической — устоявшимся иерархическим представлениям о том, чьи идеи важны и заслуживают внимания. Докладчица поделилась маленькой практической хитростью, которая позволяет ей отслеживать, насколько представлены в ее подборке текстов к семинарам голоса коренных народов, и избегать доминирования белых мужчин: она маркирует позиции в списке рекомендованной литературы разными цветами в зависимости от расы и гендера автора. Шенк пропагандирует «студентоцентричный» подход в образовании, стремясь развить у своих подопечных уверенность в себе, способность формулировать и отстаивать собственное мнение. При этом она спешит подчеркнуть, что внимание и уважение к идеям студентов отнюдь не предполагает полной теоретической анархии и хаоса: любая точка зрения ценна сама по себе, но в поле образования и науки она должна быть доказана и может быть оспорена.

Крис Мартин спросила Шенк, как она добивается того, чтобы студенты открыто выражали свое мнение, признав, что в США многие боятся делать это из-за «культуры отмены». Докладчица перечислила ряд приемов, суть которых сводится к тому, чтобы минимизировать роль преподавателя в качестве источника «правильных» знаний и жандарма в аудитории, наказывающего за проявления несогласия, особенно на ранних этапах работы с группой: проводимые до начала курса опросы о том, что хотели бы узнать сами студенты, привлечение их в качестве модераторов дискуссий, поощрение альтернативных точек зрения. Кроме того, Шенк подчеркнула важность отказа от амплуа всезнающего профессора, непогрешимого эксперта и подчеркивания собственной человеческой природы, несовершенств и ограничений.

Видимо, в режиме признания собственных ошибок Шошана Келлер повинилась в том, что до сих пор нередко говорит «Россия», имея в виду Российскую империю или СССР. В то же время она подчеркнула трудность изобретения удачной альтернативы такому именованию: «Когда я говорю, что преподаю историю народов Западной Евразии, никто не понимает, что я имею в виду». В ходе дискуссии

Келлер также поделилась еще несколькими соображениями о том, как можно реорганизовать содержание курсов. По ее мнению, необходимо отказаться от телеологического мышления и вопросов наподобие «как возникло Московское царство?» или «как большевики пришли к власти?», потому что они ретроспективно организуют прошлое в соответствии с логикой позднейшего момента. Кроме того, Келлер посоветовала больше обращаться к литературным источникам, чем это принято в исторической науке: в художественных произведениях могут заметнее звучать голоса, отсутствующие, приглушенные или искаженные в официальных документах.

Заключительный семинар серии прошел 31 марта 2024 года. Мероприятие, озаглавленное «Будущее славистики, восточноевропейских и евроазиатских исследований: как предвосхитить завтрашние различия?», модерировала президент Ассоциации славистических, восточноевропейских и евроазиатских исследований *Джулиет Джонсон* (Университет Макгилла, Канада). Первым выступил *Сергей Екельчик* (Университет Виктории, Канада), сосредоточивший внимание на эффектах некритического использования слова «Россия» в качестве синонима Российской империи и СССР в различные периоды их существования, о чем шла речь в дискуссии, последовавшей за предыдущей секцией, и на протяжении всего этого цикла семинаров в целом. Екельчик указал на то, что подобное словоупотребление отнюдь не представляет собой случайную оговорку или упрощение для краткости — оно способствует созданию образа вечной и неизменной империи, поддерживая заложенные в этом образе властные иерархии. При этом, по наблюдению докладчика, даже студенты неисторических специальностей порой задаются вопросом, можно ли говорить об одной и той же «России» применительно, скажем, к XVIII и XX веку. Екельчик призвал пестовать подобные сомнения, выявляя моменты, способные проблематизировать отождествление России с Российской империей или СССР — например, ситуацию, когда в «России» было сразу два президента, Горбачев и Ельцин, которые при этом не особенно друг к другу благоволили.

Следующий докладчик, *Арарат Осипян* (Новая школа, США), в своем выступлении продемонстрировал, что политологический анализ, не учитывающий экономических аспектов, не может дать полного понимания ситуации. Так, исследователь показал, что экономики Украины и России связаны намного теснее, чем можно было бы предположить в условиях военного конфликта. В конце 2010-х годов объемы торговли между Россией и Украиной только росли, и на 2018 год Россия дефакто оставалась основным торговым партнером Украины. На Донбассе до недавнего времени работал завод, производивший запчасти для российских атомных ледоколов, которым совместно владел «Росатом» и один из депутатов Верховной рады. С другой стороны, интеграция Украины в «западный» мир в экономическом плане остается ничтожной: так, в стране невозможно совершать онлайн-покупки, используя американскую банковскую карту, например купить билеты на поезд. Осипян также рассказал о бесплодной инициативе Всемирного банка по поддержке высшего образования в Украине в 2021 году: финансовая помощь предусматривала слияние некоторых вузов, ректоры которых не были готовы отказаться от своих полномочий, поэтому заговорили об опасности западного влияния. Проект также натолкнулся на беспрецедентный уровень коррупции в Украине, который представители Всемирного банка не могли себе вообразить. Впрочем, как отметила Джулиет Джонсон, западные страны сами далеко не свободны от коррупции и в собственных интересах активно поддерживают ее на постсоветском пространстве.

Семинар завершился выступлением *Ильи Герасимова* (Иллинойский университет в Чикаго, США), который выразил обеспокоенность заглавием секции, в которой ему выпало участвовать. Это название, как показалось докладчику, апеллирует к профессиональному знанию историков с точки зрения его возможного

практического применения, тогда как обычно, стараясь быть полезными, историки лишь предоставляют оправдания для правящего режима. По мнению Герасимова, профессия историка полезна не потому, что она накапливает знания о прошлом, а потому, что она позволяет расширить социальное воображение. Докладчик также подчеркнул принципиальные, на его взгляд, различия между антиколониальным и деколониальным подходом. В интерпретации Герасимова антиколониальное сопротивление фиксируется на фигуре угнетателя, тем самым воспроизводя последствия угнетения. Так, в СССР принято было в качестве жупела ссылаться на кровавое наследие царизма: этот режим перестал существовать, но свойственные ему структуры гегемонии в новых условиях сохранились или даже были усилены. В противовес этому постколониальная мысль стремится демонтировать сами эти структуры. В этом смысле постколониальная ситуация похожа на биографию потерпевших от системного домашнего насилия: нельзя забывать о нем, но нельзя и позволить этому опыту влиять на всю последующую жизнь. Поэтому деколонизация, по мысли Герасимова, должна способствовать не только и не столько осмыслению прошлого, сколько изобретению новых эпистем и новых способов помыслить себе социальную сопричастность.

Ксения Гусарова

Общероссийская конференция **«Республиканизм: теория, история, современные практики»**

(*Европейский университет в Санкт-Петербурге, исследовательский центр «Res Publica», 15—16 декабря 2023 года*)

DOI: 10.53953/08696365_2024_188_4_414

15—16 декабря 2023 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге в седьмой раз прошла ежегодная общероссийская конференция «Республиканизм: теория, история, современные практики», организованная исследовательским центром «Res Publica». В этом году в качестве основного акцента конференции была выбрана тема «“Общественное” и “публичное” как политические формы: борьба традиций и сценарии будущего». Участники события обсуждали вопросы генеалогии и специфики понятий, связанных с «обществом» и «публикой», публичную сферу и режимы публичности, а также праксеологическую философию языка. В поле внимания выступающих попали и «классические» темы конференции, например исторический опыт Великого Новгорода, а среди докладчиков, как и прежде, были представители самых разных дисциплин: специалисты в области современной философии и социальных наук, историки, политические теоретики. Отдельно стоит отметить, что конференция, по сравнению с прошлым годом, вновь заявила о себе в полную двухдневную силу, что отразилось как на количестве докладов, так и на разнообразии дискуссий и исследовательских перспектив.

Первый день конференции был открыт панелью «Политическая теория: “общественное” и “публичное” между прошлым и будущим» (секция 1), модератором которой выступил *Олег Хархордин* (ЕУ СПб).

Открывающий доклад «*Метафора/метафизика света в исследованиях публичности*» представила *Татьяна Вайзер* (Дрезденский университет / «Новое литературное обозрение», Москва). Основное внимание ее выступления было уделено метафорам «света» («глаза», «ока», «видения» и т.п.) в европейской традиции осмысления публичности и тому, как их значения меняются в исследованиях советского типа публичности. Среди важных авторов, использовавших эту метафорику, докладчица упомянула как канонических европейских мыслителей (И. Канта, И. Бентама, Ю. Хабермаса, Х. Арендт), так и некоторых российских исследователей — например, В. Волкова. Опираясь на идею двойственности природы света у Иеремии Бентама, Татьяна Вайзер показала, как можно вывести иную, чем заложенная в традиции Просвещения, функцию «света публичности» — понимаемого английским философом как организующий принцип с механизмами прозрачности, надзора и контроля. Именно последнее значение докладчица использовала для реконструкции публичности советского типа с присущими ему практиками публичной самокритики и покаяния (1930-е годы), горизонтального доносительства (1930—1950-е годы) и коммунального общежития. Свет здесь — свет-проектор, освещающий путь к лучшему будущему, выявляющий недостатки и организующий публичную сферу как сферу видимости, где невозможно укрыться в тени приватного. Вайзер завершила доклад различением следующих из этой метафорики двух модальностей мира — где свет, с одной стороны, позволяет нам видеть и различать друг друга в логике взаимного признания (в духе Арендт и республиканской традиции) и, с другой, выполняет надзирающую функцию — и предположила возможное значение такого различения для исследований советской публичности.

Второй доклад был представлен *Виктором Каплуном* (ЕУ СПб) и был озаглавлен «*Что такое Просвещение: опыт публичного и бессмертие*». С точки зрения докладчика, существуют три версии кантианской традиции понимания Просвещения через публичную сферу: Ю. Хабермаса, М. Фуко и Х. Арендт. Именно на последнем, арендтианском прочтении Канта (связанном также с феноменом греческого полиса) Виктор Каплун сделал основной акцент в своем выступлении, ведь — как утверждает докладчик — именно эта интерпретация Просвещения оказывается более эвристически интересной (и созвучной) для русской культуры периода появления в ней первого опыта публичности. «Практики себя» и понимание себя образованной российской публикой этого периода, с точки зрения Каплуна, были тесно связаны с экзистенциальным опытом и идеей бессмертия. Далее Виктор Каплун напомнил о кантовском различении частного и публичного использования разума, где именно второе («перед всей публикой читающего мира») оказывается основанием просвещения, а с точки зрения Арендт, — основанием политического (в греческом полисном смысле) в целом, понимаемым не просто как «свобода слова», а как сама реальность, данная как множественность, пересечение разных человеческих перспектив. Также, по мнению докладчика, именно такая форма публичного возникает в русской культуре в екатерининскую и затем в александровскую эпоху, когда образованные люди из дворянской среды начинают мыслить себя и свои практики через призму достижения бессмертия.

Третий доклад, под названием «*Ликвидация общественного мнения: как политическая теория лишилась одного ключевого понятия*», прочитал *Григорий Юдин** (МВШСЭН)[1]. С его точки зрения, в современной политической теории термин «общественное мнение» утратил свое прежнее нормативное значение, однако предположение Ю. Хабермаса о том, что это было связано исключительно с по-

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

1 Аффилиация докладчика указана на момент проведения конференции.

явлением эмпирической науки об общественном мнении в 1930-е годы, не кажется убедительным. Докладчик напомнил о дискуссиях об общественном мнении конца XIX — начала XX века (Дж. Брайс, А. Лоуэлл, У. Липпман, К. Шмитт), а также об общих чертах такого взгляда, где общественное мнение: 1) всегда дано заранее; 2) внутренне целостно; 3) пассивно; 4) дано как агрегирование индивидуальных голосов. Процесс развития такой интерпретации общественного мнения (и сопутствующих этому эмпирических средств его фиксации) Юдин* охарактеризовал как деполитизацию общественного мнения, у которой есть несколько элементов: 1) его натурализация; 2) восприятие как суммы индивидов; 3) уравнивание опросов общественного мнения с демократией. Таким образом, с точки зрения докладчика, триумф эмпирической науки об общественном мнении является следствием победы определенного теоретического взгляда на общественное мнение.

Завершающий доклад секции, «*Композиционизм Бруно Латура: новая политическая теория для нового климатического режима*», был прочитан *Иваном Наумовым* (ЕУ СПб). С его точки зрения, композиционизм — это политическая теория, предполагающая нахождение процедуры составления общего мира как композиции агентов, которые могли бы обеспечить максимальному количеству населяющих этот мир существ максимально хорошие условия существования. Докладчик реконструировал основные вехи политического теоретизирования Б. Латура: 1) 1980-е: работы о Л. Пастере и обоснование политического статуса деятельности по выведению в явленность новых агентов; 2) 1990-е: возникновение идеи композиции и необходимость переустройства несовершенного из-за «политической эпистемологии Науки» мира, а также идея «парламента вещей» — институционализации процедуры составления общего мира; 3) 2000-е: Dingpolitik, или политика вещей, пришедшая на смену идее парламента вещей, — процедура построения общего мира, основанная на модели прямой демократии. Также Иваном Наумовым был затронут вопрос о политических модусах существования у Латура, под которыми можно понимать различные типы высказываний, имеющие свои критерии истинности и особенности воспроизведения, при этом политически истинным высказыванием оказывается только такое, в результате которого вокруг какой-либо проблемы была образована заинтересованная в ней группа людей. Затем докладчиком была определена двойная задача композиционизма: 1) релятивизировать модерновую космограмму среди прочих взглядов на устройство мира и 2) предложить собственную космологию, отвечающую требованиям нового климатического режима. Также были приведены основные посылки теории композиционизма: 1) от природы к коллективу; 2) от критики и matters of fact к matters of concern; и 3) от идеи прогресса к поиску «перспектив». Кроме того, отдельный акцент докладчиком был сделан на латуровском позднем призыве к поиску «общей почвы» и необходимости «приземлиться».

Затем конференция была продолжена круглым столом «Федор Карпов и классический республиканизм», участники которого обсудили политическую составляющую творчества знаменитого русского мыслителя XVI века. Модератором стола выступил *Павел Лукин* (ИРИ РАН, Москва).

Первым спикером в рамках этой дискуссии стал Олег Хархордин, начавший свое рассуждение с упоминания классических интерпретаций политико-теоретических понятий у Карпова, а также реконструкции версии немецкого слависта Д. Фрайданка, подробно разобравшего цитирование Карповым Аристотеля (которого тот, по мнению Фрайданка, читал на латыни). Однако, по замечанию Хархордина, деление на три формы правления (монархию, аристократию и политию) не соблюдается Карповым в некоторых частях «Послания к митрополиту Даниилу»,

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

где он, например, последовательно употребляет схожие понятия «начальство», «владычьство» и «господьство» или вводит новые слова, которые приводят к смешению аристотелевской триады. В конце выступления Хархордин воспроизвел аргумент И. Голенищева-Кутузова о влиянии на метафорику Карпова итальянских юристов XIV века Чино да Пистоя или Бартоло да Сассоферрато. Сообщение было резюмировано выводом о понятийной непоследовательности Карпова и необходимости тщательного анализа его аргументации.

Следующий участник круглого стола, *Константин Ерусалимский* (ЕУ СПб), уделил большее внимание контексту создания посланий Карпова — его интенциям, позициям и ролям. Выступающий особенно отметил занятость Карпова на различных дипломатических, «посольских» делах, а также указал на некоторые линии прочтения идей Карпова в качестве «боярина»-западника, в отдельных случаях — противника русского централизованного государства, в других — его сторонника, провозвестника Реформации, или же республиканца и имперского мыслителя. В дальнейшем Константин Ерусалимский обратился к истории бытования текстов Аристотеля в России того времени, аристотелианским интерпретациям троичной схемы Карпова «или дело народное, или царьство, или владычьство», а также возможным попыткам синтеза таких интерпретаций с библейским языком — то есть симбиоза политического и церковного начал. В конечном итоге Ерусалимский сделал предположение о возможной роли текстов Карпова как части дискуссий между царской и церковной властью того периода и некоторых идей или сюжетов, складывающихся параллельно их написанию.

Завершил дискуссию *Михаил Кром* (ЕУ СПб), в своем комментарии сделавший акцент на социальной и литературной среде, к которой принадлежал Федор Карпов. Выступающий обратил внимание на то, что как сам Карпов, так и его адресат, митрополит Даниил, были царедворцами, а также на разницу их социальных позиций в период переписки — прочное положение Карпова и скверную репутацию Даниила. Отдельно Михаил Кром реконструировал круг общения Карпова, в который, помимо митрополита, входили Максим Грек, Василий Тучков, Филофей, Мисюрь Мунехин, Дмитрий Герасимов и др. Затем он обратил внимание на структурный состав послания Карпова: 1) первая риторическая, «велеречивая» часть; 2) центральная аргументационная часть с обсуждаемой триадой и другими политическими понятиями; и 3) еще одна риторическая часть — и значение «учености» и отсылок в этом письме.

Третья панель первого дня конференции под названием «Интеллектуальная история России XVIII—XIX вв.: рождение “общества”, рождение “публики”» (секция 1) прошла под модерацией *Виктора Каплуна* (ЕУ СПб).

Первый доклад этой секции, «*Чье благо? И благо ли? “Общее благо” и форма правления в естественноправовых текстах в России первой четверти XVIII в.*», был прочитан *Михаилом Киселевым* (УрФУ / ИИА УрО РАН, Екатеринбург). В самом начале докладчик воспроизвел распространенное в историографии мнение о том, что Петровские реформы проводились во имя «общего блага», и подверг его критике, обратившись к предполагаемому источнику таких суждений — манифесту «О вывозе иностранцев в Россию» (1702), — в котором указанных формул об «общем благе» не обнаруживается. Затем Михаил Киселев привел еще несколько цитат из историографии петровских преобразований (как дореволюционной, так позднесоветской и российской), в которых утверждается ориентация этих реформ на «общее благо» (например, в рассуждениях Феофана Прокоповича) и их теоретические предоснования в работах некоторых западных мыслителей (Г. Гроция, С. Пуфендорфа). Здесь докладчик также отсылает к переводам этих авторов петровского времени — за авторством Кохановского, Кречетовского и Бужинского, — в каждом из

которых отсутствует какое-либо упоминание «общего блага» в качестве перевода политических понятий, используемых Пуфендорфом. В заключение Михаил Киселев обратился к одному из основных идеологических трудов этого периода, «Правде воли монаршей» (1722) Феофана Прокоповича, где также отсутствуют аналоги понятий *respublica* и *salus publica* (общее благо), но присутствуют понятия «народ» с его «пользой», а также традиционная для русского политического языка прошлых веков формула «государь, владеющий своим “государством”».

Следующий доклад этой секции, «*“Публика не знаменует целого общества, но малую часть оного”: слово “публика” в русском языке XVIII—XIX вв.*», представила *Виктория Истратий* (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург). В самом начале докладчицей были определены основные значения слова «публика» в текстах петровской эпохи: 1) то же, что и «общество»; 2) то же, что и «государство»; 3) публичная церемония (придворная, дипломатическая, военная); 4) официальное объявление, в том числе исходящее от органов государственной власти; плакат с текстом такого объявления; 5) публичные торги. Последние три значения достаточно рано выходят из употребления — значение «публичная церемония» уже не встречается во второй трети того же столетия, значения «официальное объявление» и «публичные торги» употреблялись до конца XVIII — начала XIX века. Отдельно Виктория Истратий остановилась на значении «публики» как «государства» в двух текстах — словаре из архива графа Уварова 1730 года и Ништадтском мирном договоре 1721 года, — в которых слово «государство» представлено в качестве возможного русского аналога еще плохо освоенному иностранному слову «публика». Также докладчица упомянула некоторые словари этого периода (вплоть до конца XVIII века), в которых слово «публичный» дано в значении «всенародный», а «публика» синонимична «народу». Однако к концу XVIII века значение слова «публика» сужается и в результате начинает обозначать либо просвещенную часть общества (тех, кто способен иметь суждение о политике, законах, литературе и искусстве), либо «адресатов» произведений искусства — читателей, зрителей.

Заключительный доклад был представлен *Андреем Теслей* (БФУ, Калининград) и был озаглавлен «*Славянофильская концепция “общества” в его отношении к “народу” и “государству”, 1840—1880-е годы*». По замечанию докладчика, в 1820—1840-е годы для славянофильского круга был актуален вопрос о том, как действовать вне статской или военной службы. Большое влияние на комплекс идей славянофилов в этот период (рубеж 1840—1850-х) оказали два события 1848—1849 годов: «Весна народов» и сопутствующий этому (хотя, в некоторых моментах, и предвосхитивший его) консервативный разворот российской внутренней и внешней политики. Именно здесь же начинает складываться славянофильская (в большей степени — у Константина Аксакова) доктрина «земли и государства», появляются идеи о безгосударственности русского народа, внешней по отношению к русским природе государства — однако идеи об «обществе» появляются (уже у Ивана Аксакова) только в 1861—1862 годах, причем вытесняя идеи о «земле», на смену которым приходит, помимо «общества», также понятие «народ». Общество, по Аксакову, состоит из отдельных частных людей, которые обладают самосознанием и выступают от имени некой общности, то есть это народ в стадии саморефлексии — и это же, по мнению русского мыслителя, выгодно отличает русское словосочетание «общественное мнение» от его европейских аналогов (качественно различая здесь «публику» и «общество» в пользу последнего), общество не просто противопоставлено государству, но и способно на коллективное действие.

Первый день конференции был завершен двумя знаковыми презентациями, связанными с издательством «Новое литературное обозрение»: обсуждением русского перевода книги Ю. Хабермаса «Новая структурная трансформация публич-

ной сферы и делиберативная политика» (М.: НЛО, 2023; нем. изд. Suhrkamp, 2022) и специального номера журнала «Новое литературное обозрение» «Антропология (не)насилия в русской культурной истории» (2023. № 184).

В дискуссии по поводу книги Хабермаса приняли участие Татьяна Вайзер, Григорий Юдин*, *Дмитрий Калугин* (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) и *Николай Нахшунов* (МВШСЭН). Татьяна Вайзер отметила, что представленная книга является подведением итогов долгой истории рецепции первой книги Хабермаса о публичной сфере, положившей начало концептуализации этого феномена и многочисленных дискуссий, а также ставшей отправной точкой для формирования множества расширительных толкований и контрконцептов — альтернативных публичных сфер, контрпублики, полупубличной сферы и т.п. Также она рассказала про некоторые новшества в подходе Хабермаса, которые отразились в книге и стали имплицитными ответами на критические суждения в адрес исходной концепции. Например, его усилившееся внимание к нормативной теории, отношение к консенсусу не как к цели, а как к недостижимому желанию, а также акцент на агональной и аффективной природе демократического процесса (в ответ на критику со стороны теоретиков агональности и феминизма). Григорий Юдин*, в свою очередь, указал на радикально эмансипаторную роль мысли Хабермаса в период выхода его первых работ, обозначил ряд интересных терминов, которые упомянуты в новой книге, а также обратил внимание на трагичную роль самого немецкого мыслителя — мир, который, во многом, был сформирован его книгой про публичную сферу, находится сейчас в серьезном кризисе. Кроме того, Юдин* указал на проблематичность соотношения исторического и нормативного в теории Хабермаса, а также тех противоречий, которые оказались сокрыты как в его прошлых трудах, так и в новой работе. Николай Нахшунов раскритиковал Хабермаса за то, что тот в своей свежей книге разбирает уже знакомые проблемы и не задается новыми вопросами, а также за то, что немецкий философ не учитывает желания Другого в понимании себя. Отдельно Нахшунов обратился к рецепции Хабермасом античного политического опыта (в первую очередь Рима) и указал на проблематичность исключения им множественности эпистемологических позиций, которые могут быть присущи Другим, и опасность замалчивания голосов, которые находятся за пределами выбранного им вида рациональности. Среди положительных черт хабермасовоской теории Нахшунов назвал важное значение возможности говорить «нет». Дмитрий Калугин рассказал, что для него Хабермас — это в первую очередь создатель очень яркого образа публичности с характерными для нее институтами и общественным мнением — причем этот образ сохраняется и в новой книге, хотя и спустя шестьдесят лет площадки и платформы этой публичной сферы видоизменяются. В конце Калугин обратил внимание на актуальность концепции Хабермаса для анализа журнальной коммуникации в России 50—60-х годов XIX века.

Затем Татьяна Вайзер и Дмитрий Калугин кратко представили недавно вышедший специальный выпуск журнала «Новое литературное обозрение», основными линиями которого, по словам Вайзер, стали вопросы о том, как переосмыслялась традиция ненасилия, как можно мыслить ненасилие сегодня, а также как мыслить культурную историю России в свете идеи «ненасилия». Также она указала на важность проблематизации четких границ между насилием и ненасилием и необходимость семантического переосмысления этих понятий.

Второй день конференции был открыт панелью «Политическая теория: “общественное” и “публичное” между прошлым и будущим» (секция 2), модератором которой выступил *Александр Филиппов* (НИУ ВШЭ, Москва). Первый доклад, *Алек-*

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

сандра Марея (НИУ ВШЭ, Москва) «*Смерть народа, рождение общества: об эволюции понятия societas*», был начат с реконструкции одного из основных сюжетов античной и средневековой политической теории — понятия «народ», или *populus*, и его трактовок: 1) у Цицерона через *consensus* и 2) у Блаженного Августина через concordia. Затем, с точки зрения докладчика, крайне серьезное влияние на значение этого понятия оказал Фома Аквинский, определивший «народ», в отличие от предыдущих двух авторов, не через его внутреннюю составляющую (согласие), а через такие внешние характеристики, как общность территории, общность данных королем законов и общность образа жизни. «Разрушив» понятие «народ», для описания человеческих сообществ теолог предложил взамен использовать понятие *communitas*, как заимствованное из латинского перевода Аристотеля греческого слова *koinonia*. Дальнейшая томистская традиция обратилась к понятию *societas*, основные значения которого, с Античности до Средневековья, докладчик привел в сообщении: 1) договор товарищества в римском праве; 2) союз, общение в Священном Писании; и 3) сообщество воинов, монахов, купцов, флагеллантов и т.д. или соучастие в доходах с того или иного участка земли. Также Марей проследил динамику развития употребления слова *societas* позднее — у Франсиско де Витория, Франсиско Суареса и Гуго Гроция. Докладчик пришел к выводу о том, что слово *societas* в Новое время (у авторов теории общественного договора) заменило как слово *communitas*, так и *populus*, а в качестве возможной причины этого указал на становление модернового государства, для функционирования которого не требуется иной политический субъект (например, народ) помимо него самого.

Второй доклад секции, «*Отсутствие концепции societas в России до XVIII века, и к чему это привело*», был представлен Олегом Хархординым. Докладчик сразу же начал свое выступление с основного тезиса, согласно которому в русском языке из-за отсутствия влияния римского права на термин для обозначения всех, живущих в данной стране («общество»), почти не повлияло латинское понятие *societas*, подразумевающее контракт о совместном предприятии. Также докладчик остановился на переводе С. Пуфендорфа Гавриилом Бужинским в 1718 году, где *societas* дано как «дружество», а также привел классификацию типов societas в римском праве и краткую справку о дальнейших употреблениях этого слова в европейских источниках. В екатерининское время активно внедряемое слово «общество» обладало несколькими значениями: 1) то же, что и «государство», 2) «градское общество» и 3) разные ассоциации по типу Вольного экономического общества. Отличие от европейских словоупотреблений Хархордин обнаруживает в том, что в России дольше сохранялось отождествление общества и государства, а также связь термина *society* в западноевропейских языках с понятиями римского права. В качестве источника возможного влияния на оформление русского понятия «общество» докладчик упомянул слово *koinonia*. В деловом языке Византийской империи оно служило категорией для передачи латинского societas, товарищества. Попытки сочетания двух значений этого термина во время его введения в екатерининскую эпоху — societas и koinonia — стали источником дополнительного напряжения. Как в итоге показал докладчик, с XIX века в России начинает преобладать значение «общества» именно как койнонии (то есть не контрактного товарищества, а как изначально данного единства, общности). Олег Хархордин завершил свой доклад с опорой на историю развития схожего слова *друштво*, включающего в себя обе представленные выше коннотации, в сербском и хорватском языках, предложением обратиться к схожим понятиям и в русском языке — и «возвеличить не общность общества, а другость или дружество, лежащие в основе общения разных и других».

Третьим и заключительным докладчиком секции стал *Антон Прокопчук* (независимый исследователь, Минск). Свое выступление, озаглавленное «*История*

как утопия и республиканизм сегодня: случай "Республики Океаны" Джеймса Харрингтона», он начал с констатации кризиса сегодняшнего момента, а также некоторых противоречий современной республиканской традиции — в том числе проблемы двойного значения слова «республика»: как некоей политии вообще и как противовеса монархии («исключающая» линия). Затем докладчик перешел к республиканской теории Джеймса Харрингтона и отметил ее основные черты: связку гражданства, оружия и земельной собственности; верховенство законов, а не людей; разделение на учредительную и учрежденную власть — и их связь с аграрным законом. Кроме того, Прокопчук указал на смешение в нарративе Харрингтона истории и утопии, а также его влияние на размышления аббата Сийеса — и тех различиях, которые можно обнаружить в их аргументации. В конечном итоге докладчик порассуждал о возможности возрождения классической республиканской традиции, не вписанной в реальность модернового государства, сделав вывод об утопическом и идеальном характере такой интуиции.

Шестая панель конференции была названа «Республиканизм в XVII веке», а ее модератором выступила *Наталья Потапова* (ЕУ СПб). Первый доклад этой панели, «*Тирания или "позитивное варварство"? Социальный уклад "Московии" глазами венецианского дипломата середины XVII в. (по Relazione della Moscovia Альберто Вимины)*», был прочитан *Тимуром Шаиповым* (МГУ). В указанном сообщении венецианца, по словам докладчика, были представлены не только сведения о географии и климате, ее природных богатствах, обычаях и религии жителей, силе армии, но также и целостная и концептуальная картина социального устройства Московии. Свой рассказ Вимино выстраивает на нескольких основаниях: укоренившемся в европейских источниках тезисе о рабстве московитов (однако Вимино находит в нем свои преимущества), их «счастливом неведении», довольстве установленным порядком и его особых симпатиях к земледельцам. Алексей Михайлович в труде Вимино — гарант социального порядка и добродетельный правитель с чертами «варвара». С точки зрения Тимура Шаипова, здесь венецианский дипломат включается в контекст генезиса политической мысли раннего Нового времени и в дискуссию о пользе власти суверена, в духе Томаса Гоббса, где отсутствие свободы значит отсутствие «войны всех против всех». Таким образом, Relazione della Moscovia предстает дидактическим примером «позитивного варварства», отражением идей о золотом веке и представлении «Московии» как части «европейских Индий».

Второй доклад, «*Использование исторических моделей и развитие теории Commonwealth Дж. Харрингтона (на примере Древнего Израиля и Спарты)*», представил *Дмитрий Козлов* (ИГУ, Иркутск). Свой доклад он начал с реконструкции основных дискуссий, посвященных главной работе Харрингтона («Республика Океания») и касающихся жанра, стиля, общей структуры книги, отсылок и контекста ее возникновения. Два основных сюжета, на которых сконцентрировался докладчик, — это размышления Харрингтона о Древнем Израиле и Спарте, а также тех дискуссиях, которые возникли среди его современников по поводу адекватности использования таких исторических примеров. Одна из основных линий в мысли Харрингтона, зафиксированная Дмитрием Козловым, — его отношение к истории, то есть и к Античности, как к модели (что ближе к ренессансному взгляду), а не как к тому, чего больше нет (что больше соответствует историзму). Однако это наблюдение, как и наличие у английского мыслителя цельной исторической методологии как таковой — остаются предметом исследовательской дискуссии. Использование Харрингтоном модели Древнего Израиля подвергалось критике со стороны его современников, настаивавших на уникальности ветхозаветного опыта и эксклюзивности этой республики для евреев, связанной с Божественным Откровением;

такую же критику вызвало и использование им примера Спарты — особенно со стороны П. Хейлина и Г. Стабба. Как резюмировал докладчик, поиск золотой середины между различными древними и современными политическими практиками является важной особенностью работ Харрингтона.

Финальный доклад панели, «*Может ли тори быть республиканцем? Использование республиканских концептов в английской публицистике конца правления Вильгельма III Оранского (1689—1702)*», представил *Павел Князев* (МГУ). Выступление он начал с краткого описания «Славной революции» 1688—1689 годов, а также сложившегося по ее итогу «вильямитского» консенсуса, состоявшего из тори и вигов двора и тори и вигов страны, а также тех, кто был из него исключен — якобитов и неприсягнувших. Докладчик остановился на круге «новых республиканцев» и их попытках реабилитировать понятие *Commonwealth* после «Славной революции», стремлении отделить значение этого слова от опыта республики времен Кромвеля; еще одной важной идеей этих авторов было противостояние введению постоянной армии и их симпатии в пользу гражданского ополчения. В финальной части своего доклада Павел Князев сконцентрировался на фигуре Чарльза Дэвенанта и его трактате «Правдивый портер нового вига» (1701), бывшем ярким примером политической сатиры и использования автором-тори концептов, близких к республиканскому словарю.

Седьмая панель конференции называлась «Элементы республиканизма в средневековой Руси?» и прошла под модерацией Константина Ерусалимского. Открыл секцию *Павел Лукин* (ИРИ РАН, Москва) докладом «*Новые данные о новгородской политической терминологии*». Лукин начал выступление с реконструкции эволюции обозначений новгородского политического сообщества (с XI—XII веков до второй половины XV века), включавшей в себя такие формулы, как «весь Новгород», «господин Великий Новгород», «Бог и Великий Новгород» и др. Важность исследования этой терминологии Павел Лукин объяснил существующими историографическими дискуссиями по поводу функций этих понятий: были ли они выражением коллективного единства (то есть отсылали к политическому народу) или только риторическими фразами, помогавшими Новгороду отстаивать равенство с князьями и права на «суверенитет»? Серьезный акцент в этой полемике направлен на латинское понятие *communitas* (и близкие к нему), а также те возможные соответствия, которые можно обнаружить в новгородских политических терминах — с точки зрения Павла Лукина, таким сочетанием мог быть «весь Новгород» и его производные, что подтверждается приведенными им выдержками из источников. Докладчик завершил свое выступление несколькими выводами, указывавшими на то, что в Новгороде конца XIV века существовало четкое представление о политическом сообществе, требовавшее своего терминологического выражения, которое, в свою очередь, свидетельствовало о существовании в Новгороде этого периода республиканского самосознания.

Второй доклад, «*Все двиняне, все новгородцы и великий князь: публичные аспекты конфликта 1397—1398 гг. в Заволочье*», прочитал *Сергей Городилин* (ИРИ РАН, Москва). Его основное внимание было направлено на исследование мотиваций и аргументации воюющих сторон. Вначале докладчик восстановил краткую предысторию конфликта — принятие Василием Дмитриевичем под свой патронат Двинской земли и следующая за этим оккупация нескольких городов (лето — осень 1397 года), разрыв отношений Новгорода и великого князя (осень 1397 года), предложение новгородцев о возвращении status quo и мире (зима 1397—1398) и т.д. Докладчик отметил некоторые новшества политического языка, нашедшие свое отражение в источниках и зафиксировавшие восприятие этих событий новгородцами в качестве угрозы всему новгородскому сообществу (с соответствую-

щими обоснованиями). Публичное же предложение двинянам защиты со стороны великого князя позволяет говорить о двинянах как о едином политическом народе, что является уникальной ситуацией для русского Средневековья и, как отметил Сергей Городилин, требует отдельного дальнейшего осмысления.

Третий доклад, «*Избрание епископа в домонгольской Руси: личный выбор или общественные выборы?*», был прочитан *Андреем Виноградовым* (НИУ ВШЭ, Москва). Вначале докладчик отметил две тенденции, существовавшие в восточном христианстве, при выборе епископов — церковная линия, нацеленная на отстранение верующих от этого процесса, и государственное законодательство, наоборот, закрепляющие их участие. Затем Виноградов сконцентрировался на нескольких основных вопросах, позволяющих раскрыть суть описываемого им института: кто именно выбирал епископа (митрополит Киевский или сами князья), правила и этапы самой процедуры. Отдельно докладчик остановился на случае Новгорода и тех особых правах, которыми обладали новгородцы для выборов такого характера. После этого докладчик на летописном материале восстановил процедуру новгородских выборов, а также выделил несколько моделей выборов епископа на Руси (в зависимости от состава участников и инстанций финального решения).

На последней панели второго дня и всей конференции «Интеллектуальная история России XVIII—XIX вв.: рождение “общества”, рождение “публики”» (секция 2) модератором стал Олег Хархордин. Первый доклад в рамках этой панели, «*Война и публичное пространство в России и Западной Европе в XVIII веке*», прочитал *Денис Сдвижков* (независимый исследователь, Москва). Выступление он начал с рассказа о формирующейся с середины XVIII века в Европе модели «монархического патриотизма», которая признается фактором успешного ведения войн (например, для Великобритании и Пруссии). В свою очередь, в России война еще с допетровских времен была важным источником артикуляции светских смыслов, а Петровские реформы начинаются как реформы военные (при неприятии самой войны). Докладчик уделил отдельное внимание текстам Феофана Прокоповича, так или иначе связанным с войной, его словарю и стилю, а также тому, как эти и другие лингвистические новаторства проявлялись в повседневном языке (понятие «отечества», глорификация смерти за отечество, отделение отечества и государства). С середины XVIII века армия начинает восприниматься как отдельное сообщество — не только с собственными обязанностями, но и правами, способностью к критической рефлексии; внутри страны также формируется отдельная связанная с войной «публичная сфера» — газетная индустрия, устная коммуникация в виде слухов, распространявшихся в различных коллективных пространствах (торговые ряды, кабаки, церкви и т.п.), а также ответная борьба государства с этими явлениями.

Второй доклад, «*Военная травма 1812 года: физические увечья и публичная немота*», был прочитан Натальей Потаповой. Вначале докладчица напомнила о представлении о Льве Толстом как создателе модерного дискурса о войне, с его вниманием к страху, страданиям, физиологической точностью и кинематографичностью его прозы, а затем также привела в пример еще более ранние образцы схожего дискурса — у Альфреда де Виньи в «Неволе и величии солдата» (1835), письмах Сергея Трубецкого середины XIX века и многих других представителей «поколения отцов», совсем молодыми прошедших войну. Наталья Потапова также обратилась к описанию публичного дискурса об ампутациях (и соответствующих национальных различиях в этой практике), формированию индустрии протезов, обоснованиям необходимости социального обеспечения людей с увечьями. В конце докладчицей было выделено несколько моделей работы с увечьями среди этого поколения (помимо патриотического дискурса) — античный стоицизм, барочная ирония, реалистическое остранение, христианская субверсия.

Последним докладом как этой секции, так и всей конференции, стало выступление *Виктории Фреде* (Калифорнийский университет, Беркли), название которого — «*Дружба под самодержавием: правительствующая элита России, 1750—1840*», — отсылало к готовящейся к печати книги Фреде «Friendship under Autocracy: the Ideology of the Russian State, 1750—1840». Докладчица заметила, что в середине XVIII века среди государственных служащих Российской империи возникла новая модель «добродетельной дружбы» (virtue friendship). Концепция, положенная в основу этой модели, была заимствована из западного Просвещения, в свою очередь взявшего ее из древней Античности, где она фигурировала у Аристотеля в «Никомаховой этике» как характеристика достойных участников жизни полиса. Российские писатели (например, М.М. Херасков), также являвшиеся чиновниками, говорили о добродетельной дружбе в печати начиная с 1755 года, а уже в 1770-е годы ее признаки встречаются в переписке высокопоставленных государственных деятелей (например, Н.И. и П.И. Паниных, П.А. Румянцева). Функция подобной дружбы в переписке — служить доказательством того, что индивид достоин принадлежать к государственной элите как добродетельный гражданин, признающий первенство «общего блага» во всех правительственных делах. Таким образом, «дружба» стала частью идеологии правительствующих элит. Далее Виктория Фреде показала, что вера в эту идеологию ослабла к 1790-м годам и потеряла всякую расположенность среди власти и подданных после первых лет царствования Александра I. Точнее, как подытожила докладчица, вера в дружбу как гарант личной гражданской добродетели удержалась, но вера в «общее благо» как звено, соединяющее правительственную элиту, совсем сошла на нет, динамика чего была видна в декабристском восстании 1825 года.

Прошедшая конференция еще раз показала важность и необходимость совместного обсуждения не только самых серьезных политико-теоретических сюжетов и проблем, но также и, казалось бы, довольно обыденных и повседневных понятий. Ярким примером такого переосмысления стало слово «общество». Во-первых, его кажущаяся простота была подвергнута сомнению с точки зрения самых разных исследовательских дисциплин, перспектив и позиций: генеалогия этого слова оказалась существенно сложнее, чем это можно было себе представить, а влияния на формирование его современного значения оказалось возможным проследить из самых неожиданных источников и (кон)текстов. Во-вторых, его имплицитные, намеренно или ненамеренно скрытые, коннотации продолжают оказывать влияние не только на современный нам язык и стиль мышления, но также и на наши практики совместной жизни и понимания себя. Банальная фраза «мы живем в обществе» по итогам двух дней конференции начала играть новыми и крайне неочевидными красками, а возможные альтернативы такому словоупотреблению находились в самых разных местах и словарях — от античных полисов и современных публик до балканского слова *друштво*, отсылающего как к дружбе, так и к другости, другому. В самом общем виде проблематика конференции актуализировала политико-философский разговор о человеческой совместности и тех формах, которые она может принимать. «Общество», «сообщество», «республика», «народ» — все эти классические понятия политического языка позволяют нам говорить об окружающей нас реальности на языке, подходящем не только для современности, но также и для вневременного диалога как с античными, так и средневековыми или нововременными авторами. А значит, политическая мысль, как присущая ей критика окружающего нас мира, так и самые смелые идеи по его нормативному переустройству, остается не только современной, но и, что самое главное, своевременной.

Михаил Куренков

Наши авторы

Тимур Атнашев
(специалист по интеллектуальной истории и политической мысли; PhD) timur.atnashev@gmail.com.

Алексей Васильев
(Государственный академический университет гуманитарных наук, исторический факультет, доцент; кандидат исторических наук) vasal2006@gmail.com.

Виктория Васильева
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), факультет гуманитарных наук, Школа философии и культурологии, доцент; кандидат философских наук) vchistyakova@hse.ru.

Михаил Велижев
(Университет Салерно, профессор; PhD) mvelizhev@unisa.it.

Илья Виницкий
(Принстонский университет, кафедра славянских языков и литератур, профессор; доктор филологических наук) vinitsky@princeton.edu.

Алексей Глухов
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), факультет гуманитарных наук, Школа философии и культурологии, доцент; кандидат философских наук) agloukhov@hse.ru.

Ксения Гусарова
(РГГУ, старший научный сотрудник / РАНХиГС, доцент; кандидат культурологии) kgusarova@gmail.com.

Евгений Добренко
(Университет Венеции Ca' Foscari, профессор; PhD) evgeny.dobrenko@unive.it.

Андрей Зорин
(Оксфордский университет, профессор; доктор филологических наук) andrei.zorin@new.ox.ac.uk.

Илья Кукулин
(Стэнфордский университет, приглашенный преподаватель; кандидат филологических наук) ikukulin@gmail.com.

Фредерик Купер
(Нью-Йоркский университет, заслуженный профессор; PhD) fred.cooper@nyu.edu.

Михаил Куренков
(Европейский университет в Санкт-Петербурге, исследовательский центр «Res Publica») mkurenkov@eu.spb.ru.

Ян Левченко
(издательство «Новое литературное обозрение», редактор серии «Кинотексты»; PhD) janlevchenko@gmail.com.

Марк Липовецкий
(Колумбийский университет, профессор, доктор филологических наук) ml4360@columbia.edu.

Ольга Майорова
(Мичиганский университет, Энн Арбор; кафедра славянских языков и литератур, кафедра истории, профессор; PhD) maiorova@umich.edu.

Мария Майофис
(Амхерст-Колледж, приглашенный профессор; кандидат филологических наук) mmaiofis@gmail.com.

Кирилл Осповат
(Университет Висконсина в Мэдисоне, Департамент германских, скандинавских и славянских языков и литератур, доцент; кандидат филологических наук) ospovat@wisc.edu.

Кевин М.Ф. Платт
(Университет Пенсильвании, факультет русских и восточноевропейских исследований, профессор, заведующий программой сравнительной литературы и литературной теории; PhD) kmfplatt@sas.upenn.edu.

Николай Плотников
(Рурский университет в Бохуме, Институт русской культуры имени Ю.М. Лотмана, научный сотрудник; доктор философии) nikolaj.plotnikov@rub.de.

Наталья Потапова
(Европейский университет в Санкт-Петербурге, исследовательский центр «Res Publica», научный сотрудник / факультет истории, доцент; кандидат исторических наук) n.d.potapova@gmail.com.

Андрей Ранчин

(Московский государственный университет, профессор / Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук, ведущий сотрудник; доктор филологических наук) aranchin@mail.ru.

Абрам Рейтблат

(журнал «Новое литературное обозрение», член редакции; кандидат педагогических наук) reitblat@nlobooks.ru.

Евгений Савицкий

(Институт всеобщей истории РАН, старший научный сотрудник; кандидат исторических наук) e_savitski@mail.ru.

Уиллард Сандерленд

(Университет Цинциннати, профессор истории; PhD) sunderwd@ucmail.uc.edu.

Денис Сдвижков

(кандидат исторических наук) sdvizkov@hotmail.com.

Кирилл Соловьёв

(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), факультет гуманитарных наук, профессор / Институт российской истории РАН, главный научный сотрудник; доктор исторических наук) kirillsol22@yandex.ru.

Виталий Тихонов

(Институт российской истории РАН, ведущий научный сотрудник; доктор исторических наук) tihonovvitaliy@list.ru.

Олег Хархордин

(Европейский университет в Санкт-Петербурге, профессор; исследовательский центр «Res Publica», директор; PhD) kharkhor@eu.spb.ru.

Майкл Ходарковский

(Университет Лойолы в Чикаго, исторический факультет, профессор; PhD) mkhodar@luc.edu.

Ирина Шевеленко

(Висконсинский университет в Мэдисоне, профессор) idshevelenko@wisc.edu.

Summary

Non-Imperial Russia: Images, Ideas, Practices

The (Non)Imperial in Today's Socio-Humanitarian Reflection

The issue opens with an interview with **Willard Sunderland** held by Arseniy Kumankov and Tatiana Weiser. In the interview titled "Revisiting the Imperial Past: History and Reinterpretation" Sunderland reveals how the understanding of empire and imperialism changed over the past three hundred years and discusses the concepts of post- and neoimperialism, as well as answers the questions of why and how Russia became an empire, and if there were any imperial projects proposed in Russia from the 18th to the beginning of the 20th century.

In the 1950s and 1960s, colonial empires seemed to give way to a world of nation-states. But the first wave of decolonization in the Americas occurred between the 1780s and 1820s. **Frederick Cooper**'s article "Decolonizations, Colonizations, and More Decolonizations: The End of Empire in Time and Space" examines the relationship between these two waves of decolonization and the wave of colonization that occurred between them. Rather than fitting the two periods of decolonization into a single narrative, he argues that each entailed fierce struggles in which national sovereignty was only one possible outcome, and that in between decolonizations empires blossomed with renewed vigor, transformed, and found themselves reinvented. The second wave of decolonization, unlike the first, dealt a blow to the very idea of empire. However, both waves failed to answer the question that preoccupied the activists who led them: could political liberation be turned in favor of economic and social justice? This article points to the uses and limits of the term "decolonization" in terms of understanding struggles for global justice.

The issue also features a discussion "Empire and the Multitude: A Dialogue on the New Order of Globalization" between **Antonio Negri**, one of the most preeminent political philosophers of recent time, and **Danilo Zolo**, a political theorist and a visiting fellow in several universities of Europe, USA, and South America. On debating *Empire*, the book Negri co-authored with Michael Hardt, Zolo poses the questions about the idea of multitude, which is a key concept of the book, and Negri's answers provide the reader with some highly nuanced interpretations.

The Empire and its Alternatives in Russian Historiography

This cluster of essays presents several views on the problem of the empire in Russian history and historiography. **Kirill Solovyov** in his essay "Parliament of the Empire or Parliament against the Empire" discusses the influence of the Duma on Russian political life at the beginning of the 20th century. **Vitaly Tikhonov**'s article "Soviet Historiography of the 1920—1930s: From Anti-Imperialism to Great Power" reflects on the transformations of historical ideology from the radical denial of the pre-revolutionary past to its partial recognition and ideological adaptation for the needs of the Stalinist regime. **Michael Khodarkovsky** in his essay "Eurasian Roots of the Russian Empire" considers Russia's imperial history in the context of its Eurasian neighbors.

War and Imperial Consciousness

Andrei Zorin's article "'Why Do People Kill Each Other?' (Tolstoy and Empire)" shows that Tolstoy's perception of the war in the beginning and in the end of his creative career differed rather in nuances and accents than in content. Understanding of his early stories and *War and Peace* implies seeing here the germs of Tolstoy's consistent anti-militarist and anti-imperial stance while the heritage of Tolstoy's the pacifist cannot be fully interpreted without considering his view of violence as an integral part of human nature. Tolstoy always believed that the resistance to invaders and the defence of land where humans were born, by which products they are fed and where they are going to life after death is natural, but considered this instinct as pre-moral and pre-Christian contradicting the personal moral conscience that unconditionally rejects all sorts of violence.

In her article "People's War and Beehive: Nation and Empire in *War and Peace*" **Olga Maiorova** focuses on Lev Tolstoy's worldview in the 1860s and explores symbolic representations of the Russian people in *War and Peace.* The author considers the novel in the context of the nation/empire dichotomy — the central issue of the Russian 19th century national imagination, and juxtaposes Tolstoy's vision of the War of 1812 with a trope of people's war, as it was utilized by the Russian patriotic press of the 1860s, to argue that *War and Peace* challenges key tenets of the imperial discourse that took shape in Russia during the Great Reforms.

Natalia Potapova's article "War Trauma of 1812: Physical Injuries and Public Dumbness" analyzes the correlation between the production of anti-war discourses and the social presence of the wounded in society, new forms of cultural experience of survival with war-damaged bodies after the Napoleonic wars, changing medical practices of caring for the wounded associated with the desire to overcome marginalization, isolation and muteness in connection with bodies that shock. The author proves how the traumatic experience of the Napoleonic wars was entangled with the anti-war discourse of modernity.

(Non)Imperiality in the Russian Public Sphere and Social Thought

The defeat of Russia in the war with Japan and the events of the revolution of 1905—1907 produced a surge of journalistic and philosophical reflections on Russian statehood and its future. A prominent trend in these reflections is the critique of the empire, both as an autocratic political regime and as a regime that hampers the national-cultural building. As **Irina Shevelenko**'s article "Anti-Imperial Visions of the Revolutionary Epoch (1900—1910s)" demonstrates, these two aspects of the critique of the empire are not symmetrical: it is more difficult for Russian authors to imagine the dissolution of the country than the democratization of the regime. The intellectual positions that inform this asymmetry constitute an important legacy of the epoch of the first revolutionary crisis in Russia.

Among the distinguishing features of empires, "imperial consciousness" is the most elusive and defies universal definition. The characterization of imperial consciousness in Russia is often limited to a set of politicized clichés not based on applied research. The article "Did Russians Want War? War and the Imperial Consciousness in 18th Century Russia" by **Denis Sdvizhkov** aims to define the content and paths of how imperial consciousness was shaped in the formative period of the Russian Empire in the eighteenth century through the attitude of its subjects towards wars. The article shows that the formation of Russia as a military empire was accompanied by more than structural measures with the establishment of a proper army and navy. The "distant" imperial wars typical of this period demanded from the authorities a new regime of publicity marked by the emerging ideology of patriotism/"love of the fatherland." The invitation of the authorities to participate in the "common cause" / res publica, which the wars became, to circles far beyond the elites not only increased the effectiveness of imperial military policy, but also shaped political consciousness and the culture of publicity and inevitably contributed to the transformation of the subjects of the empire into its citizens.

Mikhail Velizhev's article "Towards the History of the 'Moscow Fronda': Sergei Stroganov, A. de Tocqueville and the Unintended Consequences of the Chaadayev's Scandal" examines a chain of episodes connected by the theme of confrontation between two concepts of monarchical rule — a fully autocratic model and a model in which autocratic power is limited by law and aristocracy. The main protagonist of the study is Count Sergei Stroganov, who reflected on the possible limitation of imperial power in 1836 during the scandal surrounding the publication of Chaadaev's first "Philosophical Letter", and in the early 1860s, when Stroganov was engaged in the education of Grand Duke Nicholas Alexandrovich. The aim of the paper is to show how projects designed to soften the absolute character of the Russian autocracy developed within the political elite loyal to the monarch.

In his article "The Russian Nation after the Russian Empire? A Model for the Setup of the Liberal Chronotope in the 21st Century" **Timur Atnashev** analyzes three versions of original assemblage by Russian nationalist thinkers of the unique post-imperial puzzle of a symbolic chronotope, including and excluding certain

territories people, and the characteristics that unite them in the past and present. For modern post-imperial imagined communities in the phase of retreat, the task of rethinking what was "ours" as "not ours" emerges or, on the contrary, an attempt to make what was already "not ours" once again "ours." They are looking for markers and principles of a new unity in the preserved whole. At the same time, the deliberative constructivism of thinkers and ideologues offering their setups is combined with primordial basic elements and a degree of plasticity to identity. An analysis of the intellectual moves of Solzhenitsyn, Krylov, and Remizov allows us to expose the very *logic of the setup* of the symbolic chronotope, preliminarily assess the relevance of the national model in society, and pose the question of the "primordial" foundations of liberal alternatives — the existing two-level identification in particular. Contemporary Russian nationalism surpisingly looks more like transfer of old European models, which does not really fit the current Russian puzzle.

The Past and Future of the Republican Project in Russia

Oleg Kharkhordin's article "Classical (Civic) Republicanism in Russia" gives a brief summary of the development of classical (civic) republicanism in Russia before and after the 1917 revolution. An overview of usual arguments that figure in the debates between Russian adherents of classical republicanism and liberalism are given in the end. If classical republicanism had feasible chances to become reality in pre-revolutionary Russia, and might have realistic chances to be implemented today, then trying to find it in the USSR is difficult if not wellnigh impossible. In terms of classical political theory the USSR is described as a one-party despotism or as a corrupt form of res publica named monarchy. The paper evaluates republicanism's current popularity and its contemporary prospects.

This section also presents the questionnaire "On Republicanism in Russia". **Natalia Potapova**, **Nikolaj Plotnikov**, and **Alexei Gloukhov** discuss which of the projects for the republican transformation of Russia were successful and why, and if the republicanism was perceived as an alternative to empire, monarchy, and autocracy.

The Imperial and the Non-Imperial in Russian Literature

Ilya Vinitsky in his article "The Shield of 'Self-Standing': Did Pushkin Coin a Key Term of Russian Nationalism?" analyzes the role of Pushkin as a symbol of Russian imperial culture, which has been actively discussed recently. In particular, some have justly spoken about the "weaponization" of Pushkin. In the political sphere the battle with the state idol of Pushkin has been expressed in the iconoclastic destruction of numerous monuments to him in Ukraine (it is worth recalling that the first to call for the destruction of the sanitized image of Pushkin were the Russian futurists, and Mayakovsky — himself a state poet

after his death — advocated for blowing up his monument with dynamite). In the scholarly sphere it has been expressed in attempts at deconstructing Pushkin's imperial ideology, examples of which scholars have found in his works from "The Prisoner of the Caucasus" to "I raised a monument" (at the center of such deconstructions one often finds the anti-Polish and anti-Western poems of the early 1830s). Of course, Pushkin was and considered himself an imperial poet (just as Ovid, Horace and Catullus were poets and translators of the ideas of imperial Rome), but the scholarly task of Pushkin studies is at the moment, in my view, to read his work in new, nuanced, and topical — both for him and for us — historical, cultural, aesthetic, and international contexts. The solution to Pushkin's question is in turn inseparable from the study of various scenarios of the mythologization of Pushkin, whether for motives of state propaganda or for liberal and educational purposes. The present lecture represents such an attempt and is dedicated to the genealogy of one word in Pushkin (*samostoian'e* — literally "self-standing"), which is alleged to have been invented by the poet and has been appropriated by his interpreters in various periods and from various perspectives.

Evgeny Dobrenko's article "Soviet Multinational Literature as an Imperial Project and as a Challenge to the Empire" considers Soviet multinational literature as an imperial project. However, institutionally, ideologically, and aesthetically, it produced a non- and even anti-imperial space. It developed as a byproduct but turned out to be perhaps the only available platform and domain for the formation of national consciousness on the imperial outskirts of the USSR. If an anti-colonial national discourse was cultivated in the Soviet republics, then in Moscow an internationalist discourse was officially transmitted and supported, dominated by the ideas of national diversity, "interaction and mutual enrichment." The article examines these processes at the level of institutions, the discourse that shaped them and the aesthetic practices they generated.

Authors of Russophone literature of the 1980s elaborated one or more models of the postcolonial and post-traumatic Bildingsroman, which were "suppressed" (in Freudian sense) and forgotten in the course of the post-Soviet transformations of society's historical consciousness. The paper "Late Soviet Literature on Ethnic Deportations in Controversy with the Soviet Novel of Education" by **Maria Maiofis** and **Ilya Kukulin** discusses two novellas: *The Decade* by Semyon Lipkin (1983) and *The Inseparable Twins* by Anatoly Pristavkin (1981). The basis of both novellas' plots is deportation of the peoples of the North Caucasus, initiated by Stalin and the other Soviet leadership in 1944: Pristavkin's story concerns the Chechens, Lipkin's one — the fictional nation of Tavlars, which summarizes the features of several deported ethnic groups. Both works are of a hybrid genre, and both authors independently revisit elements of the classical and Soviet Bildungsroman, so that their novellas have significant parallels with English-language postcolonial Bildungsromans created at the beginning of the 21st century. When analyzing Lipkin's novella, the authors particularly discuss the significance of "decades of literature and art" — an important form of ceremonial representation of the "friendship of peoples" necessary for the implementation of Soviet national politics.

Andrey Ranchin's article "Joseph Brodsky: Overcoming the Imperial" is devoted to the relationship between anti-imperial and imperial motifs in the works

of Joseph Brodsky. The poet certainly denied the Empire as the embodiment of a totalitarian principle, as evidenced by the image of the Roman state in his poems; Rome here is in many ways an allegory of the Soviet Union. Brodsky contrasts the position of the Empire with the position of a private person and a poet. The imperial element in Brodsky's work was not completely overcome. However, the poet's imperialism is devoid of a strictly political element and an appeal to history. For him, the memory of the past is not a basis for nurturing national pride, but a reminder of historical guilt.

In his article "The Underground — an Alternative Model for Russian Culture?" **Mark Lipovetsky** poses the question if the late Soviet underground a viable alternative to the hierarchical, centralized model of culture built in the USSR. The underground of the 1960s—80s strives to reproduce those forms for functioning of culture that shaped at the turn of the 20th century and which partially continued to operate in the 1920s. Unlike the imperial cultural edifice, the underground is decentralized and constructed as an archipelago consisting of a multiplicity of — not isolated but autonomous — "islands". This article also attempts to define a spectrum of problems that need to be addressed by those authors and scholars who see their role in the continuation of traditions rooted in the late Soviet underground and employing it as a blueprint for a new cultural architecture, anti-imperial by its logic and structure, in which the state's participation would be minimized and the role of samizdat and tamizdat redistributed to the internet.

Like other imperial languages and cultural systems (English, French, Spanish) Russian language and culture have served and continue to serve as instruments of imperial domination. At the same time, Russian and Russophone language and culture is a vehicle of anti-imperial resistance, emancipatory political expression, and cultural subversion for many inside and outside of the Russian Federation. **Kevin M.F. Platt**'s article "Russophone Poetic Anti-Empires: Models of Decolonization" surveys and analyzes strategies among Russian and Russophone poets of anti-imperial and decolonial writing, with a focus on poetry of recent decades and especially recent years. Such strategies include: simple rejection of the norms and canons of the Russian poetic tradition; overt anti-imperial or decolonial civic poetry; aesthetic hybridization and language-mixing; performative translation; and others. Poets under consideration include: Shamshad Abdullaev, Keti Chukhrov, Egana Dzhabbarova, Semyon Khanin, Dmitry Kuz'min, Artur Punte, Dinara Rasuleva, Vladimir Svetlov, Sergej Timofejev, Sergey Zavyalov, and others.

Kirill Ospovat's article "Ruins: Russian Philology in the Face of Catastrophe" addresses the place of Russian philology as a discipline in view of the unfolding catastrophe and its politics in the past and the future, outlining a potential alternative model for an emancipatory literary criticism. The starting point for the author's argument is a critique of the notion of culture as concept which consecrates violence and oppression. Accordingly, a conservative vision of classical heritage links culture with empire and the imperial political imaginary. Another tradition of understanding literature and philology, derived from Russian populism understands itself as "service of understanding" working in the interests of the disenfranchised. This tradition corresponds to a democratic and republican understanding of poetry and historical memory in the Ukrainian tradition. In conclusion, the article outlines possible categories for a populist and anti-imperial philology of the future.

Table of contents No. 188 [4'2024]

NON-IMPERIAL RUSSIA: IMAGES, IDEAS, PRACTICES

7 From the Editors

THE (NON)IMPERIAL IN TODAY'S SOCIO-HUMANITARIAN REFLECTION

9 *Willard Sunderland.* Revisiting the Imperial Past: History and Reinterpretation (*transl. from English by* Arseniy Kumankov)

15 *Frederick Cooper.* Decolonizations, Colonizations, and More Decolonizations: The End of Empire in Time and Space (*transl. from English by* Ksenia Gusarova)

41 *Antonio Negri*, *Danilo Zolo.* Empire and the Multitude: A Dialogue on the New Order of Globalization (*transl. from English by* Nina Stawrogina)

THE EMPIRE AND ITS ALTERNATIVES IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

60 *Kirill Solovyov.* Parliament of the Empire or Parliament against the Empire

66 *Vitaly Tikhonov.* Soviet Historiography of the 1920—1930s: From Anti-Imperialism to Great Power

71 *Michael Khodarkovsky.* Eurasian Roots of the Russian Empire (*transl. from English by* Kirill Zubkov)

WAR AND IMPERIAL CONSCIOUSNESS

74 *Andrei Zorin.* "Why Do People Kill Each Other?" (Tolstoy and Empire)

87 *Olga Maiorova.* People's War and Beehive: Nation and Empire in *War and Peace*

106 *Natalia Potapova.* War Trauma of 1812: Physical Injuries and Public Dumbness

(NON)IMPERIALITY IN THE RUSSIAN PUBLIC SPHERE AND SOCIAL THOUGHT

123 *Irina Shevelenko.* Anti-Imperial Visions of the Revolutionary Epoch (1900—1910s)

134 *Denis Sdvizhkov.* Did Russians Want War? War and the Imperial Consciousness in 18th Century Russia

159 *Mikhail Velizhev.* Towards the History of the "Moscow Fronda": Sergei Stroganov, A. de Tocqueville and the Unintended Consequences of the Chaadayev's Scandal

172 *Timur Atnashev.* The Russian Nation after the Russian Empire? A Model for the Setup of the Liberal Chronotope in the 21st Century

THE PAST AND FUTURE OF THE REPUBLICAN PROJECT IN RUSSIA

197 *Oleg Kharkhordin.* Classical (Civic) Republicanism in Russia

218 On Republicanism in Russia: Questionnaire (*Natalia Potapova*, *Nikolaj Plotnikov*, *Alexei Gloukhov*)

THE IMPERIAL AND THE NON-IMPERIAL IN RUSSIAN LITERATURE

230 *Ilya Vinitsky.* The Shield of "Self-Standing": Did Pushkin Coin a Key Term of Russian Nationalism?

245 *Evgeny Dobrenko.* Soviet Multinational Literature as an Imperial Project and as a Challenge to the Empire

255 *Maria Maiofis*, *Ilya Kukulin.* Late Soviet Literature on Ethnic Deportations in Controversy with the Soviet Novel of Education

282 *Andrey Ranchin.* Joseph Brodsky: Overcoming the Imperial

303 *Mark Lipovetsky.* The Underground — an Alternative Model for Russian Culture?

322 *Kevin M.F. Platt.* Russophone Poetic Anti-Empires: Models of Decolonization

340 *Kirill Ospovat.* Ruins: Russian Philology in the Face of Catastrophe

BIBLIOGRAPHY

356 *Alexey Vasilyev*, *Viktoria Vasilyeva.* Empire, Liberalism, Nationalism: Overcoming Intellectual Stereotypes (Review of the books: Rampton, Vanessa. *Liberal'nye idei v tsarskoy Rossii.* Academic Studies Press, Bibliorossika, 2024; Rabow-Edling, Susanna. *Liberalism in Pre-Revolutionary Russia: State, Nation, Empire.* Routledge, 2019; Aoshima, Yoko and Darius Staliūnas, eds. *The Tsar, the Empire, and the Nation: Dilemmas of Nationalization in Russia's Western Borderlands, 1905—1915.* Central European University Press, 2021)

370 *Abram Reitblat.* Light and Shadows of Russian Anarchism (Review of Books of Recent Years)

381 *Evgeniy Savitskiy.* Ambivalence of Soviet Internationalism in Politics and Cultural Practice (Review of the books: Kirasirova Masha. *The Eastern International: Arabs, Central Asians, and Jews in the Soviet Union's Anticolonial Empire.* Oxford University Press, 2024; Koivunen Pia. *Performing Peace and Friendship: The World Youth Festivals and Soviet Cultural Diplomacy.* De Gruyter, Oldenbourg, 2022; Edgar, Adrienne. *Intermarriage and the Friendship of Peoples: Ethnic Mixing in Soviet Central Asia.* Cornell University Press, 2022)

395 *Jan Levchenko.* A Decolonial Perspective of Formalism in *The Death of Vazir-Mukhtar* (Review of the book: Aydinyan, Anna. *Formalists against Imperialism: The Death of Vazir-Mukhtar and Russian Orientalism.* University of Toronto Press, 2022)

CHRONICLE OF SCHOLARLY LIFE

402 *Ksenia Gusarova.* "Decolonialization in Focus" Seminar Cycle (Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University, 3 February—31 March 2023)

414 *Mikhail Kurenkov.* "Republicanism: Theory, History, Contemporary Practices" All-Russian Conference (Res Publica Research Center, European University at St. Petersburg, 15—16 December 2023)

427 Summary

433 Table of Contents

436 Our Authors

Our authors

Timur Atnashev

(PhD; Specialist in Intellectual History and Political Thought) timur.atnashev@gmail.com.

Frederick Cooper

(PhD; Professor Emeritus of History, New York University) fred.cooper@nyu.edu.

Evgeny Dobrenko

(PhD; Professor, Ca' Foscari University of Venice) evgeny.dobrenko@unive.it.

Alexei Gloukhov

(PhD; Associate Professor, School of Philosophy and Cultural Studies, HSE University (Moscow)) agloukhov@hse.ru.

Ksenia Gusarova

(PhD; Research Fellow, RSUH / Associate Professor, RANEPA) kgusarova@gmail.com.

Oleg Kharkhordin

(PhD; Professor, European University at St. Petersburg; Director, *Res Publica* Research Center) kharkhor@eu.spb.ru.

Michael Khodarkovsky

(PhD; Professor, Department of History, Loyola University Chicago) mkhodar@luc.edu.

Iya Kukulin

(PhD; Visiting Faculty, Stanford University) ikukulin@gmail.com.

Mikhail Kurenkov

(*Res Publica* Research Center, European University at St. Petersburg) mkurenkov@eu.spb.ru.

Jan Levchenko

(PhD; Editor of the *Film Texts* Book Series, *New Literary Observer* Publishing House) janlevchenko@gmail.com.

Mark Lipovetsky

(Dr. habil.; Professor, Columbia University, New York) ml4360@columbia.edu.

Maria Maiofis

(PhD; Visiting Assistant Professor, Amherst College) mmaiofis@gmail.com.

Olga Maiorova

(PhD; Associate Professor, Department of Slavic Literatures and Languages and the Department of History, University of Michigan) maiorova@umich.edu.

Kirill Ospovat

(PhD; Associate Professor, Department of German, Nordic, and Slavic, University of Wisconsin-Madison) ospovat@wisc.edu.

Kevin M.F. Platt

(PhD; Chair, Program in Comparative Literature and Literary Theory; Professor of Russian and East European Studies, University of Pennsylvania) kmfplatt@sas.upenn.edu.

Nikolaj Plotnikov

(Prof. Dr.; Researcher, Seminar für Slavistik & Lotman-Institut, Ruhr-Universität Bochum) nikolaj.plotnikov@rub.de.

Natalia Potapova

(PhD; Researcher, *Res Publica* Research Center; Associate Professor, Faculty of History, European University at St. Petersburg) n.d.potapova@gmail.com.

Andrey Ranchin

(Dr. habil.; Professor, Moscow State University / Leading Researcher, Institute of Scientific Information for Social Sciences, RAS) aranchin@mail.ru.

Abram Reitblat

(PhD; Editor, *New Literary Observer* Journal) reitblat@nlobooks.ru.

Evgeniy Savitskiy

(PhD; Senior Researcher, Institute of World History, RAS) e_savitski@mail.ru.

Denis Sdvizhkov

(PhD) sdvizkov@hotmail.com.

Irina Shevelenko

(Professor, University of Wisconsin—Madison) idshevelenko@wisc.edu.

Kirill Soloviev

(Dr. habil.; Professor, Faculty of Humanities, HSE University (Moscow); Chief Researcher, Institute of Russian History, RAS) kirillsol22@yandex.ru.

Willard Sunderland

(PhD; Professor of Modern History, University of Cincinnati) sunderwd@ucmail.uc.edu.

Vitaly Tikhonov

(Dr. habil.; Leading Researcher, Institute of Russian History, RAS) tihonovvitaliy@list.ru.

Alexey Vasilyev

(PhD; Associate Professor, Department of History, State Academic University for the Humanities) vasal2006@gmail.com.

Victoria Vasilyeva

(PhD; Associate Professor, School of Philosophy and Cultural Studies, HSE University (Moscow)) vchistyakova@hse.ru.

Mikhail Velizhev

(PhD; Professor, Università degli Studi di Salerno) mvelizhev@unisa.it.

Ilya Vinitsky

(Dr. habil.; Professor, Department of Slavic Languages and Literatures, Princeton University) vinitsky@princeton.edu.

Andrei Zorin

(Dr. habil.; Professor, University of Oxford) andrei.zorin@new.ox.ac.uk.

Editorial board

Irina Prokhorova	PhD (founder and establisher of journal)
Tatiana Weiser	PhD (editor-in-chief)
Arseniy Kumankov	PhD (theory)
Kirill Zubkov	PhD (history)
Alexander Skidan	(practice)
Abram Reitblat	PhD (bibliography)
Vladislav Tretyakov	PhD (bibliography)
Nadezhda Krylova	M.A. (chronicle of scholarly life)
Alexandra Volodina	PhD (executive editor)

Advisory board

Konstantin Azadovsky
PhD

Henryk Baran
PhD, State University of New York at Albany, professor

Evgeny Dobrenko
PhD, Universitá Ca'Foscari Venezia, professor

Tatiana Venediktova
Dr. habil. Lomonosov Moscow State University, professor

Elena Vishlenkova
Dr. habil. HSE University, professor

Tomáš Glanc
PhD, University of Zurich, professor / Charles University in Prague, professor

Hans Ulrich Gumbrecht
PhD, Stanford University, professor

Alexander Zholkovsky
PhD, University of South Carolina, professor

Andrey Zorin
Dr. habil. Oxford University, professor / The Moscow school of social and economic sciences, professor

Boris Kolonitskii
Dr. habil. European University at St. Petersburg, professor / St. Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences, leading researcher

Alexander Lavrov
Dr. habil. Full member of Russian Academy of Sciences Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences, leading researcher

Mark Lipovetsky
Dr. habil. Columbia University, professor

John Malmstad
PhD, Harvard University, professor

Alexander Ospovat
University of California, Los Angeles; Research Professor

Pekka Pesonen
PhD, University of Helsinki, professor emeritus

Oleg Proskurin
PhD, Emory University, professor

Roman Timenchik
PhD, The Hebrew University of Jerusalem, professor

Pavel Uvarov
Dr. habil. Corresponding member of Russian Academy of Sciences. Institute of World History, Russian Academy of Sciences, research professor / HSE University, professor

Alexander Etkind
European University Institute (Florence)

Mikhail Yampolsky
Dr. habil. New York University, professor